РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖД. ВОЙНА
В ОПИСАНИЯХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

МЕМУАРЫ

КЕРЕНСКИЙ, МИЛЮКОВ, КРАСНОВ, ДЕНИКИН, СТАНКЕВИЧ, — СОКОЛОВ И ДР. —

Составил С. А. АЛЕКСЕЕВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

57517

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

ПЕРИОДСЕКТОР СЕКТОР ПЕРИОДИЧЕСКИХ, ПОДПИСНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ

Москва, Воздвиженка, 10/2. Тел. 5-89-54.
Ленинград. „Дом Книги", Проспект 25 Октября, 28. Тел. 5-49-32.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЕ:

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

В ОПИСАНИЯХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

Составил С. А. АЛЕКСЕЕВ.

В 5-ти томах, каждый том около 500 страниц.

Т. I—II—редакция А. И. Усагина. Т. III—V—редакция Н. Л. Мещерякова.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ:

Том I. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

ВЫШЛА 2-м ИЗДАНИЕМ.

Предисловие А. И. Усагина.—М. В. Родзянко. Государственная дума и Февральская 1917 года революция.—В. В. Шульгин. Дни.—П. Н. Милюков. Февральские дни.—А. И. Деникин. Февральская революция и армия.—А. С. Лукомский. Из воспоминаний.—Я. И. Смирнов. Адмирал А. В. Колчак во время революции в Черноморском флоте.—Кн. С. П. Мансырев. Мои воспоминания.—С. И. Шидловский. Воспоминания.—Н. П. Карабчевский. Что глаза мои видели.—А. Ф. Керенский. Царская семья в Временное Правительство.—Кн-ня Палей. Мои воспоминания о русской революции.—П. Н. Милюков. О выезде из России Николая II.—А. Вырубова-Танеева. Царская семья во время революции.—В. Б. Станкевич. Воспоминания.—А. Пешехонов. Первые недели.—Н. Воронович. Записки председателя совета солдатских депутатов.—Летопись событий.—Именной указатель.

Том III. НАЧАЛО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

ПЕЧАТАЕТСЯ.

Предисловие Н. Л. Мещерякова.—Часть I. ЮЖНЫЙ ФРОНТ (Каледин, Корнилов, Деникин, Краснов):—Деникин. Как началась на Юге борьба с большевиками.—Лукомский. Зарождение Добровольческой армии.—Деникин. Начало гражданской войны на Дону.—Дроздовский. Из Румынии на Дон.—П. Н. Краснов. Донское войско Донское.—Р. Гуль. Ледяной поход.—В. М. Краснов. „Добровольцы" на сев. Кавказе.—Г. Покровский. Белая Кубань.—Часть II. ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ. (Чехо-словаки; Учредительное Собрание в Самаре и Уфе; Сибирское Врем. Правительство; контрреволюция на Дальн. Востоке):—Самарин. Чехословацкий корпус.—NN. Записки белогвардейца.—Гинс. Гражданская война в Сибири.—Бар. Будберг. Дневник.

Том IV. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ЮГЕ И ЗАПАДЕ.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ.

Покровский. Деникиниана.—Деникин. Очерки русской смуты.—Раковский. Конец белых.—Воронович. „Зеленые" на Кавказе.—Шульгин. Двадцатый год.—Аршинов. Махно.—Брайкевич. Интервенция в Одессе.—Валентинов. Врангель в Крыму.—Горн. Западное правительство.—Мергулис. Год интервенции.—Кирдецов. Борьба за Петроград.—Родзянко. Северо-Западная армия и др.

Том V. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИБИРИ И НА СЕВЕРЕ.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ.

СИБИРСКИЙ ФРОНТ (КОЛЧАКОВЩИНА): Земинов. Переворот Колчака.—Гинс. Колчак и союзники в Сибири.—Самарин. Белая Сибирь.—Колчак о себе (показания перед судом).—Раков. В застенках Колчака.—Будберг. Правление Колчака.—АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФРОНТ: Соколов. Борьба с большевиками на Севере.—Добропольский. Белое правительство Северной области.—ИНТЕРВЕНЦИЯ: Буллит. Отчет о командировке в Северную Россию и др.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Рассылка книг подписчикам отдельными томами по мере выхода их из печати начата в декабре 1926 года и будет закончена в июле 1928 года.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 12 руб. 50 коп. без пересылки за все 5 томов.

При подписке взимается задаток в размере 2 р.

Иногородним подписчикам книги будут высылаться почтой наложенным платежом на среднюю подписную цену тома.

Подписка принимается: в Периодсекторе Госиздата: Москва, Воздвиженка, 10/2, тел. 5-89-54. Ленинград, „Дом Книги", Проспект 25 Октября, 28, тел. 5-49-32, и провинциальных конторах и у уполномоченных Периодсектора, снабженных соответствующими удостоверениями.

Е 49
1158

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В ОПИСАНИЯХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Мемуары Керенского, Милюкова

Составил С. А. АЛЕКСЕЕВ
С примечаниями А. И. УСАГИНА

БИБЛИОТЕКА
КРАСНОЙ АРМИИ
Инв. № 575778
~~С 07.1962~~

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1926 ★ ЛЕНИНГРАД

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Как и в первом томе, посвященном Февральской революции, и здесь собраны „холодные наблюдения ума“ и „горестные заметы сердца“ представителей разнообразных социальных групп: здесь перед нами и махровые монархисты, как Краснов, Деникин, Синегуб, и кадеты или кадетообразные в роде Милюкова и Демьянова, и трудовик Станкевич, и партийный эсер Соколов, и, наконец, лидер центрового меньшевизма Дан. Разнообразие их направлений дает нам превосходный случай выяснить как социальные корни Октябрьской революции, так и ее классовых носителей и врагов.

Февральская революция на протяжении своего кратковременного существования пережила три глубоких кризиса власти. Из них два первых—демонстрации 20—21 апреля и движение 3 — 5 июля — были предвестниками решительной борьбы пролетариата за власть. Третий — корниловское выступление в конце августа—был попыткой захвата власти буржуазией и помещиками в целях реставрации их безраздельного господства. Выступление Корнилова было последним переломным моментом Февральской революции, после которого она быстро и неудержимо пошла к Октябрьскому перевороту. До некоторой степени то, что произошло в конце августа 1917 г.,— корниловский „путч“ и его подавление,— было генеральной репетицией драмы, разыгравшейся два месяца спустя; в августе уже ясно вырисовались основные борющиеся силы второй русской революции: контр-революционная буржуазия — на одном. революционный пролетариат — на другом полюсе исторической сцены. Непосредственная борьба, как теперь ясно для всякого, шла между ними, а промежуточные мелкобуржуазные политические группировки исполняли свое вечное историческое предназначение: нехотя и кряхтя, упираясь и путаясь в ногах обеих основных борющихся сил, поддерживать одну из них; в данном случае они под давлением революционного пролетариата пошли вместе с ним

против корниловщины с тем, чтобы в следующую минуту покинуть его и снова объединиться с буржуазией. В октябре классовые группировки были не столь ясны, так как один из двух главных актеров — корниловская буржуазия — предпочел вторые роли, в качестве же непосредственного противника восставшего пролетариата выступала правящая мелкобуржуазная интеллигенция, „революционная демократия" тож, в руки которой сложная историческая обстановка передала дело вооруженной защиты буржуазного господства и классовых привилегий. Вот почему не только исторически, но и педагогически корниловское выступление следует изучать как пролог Октября.

О корниловском выступлении нам здесь рассказывают монархист Краснов и кадет Милюков. Корниловское выступление было по существу выступлением монархической и буржуазной контр-революции против все выше поднимавшего голову, после июльского поражения, пролетариата.

Непосредственной задачей этого движения было уничтожение уцелевшего после июля зародыша рабоче-крестьянской власти — Советов, которые хотя еще и находились под руководством мелкобуржуазной демократии, но подпадали все в большей мере под влияние партии большевиков, непрерывно возраставшей в них численно. Историческая обстановка наложила на вспыхнувшую таким образом борьбу между пролетариатом и буржуазией своеобразный отпечаток.

Каковы были цели корниловского мятежа? и каковы были те социальные силы, на которые он опирался? И на тот и на другой вопрос мы находим достаточно ясный ответ в признаниях авторов воспроизводимых здесь мемуаров.

„Нашей задачей,— говорит Краснов,— сколько я мог понять в ставке, являлся арест членов временного правительства и арест Совета солдатских и рабочих депутатов, иными словами, захват Зимнего дворца, Смольного института и Таврического дворца". (Краснов, „На внутреннем фронте" стр. 20 настоящего тома.)

Задача, надо сказать, вполне определенная; при этом цели корниловцев—самые „благородные": спасти армию от разложения, спасти Россию от гибели, иногда—даже „спасти революцию". Да, и о спасении революции думали, как оказывается, корниловцы; вот что например, депутаты мусульманского союза, которые явились к шедшей на Петроград „дикой дивизии", услышали, „вероятно, от офицеров этой дивизии": контр-революционных замыслов они не питают, идут в Петроград для защиты революции и страны от временного правительства. Генерал Корнилов — единственный революционный вождь, способный вывести страну и

революцию из того тяжелого положения, в котором она сейчас находится". (Милюков, „Ликвидация выступления Корнилова", стр. 90 настоящей книги.) Какова, однако, та революция, которую они надумали спасать, и какими средствами они намеревались осуществить это спасение,—об этом более обстоятельно поведали в Могилеве Краснову офицеры штаба походного атамана. Туда он зашел перед отправлением в „действующую армию" Корнилова, шедшую походом на Петроград:

„Они мне подробно рассказали о том, что Керенский определенно ведет армию к полному разложению, и, если он останется у власти, солдаты покинут фронт и станут драться с немцами. Керенский совершенно подчинился исполнительному комитету Совета солдатских и рабочих депутатов, того Совета, который издал приказ № 1. Правительство ничего не стоит и ничего не понимает; России угрожает гибель. Спасти может только диктатура, и в решительную минуту, когда самое существование России висело на волоске, верховный главнокомандующий взял на себя свергнуть Керенского и стать во главе России до учредительного собрания". (Краснов, там же, стр. 18.)

Итак, вот в чем корень зла: Керенский подчинился Совету. Сам по себе он, быть может, был бы еще терпим. Но он — плоть от плоти и кость от кости той самой „революционной демократии", которая еще господствовала в Советах. А в Советах эта демократия находится под постоянным давлением их левого, пролетарского крыла и — волей-неволей — передает это давление временному правительству и его главе — Керенскому. Последний, правда, подвергается давлению и справа, но к нему он недостаточно чуток, и потому его надо сбросить. Режим худосочной и слабосильной „революционной демократии" надо заменить режимом полнокровной военной диктатуры.

А шансы успеха? Их военная клика оценивала исключительно с технической точки зрения, и потому успех ей казался почти обеспеченным.

„Керенского в армии ненавидят. Кто он такой? Штатский, едва ли не еврей, не умеющий себя держать фигляр, а против него брошены лучшие части. Крымов (командующего корниловской армией, посланной на Петроград. *С. А.*) обожают, туземцам (входившим в состав отправленной на Петроград „дикой дивизии". *С. А.*) все равно, куда итти и кого резать, лишь бы их князь Багратион был с ними. Никто Керенского защищать не будет. Это—только прогулка; все подготовлено". (Краснов, там же, стр. 19.)

Так успокаивали Краснова в том же штабе походного атамана.

Завтра эти недавние герои нагаечного режима царизма станут в порыве благородного негодования обличать

большевиков в том, что те ведут борьбу против „всего народа“ штыками обманутых ими латышей и китайцев. Сегодня они еще не видят ничего предосудительного в том, чтобы направить туземцев, которым „все равно, куда итти и кого резать“, против — даже не большевиков, а своих вчерашних (июльских) и завтрашних (послеоктябрьских) союзников,— „революционной демократии“. Так меняют свой вид, применительно к обстоятельствам, „простые законы права и нравственности“.

Какая судьба ожидала спасаемую корниловцами Россию вместе с революцией в случае их успеха? Теперь, после пережитого опыта гражданской войны, уже ни у кого не может быть сомнений на этот счет.

Спустя немного месяцев после корниловского выступления идея военной диктатуры была подхвачена и осуществлена сначала Деникиным, а потом—Колчаком в захваченных ими областях Юго-Востока и Сибири. И точно так же, как у Корнилова, и на их знаменах красовался тот же самый лозунг учредительного собрания. И у Корнилова, в случае его успеха, этот лозунг служил бы прикрытием того же самого режима, какой водворился некоторое время спустя в „Деникин“ и „Колчаковии“: это был бы кровавый режим белого террора, направленного к восстановлению и укреплению надломленной Февральской революцией, но не низвергнутой власти помещиков и капиталистов.

Лозунги, как и партии, имеют свою судьбу. Не пройдет и нескольких месяцев, как тот же лозунг учредительного собрания, произнесенный устами того же Корнилова и корниловцев, станет привлекать под их знамена еще вчера с ними боровшихся, далеко не последних представителей „революционной демократии“, которые пойдут не за страх, а за совесть служить российской контр-революции на ролях „наемных детей при дамах легкого поведения“. Но сегодня, в минуту смертельной опасности, „революционные демократы“ еще достаточно умны, чтобы разглядеть белогвардейское обличие носителей этого лозунга и пойти против них с винтовкой и штыком в руках. Так разоблачила история двойную бухгалтерию партий „революционной демократии“.

В чью же пользу совершал свое выступление Корнилов, на кого он опирался? Конечно, он действовал „в интересах всего народа“ и обращался „ко всему народу“. Но... слова его приказа не могли обмануть даже Краснова:

„Тут же мне показали приказ Корнилова, написанный в сильных, но слишком личных тонах. „Сын казака-крестьянина“ звучало как-то не у места и не отвечало всему тону приказа, написанному не по-крестьянски.

В прекрасно, благородно, смело написанном приказе звучала фальшь. В штабе походного атамана ее не замечали, но солдаты и казаки уловили ее сразу и потом только ее и видели. Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости: „Долой войну! Подавай нам мир и землю. Мир по телеграфу". А приказ настойчиво звал к войне и победе". (Краснов, стр. 18—19.)

И солдат, и казак уловили фальшь „благородно", „смело", но не по-крестьянски написанного приказа. Солдат, это, в общем, — крестьянин-середняк. Казак, это — более зажиточный крестьянин, с кое-какими привилегиями, нередко — крестьянин-кулак. И тот и другой хотели мира и помещичьей земли, и тот и другой легко понимали, что ни мира, ни земли Корнилов им не даст. А без крестьянства и против крестьянства — кто знает? — удастся ли свалить Керенского?

А ведь крестьянство — не единственный недруг Корнилова, и Краснов это понимает:

„Какое и откуда сопротивление мы могли встретить? — спрашивает он. -Конечно, „краса и гордость революции"—матросы вступятся за своего вождя и героя, может быть,— рабочие и весьма вероятно— петроградский гарнизон, который стал в положение преторианцев и боится, что Корнилов отправит его на фронт" (стр. 20).

В частности железнодорожники готовились сыграть совсем скверную штуку с корниловцами, задержав в пути их эшелоны. — прием, повторенный впоследствии, после Октября, в отношении Керенского:

„Потому ли, что настроение железнодорожников после воззвания Керенского изменилось, и они уже были против Корнилова и называли его изменником, потому ли, что технически, при разрушенном пути, нельзя было подать эшелоны вперед, но эшелоны стояли"... (стр. 22).

И даже самому Корнилову не удалось пробраться на организованный им „фронт". Вот что рассказал он впоследствии французскому журналисту:

„Железнодорожники получили приказы: я не мог получить поезда, чтобы приехать в окрестности столицы. В Могилеве мне бы дали поезд, но в Витебске меня бы арестовали". (Милюков, стр. 89.)

Итак, против Корнилова были крестьяне, рабочие, солдаты. А за него стояло контр-революционное офицерство, взявшее на себя осуществление реставрационных вожделений буржуазии и помещиков. Нельзя думать, что контр-революционная офицерская организация ограничивалась только ставкой. Напротив, и в Питере свила себе гнездо клика заговорщиков из среды правого офицерства, которая подготовила даже на последние числа августа провокационное выступление под видом большевиков. Чрезвычайно любо-

пытно приводимое Милюковым сообщение об этом Винберга из книги его „В плену у обезьян“:

„Несмотря на неумелость в ведении заговора, на многие неблагоприятные обстоятельства, сыгравшие роковую роль, заговор до последнего момента мог бы увенчаться успехом, если бы не трусость и нечестность петроградских руководителей... Все в те первые два дня приближения корпуса Крымова (очевидно, 27 и 28 августа) было подготовлено так, что можно было без большого риска начать действовать. Но Гейман самую решительную ночь провел в Вилла-Роде, а Сидорин и дю-Симетьер именно тогда, когда от них все ждали решительного сигнала, последних распоряжений,— исчезли бесследно, и нигде их нельзя было найти“.

„Это показание Винберга,—говорит дальше Милюков,— вполне подтверждается заявлением полковника Дутова В. Н. Львову в Оренбурге, в январе 1918 года. После слов: „между 28 августа и 2 сентября под видом большевиков должен был выступить я“,—Дутов продолжал: „но я бегал в экономический клуб звать выйти на улицу, да за мною никто не пошел“.

„Дальнейшим объяснением провала всей той части предприятия, которая организована была в Петрограде офицерами, может служить еще одно показание Винберга. Автор интересных записок указывает именно на то, что предназначенные на организацию суммы были „некоторыми крупными участниками злосчастного дела“ попросту присвоены или прокучены“.

„В. Н. Львов по поводу этой подробности вспомнил в мае 1921 г. в беседе со мной про один эпизод, рассказанный ему лицом, участвовавшим в передаче денег офицерским организациям. Лицо это должно было передать офицерам очень значительную сумму. Но, приехав в назначенное место, оно застало „заговорщиков“ в таком состоянии опьянения, что передать им денег не решилось“.

Эти сообщения Милюкова не оставляют никакого сомнения в существовании контр-революционной заговорщической организации и даже организаций как раз в то время, когда временное правительство усматривало только одну опасность для „революции“,— большевистскую. Эти заговорщические организации правильно снабжались деньгами, очевидно, теми элементами, которые деньгами обладали, т.-е. буржуазией. Именно эти заговорщики и подготовляли провокационное выступление, под видом большевиков, в Петрограде в последних числах августа,— выступление, которое должно было дать повод правительству обрушиться на большевиков с новыми репрессиями. Как раз слухи об этом, подготовляемом якобы большевиками, выступлении и послужили основанием Савинкову и Керенскому для вызова войск к Петрограду. Мы видим, таким образом, из какого мутного источника черпало временное правительство свою энергию для борьбы с большевизмом. Любопытно также сопоставить „разложение“ солдатской массы армии, знаменовавшее собой непреодолимую тягу солдата к миру и его стремление к освобождению от палочного режима, с моральным падением контр-революционного офицерства, столь яркими чертами изображенным Милюковым.

Итак, в корниловском выступлении контр-революционное офицерство оказалось поставленным лицом к лицу с широкими рабочими, крестьянскими и солдатскими массами. Было от чего задуматься заговорщикам, было от чего усомниться в успехе предприятия.

Как бы то ни было, жребий был брошен, и 27 августа Корнилов на приказ Керенского сдать должность Лукомскому и прибыть в Петроград ответил отказом и приказал Крымову двигаться к Петрограду: начался открытый мятеж его против временного правительства.

Известно, с какой нерешительностью и колебаниями пошел Керенский на усмирение Корнилова. Известно, что стягивание „надежных" казачьих эшелонов к Петрограду началось еще до корниловского выступления по распоряжению тогдашнего военного министра Савинкова, но с ведома и согласия самого Керенского, при чем поводом к этой операции послужило назначенное якобы большевиками (а в действительности—контр-революционными заговорщиками) на 28—29 августа выступление против временного правительства. А когда под давлением Совета Керенский все же решился выступить на борьбу против Корнилова, то это не была с его стороны борьба против классового врага,— это была борьба с соперником, задумавшим вырвать власть из его рук.

Борьбу решили, однако, не вооруженные силы Корнилова и Керенского. Борьбу решило участие в ней трудящихся масс, организованных вокруг Советов. В этих последних, правда, в общем еще господствовало меньшевистско-эсеровское большинство, но в то же время все быстрее усиливалось влияние на них партии большевиков, параллельно с ростом ее значения в массах. Большевики приняли в этот момент тактику „единого фронта" борьбы против корниловщины; они не только поддержали меньшевистско-эсеровские Советы, но и выступили в роли организаторов борьбы; как раз в процессе отпора Корнилову руководящая роль в Советах начала фактически переходить к партии большевиков. В Питере и в провинции были организованы Советами „комитеты народной борьбы с контрреволюцией", „комитеты спасения революции", „комитеты по охране революции" и т. п. учреждения. На корниловский „фронт" были отправлены агитаторы, а также ряд делегаций, целью которых было разъяснение солдатским массам истинного смысла корниловского выступления. Речи агитаторов упали на благодарную почву:

„Солдат устал от войны, окопная жизнь ему на-смерть надоела, его тянуло домой, на ту самую землю, которой он, наконец, добился (на самом деле, как известно, этой земли он только еще добивался. *А. С.*)... Солдат

ждал и прислушивался только к одному слову, и это слово было мир... Войны хотели только генералы и офицеры, потому что она им выгодна, так как дает им чины и награды,— так внушали солдату, и солдат этому верил... Керенский был их (солдат) адвокатом и защитником перед офицерами и генералами и потому был любим не как Керенский, а как идея мира". (Краснов, стр. 25.)

Результаты агитации быстро сказались:

„Вопрос был решен... не столько передвижениями войск, стратегическими или тактическими успехами правительственных или корниловских отрядов, сколько настроением войск. Вопрос решили здесь,— как и на фронте,— не полководцы, а солдаты..." (Милюков, стр. 90.)

Борьбу с контр-революцией повели теперь „низы", сама солдатская масса.

„Предоставленные самим себе, томящиеся в застрявших на путях эшелонах, казаки и солдаты, смущаемые воззваниями Керенского и его агитаторами, пошли по этой проторенной за шесть месяцев дорожке — арестовать офицеров и послать делегации в Петроград спросить, что делать"...

„Так большая часть офицеров приморского драгунского, 1-го нерчинского, 1-го уссурийского и 1-го амурского казачьих полков были арестованы драгунами и казаками. Офицеры 13-го и 15-го донских казачьих полков были в состоянии полуарестованных. Почти везде в фактическое управление частями вместо начальников вступили комитеты". (Краснов, стр. 26, 27.)

Параллельно агитации на фронте, советскими организациями велась борьба с контр-революцией и на местах. Всего ярче их роль в этом отношении охарактеризована в приводимом у Милюкова докладе меньшевика Богданова в заседании Петроградского Совета 31 августа.

„Когда временное правительство заколебалось, и не было ясно, чем кончится корниловская авантюра, появились посредники в роде Милюкова и генерала Алексеева, которые могли испортить все дело. Но выступил политический отдел (комитета борьбы, только что организованный) и со всей энергией воспрепятствовал какому бы то ни было соглашению правительства с Корниловым. Мы заявили, что не может быть никаких колебаний, что перед властью один путь — беспощадной борьбы с Корниловым. Под нашим влиянием правительство прекратило все переговоры и отказалось от всяких предложений Корнилова... Что касается охраны Петрограда, то и в этом направлении нами приняты все меры... Мы имели основание предполагать, что петроградские контр-революционеры могут предпринять шаги в пользу Корнилова (ср. выше). У нас есть сведения, что отдельные группы и организации сочувствуют этому генералу, и, чтобы предотвратить возможность контр-революционных выступлений, мы произвели в течение трех дней много самочинных действий. Временное правительство не могло уследить за всем, оно и просило нас сообщать ему факты, имеющиеся в нашем распоряжении. Но для добывания этих фактов зачастую требовались решительные действия. В этом случае, как и в других, мы сочли своим долгом помочь правительству, не считаясь с формальной стороной дела. Мы постановили закрыть четыре газеты, мы произвели аресты и обыски в гостинице „Астория", где, как оказалось, находился главный штаб Корнилова

в Петрограде. Там было задержано сорок человек, с корнетом Сумароковым во главе. Мы произвели арест председателя военной лиги Федорова, в лице которого лига оказалась непосредственно причастна к заговору генерала Корнилова. Вчера (с 30-го на 31-е), с 11 ч. вечера до 9 утра нами производились аресты и обыски. Аресты и обыски продолжались и сегодня"... (Стр. 94 — 95.)

Чрезвычайно любопытно это свидетельство,— исходящее притом из уст почти „своего" для временного правительства человека — свидетельство вялости, нерешительности и явной неохоты, с какой временное правительство решилось на борьбу с Корниловым. Это и немудрено, если вспомнить, что само временное правительство состояло тогда почти наполовину из корниловцев и полукорниловцев[1]). В руки корниловцев и полукорниловцев попало „волею судеб" дело борьбы с Корниловым, подобно тому как за полвека слишком до того в руки крепостников попало дело уничтожения крепостного права. Нечего удивляться тому, что корниловцы хотели „бороться" с Корниловым посредством соглашения с ним. Нечего удивляться и тому, что корниловское движение было „уничтожено" таким образом, что цвет корниловского генералитета во главе со своим вождем, запрятанный для отвода глаз и для спасения от солдатского гнева в тюрьму, беспрепятственно оттуда ушел после Октября (именно „ушел", а не бежал) и возглавил корниловско-деникинско-врангелевскую контр-революцию, в течение трех лет раздиравшую Россию гражданской войной.

Едва ли, однако, не самым замечательным результатом такого способа подавления корниловского движения было то, что буквально на следующий же день после его краха стало подготовляться новое корниловское выступление — уже руками самого временного правительства и, в частности, Керенского. Вот что об этом рассказывает „герой" корниловского похода Краснов:

„1 сентября (т.-е. непосредственно вслед за ликвидацией похода на Петроград. *С. А.*) к Пскову собрались Приморский драгунский и Уссурийский казачий полки (участвовавшие в походе. *С. А.*) и стали разгружаться и расходиться по деревням... Все остальные части были повернуты обратно и направлены на Псков. А 2 сентября в 8 часов вечера за мною внезапно приехал адъютант начальника штаба фронта и повез меня в штаб. Мне передали шифрованную телеграмму от верховного главнокомандующего Керенского о том, что, ввиду возможности высадки немцев в Финляндии и беспорядков там, необходимо сосредоточить 1-ю донскую дивизию в районе Павловск — Царское, штаб в Царском, а Уссурийскую дивизию в районе Гатчина — Петергоф, штаб в Петергофе.

[1]) В состав временного правительства к моменту корниловского выступления входило 7 кадетов или кадетообразных беспартийных и 11 социалистов, в числе последних—сам Керенский и корниловец Савинков.

„Каждый из нас, уже по самой дислокации корпуса, понимал, что беспорядки в Финляндии и высадка немцев—это тот фиговый листок, которым прикрывались настроения Смольного института и открытая пропаганда Ленина в войсках петроградского гарнизона" (стр. 35).

Да, „каждый понимал", что после опереточного „подавления" корниловского мятежа войска, участвовавшие в этом мятеже, сосредоточиваются временным правительством под Петроградом уже для подавления Смольного института (т.-е. Совета) и Ленина. Но для укрепления этого понимания генерал Краснов немедленно приступил к соответствующей агитации. Уже 7 сентября он собрал в Пулкове представителей размещенных в этом районе 9-го и 10-го казачьих полков, за исключением... простых казаков.

„В просторной сельской школе были собраны все офицеры и большая часть урядников полков. Прибыло много казаков, моих старых сослуживцев, для того, чтобы посмотреть на меня.

„Я коротко и совершенно откровенно рассказал офицерам и казакам обстановку. Я не скрывал от них, что цель нашего присутствия в Петрограде— не столько угроза немецкой высадки, сколько страшная темная работа большевиков, стремящихся захватить власть в свои руки.

„Дорогие мне лица окружали меня. Я видел пламенные, восторженные взгляды моих соратников под Белжецем, Комаровым, Невинской, Залещиками и во многих, многих делах. Я чувствовал, что среди них я свой.

„Я кончил.

„— Ваше превосходительство! — раздались гулом голоса,— не извольте ни о чем беспокоиться. Мы — корниловцы! Велите — и мы вам Керенского самого предоставим. Мы понимаем, где порядок" (стр. 41.)

Нет, не придется „станичникам" „предоставлять" Керенского Краснову: завтра Керенский уже открыто призовет того самого Краснова, который шел его арестовать, для подавления рабочего и солдатского восстания в столице.

Корниловское выступление выявило воочию никчемность и историческую ненужность коалиционного правительства. Последнее обнаружило, с одной стороны, свою неспособность выполнять, как следует, задачи контр-революции, с другой стороны,—неуменье, а главное—нежелание раздавить контр-революцию и тем обеспечить дальнейшеее развитие революции. Таким образом, корниловский мятеж подорвал опору коалиционного временного правительства как справа, так и слева; он обострил до крайней степени непосредственную борьбу за власть между враждебными социальными силами, он вовлек в эту борьбу новые широкие массы, усилил в огромной мере их революционную активность и укрепил руководящую роль в борьбе за партией пролетариата. После корниловского мятежа перед буржуазной Февральской революцией оставалось только два пути: либо к рабоче-крестьянской республике Советов, либо к буржуазно-помещичьей реставрации. Судьбу революции

решило вовлечение широчайших масс крестьянства в борьбу за землю и мир.

Третьего пути развития нашей революции с упорством и усердием, достойными лучшей участи, искали представители так называемой „революционной демократии“ в роде известного меньшевистского лидера Дана. Только его статья из собранных в настоящем сборнике рассматривает более или менее обстоятельно вопрос об условиях назревания октябрьского кризиса коалиционного временного правительства. Напрасно мы стали бы, однако, искать в ней марксистского анализа условий Октябрьского переворота, т.-е. анализа классовой группировки перед Октябрем и основанной на ней борьбы социальных сил. Она представляет лишь попытку обоснования и защиты тактики нашего официального меньшевизма перед Октябрем. Зато статья Дана сама может служить недурным объектом марксистского анализа, так как дает весьма любопытный материал для оценки позиции и поведения представляемой им партии в отношении Февральской и Октябрьской революций.

От марксизма Дана отделяет понятие „революционной“ или „чистой демократии“. Оно является для Дана фетишем, не поддающимся дальнейшему анализу. А между тем, если бы он захотел быть марксистом, то он увидел бы, что понятие это есть не что иное, как эвфимистическое (благозвучное) наименование мелкой буржуазии. Но мелкая буржуазия неспособна создать самостоятельную политику. Имея в одном теле две души,— душу эксплоатируемого и эксплоататора, душу „труженика и спекулянта“, она способна лишь колебаться между двумя основными силами революции — пролетариатом и буржуазией.

Дан и представляемая им партия центрового меньшевизма думали, однако, иначе. Они стремились создать, взамен коалиционной, „чисто-демократическую власть“ и выработали для этой последней „чисто-демократическую“ программу. Вот она:

„Мы требовали от правительства немедленного обращения к союзникам с предложением открыть переговоры о всеобщем мире; немедленной передачи всех помещичьих земель в руки местных земельных комитетов, как залога разрешения аграрного вопроса в духе требований крестьянской массы; ускорения созыва учредительного собрания. По нашему представлению, только на почве выполнения этой программы мыслима была борьба с большевиками с некоторыми шансами на успех“. (Дан, стр. 121.)

Нельзя не признать, что, выступая с такой платформой, Дан и меньшевики вполне заслужили прозвище „полубольшевиков“. В самом деле, все эти три требования соответствуют трем основным предоктябрьским лозунгам больше-

виков, у которых они, несомненно, украдены. Но они настолько же отличаются от своего прототипа, насколько всякий ублюдок отличается от своего „левого“ (как и „правого“) родителя. „Мы требовали... немедленного обращения к союзникам с предложением открыть переговоры о всеобщем мире“; а большевики требовали просто немедленного заключения мира, хотя, оказавшись у власти, и они начали с предложения „союзникам“ (а также и „неприятелю“). Из большевистского лозунга вытекала возможность заключения мира и в случае несогласия союзников — без них и вопреки им, между тем как меньшевистское требование трусливо умалчивает о том, что будет, если союзники отклонят предложение „открыть переговоры“. „Немедленной передачи всех помещичьих земель в руки местных земельных комитетов, как залога разрешения аграрного вопроса в духе требований крестьянской массы“; а большевики выдвинули лозунг революционного захвата крестьянством помещичьей земли и не останавливались перед лозунгом: „грабь награбленное“... „Ускорение созыва учредительного собрания“. И большевики требовали того же, но прибавляли еще: „Вся власть Советам“.

Мы видим, что требования меньшевиков, это — большевистские лозунги, но обесцвеченные, выхолощенные и прилизанные,— с вынутой душой, с отлетевшим настроением, с выкраденной волей к действию. А их политический смысл состоял не в том, чтобы проложить дорогу пролетарской революции, а в том, чтобы гасить в массах волю к этой революции. Само собою разумеется, думать, будто „только такие меры вырвут почву из-под ног большевиков“ (стр. 127), было все равно, что думать потушить пожар с помощью садовой лейки.

Для осуществления своей платформы и предотвращения пролетарской революции, Дан и возглавляемые им меньшевики желали создать „чисто-демократическое“, т.-е. чистое мелкобуржуазное правительство, противопоставляя эту идею идее революционного захвата власти пролетариатом.

„Мысль, руководившая нами при созыве Демократического Совещания, состояла в том, чтобы попытаться создать демократическую власть, опирающуюся не только на те элементы революционной демократии, в тесном смысле этого слова, которые сосредоточились в Советах, но и на те, которые имели прочную базу в кооперативах и органах местного самоуправления (городских думах и земствах)“. (Дан, стр. 116.)

Иными словами, мелкобуржуазное правительство они пытались связать не с широкими массами крестьянства, а с теми группами мелкобуржуазной интеллигенции, которые находились вне Советов и, следовательно, не подвергались

непрерывному давлению со стороны рабочей и солдатской (т.-е. крестьянской) их частей. В августе, на Демократическом Совещании, попытка эта потерпела довольно позорное фиаско, ибо не-советская „революционная“ демократия и слышать не хотела о „чисто-демократическом“ правительстве, а мыслила возможной только коалицию с буржуазией. Тем не менее, неудача эта ничему не научила Дана и его соратников: и в октябре, в предпарламенте, они возятся все с тою же мыслью о „чисто-демократической“ власти.

„Мы надеялись, что на почве Совета Республики нам удастся добиться смены коалиционного правительства правительством чисто-демократическим, способным на деле быстро и решительно осуществить основные положения платформы 14 августа“. (Дан, стр. 120.)

Безнадежность позиции Дана и его соратников заключалась в том, что отвергая в резолюциях коалицию с буржуазией, они в то же время и словом и делом отвергали и пролетарскую революцию; отстаивая во что бы то ни стало буржуазный характер революции, против которого восставали все более и более широкие массы рабочих и крестьян, они фактически возвращались к тому самому союзу с буржуазией, от которого открещивались, осуждая коалицию; вступив на путь борьбы с захватом власти пролетариатом, они объективно играли роль агентов буржуазии[1]). И если накануне Октября „пролетарская совесть“ еще мешала им итти с поднятым забралом на союз с буржуазией в вопросах о коалиции и в ряде других случаев, то их межеумочное положение сказывалось в нелепых и безнадежных попытках ослабить остроту и ужасы гражданской войны, уладить посредством убеждений и соглашений те социальные конфликты, которые могли быть разрешены только оружием. Этой стороной своей политической деятельности (особенно ярко проявившейся у руководимого Даном меньшевистского „болота“) меньшевики выступали уже, как партия политических импотентов, партия резонеров, неспособных ни к „левому“, ни к „правому“ политическому действию и путающихся в ногах у обеих сторон. Отсюда — смешная серьезность, с какой Дан еще в 1923 г. повествует, как о событии чрезвычайной важности, о своей резолюции, принятой предпарламентом в канун 25 октября и долженствовавшей повернуть на другой путь развитие революции. Отсюда его нелепая попытка убедить Керенского, что в момент восстания спасение не в том, чтобы действовать оружием, а в том, чтобы раскидить и разослать по телеграфу эту его замечательную резолюцию;

[1]) Автор настоящих строк в то время сам был в рядах меньшевиков правого крыла (оборонцев). Поэтому и сам он в еще большей степени, чем меньшевистский центр, подпадает в прошлом под ту же характеристику.

отвращение филистера к „чисто военно-техническим мерам“ (стр. 130) нисколько не спасает его от впадения в парламентско-„резолюционный“ кретинизм.

Итак, политическое положение перед Октябрем сложилось следующим образом: коалиционное временное правительство не поддерживалось ни справа, ни слева. Правым, т.-е. жаждущей реставрации буржуазии, оно было ненавистно, и они с нетерпением ожидали его падения, хотя бы от руки большевиков, чтобы, освободившись от всякого „демократического“ этикета, раздавить железным кулаком большевистскую опасность. Левые, т.-е. широкие рабочие и солдатские массы, во главе с партией большевиков, готовились к его свержению для того, чтобы осуществить лозунг „вся власть Советам“, т.-е. дать мир стране, завершить буржуазно-демократическую революцию и открыть дорогу социалистической. А мелкобуржуазная демократия раскололась; незначительная ее часть (левые эсеры) пошла с пролетариатом, основная же ее масса частью прямо присоединилась к буржуазии, чтобы вступить в вооруженную борьбу с восставшим пролетариатом, частью же оказалась представленной разнообразными, друг с другом враждовавшими и друг друга нейтрализовавшими интеллигентскими группировками, утратившими политическую действенность вследствие отрыва от своей социальной базы и потери влияния на массы.

Таким образом временное правительство превратилось в пустой символ, в знак некогда бывшей силы, потерявший свое обаяние, подобно тому, как теряют ценность бумажные деньги, когда в казначействе нет золота. Падение его, однако, произошло далеко не так гладко, как за 8 месяцев до того — падение самодержавия. Рабочее и солдатское восстание с целью свержения временного правительства заставило выступить на его защиту, на-ряду с разнообразными политическими группировками мелкой буржуазии, также и более активные правые группы. Таким образом Керенскому удалось собрать кое-какие военные силы для того, чтобы оспаривать победу у петроградского Военно-Революционного Комитета, вооруженные силы которого были, в сущности, также весьма невелики, а главное — неорганизованы и нестойки. Интересен и весьма характерен состав активных защитников временного правительства во время восстания (см. ст. Синегуба, Керенского, Станкевича). Из всего петроградского гарнизона с правительством в Зимнем дворце, где оно собралось в последний день своего существования, остались только юнкера и деклассированные, выбитые из своей социальной колеи элементы армии в роде женского

батальона и отряда инвалидов. А вне Петрограда Керенский по иронии судьбы наиболее активного своего защитника и исполнителя своей воли, как „верховного главнокомандующего", нашел в лице того самого монархиста Краснова, который за два месяца до того шел на Питер с целью низвержения и ареста Керенского.

На-ряду с Красновым, в числе вождей и организаторов вооруженных сил, двинутых защитниками врем. правительства для подавления Октябрьского восстания, мы встречаем далеко не единичных представителей разнообразных социалистических группировок: „энес" Станкевич командует одним из отрядов, защищающих Зимний дворец, меньшевик Войтинский пытается организовать карательный отряд на Северном фронте, эсер Гоц участвует в организации юнкерского восстания в Петрограде.

Фактическое описание Октябрьского переворота и низвержения временного правительства мы находим в ряде статей сборника: Краснова, Керенского, Синегуба, Коренева, Станкевича, Милюкова (2-я статья), Деникина,—которые, впрочем, дают либо описание разных событий, либо разные точки зрения. Однако, как ни отличаются все эти авторы друг от друга как по своей политической физиономии, так и по своей роли в событиях, все они указывают на одну общую причину поражения Керенского и успеха восстания: это так называемое „разложение армии" и упадок военной дисциплины, т.-е., точнее,—глубокое отвращение солдатской массы к войне и ее ненависть к временному правительству и Керенскому, как к носителю идеи войны, а не мира. Крестьянское „пушечное мясо" отказывалось исполнять свое историческое предназначение, и даже казаки в отряде Краснова оказались не только против Керенского, но и против своего собственного офицерства.

Весьма поучительно проследить, с какой точностью классовая окраска той или иной части армии определяет ее отношение к временному правительству и к восстанию 25 октября. Военные училища, заполненные в большинстве случаев буржуазными сынками, либо представителями деклассированной интеллигенции, в общем более или менее охотно выступают за Керенского. Выступила за него, между прочим, и военная школа, в которой состоял Синегуб. Но солдаты нестроевой команды (т.-е. простые солдаты-крестьяне) отказались выступить, и их представитель заявил на общем собрании школы:

„Так как на этом собрании решается вопрос о братоубийстве, о борьбе за капитал против свободы рабочего трудящегося народа, против нашего защитника В. И. Ленина и, значит, образованного им настоящинского народного правительства, то мы, члены комитета нестроевой команды, решили вас, господ, оставить одних. Нам с вами не по дорогс..

И на тов. Сидорова... не смотрите. Он—враг пролетариата, так как продался буржуазии" (стр. 135)

Явились в Зимний дворец на защиту временного правительства, между прочим, школы прапорщиков из Ораниенбаума и Петергофа. Но во дворце они устроили общее собрание и затем... ушли. На их собрании, — докладывал Синегубу юнкер Мацлевский,—

„такая картина стыда, что я убежал оттуда. Друг друга не слушают, кричат, свистят. Не юнкера, не завтрашние офицеры, а стадо глупого баранья: тупые, глупые, грубые. Уже по их виду вы догадаетесь, что все это—от сохи, полуграмотное невежественное зверье" (стр. 143).

„От сохи",- это решает все дело: и если это „полуграмотное зверье" удостаивается чести быть принятым в школу прапорщиков, то оно платит за добро черной неблагодарностью и изменой.

Классовая вражда крестьянско-солдатской части армии к правительству Керенского, как к защитнику интересов буржуазии, была решающим фактором поражения Керенского в борьбе его против власти Советов. И наиболее ярким показателем отношения солдатских масс к борьбе Керенского с большевиками является тот факт, что из всей многомиллионной армии Керенскому удалось двинуть против восставшего Петрограда всего лишь несколько казачьих сотен.

Таким образом солдатская часть армии в подавляющем большинстве оказалась настроенной либо против временного правительства и Керенского, либо, в лучшем случае для последних, объявляла „нейтралитет" в борьбе между Керенским и большевиками. Но и право-настроенные генералитет, офицерство, юнкера—также не могли оказать ему действительной поддержки. Основной причиной, парализовавшей их контр-революционную волю, была опять-таки классовая вражда солдатских „низов" к офицерским „верхам",—вражда мужика к барину, обострившаяся в армии за 8 месяцев Февральской революции до крайней степени благодаря тому, что взявший винтовку барин стоял за войну, а мужик—за мир, барин—за „порядок", а мужик—за землю барин—за „дисциплину", а мужик—за „свободу". Когда в Гатчине Краснову понадобились аэропланы, то оказалось, что

„офицеры авиационной школы все были с нами, не боялись своих солдат и могли только дать два аэроплана, которые полетели в Петроград разбрасывать мои приказы" (стр. 62.)

Это—один пример из множества. Против офицера стоял солдат и связывал ему руки. Но и внутри самого офицерства было неблагополучно. В 1917 г. оно уже не было той классово однородной массой дворян и дворянских сынков, как кадровое офицерство 1914 г. В нем уже значительный процент составляли офицеры из „нижних чинов", а также

из „простонародья“ и „от сохи“, прошедшие через краткосрочные курсы или „школы прапорщиков“. По своему классовому настроению они не только не могли составить надежную опору контр-революции, но иногда прямо переходили на сторону революционных масс.

Однако, и в контр-революционное офицерство проникло разложение. То обстоятельство, что застрельщиком борьбы с большевиками выступил „социалист“, „полубольшевик“, „едва ли не еврей“ Керенский, не могло не внести глубокой смуты и распада в среду правых элементов армии. В результате среди них появилась целая амплитуда настроений, враждебных Керенскому. Собранные здесь белогвардейские авторы дают достаточно яркие иллюстрации этого развала, деморализации и внутреннего паралича контр-революционной военщины к моменту Октябрьского восстания. Часть из этих правых элементов с злорадством ожидала, когда один сорт „мерзавцев“ — большевики — сорвет голову второму — временному правительству, чтобы потом выступить и сокрушить первых:

„Их стратегический план состоял в том, чтобы сначала не препятствовать успеху вооруженного восстания большевиков, а затем, после падения ненавистного временного правительства, быстро подавить большевистский „бунт“. Таким образом должны были быть достигнуты, наконец, цели, поставленные корниловскому восстанию“ (Керенский, стр. 169).

Другая часть правых, в том числе — можно с уверенностью утверждать — большинство офицерства — предпочитала пассивно выжидать событий. Третьи враждой к Керенскому старались прикрыть свое шкурничество и своекорыстие.

В этом отношении чрезвычайно характерны картины крайнего разложения офицерства, приводимые в статье Синегуба. В то время, как „дураки“ из числа офицеров и юнкеров, вроде самого Синегуба, в ночь на 26 октября защищали в Зимнем дворце временное правительство, более „умные“ попросту шли в офицерские собрания (клубы), где и отсиживались. В один из таких клубов удалось пробраться после сдачи дворца и Синегубу. Вот что он там увидел:

„Первое, что бросилось в глаза и удивило его, был большой стол, накрытый белой скатертью. На нем стояли цветы, бутылки, лежали груды сверток и раскрытая коробка с шоколадными конфетами. На полу, на диванчиках, на стульях и на походных кроватях спали офицеры“ (стр. 160).

Утром он узнал

„тайну убежища для г.г. офицеров и дам. Еще за несколько дней до выступления большевиков офицеры главного штаба и главного управления генерального штаба потихоньку обдумали мероприятия на случай такого выступления. И вот это убежище оказалось одним из таких мероприятий“ (стр. 160—161).

Впрочем, из числа доблестных защитников Зимнего дворца иные умудрились найти себе аналогичное убежище в самом дворце. Изумленный голодом Синегуб

„отправился разыскивать столовую. Толстый, важный лакей отворил дверь. Он шагнул в яркий ослепительный свет и остановился. Клубы табачного дыма, запах винного перегара ударили в нос, запершило в горле, а от пьяного разгула каких-то офицеров, из которых некоторые почти сползли со стульев, у него закружилась голова, затошнило. Он не выдержал картины и, несмотря на голод и жажду, выскочил из комнаты.

„Пир во время чумы... позор, это офицеры..." (стр. 146).

А перед Октябрем доблестное офицерство тоже выказало себя с лучшей стороны. В день 25 октября Синегуб, ожидая выступления многочисленного офицерства, стал рассказывать своему приятелю Шумакову,

„что, когда девятнадцатого числа он ездил с докладом в главный штаб то перед Зимним и перед штабом стояли вереницы офицеров и очереди за получением револьверов.

„Шумаков рассмеялся и начал шутить:

— „Ну и наивен же ты! Да ведь револьверы эти господа петербургские офицеры сейчас же по получении продавали. Да еще умудрялись по нескольку раз их получать, а потом бегали и справлялись, где это есть большевики, не купят ли они эту защиту временного правительства" (стр. 134).

Там, где до такого разложения дело не дошло, офицерство в массе обнаруживало пассивность, а иногда даже было не прочь перейти на сторону новой власти. В то время, как Керенский подходил с казаками к Петрограду, в самом Петрограде, по словам Краснова,

„все военное начальство находится в состоянии растерянности и лавирует так, чтобы сохранить свое положение при всяком правительстве.

„Я это видел и в Гатчине,— продолжает Краснов.— В Гатчине находилась школа прапорщиков. Почти батальон молодых людей отнюдь не большевистского настроения. Но начальство ее выступить с нами отказалось" (стр. 62).

А когда в Гатчине Краснову удалось разоружить только что прибывшую из Петрограда для борьбы с ним роту Измайловского полка, то в ее составе оказались и офицеры (стр. 59).

Однако часть офицерства все же оказала поддержку временному правительству. Больше того. Как правильно замечает Деникин,

„единственными элементами, к которым можно было обратиться за помощью для спасения государственности, по иронии судьбы оказались все те же „корниловские мятежники" — офицеры, юнкера, ударники, текинцы, все тот же 3-й конный корпус" (стр. 240).

Но глубокая вражда к „социалистам", к временному правительству и его главе отняли у этих людей активность и порыв. Все это были люди, „уже лишенные сердца, ясного стимула борьбы и вождя" (Деникин, стр. 240).

Таков был прежде всего сам „командующий армией“ в несколько сот сабель, двигавшейся на Петроград,— генерал Краснов. Посреди собравшегося в Гатчине

„цвета революционной демократии — монархическая фигура генерала Краснова, который всеми своими чувствами и побуждениями глубоко чужд и враждебен всему политическому комплоту, окружающему его и ожидающему от его военных действий спасения своего положения, интересов своих партий, демократического принципа, „завоеваний революции“ и т. д.“ (Деникин, стр. 239.)

Таково же было и все офицерство двигавшегося на Петроград отряда:

„Особенно мучительно переживало это трагическое недоумение офицерство отряда; оно с ненавистью относилось к „керенщине“ и если в сознательном или безотчетном понимании необходимости борьбы против большевиков стремилось все же на Петроград, то не умело передать солдатам порыва, воодушевления, ни даже просто вразумительной цели движения. За родину и спасение государственности? Это было слишком абстрактно, недоступно солдатскому пониманию. За временное правительство и Керенского? Это вызывало злобное чувство, крики „долой“ и требование выдать Керенского большевикам“ (там же, стр. 277).

Мы видим, что и без того ослабленная указанными обстоятельствами энергия контр-революционного офицерства еще более ослаблялась и парализовалась сопротивлением солдатской массы всякой идее о поддержке временного правительства и Керенского.

Наконец, огромное влияние на отношение армии к Октябрьскому перевороту оказало законодательство Советской власти. Изданные немедленно вслед за переворотом декреты о мире и о земле сыграли в этом отношении роль революционизирующих факторов неизмеримого значения.

Правда, кроме „корниловских мятежников“, около Керенского собралась еще группа представителей революционной и сомнительно-революционной демократии. Но и эти люди оказались „разделившимися на ся“ и лишь увеличивали общий сумбур, но не спасали положения: Керенский был настроен против Чернова, Чернов — против Гоца, Гоц — против Станкова, Савинков подготовлял заговор с Красновым и убеждал последнего арестовать Керенского.

При таких условиях было бы подлинным чудом, если бы Керенскому удалось отвоевать Петроград у большевиков. Тем не менее участникам похода Керенского и прежде всего ему самому его неудача казалась результатом цепи несчастных случайностей: не случись того или иного обстоятельства, и Керенский, несомненно, победил бы. Однако самое обилие этих случайностей, неизбежно неблагоприятных для Керенского, свидетельствует о лежащей в их основе закономерности. Любопытно поэтому проследить, как эти случайности вели и привели к поражению Керенского.

Для Керенского самыми катастрофическими из этих случайностей явились „измена“ главкосева (главнокомандующего северного фронта) генерала Черемисова — с одной стороны и вялость и нерешительность действий ставки — с другой. В действительности и то и другое было лишь яркими проявлениями отмеченного выше разложения восницы.

В ночь на 26 октября, когда еще не стихли залпы вокруг Зимнего дворца, Краснов прибыл в Псков с целью выступить на помощь временному правительству. За распоряжениями он обратился к своему прямому начальнику — главкосеву Черемисову. Последний был на заседании местного совета, и Краснову с трудом удалось вызвать его оттуда.

„Глаза (Черемисова) смотрели тускло и избегали глядеть на меня. Он зевал не то нервною зевотою, не то искусственною, чтобы показать мне, насколько все то, о чем я говорю ему, пустяки. „Временное Правительство в опасности,—говорил я, а мы присягали Временному Правительству, и наш долг...

„Черемисов посмотрел на меня.

„— Временного Правительства нет, — устало, но настойчиво, как будто убеждая меня, сказал он...—Я вам приказываю выгружать ваши эшелоны и оставаться в Острове. Этого вам достаточно. Все равно вы ничего не можете сделать“ (стр. 50).

Черемисов же отменил приказ главковерха (т.-е. Керенского) и ставки о продвижении эшелонов к Петрограду для подавления восстания.

Конечно, случайность, что царский генерал главкосев учел обстановку и решил соблюдать в отношении восставших благожелательный нейтралитет. Ну, а если бы было не так, если бы по тем или иным мотивам он решился бы со всей энергией выступить против большевиков и послал против них эшелоны,— не сложилась ли бы история иначе, не одержал ли бы победы Керенский? С приблизительной уверенностью можно судить об этом по тому, что случилось с главкозапом Балуевым. Западный фронт был значительно менее „разложившимся“; иными словами, „большевизация“ его солдат была гораздо слабее, чем на Северном фронте; сам Балуев был решительным врагом большевиков и с негодованием отверг предложение „изменника“ Черемисова об объединении с последним. Однако здесь против Керенского оказалась другая „случайность“,— классовая ненависть солдат к контр-революционному офицерству: еще прежде чем Балуев успел послать эшелоны на восставший Петроград, он оказался арестованным караулом большевистски-настроенного 37-го полка. Правда, вслед затем он был освобожден по приказу ставки, но время все же было упущено. Но если бы Балуев и не был арестован, то все

же его помощь Керенскому была бы весьма проблематична: в ночь с 25 на 26 октября на категорически поставленный ставкой вопрос: „Имеете ли вы в нашем распоряжении войсковые части, которые безусловно поддержали бы временное правительство?“ Балуев вынужден был ответить:

„Ни за одну часть [поручиться] не могу, большинство же частей безусловно не поддержит, даже за <те> части, которые находятся около меня, и те годны разве только для того, чтобы остановить погромы и беспорядки, но для поддержки временного правительства навряд ли они пригодны“ (стр. 402).

Все же с разных частей фронта удалось отправить на Петроград кое-какие эшелоны по приказу Керенского, подтвержденному ставкой. Достойно упоминания, что в деле организации и отправления этих эшелонов вместе с Духониным сотрудничал меньшевистско-эсеровский общеармейский комитет. Однако такие эшелоны ждали в пути новые случайности: железнодорожники получили от соблюдавшего нейтралитет Викжеля приказ — не производить никаких перевозок войск, исключая оперативных (для фронта). А там, где такой приказ не был получен, классовое чувство говорило железнодорожникам, что с Красновым, хотя бы и в сопровождении Керенского, может итти только подлинная контр-революция (на языке Краснова это означает, что железнодорожники боялись помогать Керенскому, так как было „неизвестно, чья возьмет“). В результате, когда самому Керенскому вместе с Красновым понадобилось выезжать из Острова, то долго не было вагона, и чтобы его добыть, пришлось произвести военную демонстрацию. После этого, как сообщает Краснов,

„вагон явился как из-под земли, и комендант станции объяснял свою медлительность тем, что он хотел подать „для господина верховного главнокомандующего салон-вагон“ и стеснялся дать этот потрепанный микст.

„Мы сели в вагон, я отдал приказание двигать эшелоны. Паровозы свистят, маневрируют. По путям ходят солдаты островского гарнизона, число их увеличивается, а мы все стоим, нас никуда не прицепляют и никуда не двигают.

„Я вышел и пригрозил расправой. Полная угодливость в словах и никакого исполнения.

„Командир енисейской сотни, есаул Коршунов, начальник моего конвоя, служил когда-то помощником машиниста. Он взялся провести нас, стал на паровоз с двумя казаками, и дело пошло.

„Все было ясно. Добровольно никто не хотел исполнять приказание Керенского, так как неизвестно, чья возьмет“ (стр. 57).

Когда движущимся на Петроград эшелонам удавалось тем или иным путем сломить сопротивление железнодорожников, они опять-таки оказывались лишь перед новыми „случайностями“. Одною из таковых было самое имя „верховного главнокомандующего“; когда эшелоны узнавали, на какое дело их посылают, то, по словам Краснова, даже казаки заявляли: „пойдем с кем угодно, но не с Керенским“ (стр. 68).

Наконец, там, где удавалось преодолеть все препятствия и сохранить в секрете от солдат цели похода, приходила последняя случайность, которая уже оказывалась безусловно роковой: это — бесчисленные агитаторы, разосланные победившим в Петрограде Военно-революционным комитетом по направлению к фронту: им-то уж легко и просто удавалось раскрыть солдатам и казакам глаза на истинный смысл восстания и на истинные цели его усмирителей; в результате — неминуемо наступавшее „разложение" противобольшевистских войск и их отказ от „братоубийственной войны". Жертвой такого „разложения" своего собственного отряда пал в конце концов и сам Керенский, и 1 ноября ему пришлось спасаться бегством от мести той самой „армии" в несколько сот сабель, с которой он так отважно взял за несколько дней до того Гатчину и Царское Село.

Поражением Керенского под Петроградом еще не была решена борьба между силами Октября и Временным Правительством. Решающий голос в борьбе принадлежал, конечно, всей стране, а в первую голову — Москве и фронту.

Ходу Октябрьского восстания в Москве посвящена вторая половина статьи Милюкова „Низвержение Временного Правительства". И здесь мы наблюдаем те же факторы распада в антибольшевистском лагере, которые обусловили поражение Керенского и которые дали тот же результат и здесь. Борьбой против большевиков руководил здесь командующий округом, полковник Рябцов, но фактически организующим началом этой борьбы и здесь явилась „революционная демократия" в лице „комитета общественной безопасности", руководимого городским головой эсером Рудневым. Разможенность, вялость и безволие мелкобуржуазной интеллигенции, разделенной на множество групп с различными, частью противоречивыми устремлениями, сказались и в деятельности этого комитета с первых же его шагов. Чрезвычайно характерна позиция меньшевиков, которые, вступив в комитет безопасности, вошли также и в Военно-революционный комитет, однакоже, не с целью борьбы за власть, а с целью „мирной ликвидации гражданской войны". Так как боевая, „военно-техническая" задача В.-рев. комитета мало гармонировала с такой целью, то они вскоре вышли из его состава. В дальнейшем они вышли также и из комитета безопасности и „таким образом остались вне обеих борющихся организаций" (Милюков, стр., 263), подтвердив и здесь свою характеристику, как партии принципиальной политической импотенции (в тех случаях, когда они не оказывались в рядах прямых пособников контр-революции).

Не только среди мелкобуржуазных партий, но и среди „военной молодежи... юнкеров, прапорщиков, студентов, мобилизованных интеллигентов“ (Милюков, стр. 260) не было единства настроения: и даже „вначале эта молодежь с ужасом смотрела на перспективу участвовать в гражданской войне“. Правда, „иначе“ и, очевидно, значительно тверже

„была настроена группа правого офицерства, с самого начала примкнувшая к защитникам Москвы. Но этим правым демократически настроенная молодежь не доверяла и побаивалась их влияния на себя“ (стр. 260 настоящего сборника).

Но кроме таких правых, которые примкнули к защитникам Временного Правительства, были еще более правые, которые радовались его падению и „открыто говорили:

„Лишь бы большевики свергли власть Временного Правительства, а там уже справиться с ними будет легко“ (стр 261).

Эти правые носились с мыслью о диктатуре и готовы были признать в качестве диктатора даже... Прокоповича. С другой стороны, в левом крыле „революционной демократии“ зрела мысль об ином выходе из тупика, а именно, об образовании „чисто социалистического правительства“. Однако „для большинства юнкеров и офицеров, наиболее активных участников борьбы“, такая мысль „делала бесцельной самую борьбу“ (стр. 262).

„Все эти внутренние противоречия, — замечает Милюков, —...с самого начала сказались в том, что вместо единства руководства и немедленного приступа к решительным действиям, защитникам государственности пришлось тратить дорогое время на ведение переговоров и на придумывание компромиссов между различными течениями, объединившимися для совместной борьбы“ (стр. 262).

Чисто классовый характер борьбы быстро выявился даже для самих защитников интересов „всего народа“ против посягательств „кучки заговорщиков“; и для них стало ясно, что они защищают противонародное дело, дело эксплоататорских классов:

„... Кучка защитников Москвы и России чем дальше, тем больше чувствовала себя изолированной и от остальной России, и от д р у г и х (каких именно? *С. А.*) о б щ е с т в е н н ы х э л е м е н т о в. Слова „юнкер“, „офицер“, „студент“ сделались бранными словами, и героический порыв людей, носивших эти звания, бледнел перед пассивным отношением или даже явной враждебностью к ним населения, на защиту которого они выступили и жертвовали жизнью“... „С удивлением и беспокойством эта армия (противобольшевистская *С. А.*) замечала, что она изолирована не только топографически, но и социально; что, защищая порядок и законную власть, она в то же время, путем исключения и против своей воли, о к а з ы в а е т с я п р е д с т а в и т е л ь н и ц е й о п р е д е л е н н ы х к л а с с о в (каких именно? *С. А.*). Имя „юнкер“ начало с ненавистью произноситься д е м о к р а т и ч е с к и м н а с е л е н и е м Москвы и противопоставляться „народу“ (стр. 367—368. Разрядка везде наша. *С. А.*).

Единству воли большевиков, опиравшихся на рабочие и солдатские массы, не могла долго противостоять размагниченная воля интеллигентов, — непризнанных защитников интересов „всего народа“, потерявших веру в правоту собственного дела; и 3 ноября „происходило печальное зрелище разоружения „белой гвардии“ (стр. 270).

Состояния действующей армии („фронта“) мы уже касались, когда говорили о борьбе Керенского с Советами под Петроградом. Разложение армии и успех выдвинутого большевиками классового лозунга земли и мира, классовая вражда между солдатской массой и офицерством и обусловленная ею связанность воли у этого последнего, ненависть правых элементов к лозунгам „революционной демократии“ и к их носителям—Врем. Правительству и его защитникам, распад мелкобуржуазной интеллигенции, составлявшей верхушку солдатских организаций, на целый ряд борющихся между собою групп, одним крылом примыкавших к правым, а другим — к большевикам,— все эти факторы обусловили слабость, разрозненность, а частью и полный паралич элементов, взявших на себя борьбу с большевиками.

Эти противоречия, парализовавшие волю к действию, сквозят положительно в каждом документе, напечатанном в статье „Ставка 25—26 октября“. Но их олицетворением явилась сама ставка и ее руководитель Духонин.

Просматривая телеграфные переговоры ставки в дни крушения Временного Правительства, мы находим в них, вместо боевых приказов о движении той или иной воинской части к мятежной столице, одни лишь бесконечные попытки взаимного „осведомления“ или „выяснения положения“. Пока Керенский находился при отряде Краснова, кое какие эшелоны при его непрерывном давлении, хотя и с постоянными перебоями, все же подвигались вперед. Но после бегства Керенского 1 ноября Духонин на следующий же день, вместо того чтобы взять на себя инициативу и организацию подавления восстания, останавливает движение эшелонов на Петроград; последние могикане падающего режима Савинков и Вендзягольский предпринимают энергичные попытки воздействия на ставку, о которых элегически повествует Милюков. Попытки эти, однако, оказываются столь же бесплодными, как попытки оживить труп, и 5 ноября, через два дня после сдачи белогвардейских защитников Москвы, Духонин издает новый приказ, в подтверждение старого, о приостановке движения карательных отрядов.

„Демократия“, однако, далеко не сразу примирилась с положением, безнадежность которого признали военные

специалисты. Прежде чем перейти к систематической организации контр-революционных сил в более прочно защищенных от большевиков местностях, „демократия“ делает ряд попыток повернуть назад „колесо истории“, сбросить „захватчиков“ и „узурпаторов“ и тем или иным способом восстановить свою власть. Об этих попытках повествуют статьи Ан—ского, Демьянова и Станкевича.

Статья Ан—ского „После переворота 25 октября 1917 г.“ посвящена попыткам „демократии“ восстановить свою власть посредством „соглашения“ с большевиками, инициатором которого явился знаменитый Викжель (исполнит. комитет Всеросс. союза железнодорожников). Статья эта дорисовывает несколькими дополнительными штрихами картину политического банкротства мелкобуржуазной демократии, ярко обнаружившегося перед лицом Октябрьского переворота.

Несмотря на свою лютую ненависть к творцам этого последнего, „демократия“ их единой воле и дерзкому порыву противопоставила лишь разноголосицу и жалкое, хотя и суматошливое топтание на месте.

„Необходимо создать новый предпарламент из представителей всех социалистических направлений и органов городского самоуправления. Представители последнего должны составлять по крайней мере одну треть всего предпарламента“ (стр. 299),—

такова была инструкция, данная петроградской городской думой своим представителям, избранным на совещание с большевиками: вместо мертворожденного, только что обанкротившегося и разогнанного большевиками „Совета Республики“, воплощения бессилия и бесплодия „революционной демократии“, создать новый такой же совет, только с усиленным представительством „несоветской демократии“,— „лучше выдумать не могли“ потерявшие связь с массами „революционные“ борцы против большевизма.

Нельзя сказать, правда, что они ничему не научились. Удар обухом по голове отучил их, по крайней мере, от „коалиции“, передвинув их, таким образом, несколько „влево“: теперь уже, на совещании с большевиками, „все были того мнения, что состав“ нового правительства „должен быть однородно-социалистический“ (стр. 305). Однако в это новое однородно-социалистическое правительство, по мысли его изобретателей, не должны были входить со стороны большевиков ни Ленин, ни Троцкий, а по мысли наиболее остроумных эсеров, оно должно было быть составлено не из „профессиональных политиков“, а из „людей деловых, специалистов“ (стр. 301).

Нельзя ли отвертеться от неумолимо выдвинутых жизнью политических задач? нельзя ли „смазать“, отодвинуть их, поручив их попечению не „политиков“, а „деловых людей“?

И если нельзя совсем отделаться от большевиков, удалив их с политической арены, то нельзя ли хоть обезличить их?

Может ли быть более красочное и убедительное свидетельство политического банкротства „однородно-социалистических“ партий перед лицом Октябрьской революции, чем эта их „программа“, на которую они хотели уговорить большевиков? Объективно программа эта сводилась к тому, чтобы передать власть из рук победившей партии большевиков в руки тех партий, которые еще вчера сотрудничали с контр-революционной буржуазией и которые завтра готовились сотрудничать с белогвардейскими правительствами в гражданской войне. Объективно, следовательно, выдвинутая „революционной демократией“ программа была программой контр-революции. Еще раньше, однако, чем затихли разговоры о ней на межпартийном совещании, историческая судьба этой программы была решена поражением казаков Керенского—Краснова под Пулковым, после чего революционной демократии оставалось утешаться лишь жалобами на обман и вероломство большевиков.

Еще об одной—и весьма своеобразной—попытке восстановления власти Врем. Правительства повествует А. Демьянов в своих „Записках о подпольном Временном Правительстве“. То была попытка низвержения большевиков, если можно так выразиться, методом кукиша в кармане. В ней, как солнце — в капле воды, отразилась дряблость, никчемность и безволие истинных сынов мелкобуржуазной интеллигенции, утративших последние следы связи с массами и заменивших ее связью с... саботирующим чиновничеством. Убожество этих претендентов на власть, задумавших соперничать с Советами, ясно даже для автора — временного председателя „подпольного Временного Правительства“:

„Для меня было ясно, что все лица из состава подпольного Временного Правительства были люди честные, одушевленные самыми лучшими намерениями... и, по-своему, умные... Эгоистических стремлений никто между ними не преследовал. Но все же эти „призванные“ ничего не сделали, и не потому, что им это не удалось, а потому, что в этом отношении они оказались неспособными. Почему?! Только потому, что это были все люди, удел которых был критиковать и писать свои критики, а не действовать. Действенных между ними не оказалось. Они... были людьми не волевыми, и, как последствие всего этого, были очень скоро побеждены, ибо борьба была неравная“ (стр. 212).

„Подпольное Временное Правительство“ образовалось из оставленных после Октябрьского переворота на свободе товарищей министров, к которым вскоре присоединились выпущенные из тюрьмы министры, — в первую голову — „министры-социалисты“, так как „министры-капиталисты“

были выпущены значительно позже. Заседания этого „подпольного В. П.“ происходили „ежедневно с 1 часа дня до 4 часов“ (стр. 314) на квартире у Демьянова, при чем „приходило в первое время не менее 15 человек“ (там же). Чем же занималось это „правительство“ на ежедневных трехчасовых заседаниях в те дни, когда падали и сокрушались устои старого мира и закладывались первые камни молодой Советской республики? Оно разрешало следующие вопросы первостепенной государственной важности:

Во-первых,

„признает ли себя совещание товарищей министров — малым советом министров, или советом, в котором заседают товарищи министров, в качестве управляющих министерствами за отсутствием министров?“ (стр. 316).

К этим строкам автор делает следующее меланхолическое примечание:

„Вообще бесполезных разговоров в совете было множество и тогда, когда в совете стали участвовать сами министры“ (там же).

Во-вторых, через автора статьи „правительство“ завязало

„сношения с первоприсутствующим сенатором первого департамента правительствующего сената Врасским по вопросу о формальном непризнании сенатом большевистской власти, как таковой“ (стр. 321).

Сношения эти имели блестящий успех:

„С сенатом дело прошло гладко. Единственно чего сенаторы боялись, это — выхода при обсуждении вопроса из рамок законности и перехода в политическую демонстрацию. Обошлись без демонстрации, а большевикам показали свое место“ (там же).

Рушится старый мир, и вскоре самый сенат, временно позабытый в суматохе „захватчиками“, разделит участь скипетра, короны и прочих атрибутов царской власти. Но покамест он отважно потрясает картонным мечом и, хотя и опасаясь выйти из рамок законности, все же находит способ показать большевикам свое место путем непризнания большевистской власти, „как таковой“!

На уровне этих вопросов, так сказать, принципиального порядка стояли и практические. Вот один из них: допустимо ли, с точки зрения истинной демократии, выдать жалованье саботирующим чиновникам неделей раньше сакраментального 20-го числа? Страсти разгорелись, „спорили бесконечно“ (стр. 328), „председатель совета министров“ Прокопович пригрозил даже отставкой — „кабинетный вопрос!“ В конце концов сошлись на мудром компромиссе:

„чтобы из казначейства деньги на жалованье чиновникам были выписаны немедленно и переданы в министерство, но чтобы самая выдача жалованья была произведена в установленный законом срок“ (стр. 329).

Как видим, в первый месяц после Октябрьского переворота большевистский террор был столь свирен, что члены низвергнутого Временного Правительства сохраняли в своих руках право распоряжения средствами государственного казначейства и даже право эмиссии! Однако законопослушность благонамеренных зайцев революционной демократии охраняла государственный сундук от их собственных покушений не хуже, чем это могла бы сделать винтовка красногвардейца; это, однако, не помешало им употреблять государственные деньги на организацию чиновничьего саботажа.

С тем же государственным разумом был разрешен и второй аналогичный вопрос. „Комитету спасения родины и революции“ потребовалось 300—400 тыс. руб. на издание противобольшевистской агитационной литературы. В распоряжении „подпольного Врем. Правительства“ были сотни миллионов государственного казначейства. Тем не менее „Комитету спасения“ было отказано на том основании, что „мы не имеем права тратить народные деньги на партийную борьбу“ (стр. 329).

Большевики могли бы спокойно предоставить догнивать этому, притворявшемуся живым, трупу, если бы это не противоречило требованиям... общественной санитарии.

Еще одна бесславная попытка „спасти Россию от большевиков“ была сделана „революционной демократией“ в ставке и описана в последней части статьи Станкевича. И здесь мы наблюдаем тот же распад и паралич контр-революционных сил под влиянием незаконного сожительства матерых реставраторов и офицерских мундирах с мелкобуржуазной „революционной демократией“.

Самая ставка после корниловского восстания была „реформирована“ безвольным и бесхарактерным правительством последней коалиции таким образом, что, конечно, не перестала быть средоточием буржуазной и старорежимной контр-революции. Однако то обстоятельство, что корниловские главари этой последней были засажены, хотя бы лишь для вида, в тюрьму, вырвало у нее жало и породило даже оппозицию к ставке в среде недовольного корниловского офицерства. Но, главное, навязанный царскому генералитету „демократизм“ „размагнитил“ этот генералитет, лишил его необходимых для борьбы резвости и ясности духа. Мы уже видели выше, какую роль сыграли эти настроения в неудаче похода Керенского на Петроград. Поражение Керенского, разумеется, могло только усилить эти настроения.

„Неясность и неудачливость конкретных планов борьбы с большевиками усиливали пассивные течения, стремящиеся вернуться к прежней политике только пассивного сопротивления или даже просто выжидания“ (стр. 226).

Так и не смогла ставка сорганизовать вооруженное выступление против большевиков, пока, 19 ноября, не была занята - без сопротивления — отрядом Крыленко.

Что касается собравшихся в ставке для организации борьбы с большевиками представителей „революционной демократии", то печать гнили и разложения отмечала их работу здесь с первых же шагов. Прежде всего возник вопрос об образовании под защитой ставки нового демократического правительства. В качестве кандидата на пост его председателя был выдвинут общеармейским комитетом бывший „селянский министр" Чернов.

„Так как сам Чернов, по форме уклончиво, но по существу недвусмысленно высказался в пользу этой идеи, то получилось большинство. Резко, даже озлобленно-негодующе возражая против этого ближайший товарищ Чернова, Гоц. Он считал, что попытка обречена на неудачу и только скомпрометирует партию, которая должна была сыграть решающую роль в Учредительном Собрании (стр. 225).

Началась обычная „революционно-демократическая" канитель.

„На первых порах было решено позондировать почву, произвести подсчет голосов в армии, запросив армейские комитеты. Запрос исходил от общеармейского комитета. Ответы, в общем, дали большинство в пользу такого решения. Но обстановка изменилась вследствие неблагоприятного отношения из Петрограда". (стр. 226).

В конце концов, испугавшись неодобрительной статьи в петроградской меньшевистской газете,

„наши друзья-меньшевики решительно высказались против всяких попыток организации власти из ставки и уехали. Эсеры произвели давление на своего лидера, который тоже, не ожидая даже поступления всех ответов из армии, собрался в Петроград" (стр. 226).

Разложение и размагниченности „революционной демократии" в ставке немало способствовали и очевидные успехи большевиков среди народных масс.

„Перевыборы комитетов давали повсюду успех большевикам... Но наиболее потрясающее впечатление на нас произвели выборы в Учредительное Собрание в Петрограде: около 40% голосов (в действительности 45%. *С. А.*) оказались поданными за большевиков! Принимая во внимание, что левые эсеры и интернационалисты должны были быть причислены к партиям, поддерживающим большевиков, стало ясным, что путь демократизма, большинства голосов, формально выраженной воли нации лежит крайне близко около большевиков (курсив наш. *С. А.*). Было явной нелепостью пытаться бороться с ней вооруженным путем" (стр. 227).

Лишь полгода спустя эсеры отважились на эту „явную нелепость"; под защитой чехословацких штыков им удалось организовать свое самарское правительство „Комуча" (Комитета членов Учредительного Собрания); наиболее выдающимся результатом его работы было то, что в течение

нескольких месяцев демократической канители оно подготовило почву для колчаковского переворота, жертвой которого пали его собственные члены.

Ярким доказательством быстрого разложения мелкобуржуазной „революционной демократии" явилась борьба вокруг Учредительного Собрания, кот. посвящена статья Соколова.

Как известно, выборы в Учредительное Собрание засвидетельствовали факт устранения с арены политической борьбы партии меньшевиков, которая была теоретически сильнейшей из партий революционной демократии и еще за несколько месяцев до того — бесспорным вождем и вдохновителем Советов: покинутые рабочими, меньшевики получили всего 668 тысяч из общего количества 36 милл. поданных на выборах голосов, т.-е. менее 2%. Борьба за влияние на массы шла на этих выборах лишь между эсерами, получившими 21 милл., или 58%, и большевиками с 9 милл., или 25% всех голосов [1]); но и в самый момент выборов эти цифры уже не выражали реального соотношения сил в стране, так как эсеровские списки и голоса объединяли как правых эсеров, шедших против большевиков, так и левых эсеров, шедших с большевиками, а самые выборы происходили в ноябре, когда волна Октябрьской революции еще не успела докатиться до деревни и даже до уездной провинции.

Чрезвычайно характерны формы, которые приняла борьба между этими партиями после выборов в Учредительное Собрание, — формы, соответствовавшие, разумеется, классовому составу партий. Статья Соколова дает в этом отношении обильный и интересный материал.

Большевики вели линию на конечную победу пролетариата в революции. Но победа в революции определяется не успехами парламентской борьбы, а реальным соотношением сил. Поэтому и после своей октябрьской победы, и после своего относительного поражения на выборах в Учредительное Собрание большевики вели упорную и энергичную агитацию в массах.

„В то время, как на Болотной улице [2]) посвящали все дни и часто ночи выработке законопроектов, в это время большевистские депутаты, съехавшиеся также к этому времени в Петроград, были распределены

[1]) Столицы и столичные губернии, где фабрично-заводский пролетариат был всего сильнее, в условия для большевистской агитации, т.-е. для проявления сознания масс — наилучшими, дали в пользу большевиков: 45% (Петрограда), 50% (Петроградская губерния и город Москва) и 56% (Московская губерния) всех голосов. См. ст. Святицкого „Итоги выборов по Всеросс. Учредительное Собрание" в эсеровском сборнике „Год русской революции (1917—18)". Москва, 1918 г.

[2]) Т.-е. в общежитии эсеровских депутатов. *А. С.*

властной рукой своего центрального комитета по заводам и казармам Петрограда. Они вели энергичную агитацию против того учреждения, в члены которого они были избраны" (стр. 345).

Что касается до партии эсеров, то большинство их верило в непреодолимую, чуть не мистическую силу самой идеи Учредительного Собрания. Отсюда — смешная уверенность в том, что большевики не посмеют „посягнуть" на Учредительное Собрание:

„Мы не знаем точных намерений большевиков, но мы убеждены, что они не осмелятся посягнуть на прерогативы высокого учреждения, выбранного всем народом" (стр. 345),

говорили правоверные эсеровские парламентарии представителям своей „оппозиции". Любопытно, что ту же уверенность разделял вместе с эсерами и признанный вождь меньшевистского крыла „революционной демократии" Церетели:

„С трудом верится,— говорил как-то Церетели,— чтобы большевики осмелились разогнать Учредительное Собрание. Им ни народ, ни история этого не простили бы. Десятилетия вся передовая российская интеллигенция стремилась к осуществлению своей идеи. Это было лозунгом не только наших либералов, но прежде всего революционеров. Я убежден, что большевики только пугают, чтобы сделать оппозицию более уступчивой" (стр. 369)...

Особенно выразительно проявился этот парламентский или „учредительский" кретинизм в деятельности эсеровской фракции Учредительного Собрания перед днем открытия последнего. Было избрано множество комиссий, которыми было выработано множество готовых законопроектов. Была избрана даже особая комиссия „первого дня", которая разработала подробный церемониал открытия и ведения Учредительного Собрания в первый его день. Даже свечи захватили с собой эсеровские депутаты на случай, если грубияны-большевики потушат электричество. Словом,

„здесь было все учтено. Кто должен открыть собрание, какие ораторы должны выступать и как, кто должен руководить фракцией; было учтено все, кроме матросов, заполнивших галлереи Таврического дворца, и непарламентарского цинизма большевиков" (стр. 345).

Предаваясь во-всю парламентским иллюзиям, эсеры с каждым днем теряли влияние на массы и связь с ними. Была даже создана своеобразная теория „героев" и „толпы". „Герои", это—эсеровские депутаты Учредительного Собрания, которые должны итти

„путем, единственно допустимым для народных избранников, путем парламентарским" (стр. 343).

А „толпа", это—народ, который и должен защищать Учредительное Собрание:

„Мы должны дать народу новую жизнь, новые законы, а защищать Учредительное Собрание, это — дело народа, нас избравшего" (стр. 342).

В этой защите, которая, чего доброго, может принять форму вооруженной борьбы, „герои“ избранники отнюдь не должны принимать участия:

„Неизменно как бюро фракции, так и членам его оставались при том убеждении, что фракция в ее целом должна стоять вне той борьбы, которая ведется и будет вестись во имя существования Учредительного Собрания, что фракция должна ограничить арену своей борьбы стенами Таврического дворца“ (стр. 346).

Даже „левый“ В. Чернов

„был одним из самых ярых противников гражданской войны и одним из тех, кто надеялся на мирную ликвидацию конфликта с большевиками, веря в то, что „большевики спасуют перед Всероссийским Учредительным Собранием“ (стр. 343).

И в то время, как большевистские лидеры сами искали массы, эсеровские предпочитали вырабатывать законопроекты.

„Неоднократно раздавались жалобы из районных партийных комитетов (эсеровских. *С. А.*), что нельзя заполучить никого с Болотной улицы. Депутаты выступали неохотно и редко. И разве не характерно, не показательно что на митингах, организованных 6 января большевиками во имя санкции разгона Учредительного Собрания, только два эсеровских депутата сочли нужным выступить?“ (стр. 346—347.)

При таких условиях влияние большевиков возрастало не только таким путем, что все более и более широкие массы переходили в ряды их активных и сознательных сторонников, но и таким, что в рядах самой эсеровской партии „низы“ становились в оппозицию к „верхам“ и, еще не переходя к большевикам, воспринимали большевистские лозунги. Чрезвычайно характерно и поучительно в этом отношении описание у Соколова юго-западного фронтового съезда.

На съезде квалифицированное большинство в две трети принадлежало эсерам (стр. 336). И тем не менее, этому большинству казалось „неоспоримым“

„что Советы лучше Врем. Правительства, так как „Советы-мол наши“ (стр. 337).

По мнению одного депутата:

„в стране есть только две стороны, две партии — народная и барская. К народной партии принадлежат советы, большевики, Керенский, Чернов, Брешковская. Вся эта партия хочет немедленного мира, хочет отдать всю землю крестьянам, а фабрики рабочим, но им мешает вторая партия, барская, буржуазная, в которой главную роль играют кадеты, Временное Правительство, генералы и евреи“... (стр. 337).

Все усилия прибывшего на съезд Авксентьева убедить массу депутатов, желавшую немедленного мира, земли и советов, и склонить ее на сторону чистого парламентаризма, разлетелись впрах:

„Он убеждал защищать единый лозунг: „Вся власть Учредительному Собранию“, говорил об историческом значении идеи народоправства,

о недопустимости узурпаторских тенденций большевиков, о том, что без Учредительного Собрания нельзя разрешить ни одного основного вопроса российской жизни.

Ему отвечали: А кто выбрал Временное Правительство? Разве не те же Советы выбрали в свое время Временное Правительство, разве не Советы свергли это же правительство, и разве не Советам должна принадлежать вся власть в стране?" (стр. 337).

Увы, Авксентьеву не удалось повести за собой собрание, и съезд, несмотря на эсеровское большинство, высказался

„за формулировку, предложенную большевиками. Высказался за власть Совстов,— за власть, по существу, большевистскую" (стр. 338).

Если эсерам было так трудно поддерживать свое влияние среди вооруженного крестьянства — солдат, то тем безнадежнее было их дело среди рабочих. Здесь им вообще удавалось сохранить в рядах активных своих сторонников лишь единицы. Вот, напр.:

„собрание рабочих Франко-Русского завода и Нового Адмиралтейства. Конечно, собрание рабочих, сочувствующих нам, вписанных в партии противобольшевистские (курсив наш. *С. А.*)

Объясняю положение и общую необходимость, с моей точки зрения, защищать вооруженной рукой Учредительное Собрание.

В ответ ряд вопросов, сомнений.

„Не довольно ли было пролито братской крови?"

„А по-моему, — заявил один из молодых рабочих, — надо, товарищи, подумать не о том, чтобы ссориться с большевиками, а как с ними сговориться. Все же, вишь, они защищают интересы пролетариата. Кто сейчас в комиссариате Коломны? Все наши франко-руссцы, большевики".

В результате в дружинники записалось около пятнадцати человек. У большевиков на том же заводе было дружинников раза в три больше" (стр. 355—356).

Не чувствуя опоры в массах и не доверяя им, эсеры пускались „во вся тяжкая", чтобы обеспечить защиту Учредительного Собрания. Любопытна в этом отношении их попытка опереться на „военные дружины национальных меньшинств" (стр. 349—350). И когда и эта попытка провалилась, то соратник автора Шаскольский грустно заметил:

„Все надежды мною возлагались на инородцев. Теперь эти надежды рухнули" (стр. 350).

Тем с большим рвением могли эсеры обвинять большевиков в том, что они опираются на штыки латышей и китайцев.

Таким образом, несмотря на огромное количество поданных за нее на выборах голосов, партия эсеров быстро превращалась в кучку вождей без массы, в клику авантюристов, пытающихся спасти свое положение хотя бы с помощью самых безумных и фантастических предприятий. Подобную попытку представляла описанная Соколовым организация „изъятия" Ленина и Троцкого (стр. 358—360). От этого черного дела эсерам тогда, впрочем, пришлось отказаться из опасения гнева народных масс:

„Важно и то обстоятельство... что арест или убийство Ленина вызовет такое возмущение среди рабочих и солдат, что это может окончиться всеобщим погромом интеллигенции. Ведь для многих и многих Ленин и Троцкий — популярные вожди. Ведь за ними идут народные массы" (стр. 359—360).

Другой результат отрыва от масс, это — размагниченность, „депрессия" (стр. 363), отсутствие „революционного активизма" (стр. 370), это — изумительно нелепые, с точки зрения интересов самих эсеров, решения, в роде отказа от вооруженной защиты Учредительного Собрания в день его открытия. Любопытно влияние этого отказа на их партийные низы (стр. 374—375).

Итак, ко дню открытия Учредительного Собрания эсеры в весьма значительной степени растеряли свои былые кадры, ушедшие к большевикам. Кто же шел еще за ними? Некоторое освещение этого вопроса дает состав демонстрантов, вышедших на улицу в день 5 января.

„Были эти группы неопределенны по своему составу: чиновники, рабочие, студенты и просто обыватели и интеллигенты" (стр. 375). „Рядовой обыватель, который угрюм колебался еще — примкнуть ему или нет к демонстрантам, теперь составил наиболее активное ядро последних.

Конечно, трудно предполагать, что большинство демонстрантов было на стороне Учредительного Собрания. Более чем вероятно, что только незначительная часть демонстрировавших была подлинными сторонниками последнего. Но другое чувство, кроме любви к демократическому Учредительному Собранию, владело толпой: это была ненависть к большевикам" (стр. 378—379).

Здесь не место разбирать вопрос: почему некоторая часть рабочих еще шла за эсерами. Несомненно, однако, что и эта часть находилась в периоде отхода от них. Основную же массу „толпы", шедшей за эсеровскими „героями", составили: саботирующее чиновничество, мелкобуржуазная интеллигенция, главное же, — это серая обывательщина, городская мелкобуржуазная масса с обилием деклассированных элементов, вплоть до „старушек", „стареньких-престареньких", проклинающих большевиков. Отнюдь не преданность демократизму объединяла эту толпу. Ее объединяла лишь лютая ненависть к большевикам, — к пролетарской революции. Возглавив эту обывательскую массу, эсеры послужили соединительным звеном между нею и теми сознательными и непримиримыми классовыми врагами пролетариата, которые вскоре затем составили руководящие кадры вооруженной контр-революции. Так борьба с большевиками во имя „революционного демократизма" постепенно и с неотвратимой логикой переводила эсеров и шедшие за ними элементы в ряды активных борцов за дело жаждавшей реставрации буржуазии.

С. Алексеев.

П. Н. КРАСНОВ.

На внутреннем фронте [1]).

I.

Первые признаки разложения российской армии.

В апреле 1917 г. 2-ю Сводную казачью дивизию, которой я командовал около двух лет и с которой был почти все время в боях, сменила на позиции под Пинском 172-я пехотная дивизия, и ее отвели в тыл, на отдых. Я тогда же решил подать рапорт об увольнении меня в отставку. Новые порядки, введенные Временным Правительством, отсутствие какой бы то ни было власти у начальников, передача в руки комитетов всех полковых дел быстро расшатывали армию. Пока дивизия стояла на позиции в непосредственной близости к неприятелю, она держалась. Наряд исполнялся правильно, офицеров слушались, форму одежды соблюдали. 10 апреля к нам в дивизию приезжал кн. Павел Долгоруков, член к.-д. партии. Он смотрел собранную для этого случая Донскую бригаду — 16-й и 17-й Донские полки — и сказал весьма патриотическую речь. На речь отвечали я и ген. Черячукин, а затем один урядник 16-го полка, который от имени казаков клялся, что казачество не положит оружия и будет драться до последнего казака с немцами, — до общего мира в полном согласии с союзниками. Кн. Павел Долгоруков ездил со мною в окопы, занятые пластунским дивизионом. Он присутствовал при смене пластунов с боевого участка, видел их жизнь в окопах и был поражен их выправкою, чистотою одежды, молодцеватыми ответами и знанием своего дела. Все это он мне высказал в самой лестной форме и потом задумчиво добавил:—„Если бы это было так во всей армии!..“—„А что?“— спросил я. Мы на позиции были далеки от жизни. В гости к нам никто не приезжал, письма политики не касались, газеты были старые. Мы верили, что великая бескровная революция прошла, что Временное Правительство идет

[1]) Архив русской революции, т. 1. Берлин, 1922 г.

быстрыми шагами к Учредительному Собранию, а Учредительное Собрание—к конституционной монархии с в. кн. Михаилом Александровичем во главе. На Совет Солдатских и Рабочих Депутатов смотрели, как на что-то вроде нижней палаты будущего парламента.

— Я видел московский гарнизон, — сказал кн. Долгоруков. — Он ужасен. Никакой дисциплины. Солдаты открыто торгуют форменною одеждою и дезертируют. Армия вышла из повиновения. Спасти может только наступление и победа. — „И наступление не спасет, — отвечал я, — потому что такая армия победы не даст".

Я помню, что тогда же меня спросили, как я смотрю на переход в наступление революционными войсками, с комитетами во главе. Я ответил, что, как русский человек, я очень хотел бы, чтобы оно завершилось победою, но, как военному, сорок лет верившему в незыблемость принципов военной науки, мне будет слишком больно сознавать, что я сорок лет ошибался.

Как только казаки дивизии соприкоснулись с тылом, они начали быстро разлагаться. Начались митинги с вынесением самых диких резолюций. Требования отклонялись, но казаки сами стали проводить их в жизнь. Казаки перестали чистить и регулярно кормить лошадей. О каких бы то ни было занятиях нельзя было и думать. Масса в четыре слишком тысячи людей, большинство в возрасте от 21 до 30 лет, т.-е. крепких, сильных и здоровых, притом не втянутых в ежедневную тяжелую работу, болтались целыми днями без всяко о дела, начинали пьянствовать и безобразничать. Казаки украсились алыми бантами, вырядились в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не хотели и слышать. — „Мы сами такие же, как офицеры, — говорили они, — не хуже их".

Потребовать и восстановить дисциплину было невозможно. Все знали, — потому что многие казаки были этому очевидцами, — что пехота, шедшая на смену кавалерии, шла с громадными скандалами. Солдаты расстреляли на воздух данные им патроны, а ящики с патронами побросали в реку Стырь, заявивши, что они воевать не желают и не будут. Один полк был застигнут праздником пасхи на походе. Солдаты потребовали, чтобы им было устроено разговенье, даны яйца и куличи. Ротные и полковой комитет бросились по деревням искать яйца и муку, но в разоренном войною Полесье ничего не нашли. Тогда солдаты постановили расстрелять командира полка за недостаточную к ним заботливость. Командира полка поставили у дерева и целая рота явилась его расстреливать. Он стоял на коленях перед солдатами, клялся и божился, что он употребил

все усилия, чтобы достать разговенье, и ценою страшного унижения и жестоких оскорблений выторговал себе жизнь. Все это осталось безнаказанным, и казаки это знали.

Меня на ст. Видибор 4 мая на глазах у эшелонов 16-го и 17-го Донских полков арестовали солдаты и повели под конвоем со стрельбою вверх в Видиборский комитет. Там меня обвинили в том, что я принадлежу к числу тех генералов, которые ради помещиков и иностранных капиталистов настаивают на продолжении войны [1]). Одним из обвинителей был казак 17-го Донского казачьего полка Воронков. Потом меня под конвоем же отправили в Минск, где меня должен был судить какой-то трибунал при армейском комитете. На мое заявление, что есть начальство, которое, если я в чем виноват, будет меня судить, и что никто не смеет меня задерживать при исполнении служебных обязанностей, — мне нагло было заявлено, что единственное начальство, которое они признают, это—местный Видиборский комитет, а на главнокомандующего им плевать. Комитет выше главнокомандующего. В Минске, однако, мои конвойные растерялись, дали мне возможность повидать коменданта станции, передать о всем случившемся в штаб Западного фронта, меня доставили к главнокомандующему фронтом ген. Гурко, который меня сейчас же освободил и отправил к дивизии.

Все это осталось без наказания. Стоило только начальству возбудить какое-либо дело против солдата, как на защиту его поднимались комитеты. В ротах собирались митинги, солдатская масса волновалась и начальство испуганно бросало дело.

Ясно было, что армии нет, что она пропала, что надо как можно скорее, пока можно, заключить мир и уводить и распределять по своим деревням эту сошедшую с ума массу. Я писал рапорты вверх; вверху ближайшее строевое начальство — командир корпуса, те, кто имеет непосредственное отношение к солдату, встречали их сочувствием, но выше, в штабе особой армии — генерал Балуев, в военном министерстве, во главе которого стал А. Ф. Керенский, к ним относились скептически.

Я горячо любил свою дивизию, свидетельницу стольких славных побед. Я стал собирать офицеров, комитеты и казаков, вести с ними горячие страстные беседы, возбуждая

[1]) Обвинение было вполне основательным. Хотя несколько раньше Краснов и говорит о своем стремлении „как можно скорее заключить мир", но дело здесь разумеется, не в особливом генеральском миролюбии и не в неприязни к помещикам и иностранным капиталистам, а в растущем страхе перед выходящей из подчинения и не желающей воевать армией. *Ред.*

в них прежнее полковое и войсковое самолюбие, напоминая о великом прошлом и требуя образумиться.

— „Правильно! правильно!“ — раздавались голоса, толпа как будто бы понимала и сознавала ошибки свои, хотела становиться на правильный путь, но уходил я, раздавался чей-нибудь бесшабашный голос: „Товарищи! Это что же? генерал-то нас к старому режиму гнет! Под офицерскую, значит, палку!“ — и все шло прахом.

В общем все решили, что война кончена. — „Какая нонче война? — нонче свобода!“ Я поехал в штаб особой армии настаивать на отставке.

Однако, командующий армией, генерал Балуев, моей отставки не принял, основываясь на приказе Керенского никого из лиц командного состава от службы не увольнять, но поняв, что мне оставаться в дивизии, где авторитет мой был поколеблен, нельзя, предложил мне принять в командование 1-ю Кубанскую дивизию.

10 июня я прибыл в дивизию, расположенную в окрестностях города Мозыря.

II.

В 1-й Кубанской казачьей дивизии. Казачьи настроения.

1-я Кубанская казачья дивизия была второочередная, составленная преимущественно из казаков старших сроков службы. Она сильно пострадала вследствие бескормицы и плохого снабжения. Люди были оборваны. Много было босых. Лошади истощали до такой степени, что лежали и не могли подняться. Казаки голодали. Такое очень тяжелое положение было весьма выгодным для меня. Заботливостью об улучшении материального состояния дивизии я надеялся привлечь сердца казаков к себе и восстановить порядок и дисциплину.

Надо отдать справедливость,— все мне пошли навстречу в этом деле. Командующий армией приказал отпустить вне очереди сапоги, шаровары, рубахи и шинели для казаков, довольствие было улучшено, Мозырьское земство и окрестные помещики приложили все усилия, чтобы дать наилучшее размещение полкам и выкормить лошадей. От Кубанского войска удалось добиться пополнений.

Эти хозяйственные заботы отвлекали казаков от пустой митинговой болтовни, и дивизия имела серьезный, домовитый, хозяйственный вид. Сотенные и полковые комитеты совещались с офицерами, как лучше, экономичнее и богаче одеть и снабдить казаков. Когда же снабжение начало приходить, а лошади поправляться и делаться сытыми, я

почувствовал, что между мною и полками установилась та связь, которая до некоторой степени походила на дисциплину.

До революции и известного приказа № 1 каждый из нас знал, что ему надо делать как в мирное время, так и на войне. День был расписан по часам, офицеры и казаки заняты, ни скучать, ни тосковать было некогда. Когда стояли в тылу „на отдыхе", тогда постепенно, после исправления всех материальных погрешностей, начинали занятия, устраивали спортивные праздники и состязания, к которым нужно было готовиться, солдатские спектакли, пели песенники и играли трубачи,—день был полон, он нес свои заботы и свое утомление, полковая машина вертелась и каждый что-нибудь да делал. Лодыри преследовались и наказывались. Лушить семячки было некогда. После революции все пошло по иному. Комитеты стали вмешиваться в распоряжения начальников, приказы стали делиться на боевые и не боевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, вошедшему в моду тогда выражению — постольку-поскольку. Безусый, окончивший четырехмесячные курсы, прапорщик, или просто солдат, рассуждал, нужно или нет то или другое учение, и достаточно было, чтобы он на митинге заявил, что оно ведет к старому режиму, чтобы часть на занятие не вышла и началось бы то, что тогда очень просто называлось эксцессами. Эксцессы были разные — от грубого ответа до убийства начальника, и все сходили совершенно безнаказанно.

Дивизия принимала сытый и довольный вид, и было нужно ее занять. Но начать занятия надо было очень осторожно. Я решил повести их двух видов — беседы и маневры в поле. Беседы я вел лично с офицерами и чинами комитетов, а те передавали их в сотнях. Казаков больше всего интересовали вопросы „данного политического момента" и, конечно, земля, земля и земля... Вот эти-то вопросы и пришлось затронуть и притом настолько осторожно, чтобы не обратить беседу в митинг, что было недопустимо, потому что подорвало бы дисциплину. Офицеры явились для меня великолепными помощниками. Я начал с объяснения различного устройства государств и образа правлений. Я слышал, как казаки совершенно серьезно говорили о республике с царем, или о монархии, но без царя, и т. п. Потом я изложил программы политических партий, цели настоящей войны, рассказал о значении Босфора и Дарданелл, что особенно должно было заинтересовать кубанцев, ведущих торговлю хлебом с Марселью, вкратце изложил историю казачества и значение казаков для России, показал на прими-

тивных, от руки сделанных чертежах взаимное соотношение казачьих войск и доказал географическую невозможность создания самостоятельной казачьей республики, о чем мечтали многие горячие головы даже и с офицерскими погонами на плечах[1]). Говорил и о патриотизме, о победе— и, казалось, увлек казаков. Митинги с истеричными речами прекратились и сменились тихими, разумными беседами с офицерами; беседы эти нравились казакам. Сколько я мог судить, большинство склонялось к тому, чтобы Россия была конституционной монархией или республикой, но чтобы казаки имели широкую автономию. Очень остро ставился земельный вопрос, но и тут принципы кадетской программы имели перевес. „Так — дескать — будет прочнее и вернее".

Маневры, которые я вел параллельно с беседами и делал неутомительными (2 — 6 часов) вначале тоже нравились, но тут к великому огорчению своему я наткнулся на отрицание войны. Война шла кругом. В двадцати верстах от нас была позиция. Очень редкий, правда, орудийный огонь был слышен на наших биваках, когда мы перешли в селение Тростянец. Мы знали, что на юге было наступление, руководимое Корниловым и Керенским и закончившееся позорным бегством наших, но тем не менее, когда на маневрах я обучал резать проволоку, метать ручные гранаты, врываться в окопы, а потом бросаться в конном строю в преследование, — я слышал разговоры, что „нам этого делать не придется. Война кончена!"

Она шла кругом, но революция так сильно потрясла души казаков, что в них уже не укладывалась с понятием о гражданской свободе необходимость сражаться и умирать за родину. И это было ужасно.

На душе у меня было смутно. Глубоко зная казака и солдата, с которым прожил одною жизнью 34 года, я чувствовал, что все это непрочно. Это было баловство — игра в солдатики. Настанет час великого испытания, заскрежещут и завоют в небе снаряды, налетят с бомбами аэропланы, запоют пули, — и никакими разговорами, никакими беседами я не заставлю их итти вперед, все разбежится и исчезнет, предавши офицеров. Не было страха перед неисполнением приказа, или команды, того страха, который, — странное дело, — сильнее страха смерти. Не было совести и стыда. Я вспоминал, как раньше того, что я шел сзади цепей и покрикивал: „Вперед! Вперед! Ничего!

---

[1]) Это было летом 1917 года, а уже весной 1918 года сам же Краснов при благосклонном содействии войск германского императора основал на Дону одну из первых „самостоятельных казачьих республик". Увы! генеральские эполеты—тоже не очень надежное средство против изменнических авантюр не в меру горячих белогвардейских голов. *Ред.*

Вперед!" — было достаточно, чтобы командуемый мною полк бросился на штурм укрепленной позиции. А бросились бы эти? — спрашивал я, глядя на них, мокнущих на походе под дождем. Я видел недовольные, злые лица, и отвечал: нет, не бросились бы. Раньше солдату или казаку стыдно было показать, что он голоден, страдает от жары или холода, или промок, — при пропускании колонны мимо себя я видел в таких случаях веселые, как бы над самими собою смеющиеся лица, и на вопрос: „что, холодно?" — слышал веселый, бодрый ответ: — „никак нет!", иногда сопровождаемый острой солдатской шуткой. Теперь этого не было. Всякое лишение, всякое неудобство вызывало косые, мрачные взгляды. Они стали „барами", „господами", они искали комфорта и радости жизни, а это уже не солдаты и не казаки.

Я переживал ужасную драму. Смерть казалась желанной. Ведь рухнуло все, чему молился, во что верил и что любил с самой колыбели в течение пятидесяти лет, — погибла армия.

И все-таки надеялся. Думал, что постепенно окрепнет дивизия, вернется былая удаль, и мы еще сделаем дела и спасем Россию от иноземного порабощения [1]).

Больше всего я боялся тогда, что казаков станут употреблять на различные усмирения неповинующихся солдат. Ничто так не портит и не развращает солдата, как война со своими, расстрелы, аресты и т. п. Бывая у своего командира корпуса генерал-лейтенанта Я. Ф. Гилленшмидта, я постоянно просил его поберечь в этом отношении дивизию и не посылать ее с карательными целями.

Просьба была не напрасная. По всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы и итти на позиции на смену другим полкам, были случаи, когда своя пехота запрещала своей артиллерии стрелять по окопам противника под тем предлогом, что такая стрельба вызывает ответный огонь неприятеля. Война замирала по всему фронту, и Брестский мир явился неизбежным следствием приказа № 1 и разрушения армии. И если бы большевики не заключили его, его пришлось бы заключить Временному Правительству [2]).

---

[1]) Увы! судьба и здесь зло посмеялась над Красновым и другими белогвардейскими „спасателями" России. Не прошло и года, как им самим пришлось стать открытыми пособниками иноземного порабощения „бунтующей" страны. Такова уже природа буржуазно-помещичьего и генеральского „патриотизма". *Ред.*

[2]) Ценное признание со стороны такого военспеца и непримиримого врага советской власти, как Краснов. *Ред.*

В тылу, в глухой деревне, вдали от железной дороги, где я жил, мы очень мало знали о том, что происходит в России. Смутно слышали, что верховный главнокомандующий Корнилов требует полного восстановления дисциплины в армии, возвращения офицерам и урядникам прежней дисциплинарной власти, восстановления полевых судов и смертной казни за целый ряд преступлений. Это было приказано объявить в полках. Собранные мною с этою целью офицеры и полковые комитеты дивизии разно восприняли это известие. Офицеры радовались этому, потому что видели в этом возрождение армии и ее боеспособности, солдаты и казаки повесили головы.

— Это значит, опять к старому режиму, — печально говорили казаки.—Значит, прощай свобода! Не отдал чести али коня не почистил, как следует, и становись в боевую!

Солдаты встревожились еще решительнее.

— Этому не бывать. Корнилов того хочет, а мы не хотим. Довольно!

Имя Корнилова становилось популярным в офицерской среде, офицеры ждали от него чуда — спасения армии, наступления, победы и мира, — потому что понимали, что продолжать войну уже больше нельзя, но и мир получить без победы тоже нельзя. Для солдат имя Корнилова стало равнозначущим смертной казни и всяким наказаниям. Корнилов хочет войны, — говорили они, — а мы желаем мира.

Но о том, что Корнилов ради спасения России хочет захватить власть в свои руки, что он хочет стать диктатором, — никто не думал.

Об июльских днях в Петрограде и попытке большевиков захватить власть мы знали мало. „Были беспорядки", — говорили в дивизии, и больше интересовались тем, кто убит и ранен, так как были между ними и знакомые, но о роковом значении начавшейся борьбы за власть во время войны мы не думали. Слишком были заняты своими злободневными текущими делами.

И потому, когда 24 августа я получил от генерал-майора Д. П. Сазонова, бывшего помощника походного атамана в. кн. Бориса Владимирович., телеграмму: „Наштаверх приказал представить нас назначению коман-кор. третьего конного. Будьте готовы по телеграмме выехать к корпусу. Прошу заехать ставку", — она меня только удивила. По имевшимся у меня частным сведениям, III кавалерийский корпус, которым командовал генерал Крымов, находился где-то в Херсонской губернии, в районе города Ананьева, и ехать в него через ставку мне было совсем не по пути. О том, что III кавалерийский корпус уже пере-

брасывался к Петрограду, мы в своей деревенской глуши и не подозревали.

Но, прежде чем отправиться в ставку, мне пришлось пережить несколько тяжелых часов и убедиться в том, что я не ошибся, считая, что полки моей дивизии уже неспособны выдержать сколько-нибудь сильное испытание.

III.

Бунт 3-й пехотной дивизии. Убийство комиссара Юго-Западного фронта Ф. Ф. Линде.

В ту же ночь, 24 августа, мне лично из штаба корпуса было передано по телефону, что полки пехотной дивизии, стоявшей на позиции у селения Духче в 18 верстах от моего штаба, отказываются исполнять боевые приказы по укреплению позиции, что ими руководит несколько весьма вдовредных агитаторов, которых надо изъять из ее рядов. На переданное требование выдать этих агитаторов солдаты 444-го пехотного полка ответили отказом. Надо их заставить выдать. Командир корпуса считает, что достаточно будет назначить один полк с пулеметной командой.

Я назначил 2-й Уманский полк, лучше других обмундированный, внешне выправленный, а главное, ближе расположенный к селению Духче. С полком, кроме командира полка полковника Агрызкова, пошел и командир бригады, смелый и решительный кавказец генерал-майор Мистулов.

Было решено, что мы придем в Духче с музыкой и песнями.

Когда полк тронулся, я спросил у командира полка: „Как настроение казаков?" Увы, в эти ужасные дни приходилось задавать этот, такой дикий полгода тому назад вопрос о настроении, как справляются о настроении капризной женщины или больного.

— Ничего, — отвечал мне Агрызков. — Я думаю, свое дело сделают. Офицеры хорошо с ними говорили.

В 10 час. утра мы прибыли в селение Духче, где нас ожидал начальник пехотной дивизии ген.-лейт. Гиршфельдт. Он направил казаков к пехотному биваку, приказавши окружить его со всех сторон, оставив одну сотню в его распоряжении. Вид уманцев, проходивших с музыкой и песнями, привел его в восторженное умиление. Смотревшие на казаков писаря и чины команды связи дивизии тоже видимо были поражены их видом и отзывались о казаках с одобрением.

— Настоящее войско! — говорили они.—Значит, есть, сохранилось!..

Я остался в штабе с Гиршфельдтом ожидать комиссара Линде. Если я не ошибаюсь, Линде был тот самый вольноопределяющийся л. гв. финляндского полка, который 20 апреля вывел полк из казарм и повел его к Мариинскому дворцу требовать отставки Милюкова.

Около 11 час. утра на автомобиле из Луцка приехал комиссар фронта Ф. Ф. Линде. Это был совсем молодой человек. Манерой говорить с ясно слышным немецким акцентом, своим отлично сшитым френчем, галиффэ и сапогами с обмотками, он мне напомнил самоуверенных юных немецких барончиков из прибалтийских провинций, студентов Юрьевского университета. Всею своею молодою, легкою фигурою, задорным тоном, каким он говорил с Гиршфельдтом, он показывал свое превосходство над нами, строевыми начальниками.

— Ну, еще бы, — говорил он, манерно морщась, на доклад Гиршфельдта, что все его увещания не привели ни к чему, и виновные все еще не выданы. — Они вас никогда не послушают. С ними надо уметь говорить. На толпу надо действовать психозом.

Виновный 444-й полк был расположен в дивизионном резерве на небольшой лесной прогалине. Часть землянок была на прогалине, часть теснилась по краям прогалины в самом лесу. С прогалины шло две дороги. Одна — на деревню Духче, другая — через болотистую часть на позицию, которая была занята 443-м пехотным полком.

Когда мы подъезжали, казаки уже окончили окружение бивака 444-го полка. Они выставили заставу с пулеметами по направлению к позиции. Они сидели на лошадях с обнаженными шашками и, казалось, готовы были ринуться на пехоту.

Командир пехотного полка встретил нас у края бивака и сообщил, что солдаты очень напуганы появлением казаков и собираются поротно, ружей не разбирают. Зачинщики ему названы.

Гиршфельдт и Линде вышли из автомобиля. Я и Мистулов сошли с лошадей и следовали пешком в некотором отдалении за Линде и Гиршфельдтом.

— Вот вторая рота (если память мне не изменяет),—сказал командир полка.—Она — главная зачинщица всех беспорядков.

Линде вышел вперед. Лицо его было бледно, но сильно возбуждено. Он оглянул роту гневными глазами, и сильным, полным возмущения голосом начал говорить. Я почти дословно помню его речь.

— Когда ваша родина изнемогает в нечеловеческих усилиях, чтобы победить врага, — отрывисто, отчетливо

говорил Линде, и его голос отдавало лесное эхо, — вы позволили себе дезертиничать и не исполнять справедливые требования своих начальников. Вы — не солдаты, а сволочь, которую нужно уничтожить. Вы—зазнавшиеся хамы и свиньи, недостойные свободы. Я, комиссар Юго-Западного фронта, я, который вывел солдат свергнуть царское правительство, чтобы дать вам свободу, равной которой не имеет ни один народ в мире, требую, чтобы вы сейчас же мне выдали тех, кто подговаривал вас не исполнять приказ начальника. Иначе вы ответите все. И я не пощажу вас!

Тон речи Линде, манера его говорить и начальственная осанка сильно не понравились казакам. Помню, потом мой ординарец, урядник, делясь со мною впечатлениями дня, сказал: „Они, господин генерал, сами виноваты. Уже очень их речь была не демократическая“.

Когда Линде замолчал, рота стояла бледная, солдаты тяжело дышали. Видимо, они не того ожидали от „своего“ комиссара.

— Ну, что же! — грозно сказал Линде и пошел вдоль фронта.

Командир полка стал вызывать людей по фамилиям. Он уже знал зачинщиков. Выходившие были смертельно бледны, тою зеленоватою бледностью, которая показывает, что человек уже не в себе. Это были люди большею частью молодые, типичные горожане, может быть, рабочие, вернее, люди без определенных занятий. Их набралось двадцать два человека.

Один из вызванных начал что-то говорить. Линде бросился к нему.

— Молчать! Сволочь! Негодяй! После поговоришь...

— Возьмите их, — сказал он сопровождавшему его казачьему офицеру.

— Не выдадим!.. Товарищи! что же это!.. — раздалось из роты, и несколько рук, сжатых в кулаки, поднялось над фронтом.

Я обернулся. Конная сотня, стоявшая шагах в двадцати, грозно надвинулась, и люди стихли.

— Ведите этих подлецов, и при малейшей попытке к бегству — пристрелить, — сказал Гиршфельдт казачьему офицеру.

— Понимаю, — хмуро ответил тот, скомандовал арестантам и повел их, окруженных казаками, из леса.

Дело было сделано, настроение солдат было очень возбужденное, квадраты батальонных колонн, выстроившихся на лесной прогалине, были грозны, и я подумал, что хорошо будет, если Линде теперь же и уедет, пока солдаты не поняли своей силы и нашего бессилия. Я сказал это ему.

— Нет, генерал. Вы ничего не понимаете, — сказал Линде.—Первое впечатление сделано. Надо воспользоваться психологическим моментом. Я хочу поговорить с солдатами и разъяснить им их ошибки.

Линде и начальник дивизии генерал Гиршфельдт сияли счастьем от первой удачи; какая-то непреодолимая судьба несла их в самую пасть опасности. Они уже никого не слушались, и Линде полагал, вероятно, что он овладел массой. Мне же было жутко на него смотреть. По лицам солдат второй роты я понял, что дело далеко не кончено, что судом комиссара они недовольны. Я приказал офицерам и урядникам разойтись между солдатами и наблюдать за ними. Нас было едва пятьсот человек, рассыпанных по всему лесу. Солдат в 444-м полку было свыше четырех тысяч, да много сходилось и из соседних полков. Весь лес был серым от солдатских рубах.

Линде подошел к первому батальону. Он отрекомендовался — кто он, и стал говорить довольно длинную речь. По содержанию это была прекрасная речь, глубоко патриотическая, полная страсти и страдания за родину. Под такими словами подписался бы с удовольствием любой из нас, старых офицеров. Линде требовал беспрекословного исполнения приказаний начальников, строжайшей дисциплины, выполнения всех работ.

Говорил он патетически, страстно, сильно, местами красиво, образно, но акцент портил все. Каждый солдат понимал, что говорит не русский, а немец.

Кончив, Линде, несмотря на протест командира полка, хотевшего держать людей все время в строю и под наблюдением, приказал разойтись людям 1-го батальона и пошел говорить со вторым. Люди первого батальона разошлись по кучкам и стали совещаться. Некоторые следовали за Линде, и нас уже сопровождала порядочная толпа солдат.

Ко мне то и дело подходили офицеры 2-го уманского полка и говорили:

— Уведите его. Дело плохо кончится. Солдаты сговариваются убить его. Они говорят, что он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы не справимся. Они и на казаков действуют. Посмотрите, что идет кругом.

Действительно, подле каждого казака стояла кучка солдат и слышался разговор.

Я снова пошел к Линде и стал его убеждать. Но убедить его было невозможно. Глаза его горели восторгом воодушевления, он верил в силу своего слова, в силу убеждения. Я сказал ему все.

— Вас считают за немецкого шпиона, — сказал я.

— Какие глупости,— сказал он.—Поверьте мне, что это все — прекрасные люди. С ними только никто никогда не говорил.

Было около трех часов пополудни и сильно жарко. Линде уже не говорил речей, но и он, и генерал Гиршфельдт стояли в плотной толпе солдат и отвечали на задаваемые им вопросы. Вопросы эти были все наглее и грубее. Из темной солдатской массы выступали уже определенные лица, которые неотступно следовали за Линде.

Для того, чтобы изолировать казаков от влияния солдат, я приказал собрать оставшиеся четыре сотни на площадке, приказал завести машину Линде и подать ее ближе, и решительно вывел Линде из толпы.

— Вам надо уехать сейчас же, — строго сказал я. — Я ни за что не отвечаю.

Линде колебался. Лицо его было возбуждено, я чувствовал, что он упоен собою, влюблен в себя и верит в свою силу, в силу слова.

Машина фыркала и стучала подле, заглушая наши слова, шофер и его помощник сидели с бледными лицами. Руки шофера напряженно впились в руль машины.

— Хорошо, я сейчас поеду, — сказал Линде и взялся за дверцу автомобиля. Я пошел садиться на свою лошадь.

Но в это мгновение к Линде подошел командир полка. Он хотел еще более убедить его уехать.

— Уезжайте,—сказал он,—443 й полк снялся с позиции и с оружием идет сюда. Он хочет с вами говорить.

— Как,—воскликнул Линде,— самовольно сошел с позиции? Я поеду к нему. Я поговорю с ним. Я сумею убедить его и заставить выдать зачинщиков этого гнусного дела. Надо вынуть заразу из дивизии.

— Люди вооружены,—сказал командир полка.

— Я комиссар. Меня не тронут. Это мой долг, — сказал он. — Ведь вы знаете,—сказал он мне,—они обвиняют генерала Гиршфельдта в том, что он продал немцам за 40.000 рублей свою позицию. Как это глупо! За сорок тысяч!! Вечно нелепая басня об измене генералов!

В это время в лесу, в направлении позиции раздалось несколько ружейных выстрелов. Ко мне подскочил взволнованный казачий офицер, начальник заставы, и растерянно доложил:

— Ваше превосходительство, пехота наступает на нас правильными цепями, в строгом порядке. Я приказал пулеметчикам открыть по ним огонь, но они отказались.

Я передал этот доклад Линде и еще раз просил его немедленно уехать.

— Но ведь это—уже настоящий бунт!—сказал он.—Мой долг—быть там! Генерал, вы можете не сопровождать меня. Я поеду один. Меня не тронут.

— Мой долг ехать с вами,—сказал я, и тронул свою лошадь рядом с автомобилем.

Толпа тысяч в шесть солдат запрудила всю прогалину, и ехать можно было очень тихо. Впереди изредка раздавались выстрелы.

Вдруг раздался чей-то отчаянный резкий голос, покрывая общий гомон толпы.

— В ружье!...

Толпа точно ждала этой команды. В одну секунду все разбежались по землянкам и сейчас же выскакивали оттуда с винтовками. Резко и сильно, сзади и подле нас застучал пулемет и началась бешеная пальба. Все шесть тысяч, а может быть и больше, разом открыли беглый огонь из винтовок. Лесное эхо удесятерило звуки этой пальбы. Казаки шарахнулись и понеслись к дороге и мимо дороги на проволоку резервной позиции..

— Стой!—крикнул я.—Куда вы! С ума сошли! Стреляют вверх!

— Сейчас вверх, а потом и по вас!—крикнул, проскакивая мимо меня, смертельно бледный мой вестовой Алпатов, уже потерявший фуражку.

Полк, мой отборный конвой, трубачи,—все исчезло в одну секунду. Видна была только густая пыль по дороге, да удаляющиеся там и сям, упавшие с лошадей люди, которые вскакивали и бежали догонять сотни. Остался при Линде я, генерал Мистулов и мой начальник штаба, генерального штаба подполковник Муженков. Но стреляли действительно вверх, и у меня еще была надежда вывести Линде из этого хаоса.

Автомобиль повернули обратно, и мы поехали при громе пальбы снова на прогалину мимо землянок. Но в это время пули стали свистать мимо нас и щелкать по автомобилю. Ясно, что теперь уже автомобиль стал мишенью для стрельбы.

Шоферы остановили машину, во мгновение ока выскочили из нее и бросились в лес. За ними выскочили и Линде с Гиршфельдтом. Гиршфельдт побежал в лес, а Линде бросился в землянку. На спуске в землянку какой-то солдат ударил его прикладом в висок. Он побледнел, но остался стоять. Видно удар был не сильный. Тогда другой выстрелил ему в шею. Линде упал, обливаясь кровью. И сейчас же все с дикими криками, улюлюканием бросились на мертвого. Мне нечего было больше делать. Я с Мистуловым и Муженковым рысью поехали из леса. Выстрелы

провожали нас. Однако стреляли, не целясь. Много пуль свистало над нами, но только одна ранила лошадь полковника Муженкова.

За лесом я стал нагонять пеших казаков. Они то шли, то бежали, то ложились. Их было человек двадцать. Сзади них шло два офицера, и с ними генерал Гиршфельдт.

Недалеко от Духче полковник Агрызков собирал полк. Увидевши меня, он поскакал ко мне.

— Полк сильно расстроен, — доложил он.—Половина людей не знаю где. Надо итти домой, успокоить. Меня и вас грозит убить. Говорят, что мы нарочно привели их в западню, чтобы истребить.

— Вы лучше спросите меня, полковник, где комиссар, которого охранять вы были обязаны, — сухо сказал я ему.

— А где? — растерянно спросил Агрызков.

— Убит солдатами на моих глазах,—сказал я.

Агрызков тяжело вздохнул и поехал за мной. Я направился к полку. Вид жидких сотен казаков, растерянных и растрепанных, многих, потерявших лошадей, был безотраден. Я молча объехал ряды и сказал Агрызкову: „Соберите полк в Духче и ожидайте там приказаний".

После этого я поехал в Духче. Там все было спокойно. Я связался с командиром IV кавалерийского корпуса телефоном и доложил ему о происшествии. Командир корпуса потребовал, чтобы я приехал немедленно к нему, к нему же направил и уманцев. Он был очень обеспокоен тем, что произошло, и вызвал к штабу корпуса 2-й полтавский полк и броневые машины.

В Духче приехал генерал от инфантерии Волкобой, командир армейского корпуса, в который входила пехотная дивизия, и стал совещаться с Гиршфельдтом о том, что делать. Я поехал верхом в деревню Пожарки, где был штаб IV кавалерийского корпуса.

Уже затемно, с Муженковым и двумя вестовыми я приехал в Пожарки. На дворе господского дома стояло две броневые машины. Среди чинов штаба было волнение, носились слухи, что вся 3-я пехотная дивизия сошла с фронта и идет на Пожарки. Я рассеял эти слухи, да и телефон из Духче скоро сообщил нам иные, хотя и очень печальные, известия.

При моем отъезде генерал Волкобой, считавший себя любимцем солдат, почтенный старик с седой бородой, типичный русский старик, „дедушка", как звали его солдаты, убедил Гиршфельдта поехать в дивизию без конвоя и уговорить солдат повиноваться. Они поехали вдвоем на лесную прогалину. Там их окружила толпа солдат. Солдаты прежде всего потребовали освобождения арестован-

ных. Волкобой тут же приказал их отпустить. Потом схватили Гиршфельдта, повели его в лес, раздели, привязали к дереву, истязали и надругивались над ним, после чего убили. Волкобой убежал в землянку, плакал и умолял пощадить его в уважение к его сединам. Солдаты со смехом выволокли его из землянки, посадили в автомобиль и, окружив издевавшимися над ним солдатами, отвезли в штаб его корпуса.

Вместе с Гиршфельдтом был убит командир полка и еще один офицер. Убийства, наступающая темнота, лес, — все подействовало отрезвляюще на солдат, и они тихо ушли на позицию и решили сидеть на ней и никуда не уходить.

Ночью полковник Агрызков, убедившись в плохом настроении казаков 2-го уманского полка, увел их за реку Стырь на свои квартиры. В полку никто не был убит. Было помято лошадьми несколько казаков, да несколько лошадей покалечилось на проволоках во время безумного бегства. Полтавцы, переговоривши с уманцами, постановили, что они на верную смерть не пойдут. Таким образом, в несколько часов была разрушена вся та работа по приобретению доверия, которую я делал три месяца.

В штаб корпуса ночью прибыл помощник комиссара Линде из Луцка и исполнительный комитет совета солдатских и рабочих депутатов гор. Луцка, — они утром хотели ехать творить суд и расправу над виновниками убийства Линде и Гиршфельдта. В штабе же находился войсковой старшина Хоперсков, командир пластунского (не из казаков, а из солдат) дивизиона бывшей моей 2-й казачьей сводной дивизии и комитет дивизиона. Они явились по личному почину предложить командиру корпуса свои услуги по охране штаба корпуса и восстановлению порядка на позиции.

Утром предполагалось начать разведку и приступить к смене частей 3-й дивизии с позиции для отвода ее в тыл. Но мне уже не пришлось принимать в этом участия. В ночь на 26 августа пришла из ставки верховного главнокомандующего телеграмма, подписанная Корниловым. Я был назначен командиром III конного корпуса, и Корнилов требовал моего немедленного прибытия в ставку.

26 августа я уехал из дер. Пожарки и в тот же день, сдавши дивизию генералу Колесникову и отправив своих лошадей, ночью поехал на станцию Киверцы, чтобы ехать в Могилев.

IV.

В ставке у генерала Корнилова.

28 августа я приехал в Могилев. Когда я в 9 часов вышел, чтобы ехать в ставку, Могилев имел обычный вид. На станции, как и всегда, толпились офицеры, много было солдат ударных батальонов с голубыми щитами, нашитыми на левом рукаве рубахи, с изображением белой краской черепа и мертвых костей. Не понравились они мне. Чем-то бутафорским веяло от этих неаккуратно сделанных нарукавных нашивок. Поразила меня еще и крайняя сдержанность, совсем необычная нашим, всегда так неумеренно болтливым, офицерам. Как будто боялись друг друга и друг за другом следили.

Так, ничего не зная о том, что происходит, я на штабном автомобиле отправился в штаб верховного главнокомандующего.

После небольших формальностей меня пропустили в дом верховного главнокомандующего. Начальник штаба сбивчиво и неясно, видимо, сильно волнуясь, объяснил мне, что только-что Корнилов объявил Керенского изменником, а Керенский сделал то же самое по отношению к Корнилову, что необходимо арестовать Временное Правительство и прочно занять Петроград верными Корнилову войсками, тогда явится возможность продолжать войну и победить немцев. С этою целью Корнилов двинул на Петроград III конный корпус, который с приданной к нему кавказской туземной дивизией разворачивается в армию, командовать которой назначен генерал Крымов. Кавказская дивизия разворачивается в туземный корпус приданием к ней 1 го осетинского и 1-го дагестанского полков. Я же назначен принять от Крымова III конный корпус, чтобы освободить его для командования армией. Сложная работа разворачивания кавказской туземной дивизии в корпус шла на походе, да и не на настоящем походе, а в вагонах железнодорожных эшелонов. На деликатное дело военного переворота были брошены части с только-что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова, уссурийская конная дивизия III корпуса не знала меня.

На мой вопрос, где же я могу настигнуть свой корпус, начальник штаба очень неуверенно начал говорить, что корпус может быть уже в Петрограде, или в Пскове, в Пскове наверное, что туземцы или в Павловске, или на станции Дно, что все движется эшелонами и в данное время связи еще нет. В это время дверь кабинета начальника

штаба распахнулась, и в нее быстрыми, твердыми шагами вошел невысокого роста генерал, аккуратно одетый, с коротко остриженными черными волосами и черными нависшими над губою усами. Лицо его было смуглое, глаза узкие, чуть косые и с сильным блеском, быстрые. Я никогда не видал раньше Корнилова, но сейчас же узнал его по портретам. Я представился ему.

— С нами вы, генерал, или против нас? — быстро и твердо спросил меня Корнилов.

— Я старый солдат, ваше высокопревосходительство, — отвечал я, — и всякое ваше приказание исполню в точности и беспрекословно.

— Ну, вот и отлично. Поезжайте сейчас же в Псков. Постарайтесь отыскать там Крымова. Если его там нет, оставайтесь пока в Пскове; нужно, чтобы побольше было генералов в Пскове. Я не знаю, как Клембовский? Во всяком случае явитесь к нему. От него получите указания. Да поможет вам господь! — Корнилов протянул мне руку, давая понять, что аудиенция кончена.

Поезд на Псков отходил в 2 часа дня, было всего половина 12-го, и я пошел пешком по Могилеву в штаб походного атамана. На улицах толпилось очень много ударников из ударных батальонов, они щеголевато отдавали честь, но видимо были смущены, собирались кучками и о чем-то шептались.

В штабе походного атамана у меня все были старые знакомые и сослуживцы. И начальник штаба ген. Смагин, и Сазонов, и чины штаба полковники Власов и Греков были уверены в полном успехе дела. Они мне подробно рассказали о том, что Керенский определенно ведет армию к полному разложению и, если он останется у власти, солдаты покинут фронт и станут брататься с немцами. Керенский совершенно подчинился исполнительному комитету совета солдатских и рабочих депутатов, того совета, который издал приказ № 1. Правительство ничего не стоит и ничего не понимает; России угрожает гибель. Спасти может только диктатура, и в решительную минуту, когда самое существование России висело на волоске, верховный главнокомандующий взял на себя свергнуть Керенского и стать во главе России до Учредительного Собрания.

Тут же мне показали приказ Корнилова, написанный в сильных, но слишком личных тонах. „Сын казака-крестьянина“ звучало как-то не у места и не отвечало всему тону приказа, написанному не по-крестьянски. В прекрасно, благородно, смело написанном приказе звучала фальшь. Я ее сейчас заметил. В штабе походного атамана ее не

замечали, но солдаты и казаки уловили ее сразу и потом только ее и видели. Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости: „долой войну. Подавай нам мир и землю. Мир по телеграфу". А приказ настойчиво звал к войне и победе. Керенский, который лучше понимал настроение массы, сейчас же учуял эту фальшь, и его контр-приказ, объявлявший Корнилова изменником и контр-революционером, говоривший о тех завоеваниях революции, которые солдатом понимались, как своевольничание, ничегонеделание, пьянство и отсутствие какой бы то ни было власти, сразу завоевал симпатии солдатской массы. Разговаривая со Смагиным и Сазоновым, я откровенно высказал и следующие свои взгляды по поводу всего дела.

Замышляется очень деликатная и сильная операция, требующая вдохновения и порыва. Coup d'état [1]), — для которого неизбежно нужна некоторая театральность обстановки. Собирали III корпус под Могилевом? Выстраивали его в конном строю для Корнилова? Приезжал Корнилов к нему? Звучали победные марши над полем, было сказано какое-либо сильно увлекающее слово, — боже сохрани — не речь, а, именно, слово; была обещана награда? Нет, нет и нет. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по железным путям, часами стояли на станциях. Солдаты толпились в красных коробках вагонов, а потом, на станции, толпами стояли около какого-нибудь оратора — железнодорожного техника, постороннего солдата, — кто его знает кого? Они не видели своих вождей с собою и даже не знали, где они.

Все начальство осталось позади. Корнилов задумал такое великое дело, а сам остался в Могилеве, во дворце, окруженный туркменами и ударниками, как будто и сам не верящий в успех. Крымов—неизвестно где, части не в руках у своих начальников.

Все это я высказал в штабе. Но меня разуверили и успокоили. Керенского в армии ненавидят. Кто он такой?— штатский, едва ли не еврей, не умеющий себя держать фигляр, а против него брошены лучшие части. Крымова обожают, туземцам все равно, куда итти и кого резать, лишь бы их князь Багратион был с ними. Никто Керенского защищать не будет. Это только прогулка; все подготовлено.

Но тогда еще менее мне было понятно, почему же в эту прогулку не пошел сразу с нами Корнилов?

В штабе походного атамана горячо желали мне успеха, но сами волновались, сами боялись даже Могилева.

---

[1]) Государственный переворот. *Ред.*

В час дня я был на станции, получил место в прямом скором поезде и в ожидании его сел обедать. На станции я узнал, что только-что уехал из ставки в Петроград на паровозе Филоненков, приезжавший от Керенского уговаривать Корнилова. Рассказывавший мне это офицер сказал, что Корнилов убедил Филоненкова в правоте своего поступка, и Филоненков будто бы теперь помчался уговаривать Керенского признать диктатуру Корнилова, при чем Корнилов оставлял за Керенским пост министра юстиции.

В 2 часа 50 мин. я с сотником Генераловым сел в отведенное нам купе и поехал к Петрограду.

Поезд шел поразительно точно. Провожатый вагона говорил нам, что все железнодорожники на стороне Корнилова, что они мечтают, чтобы кто-либо обуздал беспардонные банды солдат, которые носятся теперь по всем путям, загаживают вагоны первого класса, бьют стекла, срывают обивку и терроризируют всех железнодорожников[1]).

По пути я обдумывал, что же мы должны будем делать. Нашей задачей, сколько я мог понять в ставке, являлся арест членов Временного Правительства и арест Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, иными словами захват Зимнего дворца, Смольного института и Таврического дворца. Какое и откуда сопротивление мы могли встретить? Конечно, „краса и гордость революции“ — матросы—вступятся за своего вождя и героя, может быть, рабочие и, весьма вероятно,—Петроградский гарнизон, который стал в положение преторианцев и боится, что Корнилов отправит его на фронт. Наших сил было мало. Но, считаясь с трусливым настроением петроградских солдат, с тем, что корпус представляет из себя отборных бойцов, считаясь с тем, что уличный бой вести очень трудно, и офицеры петроградского гарнизона, училища и пр. вероятно на нашей стороне, можно было рассчитывать и на успех. Хотелось только возможно скорее увидеть корпус собранным в поле, как грозная сила, со всеми его батареями и пулеметами, а не иметь его разбросанным по путям железной дороги.

Невольно задумывался и о своем положении. В случае удачи ореол славы Корнилова захватит и нас, его сотрудников, в случае крушения дела нам придется разделить его участь, — тюрьму, полевой суд и смертную казнь. Однако чувствовал, что и в этом случае итти надо, потому что не только морально все симпатии мои были на

---

[1]) Проводник, повидимому, подлаживался к своим пассажирам. Несколько дальше (стр. 26) Краснов совершенно иначе изображает настроение железнодорожников. *Ред.*

стороне Корнилова, но и юридически я был прав, так как получил приказание от своего верховного главнокомандующего и обязан его исполнить. Характерно то, что ни я, ни генералы Смагин, Сазонов, ни офицеры штаба походного атамана ни разу не останавливались над вопросом о том, к какой политической партии принадлежат Корнилов и Крымов, куда будут они гнуть, если окажутся у власти. А между тем, мы знали, что Корнилов считался революционером, что Крымов, которого почему-то считали монархистом и реакционером, играл какую-то таинственную роль в отречении государя императора и сносился и дружил с Гучковым [1]). Мы все так жаждали возрождения армии и надежды на победу, что готовы были тогда итти с кем угодно, лишь бы выздоровела наша горячо любимая армия.

V.

На станции Дно. Туземный корпус.

В 6 час. утра 29 августа мы прибыли на станцию Дно и здесь нам заявили, что поезд дальше не пойдет: между Вырицей и Павловском путь разобран, идет перестрелка между всадниками туземного корпуса и солдатами петроградского гарнизона, вышедшими навстречу. Все пути были заставлены эшелонами с частями туземного корпуса. В зале I и II классов и в буфете, несмотря на ранний час,— столпотворение вавилонское. Офицеры, всадники, солдаты. Кто спит на полу или на лавке, кто уже обедает, кто пьет чай, кто разложил карты и в толпе откровенно диктует приказание. Кухонный чад, волны табачного дыма и отсутствие какого бы то ни было воинского порядка. Никто толком ничего не знал. Эшелоны застряли на всем пути, но никто не знал, что делать, приказаний ни от кого получено не было. Осетины и дагестанцы могли подойти только через несколько дней. Командир туземного корпуса князь Багратион находился верстах в восьми от станции в каком-то имении. Туда ехал командир ингушского полка, полковник Мерчуле, я переговорил по телефону с князем и поехал к нему, чтобы сговориться.

Князь Багратион только-что встал. Ночью он получил пакет от Крымова и теперь пригласил меня рассмотреть с ним присланную ему диспозицию. Диспозицию и план

---

[1]) Крымов был одним из участников заговора против Николая II. Предполагалось, заменив Николая Михаилом, предотвратить революцию. Монархистом и реакционером Крымова считали, конечно, вполне основательно. *Ред.*)

Петрограда, приложенный к ней, рассматривали таинственно, как заговорщики. Приказ Крымова говорил о том, что делать, когда Петроград будет занят. Какой дивизии занять какие части города, где иметь наиболее сильные караулы. Все было предусмотрено: и занятие дворцов и банков, и караулы на вокзалах железной дороги, телефонной станции, в Михайловском манеже, и окружение казарм, и обезоружение гарнизона; не было предусмотрено только одного — встречи с боем до входа в Петроград. Сам Крымов был в Пскове, но собирался мчаться дальше в самый Петроград, впереди своих войск. Прочитавши это приказание, князь Багратион поехал со мною на станцию Дно. Там был телефон с Вырицей, откуда командир 3-й бригады князь Гагарин мог донести Багратиону о том, что происходит.

Произошло же следующее: третья бригада, шедшая во главе кавказской туземной дивизии, у станции Вырицы наткнулась на разобранный путь. Черкесы и ингуши вышли из вагонов и собрались у Вырицы, а потом пошли походным порядком на Павловск и Царское Село. Между Павловском и Царским Селом их встретили ружейным огнем, и они остановились. По донесениям со стороны, вышедшие на встречу солдаты гвардейских полков драться не хотели, убегали при приближении всадников, но князь Гагарин не мог итти один с двумя полками, так как попадал в мешок. Надо было пододвинуть вперед эшелоны туземной дивизии и начать движение III конного корпуса на Лугу и Гатчино, а где находился III конный корпус, никто точно не знал. Где-то тоже на путях; а уссурийская конная дивизия — даже сзади. Надо было ударить по Петрограду силою в 86 эскадронов и сотен, а ударили одною бригадою князя Гагарина в 8 слабых сотен, на половину без начальников. Вместо того, чтобы бить кулаком, ударили пальчиком — вышло больно для пальчика и нечувствительно тому, кого ударили.

На станции Дно стояли эшелоны кавказской туземной дивизии. Было очевидно, что подать их вперед эшелонами нельзя. Все равно, почему: потому ли, что настроение железнодорожников после воззвания Керенского изменилось и они уже были против Корнилова и называли его изменником, потому ли, что технически, при разрушенном пути, нельзя было подать эшелоны вперед, но эшелоны стояли, а кн. Багратион не рисковал выгрузиться и итти походом к Вырице. Казалось далеко.

Мой поезд на Псков должен был отойти в 2 часа. Около этого времени на станцию прибыло 2 эшелона приморского драгунского полка. Солдаты сейчас же выскочили из вагонов и собрались на опушке леса за путями. У них уже

были воззвания Керенского и они горячо обсуждали, кто изменник: Корнилов или Керенский. Командир полка полковник Шипунов, узнавши, что я нахожусь на станции и что я назначен командиром III конного корпуса, пошел представиться мне и просил меня поговорить с солдатами.

Я отправился за пути. Солдатская толпа сейчас же обступила меня. Я вглядеся в лица. Хорошие, славные, честные это были лица. Драгуны были прекрасно, щегольски одеты и отлично выправлены. Я сказал им, кто я. Сказал, что я знаю полк еще по японской войне, когда был с ними на охране побережья у Кайджоо и видел их в бою под Дашичао. Я прочел и разъяснил им приказ Корнилова.

— Мы должны исполнить приказ нашего верховного главнокомандующего, как верные солдаты, без всякого рассуждения. Русский народ в Учредительном Собрании рассудит, кто прав, Керенский или Корнилов, а сейчас наш долг повиноваться.

— Господин генерал, — отвечал мне солидный подпрапорщик, вахмистр со многими георгиевскими крестами. — Оборони боже, чтобы мы отказывались исполнить приказ. Мы с полным удовольствием. Только вишь ты, какая загвоздка вышла: и тот—изменник, и другой—изменник. Нам дорогою сказывали, что генерал Корнилов в ставке уже арестован, его нет, а мы пойдем на такое дело? Ни сами не пойдем, ни вас под ответ подводить не хотим. Останемся здесь, пошлем разведчиков узнать, где правда, а тогда — с нашим удовольствием,— мы свой солдатский долг отлично понимаем.

Но оставаться на станции Дно, когда каждая минута была дорога и каждый лишний солдат был нужен Крымову в Пскове, я считал невозможным.

— Хорошо,—сказал я.— Я с вами согласен, что без разведки мы не можем кинуться в бой. Ваш путь идет через Псков. В Пскове находится главнокомандующий северным фронтом. Я еду сейчас в Псков, и если главнокомандующий подтвердит приказ генерала Корнилова, мы обязаны его исполнить.

— Совершенно правильно, — раздались голоса солдат. — Мы исполним то, что нам скажут в штабе фронта. Так пусть и будет.

Я надеялся на солидарность между генералами. Я был уверен, что ген. Клембовский станет на точку зрения Корнилова—необходимости спасать, но не разрушать армию.

Драгуны разошлись по вагонам, и через полчаса их эшелоны потянулись по свободному пути на Псков.

В 5 часов пополудни прибыл и мой псковский поезд, и я поехал с ним, обгоняя в пути драгунские эшелоны.

VI.

В эшелонах.

Ночь была темная, августовская. На остановках то я, то сотник Генералов выходили на станции и ходили мимо драгунских эшелонов. И почти всюду мы видели одну и ту же картину: где на путях, где в вагоне, на седлах у склонившихся к ним головами вороных и караковых лошадей сидели или стояли драгуны и среди них — юркая личность в солдатской шинели. Слышались отрывистые фразы.

— Товарищи, что же вы! Керенский вас из-под офицерской палки вывел, свободу вам дал, а вы опять захотели тянуться перед офицером, да чтобы в зубы вам тыкали? Так, что ли?

— Товарищи! Керенский—за свободу и счастье народа, а ген. Корнилов — за дисциплину и смертную казнь. Ужели вы с Корниловым?

— Товарищи! Корнилов—изменник России и идет вести вас на бой на защиту иностранного капитала. Он большие деньги на то получил, а Керенский хочет мира!..

Молчали драгуны, но лица их становились все сумрачнее и сумрачнее.

Приверженцы Керенского пустили по железным дорогам тысячи агитаторов и ни одного не было от Корнилова.

Какая страшная драма разыгрывалась в темной душе солдата в эти дни? Какие ужасные мысли медленно ползли и копошились в его мозгу? Начальники с верховным главнокомандующим ген. Корниловым вели солдат против Временного Правительства, того Временного Правительства, которое дало им неслыханную свободу, которое попустительствовало им в их преступлениях против начальников и, не отказываясь на словах, отказалось на деле от войны, потому что лето — период упорных сражений — проходило тихо, если не считать двух неудавшихся наступлений,—июньского на юго-западном фронте и июльского—на северном, сорванных солдатами, оставшимися совершенно безнаказанными.

После революции, даже и помимо приказа № 1, между офицерами и солдатами появилась пропасть. Революция для солдата — это была свобода, а свобода — отрицание войны. После революции и отречения императора война исчезла из понятия солдата. Ведь войну все время называли капиталистически-империалистской. Императора больше не было; для того, чтобы окончательно освободиться от войны, надо было теперь освободиться от капиталистов; об этом откровенно кричали по всей армии большевики.

Такие речи я слышал, когда меня 5 мая судил трибунал Видиборского солдатского совета, таких же речей я наслушался и от солдат 111-й пехотной дивизии перед убийством комиссара Линде. Солдат устал от войны, окопная жизнь ему на смерть надоела, его тянуло домой, на ту самую землю, которой он, наконец, добился. Дезертировать мешал страх наказания и остаток совести, и солдат ждал и прислушивался только к одному слову, и это слово было мир. Временное Правительство и особенно Исполнительный Комитет Совета Солдатских и Рабочих Депутатов это слово произносили часто, то принимая, то отрицая возможность мира; они думали, значит, о мире, обсуждали его. Войны хотели только генералы и офицеры, потому что она им выгодна, так как дает им чины и награды,— так внушали солдату, и солдат этому верил. Керенский вовсе не был популярен, как личность, как оратор, как идейный человек; смеялись над его жестами и его пафосом, но Керенский был их адвокатом и защитником перед офицерами и генералами, и потому был любим не как Керенский, а как идея мира. Уже то, что он был штатский, а не офицер, давало надежду солдатам, что он пойдет против войны, за мир, потому что ему-то мир был нужен, а не война. И мы увидим, как отметнулась солдатская масса от своего кумира Керенского и готова была предать его, как только Керенский пошел за войну, отказался от мира „по телеграфу". Мир „по телеграфу" дали большевики, и солдатская масса пошла за ними.

Среди солдатской массы некоторые части выделялись из общего уровня. Вследствие воинственного воспитания дома, вследствие того, что война давала не только одни несчастья, но и выгоды, которыми дорожили и дома, в домашнем быту,— производство в офицеры, георгиевские кресты, иногда добыча, — на войну был взгляд более благожелательный. Эти части были части казачьи. Казаки вследствие своего воспитания дольше не принимали мира. Но и казаки были разные. Были воинственные войска с твердыми традициями, и были войска невоинственные, с традициями молодыми; в одних и тех же войсках были станицы воинственные и миролюбивые. Потому-то Корнилов и выбрал для выполнения своей цели казаков и горцев Кавказа, что в них идея мира „по телеграфу" не свила еще прочного гнезда и они согласны были повоевать еще.

На призыв Корнилова к войне солдатская масса уже знала, как ответить. Ей это подсказали опытные и умелые агитаторы: арестовать офицеров и послать делегатов в Петроград за указаниями. Все шесть месяцев после революции это было самое обычное дело.

Предоставленные самим себе, томящиеся в застрявших на путях эшелонах, казаки и солдаты, смущаемые воззваниями Керенского и его агитаторами, и пошли по этой проторенной за шесть месяцев дороже — арестовать офицеров и послать делегации в Петроград спросить, что делать? Итак, в то самое время, когда Крымов расписывал диспозицию занятия Петрограда, ингуши и черкесы перестреливались с гвардейскими стрелками, петроградский гарнизон волновался и готов был сдаться Корнилову [1]), а Керенский и Временное Правительство не знали, что делать, и думали о бегстве — ведь наступали на них казаки и дикая дивизия с самим бесстрашным Корниловым, — к ним, которых должны были арестовать, за советом и помощью явились представители комитетов донской и уссурийской дивизии и команда связи, составленная из солдат, а не горцев, как представители дикой дивизии!

Ясно было, что все предприятие Корнилова рухнуло, еще и не начавшись.

Керенский обласкал казаков. Он тут же произвел наиболее речистых и подхалимистых двух казаков в офицеры, велел им ехать обратно с приказом остановиться и арестовать тех офицеров, которые будут требовать дальнейшего движения на Петербург. Ген. Крымову послал приказ приехать к нему для переговоров. И твердый, волевой человек, ген. Крымов послушался. Он сел в автомобиль с адъютантом подъесаулом 9-го Донского казачьего полка Кульгавовым и помчался в Петроград, предавая этим Корнилова.

Поехал он с грозным решением требовать от Керенского, угрожать ему, поехал глубоко взволнованный и сильно потрясенный...

Таковы были события за те сутки, которые солдаты и казаки провели в вагонах, стоя на станции замерзей в каком-то сне железной дороги. Иногда по чьему-то никому неизвестному распоряжению к какому нибудь эшелону прицепляли паровоз и его везли два, три перегона, сорок, шестьдесят верст, и потом он оказывался где-то в стороне, на глухом разъезде без паровоза, без фуража для лошадей и без обеда для людей. В то время, как штаб Корнилова был парализован и, выпустивши части, на этом и успокоился, пособники Керенского в лице разных мелких станционных комитетов и советов и даже просто сочувствующих Керенскому железнодорожных агентов и большевиков, которые уже начали свою работу, запутывали положение корпуса до невозможного.

[1]) Это утверждение почтенного автора не совсем верно. Петроградский гарнизон действительно волновался. Однако вовсе не из желания сдаться Корнилову, а по мотивам совершенно противоположного характера. *Ред.*

30 августа части армии Крымова, конной армии, мирно сидели в вагонах с расседланными лошадьми при полной невозможности местами вывести этих лошадей из вагонов за отсутствием приспособлений по станциям и разъездам восьми железных дорог: Виндавской, Николаевской, Новгородской, Варшавской, Дно—Псков—Гдов, Гатчино—Луга, Гатчино—Тосно и Балтийской! Они были в Новгороде, Чудове, на ст. Дно, в Пскове, Луге, Гатчино, Гдове, Ямбурге, Нарве, Везенберге и на промежуточных станциях и разъездах! Не только начальники дивизий, но даже командиры полков не знали точно, где находятся их эскадроны и сотни К этому привело путешествие по железной дороге армии, направленной для гражданской войны [1]). Отсутствие пищи и фуража естественно озлобляло людей еще больше. Люди отлично понимали отсутствие управления и видели всю ту бестолковщину, которая творилась кругом, и начинали арестовывать офицеров и начальников. Так большая часть офицеров приморского драгунского, 1-го нерчинского, 1-го уссурийского и 1-го амурского казачьих полков были арестованы драгунами и казаками. Офицеры 13-го и 15-го донских казачьих полков были в состоянии полуарестованных. Почти везде в фактическое управление частями вместо начальников вступили комитеты. Начальнику 1-й донской казачьей дивизии ген. Грекову удалось собрать некоторые части своей дивизии под Лугой. Он решил итти походом на Петроград. Но вернувшиеся из Петрограда члены комитета привезли приказ оставаться и требование генералу Грекову явиться к Керенскому. Ген. Греков, понимая, что после отъезда Крымова ему ничего не остается делать, как ехать к Керенскому, сел в автомобиль и поехал в Петроград. Еще раньше туда же отправился и начальник уссурийской конной дивизии ген. Губин, увлеченный к Керенскому своим комитетом.

Ген. Корнилов рассчитывал на полное сочувствие своему плану всего генералитета... Но... ошибся... Он был моложе многих. Были другие, которым тоже хотелось играть роль... Ген. Клембовский вместо помощи или хотя бы нейтралитета по отношению к Корнилову снесся с Керенским и покинул Псков, оставив вместо себя начальника гарнизона, грубого и ловкого, не стесняющегося менять убеждения Бонч-Бруевича.

Таково было положение к тому времени, когда я, наконец, добрался до города Пскова.

---

[1]) Этим неосторожным заявлением Краснов признает, что корниловский „путч" был началом гражданской войны. „Патриотические" генералы вполне сознательно шли на это. *Ред.*

VII.

В Пскове.

На станцию Псков поезд пришел в 12 часов ночи на 30 августа. Пассажирам было заявлено, что поезд дальше не пойдет. Опять та же история: полотно дороги разрушено, движения поездов нет. Так же, как станция Дно была переполнена офицерами и всадниками кавказской туземной дивизии, станция Псков была переполнена офицерами и солдатами приморского драгунского полка и солдатами псковского гарнизона.

Я стал расспрашивать у офицеров об обстановке.

— Где ген. Крымов?

— Утром уехал на Лугу; должно быть, сейчас там.

Имея указания от ген. Корнилова соединиться возможно скорее с Крымовым и принять от него командование III конным корпусом, я пошел к коменданту станции просить отправить меня на паровозе или на дрезине в Лугу. Измученный, усталый комендант отнесся к моей просьбе с полным участием, но сослался на категорическое приказание штаба фронта ни одного человека не пропускать в петроградском направлении. Нужно разрешение штаба фронта.

— Дайте мне телефон штаба, я буду говорить с ген. Клембовским, — сказал я.

— Ген. Клембовского нет.

— Где же он?

— Поехал в Петроград. Он назначен верховным главнокомандующим.

— А Корнилов? — невольно спросил я.

— Не знаю. Или бежал, или арестован. Вы читали приказ Керенского, объявляющий его изменником?

— Читал. Но что из этого?

Впрочем, подумал я, комендант мог ничего не знать. Это могла быть и провокация.

Мне дали соединение со штабом фронта.

— Кто меня спрашивает? — услышал я голос.

— А позвольте спросить, кто у телефона, — спросил я, — все еще надеясь что это Клембовский.

— Временно командующий северным фронтом ген. Бонч-Бруевич, а вы кто?

Я назвал себя.

— Я прошу вас сейчас приехать ко мне. Мне нужно с вами переговорить. Я посылаю за вами автомобиль, — сказал мне Бонч-Бруевич.

Через полчаса я был принят Бонч-Бруевичем в присутствии молодого человека с бледным лицом и с черными усиками, в рубашке с солдатскими защитными погонами.

— Комиссар Саницкий, — кинул мне Бонч-Бруевич, — мы будем говорить при нем. Какие вы задачи имеете?

Я ответил, что имею приказание явиться к генералу Крымову и никаких больше задач не имею.

— Ген. Крымов, — как-то загадочно проговорил Бонч-Бруевич, — находится в Луге, а пожалуй что теперь и в Петрограде. Вам незачем ехать к нему. Оставайтесь лучше здесь.

— Я получил приказание, и я должен его исполнить. Я должен принять от него корпус и распутать ту путаницу, которая в нем происходит.

— А в чем вы видите путаницу?—спросил Бонч-Бруевич.

Комиссар, присутствовавший здесь, меня стеснял, да и сам Бонч-Бруевич казался мне подозрительным. Я вскользь сказал о том, что эшелоны застряли на путях, люди и лошади голодают и дальше это не может продолжаться, так как грозит уничтожением конскому составу и может вызвать голодных людей на грабежи.

— Я с вами совершенно согласен, — сказал мне Бонч-Бруевич.— Мы об этом с вами поговорим утром.

— Я буду вас просить дать мне автомобиль до Луги.

— К сожалению, не могу исполнить вашей просьбы. У нас все машины—городского типа и не выдержат дороги, да и бензина нет.

Я видел, что Бонч-Бруевич лгал. Не могло же не быть в штабе фронта нескольких полевых машин, да до Луги и городская машина могла довезти. Я попрощался с Бонч-Бруевичем и пошел проводить остаток ночи в комендантское управление. Сидя в комнате дежурного адъютанта, я обдумывал, что же делать? Первое, что мне казалось необходимым,—восстановить части. Выпуть их из коробок, поставить по деревням или на биваке и накормить людей и лошадей. Все равно, с голодными людьми и на некормленных лошадях далеко не уедешь.

Утром 30 я отправился к Бонч-Бруевичу. Повидимому, за ночь он получил какие-либо известия о проказах казаков на путях, потому что начал с того, что спросил у меня совета, что делать с эшелонами, которые загромоздили все пути, остановили движение по железной дороге и прекратили подвоз продовольствия на фронт. Я предложил сосредоточить уссурийскую дивизию в районе Везенберга, пользуясь тем, что она эшелонирована на путях, идущих к Нарве и Ревелю, и донскую — в районе Нарвы. Этим совершенно разгружалась бы варшавская дорога, а я имел весь корпус

в кулаке и на путях к Петрограду, так что по соединении с Крымовым мог исполнить ту задачу, которая будет указана корпусу.

Ген. Бонч-Бруевич составил при мне телеграмму, которую адресовал: „главковерху Керенскому".

— Вы видите, — сказал он, — продолжать то, что вам, вероятно, приказано и что вы скрываете от меня, вам не приходится, потому-что верховный главнокомандующий — Керенский, вот и все.

Я ушел. И все-таки я считал своим долгом отыскать Крымова, своего непосредственного начальника. От Бонч-Бруевича я пошел в гараж попросить автомобиль, но получил там отказ: машины испорчены, нет бензина. Полк. Зарубаев, заведывавший гаражем, сообщил мне, что какой-то американский корреспондент, имеющий собственный автомобиль, едет в пять часов в Лугу, чтобы наблюдать бой между корниловскими войсками и петроградским гарнизоном, и что он устроит меня с ним. Я ухватился за это. Известие, что бой все-таки ожидается, говорило мне, что, может быть, не все еще потеряно и что сведения Бонч-Бруевича умышленно неверные.

В комендантском управлении меня ожидал полевой жандарм из штаба главнокомандующего.

— Главнокомандующий приказал мне озаботиться отводом вам квартиры, — сказал он.

Такая заботливость о моей персоне меня удивила.

— Где же мне отвели квартиру? — спросил я.

— В кадетском корпусе, я сейчас вас туда могу отвезти.

Оставаться в дежурной комнате комендантского управления было нельзя, я стеснял адъютанта. Я забрал свои вещи и с своим ординарцем и сотником Генераловым отправился в корпус.

На входной двери квартиры, в которую меня вводили, было написано: „Комиссариат северного фронта". В прихожей толпились солдаты и какие-то люди подозрительного вида.

— Вероятно, вы ошиблись, — сказал я жандарму, — здесь помещение комиссариата.

— Ничего, они обещали потесниться.

Действительно, ко мне вышел Савицкий и сказал, что я могу здесь располагаться. Какой-то предупредительный и весьма обязательный, хорошо одетый юноша пошел показать мне мою комнату. Это была большая комната в два окна, выходящие во внутренний сад. В комнате стояла прекрасная мягкая постель, так и манившая к покою после двух бессонных ночей.

— Вот здесь электричество, — показывал мне юноша. — Можно стол поставить, стулья. Очень хорошо.

— Комната отличная,— в раздумьи сказал я. Меня поразил гул солдатских голосов и как будто стук ружей за дверью. Я открыл дверь. За дверью была просторная прихожая. Она наполнялась вооруженными солдатами.

— Вы что за люди? — спросил я их.

— Так что, господин генерал, караул к арестованному, — бойко ответил мне бравый унтер-офицер.

— Благодарю вас,—сказал я любезному юноше,—но комната мне что-то не нравится. В ней будет слишком шумно, а мне надо заниматься.

И я спокойно прошел мимо караула, вышел во двор, а из двора на улицу, где еще стоял извозчик с моим чемоданом.

Куда ехать? Куда ехать? — думал я.

Утомление сказывалось, а силы были нужны на завтра, чтобы ехать верхом или итти пешком. Мне предложил переночевать у него тот самый комендантский адъютант поручик Пилипенко, которого я так стеснял. Он имел комнату на окраине города недалеко от вокзала.

К 9 часам вечера, подготовивши все для поездки верхом на лошадях уральских казаков в Лугу, я перебрался к поручику Пилипенко. Около 12-часов ночи мы улеглись на покой в гостиной. Благодетель-сон сейчас же прогнал все думы, заботы, тревоги и волнения.

Но недолго он продолжался.

Сильные непрерывные звонки у входной двери меня разбудили. Я зажег свечу и посмотрел на часы. Был час ночи. Я спал меньше часа. Я сейчас догадался в чем дело, но продолжал лежать, нарочно не вставая. Прислуга хозяйки зашлепала босыми ногами. В дверь стали раздаваться удары прикладами. Она отворилась, и прихожая наполнилась большим количеством людей, грозно стучавших ружьями. Они не помещались в прихожей и часть стучала винтовками по лестнице.

В гостиную стали входить, стуча прикладами, юнкера школы прапорщиков северного фронта, с ними был их офицер и какой-то молодой человек в штатском платье.

— Вы—генерал Краснов? — обратился штатский ко мне.

— Да, я генерал Краснов, — отвечал я, продолжая лежать. — А вам что от меня нужно?

— Господин комиссар просит вас немедленно прибыть к нему для допроса, — отвечал он.

Было решено, что мы поедем с молодым человеком на извозчике, а юнкера пойдут по домам. Во втором часу мы молча поехали по городу. Ехал вооруженный шашкой и револьвером генерал и с ним штатский. Ничего подозрительного. Возвращались, может быть, с какой-нибудь пирушки. Город

был тих и пустынен. Мы никого не встретили. Если бы я хотел бежать, я мог бы бежать сколько угодно. Но я бежать не хотел.

VIII.

На допросе у комиссара.

Знакомое здание корпуса. Помещение комиссариата. Как я был недальновиден, что отказался от комфортабельной комнаты с пружинной кроватью. Все было бы гораздо скорее, я успел бы выспаться и не пришлось бы ночью ехать на плохом извозчике.

Почти пустая, просторная, казенного типа комната. Тускло горит электричество. У простенка между окнами небольшой стол. За ним три человека. Посередине молодой человек, с бледным, красивым, одухотворенным лицом, с большими, возбужденными глазами. Маленькие усы над правильным ртом. Одет чисто в форму поручика саперных войск. Это, как я узнал впоследствии,—поручик Станкевич, комиссар северного фронта и правая рука Керенского. Справа—маленький, сгорбленный, лохматый рыжий человек, в рыжем пиджаке. Скомканная рыжая бороденка и усы, бегающие рыжие глазки,—типичный революционер, как их описывают в романах. Но лицо умное и, несмотря на всю свою некрасивость, симпатичное. Это был помощник комиссара Войтинский, большевик, идейный человек, ставший на защиту армии от разрушения. Я слышал про него много хорошего [1]). И наконец, по левую руку—уже знакомый мне вольноопределяющийся Савицкий. Этот пронизывает меня своими красивыми, черными глазами.

Справа, у стены, на диване—четыре человека, по костюму—рабочие. Лица тупые, серые, безразличные. Вероятно,—представители псковского „исполкома". Весь трибунал на лицо.

Станкевич предложил мне сесть. Начался допрос. Почему я оказался в эти тревожные дни в Пскове? Ответ прост: получил предписание вступить в командование III конным корпусом и ехал его принимать. У меня предписание с собою.

— Почему именно вас, а не кого-либо другого наметил Крымов, а потом—Корнилов на должность командира III корпуса,—спросил Войтинский.

---

[1]) Войтинский в это время был уже в лагере меньшевиков. Им и следует поставить в „заслугу", как „защиту армии от разрушения", так и многое другое „хорошее", что слышал о Войтинском Краснов. *Ред*

— Корпус мне хотели дать давно, еще весною. Генерал Алексеев выдвигал меня на корпус, и я знал, что получу или IV или III. Третий освободился раньше, мне его и дали.

— Не дали ли его вам по политическим убеждениям? — вкрадчиво спросил меня Войтинский.

— Я солдат, — гордо сказал я, — и стою вне политики. Лучшим доказательством вам служит то, что я оставался до последней минуты при убитом на моих глазах комиссаре Линде и старался его спасти. А комиссар Линде — один из крупных виновников революции.

Меня попросили подробно рассказать о смерти Линде, о чем в Пскове только-что узнали. Я рассказал все, чему был очевидцем.

Мой рассказ расположил судей в мою пользу. Они стали совещаться между собою.

— Знаете ли вы, — сказал мне Войтинский, — что Корнилов арестован своими войсками и Керенский вступил в верховное командование?

— Ген. Алексеев принял на себя должность начальника штаба верховного главнокомандующего, — продолжал Войтинский.

— Это хорошо, — сказал я. — Генерала Алексеева очень уважают в армии.

— Вы видите, что вся эта авантюра, задуманная Корниловым, рухнула, — сказал Станкевич, — она пошла не на пользу, а во вред армии. В частности, в III конном корпусе, считавшемся самым твердым, началось полное разложение. Необходимо теперь всем стать на работу и приняться за оздоровление армии.

— Поздно, — сказал я. — Армия погибла. У нас толпа, опасная для нас и безопасная для неприятеля.

Допрос начал принимать форму беседы. Я скоро понял, что Войтинский и Станкевич на моей стороне, обвинитель только один — Савицкий; члены исполкома, как статисты в плохом театре, дружно со всеми соглашались.

Было решено, что я дам подписку о том, что без ведома комиссара не выеду из Пскова, и буду отпущен к себе домой. Я написал эту записку. Ведь оставаясь в Пскове, я тем самым исполнял вторую часть приказа Корнилова, высказавшего пожелание, чтобы побольше генералов было в Пскове.

Станкевич был так любезен, что даже обещал послать моей жене телеграмму о том, что я жив и здоров.

В третьем часу я вышел из комиссариата и побрел пешком отыскивать свою квартиру.

БИБЛИОТЕКА КРАСНОЙ ПРЕСНЕНСКОЙ Инв №

На другой день, 31 августа, я был с докладом о том, что произошло со мною ночью, у начальника штаба ген. Вахрушева, а потом у и. об. главнокомандующего Бонч-Бруевича. Ни тот, ни другой не возмутились моим ночным арестом.

— Что поделаете, — сказал мне своим грубым голосом Бонч-Бруевич, бывший на этот раз без ассистента из комиссариата. — Вот вчера на улице солдаты убили офицера за то, что он в разговоре с приятелем сказал „совет собачьих и рачьих депутатов". И ничего не скажешь. Времена теперь такие. Их власть. Я без них — ничего. И потому у меня—порядок и красота. И дисциплина, как нигде... Да, вы знаете, ведь Крымов-то ваш вчера застрелился.

— Как? — спросил я.

— В Петрограде, у Керенского.

— Да! Вот как! Я его хорошо знал. Крутой был человек.

— А в командование корпусом вы все-таки вступите, я переговорю с ген. Алексеевым по прямому проводу. Корпус надо успокоить. А вас донцы знают...

На том мы и расстались, что я вступлю в командование корпусом по получении разрешения от Алексеева, что корпус будет включен в число войск северного фронта и расквартирован в районе Пскова. Алексеев ответил приказом о допущении меня к командованию корпусом и о подчинении корпуса главнокомандующему северным фронтом. Я пошел к генерал-квартирмейстеру, генералу Лукирскому, чтобы наметить с ним квартирные районы, написал приказ корпусу о сосредоточении его к Пскову и пошел к помощнику начальника военных сообщений, полковнику Карамышеву, чтобы с ним вместе распутать все бродячие эшелоны.

IX.

Моральное состояние III конного корпуса.

Люди задумывали планы, и планы эти казались им вполне исполнимыми и великолепными, но вмешивалась судьба и разрушала все эти планы и устраивала так, что результат того, что делали люди, был совершенно обратен тому, чего они хотели достигнуть.

Крымов застрелился. Это неправда, что его будто бы убил на квартире Керенского адъютант Керенского. Крымова всюду и везде неотлучно сопровождал честнейший и благороднейший офицер подъесаул Кульгавов. Он мне подробно доложил все обстоятельства смерти Крымова, и я не имею ни малейшего основания сомневаться в правди-

вости его показания Да, у Крымова, как у человека сильной воли, было слишком много причин, чтобы покончить с собою.

Разговор его с Керенским был очень сильный. Крымов кричал на Керенского, потом поехал к beau-frere'у [1]) Керенского, полковнику Барановскому, и у него прилег в кабинете на оттоманке. Кульгавов был рядом в комнате. Никто не входил к Крымову. Через некоторое время раздался выстрел. Кульгавов бросился в комнату.. Крымов лежал на оттоманке смертельно раненый, револьвер валялся на полу. Это не была инсценировка самоубийства, но само самоубийство. Через некоторое время Крымов скончался, и армия его, шедшая на Петроград, осталась без вождя.

Все разваливалось. Штабные команды никого не признавали и не слушались. В порядке была только 1-я донская дивизия.

И вот, потянулись комитеты к комиссарам. Я еще не успел вступить в командование корпусом, как увидел желтые погоны уссурийцев в садике кадетского корпуса и среди них—Войтинского, увидел драгун с их председателем комитета юным мальчиком, вольноопределяющимся Левицким, толпящихся возле Станкевича.

Спасать Россию не пришлось. Передо мною стояла задача более скромная — спасать офицеров, оздоровлять корпус, восстановлять в нем порядок, хотя бы настолько, чтобы корпус не был опасен для мирных жителей. Это могли сделать по тогдашнему состоянию корпуса только комиссары.

Я пошел к Станкевичу и Войтинскому.

И Станкевич, и Войтинский, и Савицкий, в особенности первые два, с полною отзывчивостью, скажу более — сердечностью отнеслись к этому деликатному делу уговаривания солдат и казаков и примирения их с офицерами. Взаимными усилиями мы достигли того, что части вернули своих начальников и стали им повиноваться.

Одною из целей похода Корнилова на Петроград было уничтожить комиссаров и комитеты, которые были всеми признаны крайне вредными, ближайшим результатом неудачи похода было усиление комиссаров и поднятие значения комитетов, признание самими начальниками их необходимости. Я с самого начала революции боролся против комитетов, низводя их на степень только хозяйственного контроля, артели, кооператива для закупок, и первый комиссар, которого я увидал, был Линде; теперь мне пришлось целыми днями беседовать с комитетами и быть частым гостем у комиссара и его помощника, и это было вызвано действительною необходимостью.

---

[1]) Своячку. *Ред.*

Но был результат и гораздо худший. Неудача Крымова подняла большевиков и усилила их позицию в Петроградском Совете, и не прошло и трех дней после того, как Керенский взял на себя бразды правления в армии и флоте, как он почуял более сильную опасность слева — со стороны большевиков [1]). „Завоеваниям революции" угрожали не правые круги, притихшие и подавленные под солдатским террором, а анархия и большевизм. Как ни странно это было, но за первою помощью Керенский обратился к тому самому III конному корпусу, который шел арестовать его [2]).

1 сентября к Пскову собрались приморский драгунский и уссурийский казачий полки и стали разгружаться и расходиться по деревням; драгуны — в большом порядке, уссурийцы в порядке относительном. Все остальные части были повернуты обратно и направлены на Псков, а 2 сентября в 8 часов вечера за мною экстренно приехал адъютант начальника штаба фронта и повез меня в штаб. Мне передали шифрованную телеграмму от верховного главнокомандующего Керенского о том, что ввиду возможности высадки немцев в Финляндии и беспорядков там, необходимо сосредоточить 1-ю донскую дивизию в районе Павловск — Царское, штаб в Царском, а уссурийскую дивизию — в Гатчине — Петергофе, штаб — в Петергофе.

Каждый из нас уже по самой дислокации корпуса понимал, что беспорядки в Финляндии и высадка немцев — это тот фиговый листок, которым прикрывались настроения Смольного института и открытая пропаганда Ленина в войсках петроградского гарнизона.

Я был в отчаянии. Только-что сделанная работа успокоения разрушалась. Кто поверит, что ожидается высадка немцев? Скажут: опять контр-революция, опять измена. Вся надежда была на подпись Керенского и на комиссаров И действительно. Керенскому поверили, а Войтинскому и Станкевичу удалось уговорить полки, что приказ надо исполнить. Но, конечно, главное было то, что никто ни оружием, ни словами не мешал нам в походе,— большевики еще не были готовы. К 6 сентября корпус сосредоточился на указанных ему местах [3]).

---

[1]) Он всегда ее „чуял", и гораздо сильнее, чем опасность справа Это выяснилось с полной определенностью уже задолго до корниловского мятежа *Ред.*

[2]) На наш взгляд в этом нет решительно ничего странного. Такова уж логика классовой борьбы, что все, пытающиеся остановить революцию, неизменно попадают в объятья самой откровенной и непримиримой реакции. *Ред.*

[3]) Корпус предназначался для борьбы с большевизмом и „анархией". Не успев еще как следует ликвидировать опасность справа, глава мелкобуржуазной „демократии" опять устремляет все свое внимание налево. Нужно

X.

Петроградские настроения.

В революционном Петрограде и его воинских учреждениях я был первый раз. 4 сентября я приехал со штабом в Царское Село и в час дня явился к главнокомандующему петроградским военным округом. Таковым оказался ген. Теплов. Эта милейшая личность, гуманнейший человек, любитель литературы, изящных искусств, поэзии, совсем не военный, всегда отличавшийся либеральными взглядами, был схвачен Керенским и посажен на место главнокомандующего. Главнокомандующим он, кажется, был всего пять дней.

Теплов меня сейчас же принял. В его добрых глазах стояли слезы. Большая борода поседела и была растрепана.

— Да, вот в каком виде вы меня видите, — сказал он. — А штаб-то! Помните?

Портреты начальников штабов былой эпохи грозно смотрели на нас со стен. Казалось, их души были с нами и возмущенно шептались кругом. В громадные окна глядел чудный сентябрьский день и Александровская колонна с ангелом мира, облитая солнцем. Тени прошлых великолепных парадов, бывших на этой площади, теснились в воспоминании, и надо всем лежала печать томительной и безысходной грусти. Тут больше, чем где-либо, понял я, что мы дошли до конца и дальше уже итти некуда. Дальше — пропасть.

— Какие указания я вам могу дать?—говорил Теплов.— Я здесь халиф на час. Может быть, завтра уже меня не будет. Скажу одно: идет борьба за власть. С одной стороны,— Керенский, который все-таки хочет добра России и хочет ее с честью вывести из тяжелого положения [1]), но подле него — никого; с другой, — Совет Солдатских и Рабочих Депутатов, которым уже овладели большевики с Лениным и который становится все более и более популярным среди петроградского гарнизона. Вы вызваны для борьбы против него, а сможете ли вы бороться?.. Да... Тяжелые времена!.. Но помочь ничем не могу. Я... ведь до завтра.

отдать ему справедливость, Керенский проявил здесь достаточную практическую сметку и классовую „сознательность", обратившись за помощью к тем самым частям, которые лишь накануне учреждовали в контр-революционном мятеже. (См. дальше в гл. XI интересные признания самого Краснова.) *Ред.*

[1]) О каком „добре России" идет здесь речь, ясно и без комментариев. Интересно отметить, что даже „враги" Керенского — корниловцы считали его „все-таки" своим человеком. *Ред.*

Теплов и „до завтра“ не досидел на своем посту. В тот же день из вечерней газеты я узнал, что Керенский отставил его и на его место назначил командовавшего в моем же корпусе 1-м амурским казачьим полком генерального штаба полковника Полковникова.

Полковников—продукт нового времени. Это—тип тех офицеров, которые делали революцию ради карьеры, летели, как бабочки на огонь, и сгорали в ней без остатка. В японскую войну 1905 года — это двадцатидвухлетний офицер, донской артиллерист, проникнутый священным пылом войны и жаждой славы. Он прекрасно и лихо работает с казаками. После войны — академия генерального штаба; дальнейшая карьера идет гладко, и к 1917 году он — командир 1-го амурского полка, чуть-что не выборный, пользующийся большой популярностью среди казаков. Поход Крымова. Полковников чует своим хитрым сердцем, что солдаты и казаки колеблются, отрывается от полка и мчится в Петроград к Керенскому.

34-летний полковник становится главнокомандующим важнейшего в политическом отношении округа с почти 200.000-ною армиею. Тут начинается метание между Керенским и Советом и верность постольку-поскольку. Полковник помогает большевикам создать движение против правительства, но потом ведет юнкеров против большевиков. Много детской крови взял на себя он... И в конце концов Полковников в марте 1918 г. повешен большевиками на Дону, в Задонской степи, на зимовнике Безгулова.

Но теперь Полковников, об измене которого Корнилову знал весь корпус, становится начальником и распорядителем корпуса. Полковникову приходилось докладывать секретные планы и совещаться с ним о работе, не зная, с кем он идет — с большевиками или против них! [1])

Керенский, взявши на себя управление армией, на первых же шагах своей деятельности запутался до крайности. 30 августа его начальник штаба ген. Алексеев подтвердил мое назначение на пост командующего III конным корпусом. Керенский одобрил это, отдавал мне приказания, а 9 сентября, не сменяя меня, допустил к командованию тем же корпусом начальника 7-й кавалерийской дивизии барона Врангеля.

Растерянный, истеричный, ничего не понимающий в военном деле, не знающий личного состава войск, не имеющий никаких связей и в то же время не любящий с кем бы то

---

[1]) Речь идет о том самом полковнике Полковникове, который впоследствии принимал активное участие в эсеровских мятежах. Разумеется, он был не с большевиками, а против них. *Ред.*

ни было советоваться, Керенский кидался к тем, кто к нему приходил. Врангель случайно приехал в эту минуту в ставку. Керенский знал, что Крымов застрелился, что корпус в Петрограде, и предложил Врангелю корпус, не думая обо мне. Меня это только развязывало. Я подал решительно в отставку. Но тут ввязались в дело казачьи комитеты. Они уже почуяли власть, притом в донской дивизии я был любим, а уссурийская начинала любить меня, — комитеты явились к Керенскому и потребовали, чтобы я остался командиром корпуса, потому что я—казак и корпус казачий, а барон Врангель—немец. Керенский сейчас же согласился с комитетами, и меня оставили, а Врангелю стали искать другой корпус, чтобы он не обиделся.

Во главе военного министерства был поставлен Верховский — революционный паж. В бытность в пажеском корпусе за какую-то проделку, показавшуюся корпусному начальству слишком либеральной, Верховский был отправлен рядовым в Туркестан. Там был произведен в офицеры и окончил академию генерального штаба. Репутация либерала и революционера осталась за ним. Верховский был водворен на Мойку, в дом военного министра. Он решительно не знал, что ему делать, и пошел по самой модной линии. Приемная его наполнилась солдатами, делегатами и депутатами, он проводил, выслушивая их, целые дни, начиная прием с 8 часов утра.

Что же дала нам революция в смысле правильных назначений на командные должности и выдвигания истинных талантов? Прежде всего, новые правители стремились омолодить армию, выбить из нее старый режим и контр-революцию и посадить людей, сочувствующих революции и новым порядкам. Но свелось это к тому, что стройная, может быть, не всегда правильная и справедливая, но все-таки с и с т е м а назначений по кандидатскому списку, строго продуманному, после самого серьезного и тщательного рассмотрения аттестаций, составленных целым рядом начальников, сменилась чисто случайными назначениями и самым неприличным протекционизмом. Всюду вылезали вперед самые злокачественные „ловчилы“, которые тянули за собою других таких же, и грязь и муть поднимались со дна армии [1]). Каждый начальник быстро понял характер Керенского и истеричность его натуры, и многие стали проталкиваться вперед, валя тех, кто стоял по пути.

---

[1]) Недурная и по сути дела совершенно правильная характеристика вскормленных эсеро-меньшевистским правлением контр-революционных „ловчил“ (Краснова, Врангеля, Деникина в том числе), возглавливших после Октября белогвардейское восстание. *Ред.*

У Керенского не было для его поста главного — воли. Не было власти — настоящей власти, а не позирования на власть; и под его командованием армия, разрушенная снизу, в корне подточенная революцией, гибла сверху.

Есть такая скверная поговорка — „рыба с головы воняет"; и вот в эти-то тяжелые дни тяжелый смертный дух потянул от армии, от тех начальников, которые в лучшем случае ничего не делали, в худшем — работали на два фронта: и Временному Правительству, и большевикам.

Не хочется, да, может быть, и не нужно — судьба все равно сурово покарала их расстрелами, нищетой, эмигрантством заграницей — называть фамилий, но сколько людей в это время уподобились той старушке, которая, стоя перед изображением страшного суда, где были нарисованы ангелы в раю и черти в аду, ставила две свечи — одну ангелу, другую дьяволу, ибо неизвестно, куда попадешь, в рай или в ад. Так и эти начальники кланялись и забегали, и возили свои доклады Керенскому и в Совет, — на всякий случай, а что из этого выходило, то будет видно из дальнейшего.

XI.

Работа в корпусе.

Но, что бы ни было на душе, работать было нужно, и работать, не покладая рук. Жизнь этого требовала.

Керенский правильно учел значение присутствия III конного корпуса под Петроградом. Совет солдатских и рабочих депутатов присмирел. Царскосельский гарнизон, когда кругом стали донцы, изменился до смешного. Солдаты начали чисто одеваться и отдавать честь офицерам. Все это сделало только то, что появились нерасхлюстанные части, что у ворот дворца в. княгини Марии Павловны стоял чисто одетый часовой, который не лущил семячек, казаки праздно не шатались по городу, а те, кто появлялся на улицах, были чисто одеты и отдавали щеголевато честь офицерам. Одна внешность уже влияла оздоровляющим образом, надо было поддержать ее и воспитать снова офицеров и казаков.

Как и на юго-западном фронте, и здесь интендантство петроградского военного округа широко пошло мне на помощь. Удалось получить даже серосиние шаровары, о которых так мечтали казаки. Я опять начал с материального, с одежды и кухонь, но не оставлял и морального воздействия на части.

6 сентября начальники дивизий донесли мне о том, что полки собраны и расквартированы в указанных им районах.

7 числа я был в Пулкове в районе расположения 9-го и 10-го донских казачьих полков. В просторной сельской школе были собраны все офицеры и большая часть урядников полков. Прибыло много казаков, моих старых сослуживцев, для того, чтобы посмотреть на меня.

Я коротко и совершенно откровенно рассказал офицерам и казакам обстановку. Я не скрывал от них, что цель нашего присутствия в Петрограде — не столько угроза немецкой высадки, сколько страшная темная работа большевиков, стремящихся захватить власть в свои руки.

Дорогие мне лица окружали меня. Я видел пламенные, восторженные взгляды моих соратников под Белжецем, Комаровым, Незвиской, Залещиками и во многих, многих делах. Я чувствовал, что среди них я свой.

Я кончил.

— Ваше превосходительство! — раздались гулом голоса, — не извольте ни о чем беспокоиться. Мы — корниловцы! Велите — и мы вам Керенского самого предоставим. Мы понимаем, где порядок.

В 5 час. дня того же 7 сентября я говорил в Павловске с офицерами и представителями 13-го и 15-го донских казачьих полков. Слушали внимательно, но настроение было не то. Не было общего слияния и единой мысли.

8 сентября я читал это же сообщение в Гатчине офицерам и представителям уссурийского и амурского полков и уссурийского дивизиона. Беседа прошла гладко. Оставшись потом с офицерами, я с грустью убедился, что здесь опасность угрожает именно от офицеров. Большинство были безнадежно серы по своему образованию и воспитанию. Они нисколько не возвышались над рядовыми казаками, во многих отношениях были ниже их. Но, главное, они не любили казаков. Возвысившись над ними дешевою ценою четырехмесячных курсов, или угодливостью перед начальниками, они сторонились от казаков, и те отвечали им презрением.

Здесь работа нужна была громадная, а работать было некому. Командира бригады не было. Командир уссурийского полка, полковник Пушков, был не казак и не сумел сойтись ни с офицерами, ни с казаками, командир амурского полка Полковников милостью Керенского командовал всеми нами, а вместо него в полку был штаб-офицер, который для виду занимался широкой политикой отделения Амурских казаков от России. Несколько лучше был уссурийский дивизион.

Гадко, склизко и противно было на душе. Строил планы работы, как оздоровить весь этот материал, и всюду натыкался на одно главное препятствие — не было офицеров. Офицеры, даже и лучшие, кадровые, ушли от солдат, как

солдаты ушли от офицеров. Испытавши унижение ареста, они уже боялись своих солдат и не верили им.

Стена стояла между ними. Военного братства не было, и надо было его вернуть. Конечно, не спектаклями и кинематографами, а старою песнею, общими ученьями и маневрами...

Таковы были планы, таково было тяжелое мучительное настроение на душе в эти сентябрьские дни, когда я даже не знал хорошенько, я или барон Врангель командует III конным корпусом.

XII.

Отношение к корпусу наверху.

В середине сентября, ближе ознакомившись с петроградскими настроениями и с составом своего корпуса, я составил доклад, в котором указывал на необходимость, в противовес совету солдатских и рабочих депутатов, петроградскому гарнизону и вооруженным рабочим, для поддержки правительства и обеспеченья правильных и спокойных выборов в Учредительное Собрание и самой работы Учредительного Собрания сосредоточить в ближайших окрестностях Петрограда очень надежную конную часть с большою артиллериею, при чем одну треть по очереди держать в самом Петрограде. Сделавши характеристику III конному корпусу, я предлагал: уссурийскую дивизию, как мало надежную, убрать в другое место. Вместо нее в корпус влить гвардейскую казачью и 2-ю казачью сводную дивизию; гвардейцев поставить в их постоянных казармах, где они по привычке перешли бы на мирное положение и восстановили бы внутренний порядок. Гвардейским офицерам хорошо была знакома вся тактика городской войны, и Петроград был им известен до мелочей. Революционные же казачьи полки 1-й, 4-й и 14-й отправить на Дон, где они, несомненно, оздоровели бы, соприкоснувшись со своими родителями.

Но кому я отдам этот доклад?

По закону, я должен был представить его по команде — Полковникову.

А был я уверен в том, что Полковников идет заодно с правительством, а не против него?

Был ли я уверен в самом Керенском? По чистой совести отвечу—нет.

План был создан, рассмотрен с начальником 1-й донской казачьей дивизии, с начальником штаба и штаб-офицером генерального штаба, всеми одобрен, его надо приводить в исполнение и приводить в исполнение спешно, потому что

выборы не за горами, власти у меня для этого нет, а тем, у кого власть, я не верю.

Пойти по старому пути к комиссарам? Но Войтинского и Станкевича, которым я верил, что они не с большевиками, здесь не было, это их не касалось, а комиссар петроградского округа, капитан Кузьмин, произвел на меня отталкивающее впечатление очень хитрого человека, глубоко конспиративного, неизвестно к чему стремящегося.

Я—не политик и решил итти прямым солдатским путем. 16 сент. я поехал к Полковникову и доложил ему на словах, а потом передал и письменный доклад. С его стороны я встретил полное сочувствие этому, и мне показалось, что мои подозрения напрасны и что он в полной мере воспринял мою точку зрения. Он обещал очень осторожно нащупать Керенского и сделать ему об этом доклад.

— С Черемисовым (главнокомандующим северного фронта),—сказал он,—говорить не стоит. Я уже имею приказание передать корпус ему и отправить вас в район г. Острова, где он войдет в V армию и будет считаться в резерве главнокомандующего. Но это надо расстроить. Они думают только о себе, а не о России.

Тем не менее, вернувшись в штаб корпуса в Царское Село, я нашел приказание приступить к перевозке корпуса в район Острова и отдал об этом распоряжения.

Но, повидимому, Полковников все-таки попытался бороться за оставление III конного корпуса под Петроградом. Прошла неделя, а мы не могли добиться эшелонов для спешной перевозки корпуса. Шла какая-то невидимая борьба. В штабе округа мне передавали, что Совет Солдатских и Рабочих Депутатов очень недоволен присутствием корпуса в Царском Селе и настаивает, чтобы его убрали подальше.

26 сент. пришло категорическое приказание итти к Острову, и к 28 сент. все части корпуса сосредоточились в районе Острова по деревням.

28 сент. я представлялся в Пскове главнокомандующему северным фронтом Черемисову. В ожидании приема присматривался к обстановке. Адъютант, с громкой еврейской фамилией представителей богатого еврейского мира, держался небрежно, свысока третируя меня и моего хорошего знакомого генерала Я. Д. Юзефовича, только-что назначенного командующим XII армией. У всего в руках—большевистская газета „Окопная Правда". Из беседы с Черемисовым выяснил, что он очень считается с местным Советом Солдатских и Рабочих Депутатов и большой сторонник демократизации армии. Понял, что мне с ним не по пути. Перед тем, как ехать из Пскова, зашел к комиссару Стан-

кевичу. Этот молодой человек мне больше нравился. Он-то хотя был искренен, и если мы и были разных понятий, то я знал, что он честно хотел спасения армии и России. Поговорили по душе о занятиях и о необходимости перетасовать командный состав корпуса.

На другой день ко мне прибыл молодой офицер с университетским значком, отрекомендовавшийся поручиком л. гв. егерского полка Матушевским, членом Исп. Комитета Совета Солдатских и Рабочих Депутатов. Он прибыл с бумагами из ставки, предлагающими допустить его до ознакомления с корпусом.

Итак, новая, побочная власть, знаменитый исполком уже заинтересовался корпусом Из разговора с ним я понял, что моя докладная записка — не секрет для него.

Кто же сообщил? Полковников или Керенский? Или оба вместе?

Матушевский приехал с самыми хорошими намерениями. Он слышал о том непримиримом отношении к офицерам, которое существует среди команд штаба корпуса, он приехал примирить и от имени Совета, который пользуется исключительным влиянием на солдат, поговорить с корпусным комитетом.

Надо было выгнать его. Но выгнать его — это окончательно порвать те тонкие нити, которыми я только-что связывался со штабными командами. Решили устроить заседание штабного комитета, но в своем присутствии.

За ужином Матушевский, которого просили рассказать им о таинственном исполкоме, произнес горячее слово в защиту большевиков, Ленина и Троцкого.

Когда он кончил, кто-то из офицеров сказал: за ними никто не пойдет.

Матушевский встал. Лицо его было бледно.

— За ними не посмеют не пойти,— тихо, почти шопотом произнес он. — Вы не знаете, кто такой Троцкий. Поверьте мне, когда будет нужно, Троцкий не задумается поставить гильотину на Александровской площади и будет рубить головы всем непокорным... И все пойдут за ним...

Стояла гробовая тишина. Впечатление его слов было ужасно. Я понял, что так оставить этого нельзя. Я встал и сказал несколько слов на тему о той Голгофе страстей, на которую восходит офицерство, о той великой крови, которую оно льет на защиту родины. После Голгофы было светлое христово воскресение, я глубоко верую в то, что кровь офицеров пролита не напрасно...

Матушевский ночевал у меня и уехал рано утром. Прощаясь, он сказал мне: в вас мы имеем сильного противника... А, может быть, мы еще сойдемся...

Ясно было одно: взоры исполкома обращены на нас.

XIII.

Во что бы то ни стало.

На новых квартирах я повел ту же работу, что когда-то вел в 1-й кубанской дивизии. Каждый день определенная часть корпуса была на маневре, почти всегда—в моем присутствии, после маневра—разбор, отдача в приказе всех ошибок. Два раза в неделю—беседа с офицерами. Во всех полках с 15 октября должны быть устроены полковые учебные команды для подготовки урядников, и широкие программы этих команд были разосланы; во всех полках были устроены библиотеки, для команд штаба был намечен ряд ежедневных бесед, по два часа по вечерам; предполагалось прочитать курсы географии и истории России, политической экономии и военного искусства. Лекторы усиленно готовились к этому по особым мною составленным программам.

Разврату и разлагающей пропаганде большевизма я решил противопоставить работу и силу образования и просвещения.

Деятельность моя, скрыть которую, конечно, нельзя было, обратила внимание. Одни сочувствовали и хотели посильно помочь, другие мешали. Я уклонялся от посторонней помощи и по мере сил боролся с мешающими.

6 октября штаб северного фронта экстренно потребовал посылки 2 сотен и 2 орудий в Старую Руссу, 2 сотен и 2 орудий в Торопец и 2 сотен и 2 орудий в Осташков.

Это было самое страшное. Это сразу прекращало воспитание солдат, вырывало части из рук старших, более опытных начальников, подрывало правильность снабжения и довольствия и ставило маленькие казачьи части в густую солдатскую массу, уже обработанную большевиками. Я исполнил приказ и отправил на эту службу весь уссурийский казачий полк и $1^1/_2$ из бывших у меня шести донских батарей, но сейчас же написал в штаб фронта, кому только мог, просьбу этого не делать, так как это разрушает корпус, который может понадобиться в полном составе для борьбы против большевиков.

— Кому вы это пишите?—сказал мне исправляющий должность начальника штаба, полковник С. П. Попов.

— Как кому? По команде. Главнокомандующему северным фронтом, или, как по-большевистски называют, главкосеву Черемисову.

— Да разве вы не знаете, что Черемисов—заодно с большевиками, что он все время проводит в Совете Солдатских и Рабочих Депутатов, стоит за полную демократизацию армии и попускает, а кто говорит, что и покровительствует, изданию большевистской газеты „Окопная Правда“?

— Но что же делать, Сергей Петрович? Выходит, что все начальство передалось большевикам. Тогда проще — устранить Временное Правительство и передать власть большевикам мирно. Столковаться с ними, как это теперь говорится. Был Львов, стал Керенский, ну, будет Ленин, — хуже не будет. Это — прямое последствие отречения государя.

— Да, это так.

— Что же, прикажете плыть по течению?

— Но что вы сделаете, если изменили верхи? Ведь все это делается не без ведома Керенского. Керенский сам рубит сук, на котором сидит.

— Керенскому это простительно. Он ничего не понимает ни в военном, ни в государственном деле. Но о чем же думают Черемисов и Лукирский?

— Думают, как угодить новому барину — „грядущему хаму".

— И мы молча будем пособничать?—сказал я.

— Протестовать бесполезно.

— Будем не только протестовать, но и бороться. Может быть, и мы сумеем в борьбе обрести право свое.

Бумагу мы послали. Ответом было приказание поставить 5 сотен в Псков. Я поехал лично в штаб, и эти пять сотен отстоял, но победа была вызвана не силой моего убеждения, а просто тем, что для них не нашлось в Пскове помещения, да и совет высказался против помещения казаков в Псков.

Итак, с октября месяца корпус оказался фактически в распоряжении у большевиков, и большевики продолжали работу по его растасовке.

8 октября штаб потребовал два полка в Ревель. Я отправил 13-й и 15-й полки. Это требование было якобы боевого характера. После занятия острова Эзеля немцами командование фронтом опасалось за Ревель. Но что будет делать кавалерия в крепости, об этом не думали.

9 октября потребовали еще один полк с двумя орудиями в Витебск. Не без скандалов пошел приморский драгунский полк.

21 октября потребовали 6 сотен и 4 орудия в Боровичи для усмирения тамошнего гарнизона. Там произошли обычные эксцессы. Убили начальника гарнизона и командира пехотного полка и ограбили лавки. Послал уссурийский дивизион и часть амурцев.

Таким образом, к 22 октября от 1-й донской дивизии оставалось 6 сотен 9-го донского полка и 4 сотни 10-го Донского полка (2 сотни ушли в Новгород), от уссурийской конной дивизии было в моем распоряжении: 6 сотен 1-го нерчинского полка и 2 сотни 1-го амурского полка. Из бывших в корпусе 24 орудий донской артиллерии оста-

валось при мне 12 орудий, да было 4 орудия только что сформированной и почти необученной, во всяком случае, ни разу не стрелявшей 1-й амурской казачьей батареи. Вместо грозной силы в 50 сотен мы имели только 18 сотен разных полков [1]).

Можно ли говорить, что большевики не готовились планомерно к своему выступлению 25 октября? Но кто им помогал?

23 окт. весь „корпус", то-есть оставшиеся 18 сотен, было приказано передвинуть в район Старого Пебальга и Вендена, где поступить в распоряжение штаба 1-й армии, потому что там ожидались беспорядки и массовые эксцессы. Я поехал в Псков узнать обстановку, а 24 окт. отправил в штаб 1-й армии квартирьеров и приступил к погрузке 10-го донского казачьего полка в вагоны.

25 окт. я получил телеграмму. Точного содержания ее не помню, но общий смысл был тот: донскую дивизию спешно отправить в Петроград; в Петрограде беспорядки, поднятые большевиками. Подписана телеграмма двумя лицами—„Главковерх Керенский" и полковник Греков.

Полковник Греков — донской артиллерийский офицер и помощник председателя Совета союза казачьих войск, казачьего учреждения, пользующегося большим влиянием у казаков.

Ловко!—подумал я. — Но откуда же при теперешней разрухе я подам спешно всю 1-ю донскую дивизию к Петрограду?

Тем не менее, 9-й полк направил к погрузке в вагоны. 4 сотни 10-го полка приказал остановить на станции, послал телеграммы в Ревель и Новгород о сосредоточении к Луге, откуда решил итти походом, чтобы не повторять ошибки Крымова, увы, уже сделанной мудрыми распоряжениями штаба фронта.

А квартирьеры? Они уже ушли и рыщут, вероятно, по имениям и мызам, отыскивая помещения. Послал нарочного и за ними...

Сам поехал в Псков просить начальника штаба и начальника военных сообщений ускорить все эти перевозки так, чтобы хотя бы к вечеру 26-го я мог бы иметь часть из Ревеля и Новгорода в Луге.

Все было обещано сделать. В штабе я нашел большую тревогу. Тихо шопотом передавали, что Временное Прави-

---

[1]) Корпус состоял из 9-го (6 сотен), 10-го (6 сотен), 13-го (6 сотен), 15-го (6 сотен) донских казачьих полков, приморского драгунского (6 эскадронов), 1-го нерчинского казачьего (6 сотен), 1-го амурского казачьего (6 сотен), 1-го уссурийского казачьего (6 сотен) полков и уссурийского казачьего (2 сотни) дивизиона, и 6 донских и 1 амурской батарей.

тельство свергнуто и не то разбежалось, не то борется в Зимнем дворце, отстаиваемое юнкерами; вся власть захвачена Советами с Лениным и Троцким во главе.

Вернувшись из Пскова, я напечатал приказ, где полностью передал телеграмму Керенского и Грекова и призывал казаков к уверенным и смелым действиям. Приказ послал с нарочными и в Ревель, и в Новгород. После чего собрался сам и поехал на станцию Остров, где уже был погружен штаб 1-й донской дивизии, без ее начальника, случайно бывшего в отпуску в Петрограде.

XIV.

Измена штаба фронта.

Глухая осенняя ночь. Пути Островской станции заставлены красными вагонами. В них лошади и казаки, казаки и лошади. Кто сидит уже второй день, кто только что погрузился. На станции санитары, врачи и две сестры проскуровского отряда. Просят, чтобы им разрешено было отправиться с первыми эшелонами, чтобы быть при первом деле. Казаки — кто спит в вагонах, кто стоит у открытых ворот вагона и поет вполголоса свои песни.

Вдоль пути шмыгают темные личности, но их мало слушают. Большевики не в фаворе у казаков, и агитаторы это чуют.

После целого ряда распоряжений относительно остающихся частей — штаба уссурийской дивизии, 1-го нерчинского полка и 1-й амурской батареи, и длительных разговоров с новым командующим дивизией, генерал-майором Хрещатицким, я в 11 час ночи прибыл на станцию.

— Лошади погружены?—спросил я.

— Погружены,—отвечал мне полковник Попов.

— Значит, можно ехать?

— Нет.

— Но ведь нашему эшелону назначено в 11 часов, а теперь без двух минут одиннадцать.

— Ни один эшелон еще не отошел.

— Как? А девятый полк?

— Стоит на путях.

— Стоило гнать, сломя голову. Но что же вышло?

— Комендант станции говорит, — нет разрешения выпустить эшелоны.

Пошел к коменданту. Комендант был сильно растерян и смущен.

— Я ничего не понимаю. Получена телеграмма выгружать эшелоны и оставаться в Острове, — сказал он.

— Кто приказывает?

— Начальник военных сообщений.

Я соединился с Псковым. Полковник Карамышев, как будто бы, ожидал меня у аппарата.

— В чем дело?

— Главкосев приказал выгружать дивизию и оставаться в Острове.

— Но вы знаете распоряжение главковерха? Итти спешно на Петроград.

— Знаю.

— Ну так чье же приказание мы должны исполнить?

— Не знаю. Главкосев приказал. Я эшелоны не трону. И в Ревель и в Новгород послано: отставить.

Начиналась уже серьезная путаница. Надо было выяснить положение. Может быть, справились сами, одни усмирили большевиков. Одно — итти с генералом Корниловым против адвоката Керенского, кумира толпы, и другое — итти с этим кумиром против Ленина, который далеко не всем солдатам нравился [1]).

Я послал за автомобилем, сел в него с Поповым и погнал в Псков. Позднею глухою ночью я приехал в спящий Псков. Тихо и мертво на улицах. Все окна темные, нигде ни огонька. Приехал в штаб. Насилу дозвонился. Вышел заспанный жандарм. В штабе—никого. „Хорошо,—подумал я,—штаб северного фронта реагирует на беспорядки и переворот в Петрограде".

— А, может быть, уже все кончено,—сказал мне Попов,—и мы напрасно беспокоимся. Теперь бы спать и спать...

— Где начальник штаба?—спросил я у жандарма.

— У себя на квартире.

— Где он живет?

Жандарм начал объяснять, но я не мог его понять.

— Постойте, я оденусь, провожу вас.

Полковник Попов пошел на телеграф переговорить с Островом, там напряженно ждали, выгружаться или нет, а я поехал с жандармом к генералу Лукирскому. Парадная лестница заперта. На стуки и звонки—никакого ответа. Нигде ни огонька. Пошли искать по черной. Насилу добились денщика.

— Генерал спит и не приказали будить.

---

[1]) В действительности положение дела было далеко не так благоприятно для реакционеров, как это изображает Краснов. Правда, Ле. ин еще не всем солдатам нравился, но зато звезда „кумира" Керенского была уже явно на закате. Об этом лучше всего свидетельствует бесславный провал попытки усмирения „большевистского бунта". Но основная мысль Краснова верна — якобы революционные краснобаи часто опаснее для революции, чем открытые деятели реакции. *Ред.*

С трудом добились от него, чтобы пошел разбудить начальника штаба.

Наконец, в столовую, куда я прошел, вышел заспанный Лукирский в шинели, одетой поверх белья. Я доложил ему о том, что имею два взаимно противоречащих приказания и не знаю, как поступить.

— Я ничего не знаю, — лениво и устало сказал мне Лукирский.

— Как ничего не знаете? Но ведь вы—начальник штаба.

— Обратитесь к главнокомандующему. Вы его сейчас застанете дома на совете. А я ничего не знаю.

Пошел к главнокомандующему. Весь верхний этаж его дома на берегу реки Великой ярко освещен. Кажется, единственное освещенное место в Пскове.

Опять тот же адъютант с громкой еврейской фамилией меня встретил.

— Главкосев занят в совете, — сказал он на мою просьбу доложить обо мне, — и я не могу его беспокоить.

— Я все-таки настаиваю, чтобы вы доложили. Дело не может быть отложено до утра.

Адъютант с видимой неохотой открыл дверь, из-за которой я слышал чей-то мерный голос. В открытую дверь я увидал длинный стол, накрытый зеленым сукном, и за ним человек двадцать солдат и рабочих. В голове стола сидел Черемисов. Он с неудовольствием выслушал адъютанта и что-то сказал ему.

— Хорошо,—сказал, возвращаясь адъютант, — главкосев вас примет, но только на одну минуту.

Меня провели в кабинет главнокомандующего. Минут через десять дверь медленно отворилась и в кабинет вошел Черемисов. Лицо у него было серое от утомления. Глаза смотрели тускло и избегали глядеть на меня. Он зевал не то нервною зевотою, не то искусственною, чтобы показать мне, насколько все то, о чем я говорю ему,— пустяки.

— Временное Правительство в опасности, — говорил я,— а мы присягали Временному Правительству, и наш долг...

Черемисов посмотрел на меня.

— Временного Правительства нет, — устало, но настойчиво, как будто убеждая меня, сказал он.

— Как нет? — воскликнул я.

Черемисов молчал. Наконец, тихо и устало сказал:

— Я вам приказываю выгружать ваши эшелоны и оставаться в Острове. Этого вам достаточно. Все равно, вы ничего не можете сделать.

— Дайте мне письменное приказание, — сказал я.

Черемисов с сожалением посмотрел на меня, пожал плечами и, подавая мне руку, сказал:

— Я вам искренно советую оставаться в Острове и ничего не делать. Поверьте, так будет лучше

И он пошел опять туда — в „совет“.

Я вышел на улицу. У автомобиля меня ожидал Попов. Я рассказал ему результат свидания.

— Знаете, — сказал мне Попов. — Это дело политическое. Пойдемте к комиссару. Войтинский все это время был порядочным человеком. Его долг нам подать совет. Да без комиссара мы и части не повернем. Вон уже 9-й полк волнуется от того, что сидит сутки в вагонах.

Я согласился, и мы поехали в комиссариат.

Войтинского, который и жил в комиссариате, не было там. По словам дежурного „товарища“, он ушел куда-то на заседание, но должен скоро вернуться.

Мы сели в комнате „товарища“ и ждали. Уныло тикали стенные часы и медленно ползла осенняя ночь. Было три, било половина четвертого. Наконец, около четырех часов Войтинский приехал.

Он обрадовался, увидевши нас. Все лицо его, некрасивое, усталое, просияло.

— Вы как нельзя более кстати, — сказал он и начал расспрашивать про обстановку, про настроение частей.

— Что говорил Черемисов? — быстро спрашивал он. — А вы как думаете?.. Прямо бог послал вас сюда именно сегодня... Мне нужно с вами поговорить наедине. Пойдемте ко мне.

Мы пошли по пустым комнатам комиссариата. Кое-где тускло горели лампы. Наконец, в какой-то дальней комнате он остановился, тщательно запер двери и, подойдя ко мне вплотную, таинственно шопотом сказал:

— Вы знаете... Он здесь!

Я не понял, о ком он говорит, и спросил: — Кто он?

— Керенский!.. Никто не знает... Он тайно только что приехал из Петрограда... Вырвался на автомобиле... Идет осада Зимнего дворца... Но он спасет... Теперь, когда он с войсками, он спасет... Пойдемте к нему... Или лучше я скажу вам его адрес... Нам неудобно итти вместе... Идите... Идите к нему. Сейчас...

XV.

Чем был для меня Керенский.

Месяц лукавым таинственным светом заливал улицы старого Пскова. Романтическим средневековьем веяло от крутых стен и узких проулков. Мы шли с Поповым пешком, чтобы

не привлекать внимания автомобилем. Шли, как заговорщики... Да по существу мы и были заговорщиками — двумя мушкетерами средневекового романа!

Я шел к Керенскому. К тому Керенскому, который...

Я никогда, ни одной минуты не был поклонником Керенского. Я его никогда не видал, очень мало читал его речи, но все мне было в нем противно до гадливого отвращения.

Противна была его самоуверенность и то, что он за все брался и все умел. Когда он был министром юстиции, я молчал. Но, когда Керенский стал военным и морским министром, все возмутилось во мне. Как, думал я, во время войны управлять военным делом берется человек, ничего в нем не понимающий! Военное искусство — одно из самых трудных искусств, потому что оно помимо знаний требует особого воспитания ума и воли. Если во всяком искусстве дилетантизм нежелателен, то в военном искусстве он недопустим.

Керенский — полководец!.. Петр, Румянцев, Суворов, Кутузов, Ермолов, Скобелев... и Керенский.

Он разрушил армию, надругался над военною наукою, и за то я презирал и ненавидел его.

А вот иду же я к нему этою лунною волшебною ночью, когда явь кажется грезами, иду, как к верховному главнокомандующему, предлагать свою жизнь и жизнь вверенных мне людей в его полное распоряжение?

Да, иду. Потому что не к Керенскому иду я, а к родине, к великой России, от которой отречься я не могу. И если Россия с Керенским, я пойду с ним. Его буду ненавидеть и проклинать, но служить и умирать пойду за Россию. Она его избрала, она пошла за ним, она не сумела найти вождя способнее, пойду помогать ему, если он за Россию...

Вот о чем грезили, о чем переговаривались мы с С. П. Поповым, пока искали квартиру полковника Барановского, у которого был Керенский.

Искали долго. Наконец, скорее по догадке, усмотревши в одном доме два освещенных окна во втором этаже, завернули в него и нашли много неспящих людей, суету, суматоху, бестолочь, воспаленные глаза, бледные лица, квартиру, перевернутую кверху дном, и самого Керенского.

XVI.

Керенский.

— Генерал, где ваш корпус? Он идет сюда? Он здесь уже, близко? Я надеялся встретить его под Лугой.

Лицо со следами тяжелых бессонных ночей. Бледное, нездоровое, с больною кожей и опухшими красными гла-

зами. Бритые усы и бритая борода, как у актера. Голова слишком большая по туловищу. Френч, галифе, сапоги с гетрами — все это делало его похожим на штатского, вырядившегося на воскресную прогулку верхом. Смотрит проницательно, прямо в глаза, будто ищет ответа в глубине души, а не в словах; фразы—короткие, повелительные. Не сомневается в том, что сказано, то и исполнено. Но чувствуется какой-то нервный надрыв, ненормальность. Несмотря на повелительность тона и умышленную резкость манер, несмотря на это „генерал", которое сыплется в конце каждого вопроса, — ничего величественного. Скорее — больное и жалкое. Как-то, на одном любительском спектакле, я слышал, как довольно талантливо молодой человек читал стихотворение Апухтина „Сумасшедший". Вот такая же повелительность была и в словах этого плотного, среднего роста человека, чуть рыжеватого, одетого в защитное, бегающего по гостиной между столиком с допитыми чашками кофе, угловатыми диванчиками и пуфами и вдруг останавливающегося против меня и дающего приказание или говорящего фразу, и казалось, что все это закончится безумным смехом, плачем, истерикой и дикими криками: „все васильки, красные, синие в поле!"...

Я сразу узнал Керенского по тому множеству портретов, которые я видал, по тем фотографиям, которые печатались тогда во всех иллюстрированных журналах.

Не Наполеон, но безусловно позирует на Наполеона. Слушает невнимательно. Будто не верит тому, что ему говорят. Все лицо говорит тогда: „знаю я вас; у вас всегда отговорки, но нужно сделать, и вы сделаете".

Я доложил о том, что не только нет корпуса, но нет и дивизии, что части разбросаны по всему северо-западу России, и их раньше необходимо собрать. Двигаться малыми частями — безумие.

— Пустяки! Вся армия стоит за мною против этих негодяев. Я вам поведу ее, и за мною пойдут все. Там никто им не сочувствует. Скажите, что вам надо? Запишите, что угодно генералу,— обратился он к Барановскому.

Я стал диктовать Барановскому, где и какие части у меня находятся и как их оттуда вызволить. Он записывал, но записывал невнимательно. Точно мы играли, а не всерьез делали. Я говорил ему что-то, а он делал вид, что записывает.

— Вы получите все ваши части,— сказал Барановский.— Не только донскую, но и уссурийскую дивизию. Кроме того, вам будут приданы 37-я пехотная дивизия, 1-я кавалерийская дивизия и весь XVII армейский корпус, кажется все, кроме разных мелких частей.

— Ну вот, генерал. Довольны? — сказал Керенский.

— Да,— сказал я,— если это все соберется и если пехота пойдет с нами, Петроград будет занят и освобожден от большевиков.

Слыша о таких значительных силах, я уже не сомневался в успехе. Дело было иное. Можно будет выгрузить казаков и в Гатчине и составить из них разведывательный отряд, под прикрытием которого высаживать части XVII корпуса и 37-й дивизии на фронте Тосно — Гатчина и быстро двигаться, охватывая Петроград и отрезая его от Кронштадта и Морского канала. Моя задача сводилась к более простым действиям. Стало легче на душе... Но если бы это было так, разве сидел бы Черемисов теперь с советом? разве принял бы он меня известием, что Временного Правительства уже нет? Три дивизии пехоты и столько же кавалерии, беспрепятственно идущие среди моря армии, это показывает, что армия — на стороне Керенского, а если так,— бунтовался бы разве гарнизон Петрограда, задерживали бы эшелоны в Острове? Нет, тут что-то было не так. Сомнение закрадывалось в душу, и я высказал его Керенскому.

Мне показалось, что он не только неуверен в том, что названные части пойдут по его приказу, но неуверен даже и в том, что ставка, то-есть генерал Духонин, передала приказание. Казалось, что он и Псков боится. Он как-то вдруг сразу осел, завял, глаза стали тусклыми, движения вялыми.

Ему надо отдохнуть, подумал я и стал прощаться.

— Куда вы, генерал!

— В Остров, двигать то, что я имею, чтобы закрепить за собою Гатчину.

— Отлично. Я поеду с вами.

Он отдал приказание подать свой автомобиль.

— Когда мы там будем? — спросил он.

— Если хорошо ехать, через час с четвертью мы будем в Острове.

— Соберите к одиннадцати часам дивизионные и другие комитеты, я хочу поговорить с ними.

— Ах, зачем это! — подумал я, но ответил согласием. Кто его знает, может быть, у него особенный дар, уменье влиять на толпу. Ведь почему-нибудь приняла же его Россия? Были же ему и овации, и восторженные встречи, и любовь, и поклонение. Пусть казаки увидят его и знают, что сам Керенский с ними.

Минут через десять автомобили были готовы, я разъяснил свой и мы поехали. Я — по приказанию Керенского — впереди, Керенский с адъютантом сзади. Город все так же

крепко спал, и шум двух автомобилей не разбудил его. Мы никого не встретили и благополучно выбрались на Островское шоссе.

XVII.

Выступление в поход.

Бледным утром мы подъезжали к Острову. Верстах в пяти от города я встретил сотни 9-го Донского полка, идущие из города по своим деревням. Я остановил их.

— Куда вы? — спросил я.

— Ночью было передано от нас приказание выгружаться и итти по домам, — отвечал командир сотни.

— Я не отдавал такого приказания. Поворачивайте назад, мы сейчас едем на Петроград, с нами едет Керенский.

— Как, Керенский? — с удивлением спросил командир сотни. Казаки, прислушивавшиеся к моим словам, стали передавать один другому: „Керенский здесь, Керенский здесь".

В эту минуту подъехал и Керенский. Он поздоровался с казаками. Казаки довольно дружно ему ответили. Сомнений не было, и сотни стали заходить шлечом к Острову. Мы поехали дальше. Мне негде было устроить Керенского. Моя квартира была разорена, и я поехал с ним в собрание, где предложил ему чай и закусить, а сам пошел отдавать распоряжения. Мимо меня прошли сотни 9-го полка, лица казаков выражали любопытство.

Весть о том, что Керенский в Острове, сама собою распространилась по городу. Улица перед собранием стала запружаться толпою. Явились дамы с цветами, явились матросы и солдаты Морского артиллерийского дивизиона, стоявшего по ту сторону реки Великой в предместьи Острова. Я поставил часовых у дверей дома и вызвал в ружье всю енисейскую сотню, которая стала в длинном коридоре, ведшем к столовой, и никого не пропускала. Наверху собирались комитеты. Как ни следили мы, чтобы не было посторонних, но таковых набралось не мало. Однако, передние ряды были заняты комитетом 1-й донской казачьей дивизии, бравыми казаками, на лицах которых было только любопытство и никакого озлобления. Совершенно иначе был настроен комитет уссурийской дивизии и особенно представители амурского казачьего полка, в котором было много большевиков.

Я пошел доложить Керенскому, что комитеты готовы. Керенский спал, сидя за столом. Лицо его выражало крайнее утомление. При моем входе он сразу проснулся.

— А! Хорошо. Сейчас иду. А потом и поедем,—сказал он.

Я никогда не слыхал Керенского и только слышал восторженные отзывы о его речах и о силе его ораторского таланта. Может быть, потому я слишком много ожидал от него. Может быть, он сильно устал и не приготовился, но его речь, произнесенная перед людьми, которых он хотел вести на Петроград, была во всех отношениях слаба. Это были истерические выкрики отдельных, часто не имеющих связи между собою фраз. Все те же избитые слова, избитые лозунги. „Завоевания революции в опасности". „Русский народ — самый свободный народ в мире". „Революция совершилась без крови — безумцы большевики хотят полить ее кровью". „Предательство перед союзниками" — и т. д. и т. д.

Донцы слушали внимательно, многие, затаив дыхание, восторженно, с раскрытыми ртами. Сзади в двух, трех местах раздались крики: „Неправда! Большевики не этого хотят!" Кричал злобный круглолицый урядник амурского полка.

Когда Керенский кончил, раздались довольно жидкие аплодисменты. И сейчас же раздался полный ненависти голос урядника-амурца.

— Мало кровушки нашей солдатской попили! Товарищи! перед вами новая корниловщина! Помещики и капиталисты!..

— Довольно!.. Будет!.. Остановите его... — кричали из передних рядов.

— Нет, дайте сказать!.. Товарищи! вас обманывают... Это дело замышляется против народа...

Я послал вывести оратора и уговорил уйти Керенского.

Керенский торопился ехать на станцию, но оттуда передали, что нет еще вагона.

Толпа у дома, где был Керенский, становилась гуще. Офицеры мне передавали, что настроение ее далеко не дружелюбное и не советовали отправлять Керенского без конвоя. Я вышел на улицу. Стояли какие-то дамы с цветами.

— Что, скоро выйдет Керенский? — спросили они. — Ах, я никогда не видала Керенского! Попросите его поговорить с толпой.

— Большевики за дело стоят, — говорили в толпе. — Солдату что нужно? — мир, а он опять о войне завел шарманку, — говорили солдаты.

— Схватить его и предоставить Ленину, — вот и все.

— А казаки?

— Казаки ничего не сделают.

Я вызвал со станции конный взвод 9-го донского полка для конвоирования автомобиля и приказал на станции выставить почетный караул. Около первого часа пополудни мы поехали на станцию.

Почетный караул сделал свое дело. Он был великолепен. Вр. командующий полком, войсковой старшина Лаврухин (командир полка, полковник Короченцов заболел дипломатическою болезнью) постарался. Громадная сотня была отлично одета. Шинели сверкали георгиевскими крестами и медалями. На приветствие Керенского она дружно гаркнула: — „здравия желаем, господин верховный главнокомандующий", а потом прошла церемониальным маршем, тщательно отбивая шаг. Толпа, стоявшая у вокзала, притихла. Вагон явился, как из-под земли, и комендант станции объяснял свою медлительность тем, что он хотел подать „для господина верховного главнокомандующего салон-вагон" и стеснялся дать этот потрепанный микст.

Мы сели в вагон, я отдал приказание двигать эшелоны. Паровозы свистят, маневрируют. По путям ходят солдаты Островского гарнизона, число их увеличивается, а мы все стоим, нас никуда не прицепляют и никуда не двигают.

Я вышел и пригрозил расправой. Полная угодливость в словах и никакого исполнения.

Командир енисейской сотни, есаул Коршунов, начальник моего конвоя, служил когда-то помощником машиниста. Он взялся провести нас, стал на паровоз с двумя казаками и дело пошло.

Все было ясно. Добровольно никто не хотел исполнять приказание Керенского, так как неизвестно, чья возьмет; „примените силу, и у нас явится оправдание, что мы действовали не по своей воле".

Зная настроение Псковского гарнизона и то, что, конечно, из Острова уже дали знать в Псков, что с казаками едет Керенский, я приказал Коршунову вести поезд, нигде не останавливаясь, набрать воды перед Псковом, и Псков пассажирский, и Псков товарный проскочить полным ходом— и не напрасно.

Наконец, около трех часов пополудни мы тронулись.

На станции Черской остановка. Начальник военных сообщений, генерал Кондратьев, ожидал нас, он просил пропустить его к Керенскому. Я присутствовал при разговоре. Керенский накричал на него за промедление с эшелонами. Полная угодливость со стороны Кондратьева.

Керенский продиктовал ему, какие части должны быть направлены в первую очередь, речь шла о целой армии. Кондратьев почтительно кланялся.

Мне и полковнику Попову, бывшему со мной в одном купэ, это показалось хорошей приметой. Значит, Черемисов пойдет с Керенским,— решили мы.

На станции Псков—громадная, в несколько тысяч, толпа солдат. Наполовину вооруженная. При приближении поезда

она волнуется, подвигается ближе. Я стою на площадке; у паровоза—Коршунов и его лихие енисейцы; поезд ускоряет ход, и станция, забитая серыми шинелями, уплывает за нами.

В вагонах на редких остановках слышны песни. Раздают запоздалый ужин. Пахнет казачьими щами. Слышна передобеденная молитва. Никаких агитаторов. Все идет хорошо.

Со встречным Петроградским поездом прибыли офицеры, бывшие в Петрограде. Сотник Карташов подробно докладывает мне о том, как юнкера обороняют Зимний дворец, о настроении гарнизона, колеблющегося, не знающего, на чью сторону стать, держащего нейтралитет [1]. В купэ входит Керенский.

— Доложите мне, поручик,—говорит он,—это очень интересно,—и протягивает руку Карташову. Тот вытягивается, стоит смирно и не дает своей руки.

— Поручик, я подаю вам руку,—внушительно заявляет Керенский.

— Виноват, господин верховный главнокомандующий,—отчетливо говорит Карташов,—я не могу подать вам руки. Я—корниловец!

Краска заливает лицо Керенского. Он пожимается и выходит из купэ.

— Взыщите с этого офицера,—на ходу кидает он мне...

Поезд мчится, прорезая мрак холодной, тихой сентябрьской ночи. Проехали, не останавливаясь, Лугу... Приближаемся к Гатчине. Всюду тишина. Смолкли казачьи песни. Но беспрерывное движение поезда вселяет почему-то уверенность в успехе.

Я задремал. Дверь купэ распахнулась. Я открываю глаза. В дверях—Керенский и с ним политический комиссар, капитан Кузьмин.

— Генерал,—торжественно говорит мне Керенский.—Я назначаю вас командующим армией, идущей на Петроград; поздравляю вас, генерал!..

И переменивши тон, добавляет обыкновенным голосом:

— У вас не найдется полевой книжки? Я напишу сейчас об этом приказ.

Я молча подаю ему свою книжку. Он выходит. Командующий армией, идущей на Петроград! Идет пока, считая синицу в руках,—шесть сотен 9-го полка и четыре сотни 10-го полка. Слабого состава сотни, по 70 человек. Всего—700 всадников, меньше полка нормального штата. А если нам придется спешиться, откинуть одну треть на коново-

---

[1] Информация была неправильной. В действительности почти весь гарнизон стоял на стороне Военно-Революционного Комитета. *Ред.*

дов, останется боевой силы всего 466 человек — две роты военного времени!!..

Командующий армией в две роты!

Мне смешно... Игра в солдатики! Как она соблазнительна с ее пышными титулами и фразами!!!..

Бледное утро смотрит в окно. Серый, тоскливый осенний день. Станционная постройка, выкрашенная красной краской. Мокрая рябина, покрытая гроздьями спелых, хваченных морозом ягод. Мы стоим на Гатчине товарной...

XVIII.

«Взятие» Гатчины.

В Гатчине меня ожидало приятное известие. Из Новгорода прибыл эшелон 10-го донского полка, две сотни и 2 орудия. Командир эшелона, чудный офицер, есаул Ушаков, пробился силою, несмотря на все препятствия со стороны железнодорожников. Я приказал выгружаться, имея целью захватить Гатчину врасплох. В полутьме раннего утра вышли сотни 9-го и 10-го полков и артиллерия. Я послал разведку в город, а сам с сотнями выдвинулся на Петербургское шоссе. Офицеры, сопровождавшие Керенского, четыре человека, в какой-то придорожной чайной устроили чай для Керенского.

В Гатчине тихо. Гатчина спит. Разведка донесла, что на Балтийской железной дороге выгружается рота, только-что прибывшая из Петрограда, и матросы. Посылаю туда сотни и сам еду с ними. Казаки со всех сторон забегают к станции. Видно, как рота выстраивается на перроне. Кругом ходит публика, железнодорожные служащие. Рота стоит развернутым строем, представляя собою громадную мишень. Я приказываю снять одно орудие с передков и ставлю его на путях. От пушки до роты—не более тысячи шагов. Человек восемь казаков енисейской сотни с тем же молодцом Коршуновым бегут к роте. Короткий разговор, и рота сдает ружья. Это—рота л.-гв. измайловского полка и команда матросов.

Ко мне ведут офицеров. Безусые растерянные мальчики.

— Господа, как вам не стыдно! — говорю я им.

Молчат. Тупо смотрят на меня, сами видимо не понимают, что произошло.

— Вы пошли против Временного Правительства, — возвышая голос, говорю я. — Вы изменили родине. Я повесить вас должен.

Лица бледнеют.

— Господин генерал,— лепечет один из них,—мы не шли против Временного Правительства.

— Куда же вы шли?

— Мы шли... Мы шли в Гатчину... Охранять Гатчину от... от разграбления.

Что я буду делать с пленными? Их 360 человек, а в моих трех сотнях едва наберется 200!

Обезоруживши их, я отпускаю их на все четыре стороны. Мне их некуда девать и некем охранять. Когда еще придут 37-я пехотная и 1-я кавалерийская дивизии, когда еще подойдет XVII армейский корпус! Да и придут ли?

Какая опасность от этих людей?

— Мы можем ехать обратно? — спрашивают солдаты.

— Поезжайте и скажите вашим товарищам, чтобы они не глупили,—говорю я им.

— Да мы что! Мы ничего! — добродушно заявляют солдаты. — Нам что прикажут, мы то и делаем.

Ко мне подъезжает казак. Варшавская станция занята казаками. Взята в плен рота и 14 пулеметов. Что прикажете делать с пленными?..

— Обезоружить и отпустить!

Их некуда было девать и прятать, их нечем было кормить, потому что базы и тыла у нас не было. Отправлять в Лугу? Но отношение Луги к нам неизвестно. Посылать в Псков? Но Псков явно враждебен к нам. Оставалось распускать их, надеясь, что они распылятся, разойдутся по своим деревням, на несколько дней станут безопасны. А там подойдет XVII корпус, и можно будет их или снова мобилизовать или, если будет надо, посадить за проволоку.

Ясно было, что Гатчина обороняться не будет. Я еще отдавал на площади перед Балтийской станцией приказания, когда мне доложили, что Керенский уже находится в Гатчинском дворце и требует меня для распоряжений.

Я нашел его в одной из квартир запасной половины. С ним его адъютанты — молодые люди, капитан Свистунов, комендант дворца, капитан Кузьмин и какие-то две молодые, нарядно одетые, красивые женщины. Они закусывали. Обстановка была не для серьезного разговора, и я увел Керенского в другую комнату. Он настаивал на немедленном движении дальше. Но с кем? Было у меня три сотни и 2 орудия. Гатчина спокойна, но кто знает, каково будет настроение ее частей, когда они увидят, что мы уйдем и нас слишком мало. Даже на разъезды не хватит!

— Но вы сами видите, что сопротивления никакого не будет. Петроградский гарнизон на нашей стороне, — сказал Керенский.

Я, однако, отказался итти в разброд. Надо было дождаться подхода остальных эшелонов, хотя бы своих, послать разъезды к Царскому, Красному и Петергофу и всеми возможными способами выяснить, что делается в Петрограде. Оттуда непрерывно прибывали юнкера и офицеры, бежавшие от большевиков, было много частных лиц, которые все допрашивались мною. Моя жена жила в Царском Селе у подруги моего детства, жены одного артиллерийского генерала, мне удалось связаться с нею городским телефоном и получить сведения о том, что делается в Царском. Все полученные донесения сводились к следующему:

В Царском спокойно. К вечеру с великими трудами удалось собрать две роты, одна пошла к Гатчине, другая— к Красному Селу. Шли в беспорядке, в разброд.

В Петрограде идет борьба между большевиками и правительством. На стороне большевиков—матросы, которых считают до пяти тысяч, и вооруженные рабочие [1]). На стороне правительства — только юнкера. По существу, правительства нет. Оно рассеялось и никаких распоряжений не отдает, но в городской думе заседает какой-то „Комитет спасения родины и революции", который организует борьбу с большевиками и ведет агитацию в частях петроградского гарнизона. Солдаты держатся пассивно. Никакого желания выходить из города и воевать. Были случаи, что солдатские патрули обезоруживались женщинами на улице. Преображенский и волынский полки будто бы решили выступить против большевиков, как только мы подойдем к Петрограду. 1-й, 4-й и 14-й донские полки собираются выступить к нам навстречу, к Пулково, и итти с нами. Их убеждает сделать это совет союза казачьих войск, который очень энергично работает. Этот совет непрерывно снабжал меня донесениями. От 1-го донского казачьего полка приехала даже делегация. Я ее принял. Три казака весьма подлого вида. Косятся, выспрашивают, производят впечатление разведчиков наших настроений, а не переговорщиков о совместных действиях. Наш донской комитет, руководимый доблестным и прекрасным офицером, подъесаулом Ажогиным, обрушился на них, говоря им, что они позорят казачье имя, что им нельзя будет вернуться на Дон. Они отмалчивались, но уходя заявили: какой же это демократический комитет, когда в него допущены офицеры?..

Но были сведения и менее оптимистические. Они говорили, что петроградский гарнизон — ничто, с ним и сами большевики не считаются. Он не выступит ни на чьей сто-

---

[1]) К этому нужно добавить еще одну малость, скинутую Красновым со счетов,— весь питерский гарнизон. *Ред.*

роне и ничего делать не будет. Опора большевиков — матросы и красногвардейцы, т.-е. вооруженные рабочие, которых будто бы больше ста тысяч. Рабочие очень воинственно настроены и хорошо организованы. Из Кронштадта в Неву пришла „Аврора" и несколько миноносцев. Большевистские вожди распоряжаются с подавляющей энергией и организуют все новые полки при полном бездействии правительства и властей. Верховский, Полковников и все военное начальство находится в состоянии растерянности и лавирует так, чтобы сохранить свое положение при всяком правительстве.

Я это видел и в Гатчине. В Гатчине находилась школа прапорщиков. Почти батальон молодых людей отнюдь не большевистского настроения. Но начальство ее выступить с нами отказалось. Самое большее, что они могли взять на себя—это поставить заставы на дорогах и наблюдать за внутренним порядком в городе. Офицеры авиационной школы все были с нами, но боялись своих солдат и могли только дать два аэроплана, которые полетели в Петроград разбрасывать мои приказы „командующего армией, идущей на Петроград", и воззвания Керенского.

Эшелоны с войсками приходили туго. Пришло еще две сотни 9-го донского полка и пулеметная команда, пол-сотни 1-го амурского полка и совершенно мне ненужный штаб уссурийской конной дивизии.

— А где нерчинцы?—спросил я у генерала Хрещатицкого.

— Главкосев Черемисов оставил их в Пскове для охраны штаба фронта, — отвечал Хрещатицкий.

— Да ведь вы получили категорическое приказание отправить их в Гатчину.

— Главкосев приказал командиру полка, и они высадились, — отвечал начальник дивизии.

В распоряжения Керенского и мои вмешивались сотни лиц. Ставка — Духонин — бездействовала, была парализована. Из Ревеля примчался ко мне офицер и передал мне, что начальник гарнизона отменил погрузку 13-го и 15-го донских полков „впредь до выяснения обстановки". Ни 37-й пехотной, ни 1-й кавалерийской дивизий, ни частей XVII корпуса не было видно на горизонте. Тщетно справлялся я по всем телеграфам Николаевской дороги. Никаких эшелонов на север не шло. Приморский полк в Витебске отказался исполнить мой приказ.

Таково было отношение начальства — именно начальства, — т.-е. Черемисова в Пскове, начальника гарнизона в Ревеле, Духонина в ставке, командира XVII корпуса и начальников дивизий — 37-й пехотной и 1-й кавалерийской, к выступлению большевиков. Никто не пошел против них.

Отозвалась только Луга: 1-й осадный полк в составе 800 человек решил итти на помощь Керенскому и погрузился в Луге[1]). Да уже ночью ко мне пришел отличный офицер, капитан Артифексов, которого я знал по службе в 1-м сибирском полку, командовавший теперь броневым дивизионом в Режице, и обещал притти ко мне на помощь со своими броневыми машинами.

Разъезд, шедший на Пулково, встретил застрявший броневик „Непобедимый" и не долго думая атаковал его. Команда „Непобедимого" бежала, и он достался нам. В авиационной школе нашлись офицеры добровольцы, которые взялись исправить броневик и составить его команду. К 11-ти часам вечера он был доставлен на двор Гатчинского дворца, и офицеры принялись его чинить.

К вечеру 27 октября я имел: 3 сотни 9-го донского полка, 2 сотни 10-го донского полка, 1 сотню 13-го донского полка, 8 пулеметов и 16 конных орудий. Т.-е. моих людей едва хватало на прикрытие артиллерии. Всего казаков у меня было, считая с енисейцами, 480 человек, а при спешивании — 320.

Итти с этими силами на Царское Село, где гарнизон насчитывал 16.000, и далее на Петроград, где было около 200.000, — никакая тактика не позволяла; это было бы не безумство храбрых, а просто глупость. Но гражданская война — не война. Ее правила иные, в ней решительность и натиск — все; взял же Коршунов с 8-ю енисейцами в плен полторы роты с пулеметами. Обычаи и настроение петроградского гарнизона мне были хорошо известны. Ложатся поздно, долго гуляют по трактирам и кинематографам, зато и утром их не поднимешь; захват Царского на рассвете, когда силы не видны, казался возможным; занятие Царского и наше приближение к Петрограду должно было повлиять морально на гарнизон, укрепить положение борющихся против большевиков и заставить перейти на нашу сторону гарнизон. Ведь — опять-таки думал я — идет не царский генерал Корнилов, но социалистический вождь — демократ Керенский, вчерашний кумир солдатской толпы, идет за то же Учредительное Собрание, о котором так кричали солдаты...

Я собрал комитеты. В этой подлой войне они мне были нужны для того, чтобы и то, что у меня было, не развалилось. Высказал свои соображения. Казаки вполне согласились со мною.

На 2 часа утра 28 октября было назначено выступление.

---

[1]) Повидимому, здесь сказалась работа всеро Вороновича, бывшего там председателем Совета. *Ред.*

XIX.

«Взятие» Царского Села.

В 2 часа мне доложили, что отряд готов. На площади перед дворцом в резервной колонне стоял казачий полк, батареи вытянулись по улице. Я объехал ряды. Все было в порядке. Головная сотня по моему приказанию вытянулась вперед, бойко застучали копытами по грязному шоссе лошади дозорных казаков. За второю от головы сотнею потянулись громыхая казачьи пушки. Гатчина притаилась. Нигде— ни огонька, нигде не светится ни одна щель ставни. Вряд ли спала она в эту тревожную ночь, когда быстро стучали конские копыта по камням и тяжело гремели и звенели пушки.

Было темно. Я попробовал вести отряд переменными аллюрами, но батареи отставали,—пришлось итти шагом. Отошли четыре версты, остановились, слезли, подтянули подпруги и пошли дальше. В восьми верстах от Гатчины,— не доходя деревни Романова, остановились. В чем дело?

Впереди застава — рота стрелков. Не пропускает. Что же делает? — Разговаривает.

Прорысил мимо меня дивизионный комитет с подъесаулом Ажогиным. Такая „война" была мне противна, но при малых моих силах приходилось покоряться: она была выгодна для меня.

Разговоры затягиваются, время идет. Близок рассвет. Я командую: „шагом марш" и еду к заставе. На середине шоссе—три офицера стрелка и несколько солдат.

— Сдавайтесь, господа, — говорю я им ласково.

— Уже сдают винтовки,—говорит мне командир головной сотни.

Мы едем дальше. В предрассветных сумерках видна выстраивающаяся рота без оружия. С поля, из наскоро нарытого окопа подходят люди, несут и отдают казакам винтовки. Путь свободен.

— Куда прикажете вести людей? — спрашивает меня офицер стрелок.

— Оставайтесь в деревне до обеда, отдохните, а после обеда идите домой, в Царское Село...

Не расстреливать же их поголовно! А другого исхода не было. Или на волю, или перестрелять.

В мутном свете наступающего хорошего солнечного дня показалось Царское Село. Опять остановка. Дорогу преграждает цепь. Солдат много. Не меньше батальона (800 человек). Раздаются редкие выстрелы. Заставы мои прижались за домами деревни Перелесино. Наступает психоло-

гический момент, от него зависит все дальнейшее. Я приказываю спешить две головные сотни и выехать на позицию трем батареям. Остальным сотням их прикрывать. Сам еду к цепям.

Огонь со стороны стрелков усиливается. Трещит пулемет, но все-таки это — не настоящий огонь батальона. Или у них мало патронов, или они не хотят стрелять. Я приказываю энергично наступать, а артиллерии — открыть огонь по казармам. Там, подле казарм, живет моя жена, это знают многие казаки и офицеры, бывавшие у нее тогда, когда мы стояли в Царском. Командир батареи деликатно бьет на высоких разрывах. Казармы Царского окутываются дымками шрапнелей. Но цепи не отходят. Итти вперед? Но нас до смешного мало. Продвигаясь вперед, мы попадаем под обстрел с обоих флангов.

Опять выручают енисейцы. Коршунов ведет их — всего 30 человек — в обход.

И цепи стрелков отходят. Мы продвигаемся за Переделино. Видны в конце шоссе ворота Царскосельского парка. Там все кишит людьми. Весь гарнизон столпился у ворот. Если они откроют дружный огонь по нас, то моих казаков сметет так же, как смела 111-я пехотная дивизия моих кубанцев. Но они не стреляют. Похоже, что там митинг. Дивизионный комитет садится на лошадей и едет вперед. По нему раздается пять-шесть выстрелов. Он, не обращая внимания, едет дальше. Кучка в 9 всадников быстро приближается к толпе. От толпы отделяется несколько человек.

Разговоры...

Октябрьское солнце поднимается на бледном небе. Серебрится роса на рыжей траве и кочках болота, блестят дощатые крыши домов, ярко сверкают зеленые купола Софийского собора. День настает, а они все разговаривают. Это надо кончить. Я сажусь на свою громадную лошадь и в сопровождении адъютанта, ротмистра Рыкова, и двух вестовых галопом еду туда.

Комитет окружен офицерами и стрелками. Идут разговоры. Или они стараются выиграть время, ожидая помощи (конечно, моральной, — физической силы у них было слишком достаточно) из Петрограда, или сами не знают, что делать.

— Господа, — говорю я им. — Не нужно кровопролития. Сдавайте оружие и расходитесь по домам.

Офицеры соглашаются со мною и идут уговаривать стрелков. Но между стрелками раскол. Часть — около полка — густой колонной отделяется вперед и идет к нам, чтобы сдать ружья. Но другая часть бежит в цепь по опушке парка, стараясь охватить нас. Я и комитет отъезжаем к цепям.

В цепях разговаривает с казаками статный, красивый человек средних лет. с выправкой отличного спортсмена в полувоенном платье, с амуницией и биноклем. С ним—какие-то два молодых человека и офицер-казак.

— Савинков, — говорит он мне.

Мы здороваемся. Савинков расспрашивает про обстановку.

— Что вы думаете делать? — спрашивает он меня.

— Итти вперед, — говорю я. — Или мы победим, или погибнем; но если пойдем назад, погибнем наверно.

Савинков соглашается со мною. Он говорит мне несколько слов по поводу того, как лестно обо мне и любовно отзывались казаки.

Революционер и царский слуга!

Как все это странно!

Сзади из Гатчины подходит наш починенный броневик, за ним мчатся автомобили — это Керенский со своими адъютантами и какими-то нарядными экспансивными дамами [1]).

— В чем дело, генерал? — отрывисто обращается он ко мне. — Почему вы ни о чем мне не доносили? Я сидел в Гатчине, ничего не зная.

— Доносить было не о чем, — говорю я. — Все торгуемся.

И я докладываю ему обстановку.

Керенский — в сильном нервном возбуждении. Глаза его горят. Дамы в автомобиле, и их вид праздничный, отзывающий пикником, так неуместен здесь, где только что стреляли пушки. Я прошу Керенского уехать в Гатчину.

— Вы думаете, генерал? — шурясь говорит Керенский. — Напротив, я поеду к ним. Я уговорю их.

Я приказываю енисейской сотне сесть на лошадей и сопровождать Керенского, еду и сам.

Керенский врезается в толпу колеблющихся солдат, стоящих в двух верстах от Царского Села. Автомобиль останавливается. Керенский становится на сиденье, и я опять слышу проникновенный, истеричный голос. Осенний ветер схватывает слова и несет их в толпу, отрывистые, тусклые, уже никому ненужные, желтые и поблекшие, как осенние листья.

...Завоевания революции... Удар в спину... Немецкие наемники и предатели!..

Казаки-енисейцы въезжают в толпу и силой отбирают винтовки. Сзади подъехал наш грузовик, и гора винтовок растет на нем.

---

[1]) Из чувства скромности или по каким-то другим причинам Керенский в своей „Гатчине" ни слова не упоминает об этих дамах. Впрочем, в соответствующем месте он говорит о каких-то „срочных делах", заставивших его съездить в Гатчину. *Ред.*

Обезоруженные солдаты сконфуженно идут прямо полем к казармам. Но там, у ворот Царского, настроение иное. Там кто-то распоряжается. Цепи выходят из парка, они учуяли нашу малочисленность и стараются окружить нас. С моего правого фланга тревожные донесения. На него из Павловска наступают цепи и оттуда стреляет батарея.

Я прошу Керенского отъехать назад и вызываю взвод Донской батареи, той самой батареи, которая не раз выручала меня в тяжелые минуты в настоящей войне. Донские пушки становятся на шоссе в какой-нибудь версте от цепей и громадного скопища солдат у ворот Царскосельского парка. Молодцов артиллеристов можно перестрелять, как куропаток. Я и енисейцы отъезжаем в боковые улички предместья.

Наступает томительная тишина. И вдруг — тах, тах, тах, — затрещали ружья по нашему левому флангу.

— Первое!.. — раздалась команда, — пли!

И за первой, почти сливаясь, ударила вторая пушка. И затихла. Два белых мячика разрыва отчетливо сверкнули над самыми головами центральной толпы. И будто слизнули они все это море голов и блестящих штыками винтовок. Все стало пусто. Вся эта громадная многотысячная толпа метнулась в сторону и побежала сломя голову к станции, наваливаясь в вагоны и требуя отправки в Петроград.

Казаки стали входить в Царское.

В сумерках Царское Село было занято. Солдаты гарнизона, не успевшие убежать по железной дороге, попрятались в казармы, отказывались выдать оружие, но и не предпринимали ничего враждебного против нас. Казаки почти без сопротивления овладели станцией железной дороги, подошли к Александровской и заняли радиостанцию и телефон.

Победа была за нами, но она съела нас без остатка.

XX.

В Царском Селе.

До часу ночи я оставался на окраине Царского Села, устанавливая связь со своими частями. Тактически мне не надо было входить в Царское. Окруженное громадными парками с путаными дорожками, представляющее из себя множество домов, легких для обороны и трудных для атаки, требующее большого гарнизона для наблюдения за порядком, — оно было мне не нужно. Но политически нужно было не только войти в него, но и занять дворцы, сесть в них

прочно, выкурить оттуда местные силы. Царское занято тогда, когда Керенский будет сидеть во дворце, а я — на своей старой штаб-квартире — в служительском доме дворца Марии Павловны; без этого Царское не поверит, что оно взято, а не поверит Царское — не поверит и Петроград. В час ночи я перешел в центр Царского Села, и маленькая горсть казаков, всего две сотни, стала на дворе дворца Марии Павловны. Надо было отдохнуть, накормить людей и лошадей, обдумать положение.

И опять для того, чтобы продолжить моральную победу, надо было итти, не останавливаясь, буде возможно, тою же ночью, — на Петроград.

Хорошо, итти? Но с кем?

За весь день 28 октября к нам подошло три сотни 1-го амурского казачьего полка, но амурцы заявили, что „в братоубийственной войне принимать участие не будут", что они „держат нейтралитет", и отказались даже выставить заставы для охраны Царского Села и сменить усталых донцов... Они стали в деревнях, не доходя до Царского Села.

Те люди, которые шли со мною, были сильно утомлены. Они двое суток провели без сна в непрерывном нервном напряжении. Лошади отупели, не имея отдыха. Необходимо было дать передышку. Но мои люди не столько устали физически, сколько истомились в ожидании помощи. Комитеты мне заявили, что казаки до подхода пехоты дальше не пойдут. Надежда на то, что кто-либо подойдет за день, и желание лучше выяснить обстановку заставили меня назначить на 29 октября дневку в Царском Селе.

Офицеры моего отряда — все корниловцы — возмущались поведением Керенского. Он обещал дать помощь, но он не только не дает нам посторонних войск, но и не может принудить вернуть корпусу части, входящие в него. Его популярность пала, он — ничто в России, и глупо поддерживать его. Вероятно, под влиянием разговоров с офицерами и казаками, которые говорили: „пойдем с кем угодно, но не с Керенским", ко мне зашел Савинков и предложил убрать Керенского, арестовать его и самому стать во главе движения.

— С нами и за вами пойдут все, — говорил мне Савинков.

Но я знал, что это было не так. Я был генерал, это во-первых. Во-вторых, мое отношение к войне и победе было слишком хорошо известно солдатским массам. Я мог усмирить солдатское море не из Петрограда, а из ставки, ставши верховным главнокомандующим и отдавши приказ о немедленном перемирии с немцами на каких угодно условиях. Только такая постановка дела могла привлечь на мою сторону солдатские массы. Но, конечно,

на это я не мог пойти. Да и это не спасло бы Россию от разгрома. С этим не согласились бы офицеры и лучшая часть общества. А без этого — без мира — свержение и арест Керенского только сделали бы из него героя и еще более усилили бы разруху.

Была и еще одна деликатная сторона дела. Керенский явился ко мне искать у меня спасения и помощи. Я не отказал в ней, я не прогнал его сразу. Он был до некоторой степени гостем у меня, он мне доверился, и арестовывать его было бы нечестно, неблагородно, не по-солдатски. Я отверг предложение Савинкова[1]).

Но с известными настроениями казаков все-таки приходилось считаться. 9-й донской казачий полк волновался. Ко мне явился войсковой старшина Лаврухин, окруженный крайне возбужденными казаками, почти с требованием немедленно удалить Керенского из отряда, потому что казаки ему не верят, считают, что он идет заодно с большевиками и предает нас для того, чтобы уничтожить единственных верных правительству людей, а отчасти мстя за участие в походе с Корниловым. На мое счастие в Царское приехали Станкевич и Войтинский. Я просил их поговорить с казаками и разъяснить им всю политическую сторону борьбы и необходимость наступления на Петроград во что бы то ни стало, а сам отправился к Керенскому. С большим трудом мне удалось уговорить его переехать в Гатчину, где отношение было лучше, куда прибыл мой штаб корпуса, установил аппарат Юза со ставкой и откуда он мог скорее подать нам помощь.

Другой моею заботою было усилить до пределов возможного свой отряд за счет Царскосельского гарнизона. Неужели из 16.000 солдат-стрелков не найдется хотя бы одной тысячи, которая согласилась бы пойти с нами! Я вызвал офицеров к себе. Они все были против большевиков и обещали повлиять на солдат. Начались митинги. Но резолюции были самые неутешительные. Солдаты обещали не вмешиваться в „братоубийственную“ войну и держать полный нейтралитет. Я и этому должен был быть рад, — по крайней мере, не ударят в спину.

В Царском Селе находилась пулеметная команда 14-го донского казачьего полка. Я вызвал ее офицеров и комитет. Явились самые настоящие большевики. Злые, упорные, тупые, все ненавидящие. Тщетно и я и чины дивизионного комитета говорили им о любви к Дону, о необходимости

[1]) В своих воспоминаниях Керенский со свойственным ему хлестаковским апломбом изображает дело так, как будто бы он, Керенский, был фактическим руководителем похода. Хорош был бы этот гороховый шут, если бы Краснов оказался менее „благородным“ и „гостеприимным“. *Ред.*

согласия всех казаков между собою, о призыве от совета союза казачьих войск стать на защиту правительства. Напрасно простые казаки комитета, энергично разрушая программу большевистских вождей, говорили: „нам, господа, казакам, с большевиками никак не по пути“, — представители 14-го полка уперлись, как бараны, что они заодно с Лениным, что Ленин за мир, и категорически отказались помочь.

Весь день прошел в бесплодных переговорах. Пришли ко мне помогать несколько человек юнкеров из Петрограда, запасная сотня оренбуржцев л.-гв. сводного казачьего полка, вооруженная одними шашками и предводительствуемая очень лихим юношей, два орудия запасной конной батареи из Павловска, наполовину без прислуги, отличный блиндированный поезд, да к вечеру я узнал, что три сотни 9-го донского казачьего полка высадились в Гатчине. Я послал им приказание спешно выступить походом к Царскому Селу.

Итак, к вечеру 29 октября мои силы были: 9 сотен, или 630 конных казаков, или 420 спешенных, 18 орудий, броневик „Непобедимый“ и блиндированный поезд. Если настроение петроградского гарнизона такое же, как настроение гарнизонов Гатчины и Царского Села, — войти в город будет возможно... А там? Там это будет уже дело Керенского, Войтинского и Станкевича, дело комитета спасения родины и революции, дело советов союза казачьих войск, наконец, дело Савинкова и министров организовать гарнизон Петрограда и произвести с помощью его, а не нас, необходимую чистку города и аресты.

Керенский, Савинков и Станкевич настаивали на наступлении. По их сведениям, в Петрограде борьба с большевиками в полном разгаре. Нас ждут, мы должны притти и спасти жителей города и Россию от большевистского ига. Вечером ко мне явились комитеты 1-й донской и уссурийской дивизий. Подъесаул Ажогин, конфузясь и стесняясь, заявил, что казаки отказываются итти на Петроград одни, без пехоты. Если пехота не приходит, значит, она вся против правительства и идет с большевиками. Нам одним все равно ее не победить. Я горячо начал возражать им. Я говорил, что пехота сама не знает, чего она хочет. Заняли же мы без боя Гатчину и Царское? Как можем мы отказываться итти вперед, не зная, что будет. А если правда, что 1-й, 4-й и 14-й донские полки выйдут нам навстречу, если преображенцы и волынцы только и ожидают нас? Мы должны разведать, узнать все и тогда решить. Я сам понимаю, что девятью сотнями нам Петрограда не взять, да если бы и взяли, так не охранили бы, но к нам примкнут сотни тысяч людей; будет великим позором для наших славных знамен, если мы откажемся даже разведать.

— Вы меня знаете за всю войну, — горячо говорил я казакам. — Разве я водил вас когда-либо очертя голову? Сделаем разведку, произведем усиленную рекогносцировку с боем, а тогда и увидим, кто наш противник. И, если нельзя, то нельзя. Отойдем, будем обороняться и ждать помощи.

— Не придет эта помощь! Все против нас! — с тоскою сказал кто-то из казаков.

Но комитет сдался. — Попробовать надо, раздавались голоса. — Как же это так, без разведки-то никак не возможно. Генерал прав...

Разошлись, постановив на том, что мой приказ исполнять точно. Я понимал, что при таком настроении казаков нечего было и думать о серьезном бое, да и мало было нас, и отдал приказ об усиленной рекогносцировке в направлении на Пулково.

Всю ночь казачьи заставы перестреливались с матросами у Александровской станции. Небольшая команда матросов прошла к вилуку, лежащему между Александровской и р. Пудостью и здесь обстреляла поезд, шедший с осадным полком из Луги. Солдаты осадного полка остановили поезд, частью сдались, частью разбежались, куда глаза глядят, бросивши свои пушки на платформах. Мне стоило большого труда уже своими казаками, офицерами и юнкерами при помощи броневого поезда довести эти пушки обратно в Гатчину.

От Артифексова — ничего. Позднее я узнал, что его дивизион отказался грузиться в Режице. Он повел его походом. Но на пути солдаты взбунтовались. Ему пришлось двоих застрелить из револьвера и только этим спастись и бежать от своего дивизиона.

Да... Не везло...

Рано утром 30-го прорвавшийся из Петрограда гимназист передал мне клочок бумаги, величиной немного более гербовой марки, на котором стоял бланк совета союза казачьих войск и мелко было написано:

„Положение Петрограда ужасно. Режут, избивают юнкеров, которые являются пока единственными защитниками населения. Пехотные полки колеблются и стоят. Казаки ждут, пока пойдут пехотные части. Совет союза требует вашего немедленного движения на Петроград. Ваше промедление грозит полным уничтожением детей-юнкеров. Не забывайте, что ваше желание бескровно захватить власть — фикция, так как здесь будет поголовное истребление юнкеров. Подробности узнаете от посланных [1]).

Председатель А. Михеев.
Секр. Соколов".

---

[1]) Эта записка совершенно случайно сохранилась у меня в одной из моих записных книжек. Печальный свидетель начала кровавого кошмара.

Я объявил эту записку собравшимся казакам и, казалось, поднял в них настроение.

XXI.

Бой под Пулковым.

Свежий осенний день. То солнце, то косой холодный дождь. На западной окраине Царскосельского парка в виду Александровской станции выстраивается мой отряд. У Александровской идет редкая перестрелка.

Я направляю сотню 13-го полка по шоссе на Красное Село на дер. Сузи, сотню 9-го полка — на Петроградское шоссе на дер. Редкое Кузьмино, полусотню — на нижнюю дорогу на Большое Кузьмино в обход Пулкова, взвод — на Славянку и к Колпину. Ушли... и у меня почти никого не осталось. Ожидаю донесений. Обстановка совсем какого-либо малого маневра под Красным Селом. Даже и разведка накоротке... Не прошло и часа, как я получил известие, что сотни остановились. У Сузи и у Кузьмино началась перестрелка.

Идем на выстрелы. Броневой поезд продвигается по Варшавской ветке к Петрограду.

Я выезжаю в Кузьмино. По Кузьмину уже свищут пули. Приходится слезать и итти пешком. За мною целая свита, чего я так не люблю. Савинков не отстает от меня, как бы рисуясь своим нахождением в цепях. С ним — два каких-то штатских, только что прибывших из Петрограда. Мне называют их. Кажется, господа Гоц и Дан[1]). Мне эти имена ничего не говорят. Я их не знаю, но знаю одно, что им не место в цепях, в бою, и я их под разными предлогами удаляю. Помогает мне в этом и все усиливающийся огонь противника. Часто свистящие пули заставляют исчезнуть с поля битвы каких-то гимназистов-велосипедистов, офицера с двумя барышнями, вышедшими из дач посмотреть на бой. Только мужики и бабы с ребятишками все не могут понять, что это не маневры, и никак не уходят. Офицеры прогоняют их.

— Ну чего гонишь-то! Эка невидаль. Сколько маневров-то тут было. Никогда не гоняли. И царь приезжал и то не гоняли, — ворчат мужики.

Но появляются раненые и настроение меняется. Редкое Кузьмино пустеет. Посторонних — никого. Один Савинков бесстрашно ходит по цепям и смотрит в бинокль на Пулково.

---

[1]) Насчет Дана Краснов, повидимому, ошибается, ибо с Гоцем ездил на фронт не Дан, а Фейт. См. ст. Г. Лелевича „Октябрь в белогвардейском описании", „Пролет. Революция", 1923 г., № 9 (21), стр. 66. *Ред.*

С окраины дер. Редкое Кузьмино, где залегли казаки, позиция противника и вся местность до Петрограда видны отлично. За Редким Кузьминым — глубокий овраг, по дну которого в осыпях голубой глины течет река Славянка. Этот овраг отделяет нас от большевиков. За оврагом — небольшая деревушка, потом Пулково. Все склоны Пулковской горы изрыты окопами и черны от красной гвардии. Даже на-глаз можно сказать, что там не менее пяти, шести тысяч. Они то рассыпаются в цепи, то сбиваются в кучи. Густые, длинные цепи их спускаются вниз и идут к оврагу. В бинокль видно, что это — не солдаты. Цепи двух видов. Одни в черных штатских пальто, идут неровно, то подаются вперед, то бегут назад, это — красная гвардия. Другие, одетые в черные, короткие бушлаты, наступают, соблюдая строгое равнение, быстро залегают, применяясь к местности, это — матросы. Красная гвардия — в центре, на Пулковой горе, матросы — по флангам. Три броневика работают по шоссе. Они снабжены пушками и обстреливают Редкое Кузьмино. Другой артиллерии пока нет.

Моя сила в артиллерии и броневом поезде. Я расставил батареи за Редким Кузьминым — одну батарею вызвал совсем открыто перед Редкое Кузьмино и артиллерийским огнем держу противника в почтительном отдалении. Один из наших снарядов попал подле броневика, и видно, как из него убежала команда, а броневик остался стоять за дер. Сузи. Кто-то, вероятно, начальник и распорядитель боя, носился в автомобиле по шоссе, но и его остановили на шоссе удачным попаданием...

Слева мои пулеметчики перешли в наступление и заставили отойти противника к деревне Сузи. Мне уже было очевидно, что противник решил сопротивляться, что одним огнем артиллерии его не собьешь, а живой силы, чтобы надавить на него, у меня недостаточно; рекогносцировка дала свои результаты, но я не уходил. У меня были другие ожидания. Гром пушек под самым Петроградом, известие, что мы деремся под Пулково, должны же были как-нибудь повлиять на петроградский гарнизон и на донские полки, там находящиеся. Если они станут на нашу сторону, если в Петрограде произойдет восстание не одних юнкеров, Пулково будет очищено. Но на это нужно время. Хотя бы до вечера. И до вечера надо драться. Около полудня я получил донесение, что большая колонна солдат — тысяч до десяти — движется от Московского шоссе на перерез Варшавской железной дороги, выходя нам в тыл к Большому Кузьмину. Я послал броневой поезд и тридцать конных казаков. После получаса томительного ожидания донесение: колонна — л.-гв. измайловский полк, в полном составе; после

первой же шрапнели бежал в беспорядке, один офицер взят в плен.

Разговоры об этом произвели сильное впечатление на молодого офицера л.-гв. сводного казачьего полка, стоявшего за неимением винтовок у его казаков в бездействии сзади Александровской. Он прискакал ко мне и просил разрешить ему атаковать деревню Сузи.

— Погодите, — сказал я ему. — Еще рано. Вы атакуете вместе со всеми.

Но не понял ли он меня, или уж очень хотелось ему отличиться и потешиться над большевиками, но не прошло и пяти минут, как за домами стали мелькать конные фигуры скачущих казаков. Ко мне подошел полковник Попов и с тревогою спросил: „вы приказывали атаковать оренбуржцам?".

— Нет, — отвечал я.

— Смотрите, они уже атакуют!

Вернуть было невозможно. Сотня оренбургской молодежи с беззаветною лихостью развернулась в лаву и ринулась на деревню Сузи, занятую матросами.

Мы все вышли из-за домов следить за нею. Казалось, что вот-вот она достигнет своей цели и — кто знает — потрясет противника. Правее Сузи, вне поля атаки, целые толпы черных фигур в беспорядке кинулись бежать. Но это были красногвардейцы. Матросы стойко оставались на местах. Донцы-пулеметчики бегом побежали вперед, чтобы пулеметным огнем помочь атакующей части...

Но казаки наткнулись на болотную канаву. Лошади стали вязнуть и атака остановилась. Еще секунда напряженного волнения. Видно, как под выстрелами, едва не в упор, падают люди. Командир сотни убит. И сотня — кто верхом, кто, соскочивши с лошади, пешком — побежала назад. Освободившиеся от всадников лошади, задравши хвосты, метались вдоль фронта и падали, сраженные пулями матросов.

Потери сотни были не так велики, как того можно было ожидать. Убит командир сотни и около 18 казаков было ранено, да погибло до сорока лошадей, но морально эта неудачная атака была очень невыгодна для нас. Она показала стойкость матросов. А матросы численно более, нежели в 10 раз, превосходили нас. Как же было бороться при таких условиях?

Бой стал затихать. Прибывшие из Гатчины две сотни 9-го полка с великою неохотою спешивались и вступали в бой. То та, то другая батарея смолкала. Снаряды были на исходе. Патронов было мало. Я послал за снарядами и патронами в Царское Село. Но там у артиллерийского склада стояла сильная вооруженная команда, которая сказала

что ввиду заявленного нейтралитета она никому ни снарядов, ни патронов не даст.

Ко всему этому на Пулковской горе матросы установили морское дальнобойное орудие и начали обстреливать мой тыл, бросая снаряды вдоль шоссе по коноводам. Снаряды долетали и до Царского Села и падали возле Экономического Общества и дворца в. княгини Марии Павловны. Это начало влиять на царскосельский гарнизон. Во всех полках собирались митинги.

Царскосельская молодежь, студенты, лицеисты и кадеты, кто верхом, кто на велосипеде, кто на извощике, все время поддерживали связь со мною, сообщая мне обо всем, что творится у меня в тылу. Они бесстрашно проникали в казармы, присутствовали на митингах, некоторые даже вступали в споры, и поставляли меня в известность о всех резолюциях царскосельского гарнизона.

Резолюции были одинаковы: потребовать от казаков прекращения боя с угрозой, что иначе весь гарнизон с оружием в руках выйдет казакам в тыл. Эти резолюции волновали коноводов. Обременные кто тремя, кто четырьмя лошадьми, они чувствовали себя под такою угрозой совсем плохо.

Смеркалось. Короткий осенний день сменялся сумерками ненастной ночи. Моросил дождь. Артиллерийский огонь смолкал. Батареи без приказа отходили назад. Матросы, не сдерживаемые артиллерийским огнем, перешли в наступление. С большим искусством они стали накапливаться на обоих флангах; не только Большое Кузьмино было занято ими, но они выходили уже на Варшавскую железную дорогу, на царскую ветку и приближались к станции Царское Село, выходя мне в тыл. Пули прорезывали деревню Редкое Кузьмино с трех сторон. Я приказал отойти за полотно Варшавской дороги. Уходил я последним. У меня болела левая нога,— и я, хромая, не мог поспевать за быстро уходящими казаками. Матросы уже входили в Редкое Кузьмино, непрерывно стреляя. Но стреляли они плохо. Казаки, укрываясь за домами, перебегали от дома к дому, я шел с подъесаулом Кульгановым и ротмистром Рыковым прямо по дороге. Пули свистали близко, но ни одна не попала.

С трудом перелез я через крутую насыпь железной дороги и прошел в одну из ближайших дач, чтобы написать приказ об отходе. В ста шагах вдоль по насыпи лежала редкая казачья цепь. Дальше все Редкое Кузьмино было полно матросами и красногвардейцами. Они подходили уже и к станции Александровской, но из Редкого Кузьмина не выходили. Боялись темноты.

Черная непогодливая ночь наступала.

XXII.

„Перемирие“ с большевиками.

В несуразной обстановке дачной гостиной—дачи, спешно покинутой жильцами, — при свете кухонной чадной лампочки, добытой у дворника, я писал приказ „III конному корпусу“. „Усиленная рекогносцировка, произведенная сегодня, выяснила то, что... для овладения Петроградом считаю наших сил недостаточно... Царское Село постепенно окружается матросами и красногвардейцами... Необходимость выжидать подхода обещанных сил вынуждает меня отойти к Гатчине, где занять оборонительное положение... для чего—головной отряд и т. д.“.

К чему я это писал? Разве что для истории. В „обещанные силы“ никто не верил. Они были обещаны, и им послано приказание еще 25 октября, прошло пять дней и никто не подошел. Зрели планы отсидеться в Гатчине за реками Пудостью и Ижорой, укрепить мосты. А там, — что бог даст. В крайности, в случае нажима неприятеля отходить с боем на Дон. Лишь бы люди дрались, не изменили и не предали.

Командиры полков, батарей и сотен собирались получить приказания. Лица хмурые, недоверчивые, усталые. Чувствуется глубокое разочарование и страшный надрыв. Тяготит и беспокоит вопрос о раненых и убитых. Не бросать же их большевикам.

Глухою ночью, когда зги не было видно, подошли коноводы к опушке парка, цепи незаметно сошли с насыпи и разошлись по лошадям. Я не мог итти и послал за своею лошадью. Долго отыскивали ее, наконец, ее подали.

Я ощупью нашел стремя и сел. Поехал за полками в Царское. На штабной квартире — никого. Ожидает последний мой автомобиль. Я послал его за моей женой: ей уже не безопасно было оставаться в Царском. Казармы стрелков ярко освещены, и в окнах толпятся солдаты. Ни выстрелов, ни криков. Нас пятеро конных едет мимо них темными силуэтами, мелькая вдоль парка. „Кто едет?“ — Молчим. Зловещая тишина провожает нас. В небе не видно звезд. Мелкий надоедливый дождь начинает накрапывать.

За Царским Селом я пошел рысью, нагнал и стал обгонять полки. Шли в порядке. Пулеметчики 9-го полка шли пешком и волокли за собою пулеметы. Коноводы их удрали и не подали им лошадей. Но ругали они коноводов, а со мною разговаривали без озлобления.

Около часа ночи я был в Гатчине. Керенский меня ожидал. Он был растерян.

— Что же делать, генерал? — спросил он меня.

— Будет помощь? — спросил я его.

— Да, да, конечно. Поляки обещали прислать свой корпус. Наверно будет.

— Если подойдет пехота, то будем и драться и возьмем Петроград. Если никто не придет, ничего не выйдет. Придется уходить.

Отдал распоряжение на все дороги к переправам поставить заставы с артиллерией, и глубокою ночью прилег отдохнуть. Не успел я заснуть, как меня разбудили. У меня — полковник Марков, командир артиллерийского дивизиона.

— Ваше превосходительство, — взволнованно говорит он, — казаки отказываются итти на заставы и не берут снарядов. Сказали, что по своим больше стрелять не будут.

— Перейдите, что я приказываю разобрать снаряды и выполнить мой боевой приказ.

Едва ушел Марков, как явился Лаврухин и заявил, что 9-й донской полк не взял патронов и не пошел на заставы. Гатчина никем не охраняется.

Накануне вечером пришли две сотни 10-го донского полка из Острова. Я направил их на заставы и ожидал установки с ним связи. Рано утром поехал их проверить. В Гатчине спокойно, но как-то сумрачно. Донцы 10-го полка устроили окопы, перекопали шоссе, чтобы броневые машины не могли подойти, смотрят на холодные воды реки Пудости и говорят: никогда красногвардеец в брод не пойдет, а тут удержим.

На душе стало немного спокойнее. Поехал назад уговаривать артиллерию. На дворцовом дворе, где стояли казаки, нашел толпы казаков и среди них матросов. Это прибыли переговорщики. Они вели переговоры не от себя, а от таинственного союза железнодорожников „Викжеля". „Викжель" уговаривал прекратить братоубийственную войну и сговориться миром. Он угрожал в противном случае железнодорожной забастовкой. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения казаков. Идея мира на внутреннем фронте казалась им не менее заманчивой, нежели идея мира на фронте внешнем. Все, даже самые солидные казаки, носились с этою идеею и находили ее прекрасной. Я вызвал комитеты. Говорят одно, но думают другое.

„Никогда донские казаки не подпадут под власть Ленина и Бронштейна"... „Этому не бывать". „Нам с большевиками не по пути!"...

И рядом с этим: „отчего не вступить в мирные переговоры, может быть, до чего-нибудь и договоримся. Что же, разве большевики не люди?" „Они тоже драться не хотят". „Это дело Керенского". „Он заварил кашу, он пускай

и расхлебывает". „Время протянется, может быть, к нам и подойдет кто. Тогда со свежими силами можно и снова войну начать". „Все одно нам одним, казакам, против всей России не устоять. Если вся Россия с ними — что же будем делать?"

Тщетно я, Ажогин и фельдшер Ярцев, лихой казак, перевязывавший мне рану, когда меня ранили в 1915 году в бою под Незвиской, уговаривали и доказывали, что с большевиками мира быть не может, — у казаков крепко засела мысль не только мира с ними, но и через посредство большевиков отправления домой на Дон, и с этим уже не было никакой силы бороться. В конце переговоров ко мне пришел адъютант Керенского; он просил меня, председателя комитета и начальника штаба притти к нему на совещание.

В дворцовой гостиной запасной половины Керенский нас ожидал. Он получил телеграмму от „Викжеля", повидимому, с ультимативными требованиями сговориться с большевиками. С ним были капитан Кузьмин и Ананьев, член совета союза казачьих войск; он послал за Савиновым и Станкевичем.

Разговор шел о высшей политике. Возможно или невозможно примирение с большевиками? Керенский стоял на том, что если хотя один большевик войдет в правительство, то все пропало, работа станет невозможна; Станкевич полагал, что с большевиками сговориться все-таки можно, допуск их к власти и сознание ответственности за эту власть их должно отрезвить; Савинков настаивал на продолжении военных действий, говорил, что надо отстояться в Гатчине, он сам сейчас поедет к командиру польского корпуса Довбор-Мусницкому, который готов драться, Войтинский поедет в Псков и ставку, а раз явится сила, то можно будет сломить большевиков.

Я, начальник штаба, полковник Попов и подъесаул Ажогин молчали. Образование нового министерства с большевиками или без них — это было дело правительства, а не войска, и нас не касалось.

На вопрос, поставленный мне Савинковым, можем ли мы продержаться несколько дней в Гатчине, я ответил: оценивая позицию у Пудости и Тайц и боеспособность красной гвардии, — да, можем, но, оценивая моральное состояние казаков, отказавшихся брать снаряды и патроны и воевать, — конечно, нет. Перемирие нам необходимо, чтобы выиграть время; если за это время к нам подойдет хотя один батальон свежих войск, мы продержимся и с боем.

Решено было войти в переговоры о перемирии с „Викжелем". Против этого был только Савинков. Станкевич

должен был поехать в Петроград искать там соглашения или помощи, Савинков ехал за поляками, а Войтинский— в ставку просить ударные батальоны.

Но пока шло совещание начальства, другое совещание шло у комитетов. Прибывшие матросы-парламентеры, безбожно льстя казакам и суля им немедленную отправку специальными поездами прямо на Дон, заявили, что они заключать мир с генералами не согласны, а они желают заключить мир через головы генералов с подлинной демократией, с самими казаками.

Казаки явились ко мне. Они просили меня составить им текст договора, который они и будут отстаивать от своего имени, как бы игнорируя меня.

Я составил текст такого содержания:

— Большевики прекращают всякий бой в Петрограде и дают полную амнистию всем офицерам и юнкерам, боровшимся против них.

— Они отводят свои войска к Четырем рукам. Лигово и Пулково нейтральны. Наша кавалерия занимает исключительно в видах охраны Царское Село, Павловск и Петергоф.

— Ни та, ни другая сторона до окончания переговоров между правительствами не перейдет указанной линии. В случае разрыва переговоров о переходе линии надо предупредить за 24 часа.

С такими мирными предложениями наши представители-казаки отправились уже поздно вечером 31 октября к большевикам.

Керенский выработал свой текст, мне неизвестный, и с этим текстом на большевистский фронт поехал на автомобиле капитан Кузьмин.

Казаки вздохнули свободно. Они верили в возможность мира с большевиками.

Совсем иначе чувствовали себя я и офицеры. Только борьба и победа могли сломить большевиков.

Вечером из ставки в Гатчину прибыл французский генерал Ниссель. Он долго говорил с Керенским, потом пригласил меня. Я сказал Нисселю, что считаю положение безнадежным. Если бы можно было дать хоть один батальон иностранных войск, то с этим батальоном можно было бы заставить царскосельский и петроградский гарнизоны повиноваться правительству силой. Ниссель выслушал меня, ничего не сказал и поспешно уехал.

Ночью пришли тревожные телеграммы из Москвы и Смоленска. Там шли кровавые бои. Ни один солдат не встал за Временное Правительство. Мы были одиноки и преданы всеми...

XXIII.

Бегство Керенского. В плену у большевиков.

Я не хочу испытывать терпение читателя и потому не передаю многих мелких подробностей. Эти дни были сплошным горением нервной силы. Ночь сливалась с днем и день сменял ночь не только без отдыха, но даже без еды, потому что некогда было есть. Разговоры с Керенским, совещания с комитетами, разговоры с офицерами воздухоплавательной школы, разговоры с солдатами этой школы, разговоры с юнкерами школы прапорщиков, чинами городского управления, городской думы, писание прокламаций, воззваний, приказов и пр. и пр. Все волнуются, все требуют сказать, что будет, и имеют право волноваться, потому что вопрос идет о жизни и смерти. Все ищут совета и указаний, а что посоветуешь, когда кругом стала непроглядная осенняя ночь, кругом режут, бьют, расстреливают и вопят дикими голосами: „га! мало кровушки нашей попили!"

Инстинктивно все сжалось во дворце. Офицеры сбились в одну комнату, спали на полу, не раздеваясь; казаки, не расставаясь с ружьями, лежали в коридорах. И уже не верили друг другу. Казаки караулили офицеров, потому что, и не веря им, все-таки только в них видели свое спасение, офицеры надеялись на меня и не верили и ненавидели Керенского.

Утром 1 ноября вернулись переговорщики и с ними толпа матросов. Наше перемирие было принято, подписано представителем матросов Дыбенко, который и сам пожаловал к нам. Громадного роста, красавец-мужчина с вьющимися черными кудрями, черными усами и юной бородкой, с большими темными глазами, белолицый, румяный, заразительно веселый, сверкающий белыми зубами, с готовой шуткой на смеющемся рте, физически силач, позирующий на благородство, он очаровал в несколько минут не только казаков, но и многих офицеров.

— Давайте нам Керенского, а мы вам Ленина предоставим, хотите ухо на ухо поменяем! — говорил он смеясь.

Казаки верили ему. Они пришли ко мне и сказали, что требуют обмена Керенского на Ленина, которого они тут же у дворца повесят.

— Пускай доставят сюда Ленина, тогда и будем говорить, — сказал я казакам и выгнал их от себя. Но около полудня за мной прислал Керенский. Он слыхал об этих разговорах и волновался. Он просил, чтобы казачий караул у его дверей был заменен караулом от юнкеров.

— Ваши казаки предадут меня, — с огорчением сказал Керенский.

— Раньше они предадут меня, — сказал я и приказал снять казачьи посты от дверей квартиры Керенского.

Что-то гнусное творилось кругом. Пахло гадким предательством. Большевистская зараза только тронула казаков, как уже были утеряны ими все понятия права и чести.

В три часа дня ко мне ворвался комитет 9-го донского полка с войсковым старшиною Лавруховым. Казаки истерично требовали немедленной выдачи Керенского, которого они сами под своей охраной отведут в Смольный.

- Ничего ему не будет. Мы волоса на его голове не позволим тронуть.

Очевидно, это было требование большевиков.

— Как вам не стыдно, станичники! — сказал я. — Много преступлений вы уже взяли на свою совесть, но предателями казаки никогда не были. Вспомните, как наши деды отвечали царям московским: „с Дона выдачи нет!..". Кто бы ни был он, — судить его будет наш русский суд, а не большевики...

— Он сам большевик!

— Это его дело. Но предавать человека, доверившегося нам, неблагородно, и вы этого не сделаете.

— Мы поставим свой караул к нему, чтобы он не убежал. Мы выберем верных людей, которым мы доверяем, — кричали казаки.

— Хорошо, ставьте, — сказал я.

Когда они вышли, я прошел к Керенскому. Я застал его смертельно бледным, в дальней комнате его квартиры. Я рассказал ему, что настало время, когда ему надо уйти. Двор был полон матросами и казаками, но дворец имел и другие выходы. Я указал на то, что часовые стоят только у парадного входа.

— Как ни велика вина ваша перед Россией, — сказал я, — я не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь.

Выйдя от Керенского, я через надежных казаков устроил так, что караул долго не могли собрать. Когда он явился и пошел осматривать помещение, Керенского не было. Он бежал [1]).

---

[1]) Цитируя это место в своей „Гатчине", Керенский называет рассказ Краснова „сплошным вздором и вымыслом" и утверждает, что Краснов хотел его выдать. Это как будто бы подтверждается показанием Краснова при его аресте красной гвардией, почти без изменений напечатанным тогда в газетах. См. в ст. С. Ан-ского. *Ред.*

Казаки кинулись ко мне. Они были страшно возбуждены против меня. Раздавались голоса о моем аресте, о том, что я предал их, давши возможность бежать Керенскому.

Но тут произошло новое событие, которое совершенно все перевернуло. К гатчинскому дворцу, в стройном порядке, сверкая штыками, подходила густая колонна солдат. Она тянулась далеко по дороге, идущей к Петрограду. Люди были отлично одеты; на всех взводах, сверкая погонами, шли офицеры. Это шел л.-гв. финляндский полк. Он стал выстраиваться в резервную колонну против дворца. Казаки оставили меня и разбежались куда попало. Я остался один. Офицеры штаба находились все вместе в соседней комнате.

В мою комнату вошло человек двадцать вооруженных финляндцев.

— Господин генерал, — сказал мне один из них, — финляндский полк требует, чтобы вы вышли к нему на площадь.

— Как смеете вы, — закричал я что было силы на них, — требовать меня, корпусного командира? Вон отсюда, чтобы и духа вашего не было!

И к моему удивлению, солдаты стали пятиться и, толкая друг друга, выбежали из моей комнаты. Прошло минут десять в грозной томительной тишине. В мою комнату постучали.

— Можно войти? — послышался голос.

— Войдите, — отвечал я, готовый на все.

Вошел элегантно одетый капитан финляндского полка, видимо, кадровый офицер.

— Господин генерал, — сказал он, — честь имею представиться: командующий л.-гв. финляндским полком. Я должен извиниться перед вами. Мои люди без меня позволили себе самочинно ворваться к вам. Где разрешите стать полку на ночлег? Люди сильно устали. Они походом шли из Петрограда.

„Что сей сон обозначает", — подумал я, — „уже не помощь ли это пришла к нам?"

— Становитесь в кирасирских казармах, — любезно сказал я.

— Слушаюсь. Будет исполнено.

Повернулся кругом и вышел.

Я пошел взглянуть, что происходит. Неужели действительно помощь? Но за финляндцами шли матросы, за матросами — красная гвардия. В окна, сколько было видно, все было черно от черных шинелей матросов и пальто красной гвардии. Тысяч двадцать народа заполнило Гатчину, и в их темной массе совершенно растворились казаки.

Таково было большевистское перемирие.

И вот в эту-то пору ко мне пришел Лаврухин и сказал, что 9-й полк просит меня выйти и объяснить ему, как бежал Керенский.

Я пошел. Казаки 9-го полка были построены в резервную колонну при винтовках, пешком. Их окружала густая толпа солдат, матросов, красногвардейцев и любопытных жителей Гатчины. Я протолкался через них и, подходя к полку, обычным голосом крикнул, как кричал им и в 1914 и 1915 годах на полях настоящей войны:

— Здорово, молодцы станичники!

Привычка взяла свое.

Громовой ответ: „здравия желаем, господин генерал",— раздался из рядов полка.

Положение было спасено.

Я глубоко вошел в ряды полка, стал среди казаков.

— Да,—сказал я,—Керенский бежал. И это к нашему счастью. Как охраняли бы мы его теперь, когда мы окружены врагами?

— Мы бы его выдали,—глухо пронеслось по рядам.

— А Ленина вы получили? Вы бы выдали его, чтобы позором покрыть свое имя, чтобы про вас говорили, что вы предатели? Хорошо? А?

Казаки молчали.

— Я знаю, что я делаю. Я вас привел сюда и я вас отсюда выведу. Поняли это? Верьте мне, и вы не погибнете, а будете на Дону.

И я спокойно, в гробовой тишине притихшего полка, вышел из его рядов. Когда я проходил через толпу, я слышал, как там говорили: „Керенский бежал". И одни говорили это со вздохом радости, другие — со вздохом разочарования.

XXIV.

Кошмар.

Было ясно, что перемирие полетело к чорту и все погибло. Мы—в плену у большевиков. Однако, эксцессов почти не было. Кое-где матросы задевали офицеров, но сейчас же являлись Дыбенко или юный и юркий Рошаль и разгоняли матросов.

— Товарищи! — говорил Рошаль офицерам, — с ними надо уметочи. В морду их! В морду!

И он тыкал в морды улыбающимся красногвардейцам.

Я присматривался к этим новым войскам. Дикою разбойничьею вольницею, смешанною с современною разнузданною хулиганщиною, несло от них. Шарят повсюду, крадут, что

попало. У одного из наших штабных офицеров украли револьвер, у другого—сумку, но если их поймают с поличным, то отдают и смеются: „Товарищ, не клади плохо! Я отдал, а другой не отдаст“. Разоружили одну сотню 10-го донского казачьего полка: я пошел с комитетом объясняться с Дыбенко. Как же это, мол, так; по перемирию оружие остается у нас,—оружие вернули, но не преминули слизнуть какое-то тряпье. Шутки грубые, голоса хриплые. То и дело в комнату, где ютились офицеры, заглядывали вооруженные матросы.

— А, буржуи,—говорили они,—ну погодите, скоро мы всех вас передушим!

И это уже не шутка, это действительная угроза. Офицеры III конного корпуса входили на ту Голгофу страданий, которую пройти пришлось всему офицерству и которая еще не кончилась и теперь.

Несмотря на позднее время, всюду во дворце по коридорам и комнатам, по дворам и на улице, при свете ламп и фонарей—споры и митинги.

Около часа ночи меня позвали обедать. За всеми этими событиями мы ничего еще не ели.

Обед приходил к концу, когда в коридоре послышался шум. Быстро приближалась к нам толпа, грозно стуча сапогами и винтовками. Громадные двери распахнулись на обе половины, и в комнату ворвалось, наполняя ее, несколько солдат и во главе их—высокий худощавый загорелый офицер с полковничьими погонами. Он направился ко мне и, протягивая властным жестом руку и становясь в величественную театральную позу, воскликнул:

— Генерал, я вас арестую!—Он сделал паузу, обвел рукою кругом и добавил:—и со всем вашим штабом!

— Кто вы такой?—спросил я.

— Полковник Муравьев!—торжественно заявил офицер.—Вы—мой трофей!..

В комнате стало тихо. Театральность обстановки повлияла на офицеров. Но вдруг к самому носу полковника Муравьева протолкался бледный, исхудалый, измученный подъесаул Ажогин и за ним, как два его постоянных ассистента, сотник Коротков и фельдшер Ярцев.

— Я требую, полковник,—кричал маленький Ажогин,—чтобы вы немедленно извинились перед генералом и нами в том, что вы вошли сюда, не спросивши разрешения.

Муравьев презрительно скосил глаза.

— П-п-аззвольте! Пажжалуйста... Как вы, обер-офицер, говорите с полковником?—начальственным тоном заявил Муравьев.—Вы з-заб-бываетесь!..

— Я и не знал, что в демократической армии существует чинопочитание,—с иронией воскликнул Ажогин.—Кроме того,

я — председатель дивизионного комитета, выборный от пяти тысяч казаков, и не мне с вами, а вам со мною нужно считаться.

Муравьев опешил от такого стремительного натиска. А Ажогин так и сыпал. Хороша, мол, честность большевиков, хорошо их слово! Дыбенко клянется и божится, что никто и тронуть не смеет, а уже начинаются аресты.

— Я ничего не знал, — сказал Муравьев.

— Да где вы были тогда, когда мы переговаривались?

— Я был в поле...

— Пока вы были в поле и ничего не делали, все было сделано без вас.

Начался длинный, бурный спор, потом помирились. Муравьев заявил, что он извиняется перед нами, и сел за стол, а с ним и его свита. Вдруг вспомнили, что где-то видались на войне, были вместе, и перед нами вместо грозного вождя большевиков[1]) оказался добрый малый, армейский забулдыга-полковник, и офицеры стали говорить с ним о подробностях боя под Пулковым и о потерях сторон. Мы скрыли свои потери. У нас было 3 убитых и 28 раненых, большевики, по словам Муравьева, потеряли больше 400 человек.

Спор о моем аресте был исчерпан, но множество вопросов было еще не решено, и ко мне в комнату пришли Дыбенко и подпоручик одного из гвардейских полков Тарасов-Родионов, человек лет тридцати с университетским значком.

— Генерал, — сказал Тарасов, — мы просим вас завтра поехать со мною в Смольный для переговоров. Надо решить, что делать с казаками.

— Это скрытый арест? — спросил я.

— Даю вам честное слово, что нет, — сказал Тарасов.

— Я ручаюсь вам, генерал, — сказал Дыбенко, — что вас никто не тронет. В 10 часов вы будете в Смольном, а в 11 мы вернем вас обратно.

— Вы понимаете, — сказал Тарасов-Родионов, — или нам придется арестовать и разоружить ваш отряд, или взять вас для переговоров.

— Хорошо, я поеду, — сказал я.

— Я поеду с вами, — решительно заявил полковник С. П. Попов.

Когда офицеры штаба узнали, что я еду в Смольный, они стали настаивать, чтобы я взял с собою и их. Особенно

---

[1]) „Вождем большевиков" Муравьев никогда не был, это был левый эсер, весьма сомнительного качества. Впоследствии он перешел в лагерь белых. *Ред.*

домогались мои адъютанты, подъесаул Кульгавов и ротмистр Рыков, но я попросил поехать с собою только сына подруги моего детства — Гришу Чеботарева, который знал, где находится моя жена, и должен был уведомить ее, если бы что-либо случилось[1]).

---

[1]) Окончание записок Краснова заключает в себе рассказ о том, как автор был доставлен в Смольный, как ему удалось уйти из под ареста и, после двухмесячного пребывания в Великих Луках, во главе своих казачьих полков, бежать на Дон, в Новочеркасск, куда он прибыл уже к февралю 1918 г. Мы опускаем это окончание записок, как представляющее лишь почти исключительно личный интерес. *Ред.*

Ликвидация выступления Корнилова [1]).

Остановка и разложение корниловских войск.—Судьба ген. Крымова.—Меры Совета Р. и С. Д. и „комитетов спасения революции".—Конфликт с донским правительством. — Керенский — верховный главнокомандующий. — Миссия ген. Алексеева в ставке. — Уход ген. Алексеева и политика ген. Верховского.

Корнилов решил бороться, т.-е. осуществил то свое решение, на которое намекал Керенскому еще 10 августа. Он не подчинился отставке. Вместе с тем, он — на этот раз впервые уже в смысле открытой борьбы против правительства, подчинившегося большевизму,—приказал ген. Крымову немедленно отправить свои войска со станции Дно на Петроград. Но связь с ген. Крымовым была уже прервана. Этим ген. Корнилов объясняет „невыполнение Крымовым возложенной на него задачи". Этим же, по всей вероятности, объясняется и расстройство сношений между приближавшимися войсками Корнилова и элементами, приготовившимися действовать в самом Петрограде.

Г. Винберг в своих воспоминаниях [2]), однако, объясняет дело иначе.

„Несмотря на неумелость в ведении заговора, — говорит он, — на многие неблагоприятные обстоятельства, сыгравшие роковую роль, заговор до последнего момента мог бы увенчаться успехом, если бы не трусость и нечестность петроградских руководителей... Все в те первые два дня приближения корпуса Крымова (очевидно, 27 и 28 августа) было подготовлено так, что можно было без большого риска начать действовать. Но Гейман самую решительную ночь провел в Вилла-Роде, а Сидорин и дю-Симетьер, — именно тогда, когда от них все ждали решительного сигнала, последних распоряжений, —исчезли бесследно и нигде их нельзя было найти".

Это показание Винберга вполне подтверждается заявлением полк. Дутова В. Н. Львову в Оренбурге, в январе 1918 года. После слов: „между 28 августа и 2 сентября

[1]) Из „Истории второй русской революции", т. I, вып. 2, София 1921 г.
[2]) „В плену у обезьян", стр. 104 — 107.

под видом большевиков должен был выступить я",—Дутов продолжал: „но я бегал в экономический клуб [1]) звать выйти на улицу, да за мною никто не пошел".

Дальнейшим объяснением провала всей той части предприятия, которая организована была в Петрограде офицерами, может служить еще одно показание Винберга. Автор интересных записок указывает именно на то, что предназначенные на организацию суммы были „некоторыми крупными участниками злосчастного дела" попросту присвоены или прокучены.

В. Н. Львов по поводу этой подробности вспомнил в мае 1921 г. в беседе со мной про один эпизод, рассказанный ему лицом, участвовавшим в передаче денег офицерским организациям. Лицо это должно было передать офицерам очень значительную сумму. Но, приехав в назначенное место, оно застало „заговорщиков" в таком состоянии опьянения, что передать им денег не решилось.

Можно, таким образом, сделать вероятный вывод, что петроградские руководители в надлежащий момент не оказались на высоте положения и не проявили достаточной решимости. Объяснялось ли это, помимо указанных причин, чисто личными побуждениями, или неуверенностью в прочности постановки всего дела, или, наконец, сведениями о мерах, которые успел уже принять Керенский после беседы с Львовым, или, наконец, всеми этими мотивами вместе,— все равно: в результате благоприятный момент в Петрограде был упущен.

Что оставалось при этих обстоятельствах делать ген. Крымову? Его положение глубоко изменилось в течение тех двух-трех дней, пока он был в походе. Из подчиненного начальника отряда, посланного на помощь правительству, он становился с утра 28 августа ответственным вождем инсургентов, двигавшихся на столицу с целью низложения этого правительства. Так завязался узел глубокой трагической коллизии, разрешившейся двумя днями позже самоубийством ген. Крымова. По убеждению, так же, как и по долгу дисциплины, он не мог ослушаться своего непосредственного начальника, ген. Корнилова. Еще 29 августа он получил от него подтверждение приказания — продолжать движение на Петроград и, „в случае дальнейшего перерыва связи, действовать сообразно с обстановкой, в духе моих первоначальных указаний".

Утром того же 29 августа приехал на ст. Дно из Могилева ген. Краснов, только что видевшийся с ген. Корнило-

---

[1]) Известная правая организация под председательством члена Г. Думы П. Н. Крупенского.

ным в ставке и назначенный командиром 3-го корпуса вместо Крымова, который получал теперь командование армией, в которую развертывался (на походе!) 3-й корпус вместе с кавказской туземной дивизией. На станции был получен ночью другой приказ Крымова, заключавший в себе диспозицию и план Петрограда.

По словам ген. Краснова, уже накануне, в ставке, ознакомившись с положением, он высказывал свои сомнения начальнику штаба походного атамана ген. Смагину и чинам его штаба, которые были тогда „уверены в полном успехе дела". Сомнения Краснова касались прежде всего военной стороны дела, но он указывал тут же на связь этой стороны с моральным состоянием войск. Впоследствии французский корреспондент Клод Ане поставил Корнилову прямой вопрос: „Как могло случиться, что, разорвав с Керенским, он сам не пошел на Петроград? Ведь если бы был он во главе войск, то пришел бы в Зимний дворец без выстрела". По словам Ане, ответ ген. Корнилова был следующий [1]):

„Мелкие причины ведут к большим последствиям. Если бы я был тем заговорщиком, каким рисовал меня Керенский, если бы я составил заговор для низвержения правительства, я, конечно, принял бы соответствующие меры. В назначенный час я был бы во главе своих войск и, подобно вам, я не сомневаюсь, что вошел бы в Петроград почти без боя. Но в действительности я не составлял заговора и ничего не подготовил. Поэтому, получив непонятную телеграмму Керенского, я потерял двадцать четыре часа. Как вы знаете, я предполагал, или что телеграф перепутал, или что в Петрограде восстание, или что большевики овладели телеграфом. Я ждал или подтверждения, или опровержения. Таким образом, я пропустил день и ночь: я позволил Керенскому и Некрасову опередить себя... Железнодорожники получили приказы: я не мог получить поезда, чтобы приехать в окрестности столицы. В Могилеве мне бы дали поезд, но в Витебске меня бы арестовали. Я мог бы взять автомобиль: но до Петрограда 600 верст по дурным дорогам. Как бы то ни было, в понедельник, несмотря на все трудности, я еще мог бы начать действовать, наверстать потерянное время и исправить сделанные ошибки. Но я был болен, у меня был сильный приступ лихорадки и не было моей обычной энергии".

Была, очевидно, за „мелкими причинами" какая-то одна, „большая", которая одинаково отражалась во всех них. Ген. Краснов недаром заметил общее чувство неуверен-

1) La revolution russe, par Claude Anet, II, 154.

ности в ставке. „Горячо желали мне успеха, но сами волновались, сами боялись даже Могилева. Я хотел итти на станцию пешком. Меня не пустили". Сознание риска, в случае неудачи, „тюрьмой, полевым судом, смертной казнью" было нечуждо и самому ген. Краснову. Притом он знал солдат и знал, что репутация ген. Корнилова, вернувшего армию „от свобод" к смертной казни, уже пошатнулась в этой среде.

29 августа днем, в ожидании поезда в Псков, ген. Краснов поговорил с солдатами только что прибывших на ст. Дно двух эшелонов приморского драгунского полка. Они уже собрались на митинг и горячо обсуждали, кто „изменник", Корнилов или Керенский. На замечание ген. Краснова, что они должны исполнять приказ верховного главнокомандующего без рассуждения, они возразили, что, по слухам, Корнилов уже арестован: приказ они исполнят, но не иначе, как послав предварительно разведчиков — „узнать, где правда".

Вопрос был решен, действительно, не столько передвижениями войск, стратегическими или тактическими успехами правительственных или Корниловских отрядов, сколько настроением войск. Вопрос решили здесь, — как и на фронте, — не полководцы, а солдаты... Уже в течение ночи на 29 августа в Зимнем дворце начали получаться сведения, которые показывали, что войска ген. Корнилова не представляют исключения из общего настроения в русской армии и больны той же болезнью, как и вся эта армия. „Кровопролития" не состоялось по той простой причине, что никто не хотел проливать кровь и жертвовать для этого собой — ни с той, ни с другой стороны. Военные части передвигались послушно, пока эти передвижения имели стратегическую или вообще непонятную для солдат, но военную цель. Часть этих солдат, вероятно, не очень большая, услыхала в последнюю минуту, что ее ведут против большевиков. Официальное объяснение, правда, дано было только в приказах Корнилова после окончательного разрыва. Но и раньше это объяснение распространялось, вероятно, лишь среди более интеллигентных солдат, которые могли отнестись к этой цели похода сознательно и сочувственно. Депутаты мусульманского союза, прибывшие вечером 28 августа на ст. „Семрино" для антибольшевистской контр-агитации среди „дикой дивизии", услышали следующее объяснение, вероятно, от офицеров этой дивизии: „Контр революционных замыслов они не питают, едут в Петроград для защиты революции и страны от Временного Правительства. Ген. Корнилов — единственный революционный вождь, способный вывести страну и революцию из того тяжелого положения, в котором она сейчас находится". Это было са-

мое сознательное из объяснений [1]). Но, очевидно, это было мнение меньшинства. Солдатская масса заявляла чаще всего, что она не знает, зачем ее ведут на Петроград. Это открывало возможность влияния на корниловские войска излюбленным способом „демократических организаций“: путем посылки делегаций для переговоров. Этот способ был тем удобнее, что в сущности и воинские части, находившиеся в распоряжении совета, также не хотели проливать собственную кровь и предпочитали мирную беседу всяким ружейным и орудийным разговорам. При этих условиях достаточно было солдатам двух противоположных сторон оказаться друг против друга, чтобы проявилось то же братанье, которое стало привычным на фронте. Если даже там, против настоящего врага, армия оказалась в параличе, то как же можно было ожидать, что она станет стрелять в „своих“? Здесь, более чем где-либо и когда-либо, были уместны и могли подействовать обычные советские аргументы, что „буржуи“ заставляют народ насильно расстреливать друг друга, на потеху себе „пьют нашу кровь“ и для каких-то чужих народу интересов. Этот привычный довод, уже испробованный и оказавший неоднократно свое действие в предвыборной борьбе, теперь должен был помочь — и помог — предупредить борьбу вооруженную.

На пути в Псков, в ночь на 30 августа, ген. Краснов наблюдал процесс этой обработки эшелонов, медленно двигавшихся против Керенского.

29 августа это положение дела было ясно вполне только посвященным. 30 августа оно стало ясно всем, и томительные ожидания пребывавшей в неизвестности публики сразу были прекращены. В этот день читатели прочли оптимистическое интервью вполне уже оправившегося от вчерашних страхов Некрасова. „Положение благоприятное: все начальники фронтов, за исключением Деникина, на стороне правительства; войска Корнилова введены в заблуждение, что идут в Петроград по приглашению Временного Правительства для освобождения столицы от большевиков; мы принимаем все меры, чтобы осведомить эти войска о действительном положении дела, и надеемся, что до кровопролития не дойдет; в отряде ген. Крымова происходят нелады“.

Действительно, Совет Р. и С. Д. города Луги, где стоял отряд Крымова, вошел в сношения с казаками отряда и сговорился с ними, что Крымов будет немедленно арестован, как только получится об этом приказ правительства. Воен-

---

[1]) „Сознательным“ оно, разумеется, было лишь постольку, поскольку господа офицеры сознательно вводили в обман солдат, не желавших итти против революции. *Ред.*

ная комиссия совета тотчас же телеграфировала в Петроград, откуда вечером 30 августа приказ об аресте был прислан. Ген. Крымов был арестован казаками тотчас же, в 11 ч. вечера, и отправлен в Петроград в сопровождении членов лужского Совета Р. и С. Д. 31 августа он был принят Керенским, который рассказал свой разговор с ним в своих показаниях, — надо думать, в очень смягченном виде. Вот это показание Керенского, которое должны будут проверить свидетели последних минут Крымова [1]).

„Мы послали к нему в Лугу офицера, который когда-то у него служил, для того, чтобы разъяснить ему обстановку (об аресте Керенский не упоминает) [2]). Это мы сделали уже тогда, когда наши телеграммы о приостановке движения оставались у него без исполнения. Миссия эта удалась (мы только что видели, при какой обстановке). С этим офицером (ген. Самариным) ген. Крымов сюда приехал. Когда мне было доложено, что явился Крымов, я вышел к нему, просил его войти в кабинет, и здесь у нас был разговор. Насколько я помню, тут присутствовал еще ген. Якубович, тов. военного министра. Вначале ген. Крымов говорил, что они шли отнюдь не для каких-либо особых целей, что они были направлены сюда в распоряжение Временн. Правительства, что, по их сведениям, они должны были оказать здесь правительству содействие, что никто никогда не думал итти против правительства, что как только выяснилась вся обстановка, то все недоразумение разъяснилось и он остановил дальнейшее продвижение (это как мы видели, произошло помимо его воли). Потом он добавил, что имеет с собою по этому поводу приказ. Сначала этот приказ он не показал мне, а я никаких оснований сомневаться в том, что он был введен в заблуждение, не имел. Видимо, у него было некоторое колебание". Но, преодолев это „минутное колебание", ген. Крымов „со спокойной решимостью" передал Керенскому „изобличающий его" документ. После этого Керенский разыграл одну из своих наполеоновских сцен. „Я прочел приказ. Я знал Крымова и относился всегда к нему с очень большим уважением, как к человеку с определенно очень умеренными убеждениями, но очень честного и порядочного". „Ему, я думаю, невыносимо было сознание, что он, Крымов, уклонился от истины" и „не сказал откровенно о своей роли"... „Я встал и медленно стал подходить к нему. Он тоже встал. Он увидел, что на меня приказ произвел особенное впечатление. Он подошел сюда к этому

---

[1]) Дело Корнилова, стр. 90—92.

[2]) Краснов в своих воспоминаниях тоже не упоминает об аресте. (См. выше стр. 26.) *Ред.*

столу. Я приблизился к нему вплотную и тихо [1]) сказал: „Да, я вижу, генерал, вы, действительно, очень умный человек. Благодарю вас“ [2]).

Крымов увидел,—продолжает Керенский,—что для меня ясна уже его роль в этом деле. Сейчас же я вас (председателя следственной комиссии Шабловского) вызвал и передал вам (приказ)... После этого, во время разговора Крымов мне сказал, что он находился в ставке, что они там выработали дислокацию и положение о введении осадного положения в Петрограде; затем говорил, что предполагалось Петроград, по этому плану, разделить на военные комендатуры... Я его спросил, какие же основания он имел от своего личного имени объявлять о „бунтах“. Он принужден был сослаться на неизвестно откуда, неизвестно куда, прибывшего офицера (вероятно, Крымов не назвал его по той же причине, по которой хранил „благородное молчание“ о телеграммах Корнилова от 27—29 авг.) и вообще, он никакого объяснения этому не мог дать“. Кроме того, Крымов, по сообщению того же Керенского, „мужественно исповедал свою веру в диктатуру“, т.-е. ... значит, в действительности, говорил о намерениях Корнилова по существу. „Тогда я расстался с ним, т.-е. отпустил его, не подав ему руки“...

Оскорбленный и взволнованный, ген. Крымов, вернувшись из Зимнего дворца в помещение военного министра, покончил с собой выстрелом из револьвера. „Демократия“ негодовала по этому поводу... на то, что у мятежного генерала не было отобрано оружие. Керенский великодушно прибавляет в своих комментариях к показаниям: „Пусть никто не подумает, что я перестал уважать его, отказывая ему в рукопожатии. О, совсем нет... Но я был официальнейшим лицом, в официальной обстановке, среди официальных лиц. Передо мной, министром-председателем и военным министром, стоял генерал, государственный преступник, и я не мог и не имел права поступить иначе“...

По смерти ген. Крымова М. И. Терещенко рассказал в одной газете, что Крымов был „государственным преступником“ не впервые. Он был одним из трех [3]) участников в заговоре для низвержения Николая Второго,—заговоре, который лишь потому не был приведен в исполнение, что

---

[1]) Слышавшие эту сцену извне говорили о криках Керенского, но это, может быть, относится к последующему моменту разговора.

[2]) Кто знает Керенского и его интонации в подобных случаях, с подчеркиванием каждого слова, с задыхающимися остановками, с желанием быть ядовито-саркастическим, тот не усомнится в подлинности этих выражений.

[3]) Двумя другими были Терещенко и А. И. Гучков.

революция 27 февраля предупредила его на несколько дней. Но то, по выражению Керенского, был „переворот, подготовлявшийся частью цензовиков". Правда, и сам А. Ф. Керенский не мог не иметь сведений о том, о чем имел сведения М. И. Терещенко. Но тогда еще не было органов „революционной демократии"... Мы сейчас увидим, что поведение Керенского в его борьбе против Корнилова было продиктовано этими органами.

Первыми оправились от смущения и растерянности вожди Совета Р. и С. Д., которым первым грозила опасность в случае победы Корнилова. Вот как характеризовал роль Совета и комитета народной борьбы с контр-революцией Богданов в заседании Петроградского Совета в Смольном 31 августа. „Когда Временное Правительство заколебалось, и не было ясно, чем кончится корниловская авантюра, появились посредники вроде Милюкова и ген. Алексеева, которые могли испортить все дело. Но выступил политический отдел (комитета борьбы, только что организованный) и со всей энергией воспрепятствовал какому бы то ни было соглашению правительства с Корниловым. Мы заявили, что не может быть никаких колебаний, что перед властью один путь — беспощадной борьбы с Корниловым. Под нашим влиянием правительство прекратило все переговоры (это было, очевидно, после вечернего совещания министров 28 августа, см. выше) и отказалось от всяких предложений Корнилова... Что касается охраны Петрограда, то и в этом направлении нами приняты все меры... Мы имели основание предполагать, что петроградские контр-революционеры могут предпринять шаги в пользу Корнилова (см. выше). У нас есть сведения, что отдельные группы и организации сочувствуют этому генералу, и, чтобы предотвратить возможность контр-революционных выступлений, мы произвели в течение трех дней много самочинных действий. Временное Правительство не могло уследить за всем, оно и просило нас сообщать ему факты, имеющиеся в нашем распоряжении. Но для добывания этих фактов зачастую требовались решительные действия. В этом случае, как и в других, мы сочли своим долгом помочь правительству, не считаясь с формальной стороной дела[1]). Мы постановили закрыть четыре газеты, мы произвели аресты и обыски в гостинице „Астория", где, как оказалось, находился главный штаб Корнилова в Петрограде. Там было задержано сорок человек, с корнетом Сумароковым во главе. (Это было с 28-го на

[1]) На этот раз Керенский не протестовал, как видно.

29-е, ночью. *П. М.*) Мы произвели арест председателя военной лиги Федорова, в лице которого лига оказалась непосредственно причастна к заговору ген. Корнилова. Вчера (с 30 го на 31-е), с 11 ч. веч. до 9 утра, нами производились аресты и обыски. Аресты и обыски продолжались и сегодня. Обыск произведен в квартире Гучкова. Сам Гучков, вместе с арестованными одновременно с ним Филатовым и Егоровым (сотрудник „Нового Времени"), находится в Пскове, откуда будет препровожден в Петроград (Гучков был отпущен за бездоказательностью обвинений и произвольностью ареста.) Вчера ночью (30-го—31-го) в гостинице „Астория" нами снова был произведен обыск. Имелось в виду задержать тех контр-революционеров, которым удалось скрыться в прошлый раз, которые демонстративно тогда оставили пустыми открытые ящики своих письменных столов. Неожиданно для нас самих мы вынуждены были сделать обыск в комитете польских войск. Части польских войск расположены близ ставки: это обстоятельство побудило нас обратить внимание на польский комитет. В комитете мы ничего не нашли, но в помещении его обнаружены 300 винтовок... Мы оружие конфисковали.

Этот интересный отчет чрезвычайно ярко рисует момент, когда руководство борьбой выпало из рук правительства. Правда, чересчур откровенные признания Богданова смутили правительство и вызвали (3 сентября) разъяснение политического отдела военного министерства: „Закрытие газет „Слово" и „Новое Время" состоялось по распоряжению Петроградского ген.-губернатора, а не комитета народной борьбы с контр-революцией. Что же касается арестов в „Астории", то и тут целый ряд лиц был арестован по приказанию генерала-губернатора, совершенно независимо от действий комитета народной борьбы с контр-революцией". Самых „действий", как видим, официальное опровержение не решается отвергать, невольно придавая, таким образом, докладу Богданова характер полной достоверности.

Доклад этот бросает свет и на многие другие действия правительства в эти дни. Немедленно, „по телефону", был уволен 30 августа от всех должностей Б. В. Савинков. Это произошло уже после того, как Савинкову днем раньше удалось объяснить и защитить перед Керенским свою солидарность с подозрительными разговорами Филоненко в ставке, за которые тот был отставлен, и ему предлагались Керенским на выбор посты военного министра или министра внутренних дел. „На моем увольнении",—поясняет сам Савинков,— „настаивал Совет Рабочих и Солдатских Депутатов". Через несколько дней Савинкова исключили из партии. Его заме-

стителем в должности военного губернатора был назначен Пальчинский. Но стоило Пальчинскому закрыть две большевистские газеты („Новую Жизнь“ и „Рабочий“ [1]), как в „Известиях Совета Р. и С. Д.“ появилась грозная статья. „Революционная демократия, конечно, не может допустить, чтобы человек, виновный в провокационных действиях (закрытие этих газет), оставался во главе столицы. Временное Правительство, которое в первые же дни Корниловского мятежа заявило точно и определенно, что оно готово сделать все для защиты от контр-революционной опасности, должно немедленно убрать Пальчинского“. И хотя политический отдел военного министерства поспешил напечатать, что Пальчинский „никогда не принадлежал к кадетской партий“, тем не менее, Пальчинского пришлось через три дня по назначении немедленно убрать. Эти эпизоды наглядно поясняли, в чьи руки попал Керенский, не желавший попасть в руки Корнилова.

На фронтах и в провинции также в первые моменты дело усмирения „мятежа“ велось „демократическими организациями“. Они образовали для этой цели повсеместно в России особые „комитеты спасения революции“, которые действовали по образцу петроградского. Тамбовский комитет постановил, напр., что „всякая устная и печатная пропаганда, клонящаяся к оправданию действий изменников революции, Корнилова, Каледина и других, считается государственной изменой“, и потребовал, „чтобы население само помогало правосудию, путем доставления в комитет всех лиц, замеченных в противогосударственной измене“. Прежде всего, конечно, эта практика была применена к главным обвиняемым.

Судьбу генерала Крымова мы уже знаем. Единственный присоединившийся к Крымову главнокомандующий, Деникин, со своим штабом в Бердичеве был окружен в своей квартире (28 августа) и арестован войсками, распропагандированными исполнительным комитетом юго-западного фронта. В Киеве арестами „контр-революционеров“ занимается местный „комитет по охране революции“. Он производит самочинный осмотр в частных домах и гостиницах и арестует членов Г. Думы: Шульгина, Савенко, Чихачева. В Одессе, Екатеринославле, в Тифлисе происходило то же самое.

В Москве эти дни выдвинули нового любимца „революционной демократии“, командующего войсками округа, полковника Верховского. Четыре месяца перед тем, в Севасто-

---

[1]) „Н. Ж.“, издававшаяся М. Горьким, Сухановым, и другими „интернационалистами“, большевистской никогда не была. „Рабочий“ выходил вместо закрытой Вр. Правительством „Правды“. *Ред.*

поле, Верховский преклонялся пред „доблестным Корниловым“ и „борцом за свободу“ Гучковым, находил, что Россия не может жить без Босфора, и оплакивал грядущую анархию. 27 августа он был у Корнилова в ставке, но резко разошелся с ним и, по его словам, едва не был арестован. Вернувшись в Москву, 28-го Верховский получил приказ Корнилова „подчиниться и исполнять его приказания“. Он ответил: „с ужасом прочитал ваш приказ не подчиняться законному правительству. Начало междоусобной войны положено вами. Это, как я вам говорил, гибель России. Можно и должно было менять политику, но не подрывать последних сил народа во время прорыва фронта. Офицерство, солдаты, Дума Москвы присоединились к Временному Правительству. Иного ответа и я дать не могу, так как присягу не меняю, как перчатки“. Действительно, в Москве Корнилов не получил поддержки, но зато созданный в первопрестольной „орган действия“, объединивший большинство Советов с „буржуазными“ партиями, удержал Москву и от эксцессов в левую сторону. Советам Солдатских Депутатов Верховский телеграфировал, что лишь в том случае может выполнить задачу борьбы с Корниловым, если ему не помешают сохранить опытных боевых офицеров. Он заявил, что не допустит никаких самочинных выступлений и смещений командного состава. Исполнительный комитет петроградского Совета уже на следующий день, 29-го, просил Верховского немедленно выехать в Петроград и послать помощь „чрезвычайному комитету“, организовавшемуся в Бологом для борьбы с Корниловым. Через день полковник Верховский был назначен военным министром, заместителем Савинкова.

Оставались два фокуса „мятежа“, овладеть которыми правительству было не так легко: Дон и Могилев. И правительство и Совет были убеждены, что на Дону ген. Каледин уже объявил себя открыто сторонником Корнилова и поднял восстание. Так объяснялась его поездка по северным округам Донской области, во время которой захватили его события 31 августа[1]). Керенский вызвал к себе в Зимний дворец весь президиум Совета союза казачьих войск и в резких выражениях потребовал, чтобы они „заклеймили ген. Корнилова и ген. Каледина, как изменников и бунтовщиков“, не довольствуясь тем воззванием к станичникам, в котором Совет просто требовал повиновения Временному Прави-

[1]) Несравненно более сложная натура, чем ген. Корнилов, Каледин, вероятно, понимал отрицательные стороны корниловского предприятия и был в состоянии оценить по достоинству непосредственное окружение Корнилова. Я допускаю, что под влиянием этих соображений он мог оставаться в нерешительности до самого конца.

тельству. Это новое требование переполнило чашу терпения казаков, и они ответили Керенскому длинным письмом, в котором исчислялись все обиды, нанесенные союзу и казачеству Временным Правительством в лице его председателя. Совет казачьего союза опять возвращался к своей мысли о посредничестве, возможном „даже при наличии военных действий между сторонами", отказывался осуждать Каледина и Корнилова, значащихся в списках всех 12-ти казачьих войск, „не узнав подробностей", и твердо заявлял, что они не „узники" и не „заложники казачества"; что „Совет не может работать под давлением и угрозой" и „дав резолюцию о подчинении Временному Правительству, другую вынести не представляет для себя возможным".

Получив этот отказ, Керенский уже лично в тот же день объявил ген. Каледина мятежником и отрешил его от должности атамана, с назначением суда над ним. Поднималась речь в правительстве и о запрещении войскового круга, назначенного на 3 сентября. Тогда Совет казачьих войск собрал экстренное заседание, которое решило, что ни отрешать атамана, — выбранного кругом, а не назначенного правительством, — ни запрещать круга Керенский не имеет права. Керенский стоял на своем. Он имеет право увольнять атамана, так как он его утверждал в должности. Спор должен был решиться на месте столкновением войскового правительства с местными демократическими организациями.

На этот раз верх одержала не „революционная демократия". Революционные организации сначала решили и здесь прибегнуть к самочинному аресту. Члены Донского областного военного комитета гонялись за Калединым по станицам. Воронежский Совет Рабочих Депутатов издал приказ по всей линии задержать Каледина во время поездки по области. Узнав о корниловском движении, Каледин поспешил вернуться в Новочеркасск кратчайшим путем, минуя Царицын и сделав часть пути на лошадях. Этим он избежал ареста. Выехавший для его ареста из Царицына поезд с солдатами и с комиссаром Каппорой ждал его на станции Чир, тогда как Каледин приехал на соседнюю станцию „Обливская", вызвал туда сотню казаков, ждал комиссара два часа и, наконец, уехал. Царицынские солдаты с комиссаром могли арестовать лишь два автомобиля и восемь казаков, поджидавших атамана на разъезде „Ковылкино".

В чем именно обвиняли Каледина в эти дни, видно из телеграммы к нему от полк. Верховского из Москвы 30 августа: „1) С фронта идут через московский округ в область войска Донского эшелоны казачьих частей в ту минуту, когда враг прорывает фронт и идет на Петроград. 2) Мною

получены сведения о том, что ст. Поворино занята казаками. Я не знаю, как это понимать. Если это означает объявление казачеством войны России, то я должен предупредить, что братоубийственная борьба, которую начал ген. Корнилов, встретила единодушное сопротивление всей армии и всей России... Поэтому появление в пределах московского округа казачьих частей без моего разрешения я буду рассматривать, как восстание против Временного Правительства. Немедленно издам приказ о полном уничтожении всех идущих на вооруженное восстание, а сил к тому, как всем известно, у меня достаточно". В Новочеркасске демократическая городская дума, очевидно, на основании подобных же сведений, объявила Каледина мятежником и потребовала от прокуратуры начатия судебного преследования.

Возвращение Каледина положило конец всем этим толкам. Он категорически заявил, что вовсе не требовал возвращения казаков с фронта на Дон и не думал грозить правительству перерывом сообщений Москвы с югом. Тогда войсковое правительство телеграфировало правительству, что усматривает провокацию в обвинении ген. Каледина и требует отмены распоряжений военного министра об его аресте. „Отсутствие исчерпывающего ответа на настоящую телеграмму",—прибавило войсковое правительство,—„будет принято казачеством за полную необоснованность обвинения Каледина, и казачество будет считать это обвинение происками безответственных организаций".

3 сентября открылся войсковой круг и заседал целую неделю. В конце этой недели приехали представители петроградского Совета и бывший министр Скобелев. Настроение круга было вполне определенное. В первой же речи товарищ атамана Богаевский, которому Каледин передал свою должность, категорически заявил: „Каледина казачество не выдаст не только Временному Правительству, но и никому в мире". „Я говорил с представителями рабочих и солдатских депутатов в Петрограде по прямому проводу и услышал от них, что они ничего не знают, что делается на Дону. Защиту атамана от ареста безответственными лицами, они называют контр-революцией". Бурной овацией был встречен сам Каледин, заявивший съезду, что „подчиняется отрешению его от должности и потому отказывается от звания почетного председателя съезда". Так же горячо встречена была и большая речь Каледина, представлявшая его апологию перед казачеством. „Честным словом гражданина-донца" Каледин заверял круг, что никакой телеграммы-ультиматума с объявлением войны всей России он не посылал правительству, о передвижениях казачьих частей не знал и сообщений правительству о занятии казаками ст. „Пово-

рино“ не делал. Но Каледин в то же время открыто заявил, что его взгляды „на нужды армии, на необходимость твердой, не однобокой власти из людей, знающих дело, вполне сошлись“ со взглядами Корнилова, и что „заявление министра Авксентьева об (якобы) истинных причинах выступления Корнилова есть ложь“. Корнилова он рекомендовал, „как стойкого и честного солдата долга, ставящего выше всего интересы, честь и достоинство родины“, как „сторонника республиканского образа правления“, который, „желая блага родине, не ищет ничего для себя“. „О возврате к прошлому“,—заявлял он в ответ на обвинение в контр-революционерстве“,—нечего и думать: „разговоры об этом—злостная выдумка“. „Клевету специально на него, Каледина, создали безответственные общественные организации“. Он—„противник федерации“, и уже поэтому нелепо обвинять его в отделении Дона. Но он, действительно, просил и получил от Корнилова разрешение оставить на Дону войсковые казачьи части, случайно остававшиеся или формировавшиеся здесь. Он сделал это, чтобы дать Дону защиту от засилья „16 тысяч солдатских штыков“, „которыми нас непрестанно запугивают“,—засилья, уже „породившего на Дону негодование среди казаков, права и хозяйство которых попраны“.

Верхом торжества для Каледина было появление на круге бывшего члена правительства М. И. Скобелева. Скобелев не сумел дать ответ ни на один из вопросов, в упор поставленных ему Калединым, и принужден был сознаться, что сведения о „мятеже“ Каледина правительство имеет только от общественных организаций и из газет. На вопрос, на каком же основании он сам и Авксентьев говорили о „мятеже“ Каледина на заседании Совета, Скобелев мог только добродушно ответить: „не знаю“, „не помню“. Тогда Каледин спросил его: „как могло правительство, питаясь лживыми слухами и сплетнями, отдать приказ о моем аресте, зная, что приказ может вызвать самосуд толпы надо мною?“. При напряженном внимании круга Скоболев сконфуженно бормотал что-то о прерогативах правительственной власти. „Теперь вы видите, каково правительство“, закончил Каледин свой вопрос, обращаясь к кругу, который отвечал на этот вопрос новой бурной овацией атаману [1]).

Резолюция войскового круга, принятая после этого (10 сентября), гласила, что „Донскому войску, а вместе с ним и всему казачеству нанесено тяжкое оскорбление“. Правительство, имевшее возможность по прямому проводу про-

[1]) Поучительная картина столкновения прекраснодушного меньшевика с знающим чего он хочет реакционером. *Ред.*

верить нелепые слухи о Каледине, вместо этого предъявило ему обвинение в мятеже, мобилизовало два военных округа, московский и казанский, объявило на военном положении города, отстоящие на сотни верст от Дона, отрешило от должности и приказало арестовать избранника войска на его собственной территории, при посредстве вооруженных солдатских команд. Несмотря на требование войскового правительства, оно, однако, не представило никаких доказательств своих обвинений и не послало своего представителя на круг. Ввиду всего этого круг объявил „дело о мятеже"—„провокацией или плодом расстроенного воображения трусов". Признавая „устранение народного избранника — грубым нарушением начал народоправства", „оскорбленное казачество" „требовало удовлетворения": „немедленного восстановления атамана во всех правах, немедленной отмены распоряжения об отрешении от должности", „срочного опровержения всех сообщений о мятеже на Дону" и „немедленного расследования, при участии представителей войска Донского", — виновников ложных сообщений и поспешных мероприятий, на них основанных., „Каледину, еще не вступившему в должность по возвращении из служебной поездки в области", круг решил „предложить немедленно вступить в исправление своих обязанностей войскового атамана".

На следующий день, 11 сентября, военный министр Верховский отправил войсковому кругу следующую телеграмму: „от имени Временного Правительства счастлив засвидетельствовать, что недоразумения первых дней рассеяны. Казачество, в его целом, не дало втянуть себя в безумную попытку Корнилова... Клеветнические наветы на казачество должны умолкнуть, виновность же отдельных лиц может быть установлена точно судебным разбирательством. Ген. Каледин, во исполнение своего гражданского долга, должен безотлагательно явиться в Могилев к председателю следственной комиссии для дачи показаний".

Хотя правительство и обещало при этом „внимать лишь голосу бесстрастного закона", но войсковой круг вовсе не был склонен удовлетворять его нового требования. Он уже судил Каледина, оправдал его, и никакого другого суда над выборным атаманом признавать не желал. Для допроса же следственная комиссия могла пожаловать в Новочеркасск сама. 12 сентября круг вынес соответственную резолюцию: поездка Каледина в Могилев „небезопасна"; показание он может дать на месте. Правительству пришлось примириться и с этим. Дело о „мятеже" Каледина было, таким образом, ликвидировано не так, как того требовала непримиримая позиция Керенского, внушенная и поддерживающаяся Со-

ветом Р. и С. Д., а как то указывало наличное „соотношение сил“. В беседе с представителем кубанского войска Бардижем Керенский высказал глубокое сожаление „о создавшемся недоразумении между ним и казачеством“.

Гораздо успешнее для Керенского и Советов пошла ликвидация корниловского дела в ставке. Но это произошло главным образом потому, что в данном случае он занял с самого начала — правда не надолго — компромиссную позицию.

Корнилов и преданные ему генералы должны были, правда, быть покараны „по всей строгости законов“. Правительство не думало само о смертной казни, но в эти дни, для успокоения советской публики, очень громко о ней говорило, как о неизбежном исходе. 30 августа газеты вышли с указами Временного Правительства об отчислении от должности и о предании суду за мятеж генералов Корнилова, Лукомского, Деникина, Маркова и товарища министра путей сообщения Кислякова. Затем, однако же, нужно было подумать о судьбе армии. Кандидатура ген. Алексеева, которому два дня назад Керенский сам предлагал занять пост верховного главнокомандующего, естественно, выдвигалась снова. Но в промежутке, как мы видели, явился новый господин положения: Совет Р. и С. Д., для которого, после примирительных попыток Алексеева, его кандидатура была неприемлема. В то же время совершенно отказаться от ген. Алексеева — значило обострить вопрос о ликвидации ставки. В Могилеве все-таки еще сидел Корнилов, окруженный преданными ему частями войск. Мысль о том, что Алексеев незаменим, как человек, способный убедить Корнилова прекратить дальнейшее сопротивление, сохранилась и после того, как посреднические услуги Алексеева были отвергнуты [1]). Теперь эта форма посредничества оказалась не только приемлемой, но и в высшей степени желательной.

Эта цель достигалась, однако же, и в том случае, если бы Алексеев ограничился должностью начальника штаба при главнокомандующем. А кто же будет верховным главнокомандующим? Кто другой, кроме... Керенского? Побывав министром юстиции, военным и морским министром, министром-председателем, фактическим и формальным диктатором,

---

[1]) „После некоторых колебаний“,—вспоминает об этом А. Ф. Керенский,— „я настаивал на принятии ген. Алексеевым должности начальника штаба верх. главн. Несмотря на все раздражение против него в широких демократических кругах, несмотря на его личные упорные отказы, — я в течение двух дней (пока не выяснилось реальное соотношение сил) настаивал все время, как только понял, что лишь Алексеев, благодаря своей близости к ставке и огромному влиянию своему в высших военных кругах, мог успешно выполнить задачу безболезненной передачи командования из рук Корнилова в новые руки“ (самого Керенского).

Керенский все же чувствовал, что, по мере усиления формальной власти, фактическая власть от него ускользала. Он должен был понять, что действительная власть давалась лишь обладанием военной силой. Если из политических соображений можно было быть военным министром без всякого знакомства с военными вопросами, то отчего из тех же соображений не сделаться верховным главнокомандующим? Взять самую большую власть в государстве, взять всю власть казалось естественным логическим выводом из всего предъидущего для человека, который отождествлял себя с революцией и говорил: „я им революции не отдам". С другой стороны, это дразнило воображение, уже успевшее пресытиться. Занять последний, еще не испробованный пост, видимо, привлекало Керенского по тем же психологическим основаниям, по каким в первые дни революции привлекали демонстрации власти над Щегловитовым и над другими слугами старого режима, потом проявление власти над царем и царицей, наконец, пребывание в комнатах Зимнего дворца.

Кроме того, имелись и вполне защитимые аргументы в пользу такого решения. Если Алексеев был единственным человеком, которому мог верить Корнилов, то не оставался ли Керенский, при всех оговорках, единственным из видных политиков, которому еще верила армия? И если Алексееву предстояло посредничать между правительством и Корниловым, то Керенскому необходимо было сыграть ту же роль посредника между солдатами и офицерством. Можно было заранее предвидеть, что с таким трудом налаживавшиеся отношения между офицерством и солдатскими массами снова и, быть может, окончательно испортятся после неудачной попытки провести корниловскую программу. И, действительно, тотчас по получении сведений о корниловском восстании произошли ужасные сцены самосуда над офицерами в Выборге, в Гельсингфорсе и в Або. Военный отдел центрального исполнительного комитета изображает события в Выборге следующим образом: „Картина самосуда была ужасна. Сначала были вытащены толпой с гауптвахты, брошены с моста и убиты в воде три генерала и полковник, арестованные перед тем соединенным исполнительным комитетом и армейским комитетом корпуса. После этого сейчас же начался самосуд в полках. Оттуда выводили командиров и некоторых других офицеров и, избив их, бросали в воду и избивали в воде. Всего таким образом в полках было убито около 15 офицеров. Точное число еще не установлено, так как часть офицеров разбежалась. Убийства продолжались до ночи. „В Гельсингфорсе матросы требовали от офицеров подписки, что они окажут

поддержку Врем. Правительству. Не получив ее, они расстреляли 4 флотских офицеров. В Або убит один флотский офицер. Эти случаи были, конечно, далеко не единственными. Адмирал Максимов, опасаясь повторения этих волнений „в связи с выступлением союза офицеров", спешил опубликовать, что офицеры балтийского флота не имели никогда представителей в главном комитете офицеров при ставке, а черноморский флот отозвал из ставки своих представителей после ухода ген. Колчака.

Вспоминая эти данные, мы поймем, почему в приказе нового верховного главнокомандующего Керенского, опубликованном 31 августа, так подчеркивался „великий разум" не только по отношению к солдатам и матросам, но и по отношению к „генералам, адмиралам и офицерам". При этом восстановлялся прежний иерархический порядок и эти категории офицерства перечислялись впереди солдат и матросов. Когда в тот же день представилась Керенскому депутация от дикой дивизии, во главе с командиром кн. Багратионом, засвидетельствовавшим о подчинении дивизии Временному Правительству, Керенский особенно подчеркнул любезное отношение к командиру и резко оборвал солдата, который заявил в своей речи, что все изменники-командиры должны быть смещены и их должна постигнуть беспощадная кара. „Не говорите в таком тоне",—остановил солдата новый главнокомандующий, — „ваше дело теперь — повиноваться высшему начальству, а все, что нужно, мы сделаем сами". В приказе армии и флоту, изданном через день (1 сентября), Керенский определенно требовал возвращения армии к „нормальной жизни", а именно: прекращения политической борьбы в войсках, невмешательства комиссаров в стратегическую и оперативную работу, прекращения арестов начальников, отказа от смещения и устранения от командных должностей начальствующих лиц, прекращения самовольного формирования отрядов под предлогом борьбы с контр-революционными выступлениями, снятия контроля телеграфных аппаратов и восстановления беспрепятственной перевозки войск. Через три дня, 4 сентября, упразднены были (по крайней мере, на бумаге) и образовавшиеся „в городах, деревнях и на железнодорожных станциях как в тылу, так и в районе действующей армии, по почину самих граждан, особые комитеты спасения и охраны революции". „Свидетельствуя о чрезвычайных заслугах" этих комитетов в корниловские дни, правительство запрещало впредь „самочинные действия", как „самоуправные и вредные" в нормальное время. Во всех этих распоряжениях уже сказалось вступление в должность ген. Алексеева, подписавшего приказ 1 сентября вместе с Керенским.

С новым назначением Керенского освобождались, наконец, должности военного и морского министров, номинально занимавшиеся министром-председателем. Теперь не было препятствия исполнить давнишнее требование партии народной свободы и назначить на оба поста специалистов. Правда, назначен был специалист, находившийся под особым покровительством демократических организаций, полковник — теперь генерал—Верховский и адмирал Вердеревский. Первым шагом Верховского было заявить журналистам, что „мы должны организовать армию на тех началах, на которых армия существует у всех народов и во все времена", и „в первую очередь организовать корпус офицеров, который бы пользовался всем авторитетом и мог бы фактически командовать". Морской министр начал свою деятельность телеграммой центральному комитету балтийского флота с требованием „во имя бывшего у нас единения и взаимного доверия... удержать массы от дальнейших эксцессов" и „прекратить аресты без достаточных оснований" [1]).

Новый верховный главнокомандующий не решался прямо отправиться к месту своего нового служения, в ставку. Вперед себя он послал генерала Алексеева, который, вступив в должность с утра 30 августа, подготовил свой приезд в ставку переговорами с ген. Корниловым по прямому проводу в ночь на 31-е.

Перед самыми этими переговорами ген. Лукомский в ставке заготовил министру-председателю телеграмму, тон и содержание которой свидетельствовали о самочувствии Корнилова тотчас после выяснившейся неудачи его попытки. Генерал Корнилов в категорическом тоне диктовал правительству пять условий своей капитуляции: „1) Если будет объявлено России, что создается сильное правительство, которое поведет страну по пути спасения и порядка и на его решения не будут влиять различные безответственные орга-

[1]) В своих комментариях к показаниям (стр. 169 — 170) Керенский вспоминает, что Савинков протестовал против назначения обоих министров, и признается, что „отрицательное отношение к этим назначениям Савинкова объективно оправдалось: тех результатов, которые ожидались от назначения на мое место „настоящих" военных, совсем не получилось. „В особенности ген. Верховский не только не мог совершенно овладеть положением, но даже не смог и понять его... Был подхвачен политическими игроками слева, и помчался без руля и без ветрил прямо навстречу катастрофе". „Не в оправдание себе, а просто для объективности", Керенский лишь напоминает, что не только до корниловского движения, но даже после своего назначения Верховский в Петербурге „всем представлялся, как корниловец". Мы увидим сейчас, что отнюдь не эта репутация, а именно левые устремления Верховского сыграли главную роль в его назначении. Вместе с ним „помчался без руля и без ветрил навстречу катастрофе" и сам Керенский: и это есть лучшая характеристика положения, которую он создал своей борьбой с Корниловым.

низации [1]), то он немедленно примет, с своей стороны, меры к тому, чтобы успокоить те круги, которые шли за ним. Ген. Корнилов еще раз заверяет, что лично для себя он ничего не искал и не ищет, а добивается лишь установления в стране могучей власти, способной вывести Россию и армию из того позора, в который они ввергнуты нынешним правительством. Никаких контр-революционных замыслов ни ген. Корнилов, ни другие не питали и не питают. 2) Приостановить немедленно предание суду ген. Деникина и подчиненных ему лиц. 3) Считает, вообще, недопустимыми аресты генералов, офицеров и других лиц, необходимых армии в эту ужасную минуту. 4) Генерал Корнилов считает безусловно необходимым немедленный приезд в ставку ген. Алексеева, который, с одной стороны, мог бы принять на себя руководство по оперативной части, а с другой — явился бы лицом, могущим всесторонне осветить обстановку. 5) Ген. Корнилов требует, чтобы правительство прекратило немедленно дальнейшую рассылку приказов и телеграмм, порочащих его, Корнилова, еще не сдавшего верховного командования, и вносящих смуту в стране и в войсках. С своей стороны ген. Корнилов обязуется не выпускать приказов к войскам и воззваний к народу, кроме уже выпущенных". „Ответ по содержанию вышеприведенной телеграммы,—прибавлял Корнилов Алексееву по прямому проводу,—я прошу мне дать в возможно скорейший срок, так как от ответа будет зависеть дальнейший ход событий".

Это — совсем не тон побежденного; если угодно, это даже опять новый „ультиматум". Керенский еще 3 августа жаловался Корнилову на него самого, что новый тогда главнокомандующий взял привычку говорить с правительством ультиматумами. Это был стиль Корнилова, вытекавший из его характера. Как бы то ни было, в эту минуту, когда Корнилов уже не мог влиять на „дальнейший ход событий", подобный стиль, очевидно, был меньше, чем когда-нибудь, кстати. Он был еще менее уместен с ген. Алексеевым, которому Корнилов тут же объявил: „Если ваш приезд будет отложен до второго сентября, я слагаю с себя всякую ответственность за дальнейшие события". Ген. Алексеев со всей возможной мягкостью и осторожностью отвечал: „Подчиняясь сложившейся обстановке... после тяжкой внутренней борьбы" он готов подчиниться решению Врем. Правительства и взять на себя труд начальника штаба, но „с тем, чтобы переход к новому управлению совершился преемственно и безболезненно". „Высказанные мною сегодня

[1]) Речь идет прежде всего о Советах. *Ред.*

(очевидно, Керенскому) условия по оздоровлению армии исходят из начал, вами заявленных" (см. выше)... „Если вы считаете, что минута для перехода управления созрела и требуется обстановкой, я могу приехать первого или второго сентября, если нужно, ускорю, хотя нахожусь в Петрограде без всяких вещей. Но убедительно прошу держать в своих руках управление, чтобы устранить безвластие, в котором находится сейчас армия, и делать распоряжения, которые подсказываются угрожающим положением неприятеля".

Как известно, объявив Корнилова мятежником, Керенский, тем не менее, оставил за ним руководство военными операциями. Из переговоров 30 августа мы узнаем, что это произошло потому, что именно Алексеев „настаивал на необходимости полнейшей преемственности в управлении войсками". Он настаивает на ней и теперь, хотя Корнилов этим пользуется, чтобы предъявить еще один маленький ультиматум. „Чтобы я мог продолжать свою оперативную работу,.. необходимо, чтобы правительство отменило распоряжения, в силу которых прекратились намеченные мною стратегические перевозки войск". „Постараюсь добиться этой отмены", примирительно отвечает Алексеев. Действительно, он добился этого, за исключением перевозок к Петрограду, Москве, на Дон и к Могилеву (соответствующий пункт мы видели в приказе 1 сентября, см. выше). „От правительства зависит ответ на вашу телеграмму; мольба о сильной, крепкой власти есть общая мольба всех, любящих родину... Вы можете быть уверены в самой горячей поддержке вашего призыва". Но, разумеется, за результат Алексеев не ручается: „я совершенно не ориентирован в общей внутренней обстановке управления".

Конечно „ультиматум" Корнилова удовлетворен не будет. Деникин, его генералы и сам он уже утром этого дня преданы суду за мятеж. Вообще, никаких „требований" и „условий" от ген. Корнилова не примут, — и это предстоит ген. Алексееву выяснить Корнилову по приезде в ставку. Но уже по пути туда он наталкивается на распоряжения самого Керенского и Верховского, которые совершенно грозят сорвать его примирительную миссию. Выехав 31 августа в Могилев, он в Витебске узнает, что по распоряжению Керенского в гор. Орше собирается отряд подполковника Короткова „для действий против Могилева и для арестов ген. Корнилова и других лиц". „Пришлось",—сообщает ген. Алексеев в своих показаниях,—„остановиться в Витебске и Орше, чтобы предотвратить возможность столкновения". Только-что, в три часа дня 1 сентября, Алексеев прибывает в Могилев, как тотчас же по аппарату получает новое извещение от Верховского из Москвы, где тоже

готовится экспедиция. „Сегодня выезжаю в ставку с крупным вооруженным отрядом для того, чтобы покончить то издевательство над здравым смыслом, которое до сих пор имеет место. Корнилов, Лукомский, Романовский, Плющик-Плющевский, Пронин и Сахаров должны быть немедленно арестованы и препровождены, — это является целью моей поездки, которую считаю совершенно необходимой. Вызвав вас к аппарату, надеялся услышать, что эти аресты уже произведены". „В то же время,—продолжает ген. Алексеев,— из Петрограда по другому аппарату говорит Керенский, что в его отсутствие получен ряд сообщений, устных и письменных, что ставка имеет гарнизон из всех родов оружия, что она объявлена на осадном положении, что на десять верст в окружности поставлена сторожевая охрана, произведены фортификационные работы, размещены пулеметы и орудия". „Я,— сообщает Керенский Алексееву,— принимая во внимание всю обстановку, не считал возможным подвергнуть вас и следственную комиссию возможному риску и предложил Короткову двигаться". Ген. Алексеев утверждает, что за исключением факта, что Могилев и окрестности на 10 верст были объявлены в осадном положении, все остальное было вымыслом, подсказанным тем, что „у страха глаза велики".

С этим, в сущности, соглашается и Керенский в своих показаниях. „В то время,—говорит он,—мы были осаждены целым рядом..., потом оказавшихся фантастическими, сведений, вроде окружения Могилева фортификационными сооружениями, установки пулеметов и орудий на склонах губернаторской горки и в губернаторском саду... Кроме того, всюду начали возникать отряды войск, которые стремились к Могилеву для задержания Корнилова". И Керенский признает, что он поощрял эти отряды. Узнав, что отряд Короткова „самочинно появился в Орше", он телеграфирует Короткову, „чтобы он подготовил, организовал наступление, но чтобы он действовал только по соглашению с Алексеевым". В то же время Алексееву, как мы только-что видели, он сообщает, что „предложил Короткову двигаться". Объясняя эти противоречия, Керенский говорит, что, с одной стороны, подобными распоряжениями „все вводилось в известные рамки", а с другой — „на всякий случай, нужно было считаться со всеми этими слухами". Хотя он лично и „не особенно доверял им", но боялся в случае бездействия „оказаться уже окончательно предателем и контрреволюционером" в глазах левых. Едва ли, однако, Керенский прав, что тут с его стороны была только двойная игра. Он, очевидно, еще сохранил по отношению к заговору Корнилова то чувство, которое они с Некрасовым испытали вечером 26 августа, после заявления В. Н. Львова.

Даже и потерпевший неудачу Корнилов оставался для него „опасным врагом“, с которым борьба может быть „серьезной“. Нужно было, как можно скорее, добить Корнилова, нужно „для собственного успокоения“, как выразился сам Керенский при другом случае, давая иное назначение ген. Крымову, чтобы не видеть его во главе третьего корпуса. Ведь все-таки „террор довольно серьезный был в Могилеве“, и „Корнилов так прямо и объявил, что те, кто против него, будут расстреливаться“. „Вопрос о верховном командовании оставался невыясненным; в ставке, в самом сердце армии, все оставался Корнилов, продолжая отдавать технические приказания“.

Это прежде всего нервировало самого Керенского. Но в своих показаниях он старается переместить центр тяжести на то, что это нервирует и массы, „которые еще и без того не пришли в себя от охватившей их паники“. „На этой почве“, — заявляет он, — „с каждым часом все быстрее росло настроение — „самим“ итти „покончить“ с Корниловым, раз начальство — не то не может его „убрать“ из ставки, не то само с ним „стакнулось“, и медлительность, с одной стороны (Алексеева), и нервная настойчивость,— с другой (Верховского), говорит Керенский, делались прямо невыносимыми. Тогда мне пришлось прибегнуть к ультимативным воздействиям по отношению к медлившим. „Если через два часа,—гласил этот ультиматум,—не будет выполнено приказание об аресте Корнилова и Лукомского, правительство будет считать ген. Алексеева пленником Корнилова и примет все меры для очистки Могилева от контр-революционных элементов“. В Петрограде утверждали, что Корнилов упорствует, что за него большая часть войск в ставке; эти силы высчитывались в 5.000 человек, 12 бронированных автомобилей и 4 аэроплана.

Двухчасовой срок истек в 7 ч. 10 м. вечера. Не получив ответа, Керенский приказывает своему начальнику кабинета ген. Барановскому послать новую юзограмму в ставку. Документ этот, продиктованный страхом, отражает настроение паники, возросшее до крайних пределов. „Главковерх требует,—телеграфирует Барановский,—чтобы ген. Корнилов и его соучастники были арестованы немедленно, ибо дальнейшее промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Демократия взволнована свыше меры, и все грозит разразиться взрывом, последствия которого трудно предвидеть. Этот взрыв, в форме выступления Советов и большевиков, ожидается не только в Петербурге, но и в Москве и в других городах. В Омске арестован командующий войсками, и власть перешла к Советам. Обстановка такова, что медлить больше нельзя. Или промедление — и гибель всего

дела спасения родины, или немедленные и решительные действия и аресты указанных вам лиц. Тогда возможна еще борьба. Выбора нет. А. Ф. Керенский ожидает, что государственный разум подскажет ген. Алексееву решение, и он примет его немедленно: арестуйте Корнилова и его соучастников. Я жду у аппарата вполне определенного ответа, единственно возможного, что лица, участвующие в восстании, будут арестованы... Для вас должны быть понятны те политические движения, которые возникли и возникают на почве обвинения власти в бездействии и попустительстве. Нельзя дальше так разговаривать. Надо решиться и действовать".

Это был постоянный припев с вечера 26 августа. Была только одна существенная разница: Керенский, очевидно, уже не чувствовал себя теперь свободным в своих решениях. Только-что пережив панику 28 августа, созданную страхами опасности справа, из лагеря Корнилова, он два дня спустя уже переживал новую панику, чувствуя, что не может справиться с духами, вызванными его собственными действиями против корниловского „мятежа". Можно наверное сказать, что тогда, 1 сентября, страхи эти были чрезмерно преувеличены. Но опасность, грозившая Керенскому в „форме выступления Советов и большевиков", — та самая опасность, от которой хотел спасти его и Россию Корнилов, — теперь, несомненно, становилась реальной и серьезной опасностью. И вопрос, когда она сделается непреодолимой, становился только вопросом времени.

„Невыносимое" для Керенского напряжение, наконец, разрешилось лаконическим ответом Алексеева. „Около 10 часов вечера ген. Корнилов и т. д. арестованы". По печатному заявлению Алексеева, Корнилов никакого упорства не обнаружил, добровольно отдавшись под арест. Отряду Короткова Алексеев запретил вступать в город. В 12 ч. ночи приехала следственная комиссия и начала свою работу. Следом за ней уже мог спокойно приехать в Могилев и новый верховный главнокомандующий.

Керенский приехал в ставку вечером, 5 сентября, с очень определенными намерениями. После докладов Алексеева и председателя следственной комиссии Шабловского, в вагоне Керенского состоялось совещание министров и Алексеева. „Решено произвести полную чистку ставки от контр-революционных элементов, с одной стороны, с другой — привлечь новые, более молодые силы. Решено также произвести перемены в командном составе, для чего в ставку вызваны некоторые наиболее выдвинувшиеся за последнее время генералы. Это, — именно, начальник штаба западного фронта Духонин и ген. Черемисов".

В тот же вечер ген. Алексеев, видимо, чувствуя кругом себя новую, невыносимую для себя атмосферу, подал в отставку без объяснения мотивов. Точно так же без объяснения мотивов обходит этот щекотливый для него вопрос и Керенский в комментарии к своим показаниям. Он ограничивается коротким замечанием, звучащим при этих обстоятельствах откровенным цинизмом. „Как бы то ни было, задачу, возложенную на него по ликвидации ставки, ген. Алексеев выполнил". Ступеньку, по которой Керенский поднялся на свою новую должность, теперь можно было откинуть. „Длительное сотрудничество для нас обоих было невозможно... Я без возражений принял отставку"...

Ген. Алексеев объяснил свои мотивы позднее. Это были: во-первых, вся постановка вопроса о суде над Корниловым; во-вторых, „непоправимое" положение армии; в-третьих, тяжелое положение офицерства. Ген. Алексеев не легко признавал положение безнадежным и, казалось, всегда имел какие-то надежды. Если этих надежд у него на этот раз не оказалось, если, как он выразился, он „не только не мог спокойно работать, но не мог спокойно дышать", то, значит, он пришел к заключению, что ни в том, ни в другом, ни в третьем вопросе он лично ничего сделать не может. Правда, мы только-что видели, что его вступление в должность начальника штаба сопровождалось такого рода распоряжениями, в которых нельзя не видеть его руку. Но в несколько дней, как только справились с Корниловым, это положение уже успело измениться. Алексеев больше не был нужен. На его место явились новые господа положения, которые более не считали нужным скрывать, — напротив, сочли даже необходимым подчеркнуть свои особенные цели. Цели эти были те самые, которые оправдывали их назначения в глазах „революционной демократии". Ставка — „последнее гнездо крамолы". Это гнездо надо разорить. Вот сущность их задачи. И об этом вслед за Керенским — но еще определеннее его — заговорил новый фаворит Верховский. Что за дело, что еще недавно они высказывались за основные начала корниловской программы? Если Советы были против нее, а Алексеев был за нее, то этим определялась позиция Керенского и Верховского, и надо было демонстрировать эту позицию, как можно скорее.

6 сентября Верховский вернулся из ставки в Петроград, 7-го он сделал доклад во Временном Правительстве, а на следующий день обнародовал положения своего доклада через „Известия Совета Р. и С. Д.". Из доклада явствовало, что, ознакомившись с положением дела на месте, Керенский и Верховский решили восстановлять дисциплину и поднимать боеспособность армии, — эти задачи они продолжали призна-

вать, — но не теми методами, которые признаны целесообразными при Корнилове. Та прежняя программа внедрения дисциплины, „выработанная Временным Правительством до корниловского мятежа, в настоящий момент должна быть отвергнута“. Она была „построена на принципе усиления строгости и ставила во главу угла карательные меры“. Это „при данном психологическом состоянии армии привело бы лишь к еще большему разложению ее, а может быть, и к открытому возбуждению и самосуду“. 8 сентября Верховский повторил свои новые открытия перед той аудиторией, для которой они собственно и предназначались, — перед исполнительным Советом Р. и С. Д. и перед солдатской секцией Совета. „Мощная армия“ может быть воссоздана „путем обновления командного состава“. Такова новая исходная аксиома. В самом деле, ведь „до сего времени в армии держались лица ради их знаний“, пример тому — ген. Алексеев, этот выдающихся знаний честный человек. Но он — человек иных взглядов, и он уйдет. Вместе с ним уйдут все, кто так или иначе примыкал к корниловскому восстанию. Но в армии есть люди, которые разделяют мою (ген. Верховского) веру в сердце русского солдата... Керенский наметил целый ряд лиц офицерского состава, технически подготовленных, которые пойдут вместе с демократией (это его вторая чистка). Лично у Верховского есть тоже люди, которых он „выбирал после того, как убедился, что они пойдут вместе с демократией“. Они беспрекословно исполняли приказания Верховского в Москве, „в тревожные корниловские дни“. Негодных — в отставку. Здоровые начала в армии нужно внушать „не пулеметами и нагайками, а путем внушения широким солдатским массам идей права, справедливости и... (все-таки) строгой дисциплины“. Суть дела в том, что „старый режим оставил нам армию, неправильно построенную. Девять десятых армии занимались тем, что ее обслуживали“. Пусть из тыла идут в окопы: что может быть популярнее этого лозунга? Правда, лозунг будет приложен прежде всего не к торгующим в городах солдатам, а к общественным учреждениям, обслуживавшим армию с самого начала войны...

Нужно было теперь, в соответствии с новыми взглядами, издать новый приказ армии и флоту. Этот приказ, подписанный Керенским, Верховским и Вердеревским, появился 9 сентября. От прежнего приказа (1 сентября) остались „требования“ правительства, чтобы армия и флот вернулись к нормальной строевой жизни и предоставили следствие и суд над подозрительными элементами законным властям. Но для того, чтобы получить возможность предъявить эти тре-

бования, приказ предпосылает им четыре обязательства. 1) Врем. Правительство производит смену всех начальников, которые, по его мнению, неспособны вести войска к отражению врага и к дружной работе по укреплению республиканского строя в России. 2) Врем. Правительство заменяет весь руководящий состав в ставке верховного главнокомандующего, поскольку он замешан в мятеже ген. Корнилова, новыми, преданными республике, опытными офицерами. 3) Врем. Правительство выводит из ставки войска, принимавшие участие в мятеже, заменив их безусловно верными республике частями. 4) Врем. Правительство предает суду всех, чья преступная воля выявилась во время мятежа. Этим последним обстоятельством отменялось устное указание обратного характера, данное Керенским председателю следственной комиссии: „ограничить свою деятельность в военной среде по возможности только обследованием виновности главных участников". Вместе с тем, терял свое значение и принцип, усвоенный Керенским при назначении ген. Алексеева: „в кратчайший срок парализовать влияние в армии самого страшного, может быть, последствия корниловщины — возрождения в армии недоверия ко всему офицерству со стороны солдатских масс" [1]).

Вот почему, следовательно, ушел ген. Алексеев. Вот почему он потерял окончательно веру в возможность сохранения строевого офицерства и восстановления боеспособности армии. „Мятеж" Корнилова армии еще не разрушил до конца. Покончили с ней меры, принятые после крушения корниловского движения для ликвидации „корниловщины".

Подача отставки всеми министрами в ночь на 27 августа и окончательный уход некоторых министров в ближайшие дни положили конец существованию второго коалиционного правительства и начали собой новый кризис власти, еще более затяжной и болезненный, чем предыдущий. Отношение Керенского к движению Корнилова и добровольная сдача Корнилова Алексееву вечером 1 сентября глубоко изменили положение в этом кризисе самого Керенского и тех „соглашательских" элементов, на которых держалась самая идея коалиции. Третья коалиция, после целого месяца переговоров, кое-как наладилась. Но все понимали, что это будет уже последняя попытка сохранить государственность на той позиции „буржуазной революции", которую все считали необходимой, но слишком немногие проявили готовность защищать последовательно и серьезно.

Начиналась агония власти...

---

[1]) Дело Корнилова, стр. 174. Здесь Керенский ставит себе в личную заслугу это указание и это положение.

Ф. ДАН.

К истории последних дней Временного Правительства [1]).

В 10-й книге „Современных Записок“ помещена статья А. Ф. Керенского „Гатчина“, посвященная моменту гибели Временного Правительства под напором большевистского восстания. Одна страничка этой статьи отведена беседе моей с А. Керенским, происходившей в Зимнем Дворце в ночь на 25 октября 1917 года.

Сведения об этой беседе, сколько мне известно, впервые появляются в печати. Излагая ее содержание, Керенский говорит: „Конечно, я не могу сейчас воспроизвести заявления Дана в его собственных выражениях, но за точность смысла передаваемого ручаюсь“.

К сожалению, „ручательство“ дано А. Керенским в данном случае не вполне основательно. То ли память ему изменила, то ли в момент беседы он был слишком утомлен и взволнован, или слишком поглощен своими собственными переживаниями и настроениями, чтобы сколько-нибудь вникать в чужие слова и мысли, но только с его передачей беседы случилось как раз обратное тому, о чем он предупреждает читателей своей статьи: отдельные „выражения“, быть может, и сохранились, но смысл беседы не только не передан „точно“, но прямо-таки искажен, превращен в свою собственную противоположность.

Ни на минуту не заподозривая А. Керенского в намеренном искажении истины, я не стал бы торопиться с восстановлением действительного содержания беседы, если бы речь шла только о личной характеристике моей, как политического деятеля: обличение представителей „революционной демократии“ (кавычки принадлежат Керенскому) в том, что эти „искусники“ были способны лишь проводить „ночи напролет... в бесконечных спорах над различными формулами“, в то время как представители Временного Правительства обнаруживали величайшую государственную проницательность и деловитость, — обличение это, повторяемое Керенским, слишком не оригинально, чтобы надо было спешить

---

[1]) „Летопись Русской Революции“, т. I, Берлин 1922

вступать в полемику по этому поводу. Но я вместе с Керенским полагаю, что „сцена“ нашей беседы была в известном смысле „поистине исторической“ в том именно смысле, что в ней очень ярко выявились, на мой взгляд, позиции различных общественных сил, противодействовавших большевистскому перевороту, и выяснились причины полного бессилия Временного Правительства и молниеносного успеха большевиков. В этом отношении „сцена“ эта очень важна для характеристики исторического момента Октябрьской революции и понимания всей будущей политики нашей социал-демократической партии по отношению к восторжествовавшему большевизму.

В предотвращение образования новых „исторических“ легенд, в добавление к немалому числу уже циркулирующих, я и считаю своим долгом теперь же рассказать, „как это было в действительности“.

I.

Начать приходится несколько издалека — с деятельности так называемого „предпарламента“ — Совета Российской Республики и работы нашей социал-демократической фракции в этом Совете.

У меня в данный момент нет решительно никаких материалов под руками, и писать мне приходится исключительно по памяти. Я ограничусь поэтому лишь самым общим и несомненным, рассказывая более детально отдельные эпизоды лишь в тех случаях, когда рассказываемое легко может быть подтверждено свидетельством десятков участников.

Совет Республики был ублюдочным, компромиссным учреждением, возникшим из неудачного „Демократического Совещания“ в Петрограде, в сентябре 1917 г.

Идея Демократического Совещания, созванного после и в противоположность Общегосударственному Совещанию в Москве, связывалась в умах инициаторов его с сознанием необходимости образования однородного демократического правительства взамен правительства коалиционного, правительства с участием представителей буржуазии, явно начавшего разваливаться после пресловутого июньского наступления на фронте и получившего смертельную рану в дни Корниловского восстания. Я не берусь утверждать, что все руководящие члены Центрального Исполнительного Комитета так именно смотрели на задачи Демократического Совещания, но могу категорически утверждать, что так именно смотрели на них наиболее видные члены ЦИК, и такова именно была моя собственная точка зрения. Доказательство тому — не только тот факт, что на

заседаниях более интимного кружка, получившего шуточное прозвище „звездной палаты“ и привлекавшего в это время к своим занятиям ряд лиц, постоянно в его состав не входивших, серьезно обсуждались списки возможных кандидатов в будущее демократическое правительство (одним из авторов таких списков был я), но и вся та литературная кампания по подготовке Демократического Совещания, которую я вел — в согласии с президиумом ЦИК — в передовицах „Известий“.

Мысль, руководившая нами при созыве Демократического Совещания, состояла в том, чтобы попытаться создать демократическую власть, опирающуюся не только на те элементы революционной демократии, в тесном смысле этого слова, которые сосредоточились в Советах, но и на те, которые имели прочную базу в кооперативах и органах местного самоуправления (городских думах и земствах). Считая, что положение будущего демократического правительства будет крайне затруднительным, мы полагали необходимым привлечь к участию в нем эти демократические силы, в которых ценили навыки к практической общественной работе, особенно в хозяйственной области, и органическую связь с широкими народными массами, — прежде всего с крестьянством и демократическим мещанством. Нас поощряли к тому успехи в деле сближения с этою „не-советскою“ демократиею, достигнутые еще на Государственном Совещании в Москве: как известно, после долгих споров и пререканий, и кооператоры, и демократические представители земств и городов подписали политическую и экономическую платформу, составленную делегацией ЦИК и оглашенную Чхеидзе от имени всей демократии на заседании Совещания 14 августа.

Однако „не так склалося, яко ждалося“: демократического правительства из Демократического Совещания не вышло. Более того. Официальным представителям ЦИК пришлось с самого начала отказаться от проведения на Совещании линии безусловного разрыва коалиции и создания чисто демократической власти, а отстаивать лишь выработку платформы, на основе которой могли бы принимать участие в правительстве все группы, готовые эту платформу проводить в жизнь. Я лично без особого восторга относился к такого рода политике после того, как столько прекрасных „платформ“ было написано со времени образования первого коалиционного правительства без сколько-нибудь решительного результата в смысле проведения в жизнь того, что в этих „платформах“ было самого существенного. Но для данного момента я не видел другого исхода и потому на самом Демократическом Совещании его и отстаивал.

Главная причина неудачи заключалась в позиции, занятой группами „не-советской“ демократии. При подробном обсуждении положения с представителями этих групп обнаружилось, что они несколько иначе смотрят на подписанную в Москве программную декларацию, чем я и значительное число ближайших моих товарищей по ЦИК. В то время, как для нас это была программа ближайшей деятельности правительства, подлежащая немедленному осуществлению, для них это были, в лучшем случае, лишь общие директивы, „в духе“ которых правительство должно действовать, но полное проведение которых в жизнь есть вопрос более или менее отдаленного будущего. Переоценивая вес и значение своей „почвенной“ связи с массами и относясь поэтому даже с оттенком презрения к большевизму, как к явлению налетному и едва ли не „столичной“ выдумке, не имеющей „корней“ в „низах“, представители „не-советской“ демократии не только не видели необходимости в резком разрыве с политикой коалиции, но наотрез отказались участвовать в образовании чисто демократической власти. Они не только начисто отрицали возможность каких бы то ни было попыток образовать правительство со включением в его состав большевиков, но, ссылаясь на свой „опыт“, утверждали, что и без большевиков чисто демократическое правительство не будет „признано“ населением, вызовет лишь анархию и немедленную гражданскую войну. Мне очень врезалось в память одно из последних утренних собраний „звездной палаты“ в кабинете М. И. Скобелева с участием представителей не-советской демократии перед самым Демократическим Совещанием. Запомнились мне среди присутствующих: Руднев (московский городской голова), педагог Душечкин, кооператор Беркенгейм и др. Здесь буквально в десять минут была похоронена идея образования чисто демократической власти, после того, как оглашенному мною списку проектируемого правительства было противопоставлено категорическое и единодушное non possumus[1]) всех „не-советских“ демократов без исключения! Все они заявили, что в состав чисто демократического правительства не войдут.

Тогда оставался — теоретически! — только один путь для немедленного разрыва коалиции: образование правительства с большевиками, не только без „не-советской“ демократии, но и против нее. Этот путь мы считали неприемлемым при той позиции, которую занимали уже к этому времени большевики. Мы отчетливо сознавали, что вступить на этот путь значило вступить на путь террора и гражданской войны, проделать все то, что впоследствии и действительно выну-

[1]) Не можем. *Ред.*

ждены были проделать большевики. Ответственность за такую политику не-коалиционной власти ни один из нас брать на себя не считал возможным.

При таких условиях Демократическое Совещание оказалось, в сущности, беспредметным. Главная цель, ради которой оно было задумано, исчезла. Оно превратилось просто в арену совершенно ненужной и даже вредной концентрированной перепалки с большевиками. Вместо укрепления позиций демократии оно привело к их ослаблению.

Однако, была сделана еще одна попытка образования чисто демократической власти в связи с Демократическим Совещанием. Это было, если не ошибаюсь, на замкнутом собрании представителей всех групп Демократического Совещания, на котором делали доклад Керенский, Верховский и, помнится, еще кто-то из министров. Керенский заявлял о своей готовности передать власть демократическому правительству, если ЦИК признает это нужным. Каменев много говорил о необходимости покончить с коалицией и убеждал президиум ЦИК взять власть в свои руки, обещая демократическому правительству поддержку большевиков. Тогда я в упор поставил Каменеву вопрос: обязуются ли большевики поддерживать новое правительство до Учредительного Собрания? После совещания большевиков между собою, Каменев ответил от их имени, что поддерживать демократическое правительство они берутся, но не до Учредительного Собрания, а лишь до советского съезда, т.-е. каких-нибудь 3—4 недели. Это была явная насмешка, и, конечно, о создании такой власти поденки не могло быть и речи, тем более, что при таких условиях вся „поддержка" сводилась бы в лучшем случае к отказу от попыток насильственного свержения до недалекого уже съезда, и только. Бешеная демагогическая агитация против не-большевистских социалистических партий велась бы без ослабления, хотя бы уже ради того, чтобы бороться за большинство на съезде. Таким образом, и этот путь преобразования правительства в однородно-демократическое — путь перехода власти в руки тогдашнего советского большинства — оказался закрыт, и в результате Демократического Совещания мы получили даже не коалиционное правительство, а какой-то коалиционный недоносок: ни один из сколько-нибудь видных вождей социалистических партий в правительстве не участвовал; но и „министры-капиталисты" не принадлежали к руководящим буржуазным партиям, а были сплошь „дикими". Правительство по-прежнему весьма мало руководилось „платформой" 14 августа в тех ее частях, которые с точки зрения социалистических партий в данное время были особенно важны: вопросы о войне и мире, о регулировании промыш-

ленности и торговли, о земле почти не двигались с места или двигались таким черепашьим темпом, который совершенно не соответствовал катастрофической обстановке, не допускавшей „откладывания“ их до Учредительного Собрания, которое, в свою очередь, откладывалось с месяца на месяц во имя совершенства избирательной процедуры. Вместо смелого приступа к решению основных политических и социальных вопросов момента, — решению, которое могло бы укрепить власть, подводя под нее прочный фундамент народных симпатий, правительство, возглавляемое Керенским, увлеклось чисто формальной идеей создания „сильной власти“, опирающейся неизвестно на что и на кого: последние 2—3 месяца существования Временного Правительства целиком наполнены стараниями его разрешить задачу квадратуры круга — создать правительству опору в виде военных сил, которые сами неудержимо разлагались вследствие утраты надежды на скорое заключение мира. Отсюда — непрерывный ряд трагикомических эпизодов, вплоть до всевозможных недоразумений с Корниловским восстанием, и вечно обманутые надежды и мечтания, о которых так охотно повествует А. Ф. Керенский, все свои неудачи приписывающий единственно интригам против него, зависти, властолюбию, непониманию, предательству и т. д., и т. д. Понятно, почему отношение социалистических партий к политике коалиционных правительств становилось, выражаясь мягко, все более критическим, а после Демократического Совещания — зачастую и прямо враждебным: напомню, что наша партия сочла даже нужным исключить из своих рядов А. М. Никитина, занимавшего в последнем коалиционном правительстве пост министра внутренних дел.

Уже из этого краткого наброска развития взаимоотношений между коалиционною властью и социалистическими партиями, еще до созыва „предпарламента“, видно, какую ужасающую политическую слепоту обнаруживает А. Ф. Керенский, когда изображает, как полную неожиданность, тот факт, что „левое большинство Совета Республики“ отделяло себя „от правительства и его борьбы“, и опять-таки оказывается способным объяснить этот факт исключительно тем, что это „левое большинство“ имело „очень малое представление“ о событиях или попросту обожало „бесконечные и бесполезные споры и ссоры“ в отличие от людей дела, сидевших в правительстве и ведших переговоры с казаками, офицерами генерального штаба, ставкою и т. д., и т. д.

Но поистине закрытые глаза и заткнутые уши надо было иметь, чтобы не видеть, как за весь недолгий период функционирования Совета Республики со все возраставшею бы-

стротою совершалось невольное „отделение“ левого большинства Совета — по мере того, как оно образовывалось, — „от правительства и его борьбы“.

Я говорю: по мере того, как оно образовывалось, потому, что вначале, благодаря уходу большевиков из предпарламента, такого большинства не было: колебания кооперативной, земско-городской и других мелких групп, а также части с.-р-ской фракции с Е. К. Брешковской во главе, подкрепляли правое крыло, главными силами которого были торгово-промышленная, кадетская и казачья группы, и приводили к тому, что Совет Республики оказывался вообще неспособным принимать решения по сколько-нибудь существенным вопросам: голоса разбивались, и ни одно предложение не получало большинства. Но к созданию такого „левого большинства“ с самого начала были направлены усилия социал-демократической фракции, председателем которой я был, и мои в частности.

Конституция предпарламента, вследствие сопротивления правительства, была сильно изуродована по сравнению с первоначальными предположениями ЦИК. Вопреки этим предположениям, Совет Республики формально получил лишь права совещательного органа. Но мы, — я говорю о себе и своих ближайших единомышленниках, — рассчитывали на то, что „фактическое соотношение сил“ окажется сильнее всех формальных препон. Говоря просто, мы надеялись, что на почве Совета Республики нам удастся добиться смены коалиционного правительства правительством чисто демократическим, способным на деле быстро и решительно осуществить основные положения платформы 14 августа. Мы думали, что на почве „органической“ работы предпарламента не-советская демократия очень скоро вынуждена будет порвать со своим социально-политическим консерватизмом, и что „парламентский“ путь преобразования власти будет для нее легче и приемлемее внезапного и резкого разрыва коалиции, вызывавшего в ней опасения новых тяжелых потрясений и катастроф.

В этом именно направлении — сплочения „левого большинства“ для создания „левого“, чисто демократического правительства — велась вся работа с.-д-ой фракции в предпарламенте, и в этом направлении сосредоточивались и все личные мои усилия — не только внутри нашей фракции, но и в выступлениях с трибуны предпарламента, напр., в первой же большой моей речи по вопросу о внешней политике правительства.

Правда, шансов на успешное завершение этой работы, было немного: слишком уже много времени было упущено, и события развивались с головокружительной быстротой.

К тому же, вожди большевиков усиленно гнали дело к развязке. Я говорю: вожди, имея в виду, главным образом, Ленина и Троцкого, которые, очевидно, к этому времени уже твердо решились на открытую пробу сил. Не только рядовая масса, но и большевики, так сказать, среднего калибра вряд ли отдавали себе в этом отчет. Я хорошо помню разговор, бывший у меня за несколько дней до 25 октября с И. Жуковым, игравшим и тогда, и впоследствии довольно видную роль в большевистской партии. На мой вопрос: что ж, вы снова готовите выступление? — Жуков, с которым, несмотря на острую политическую борьбу, личные отношения были у меня тогда вполне сносные, с видимым волнением и искренностью отвечал: „нет! мы июльских дней не забыли и новой глупости не сделаем! Выступать нам не зачем,— и так у нас будет большинство!“.

Из напечатанных в большевистской прессе документов стало известно, что и такие люди, как Каменев, Зиновьев и др., были решительно против восстания. Но, как бы то ни было, в тактике большевистской партии побеждали уже в это время, быть может, и несознаваемые отчетливо ее большинством, тенденции к ускорению восстания. Открытым призывом к восстанию был уход большевистской фракции из предпарламента и декларация, прочитанная при этом случае Троцким. Этот уход не только с формальной стороны мешал нашей работе по созданию чисто демократической власти на почве деятельности предпарламента — тем, что затруднял образование левого большинства,— но и по существу ставил эту работу, требовавшую для своего завершения известного времени, под сомнение — тем, что приближал катастрофу и, даже в случае образования демократического правительства, заранее ставил его под ожесточенные удары слева.

Но выбирать не приходилось. Как ни малы были шансы на успех, надо было до последней минуты пытаться предупредить катастрофу, по нашему глубокому убеждению гибельную для всего дальнейшего хода революции.

Борьба велась нашею с.-д-ою фракциею на вполне конкретной почве: мы требовали от правительства немедленного обращения к союзникам с предложением открыть переговоры о всеобщем мире; немедленной передачи всех помещичьих земель в руки местных земельных комитетов, как залога разрешения аграрного вопроса в духе требований крестьянской массы; ускорения созыва Учредительного Собрания. По нашему представлению, только на почве выполнения этой программы мыслима была борьба с большевиками с некоторыми шансами на успех. Более того. Только на почве этой программы считали мы, с точки

зрения социализма и демократии, допустимым противопоставлять силу большевистскому насилию [1]). Острая борьба за образование правительства, способного не на словах, а на деле провести в жизнь эту программу, привела к бурному эпизоду, разыгравшемуся на соединенном заседании комиссий Совета Республики — военной и по иностранным делам. В заседании этом читал доклад тогдашний военный министр генерал Верховский. С цифрами и фактами в руках он убедительно доказывал полную материальную и моральную невозможность для русской армии продолжать войну и требовал крутого перелома нашей внешней политики в сторону мира. Верховскому возражал министр иностранных дел М. И. Терещенко, защищавший свою политику. В числе прочих членов „левой" части Совета я горячо поддерживал Верховского и резко обрушился на внешнюю политику Временного Правительства, которое, на мой взгляд, слепо шло на поводу у дипломатов Антанты и вело и армию и революцию к катастрофе [2]).

По окончании заседания ко мне подбежал с искривленным от бешенства лицом Терещенко и, швырнув свой министерский портфель на стол, прошипел: „Вам нужен мой портфель? Берите его! Я не стану за него цепляться".

Видно было, что человек от злобы не помнит себя. Я сухо ответил: „мне ваш портфель не нужен; но если вы не можете вести политику мира, то, конечно, вам надо с поста министра иностранных дел уйти". Терещенко молча забрал свой портфель и вышел из комнаты.

Я был доволен. Мне казалось, что дело преобразования правительства в желательном для нас духе сделало большой шаг вперед. Но прошло несколько дней, и стало известно, что уходит — только не Терещенко, а Верховский. Правительство, возглавляемое Керенским, не только „отделяло" себя от „левой" части Совета Республики, но явно шло ей наперекор. Это сказывалось и во внешних признаках: не только у меня, но, сколько мне известно, и у многих вождей с.-р-ов — Гоца и др. — в это время почти прекратились какие бы то ни было личные, неофициальные сношения с членами правительства. И не только отсутствие наших лидеров

[1]) Это противопоставление демократической „силы" большевистскому „насилию" по-истине великолепно. „С точки зрения социализма и демократии" выходит так, что, когда рабочий-большевик пинком ноги отбрасывает от власти буржуа, — он творит „насилие", когда же „несоветская демократия" с либердановской помощью изловчается схватить рабочего за горло, она лишь проявляет „силу". Недурно также и дановское объяснение истинного смысла его радикальной программы. Все вращается вокруг одной основной задачи — во что бы то ни стало, каким бы то ни было способом предотвратить пролетарский переворот. *Ред.*

[2]) Здесь, как и выше, Ф. Дан имеет в виду октябрьскую „катастрофу". *Ред.*

в составе правительства было тому причиной, а именно глубокое расхождение в самых основных вопросах политики. У нашей партии был еще, правда, в это время представитель в составе правительства — К. Гвоздев[1]). Но он был поглощен своим ведомством — министерством труда и „политической“ фигурой был в этот период в весьма малой степени.

II.

Между тем, атмосфера сгущалась все больше и больше. Большевистская опасность нарастала с часу на час. В воздухе пахло грозою.

Я не знаю, насколько прав Керенский, утверждая, что „стратегические планы“ некоторых правых кругов сводились к тому, чтобы „не препятствовать успеху вооруженного восстания большевиков“ и лишь „после падения ненавистного Временного Правительства“ подавить большевистский „бунт“, для чего нужно будет „3—4 недели“.

Мне со стороны „правых“ о таких планах слышать не приходилось. А слышал я другое. Когда в кулуарах предпарламента велись разговоры о грозящем восстании большевиков, и мы настаивали на том, что только осуществление предлагаемой нами программы может предупредить восстание или осудить его на неудачу, то правые (торгово-промышленники, кадеты и, особенно, казаки), совершенно не стесняясь, признавались, что желают, чтобы большевики выступили возможно скорее. Но мотивировали они это свое желание не расчетами на свержение Временного Правительства и триумф большевиков, которые-де потом очень скоро провалятся под напором „здоровых элементов“ русского народа, а, как раз наоборот, своею уверенностью, что в открытом бою большевики немедленно же будут на-голову разбиты „верными долгу частями гарнизона“. Правые, несомненно, мечтали (и не скрывали этого) „о сильной власти“ в корниловском духе, но добиться этой власти они думали не тем, что свергнут Временное Правительство руками большевиков, а тем, что „спасут“ его силами военщины и уже затем, как победители мятежа, продиктуют ему свою волю и преобразуют в своем духе. Они мечтали, словом, о том, чтобы теперь довести до конца то, что им не дала доделать ненавистная революционная (т.-е. советская) демократия в июльские дни, то, что не удалось — из-за противодействия все тех же советских сил — в августе Корнилову.

---

[1]) Известный социал-патриот и „деятель“ гучковских военно-промышленных комитетов, созданных во время войны. *Ред.*

Повторяю, я лично был осведомлен о планах „правых кругов“ именно только в одном направлении и думаю, что Керенский падал жертвой странной аберрации, когда, сводя все свои заботы о борьбе с большевиками к „разработке подробного плана подавления мятежа“ в штабе Петрогр. военного округа и к „срочному“ вызову эшелонов с фронта, т.-е. исключительно к мероприятиям военно-технического свойства, полагал, что этим самым противодействует планам правых и ведет борьбу „на два фронта“ [1]). Но он, кроме того, с моей точки зрения, — и на этот раз вместе с „правыми кругами“ — падал жертвою опасной иллюзии, когда воображал, будто в гарнизоне ли, на фронте ли может найти какие-то „верные части“, готовые по мановению руки Временного Правительства пойти в бой с большевиками — за что? За мир, в достижении которого через правительство Керенского они отчаялись? Или за землю, судьба которой оставалась все нерешенной до далекого и смутно представляемого себе Учредительного Собрания? Может быть, ошибался не Керенский, а я. Но я и тогда думал, и теперь думаю, что, если в июле еще были „верные части“ (вроде пр словутых „гродненских гусар“), которые готовы были начисто „расправиться“ с большевиками, то в октябре таких частей уже не было. Поэтому, если в июле приходилось противодействовать слишком ретивой „расправе“ [2]), чтобы не сыграть в руку военной диктатуре, то в октябре надо было опасаться вызывать части с фронта — и даже казаков — уже просто потому, что каждая вызванная „часть“ легко могла стать лишним орудием в руках большевистского восстания. Об этом убедительно говорили уже и опыт с вызванными с фронта „самокатчиками“, которые в какую-нибудь неделю „разложились“ чуть не до полного „большевизма“. Об этом очень скоро должен был засвидетельствовать печальный опыт самого Керенского с его походом на Петроград.

А. Ф. Керенский, повидимому, и сейчас все эти неудачи свои приписывает исключительно либо злоумышлениям отдельных лиц против него, либо несчастным „случайностям“ и „недоразумениям“. Ни я, ни с.-д. фракция предпарламента, ни наши единомышленники в других фракциях, к сожале-

---

[1]) Очень сомнительно, чтобы Керенский на самом деле руководился такими соображениями. Он уже всецело был поглощен борьбой с „большевистской опасностью“. Разговоры же о борьбе с правыми нужны были ему лишь для очистки остатков своей „демократической“ совести и поддержания падающего авторитета. *Ред.*

[2]) Меньшевики, как известно, являются сторонниками „деликатных“, „не слишком ретивых“ расправ с „бунтующими“ рабочими. В июльские дни они и дали пример такой деликатной расправы. *Ред.*

нию, не были в состоянии „смотреть и видеть, слушать и слышать“ так, как это было желательно и Керенскому, и правым. Для нас было аксиомой, что пытаться бороться с большевиками чисто военными средствами было нелепо не только в силу „запутанных“ соображений, по уверению Керенского, „обыкновенным смертным мало понятных в существе своем“, но и просто в силу того факта, что таких средств в это время у правительства не было и быть не могло. Для нас было аксиомой, что если еще можно было противопоставить что-либо большевикам с надеждой на успех, то только определенную политику, которая собрала бы вокруг правительства недостающие ему силы и позволила бы ему с их помощью противодействовать насилию большевиков.

Читатель может теперь сам понять, с каким чувством слушали мы речь Керенского в памятное утро 24 октября, когда, явившись в Совет Республики, он потребовал себе слова для „срочного сообщения“.

А. Ф. Керенский так передает содержание этой речи: „Получив слово, я заявил, что в моем распоряжении находятся бесспорные доказательства организации Лениным и его сотрудниками восстания против Революционного Правительства. Я заявил, что все возможные меры для подавления восстания приняты и принимаются Временным Правительством; что оно будет до конца бороться с изменниками родине и революции; что оно прибегнет без всяких колебаний к военной силе, но что для успешности борьбы Правительству необходимо немедленное содействие всех партий и групп, представленных в Совете Республики; нужна помощь всего народа. Я потребовал от Совета Республики всей меры доверия и содействия“.

А. Ф. Керенский, сколько я помню, вполне правильно и исчерпывающе передает содержание своей речи. Прибавлю, что произнес он ее с свойственным ему большим пафосом и с особенным пафосом несколько раз повторял, что правительством уже отдан приказ об аресте „государственного преступника Ульянова-Ленина“. Но чем с бо́льшим пафосом говорил Керенский, тем более удручающим было впечатление, производимое на нас его речью. Вот уж подлинно можно сказать, — нам было бы смешно, если бы не было так грустно! Грустно и ввиду общего политического положения, грустно и лично за Керенского, который, при всех своих благих намерениях и искренней преданности делу свободы, так очевидно с закрытыми глазами катился в пропасть.

Немедленно после своей речи Керенский, по его словам, „вернулся в штаб к прерванной срочной работе“, уверен-

ный, что „не пройдет и часа“, как он получит сообщение о всех решениях и деловых начинаниях Совета Республики в помощь Правительству. Каких именно „деловых начинаний“ ждал Керенский от этого органа, при его же содействии превращенного в безвластный и бессильный „парламент мнений“, он конкретно не говорит. Из дальнейшего видно лишь его разочарование и огорчение по тому поводу, что „боевые силы с.-р. и меньшевиков не были во-время мобилизованы“. Я не решаюсь, однако, приписывать Керенскому чересчур уж наивную мысль, будто этих „боевых сил“ было достаточно для победы над петроградским гарнизоном, кронштадтскими матросами и пушками „Авроры“, находившимися в руках большевиков[1]). Очевидно, все „деловые начинания“, которых А. Ф. Керенский мог ожидать от Совета Республики, свелись к чисто политическому акту — к резолюции, выражающей „всю меру доверия“ правительству и одобряющей все его действия.

Правы ли мы были или не правы, — об этом каждый может судить по-своему. Но, я думаю, и „обыкновенным смертным“ после всего рассказанного выше будет понятно, почему такого политического акта совершить и такой резолюции принять мы не могли. Мы готовы были содействовать правительству в его обороне революции, но мы никоим образом не могли свести это „содействие“ к тому, чтобы укреплять правительство в его ослеплении и собственными руками подталкивать его к пропасти, в которую оно и без того катилось слишком быстро. Наоборот. Мы считали своим долгом в последнюю минуту еще раз указать правительству путь, на котором только и может (если вообще еще может) быть спасение, и подтвердить ему, что на этом пути мы действительно готовы итти с ним до конца.

В этом именно духе и был составлен мною проект резолюции, которую Керенский характеризует, как „никому не нужную, бесконечно длинную, запутанную, обыкновенным смертным мало понятную в существе своем“. Очень может быть. О литературных достоинствах своего произведения спорить не буду. Но для того, чтобы сделать ее „понятною“ если не „обыкновенным смертным“, то хоть Временному Правительству и его председателю, и служила та „историческая“ беседа, о которой повествует Керенский. Но прежде чем перейти к ней, скажу еще несколько слов о предшествовавших ей событиях в недрах Совета Республики.

---

[1]) Со свойственной ему скромностью Ф. Дан умалчивает еще об одной, „нахо ившейся в р ках большевиков“, силе — о петроградском пролетариате и его красной гвардии. С разрешения Ф. Дана мы восполняем этот досадный пробел. *Ред.*

Смысл моей резолюции, резко критиковавшей большевиков, сводился к тому, что для успешного противодействия им необходимы решительные акты в области борьбы за мир, перехода помещичьих земель в руки крестьян и ускорения созыва Учредительного Собрания. Только такие меры вырвут почву из-под ног большевиков, эксплоатирующих в своих целях настроения разлагающейся, на $^{99}/_{100}$ крестьянской армии, и дадут в руки правительства силы, достаточные для противодействия всяким попыткам насильственного его низверж-ния.

В нашей фракции точка зрения на совершавшиеся события была уже настолько определенна и однородна, что принятие этого проекта резолюции не потребовало большого труда. Приняли его и меньшевики-интернационалисты (группа Мартова), державшиеся тогда обособленной фракцией.

Не так обстояло дело в других фракциях. Из сделанных уже выше замечаний о составе, группировках, настроении Совета Республики ясно, почему невозможно было собрать большинства за такую резолюцию без „бесконечных" споров. В частности, очень сильна была оппозиция во фракции с.-р., где довольно большое крыло готово было пойти навстречу требованиям Керенского. Однако другая часть фракции с.-р., с А. Р. Гоцем во главе, упорно боролась за ту же самую точку зрения, которая была формулирована в нашей резолюции.

На почве этой внутренней борьбы среди с.-р. произошел эпизод, не совсем обычный в истории парламентских фракций. По настоянию Гоца я был приглашен сделать во фракции с.-р. доклад о переживаемом кризисе и обосновать предлагаемый мною проект резолюции. После моего доклада были продолжительные и довольно бурные прения, продолжавшиеся и по моем удалении с заседания.

В результате всей этой борьбы внутри Совета, занявшей, действительно, весь день и часть вечера, резолюция прошла незначительным большинством голосов. Замечу тут же мимоходом, что одним из первых актов большевиков, после занятия телеграфа, было распоряжение о том, чтобы эта резолюция никуда не передавалась и нигде не опубликовывалась: большевики считали, очевидно, невыгодным для успеха своего дела, чтобы население было осведомлено о том, что Совет Республики принял такое постановление.

Лишь только резолюция была принята, возник вопрос, что же делать дальше, так как было ясно, что дорога каждая минута, и времени терять нельзя.

У меня возникла мысль отправиться немедленно на заседание Временного Правительства и потребовать от него от имени большинства Совета Республики немедленного отпечатания и расклейки тою же ночью по всему городу афиш

с заявлением, что Временное Правительство: 1) обратилось к союзным державам с требованием немедленно предложить всем воюющим странам приостановить военные действия и начать переговоры о всеобщем мире; 2) распорядилось по телеграфу о передаче всех помещичьих земель, впредь до окончательного решения аграрного вопроса, в ведение местных земельных комитетов; 3) решило ускорить созыв Учредительного Собрания, назначив его — не помню уже точно, на какое число.

Гоц, которому я сообщил свою мысль, охотно ухватился за нее. Мы решили, что к нам двоим надо присоединить председателя Совета Республики Н. Д. Авксентьева, как лицо, призванное официально выражать мнение предпарламента, фиксированное в только-что принятой резолюции. Авксентьев всячески отнекивался: он по существу не разделял точки зрения, выраженной в резолюции, и потому, конечно, имел мало склонности отстаивать ее, да еще в такой необычной форме, как задуманная нами. Только уступая нашим настояниям, ссылкам Гоца и на партийную дисциплину и на формальные обязанности его, как председателя, он нехотя отправился с нами.

Такова была „делегация от социалистических групп", о составе которой А. Ф. Керенский почему-то умалчивает. Прибавлю, что в течение всей беседы этой делегации с Керенским Авксентьев, как то и соответствовало его общему настроению, в разговор почти не вмешивался, а поскольку вмешивался отдельными замечаниями, то преимущественно с целью ослабить резкость нашей постановки и поддержать Керенского. Но вся беседа с Керенским велась не мною одним, как можно подумать из изложения Керенского, а мною и Гоцем, с которым у меня в ходе беседы никакого разногласия не обнаружилось.

Изложение „исторической сцены" А. Ф. Керенским начинается уже с внешней неточности. Беседа происходила не в его кабинете и не в „перерыве заседания Временного Правительства". Временное Правительство заседало, когда мы прибыли в Зимний дворец, — если не ошибаюсь, — в Малахитовой зале. По нашему требованию дежурный чиновник вызвал Керенского, который — с явным неудовольствием и неохотой — и вышел к нам в комнату, соседнюю с залой заседания, — сколько помнится, одну из комнат так называемой половины бывшей императрицы. Читатель увидит, что эти мелкие подробности имеют некоторое значение.

Беседа, действительно, началась с того, что мы сообщили Керенскому текст принятой Советом Республики резолюции, и он, действительно, отвечал на нее „взволнованной филиппикой". Я не помню, чтобы А. Ф. Керенский говорил,

что „после такой резолюции правительство завтра же подаст в отставку“, но из дальнейшего хода беседы видно во всяком случае, что эти слова не были для него твердым политическим выводом из создавшегося положения, а, максимум, крайним выражением возмущения и взволнованности.

Ввиду этой взволнованности Керенского мы, действительно, старались по возможности подавить свое собственное возмущение и тревогу и говорить „спокойно и рассудительно“. Повторяю, — мы, потому что говорили и Гоц, и я, оба — вполне солидарно, и я не могу уже теперь припомнить, что именно в беседе принадлежало мне и что Гоцу.

Самое содержание беседы А. Ф. Керенский излагает так: „Прежде всего Дан заявил мне, что они осведомлены гораздо лучше меня и что я преувеличиваю события под влиянием сообщений моего реакционного штаба. Затем он сообщил, что неприятная для „самолюбия правительства“ резолюция большинства Совета Республики чрезвычайно полезна и существенна для „перелома настроения в массах“, что эффект ее „уже сказывается“, и что теперь влияние большевистской пропаганды будет „быстро падать“. С другой стороны, по его словам, сами большевики в переговорах с лидерами советского большинства изъявили готовность „подчиниться воле большинства советов“, что они готовы „завтра же“ предпринять все меры, чтобы потушить восстание, „вспыхнувшее помимо их желания, без их санкции“. В заключение Дан, упомянув, что большевики „завтра же“ (все завтра) распустят свой военный штаб, заявил мне, что все принятые мною меры к подавлению восстания только „раздражают массы“ и что вообще я своим „вмешательством“ лишь „мешаю представителям большинства советов успешно вести переговоры с большевиками о ликвидации восстания“.

А. Ф. Керенский пишет, что „не может сейчас воспроизвести заявления Дана в его собственных выражениях“. Не знаю, что после этого дает ему право привести целый ряд слов и фраз в кавычках, придающих им вид именно моих „собственных выражений“. Но это — сравнительно мелочь. Важно же то, что в передаче А. Ф. Керенского весь основной смысл беседы искажен до неузнаваемости.

Я уже сказал, что мы приехали с вполне определенным и конкретным предложением Временному Правительству: немедленно принять весьма существенные решения по вопросу о войне, земле и Учредительном Собрании и немедленно оповестить об этих решениях население рассылкой телеграмм и расклейкой афиш. Мы настаивали, что это непременно должно быть сделано тою же ночью, так, чтобы утром уже каждый солдат и каждый рабочий знали о реше-

ниях Временного Правительства. В плоскости этого решения и велась вся беседа Гоца и моя с Керенским. А в передаче Керенского об этом предложении даже не упоминается, как будто бы его и не было. Очевидно, взволнованное состояние Керенского достигло такой степени, что он плохо мог запомнить даже, о чем собственно шла речь.

А между тем, только в свете этого предложения становится понятной и приобретает смысл вся „историческая" беседа. Мы с Гоцем, действительно, говорили о заблуждении, в которое вводит Керенского „реакционный штаб". Но говорили мы это в том смысле, что штаб обманывает правительство,— а может быть, обманывается и сам,— уверяя, будто у него имеются какие-то „верные части", достаточные для того, чтобы в открытом бою победить большевиков; мы прибавляли и то, что „реакционный штаб" ослеплен своим тяготением к „сильной власти" военщины и, строя иллюзии насчет легкости справиться с большевистским восстанием, быть может, потому и убаюкивает правительство ссылками на то, что сил у него достаточно. Говорили мы и о полезности резолюции Совета Республики и переломе настроения в массах. Но говорили, конечно, не в том смысле, что он „уже отказывается" — как бы это могло быть, когда, по свидетельству самого Керенского, резолюция не могла быть принята „до позднего вечера" и никакие „массы" о ней и знать ничего не могли? — а в том, что принятие и выполнение правительством нашего предложения вызовет в настроении масс перелом, и что в этом случае можно будет надеяться на быстрое падение влияния большевистской пропаганды. Говорили мы и о подготовке восстания большевиками, только опять-таки не так, что оно „вспыхнуло помимо их желания", а так, что среди самих большевиков идут на этот счет сильные колебания, что масса большевиков не хочет и боится восстания, что поэтому принятие нашего предложения может и среди большевиков усилить течение в пользу ликвидации восстания[1]). Резко критиковали мы, наконец, и „все принятые меры к подавлению восстания", поскольку эти чисто военно-технические меры, без подведения под них прочного политического фундамента, казались нам и нелепыми, и не достигающими цели, и, пожалуй (я не помню, чтобы мы употребили это выражение), действительно

[1]) Надо отдать справедливость гоцлиберданам, — это было не глупо задумано. Внести разногласие в ряды руководителей восстания значит наполовину уже сорвать его. К счастью, вопреки утверждению Дана, „масса большевиков", за исключением отдельных колебавшихся товарищей, была настроена весьма решительно. И вряд ли произошло бы серьезное замешательство в рядах большевиков даже в том случае, если бы гоцлиберданам удалось уломать „непримиримого" Керенского. *Ред.*

только „раздражающими массы“ без всякой реальной пользы для правительства. Мы упорно и горячо убеждали Керенского в том, что даже с точки зрения чисто военной борьбы с большевиками, она только тогда может иметь шансы на успех, когда солдаты-крестьяне будут твердо знать, что они защищают против большевиков мир и землю.

Таково было действительное содержание „исторической“ беседы.

Разговор наш продолжался не особенно долго. Керенский, производивший впечатление человека, до последней степени измотанного и измученного, относился к нашим аргументам с крайним раздражением и высокомерно заявил под конец, что правительство в наставлениях и указаниях не нуждается, что теперь — время не разговаривать, а действовать.

Мы не успокоились, однако, на этом. Мы потребовали, чтобы Керенский доложил заседавшему еще правительству о резолюции Совета Республики, о нашем предложении и о нашем желании быть допущенными на заседание правительства и выслушанными. Керенский круто повернулся и ушел в соседний зал заседания.

Через несколько минут он вернулся и сухо заявил, что правительство считается с нашим отказом ему в безусловном содействии, что в посторонних советах оно не нуждается, будет действовать само и само справится с восстанием.

Мы тут же ответили, что своим образом действий правительство не только губит себя и революцию, но лишает нас и представляемые нами партии всякой возможности солидаризоваться с ним и оказывать ему действительную поддержку.

С тяжелым чувством мы покидали дворец. Жребий был брошен. И многое в дальнейшем поведении тогдашнего президиума ЦИК в день 25 октября, как и в дальнейшем отношении нашем к эпизодам борьбы между Временным Правительством и большевиками, было уже намечено в этой ночной беседе.

Но об этом — в другой раз и в другом месте.

Защита Зимнего дворца в день 25 октября 1917 года [1]).

В этот день поручик Синегуб уже в 8 час. утра сидел в канцелярии, постепенно входя в тяжелую роль адъютанта школы.

— Телюкин" — позвал он старшего писаря, — почему эта телеграмма из главного штаба в очередном докладе, кто ее вскрыл?

— Телюкин ответил, что телеграмма исполнена. Начальник школы лично приезжал и отдал распоряжения. Сейчас в главном штабе находятся наши юнкера для связи, посланы юнкера в николаевское инженерное училище, николаевское кавалерийское училище, а двое из членов совета школы направлены в личное распоряжение Керенского.

„Если посланы юнкера к главе Временного Правительства, то значит... начинается", — подумал Синегуб. Вдруг в дверях появился юнкер 2-й роты Исаак Гольдман в полном вооружении. Взволнованно и отрывисто он сообщил:

— Из главного штаба с запиской о немедленной готовности школы к выступлению... В школе паника... Никто ничего не делает... Подобные же распоряжения посланы в другие школы и части.

Далее юнкер доложил, что Петропавловка на нашей стороне, что у Финляндского вокзала сосредоточилась тяжелая артиллерия, перешедшая на сторону ленинцев. Пехота и казаки объявили нейтралитет. Если придут войска из Гатчины, Царского Села, то положение будет восстановленно быстро и без нас; но если они запоздают, то придется итти арестовывать Ленина, образовавшего какое-то новое правительство из большевиков.

— Вы ели уже сегодня? — спросил адъютант.

Юнкер ответил, что их послали в связь в четвертом часу, и они еще не ели.

— Товарищи просят прислать им смену или пищу.

Распорядившись послать смену и оставив юнкера в школе, адъютант позвал Телюкина, потребовал у него список юнкеров связи и начал диктовать:

---

[1]) Статья Синегуба помещена в № 4 „Архива Русской Революции" (Берлин, 1922 г.). В виду того, что изложение отличается чрезмерной растянутостью и многословием, мы приводим здесь пересказ статьи. *Ред.*

— Приказание командирам 1-й и 2-й рот. По приказанию из главного штаба немедленно... Пулеметы получите у заведывающего оружием...

„А вдруг нестроевая команда, объявившая нейтралитет, переменит свое решение и перейдет в оппозицию, — мелькнуло вголове.—Тогда командиры рот вооружения не получат".

Вошел поручик Шумаков с запиской от поручика Б—ва, в которой Б—в писал, что болен, продолжать дежурство не может и просит Шумакова его заменить.

— Что за сволочь, — теряя хладнокровие и забывая о присутствии солдат, выругался адъютант.

Обратившись к Шумакову, он попросил его привести в порядок пулеметы.

— А револьверы у этого мерзавца Кучерова. Его второй день, подлеца, в школе нет. Запил. И нашел же время! Нет... это — форменный бедлам! — возмущался он.

Телюкин доложил о приезде начальника школы.

— Ну, слава богу.

И он бросился из кабинета через канцелярию, чтобы бежать с докладом к начальнику школы. Канцелярия была полна юнкерами и штатскими разночинцами, которые обступили его, едва он вошел.

— Господа юнкера, оставьте ваши личные дела и освободите канцелярию. Штатских сегодня не принимать. Все справки прекратить, — отдал он распоряжения экспедитору.

— Вы, господа, — обратился он к частным посетителям,— будьте любезны в следующий раз зайти.

— Доклада не надо, — все знаю; теперь не время,— встретил адъютанта начальник школы.

— Я уже приказал собрать совет школы и комитет юнкеров и сейчас должен итти туда. Все изменилось. Рассказывать нет времени. Что выйдет, — посмотрим. Я же решил выступить, если у юнкеров не изменилось настроение. Выступаю с желающими. Господам же офицерам приказываю последовать за мною. Считаю, что это — вопрос долга и чести. Не сомневаюсь, что вы будете там, где и я. Можете итти. Все распоряжения — после совещания. Сейчас—никаких. Да приготовьте свое оружие.

Адъютант взялся за ручку двери, но легшая на его плечо рука остановила его. „Вот что, Саня, — с грустью и тихо заговорил начальник школы,—все пошло к чорту. Кто-то предал. Временному Правительству не удержаться. Только чудо может спасти его. Ни один из планов неприменим, и через три дня также не сбросить большевиков.—Они будут еще сильнее. Все должно быть построено иначе. И уже, конечно, не нами. Я с тобою должны погибнуть. Мне только жаль юнкеров. Но мы ведь— дворяне и рассуждать иначе не можем".

Адъютант вышел, словно в тумане, не понимая, где, куда и зачем идет. В коридоре он встретил капитана Галиевского, который торопился в роту.

– Эти прохвосты мало того, что ключи потеряли от склада, так что пришлось взломать дверь, да еще замки с пулеметов поснимали и куда-то запрятали, — сообщил Галиевский.

В кабинете адъютант застал Шумакова, который стал убеждать его не выступать, а остаться в школе. На это адъютант Синегуб возразил, что именно ему, Шумакову и Галиевскому, как старым офицерам, там место в первую голову. Он надеялся, что там соберется все офицерство Петрограда, и представив, какая это красивая, сильная картина будет, он стал рассказывать, что когда девятнадцатого числа он ездил с докладом в главный штаб, то перед Зимним и перед штабом стояли вереницы офицеров в очереди за получением револьверов.

Шумаков рассмеялся и начал шутить:

— Ну и наивен же ты! Да ведь эти револьверы эти господа петербургские офицеры сейчас же по получении продавали. Да еще умудрялись по нескольку раз их получать, а потом бегали и справлялись, где это есть большевики, не купят ли они эту защиту Временного Правительства. Нет, ты дурак, да и законченный к тому же. Петроградского гарнизона не знаешь ты! — заливался Шумаков.

Синегубу стало весело от молодой задорности друга, он вспомнил, что ничего еще не ел, а потому предложил ему пойти позавтракать.

Вбежал посыльный и подал записку от начальника школы. В ней приказывалось немедленно собрать всех наличных чинов школы в гимнастическом зале для общего собрания, а также указывались некоторые меры на случай скорого выступления школы. Поручик Шумаков, как дежурный офицер, отправился к телефону передать соответствующие приказания дежурным юнкерам по ротам и офицерам, а Синегуб помчался в канцелярию писать допуск к запасным винтовкам, находившимся под охраной караула на внутреннем балконе гимнастического зала.

В 10 час. 45 мин. огромная буфетная зала была запружена юнкерами, среди которых отдельными группами разместились чины нестроевой команды. Кое-кто из офицеров тоже уже находились в зале. При входе начальника школы в зале настала тишина и нависла всеобщая напряженность.

Заседание началось докладом начальника об отношении совета школы к текущему моменту; доклад требовал выяснения отношения школы к Временному Правительству, к мероприятиям последнего в борьбе с Лениным и исповедуемой им идеологией, все более увлекающей серые рабочие массы Петрограда и войск.

Совет школы не колеблясь принял в принципе твердое решение следовать всем мероприятиям существующего до момента открытия Учредительного Собрания правительства и предложил комитетам юнкеров и нестроевой команды произвести совместное заседание по заслушанным советом школы вопросам. От этого заседания комитет нестроевой команды уклонился, делегировав для информации своего председателя, старшего унтер-офицера Сидорова. Собрание приняло решение совета и постановило созвать общее собрание школы для рассмотрения принятых резолюций. За докладом последовало чтение резолюции по подвергавшимся обсуждению вопросам. Во время доклада в зале, собравшем в себе около 800 человек, царила жуткая, напряженная тишина. Чтение кончено. Открылись прения, во время которых чины нестроевой команды начали покидать зал. Что-то, понуря голову, говорил унтер-офицер Сидоров.

Раздается чей-то звонкий голос с балкона:

— Товарищи солдаты нестроевой команды постановили соблюдать нейтралитет. А так как на этом собрании решается вопрос о братоубийстве, о борьбе за капитал против свободы рабочего трудящегося народа, против нашего защитника Владимира Ильича Ленина и, значит, образованного им настоящинского народного правительства, то мы, члены комитета нестроевой команды, решили вас, господ, оставить одних. Нам с вами не по дороге. Товарищи солдаты, вон отсюда. И на товарища Сидорова, что там на кафедре слезки льет, не смотрите. Он—враг пролетариата, так как продался буржуазии, — окончил греметь неожиданный голос.

В этот момент вбежал в зал юнкер Х. и, поднявшись на кафедру, закричал:

— Господа, сейчас я видел Родзянко. Он просит нас встать на защиту Временного Правительства от посягательств на него, на благополучие народа гостей из пломбированного вагона.

Говоривший сошел с кафедры. Но там стояло уже двое. Никто их не слушал. В зале творилось что-то невозможное.

Вниманием залы овладел начальник школы. Он передал приказ от главного штаба немедленно явиться в боевой готовности к Зимнему Дворцу, а также призыв Временного Правительства выполнить свой долг перед родиной в момент наитягчайших напряжений, в дни, когда заседает народившийся Совет Республики. При этом начальник школы подчеркнул то обстоятельство, что момент крайне тяжелый, что обстановка складывается очень неблагоприятно для правительства и поэтому для принявших решение честно продолжать нести свой долг перед родиной это может оказаться последним решением в жизни.

— Мы это решение приняли. Ведите нас туда. Мы идем за вами и только за вами... — прервали начальника школы крики юнкеров.

Через полчаса Синегуб вел батальон юнкеров по направлению к Литейному.

На улице было тихо; ничто не предвещало грозы, и если бы не остались в школе трое юнкеров, отказавшихся выступить, — двое без объяснения причин, и третий — юнкер Вигдорчик, — открыто заявивший начальнику школы о своей принадлежности к коммунистической партии с довоенных времен, — они шли бы еще бодрее.

Когда батальон подходил к Сергиевской, Синегуб получил приказание от командующего батальоном выслать вперед заставу с дозорами, которым приказывалось вступить в бой без всякого размышления. Это было кратко, но ясно, и поэтому, выделив первый взвод от своей 2-й роты, Синегуб, став во главе его, быстро, ускоренным шагом, значительно продвинулся вперед. Но вот снова получается приказание итти не к Марсову полю, а на набережную Невы, так как, по донесениям разведчиков, на Марсовом поле происходит митинг солдат Павловского полка. Подойдя к мосту, дозор встретил здесь караул из гарнизона Петропавловской крепости, охранявший мост от разводки. Синегуб выразил удовольствие, что Петропавловка пока еще на стороне правительства, и сообщил караулу, указывая на приближающихся юнкеров авангарда, что школа прапорщиков инженерных войск также выполняет свой долг перед родиной и идет в распоряжение Временного Правительства. На вопрос Синегуба, как ведут себя павловцы, часовой ответил, что сперва митинговали, а сейчас ушли в казармы. Решили нейтралитет держать. Юнкера пошли дальше и скоро свернули на площадь перед Зимним Дворцом.

Площадь была пуста. „Что такое? Отчего так пусто?“ — невольно сорвалось у Синегуба с языка. Юнкера молчали. Легкая бледность лиц, недоуменная растерянность ищущих взглядов красноречивее слов говорили о том, каково было у них на душе.

В этот момент со стороны Александровского парка, перейдя дорогу, подошел юнкерский 2-й ораниенбаумской школы прапорщиков дозор. Старший дозора направился к Синегубу.

— Разрешите узнать, какой части, и цель вашего прибытия сюда, — спросил он.

— Передовой дозор идущего сюда в распоряжение Временного Правительства батальона школы прапорщиков инженерных войск, — ответил Синегуб и, предполагая, что его дозор опоздал, спросил у портупей-юнкера, давно ли они

здесь и какие еще части и школы были тут и куда они ушли.

— Никак нет, вы не опоздали. Плохо...—с горечью начал было портупей-юнкер, но, желая скрыть мучившие его душу сомнения, в бодром тоне продолжал:

— Очевидно, еще соберутся. Во дворце говорили, что казаки сюда идут и войска из Гатчины, а покамест у нас тут сперва стояли одиночные посты, но утром группа рабочих обезоружила и избила двоих, поэтому мы теперь несем дозоры.

Скоро появился на площади батальон; его построили лицом к Зимнему Дворцу и правым флангом к Главному штабу.

Из штаба вышла группа лиц, в центре которой был начальник школы, и приблизилась к батальону. Начальник школы передал, что сейчас юнкеров будет приветствовать военный комиссар при верховном командовании, поручик Станкевич.

В своем приветствии военный комиссар высказал уверенность, что товарищи-граждане юнкера окажутся такими же доблестными защитниками дела революции, какими оказались на фронте офицеры, кончившие эту родную ему школу.

Синегуб с полуротой юнкеров по приказанию начальника школы был назначен в распоряжение военного комиссара, отдавшего распоряжение итти к Мариинскому дворцу на охрану заседавшего в нем предпарламента. По дороге военный комиссар велел Синегубу построить юнкеров так, чтобы все могли его слышать без повышения им голоса.

„О, чорт возьми, опять разговорчики! Да ведь нам спешить надо!“—возмутился внутренно Синегуб

— Слушаюсь, — вслух ответил он Станкевичу и выстроил полуроту в каррэ.

Военный комиссар начал говорить:

— Господа, в данное исключительно тяжелое время для революции и страны совершилось событие огромной исторической важности. В залах Мариинского дворца заседает цвет нашей мысли и гордость наших чаяний — Совет Республики... И вот, товарищи-граждане, в этот момент демагогическая злобность, посеянная Лениным и разжигаемая врагами революции и страны, готовится стать катастрофической для революции. Опьяненные демагогией, отбросы рабочего мира готовятся произвести срыв происходящего заседания Совета Республики... И вот, дорогие товарищи, вам предоставляется высокая честь охранить спокойствие работы Совета Республики. Я счастлив, что могу вас поздравить с назначением в караул Мариинского дворца. И я убежден, что дело до применения оружия не дойдет, так как, если массы хулиганствующих увидят вас на постах

у дворца, они только побурлят и разойдутся, — закончил военный комиссар свою речь, воспроизведенную здесь в сильно сокращенном виде.

Вслушиваясь в речь оратора, Синегуб думал: „К чему тратить время на то, что удивительно просто и ясно“

Вдруг сзади кто-то к нему обратился:

— Господин поручик, разрешите доложить, что мы хотим есть, а там у дворца юнкера получают хлеб.

— Вот что нас губит, — вдруг обратился к Синегубу один из юнкеров, намекая на затянувшуюся речь комиссара.

— Тише, бросьте. Вы в строю, — остановил он юнкера, и как только комиссар кончил говорить, обратился к нему за разрешением получить хлеб.

— Только скорее, — дал согласие комиссар. Получив хлеб, Синегуб доложил комиссару, что он не может получить патронов, что у них сейчас патронов мало, а пулеметов и гранат совсем нет.

— Это лишнее, дело до огня дойти не может. Ведите роту прямо по Морской! А придя во дворец, решительно прикажите огня без самой крайней необходимости не открывать. А если подойдет к Мариинскому дворцу какая-либо хулиганствующая толпа, то для укрощения ее достаточно одного вида юнкеров, стоящих на постах с винтовками. Вот внутри дворца надо быть на-чеку. Я боюсь, чтобы кто не устроил обструкции в зале заседания и не произвел паники.

Юнкера двинулись в сопровождении военного комиссара, с буханками хлеба под мышками, по Морской.

Когда подошли к телефонной станции, военный комиссар выразил намерение зайти на станцию и попытаться произвести смену находящегося там караула, который, по полученным сведениям, перешел на сторону ленинцев[1]). Однако вскоре он снова стоял возле Синегуба.

— Они отказываются добровольно освободить телефонную станцию, и я решил произвести смену силою. Оставьте половину юнкеров с офицером здесь, приказав следить за воротами и окнами, а с другой половиной продвиньтесь вперед и уже с той стороны ворот ведите наблюдение за нею. Отделите мне нескольких юнкеров, я попытаюсь с ними проникнуть на станцию. Землячки увидят, что с ними не шутят, и сразу сбавят тон. Там караульный начальник — какой-то прапорщик, очевидно, он все и мутит, — высказал свои соображения военный комиссар.

Синегуб произвел соответствующее передвижение.

---

[1]) Караул не „перешел“ на сторону большевиков, а специально был прислан Военно-Революционным Комитетом для занятия станции. *Ред.*

Прапорщик Одинцов-младший, оставаясь на том же расстоянии от здания телефонной станции, построил свой 2-й взвод 2-й роты поперек Морской, во всю ее ширину, фронтом к Мариинской площади; Синегуб же, перейдя с тремя отделениями 1-го взвода фасад телефонной станции, принял то же построение, но фронтом в сторону Невского.

Из безвинтовочных юнкеров он создал команду связи. Между тем, военный комиссар с юнкерами 1-го отделения 1-го взвода подошел к воротам станции, но они оказались уже запертыми.

„Та-та-та-та", — вдруг послышались звуки пулемета.

— К стенкам домов! Далеко не распространяться! — отдал Синегуб приказание юнкерам.

Из юнкеров никто не упал; стрельба была демонстративная, в воздух.

Показался комиссар. Синегуб направился к нему и сказал, что он не может понять, откуда и где стрельба.

— Ничего, это пустяки. Вы приведите в больший порядок юнкеров и продолжайте осаду станции. Огня не открывайте, пока они сами не станут стрелять по вас, а я отведу ту часть юнкеров к углу Невского, чтобы не допустить сюда могущих явиться на выручку караула красногвардейцев. Я убежден, что на станции сейчас переполох, так как не могут они знать, кто открыл стрельбу и кто берет верх, а видя, что здесь находятся юнкера, они скорее решат, что их дело проиграно, и сдадутся, — сказал Синегубу военный комиссар.

Через несколько минут стрельба затихла. А еще спустя немного времени на улице появились любопытствующие и случайные прохожие.

Наконец, дверца в воротах отворилась и высунулась голова. Голова повернулась к юнкерам, подавшись вперед, обнаруживая плечи с офицерскими прапорщичьими погонами.

— Выходите, прапорщик, юнкера стрелять не будут, — любезно предложил Синегуб, видя, как глаза его косились то вправо, то влево на винтовки юнкеров.

— Посмотрел бы я, как вы стали бы стрелять! Ступайте вы лучше по домам, пока не поздно, а то будет худо, — задорно крикнул он.

Синегуб выразил сожаление, что прапорщик пачкает офицерские погоны изменой присяге.

— Неправда, я не изменяю присяге. Я иду за народом, это вы продались прислужникам капитала, одевшись в социалистическую тогу. Это вы губите народ! Э, да что с вами толковать! Даю вам 15 минут на размышление, и если через 15 минут вы со своими юнкерами не уйдете, то пеняйте на себя, — сказал прапорщик и исчез за дверью.

Подошел военный комиссар.

— Положение неважное, — сообщил он. — Многие части держат нейтралитет. Некоторые примкнули к восставшим. Рабочие Путиловского и Обуховского заводов идут в город. Надо скорее взять станцию, — кончил он.

В этот момент появился юнкер связи от прапорщика Одинцова и доложил, что на Невском появились какие-то патрули и что на Мойке у мостов рабочие начинают строить баррикады.

Услышав доклад, военный комиссар сразу оживился.

— Продолжайте убеждать сдаться, а я пойду, узнаю, в чем дело, — заторопился он.

Он повторил, чтобы юнкера первыми не открывали огня, не то потом будут кричать, что они идут по стопам старорежимных городовых, — стреляют в народ. Затем он быстро зашагал к Невскому.

Прошло несколько минут, и из окна станции раздался голос прапоршика:

— Слушайте, убирайтесь. А то нам надоело ваше присутствие. Смотрите, если через три минуты вы не уйдете, то перестреляем вас, как собак...

Вдруг со стороны Невского показался броневик.

Подбежал юнкер связи от взвода, отошедшего к углу Невского и Морской, и доложил, что приближающийся броневик пришел со стороны Невского и что военный комиссар требует спокойствия.

— Внимание! — крикнул Синегуб юнкерам. — Если я выстрелю, открыть по нем огонь. Без моего сигнала — боже сохрани стрелять!

Броневик приблизился. Глазки были открыты, оттуда велось наблюдение.

Поровнявшись с воротами телефонной станции, броневик остановился. Из ворот выскочил прапорщик и, подойдя к машине, переговорил в боковой глазок с находящимися внутри машины.

Открылись ворота, и машина вошла под арку.

В этот момент Морская огласилась истерическими криками женщин, выбегавших из ворот станции.

Юнкера искренне смеялись, наблюдая картину бегства.

— Нашли над чем смеяться, — кричали барышни. — Вы бы посмотрели, как с нами обращались...

— Господин офицер, — обратилась к Синегубу одна из них, — вся станция полна ими. Они через какой-то ход из Мойки набираются. А что они делают с проводами! Многие войсковые части не знают, в чьих руках телефонная станция, а нам запрещено говорить... за каждой по солдату стоит! Военная часть просит телефон Главнаго Штаба, или

коменданта, или Зимнего дворца, а они свой дают. Я сама слышала, как они смеялись, что одно военное училище убедили в том, что Ленин и его компания уже арестованы и что юнкеров можно отпустить в городской отпуск. Уходите отсюда и юнкеров спасайте, — все равно ничего не сделаете! Продали Россию! — рыдая кончила барышня и побежала дальше.

К Синегубу подошел секретарь второго атташе французского посольства и предупредил его, что юнкерам с тыла грозит опасность: на Гороховой и на Мойке у Государственного банка много рабочих, и они сейчас идут на баррикады, которые их товарищи начали строить перед мостом через Мойку на Гороховой. Рядом лежат пулеметы.

Синегуб попросил секретаря все рассказанное им передать офицеру на углу Невского и просить его доложить об этом в Зимний дворец и военному комиссару.

В это время со стороны Мариинской площади подошел грузовик с рабочими.

— Стой, стрелять буду! — на перерез грузовику бросились Синегуб и портупей-юнкер. Грузовик остановился.

Рабочие слезли без сопротивления.

Через минуту юнкер Гаккель вывел огромный грузовик правыми колесами тележки на тротуар и закрыл им вход в ворота.

Вдруг показалась вторая машина. Так же чисто и быстро она была поставлена рядом с первой, но перпендикулярно к ней.

Но в это время со стороны Мариинской площади появился броневик. На этот раз машина шла быстро. В глазки двойной башенки смотрели дула пулеметов. Дойдя до заграждений юнкеров, машина остановилась.

Вслед за нею со стороны Невского подошла вторая машина. Оттуда выскочило трое человек и, обойдя заграждения, подошли к первой. Переговорили. Двое вошли в ворота. Через некоторое время они вышли.

— Гей, юнкера, отпустите шофферов, да живо! — крикнули они. Шофферы, никем не охраняемые, со всех ног бросились к своим машинам.

Через минуту грузовики исчезли в направлении Невского. Броневики продолжали стоять, потом один из них пошел к Невскому.

А вслед затем на тротуаре показалась фигура военного комиссара.

— Соберите юнкеров и постройте их, да быстрее: я согласился прекратить осаду, за что получил свободный проход для юнкеров, — проговорил, подойдя к Синегубу и не смотря на него, комиссар.

Через 2—3 минуты взвод Синегуба уже равнялся, строясь на Гороховой улице. С баррикад на мосту через Мойку на них смотрели пулеметы.

Пересекая улицу Гоголя, юнкера наткнулись на команду матросов, стоявшую поперек улицы с винтовками на изготовку.

На площади к юнкерам подъехали два броневика и на их вопрос, что они здесь делают и на чьей стороне, с броневиков ответили, что они держат нейтралитет, но выехали в город с целью препятствовать боевым стычкам между обеими сторонами.

— Войска драться между собою не должны. Пускай правительство и штаб Ленина идут на соглашательство или дерутся между собою. И вы можете итти во дворец, но если будете нападать первыми, то мы будем против вас.

Подойдя ко дворцу, Синегуб ввел юнкеров во двор и присоединился к батальону. Прапорщика Одинцова с юнкерами во дворце не оказалось. Их, по докладу убежавших с места происшествия юнкеров и некоторых офицеров штаба, окружили солдаты Павловского полка, рабочие и броневики и взяли в плен.

Во дворе, куда вошел Синегуб, между высокими рядами сложенных в кубы дров стояли козлы винтовок с разгуливающими перед ними часовыми, а слева и справа торчали холодные черные дула трехдюймовых скорострелок. Весь двор говорил. Лошади ржали. Юнкер связи сказал Синегубу, что надо итти с докладом к капитану Галиевскому.

— А где господа офицеры? — спросил он.

— Господа офицеры с некоторыми из наших юнкеров — в Белом зале на митинге.

— На каком таком митинге? — как ужаленный, подскочил Синегуб с бревна, на котором с наслаждением сидел после нескольких часов стоянки на ногах.

— Так точно. Самый настоящий митинг. Во дворец явились для защиты Временного Правительства школы прапорщиков из Ораниенбаума, Петергофа, взвод от Константиновского артиллерийского, наша школа, и ожидается прибытие казаков. Сперва все шло хорошо. Но бездеятельность и проникшие агитаторы, а в то же время растущие успехи восставших вызвали брожение среди ораниенбаумцев и петергофцев. Их комитеты устроили совещание и потребовали к себе представителя от Временного Правительства из его состава для дачи разъяснений о цели их вызова и обстановки момента. А когда разъяснения были даны Пальчинским, то они объявили, за недостаточностью таковых, общее собрание для всего гарнизона Зимнего дворца. И вот уже с час митингуют в Белом зале, куда вышли все члены

Временного Правительства во главе с Коноваловым. Там такая картина стыда, — горячо докладывал портупей-юнкер Мацневский, — что я убежал оттуда. Друг друга не слушают, кричат, свистят. Не юнкера, не завтрашние офицеры, а стадо глупого баранья: тупые, глупые и грубые. Уже по их виду вы догадаетесь, что все это — от сохи, полуграмотное, невежественное зверье... Быдло...—с дрожью в голосе, едва сдерживая рыдания от негодования закончил юноша.

— Говорит Коновалов, председатель совета министров Временного Правительства: какое бы там ни было правительство, но оно—правительство твоего народа. И что же? Он говорит, а его перебивают. Коновалов так и бросил. Затем Маслов выступил, ведь старый революционер; Терещенко принимался, — вот этот красиво, хорошо говорил, а результат тот же. Ни к кому никакого уважения. Тут же и курят, и хлеб жуют, и семечки щелкают.

Синегуб слушал с закрытыми глазами; его шатало, тошнило; мысли путались... Наконец, забрав себя в руки, он спросил о Керенском.

— Господь его ведает. Сперва скрывали от юнкеров даже пребывание Временного Правительства. Говорили, что оно заседает в главном штабе. Потом объявили, что находится здесь. И что принято решение вести оборону Зимнего дворца, так как восставшие предполагают его занять, как уже заняли весь город. О последнем, конечно, не говорят, а, наоборот, умышленно лгут, что идут войска, что авангард северной армии в лице казачьих частей корпуса генерала Краснова вошел в город. Сперва объявили, что занят Царскосельский вокзал и Николаевский, что дало возможность прибыть эшелонам из Бологое и ст. Дно. Затем, — это было в три часа дня, — что казаки двинулись по Невскому и что только задержались у Казанского собора. Пока вы, господин поручик, были у телефонной станции, мы еще верили в правдивость этих сообщений. Но когда посланная к вам на подкрепление полурота, увидев, что на углу Невского и Морской происходит какая-то стычка, под охраной броневиков вернулась назад, нам стало ясно, что происходившая стрельба говорит о торжестве восставших и что здесь по инерции продолжают лганье. А вас мы было уже похоронили. И слава богу, что вам удалось вернуться, — тихо закончил свое тяжелое описание портупей-юнкер.

Наступило молчание.

— Поручик Скородинский, — позвал Синегуб.

— А, здравствуйте, поздравляю с благополучным возвращением, — приветствовал его Скородинский.

— Чего уж благополучнее, когда взвод юнкеров потерял. Зря время тратили и людей.

Узнав от того же поручика, что начальник школы назначен правительством комендантом обороны Зимнего дворца, Синегуб почувствовал бодрость и уверенность.

Он пошел к капитану Галиевскому. Последний ему очень обрадовался и стал жаловаться на представителей власти. Единственной разумной мерой правительства и главного штаба он находил назначение комендантом обороны Зимнего дворца Ананьева. О Керенском он отзывался очень нелестно и передал слух о его бегстве.

Между тем, прибывали приемщики из школ, к выходу из дворца прошла команда юнкеров 2-й петроградской школы на смену дозоров. Синегуб получил от капитана Галиевского приказание отвести роты на предназначенные места по разработанному начальником школы плану обороны дворца. Он должен был занять первый этаж налево от выхода из ворот, распространившись от крайнего левого угла двора так, чтобы на Миллионную получился продольный огонь из углового окна, куда потом предполагалось поставить пулемет. Это окно должно быть левым флангом. Правый обозначился стыком с левым флангом поручика Скородинского. Таким образом получалось фронтовое наблюдение за площадью и с огнем на нее.

Главная оборона этого участка первого этажа дворца вверялась Синегубу с подчинением ему поручика Скородинского с его ротой. Огонь разрешался только в случае атаки со стороны банд и то если атака будет сопровождаться огнем с их стороны. При размещении юнкеров была принята во внимание высота подоконников в расчете на закидывание ручными гранатами комнат. Были даны еще некоторые указания, пока же предписывалось занять позицию и начать вести самое строгое наблюдение, дав возможность свободным юнкерам лечь отдыхать, так как решительные действия ожидались только к утру. Нужно было иметь резерв. На случай наружного действия у ворот разрешалось действовать резервом лишь с доклада капитану Галиевскому.

Обрадовавшись, что, наконец, есть дело, Синегуб в свою очередь начал распоряжаться, радостно встреченный юнкерами. Через несколько минут он вводил роту в комнаты 1-го этажа.

Через некоторое время Синегубу вдруг доложили, что на помощь Вр. Правительству пришли казаки и начали располагаться в коридорах и в комнатах около молельни. Коридор уже был набит станичниками, а в него продолжали втискиваться все новые и новые.

Дисциплина у них отсутствовала, и костюмы их имели жалкий вид. Среди них не было почти молодежи. Подхорунжий их заявил:

— Хотя на большом заседании представителей совета съезда казаков и говорено было о воздержании от поддержки Временного Правительства, пока в нем есть Керенский, который нам много вреда принес, все же мы и наши сотни решили притти на выручку. И то только старики пришли, а молодежь не захотела и объявила нейтралитет.

На вопрос: где их офицеры? подхорунжий ответил, что их всего пять человек с двумя командирами сотен и что они пошли к коменданту дворца.

— Эй, вы там, давай пулеметы туда в угол, вот разместится народ, тогда и их пристроим,—скомандовал подхорунжий.

По приказанию начальника школы все офицеры школ и частей собрались для обсуждения мер и получения заданий по развитию обороны Зимнего. Собрались в помещении комендантской, куда вошел начальник школы.

— Волею Временного Правительства, — сказал он, — я назначен главным штабом комендантом обороны Зимнего дворца. Поэтому я пригласил вас, чтобы сделать следующие распоряжения: необходимо соблюдение полного порядка во вверенных вам частях. Далее, объясните людям, что министр Пальчинский свидетельствует о получении телеграммы о начавшемся движении казаков генерала Краснова на Петроград. Наша задача сводится сейчас к принятию мер против готовящегося нападения на дворец, для чего прошу начальников частей рассмотреть план Зимнего дворца.

Начальник школы развернул план и положил его на стол. Офицеры столпились вокруг. Комендант обороны по плану распределял посты.

В это время в комнату вбежал штаб-ротмистр-инвалид и просил дать ему и явившимся с ним инвалидам-георгиевцам работу.

Офицеры, получив задания, постепенно расходились по своим частям, обещая поручику Синегубу немедленно прислать от себя юнкеров для команды связи.

Комендант обороны сидел за столом, черкая карандашем на плане названия частей на местах, им отведенных. Поручик Синегуб сидел над полевой книжкой, ему казалось, что дело начало налаживаться.

В это время появился офицер артиллерийского взвода константиновского училища и доложил коменданту обороны, что орудия этого взвода поставлены на передки, и взвод уходит обратно в училище, согласно полученному приказанию от начальника училища, переданному командиром батареи.

Вслед за офицером явилось несколько юнкеров-константиновцев, в нерешительности остановившихся на пороге комнаты.

Комендант обороны и оставшиеся офицеры-добровольцы вскочили со своих мест и в недоумении смотрели на докладывавшего офицера.

— Как это так? — вырвалось у коменданта. — Немедленно остановите взвод.

— Поздно, — ответили юнкера. — Взвод уже выезжает. Мы просили остаться, но командир взвода объявил, что он подчиняется только своему командиру батареи. Вот мы и еще несколько юнкеров остались. Взвод уходить не хотел, но командир взвода настоял с револьвером в руках.

— Да что вы, с ума сошли? — закричал комендант на офицера, — ведь взвод, раз он здесь, подчинен только мне. Немедленно верните взвод, — приказал он одному из офицеров. — А вас я арестую, — обратился к артиллерийцу комендант.

— Я не при чем, — господин полковник, — а остаться не могу. мне приказано вернуться. — И, быстро повернувшись, он выскочил из комнаты. Несколько офицеров с криком сорвались со своих мест, хватаясь за кобуры револьверов, но комендант остановил их.

— Пускай уходят, им же будет хуже: они не дойдут до училища. Их провоцировали, и они расплатятся за измену.

— А вы, — обратился комендант к юнкерам, — присоединяйтесь к инженерной школе. Спасибо вам за верность долгу... идите. — С планом в руках комендант хотел итти в Белый зал, но в комнату вошла офицер-женщина.

— Ударная рота женского баталиона смерти прибыла в распоряжение коменданта обороны. Рота во дворе. Что прикажете делать? — вытягиваясь и отдавая честь по-военному, отрапортовала офицер-женщина.

— Спасибо. Рад. Займите 1-й этаж вместе с инвалидами. Поручик, — обратился комендант к Синегубу, — пошлите юнкера связи с госпожой... с господином офицером для указания места и сообщите об этом капитану Галиевскому.

Через некоторое время начали прибывать юнкера для связи. Синегуб отправился разыскивать столовую. Толстый, важный лакей отворил дверь. Он шагнул на яркий ослепительный свет и остановился. Клубы табачного дыма, запах винного перегара ударили в нос, запершило в горле, а от пьяного разгула каких-то офицеров, из которых некоторые почти сползли со стульев, у него закружилась голова, затошнило. Он не выдержал картины и, несмотря на голод и жажду, выскочил из комнаты.

„Пир во время чумы... позор, это — офицеры...“

Нового ничего не было. Минуты томительного ожидания бежали медленно.

Но вот скрипнула дверь, и появился бледный, измученный капитан Галиевский. Он выбился из сил, убеждая казаков. Они, узнав, что ушла артиллерия, устроили митинг и тоже решили уйти.

— Вот что, Александр Петрович, — обратился он к Синегубу, — идите к своей роте и займите баррикады у ворот. Пехотные юнкера еще этого не сделали, а между тем восставшие приближаются. Потом убедите казаков оставить вам пулеметы, которые поставьте на баррикады. Среди юнкеров найдите пулеметчиков, хотя бы чужой школы...

Синегуб бросился спасать положение. Своих юнкеров он нашел на дворе, на старом месте, куда они были выведены для предоставления места в первом этаже казакам, теперь уходящим, инвалидам, георгиевцам и ударницам. Юнкера были расстроены.

— Рота, равняйсь! Смирно! Друзья, вам предстоит честь первыми оказаться на баррикадах. Поздравляю. На плечо! Шагом марш.

И рота взяла твердый отчетливый шаг. Синегуб открыл ворота и развел роту в темноте по линии баррикад. Юнкера начали строить баррикады и приспособляться к более удобному положению для стрельбы. Отыскали пулеметчиков, и взводные юнкера определили место для пулеметов. Оставив вместо себя фельдфебеля Немировского, он побежал к казакам, захватив с собой нескольких юнкеров.

Казаки с злыми, насупленными лицами собирали свои мешки и уходили. Синегуб вскочил на ящик и стал просить, убеждать станичников не оставлять их, не выдавать. В первый момент казаков охватило раздумье, но кто-то напомнил об уходе взвода артиллерии, казаки загудели и опять задвигались. Синегуб обратился к подхорунжему.

— Бог вам судья. Идите. Но оставьте пулеметы, а то мы с голыми руками.

— Берите, — мрачно отвечал, не глядя на него, подхорунжий. — Помогай вам бог, — добавил он, — нас простите.

„Куда они идут," — подумал Синегуб.

— Ведь ворота там, — указал он казакам.

— Ну да, дураков нашли! Там юнкера, а мы через зимнюю канаву выйдем, там нам свободный пропуск обещали.

„Вот оно что! Там есть выход! Они через него уйдут, а потом через него войдут большевики!"

Он отправил вслед за казаками юнкеров заметить выход и указать его командиру георгиевцев. Другим юнкерам он поручил тащить пулеметы на баррикады, а сам пошел с докладом к коменданту обороны.

В комендантской он наскочил на капитана Галиевского. Последний поразил его еще новостью:

— Паршиво, но еще хуже растерянность правительства. Сейчас получен ультиматум с крейсера „Авроры", стоящего на Неве против дворца. Матросы требуют сдачи дворца, иначе откроют огонь по нему из орудий. Петропавловская крепость объявила нейтралитет. А вот послушайте, что докладывают юнкера-артиллеристы ушедшего взвода константиновцев,— показал он рукой на трех юнкеров. — Положение дрянь, и пехотные школы снова волнуются. А правительство хочет объявить для желающих свободный выход из дворца. Само же остается здесь и от сдачи отказывается, — сообщал рвущие мозги, душу и сердце новости капитан.

— Да чорт с ними, капитан,—заволновался Синегуб.—Чем меньше дряни во дворце останется, тем легче будет обороняться.

Вместе с капитаном они отправились за ворота осматривать баррикады. Последние были освещены. Юнкера стояли на своих местах, готовые скорее быть растерзанными, чем сойти с места. Обойдя баррикады, капитан нашел, что защитников их недостаточно, и что они слишком утомлены, а потому приказал заменить их первой ротой.

И только юнкера заняли свои места за баррикадами, как открылся огонь по дворцу, фонари потухли, и защитники очутились в темноте.

— Спокойствие соблюдать, — отдал распоряжение капитан. — Огонь открывать только по моему приказу. Чорт его знает, кто может итти к нам!

Он начал назначать юнкеров на дозоры. Вдруг снова стало светло, как днем. Опять раздались выстрелы и щелканье пуль о стены дворца.

— Свет потушить, — бегая вокруг фонарей и ища выключателя, кричал капитан. Выключателя нигде не было, он послал Синегуба за монтером. Синегуб сообразил, что ему лучше всего бежать в столовую: там старые придворные лакеи, они должны знать. На его вопрос, где во дворце монтерная, лакей, цинично улыбаясь, отвечал, что он не знает, сейчас никого нет, все разбежались и только господа офицеры изволят погуливать.

— Издеваешься, скотина, — закричал Синегуб и ударил его в лицо. — Говори, где монтерная!—И он направил на лакея револьвер.

— Сейчас, сейчас, ваше сиятельство!

Они подошли к монтерной. Синегуб заставил монтера погасить свет у ворот на площади, потом потребовал ключ, запер монтерную и повел монтера в комендантскую. Комендантская была полна, все одновременно говорили, кричали.

В центре ударниц, инвалидов-георгиевцев и юнкеров павловского военного училища стоял комендант.

Вся эта публика, волнуясь, с возбужденными глазами, а ударницы — со слезами на глазах умоляли, требовали от коменданта сделать вылазку на главный штаб, где, по их мнению, писаря перешли на сторону Ленина и, обезоружив и частью убив офицеров, арестовали генерала Алексеева. Комендант согласился, увидев, что все его уверения, что генерала Алексеева там нет, ни к чему не приведут. Произвести вылазку он разрешил только ударницам, а инвалидов оставил охранять 1-й этаж.

Синегуб выскочил к баррикадам. В тот же момент загорелись потухшие было фонари, и он увидел выстроившуюся роту ударниц, стоявшую лицом ко двору и правым флангом к выходу из-за баррикад по направлению Миллионной улицы.

— Броневик идет, — закричали с баррикад.

— Пулеметчики, приготовьтесь, — скомандовал Галиевский.—Александр Петрович, потушите огонь,— крикнул он и выстрелил в фонарь. Фонарь потух. Стрельба по второму не дала результатов, и Синегуб снова помчался во дворец.

Вместе с монтером они вошли в монтерную, но доска оказалась выключенной. Позвонили на станцию, но последняя уже была занята матросами. Весь свет был в их руках.

Синегуб отпустил монтера, а сам направился в комендантскую. Пусто. Он бросился к окну, но чей-то знакомый голос предупредил, чтобы он не подходил, что его могут убить.

С вновь вспыхнувшей энергией бросился он к воротам.

В коридоре 1-го этажа на ящике стояла фигура в солдатской шинели и выкрикивала слова. Окружающие юнкера пехотных школ волновались и гудели. Синегуб вслушался в слова оратора, который говорил, что через пять минут „Аврора“ опять откроет огонь. Кто сложит оружие и выйдет из дворца, тому будет пощада.

Холод пробежал по спине поручика. Он осторожно поднял дуло нагана над плечами впереди стоящих и, целясь в голову, взвел курок.

— С ума ты сошел, —раздалось у него над ухом, и одновременно рука легла на его правую руку, просунув палец под курок. Это был комендант обороны дворца.

— Сейчас же, поручик, отправляйтесь в комендантскую и ждите меня там. Слышите? Я вам категорически приказываю.

Синегуб поплелся в комендантскую. Скоро вошел комендант в сопровождении каких-то офицеров и нескольких штатских.

— Поручик, — обратился к нему комендант, — отправьтесь к Временному Правительству и доложите, что вылазка, произведенная ударницами, привела их к гибели, что главный штаб занят восставшими, а также доложите, что положение усложняется и что дворец кишит агитаторами. Временное Правительство вы найдете за Белым залом, да вот возьмите связь, — и он показал на изящного юношу в штатском.

Свернув в длинный коридор, поручик со связью бросились бежать. Поднявшись двумя лестницами выше, они очутились в коридоре, в конце которого завернули направо и вошли в портретную галлерею.

— Здесь час назад была брошена бомба сверху проникшими во дворец большевиками, и Временное Правительство из этого зала перешло в другой, куда я вас сейчас приведу. — рассказывал юноша связи, когда они шли по портретной галлерее, где бежать не было возможности из-за валявшихся на полу матрацев юнкеров-ораниенбаумцев.

Галлерея кончилась, и они вступили в огромный зал, по которому ходили офицеры. Приблизившись к ним, Синегуб узнал офицеров своей школы: поручиков Бакланова, Скородинского и Лохвицкого.

Отдельно от них разгуливал доктор школы Шпатов. Все они бросились к нему с вопросом: занят ли уже первый этаж?

— Да, занят, — и, выдержав паузу, докончил: — нами.

Из бледного Бакланов стал густо-красным и отошел. Скородинский промямлил, что он находится здесь в карауле, и тоже отошел. Только Лохвицкий, с перекошенным лицом, начал доказывать бесплодность дальнейшей борьбы.

— Здесь. Стучитесь, — остановился провожатый у двери, на карауле которой стоял юнкер.

Поручик объявил ему, что идет к Временному Правительству по приказанию коменданта. Юнкер постучал в дверь и пропустил Синегуба.

— Что вам угодно? — спросил его старичок в адмиральском сюртуке, сидевший налево от двери в кресле.

Синегуб отрапортовал, зачем пришел.

Разгуливавшие по комнате двое министров и один поднявшийся из-за стола подошли к нему.

В одном он узнал Терещенко, а во вставшем из-за стола — Коновалова.

— Я к вашим услугам. Что сообщите? — спросил заместитель председателя совета министров.

— Говорите, говорите скорее, — заторопил его Терещенко.

В кратких словах Синегуб изложил поручение, упомянув о стойкости юнкеров, продолжающих лежать на баррикадах.

— Поблагодарите их от нашего имени и передайте нашу твердую веру в то, что они продержатся до утра, — сказал председатель совета министров.

— А утром подойдут войска, — вставил Терещенко.

— Понимаете, надо додержаться только до утра, — добавил значительным тоном голос из-за его спины.

— Так точно, понимаю. За нашу школу я отвечаю, господин председатель совета министров.

— Спасибо, — сказал А. И. Коновалов, — пожалуйста, передайте коменданту, что правительство ожидает частых и подробных сообщений.

— А лучше, если он сам сможет вырваться и явиться к нам, — бросил Терещенко.

Когда Синегуб вышел в зал, к нему из кабинета заседания правительства быстро приблизился Пальчинский.

— Сейчас звонили по телефону из городской думы, что общественные деятели, купечество и народ с духовенством во главе идут сюда и скоро должны подойти и освободить дворец от осады. Передайте это на баррикады и оповестите всех защитников дворца. Вы сами тоже распространяйте это. Это должно поднять дух.

Синегуб и его спутник сияющие торопились обратно.

Вбегая в портретную галлерею, Синегуб прокричал новость юнкерам и под общие торжественные крики „ура" юнкеров побежал дальше, останавливаясь перед группами юнкеров и делясь с ними радостью.

А в это время снова начала разговаривать с Невы „Аврора".

За беседой Синегуб вместе с юнкером достигли коридора в первом этаже; здесь вдруг его остановил один из двух юнкеров и доложил, что человек в тулупе, мимо которого он только-что прошел, кажется, большевик, что у него под тулупом болтаются гранаты и что он кого-то здесь ждет.

— Так, отлично. Будьте внимательны. Я сейчас проверю, — поворачиваясь обратно, приказал он юнкерам.

— Послушайте, скажите, что вы здесь делаете? — подходя почти вплотную, задал он вопрос человеку в тулупе и, быстро оборвав у него крючок воротника, запрнул его на плечи, связав, таким образом, свободу действий рук неизвестного.

На раскрытых плечах лежали солдатские погоны семеновского полка, а за поясом торчало два револьвера и висело несколько гранат. Его мгновенно обезоружили. В кармане нашли кошелек, в котором оказалась расписка в по-

лучении от товарища Сидора Евдокимова пакета за № 17 от 25 октября из Зимнего дворца, от товарища N. Печати не было. Подпись была, но неразборчива.

Поручик принялся за допрос, но большевик прикинулся дурачком и понес галиматью. Синегуб приказал юнкерам отвести его наверх и сдать внутреннему караулу 2-го этажа. Прапорщик тоже пошел с ними.

По дороге в комендантскую он встретил в коридоре юнкеров-ораниенбаумцев и передал им известие о том, что городская дума направляется ко дворцу. По их отношению к этому известию было очевидно, что они вышли в коридор для того, чтобы совсем уйти из дворца. Теперь настроение их изменилось, и они решили вернуться обратно к своим постам. В это же время откуда-то выскочил офицер их школы, и порядок был восстановлен. Тут же попался на глаза один из юнкеров связи их школы, и Синегуб послал его на баррикады передать новость капитану Галлевскому.

Едва плетясь дальше, Синегуб терзался мыслью, что бесконечные коридоры никем не охраняются, и большевики свободно через какие-нибудь ходы, вроде Зимней канавки, проберутся во дворец.

Он вошел в комендантскую. В ней застал он нескольких юнкеров и верзилу вольноопределяющегося.

— Где комендант обороны? — спросил поручик.

— Комендант только-что отправился к Временному Правительству, — ответил один из юнкеров.

— Догнать, — закричал он.

Двое юнкеров бросились в коридор исполнять приказание, но сейчас же вбежали обратно.

— Там дерутся, — срывая из-за спин винтовки, говорили они.

„Ворвались", обожгла мысль Синегуба, и он бросился к коридору, вытаскивая револьвер из кобуры.

Но оказалось, что подрались двое пьяных офицеров.

Синегуб валился от усталости и голода. Вольноопределяющийся вызвался проводить его к коменданту.

— Да, да, идемте. А вы оставайтесь здесь и всем передайте, что сюда идет народ, — и он повторил известие, с которым прибежал.

— Позвольте вас взять под руку, — предложил провожатый, когда они скрылись за поворотом.

— Спасибо. Только с левой стороны, — быстро попросил поручик. В нем нарастало чувство недоверия к спутнику. Казалось подозрительным, что тот так быстро предложил свои услуги, и дернулся корпусом вперед, когда услышал, что сюда идут отцы города. И действительно, по мере приближения к цели, спутник вел себя все подозрительнее.

Наконец, в полутемном коридоре он остановился и засунул правую руку в карман, с явным намерением выхватить револьвер. В висках у Синегуба застучало. „Кто раньше?“— мелькнуло в голове. И вдруг из распахнувшейся двери вышли один за другим пять юнкеров.

— А какой у меня револьвер! Я всегда с ним, — смущенно проговорил вольноопределяющийся, вытаскивая правую руку и нерешительно подымая ее с зажатым в пальцах браунингом.

— Хороший, но вы не играйте им, оружием не играют,— громко произнес поручик, хватая левой рукой за его кисть с револьвером и подымая свой наган правой рукой.

Юнкера уже стояли рядом. Поручик приказал юнкерам взять вольноопределяющегося и отвести в портретную галлерею.

В портретной галлерее были Содом и Гоморра. Строились какие-то юнкера, то вбегая в строй, то выскакивая из него. Стоял комендант обороны. Пальчинский кричал негодующе на поручика Лохвицкого, что-то в свою очередь кричавшего Пальчинскому. У деревянной загородки будки стоял поручик Скородинский и двое юнкеров на часах. Из загородки доносились какие-то грубые восклицания и смех.

— Господин полковник, я приказываю арестовать этого большевика, — указывая на Лохвицкого коменданту обороны, горячился министр.—Чорт знает что. Второй офицер оказывается большевиком! — закончил Пальчинский и, отвернувшись от поручика к строящимся юнкерам, стал торопить построение.

— А, вы пришли, это превосходно. Вот, господин министр, офицер, за которого я вам ручаюсь, — сказал комендант обороны, указывая на Синегуба Пальчинскому.

Поручик подошел к начальнику обороны с докладом о положении вещей внизу и об аресте за странное поведение вольноопределяющегося, в котором он подозревал матроса.

Комендант поручил поручику Скородинскому принять и допросить арестованного, а Синегубу — принять командование взводом и отправиться очистить от большевиков ту часть дворца, которая примыкает к Эрмитажу, откуда они наполняют дворец.

— Вы план Зимнего знаете? — спросил его министр.

— Никак нет.

Министр попросил коменданта дать провожатого. Обратились к коменданту здания, но он также не знал ходов соединений помещений дворца.

— Это чорт знает что, — вскипел министр, и решил итти со взводом. Взвод двинулся.

— Сколько юнкеров? — спросил министр.

— 27 человек, — ответил тот.

— Достаточно. Эти негодяи очень трусливы. Важна внезапность, — проговорил министр. Он тоже не знал расположения ходов, а потому вел на лобовой удар, а не в тыл.

По дворцу беспельно слонялись отдельные группы и фигуры юнкеров. Но в первом этаже опомнившиеся ораниенбаумцы держали некоторый порядок. Стояли кое-где парные часовые, а перед выходом под арку к воротам стояла застава.

Перед выходом взвод остановился, пока министр наводил справку о положении на баррикадах.

— Баррикады в наших руках, там же почти все в руках большевиков.

Эхо ружейной и пулеметной трескотни смешивалось с писклывым жужжанием пулек, пронизывающих арку вдоль от ворот ко двору.

— По одному прямо, бегом, — скомандовал поручик, бросаясь через арку к противоположным дверям первого этажа второй части дворца.

Перебежка протекла без ранений. В вестибюле группа юнкеров вела какое-то совещание. От них узнали, что большевики тут, за следующей залой скопляются, у лестницы. Крикнув юнкерам, чтобы они присоединялись к ним, министр бросился дальше. Поручик бежал рядом. Но вот зал с лестницей наверх. По залу в отдельных кучках раскинуты солдатские и матросские фигуры, вооруженные до зубов.

С криком „сдавайся“ Синегуб бросается к лестнице, чтобы отрезать выход большевикам. Первая пара юнкеров мчится туда же. С ними рядом — министр. Вбегающие юнкера с винтовками на перевес ошеломляют группу, и первое мгновение воцаряется растерянность.

„Нас мало, а их много, они разбросаны, а мы вбегаем лишь с одной стороны“, — мелькает в голове Синегуба, и он, оборачиваясь, кричит слова команды, как будто бы за ними идет бригада, кричит, словно его режут.

Матросы и солдаты бросились удирать по лестнице. Синегуб бросился вслед за ними, продолжая кричать. Перед поворотом лестницы несколько юнкеров и поручик задерживаются, чтобы обезоружить и стащить вниз нескольких пойманных матросов. Тут же удается освободить трех захваченных матросами офицеров и группу юнкеров и вооружить их винтовками и гранатами, отобранными у матросов.

— Освободившиеся юнкера и офицеры сюда, — кричит Пальчинский и бросает Синегубу: — Дальше спешите. — К Синегубу присоединяется человек 7—9 юнкеров и прапорщиков, и они несутся вперед. Ближайший матрос, бежавший

впереди, спотыкается. Синегуб вырывает у него револьвер и сталкивает его вниз к юнкерам, для ареста и для отобрания гранат. Лестница кончилась, и преследуемые матросы и солдаты несутся уже по огромному залу. Здесь их уже больше.

В зале Синегуб с товарищами снова освобождают небольшую группу юнкеров, и часть из них уводит пленных матросов и солдат. Министра с Синегубом уже нет. Он остался внизу закреплять успех.

Синегуб с прапорщиком и пятью юнкерами бросаются в следующий зал, где повторяется та же история; но здесь пленные юнкера при появлении своих товарищей сами бросаются к столам с лежащими на них гранатами и помогают обезоружить и задержать своих бывших сторожей, пустившихся на утек. Через несколько минут пятеро юнкеров уже повели одиннадцать пленных матросов и солдат вниз.

Синегуб отдал приказание уходящим, чтобы они прислали первых попавшихся юнкеров, так как на месте их осталось всего четверо: поручик, прапорщик, юнкер из школы Шапиро и юнкер-ораниенбаумец. Ораниенбаумец остался охранять гранаты и в качестве резерва; остальные отправились в коридор искать выхода, чтобы забаррикадировать его и выполнить задачу.

Несколько дверей, освидетельствованных ими, были заперты. Но вот прапорщик открыл одну из дверей и вскрикнул. Просунувшийся матрос схватил его за ногу, и сразу оба исчезли за порогом, где на лестнице была засада. Синегуб стал стрелять; поднялся шум и топот. „Удирают, вперед!“ — и они с Шапиро бросились в темноту. Лестница оказалась винтовой и вертикальной. Они бросили гранату в просвет пролета. Взрыв. Крики. Хлопание двери и тишина.

Некоторое время они пропутались в темноте, отыскивая выход. Наконец, сообразив, что это — промежуточный этаж, бросились вверх по лестнице и очутились перед открытой дверью в освещенный коридор. В коридоре на полу около стола лежали груды гранат.

— Дорогой мой, вам не будет неприятно остаться здесь одному, пока я сбегаю за юнкерами? Я послал бы вас, но боюсь, что юнкера чужих школ вас не послушаются, — спросил у юнкера поручик.

— Ради бога, не считайтесь с желанием уберечь меня. Я не боюсь, а вам необходимо отправиться и организовать оборону, а то снова налезут, — ответил юнкер.

— Ну, я бегу. Да хранит вас господь! — И он понесся бегом к первому этажу. В вестибюле была группа юнкеров и еще каких-то людей. Он бросился к юнкерам, приказывая им немедленно отправляться к Шапиро. На его вопрос:

почему они без винтовок, и что за люди с ними, юнкер мрачно ответил, что дворец сдался.

— Вранье, не может быть! — И он бросился в дверь под арку. Под аркой шумело, гудело, двигалось. Сдавленный водоворотом человеческих тел, он очутился перед лестницей в комендантскую, занятую сплошь людьми.

Он стал соображать, что действительно что-то случилось.

— А, вот где ты! Стой, — оглушил его окрик, и мозолистая, с короткими, корявыми пальцами рука схватила его за лицо. Ужас овладел им, он рванулся в сторону и стал на ступеньку лестницы; только тут он заметил, что немного выше стоит комендант обороны, а рядом — вольноопределяющийся лейб-гвардии Павловского полка. Увидев коменданта, он сделал еще усилие и поднялся к нему. Комендант наклонился:

— Саня, я вынужден был сдать дворец. Не кипятись! Поздно, это — парламентеры. Беги к Временному Правительству и предупреди... скажи, юнкерам обещана жизнь. Это все, что я выговорил. Надо спасти правительство. О нем отказываются говорить.

„Да, да, спасать“... овладело новое горение душой Синегуба. И он повернулся бежать. Свернув за поворот, он увидел двух юнкеров, которые ему сообщили, что за стеклянной дверью, в конце коридора, — большевики с пулеметами. Юнкера нарочно стояли здесь, чтобы думали, что все хорошо, что они — часовые, и чтобы большевики не зашли в тыл баррикадам.

— Правильно. Стойте, — и он хотел бежать дальше, но увидел уходивших ораниенбаумцев.

— Юнкера, стой! — закричал он и начал говорить. Он взывал к товариществу, к традициям, говорил о позоре, которым покроются их погоны. Юнкера мрачно слушали его. А когда он выкричался, то снова пришли в движение, но тихо и безмолвно. Несколько человек бросились к нему и со слезами на глазах стали просить прощения за уход. Они говорили, что ничего не могут сделать без офицеров. „Простите, мы побежим, а то отстанем от товарищей, будет хуже“... — и они побежали к удалявшейся роте.

Опять пустынные коридоры, лестница и, наконец, портретная галлерея. Из-за портьеры показались двое юнкеров. Он спросил у них, где Временное Правительство.

— Здесь, господин поручик, — раздался голос из маленькой темной ниши. Он бросился туда. В ней лежало и стояло несколько юнкеров с винтовками в руках. Это был караул. Ему показали дверь. Он вошел. А. И. Коновалов выслушал доклад, затем Синегуб пошел в галлерею и сел на маленький диванчик.

Сидеть было приятно. В голове было так тихо, спокойно. Вышел Пальчинский, за ним—Терещенко.

— Нет, это неприемлемо, я категорически утверждаю...— доносился до него голос Пальчинского.—Надо вернуть юнкеров. Послушайте, бегите, верните юнкеров,—продолжал он.

— Ах, это ко мне относится!—и Синегуб попытался подняться, но не мог.

— Я здесь умереть могу, но бегать, бегать больше не в силах!..—проговорил он и отвернулся. Ему было больно, стыдно за свой отказ.

— Я сам пойду,—обратился Пальчинский к Терещенко,— а вы вернитесь.

Пальчинский пошел. Минуты бежали. Вдруг откуда-то начал расти гул. Гул приближался. И вот, в дверях Пальчинский. За ним—маленькая фигура с острым лицом в темной пиджачной паре и с широкой, как у художников, старой шляпчонкой на голове. Это был Антонов-Овсеенко. А несколько дальше—еще какие-то фигуры.

Синегуб поднялся, но итти не было сил. Он стал в дверях и прислонился к косяку. Мимо прошел Пальчинский, направляясь в кабинет.

Галлерею наполняли большевики. Теперь шляпчонка не звала их, а сдерживала.

— Держите, товарищи, дисциплину,—урезонивал тягучий, резкий голос.—Там юнкера.

Толпа увидела в дверях двух юношей, отважно, спокойно стоявших на коленях, чтобы можно было брать с пола патроны и гранаты, сложенные с боков дверей.

Вышел Пальчинский и махнул рукой. Шляпчонка засеменила к дверям. Толпа ринулась за ним.

— Стой,—закричал Пальчинский,—если будете так напирать, то юнкера откроют огонь.

Это сдержало толпу.

Шляпчонка, прокричав еще раз призыв к революционной дисциплине, направилась к нише и совместно с министром через нее прошла в кабинет. По винтовой лестнице начали показываться свежие революционные силы,—один бандит краше другого. Синегуб ясно видел гибель юнкеров и не мог продолжать смотреть на них.

„Почему так долго ведутся переговоры?"...—думал он.— Неужели там никто не понимает, что каждая минута дорога, что обстановка может так сложиться, что даже умереть с честью нельзя будет".

— Кто сзади, зайдите в кабинет и просите разрешения открыть огонь. Еще несколько минут, и этого нельзя будет сделать,—полушопотом приказал он юнкерам.

— Слушаюсь,— донесся до него ответ. Юнкера приняли его решение.

— Целься в матросов. Первый ряд в ближайших, второй— в следующих. По команде „огонь" дать залп. Без команды ни одного выстрела. Гранаты бросать первые к лестнице, а затем влево. Бросать — только стоя.

Но в этот момент дверь широко раскрылась, и из нее показались шляпчонка и Пальчинский. Масса, подпираемая новыми волнами все прибывающих снизу товарищей, докатилась до юнкеров на расстояние двадцати пяти шагов. В галлерее уже было душно.

Вот шляпчонка прошла мимо Синегуба. Масса, увидев его, загудела, завопила и, размахивая, кто винтовками, кто гранатами, ринулась к нему.

— Спокойствие, товарищи, спокойствие, — распластав руки в стороны, кричала, поднимаясь на носки, шляпчонка.

— Товарищи, — диким голосом завопила шляпчонка. — Товарищи. Да здравствует пролетариат и его Революционный Совет. Власть капиталистическая, власть буржуазная у наших ног, товарищи, у ног пролетариата. И теперь, товарищи пролетарии, вы обязаны проявить всю стойкость революционной дисциплины пролетариата Красного Петрограда, чтобы этим показать пример пролетариям всех стран. Я требую, товарищи, полного спокойствия и повиновения товарищам из операционного комитета Совета!..

Между тем, министр Пальчинский сообщил юнкерам решение правительства принять сдачу без всяких условий, выражая этим подчинение лишь силе, что предлагается сделать и юнкерам.

— Нет,—раздались ответы,—подчиниться силе еще рано. Мы умрем за правительство. Прикажите только открыть огонь.

— Бесцельно и бессмысленно погибнете,— убеждал новый голос.

Заместитель председателя совета министров А. И. Коновалов также обратился к юнкерам с страстным призывом отказаться от дальнейшего сопротивления, чтобы спасти свои жизни.

Юнкера молчали...

Шляпчонка вошла в кабинет, а за нею — еще несколько человек, за которыми протиснулся в кабинет и Синегуб. Остановившись у окна, он стал наблюдать.

С величайшим спокойствием смотрели частью сидящие, частью стоящие члены Временного Правительства на торжествующую шляпчонку.

Кабинет заполнялся людьми. Члены Временного Правительства отошли к дальнему углу. Около адмирала вертелись матросы и рабочие и допрашивали его.

Но вот шляпчонка-Антонов крикнул в портретную галлерею, чтобы явились 25 вооруженных товарищей для отвода сдавшихся им слуг капитала в надлежащее место для дальнейшего производства допроса.

— А где же юнкера? — спросил Синегуб прижавшегося к стене за дверью юнкера.

— Часть увели в залу, а я и еще несколько здесь. Товарищи по ту сторону шкапа у стены, — ответил он. На вопрос, что думает он делать, юнкер ответил, что останется с Временным Правительством.

— С Временным Правительством считаться не станут, — сказал Синегуб и посоветовал юнкеру попытаться выбраться с ним из дворца.

— Ну, выходите сюда, — крикнул Антонов членам Временного Правительства.

Синегуб вышел в нишу. Здесь, прислонившись к косяку, стоял маленький человек типа мастерового-мещанина.

— Послушайте, — тихо и быстро заговорил с ним Синегуб. — Вот вам деньги и выведите меня и его, — он указал на юнкера, — отсюда через дворец к Зимней канавке.

— Идите туда и там подождите. Ежели они не заметят, я выйду и попробую пронести, — согласился мастеровой.

Синегуб дернул за рукав юнкера, и они пошли, но тут возбуждение опять оставило его, и он покачиваясь едва дошел до диванчика и сел. Юнкер тоже сел рядом с ним. Мимо шли, бежали, а они сидели. Наконец, к ним подошел мастеровой.

— Их повели, — проговорил он. — Идемте. Ой, не знаю, как выйдет, там здорово вашего брата поколотили, — махнул он рукой.

Они шли медленно. Иногда их останавливали вопросами, на которые кто-нибудь из них отвечал.

Но вот коридор. Затем лестница, на которой спешащая во дворец группа солдат Павловского полка учинила им допрос и, удостоверившись, что у них нет оружия, пошла дальше.

Но вдруг мастеровому пришло в голову какое-то решение, и он побежал вслед за уходящими. Через минуту он вернулся с солдатом и, обращаясь к Синегубу, сказал, что дальше их будет вести этот солдат, а он должен вернуться назад.

Но вот и Миллионная; у Марсового поля трещали пулеметы, а сзади гудела толпа и среди нее горели огни броневиков. Они шли посреди улицы.

Навстречу попалась группа из трех человек. Это оказались преображенцы. Сопровождавший Синегуба и юнкера солдат спросил их о комитете полка, куда он предполагал сдать своих спутников для ночлега.

— Полк держит нейтралитет, и комитет взял на себя охрану порядка, он и вас примет, — пояснил провожатый. Наконец, он привел их в один из домов по Миллионной улице.

Маленькая комната. Накурено. Усталые лица двух поднятых голов повернулись от какой-то бумаги в сторону пришедших.

— Кто вы? — спросил офицер.

Пришедшие ответили, что они из Зимнего, где защищали Врем. Правительство. Офицер отказался их принять и посоветовал направиться в Павловский полк.

Сопровождающий согласился отвести их туда.

По дороге им еле удалось убежать от встретившегося матроса. Юнкер отстал, они шли вдвоем.

— А вот и наши патрули, — сказал солдат. — Я вас сдам им, чтобы они вас проводили. Да вы, ваше благородие, не говорите, что вы из дворца. Я им скажу, что из города сами пришли.

И солдат подбежал к остановившемуся патрулю. Через минуту они были в коридорах павловских казарм.

— Откуда? — спросил болтавшийся в коридоре солдат.

— Со стороны, — в голос ответили патрульные.

— Ладно; в ту дверь, если со стороны.

В комнате, куда вошел Синегуб, было грязно и пусто. Из двери налево доносились какие-то звуки. Он подошел к двери, толкнул ее и остановился в изумлении. Первое, что бросилось в глаза и удивило его, был большой стол, накрытый белой скатертью. На нем стояли цветы, бутылки, лежали груды свертков и раскрытая коробка с шоколадными конфетами. На полу, на диванчиках, на стульях и на походных кроватях спали офицеры.

Наконец, он догадался, что попал в офицерское собрание полка. Пробрался к полковнику и тихо позвал его. Тот поднял голову и окинул его осоловевшими глазами. Он попросил разрешения остаться и отдохнуть.

— Глупо. Раз вы здесь, то делайте, что хотите, но не мешайте другим, — ответил полковник, и его голова опять легла на руки.

„Боже мой, что же это? Сколько здесь офицеров! На кроватях. Цветы... Конфеты... А там!..“ — и образы пережитого смешались и переплелись в кинематографическую ленту... Забравшись под стол, он уснул, положив голову на снятое с себя пальто.

Проснулся он в десятом часу утра и вылез из-под стола. Офицеры, которые преобладали в наполнявшей комнату публике, пили чай. Около некоторых столиков сидели дамы. Через час он узнал тайну убежища для г.г. офицеров и дам. Еще за несколько дней до выступления большевиков офицеры Глав-

ного штаба и главного управления генерального штаба потихоньку обдумали мероприятия на случай такого выступления. И вот, это убежище оказалось одним из таких мероприятий. Находящиеся здесь все считались добровольно явившимися под охрану Комитета полка, объявившего нейтралитет.

Скоро приехал из Смольного комиссар и заявил о том, что он уполномочен Военно-Революционным Комитетом выдать удостоверения на право свободного прохода по городу тем из офицеров, кто явился сюда сам или кого привели патрули, забрав на улицах города, но без оружия в руках и не в районе Зимнего дворца. Тех же, кто защищал Временное Правительство, отправлять в Петропавловку. Синегуб подошел к окну и начал обдумывать свое положение. Его окликнул поручик Бакланов.

— Начальник школы убит, — сообщил он.

— Господин поручик, вы живы? Как хорошо, что я заглянул сюда, — окликнул его вдруг юнкер N.

— Здравствуйте. А что вы здесь делаете? — спросил поручик.

N ответил, что он из Смольного, куда ездил от Комитета спасения и городской думы с ходатайством о скорейшем освобождении юнкеров.

— И вот, получил бумажку — приказание — выпустить и направить в школу. Идемте со мной. Я вас выведу. Еще есть кто-нибудь из г. г. офицеров? — спрашивал юнкер N...

Через пять минут Синегуб подошел к выстроившимся юнкерам и они направились в школу. На повозке ехали избитые и Бакланов, впереди и сзади шел караул от павловского полка.

Вот, наконец, и школа. Синегуб встретился со своими друзьями и с капитаном Галиевским, грустным от общей боли, от человеческой подлости и глупости...

Полк. С. А. КОРЕНЕВ.

День 25 октября [1])

Двадцатые числа октября. Большевистские рожки и копыта начинают высовываться из-за кулис. Уже слышатся их определенные угрозы и обещания все разнести. И в первую очередь начинает трещать наш Зимний дворец—цитадель Временного Правительства. В связи с грозящей опасностью, караул в нашей комиссии увеличивается тогда втрое,—юнкеров снабжают боевыми патронами и предупреждают быть на чеку. Перед самыми окнами дворца начинается передвижение войск: дефилирует женский баталион, небольшие конные отряды казаков, громыхают орудия. В проходах дворцового здания, на канавках, припрятывается несколько пушек и пулеметов, — на Дворцовой площади сведены чуть ли не все юнкерские училища. Большевики уже не скрывают своей игры,— на их стороне запасные баталионы Павловскаго и Волынскаго полков, пулеметчики, разные нестроевые команды и значительная часть вооружившихся до зубов рабочих [1]),—развязка близка.

Я живу в гостинице „Армии и флота". Она битком, сверху до низу, набита съехавшимися с фронта офицерами. Так же много, если только не больше, напихано их в громадной „Астории", „Франции", „Бристоле" и разных офицерских общежитиях. На всю эту массу свежих людей наша петроградская бестолковщина производит гнетущее впечатление. На фронте хоть и очень плохо, но все же не так, как здесь, да и менее там заметно это полное отсутствие власти и безнаказанность попыток живьем захватить Временное Правительство. В моей гостинице офицеры собираются группами, суетятся и не знают, куда им приткнуться.

---

[1]) Из статьи „Чрезвычайная комиссия по делам о бывших министрах". „Архив Русской Революции", т. VII. Берлин, 1922 г. Автор статьи—член названной комиссии. *Ред.*

[1]) Этот перечень большевистских сил далеко не полон,—взять хотя бы забытых автором матросов, но он весьма выгодно отличается от перечня Дана, утитившегося „забыть" рабочих. Здесь, как это обычно бывает, откровенный реакционер оказывается более объективным и честным летописцем, чем пресмыкающийся социал-соглашатель. *Ред.*

Оружия, кроме шашек и револьверов, у них нет, распоряжений со стороны военного начальства о том, чтобы куда-нибудь явиться, сорганизоваться, никаких не получается, и приходится ждать, как стаду баранов, чтобы с них не только шерсть, но как бы и шкуру не спустили. Отдельные офицеры и целые их группы обращаются и ко мне: „Укажите же, что нам делать, снеситесь с кем там надо, сообщите правительству, что нас много, что мы все готовы по первому требованию выступить против зачинщиков беспорядка, пусть нас только к этому призовут". Я сам вижу, что не использовать эту силу преступно, и пробую изловить кого-либо из военных ответственных начальников, чтобы от них добиться хоть какого-нибудь толка и получить указания, как поступить. Но на военных верхах царит полнейший хаос. Верховского только-что убрали из военных министров, его помощник князь Туманов отказался занять этот пост. Александр Федорович, конечно, занят „высшею" политикой,—во главе военного округа оказался никому не ведомый и таинственно где-то прячущийся какой-то полковник Полковников,—фронт же, то-есть верховный главнокомандующий, никакого отношения к тылу не имеет, да и находится слишком далеко, чтобы вмешиваться в дело охраны столицы. Вот тут и ищи „вождей".

Туманов—мой близкий знакомый, человек он чуткий, болезненно все переживающий, но по своей честности не желающий взваливать на себя бремя фиктивной власти и быть министром в такое время, когда всякому старанию наладить хотя какой-нибудь порядок в тылу кладется предел окриками со стороны разных „Советов". Я ловлю его и упрашиваю взять дело организации обороны в свои руки. Он отмахивается от меня и страдальческим голосом выкрикивает: „Не могу, не в силах этого сделать, Керенский передал дело охраны Петрограда всецело в руки штаба округа, а там сидят если не предатели, то идиоты. Я уже десяток раз и лично, и по телефону говорил с командующим войсками и с начальником штаба округа, а они все время отвечают, что беспокоиться нечего, что все предупредительные меры приняты и порядок в городе нарушен не будет. Вот, хотите, буду при вас еще раз им телефонировать?!" Он подходит к военному телефону и сообщается с начальником штаба округа. Я слышу его отрывочные фразы: „Офицеры, находящиеся в Петрограде, могут быть собраны и сведены в боевые единицы, время еще не ушло,—отдайте лишь приказ, где и когда им собраться и в чье распоряжение поступить. — „Почему не можете? Кто приказал, — Керенский? — Вы уверены? — Хорошо, подождем до завтра". Затем он возвращается ко мне: „в штабе округа твердят

лишь одно—опасности никакой нет, и Керенский приказал не муссировать будто бы пустых слухов и не повышать и и без того беспокойного состояния мирных жителей, почему и офицеров призывать, по его мнению, нет никакой надобности, а если бы и понадобилось, то их всегда успеют собрать и использовать.—Во всяком случае, командующий войсками настаивает на том, что охрана столицы поручена ему и просит в это дело никого не вмешиваться.—Видите, я бессилен что-либо сделать".

Итти мне дальше некуда, возвращаюсь обратно в гостиницу, сообщаю офицерам о результатах переговоров, на лицах большинства вижу недоверие и иронические улыбки, многие безнадежно машут руками и уходят по своим номерам. В городе пока все тихо,—может быть, действительно наши страхи преждевременны, и время спасти положение еще не упущено.

Утром 25 октября мне, как обыкновенно, подают к гостинице экипаж, — еду во дворец с предчувствием чего-то скверного, но предвестников близкого грядущего опять-таки никаких не замечаю,—на улицах все буднично и обыкновенно: привычная глазу толпа на Невском, те же спешащие на службу чиновники и „барышни", та же деловая или фланирующая публика; по-всегдашнему ходят переполненные трамвайные вагоны, торгуют магазины, переругиваются между собою извозчики, давят прохожих ломовики, где-то перезванивают колокола, и нигде не обнаруживается пока никакого скопления войск или вообще вооруженных отрядов, нигде в свежем морозном воздухе еще не пахнет порохом. Только уже у самого дворца заметно необычное шевеление: на Дворцовой площади передвигаются с места на место, строятся и вновь расходятся не особенно многочисленные воинские части. Это правительственные войска. Их по сравнению со вчерашним днем как будто убыло,—потом уже я узнаю, что штаб обороны „за ненадобностью" отправил некоторые военные училища, в том числе и батарею михайловцев, обратно к себе в училища. Но зато Зимний дворец снаружи принял уже более боевой вид: все его выходы и проходы, ведущие на Неву, облеплены юнкерами. Они сидят у ворот и дверей дворца, галдят, хохочут, бегают по тротуару вперегонки. Их здесь, примерно, сотни четыре человек. Внутри дворца количество их тоже значительно увеличилось. Когда я приезжаю в комиссию, меня там встречают с перепуганными физиономиями наши члены. „Видели?—Это уже конец,—дождались-таки".

— В чем дело?—спрашиваю я.

Оказывается, что у Дворцового моста, с наведенными на дворец орудиями, стала пришедшая из Кронштадта

„Аврора", — кроме нее в город прибыли матросские отряды: по слухам, рабочие уже двинулись с Выборгской стороны, громя по дороге правительственные учреждения и стремясь к дворцу, чтобы захватить здесь министров. В сущности, последнее известие как-то мало походит на достоверное, тем более, что, насколько можно судить, жизнь в городе идет своим темпом и даже трамваи на Выборгскую сторону еще ходят, но „Аврора" — это уже, действительно, факт, матросы тоже не очень-то приятный для нас гостинец, и во дворце начинается хватание за голову. А тут ползут и новые зловещие слухи: „Из Кронштадта пришло еще несколько миноносцев; — правительству большевиками предъявлен ультиматум — или сдаться, или быть погребенными под развалинами Зимнего дворца"; — „какие-то банды уже окружают дворец"; — „казаки отказались выступать против большевиков, ссылаясь на то, что в городе слишком мало пехоты, которая могла бы их поддержать в этом наступлении", — и, наконец: — „Керенский куда-то сбежал"...

Последнее известие заставляет наших „выразителей народного гнева", начиная с председателя комиссии Муравьева, окончательно потерять и без того уже небольшие остатки мужества и решиться „сложить оружие", то-есть последовать примеру Керенского и тоже удрать, пока еще не поздно. Но все же до того как предпринять этот подвиг, президиум выносит постановление о предварительном получении из штаба обороны точных сведений о создавшейся обстановке и о затребовании оттуда гарантий нашей безопасности [1]). В штаб для переговоров отправляюсь я вместе с другим коллегою.

Через сквозной дворцовый проход мы с набережной Невы проходим на Дворцовую площадь. По дороге нас два раза опрашивают юнкерские заставы. У входа в помещение штаба округа мы застаем настоящий муравейник. Двери штаба стоят распахнутыми настежь, по лестницам взад и вперед снуют вооруженные и невооруженные юнкера и солдаты. Последних немного, может быть, несколько десятков человек, но юнкеров надо считать сотнями. Во втором этаже, у дверей начальника штаба, — картина: спиною к двери, расставив руки, как бы препятствуя этим проникновению в святилище, стоит офицер в кавказской форме и уговаривает ломящихся в дверь юнкеров: „Уходите, господа, — я не могу вас пустить в кабинет, начальник штаба устал, он целую ночь не спал, приходите завтра". В ответ на это слышатся негодующие голоса: „Как завтра, — да у нас теперь нет

[1]) Речь идет о Чрезвычайной Комиссии по делам о бывших (царских) министрах. *Ред.*

патронов, а без ордера начальника штаба их из склада не дают". „Мы не можем отвечать за наши посты, у нас всего по 5 патронов на человека". „Пропустите нас к начальнику штаба, или же пускай он вышлет нам ордера, иначе мы не можем защищаться в случае нападения". Офицер все так же равнодушно и упорно повторяет: „Я сказал вам, господа, не могу, понимаете — не могу, начальник штаба устал, подождите до завтра".—Блюститель начальнического покоя и нас не хочет пропустить в охраняемое им святая-святых, но мы предъявляем ему свои грамоты и, пока он недоумевает, как на них реагировать, пролезаем мимо его носа во-внутрь. В кабинете два лица: по комнате из угла в угол почти бегает, затянутый во всю боевую амуницию, сухопарый, высокий и весь какой-то серый таинственный незнакомец, — это и есть командующий войсками округа полковник Полковников;—за столом, с мирным видом довольного собою и другими человека, в полурасстегнутом кителе сидит, болтая короткими ножками, низенький, полный, с армянским лицом—фактический руководитель всеми действиями против большевиков—начальник штаба округа генерал-майор Багратуни. При нашем входе Полковников приостанавливает свое метание,—и он, и Багратуни устремляют на нас изумленные и недовольные взгляды: „еще кого нелегкая сюда принесла,—этим еще что тут нужно?" Мы объясняем, кто мы такие и с чем пришли. Говорим, что в нашем распоряжении и на нашей ответственности находится большое количество исключительных по своей ценности документов и письменных материалов, относящихся не только к последнему царствованию, но и к другим эпохам, пережитым Россиею, начиная со времен Николая I, и что мы, в целях охраны всего этого исторического богатства от расхищения, можем оказаться вынужденными обратиться за помощью к той силе, которая в данный момент будет хозяином положения, хотя бы этой силой оказались и большевики. Тут нас перебивают,—Багратуни стряхивает с себя сонную флегму и вместе с Полковниковым начинает доказывать, что мы пришли с совершенно нелепыми предположениями о возможности какой-либо опасности со стороны большевиков: „Мы вам ручаемся за то, что сегодня же к вечеру скопляющиеся на Выборгской стороне и Васильевском острове толпы сами разойдутся, а если бы этого и не случилось, то мы их разгоним. Сил у нас достаточно, да и Керенский уже утром на автомобиле выехал навстречу подходящим сюда с фронта, вызванным для усиления гарнизона войскам. Одним словом, к вечеру все будет кончено. И, во всяком случае, предупредите нашу комиссию, что если она посмеет каким-либо способом войти в сношение

с большевиками, то и вы, и все ваши члены будете немедленно же арестованы".—„Ну а как же „Аврора" и матросы?" — „Аврора" стрелять не будет, да у нее нет и снарядов, матросов же мы уже почти ликвидировали,—и вообще, повторяем,—ваши страхи совершенно неосновательны".

Решительность тона и категоричность заверений производит на нас некоторое впечатление, — обещание же нас арестовать, если мы когда-либо обратимся в Смольный, совсем уже кажется нам ободрительным. С этим мы и возвращаемся назад, но уже по дороге понемногу растериваем весь наш скудный багаж только что накопившихся надежд на то, что авось и на этот раз пронесет мимо нас грозовую тучу: очень уж смущает нас господствующая в самом центре обороны Петрограда неразбериха, эта малочисленность и бессилие единственных наших защитников—юнкеров, которым начальство не может даже удосужиться выдать необходимые боевые припасы, это очевидное отсутствие во всем деле обороны направляющей воли, эти сонные генералы и их надежды, что если не кривая, то Керенский выручит. А тут еще все та же проклятая „Аврора", хитро подмигивающая нам жерлами своих пушек, которые хотя и не будут стрелять,—как уверяют нас в этом наши полководцы,—но все же очень подозрительно смотрят прямо к нам в окна.

Результаты наших похождений мы докладываем в комиссии. Там ими не очень обрадованы. В одной из зал собираемся в пленарное заседание и большинством голосов постановляем:—ввиду невозможности забрать с собою домой находящиеся на руках у каждого документы и следственную переписку,—сложить и опечатать весь материал комиссии в одном из отдаленных помещений дворца, а самим отправиться по домам и там выжидать, чем вся эта заварыха кончится. Если все будет благополучно, то вернуться и продолжать работу по-прежнему, если же нет, то предоставить каждому на свой личный риск и страх предпринять меры к спасению тех материалов, которые будут оставлены во дворце.

Около 3 часов дня, закончив наскоро опечатание комнат, мы группами выходим из дворца, простившись с нашей, остающейся во дворце, охраной. — Около дворца юнкера по-прежнему веселятся и греются на солнце. Дальше, на Дворцовом мосту, с винтовками в руках, стоят матросы.— Один из нас, мимоходом, нарочно, чтобы определить настроение „красы и гордости революции", обращается к ближайшему матросу с каким-то вопросом,—тот хотя и не очень как будто охотно, но отвечает, и в ответе озлобленности как будто никакой не слышится.

Через мост, к нашему удивлению, идет еще трамвай. Это, как оказалось впоследствии, был уже последний пущенный с Петроградской стороны вагон. Я вскакиваю и прохожу на переднюю площадку. Вагон идет по Невскому. У арки главного штаба и на углу Морской патрули юнкеров останавливают автомобили и отводят их на Дворцовую площадь. Публика толпится на тротуарах. Магазины пока еще открыты. Вагон идет дальше.

За Полицейским мостом неожиданно попадаем уже в „оккупированную неприятелем территорию". По сторонам моста стоят два броневика с орудиями, обращенными в сторону Невы, по набережной Мойки расставлены пулеметы и видны кучки залегших, вооруженных винтовками солдат павловского полка. Несколько человек из них, во главе с подпрапорщиком бросаются на перерез нашему вагону и останавливают его. Оказывается, на передней площадке они заметили какого-то полковника. У него проверяют документы, но самого не задерживают, и мы благополучно двигаемся дальше.

По дороге никаких больше приготовлений к боевым действиям что-то не видно. На прилегающих к Невскому улицах „благополучные россияне" занимаются своими мирными делами и не предполагают вовсе, что они стоят накануне „советского рая". Однако, проходит всего одна ночь, и Россия становится Совдепией. Вместе с тем, приказывает долго жить и наша комиссия.

А. Ф. КЕРЕНСКИЙ

Гатчина [1])

I

Последний акт борьбы Революционного Временного Правительства с большевиками справа и слева продолжался с 24-го октября по 1-ое ноября 1917 г. Да, я в особенности настаиваю на том, что мы боролись сразу на два фронта. И никто никогда не будет в состоянии опровергнуть ту несомненную связь, которая существовала между большевистским восстанием и усилиями реакции свергнуть Временное Правительство и повернуть государственный корабль вспять к берегу социальной реакции.

После безуспешной для заговорщиков и столь несчастной для государства попытки свергнуть Временное Правительство вооруженной рукой ген. Корнилова, общественные группы, поддерживавшие „диктатора" и связанные с ним, постановили: не оказывать правительству в случае столкновения его с большевиками никакой помощи. Их стратегический план состоял в том, чтобы сначала не препятствовать успеху вооруженного восстания большевиков, а затем, после падения ненавистного Временного Правительства, быстро подавить большевистский „бунт". Таким образом должны были быть достигнуты, наконец, цели, поставленные корниловскому восстанию.

Военные и штатские стратеги, авторы этого замечательного плана, были твердо убеждены в том, что большевистский триумф не представит собой никакой серьезной опасности, и что в 3—4 недели „здоровые элементы" русского народа справятся с бунтующей массой и установят в России „сильную власть". Увы, выполнив блестяще первую, так сказать, пассивную часть своего плана,—„свергнув" руками большевиков Временное Правительство, наши „патриоты" оказались совершенно неспособными к осуществлению его второй, активной, действенной части,—оказались неспособными победить большевиков не только в три месяца, но и в три года!..

---

[1]) Из сборника статей автора „Издалека", Париж. *Ред.*

Около 20 октября начали большевики осуществлять в С-Петербурге свой план вооруженного восстания для свержения Временного Правительства во имя „мира, хлеба и скорейшего созыва Учредительного Собрания". Эта подготовка шла довольно успешно, в частности и потому, что остальные социалистические партии и советские группировки, относясь ко всем сведениям о готовящихся событиях, как к „контр-революционным измышлениям", даже не пытались своевременно мобилизовать свои силы, способные в нужный момент оказать сопротивление большевистским затеям, так сказать, внутри самой „революционной демократии". С своей стороны, правительство готовилось к подавлению мятежа, но, не рассчитывая на окончательно деморализованный корниловской авантюрой С.-Пб. гарнизон, изыскивало другие средства воздействия. По моему приказу с фронта должны были в срочном порядке выслать в С.-Пб. войска, и первые эшелоны с северного фронта должны были появиться в столице 24 октября.

В то же время полк. Полковников, командующий войсками С.-Пб. военного округа, получил приказ разработать подробный план подавления мятежа. Ему же было предложено своевременно взять на учет, сорганизовать все верные долгу части того же гарнизона. Полк. Полковников каждое утро лично представлял мне рапорт, при чем постоянно докладывал, что во вверенных ему войсках частей, которыми может располагать правительство, „вполне достаточно" для того, чтобы справиться с готовящимся восстанием. К великому сожалению, мы, члены правительства, слишком поздно узнали, что как сам Полковников, так и часть его штаба вели в эти роковые дни двойную игру и примыкали как раз к той части офицерства, в планы которого входило свержение Временного Правительства руками г.г. большевиков [1]).

24 октября было уже совершенно очевидно, что восстание неизбежно, что оно уже началось. Около 11 час. утра я явился в заседание Совета Республики и попросил Н. Д. Авксентьева, председателя Совета, предоставить мне, как председателю Временнаго Правительства, немедленно слово для срочнаго сообщения, которое я должен сделать Совету Республики. Получив слово, я заявил, что в моем распоряжении находятся бесспорные доказательства организации Лениным и его сотрудниками восстания против Революционного Правительства. Я заявил, что все возмож-

[1]) Это утверждение вряд ли соответствует истине. Даже Милюков считает, что „обвинение Полковникова в сознательной" „двойной игре", повидимому, идет слишком далеко („Ист. Рев." Т. I, вып. 3). *Ред.*

ные меры для подавления восстания приняты и принимаются Вр. Пр., что оно будет до конца бороться с изменниками родины и революции, что оно прибегнет без всяких колебаний к военной силе, но что для успешности борьбы правительству необходимо немедленное содействие всех партий и групп, представленных в Совете Республики, нужна помощь всего народа. Я потребовал от Совета Республики всей меры доверия и содействия. Для того, чтобы восстановить себе атмосферу того времени, представить себе настроение собравшихся, достаточно вспомнить, что во время моей речи члены Совета Республики не раз, стоя, с особым подъемом, свидетельствовали о своей полной солидарности с Временным Правительством в его борьбе с врагами народа. В минуты этого всеобщего национального взрыва только некоторые вожди партий и группировок, тесно связанных с двумя крайними флангами русской общественности, не могли преодолеть в себе жгучей ненависти к правительству Мартовской Революции: они продолжали сидеть, когда все собрание поднималось, как один человек. Эти „непримиримые" были—с.-д. интернационалист Мартов, к.-д. Милюков и два-три корниловских казака.

Уверенный в том, что представители нации до конца сознали всю исключительную тяжесть и ответственность положения, я, не ожидая голосования Совета, вернулся в штаб к прерванной срочной работе, уверенный, что не пройдет и $1^1/_2$ час., как я получу сообщение о всех решениях и деловых начинаниях Совета Республики в помощь правительству.

Ничего подобного не случилось. Совет, раздираемый внутренними распрями и непримиримыми разноречиями мнений, до поздней ночи не мог вынести никакого решения. Вожди всех анти-большевистских и демократических партий, вместо того, чтобы спешно организовывать силы своих партий для трудной борьбы с изменниками, весь этот день и весь вечер потеряли на бесконечные и бесполезные ссоры и споры.

А тем временем, уже господствуя в Смольном и готовясь к последнему удару, большевики повсюду кричали, что все утверждения о „каком-то" большевистском восстании являются измышлениями „контр-революционеров" и „врага народа" Керенского. К сожалению, хорошо зная психологию своих советских противников, большевики этим приемом превосходно достигали своих целей.

Никогда я не забуду следующей, поистине, исторической сцены. Полночь на 25 октября. В моем кабинете, в перерыве заседания Вр. Правительства, происходит между мной и делегацией от социалистических групп Совета Республики достаточно бурное объяснение по поводу приня-

той, наконец, левым большинством Совета резолюции по поводу восстания, которой я требовал утром. Резолюция эта, уже никому тогда ненужная, бесконечно длинная, запутанная, обыкновенным смертным мало понятная, в существе своем, вместо доверия и поддержки правительству, если прямо и не отказывала ему в этом, то во всяком случае совершенно недвусмысленно отделяла левое большинство Совета Республики от правительства и его борьбы. Возмущенный, я заявил, что после такой резолюции правительство завтра же утром подает в отставку, что авторы этой резолюции и голосовавшие за нее должны взять на себя всю ответственность за события, хотя, повидимому, они о них имеют очень мало представления. На эту мою взволнованную филиппику спокойно и рассудительно ответил Дан, тогда не только лидер меньшевиков, но и и. д. председателя ВЦИК. Конечно, я не могу сейчас воспроизвести историческое заявление Дана в его собственных выражениях, но за точность смысла передаваемого ручаюсь. Прежде всего Дан заявил мне, что они осведомлены гораздо лучше меня и что я преувеличиваю события под влиянием сообщений моего „реакционного штаба". Затем он сообщил, что неприятная „для самолюбия правительства" резолюция большинства Совета Республики чрезвычайно полезна и существенна для „перелома настроения в массах"; что эффект ее „уже сказывается" и что теперь влияние большевистской пропаганды будет „быстро падать". С другой стороны, по его словам, сами большевики в переговорах с лидерами советского большинства изъявили готовность „подчиниться воле большинства советов", что они готовы „завтра же" предпринять все меры, чтобы потушить восстание, „вспыхнувшее помимо их желания, без их санкции". В заключение Дан, упомянув, что большевики „завтра же" (все завтра!) распустят свой военный штаб, заявил мне, что все принятые мною меры к подавлению восстания только „раздражают массы" и что вообще я своим „вмешательством" лишь „мешаю представителям большинства советов успешно вести переговоры с большевиками о ликвидации восстания"[1]). Для полноты картины нужно добавить, что как раз в то время, как Дан делал мне это замечательное сообщение, вооруженные отряды „красной гвардии" занимали одно за другим правительственные здания. А почти сейчас же по отъезде из Зимнего дворца Дана и его товарищей, на Миллионной улице по пути домой с заседания Вр. Правительства был арестован министр исповеданий Карташев и от-

[1]) В приводимой в этом же томе статье Ф. Дан решительно оспаривает правильность изложения его речи Керенским. *Ред.*

везен тогда же в Смольный, куда Дан вернулся продолжать мирные беседы с большевиками.

Нужно признать, большевики действовали тогда с большой энергией и не меньшим искусством.

В то время, когда восстание было в полном разгаре и „красные войска" действовали по всему городу, некоторые большевистские лидеры, к тому предназначенные, не без успеха старались заставить представителей „революционной демократии" смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать. Всю ночь напролет провели эти искусники в бесконечных спорах над различными формулами, которые, якобы, должны были стать фундаментом примирения и ликвидации восстания. Этим методом „переговоров" большевики выиграли в свою пользу огромное количество времени. А боевые силы с.-р. и меньшевиков не были во-время мобилизованы. Что, впрочем, и требовалось доказать [1])!

Не успел я кончить разговор с Даном и его товарищами, как ко мне явилась делегация от стоявших в СПб. казачьих полков, насколько помню, из двух-трех офицеров и стольких же простых казаков. Прежде всего эта делегация сообщила, что казаки желают знать, какими силами я располагаю для подавления мятежа. А затем она заявила, что казачьи полки только в том случае будут защищать правительство, если лично от меня получат заверение в том, что на этот раз казачья кровь не прольется даром, как это было в июле, когда, будто, мною не были приняты против бунтовщиков достаточно энергичные меры. Наконец, делегаты особенно настаивали на том, что казаки пойдут драться только по особому личному моему приказу.

В ответ на все это я прежде всего указал казакам, что подобного рода заявления в их устах, как военно-служащих, недопустимы; в особенности сейчас, когда государству грозит опасность и когда каждый из нас должен до конца без всяких рассуждений исполнить свой долг! Затем я добавил: „Вы отлично знаете, что во время первого восстания большевиков, с 3-го по 6 июля, я был на западном фронте, где начинадось тогда наступление; вы знаете, что, бросив фронт, я 6 июля приехал в СПб. и сейчас же приказал

[1]) По поводу этого т. Троцкий пишет в своей книге „1917": „Предположения Керенского, будто специально для этого отряженные большевики вводили в заблуждение меньшевиков и эсеров насчет предстоящей ликвидации восстания, с фактической стороны неверно. На самом деле в переговорах принимали активнейшее участие те большевики, которые действительно хотели ликвидации восстания и верили в формулу социалистического правительства, созданного соглашением партий. Но объективно эти парламентеры несомненно оказывали восстанию известную услугу, питая своими собственными иллюзиями иллюзии врага" (ч. I стр. LIII—LIV). *Ред.*

арестовать всех большевистских вождей; вы знаете также, что тут же я уволил от должности командующего войсками генерала Половцева именно за его нерешительность во время этого восстания". В результате этого разговора казаки категорически заявили мне, что все их полки, расположенные в СПб., исполнят свой долг. А я тут же подписал особый приказ казакам — немедленно поступить в распоряжение штаба округа и беспрекословно исполнить все его приказания. В этот момент, в первом часу ночи на 25 октября, у меня не было ни малейших сомнений в том, что эти три донских казачьих полка не нарушат своей присяги, и я немедленно послал одного из моих адъютантов в штаб сообщить, что он может вполне рассчитывать на казаков.

Как утром в Совете Республики, я еще раз жестоко ошибся. Я не знал, что, пока я разговаривал с делегатами от полков, Совет казачьих войск, заседавший всю эту ночь, решительно высказался за невмешательство казаков в борьбу Временного Правительства с восставшими большевиками.

После моих бесед с Даном и с казаками я вернулся в заседание Вр. Правительства. Всякому легко себе представить ту напряженную нервную атмосферу, которая царила в этом ночном заседании, в особенности после известия о захвате красной гвардией центрального телеграфа, почтамта и некоторых других правительственных зданий. Однако, ни у кого из нас не возникало даже мысли о возможности каких-либо переговоров или соглашений с засевшими в Смольном предателями. В этом отношении среди членов Вр. Правительства господствовало полное единодушие. За то некоторые из так наз. правых членов правительства весьма сурово критиковали „нерешительность" и „пассивность" высших военных властей, совершенно не считаясь с тем, что нам приходилось действовать, все время находясь между молотом правых и наковальней левых большевиков. Впрочем, эти строгие критики не проявляли ни малейшего стремления принять активное участие в организации борьбы с разгоравшимся восстанием или хотя бы более энергично поддержать меня. Насколько помню, заседание Вр. Правительства окончилось в начале второго часа ночи, и все министры отправились по домам. Я остался один с А. И. Коноваловым, моим заместителем и министром торговли и промышленности. Мы были с ним неразлучны всю ночь. Да М. Терещенко оставался еще некоторое время после ухода остальных министров в Зимнем дворце.

Между тем, в городе восстание разрасталось с невероятной быстротой. Вооруженные отряды большевиков все

теснее и теснее окружали здания Зимнего дворца и штаба военного округа. Солдаты лейб-гвардии Павловского полка устроили у своих казарм в конце Миллионной улицы у Марсова поля настоящую западню, арестуя всех „подозрительных", шедших по направлению от дворца. Так был захвачен „в плен" Карташев, о котором я уже говорил, и управляющий делами Временного Правительства А. Гальперн. Дворец охранялся лишь юнкерами и небольшим отрядом блиндированных автомобилей.

Сейчас же после окончания заседания правительства ко мне явился командующий войсками вместе со своим начальником штаба. Они предложили мне организовать силами всех оставшихся верными Вр. Правительству войск, в том числе и казаков, экспедицию для захвата Смольного Института — штаб квартиры большевиков. Очевидно этот план получил сейчас же мое утверждение, и я настаивал на его немедленном осуществлении. Во время этого разговора я все с большим вниманием наблюдал за странным и двусмысленным поведением полк. Полковникова, все с большей тщательностью следя за кричащим противоречием между его весьма оптимистичными и успокоительными сообщениями и печальной известной уже мне действительностью. Ведь стало более чем очевидно, что все его рапорты последних 10 — 12 дней о настроениях в войсках, о степени готовности его собственного штаба к решительной борьбе с большевиками, — все они были совершенно ни на чем не основаны.

Во время моего совещания с командующим войсками явился Роговский, правительственный комиссар по градоначальству, с чрезвычайно тревожными новостями, ни в чем не совпадавшими с только что мной выслушанными сведениями полк. Полковникова. Между прочим, от Роговского мы узнали, что значительное количество судов Балтийского флота в боевом порядке вошло в Неву; что некоторые из этих судов поднялись до Николаевского моста; что этот мост, в свою очередь, занят отрядами восставших, которые уже продвигаются дальше, к Дворцовому мосту. Роговский обратил наше особое внимание на то обстоятельство, что большевики осуществляют весь свой план „в полном порядке", не встречая нигде никакого сопротивления со стороны правительственных войск. Мне же в отдельности Роговский передал неоднократно сделанное им наблюдение: штаб СПб. военного округа с совершенным безразличием, не проявляя никакой деятельности, следит за происходящими событиями.

Из сопоставления рапорта полк. Полковникова с докладом Роговского выводы получались кричащие. Времени бо-

лее нельзя было терять ни минуты. Нужно было все бросать и бежать в штаб!

Вместе с А. И. Коноваловым, в сопровождении адъютантов отправились мы в штаб, проходя по бесконечным, почти не освещенным коридорам и нижним залам дворца, где ложились уже спать бывшие в обычном карауле юнкера... Здание штаба было переполнено офицерами всех возрастов и рангов, делегатами различных войсковых частей. Среди этой военной толпы повсюду шныряли какие-то никому неизвестные штатские. Вбежав на третий этаж прямо в кабинет командующего войсками, я предложил полк. Полковникову сделать сейчас же подробный доклад о положении дел. Доклад окончательно убедил нас — Коновалова и меня — в невозможности больше полагаться на полк. Полковникова и на большинство офицеров его штаба. Необходимо было в срочном порядке, хотя бы в последний час, собрать вокруг себя всех оставшихся верными долгу. Нужно было сейчас же брать в свои руки командование, но только уже не для наступательных действий против восставших, а для защиты самого правительства до прихода свежих войск с фронта и до новой организации правительственных сил в самой столице!

В самом штабе округа было несколько высших офицеров, на которых я мог положиться с закрытыми глазами. Но этого было, очевидно, слишком мало. Я распорядился вызвать по телефону тех, чье присутствие мне казалось особенно нужным, и просить их явиться в штаб без замедления. Затем я решил привлечь партийные военные организации, в особенности достаточно многочисленные организации П. С.-Р.

Мучительно тянулись долгие часы этой ночи. Отовсюду мы ждали подкреплений, которые, однако, упорно не появлялись. С казачьими полками шли беспрерывные переговоры по телефону. Под разными предлогами казаки упорно отсиживались в своих казармах, все время сообщая, что вот они через 15—20 минут „все выяснят“ и „начнут седлать лошадей“. С другой стороны, партийные боевые силы не только не появились в штабе, но и в городе-то не проявляли никакой деятельности. Этот загадочный с первого взгляда факт объяснялся крайне просто. Партийные центры, увлеченные бесконечными переговорами со Смольным, гораздо более рассчитывая на авторитет „революции“, чем на силу штыков, не удосужились во-время сделать соответствующие распоряжения[1]). Вообще, нужно признать, что в то время

[1]) Сила штыков, конечно, более надежная вещь, чем бесконечные переговоры. Но необходимо иметь эти штыки, прежде чем отдавать им какие-либо

как большевики слева действовали с напряженной энергией, а большевики справа всячески содействовали их скорейшему триумфу, в политических кругах, искренне преданных революции и связанных в своей судьбе с судьбой Вр. Правительства, господствовала какая-то непонятная уверенность что „все образуется", что нет никаких оснований особенно тревожиться и прибегать к героическим мерам спасения...

Между тем, ночные часы шли. И, чем ближе утро, тем невыносимее и напряженнее становилась атмосфера в штабе. Один из преданных и честных офицеров, вызванный мною на работу, отдав себе отчет в том, что происходит в штабе, и, в особенности, присмотревшись к действиям полк. Полковникова, пришел ко мне и с волнением заявил, что все происходящее он не может назвать иначе, как изменой. Действительно, офицерство, собравшись в значительном количестве в штабе, вело себя по отношению к правительству, а в особенности, конечно, ко мне, все более и более вызывающе. Как впоследствии я узнал, между ними по почину самого полк. Полковникова шла агитация за необходимость моего ареста. Сначала об этом шептались, а к утру стали говорить громко, почти не стесняясь присутствия „посторонних". Безумная идея владела тогда многими умами: без Керенского можно будет легче и скорее справиться с большевиками; можно будет без затруднений создать, наконец, эту, так наз. сильную власть. И не подлежит никакому сомнению, что всю эту ночь полк. Полковников и некоторые другие офицеры штаба округа находились в постоянных сношениях с противоправительственными правыми организациями, усиленно тогда действовавшими в городе,—как например, с Советом союза казачьих войск, с союзом георгиевских кавалеров, с СПб. отделом союза офицеров и прочими подобного же рода военными и гражданскими учреждениями.

Конечно, эта удушливая атмосфера не могла не воздействовать на настроение всех тех защитников существующей власти, которые были в общении со штабом. Уже с вечера юнкера, настроение которых сначала было превосходно, стали терять бодрость духа; позднее начала волноваться команда блиндированных автомобилей; каждая лишняя минута напрасного ожидания подкреплений все более понижала „боеспособность" и у тех, и у других.

В седьмом часу утра, переговорив еще раз по прямому проводу со ставкой Главкосева о всяческом ускорении вы-

распоряжения. А на этот счет дела у „партийных центров" обстояли не лучше чем у самого Керенского. Это тоже немало способствовало тому „загадочному" факту, что мифические „партийные боевые силы" решительно ничем не проявили себя. *Ред.*

сылки в СПб. верных войск, так и не дождавшись казаков, которые все еще „седлали лошадей", мы с Коноваловым, разбитые впечатлениями этой ночи и переутомленные, отправились назад в Зимний хоть немного вздремнуть. Помню, как по дороге нас не раз окружали группы взволнованных юнкеров; помню, как их приходилось успокаивать и разъяснять все страшные для государства последствия успеха большевиков.

Поднявшись наверх в свои комнаты, я думал сейчас же собрать всю мою переписку, хранившиеся у меня документы и отправить все это на хранение в верное место, но тут же я понял, какое тягостное впечатление произведет эта операция на всех находящихся во дворце, и отказался от своего намерения. Таким образом, все бумаги, хранившиеся у меня лично, в некоторой своей части представлявшие значительный интерес, в следующую ночь частью попали в руки большевиков, частью просто исчезли.

Расставшись с Коноваловым, дав несколько неотложных распоряжений на „всякий случай", я остался один и бросился, не раздеваясь, на стоявшую в моем кабинете оттоманку... Заснуть я не мог: лежал с закрытыми глазами в какой-то полудреме-полуобмороке. Не прошло и часа, как из этого состояния вывел меня фельдъегерь, вошедший в комнату с экстренным сообщением: — Большевики захватили центральную телефонную станцию, и все наши (дворцовые) телефонные сообщения с городом прерваны; Дворцовый мост (под окнами моих комнат) занят пикетами матросов-большевиков; Дворцовая площадь совершенно безлюдна и пуста, о казаках ни слуху, ни духу, как и следовало, впрочем, ожидать.

Не прошло 10-и минут, как мы оба, — Коновалов и я, — со всеми моими адъютантами мчались назад в штаб округа. Здесь за два часа нашего отсутствия ничего не изменилось. Впрочем, нет, изменилось: у блиндированных автомобилей „исчезли" некоторые части, и они стали столь же полезны для обороны, как и водовозные бочки. Подходы ко дворцу и к штабу совершенно никем и ничем не охранялись. Никаких сведений о высланных с северного фронта эшелонах, хотя они должны были быть уже в Гатчине, не поступало. Начиналась паника. Переполненное с вечера здание штаба быстро пустело. Не успел я войти в штаб, как ко мне явилась делегация от охранявших дворец юнкеров. Оказалось, им большевики прислали форменный ультиматум с требованием покинуть дворец под угрозой беспощадных репрессий. Делегаты просили указаний, заявляя при этом, что большинство их товарищей готово исполнить свой долг до конца, если только есть какая-нибудь надежда на подход

каких-либо подкреплений... В этих условиях было очевидно, что только действительное появление через самое короткое время подкреплений с фронта могло еще спасти положение!

Но как их получить?! Оставалось одно: ехать, не теряя ни минуты, навстречу эшелонам, застрявшим где-то у Гатчины, и проталкнуть их в С.-Петербург, несмотря ни на какие препятствия. Посоветовавшись с министрами Коноваловым и Кишкиным (к этому времени подоспевшим), переговорив с некоторыми оставшимися верными присяге офицерами штаба, я решил прорваться через все большевистские заставы и лично встретить подходившие, как мы думали, к самому СПб. войска.

Прежде всего для этого нужно было среди белого дня проехать через весь город, не возбуждая подозрения разбросанных повсюду отрядов большевистских войск и караулов красной гвардии. Это было самое трудное... После некоторого размышления решили играть va banque; чтобы усыпить всякую настороженность, будем действовать с открытым забралом.

Я приказал подать мой превосходный открытый дорожный автомобиль. Солдат-шоффер был у меня отменно мужественный и верный человек. Один из адъютантов объяснил ему задачу. Он, ни секунды не колеблясь, ее принял. Как на зло, у машины не оказалось достаточного для долгого пути количества бензина и ни одной запасной шины. Предпочитаем — лучше остаться без бензина и шин, чем долгими сборами обращать на себя внимание. Беру с собой в дорогу, кроме двух адъютантов, еще кап. Кузьмина, пом. команд. войсками, и его штаб-офицера. Каким образом, я не знаю, но весть о моем отъезде дошла до союзных посольств. В момент самого выезда ко мне являются представители английского и, настолько помню, американского посольств с заявлением, что представители союзных держав желали бы, чтобы со мной в дорогу пошел автомобиль под американским флагом. Хотя было более чем очевидно, что американский флаг, в случае неудачи прорыва, не мог бы спасти меня и моих спутников, и даже, наоборот, во время проезда по городу мог усилить к нам ненужное совсем внимание, я все-таки с благодарностью принял это предложение, как доказательство внимания союзников к русскому правительству и солидарности с ним [1]).

Пожав последний раз руку Кишкину, взявшему на себя на время моего отсутствия руководительство обороной сто-

[1]) Эти строки носят признаки явного подражания бессмертному Ивану Александровичу Хлестакову, с которым у Александра Федоровича Керенского вообще весьма много общего. В действительности дело обстояло значительно прозаичнее. Американский автомобиль был не „предложен"

лицы, я с самым беззаботным видом сошел вместе со своими спутниками во двор штаба. Сели на автомобиль. Тут оказалась кстати и американская машина: одному из офицеров не хватило у меня места, и он поехал отдельно, но с условием держаться от нас в городе со своим американским флагом на „почтительном расстоянии". Наконец, мы пустились в наше интересное путешествие. Вся привычная внешность моих ежедневных выездов была соблюдена до мелочей. Я сел, как всегда, на свое место — на правой стороне заднего сиденья, в своем полувоенном костюме, к которому так привыкли и население, и войска. Автомобиль пошел своим обычным городским ходом. В самом начале Морской, у телефонной станции, мы проехали мимо первого большевистского караула. Потом у „Астории", у Мариинского дворца, — повсюду стояли патрули и отряды красных. Нечего и говорить, что вся улица — и прохожие, и солдаты — сейчас же узнала меня. Военные вытягивались, как будто и правда ничего не случилось. Я отдавал честь, как всегда, немного небрежно и слегка улыбаясь. Наверное, секунду спустя после моего проезда ни один из них не мог себе объяснить, как это случилось, что он не только пропустил этого „контр-революционера, врага народа", но и отдал ему честь.

Благополучно „проследовав" через центральные части города, мы, въезжая в рабочие кварталы и приближаясь к Московской заставе, стали развивать скорость и, наконец, помчались с головокружительной быстротой. Помню, как на самом выезде из города стоявшие в охранении красногвардейцы, завидя наш автомобиль, стали с разных сторон сбегаться к шоссе, но мы уже промчались мимо, а они не только попытки остановить не сделали, они и распознать-то нас не успели.

В Гатчине мы въехали прямо под ворота дворца к подъезду коменданта. Продрогли во время этой бешеной гонки до мозга костей. Узнав, к нашему величайшему удивлению, о том, что никаких эшелонов с фронта в Гатчине нет и никто тут об них ничего не слышал, решаем сейчас же ехать дальше к Луге, а если понадобится, то и до Пскова. Пускаться в такой далекий путь по осенней дороге без запасных шин и бензина было немыслимо, поэтому решаем на полчаса войти в квартиру коменданта, обогреться и выпить по стакану чаю, пока наши машины сходят за всем нужным в гараж местной автомобильной команды. Однако,

Керенскому, а захвачен его адъютантами. Также насильственно был присвоен и американский флаг, под прикрытием которого Керенский и бежал из Пинера. (См. книгу Давида Фрэнсиса „Россия из окна американского посольства.) *Ред.*

с первого шага в квартире коменданта мне его поведение показалось крайне странным. Он старался говорить как можно громче. Держался больше у открытых дверей в соседнюю комнату, откуда нас весьма внимательно рассматривали какие-то солдаты. Как будто повинуясь какому-то внутреннему голосу, я вдруг приказал задержать мой автомобиль и предложил моим спутникам без всякого чая немедленно отправляться в путь[1]). Только автомобиль под американским флагом с одним из офицеров отправился в гараж за всем необходимым.

Мы уехали во-время. Через пять минут после нашего отъезда во двор дворца влетел разукрашенный красными флагами автомобиль: это члены местного военно-революционного комитета примчались меня арестовывать. Оказывается, в Петербурге в штабе нашлись предатели, которые успели известить Смольный о моем выезде в Гатчину. Из Смольного последовало сюда распоряжение о немедленном моем задержании. Однако наш автомобиль успел-таки благополучно вырваться из города. Зато вторая наша машина попала в серьезную переделку. Более часа колесила она по улицам Гатчины. Ей удалось благополучно, хотя под выстрелами, проскочить две засады, но у третьей — одна пуля пробила шину, другая — ранила шоффера в руку. Мой же офицер, бросив машину вместе с американским флагом, должен был на своих на двоих бегом спасаться в лес. Впрочем, об этой истории мы узнали лишь на другой день, вернувшись в Гатчину с фронта.

Тогда же, выезжая из Гатчины, мы ни о чем не думали, только считали минуты и вздрагивали от каждого толчка, трепеща за шины, которые нам нечем было заменить. Не стоит описывать нашу безумную погоню за неуловимыми эшелонами с фронта, которых мы так нигде и не нашли, вплоть до самого Пскова. Въезжая в этот город, насколько помню, в девятом часу вечера, мы ничего не знали о том, что здесь происходит, известны ли уже петербургские события и если известны, то как они здесь отразились. Поэтому решили действовать с величайшей осмотрительностью и поехали не прямо в ставку главнокомандующего Северным фронтом генерала Черемисова, а на частную квартиру, к его генерал-квартирмейстеру Барановскому, бывшему начальнику моего военного кабинета. Тут я узнал, что все сведения из Петербурга самые мрачные, что в самом Пскове уже действует большевистский военно-революцион-

[1]) Помимо всех прочих своих отменных достоинств Керенский, как видим, обладает еще чем-то вроде дара ясновидения. Обыкновенный смертный в подобных обстоятельствах просто признался бы, что он немножко струхнул. *Ред.*

ный комитет; что в руках у этого комитета подписанная прап. Крыленко и матросом Дыбенко телеграмма о моем аресте в случае появления в Пскове. Сверх всего этого, я узнал и еще худшее, а именно: что сам Черемисов делает всяческие авансы революционному комитету и что он не примет никаких мер к посылке войск к Петербургу, так как считает подобную экспедицию бесцельной и вредной.

Вскоре по моему вызову явился сам главнокомандующий. Произошло весьма тяжелое объяснение. Генерал не скрывал, что в его намерения вовсе не входит в чем-нибудь связывать свое будущее с судьбой „обреченного" правительства. Кроме того, он пытался доказать, что в его распоряжении нет никаких войск, которые он бы мог выслать с фронта, и заявил, что не может ручаться за мою личную безопасность в Пскове. Тут же Черемисов сообщил, что он уже отменил свой приказ, ранее данный в соответствии с моим требованием из Петербурга, о посылке войск, в том числе и 3-го конного корпуса. — „Вы видели ген. Краснова, он разделяет наше мнение?" — спросил я. — „Ген. Краснов с минуты на минуту приедет ко мне из Острова". — „В таком случае, генерал, немедленно направьте его ко мне". — „Слушаюсь".

Генерал ушел, сказав, что идет прямо в заседание военно-революционного комитета, там окончательно выяснит настроение местных войск и вернется ко мне доложить. Отвратительное впечатление осталось у меня от свидания с этим умным, способным, очень честолюбивым, но совершенно забывшем о своем долге человеком. Значительно позже я узнал, что, по выходе от меня, генерал не только пошел в заседание военно-революционного комитета. Он пытался еще по прямому проводу уговорить командующего Западным фронтом ген. Балуева не оказывать помощи правительству.

Отсутствие Черемисова тянулось бесконечно. А между тем, каждая минута была дорога, ибо всякое опоздание могло вызвать в Петербурге событие непоправимое. Был одиннадцатый час ночи. Разве мы в Пскове могли знать тогда, что в это самое время Зимний дворец, где заседало Врем. Правительство, выдерживал бомбардировку и последние атаки большевиков?! Только в первом часу ночи явился, наконец, генерал Черемисов, чтобы заявить, что никакой помощи он правительству оказать не может.—А если, — продолжал генерал,—я остаюсь при убеждении о необходимости сопротивления, то мне нужно немедленно ехать в Могилев, так как здесь, в Пскове, мой арест неизбежен. Говоря о Могилеве, генерал Черемисов, однако, не доложил мне, что начальник штаба верх. главнокомандующего генерал Духонин дважды

добивался непосредственного разговора со мной и что дважды он ему в этом отказал, не спрашивая меня. — „А Краснов?“ — спросил я. — „Он был и уже уехал назад в Остров“. — „Но позвольте, генерал, я же просил вас прислать Краснова ко мне!..“ Насколько помню, на это восклицание ответа не последовало. Во всяком случае, я его не помню. Да и не все ли мне было равно, что ответил генерал! Его преступное уклонение от исполнения своего долга было очевидно, и я торопился от него отделаться. Ведь у меня не было никаких колебаний. Я должен вернуться в Петербург хотя бы с одним полком. Обсудив вместе с генералом Барановским и моими молодыми спутниками создавшееся положение, я решил немедленно ехать в штаб-квартиру 3-го конного казачьего корпуса в Остров, а если там ничего не выйдет,—продолжать путь в свою ставку в Могилев. В ожидании автомобиля я прилег отдохнуть. В ночной тишине, казалось, слышен был стремительный бег секунд, и сознание, что каждый потерянный миг толкал все в пропасть, было прямо невыносимо! Никогда еще я так не ненавидел этот бессмысленный бег времени все вперед, все вперед... Вдруг звонок у парадной двери! Краснов со своим начальником штаба. Желает сейчас же меня видеть. Одним прыжком я оказался в зале, где меня дожидались оба офицера. Оказывается, получив от генерала Черемисова моим именем приказ, отменявший начатое движение на Петербург, генерал Краснов в подлинности этого приказа усомнился и вместо отъезда в Остров стал тут же ночью разыскивать меня. — „А я, генерал, только что должен был ехать к вам в Остров, рассчитывая на ваш корпус и предполагая, несмотря ни на какие препятствия, итти на Петербург“.

Было решено, что мы сейчас же вместе выезжаем в Остров с тем, чтобы в то же утро с наличными силами двинуться к столице... Здесь, чтобы легче понять все последующие роковые события, нужно на минуту остановиться и вспомнить прошлое 3-го конного корпуса, с которым судьбе угодно было связать мою последнюю попытку спасти государство от большевистского разгрома. 3-й конный корпус был тот самый знаменитый корпус, который во главе с „дикой дивизией“ под командой генерала Крымова был брошен ген. Корниловым 25 августа против Временного Правительства. После „неудачи“ деморализованные части этого корпуса были разбросаны по всему Северному фронту. Вот почему вместо „корпуса“ я нашел в Острове лишь несколько полков. С другой стороны, самое участие в корниловском походе сильно понизило „дух“ корпуса, разрушило в значительной степени военную дисциплину и посе-

лило глубокое недоверие к офицерству в строевом казачестве. Офицеры же, в свою очередь, никак не могли примириться с крахом корниловского начинания и ненавидели всех его противников, в особенности, конечно, меня... Сам генерал Краснов держал себя в сношениях со мной с большой, но корректной сдержанностью. Он был, вообще, все время очень, как говорится, себе на уме. Однако у меня сразу создалось впечатление, что лично он готов все сделать для подавления большевистского мятежа. Недаром же сама судьба, чтобы дать мне возможность продолжать борьбу, толкнула ко мне Краснова [1])!

Поздней ночью мы выехали в Остров. На рассвете были там. Данный по корпусу приказ об отмене похода в свою очередь был отменен. Поход на Петербург — объявлен. Мы не знали тогда, что правительство, на помощь к которому мы спешили, уже во власти большевиков, а сами министры — в Петропавловской крепости. Но мы воочию наблюдали, с какой стремительной быстротой петербургские события отзывались на фронте, разрушая всюду дисциплину и едва налаженный после Корнилова порядок. Не успели мы въехать в Остров, как стали уже кругом поговаривать о том, что местный гарнизон решил прибегнуть к силе, дабы не выпустить казаков из города. Действительно, присутствуя утром по просьбе ген. Краснова [2]) на собрании гарнизонных и казачьих делегатов, я сам мог убедиться, что каждый лишний час промедления в городе делал самое выступление корпуса из Острова все более гадательным. Постепенно вокруг самого здания штаба 3-го корпуса скапливалась, все разрастаясь, солдатская толпа, возбужденная и частью вооруженная.

Наконец, около 10 час. утра с вокзала сообщили, что воинские поезда готовы к нагрузке. Наши автомобили пошли к станции, конвоируемые казаками, напутствуемые ревом и угрозами разнузданной солдатчины. На вокзале новые серьезнейшие затруднения: Псков под разными предлогами, чтобы сразу парализовать все наше начинание, не давал пути нашим поездам. Только мое личное присутствие среди войск устранило, в конце концов, все тайные и явные

---

[1]) „Судьбе угодно было"... „сама судьба толкнула"... К дару ясновидения Керенского следует, стало быть, присоединить еще и особливые заботы о нем „провидения". С нашей грубо-материалистической точки зрения, однако, все эти „мистерии" объясняются значительно проще: „предприятие" Керенского по сути дела было продолжением корниловского похода. В союзе его с корниловцем Красновым и с корниловским отрядом, конечно, ничего сверхъестественного и случайного не было. *Ред.*

[2]) По словам Краснова, Керенский сам просил его (еще в Пскове) об устройстве этого собрания. См. выше. *Ред.*

препятствия[1])... С большим опозданием поезда, груженные эшелонами 3-го конного корпуса, двинулись в путь. Вся „боевая мощь“ корпуса сводилась к 500—600 казаков и к нескольким пушкам. С этими „силами“ мы решились, однако, но что бы то ни стало пробить себе дорогу к Петербургу, не ожидая никаких подкреплений и нигде не останавливаясь. Теперь я думаю, что это была ошибка непоправимая. Если бы в то утро 26 октября я бы уже знал о захвате большевиками Вр. Правительства, я наверное остановился бы на этом слишком рискованном плане[2]). Основной его недостаток заключался в том, что, пробивая себе с казаками путь через все препятствия, разрушая все козни, я оставлял за собой все опасные пункты в руках враждебных правительству сил и терял всякую связь с тылом, откуда нужно было подтягивать подкрепления. Только к вечеру этого дня, в поезде под Лугой, я получил первое известие о захвате Зимнего дворца. Специальный курьер привез мне эту новость из Пскова от ген. Барановского, который, в свою очередь, получил сообщение по прямому проводу с телеграфной станции Зимнего дворца от одного из офицеров моего военного кабинета. Казалось бы, известие о катастрофе пришло ко мне из безукоризненного источника. Но, как это в жизни часто случается, самое достоверное показалось нам невероятным, а сам гонец из Пскова подозрительным.

Ведь у нас в поезде сидел офицер, покинувший Петербург утром 26 октября. По его словам, в это время правительство еще оборонялось во дворце, а в городе сила сопротивления против большевиков увеличивалась. Сопоставляя это показание „очевидца“ с содержанием привезенной из Пскова телеграммы, невольно напрашивалась мысль, что трагическое известие было сфабриковано большевистским агентом для того, чтобы вызвать смятение и деморализацию в рядах правительственных сил. И как бы ни было трудно, почти безнадежно положение Петербурга еще утром 25-го, в час нашего отъезда, нам все-таки представлялось невероятным, чтобы г.г. большевики к 2 часам утра на 26-е могли уже сделаться хозяевами дворца и штаба.

27-го на рассвете наш отряд приблизился к Гатчине, которая к этому времени была уже официально во власти

---

[1]) Здесь, как и в других случаях, Керенский несколько преувеличивает роль своей личности в истории. В действительности дело обошлось благодаря энергичным мероприятиям Краснова. Личное же присутствие Керенского лишь еще больше раздражало „солдатчину“ и мешало отправлению эшелонов. *Ред.*

[2]) Керенский, повидимому, хочет сказать, что в этом случае он о т к а з а л с я бы от своей слишком рискованной авантюры. *Ред.*

большевиков, во власти местного военно-революционного комитета и Совета. Город был переполнен различными большевистскими войсками: местной пехотой, артиллерией, матросами из Кронштадта, блиндированными автомобилями из Петербурга и т. д. Несмотря на подавляющее численное превосходство „врага", было решено город занять немедленно. Войска были выгружены, и военные операции начались. Эти операции быстро и блестяще закончились. Почти без выстрела и, насколько помню, без всяких жертв Гатчина была занята правительственными „войсками". „Революционные" же войска удирали во все стороны или сдавались со всеми своими ружьями, пулеметами, ручными гранатами и т. д. При поспешном отступлении даже один блиндированный автомобиль оказался просто брошенным своей командой... Около 4 часов дня я снова вместе со всеми спутниками входил в квартиру коменданта, которую менее двух суток тому назад так во-время и так счастливо покинул.

Подготовляя дальнейшие военные операции, я, конечно, не взял на себя военно-технического руководства и назначил ген. Краснова командующим всеми вооруженными силами петербургского района. В этой области, полагал я, на мне будет лежать обязанность всемерно поддерживать генерала Краснова, особенно в тех случаях, где его личного авторитета будет недостаточно [1]). Первым непременным условием дальнейшего успеха нашего отряда было срочное появление с фронта подкреплений, в частности, пехоты. С первой минуты появления в Гатчине я стал посылать во все стороны телеграмму за телеграммой с требованием высылки войск. Отовсюду отвечали, что войска уже высланы или высылаются. По нашим расчетам, основанным на официальных данных, первый эшелон пехоты во всяком случае должен был быть в Гатчине к вечеру 27-го. Особенно настоятельная потребность в пехоте была у нас не только потому, что было весьма затруднительно развивать операции с одной только кавалерией и артиллерией. Строевые казаки 3-го корпуса, вспоминая горький опыт корниловского похода, настойчиво добивались, чтобы рядом с ними сражались не только чужие „русские" офицеры, но и солдаты. Дело в том, что наше появление в Гатчине привлекло сюда весьма значительное количество офицеров. Это придавало нашему лагерю довольно своеобразный вид и весьма настораживало

[1]) Весьма характерное признание. Если оставить в стороне хвастливый тон, то суть его заключается в том, что не Краснов „работал" на Керенского, а Керенский на Краснова. „Судьбе угодно было", чтобы с тех пор, с легкой руки Керенского, роль „социалистической демократии" свелась исключительно к „всемерной поддержке" реакционных генералов там, „где их личного авторитета было недостаточно". *Ред.*

казачью массу; настораживало тем более, что им приходилось слышать в этой офицерской толпе разговоры и выражения, действительно, достаточно „старо-режимные". Я думаю, что именно это выявлявшееся нервное и недоверчивое к офицерству настроение линейных казаков и заставило Краснова с его штабом вести себя с побежденными с гораздо большей снисходительностью, чем, по правде сказать, это следовало. Впрочем, ген. Краснов и в Гатчине и позже в Царском Селе предпочитал, как правило, прибегать не к силе оружия, а к переговорам, речам и увещаниям. Кроме того, не принималось никаких мер к очищению занятых городов от большевистских элементов. Пользуясь этим, большевистские агенты всюду проникали, всюду путали, мешали, саботировали; постоянно распускали панические слухи, наконец, проникали в казачьи ряды, где вели ловкую пропаганду против офицерства, выставляя и меня „реакционером", „вторым Корниловым" и т. д. За все это положение вещей, конечно, ответственен я сам, но у меня было правило: не вмешиваться в распоряжения лиц, которым я поручал исполнение той или иной задачи...

Как ни были ничтожны наши силы, мы решили в ожидании подкреплений с фронта не останавливать нашего марша на Петербург. Прежде всего, мы были убеждены, что первые эшелоны, как я уже говорил, будут в Гатчине вечером 27-го или, в крайнем случае, на рассвете 28 октября. А затем нужно было использовать до конца деморализующее впечатление, которое произвело на восставших мое быстрое возвращение с войсками с фронта и захват Гатчины. Ведь никто еще не знал действительного количества штыков и орудий, бывших в нашем распоряжении.

Весь Петербург — дружественный и враждебный — был убежден, что количество „войск Керенского" исчисляется тысячами! Наконец, тактика „быстроты и натиска" диктовалась повелительно общим состоянием страны и, в особенности, фронта. Главным козырем большевистской игры был мир, мир немедленный! Захватив в ночь на 26-е здание главного телеграфа в Петербурге и самую в России могущественную царскосельскую радиостанцию, г.г. большевики стали немедленно рассылать по всему фронту свои воззвания о мире, провоцируя утомленных солдат, толкая их на стихийную демобилизацию и бегство домой, на братание и постыдные „замирения" по-ротно и по-взводно. Необходимо было попытаться разорвать все связи между петербургскими большевиками и фронтом, остановить поток отравленной пропаганды, растекавшейся повсюду по проводам и приемникам правительственного телеграфа и радио. Через 8—10 дней было бы уже поздно: фронт был бы сорван, и страну

затопила бы стихия сорвавшейся с фронта солдатчины. Выхода не было. Надо было безумно рисковать, но действовать!

Кстати, я должен сказать, что установившаяся легенда о том, что Вр. Правительство — правительство Февральской Великой Революции — исчезло с лица земли среди всеобщего равнодушия, не вполне соответствует истине. В действительности дни нашего похода на Петербург были днями, когда гражданская война вспыхнула и разгорелась по всей стране и на фронте. Героическое восстание юнкеров 29-го в Петербурге, уличные бои в Москве, Саратове, Харькове и т. д., сражения между верными Революции и восставшими войсковыми частями на фронте — все это достаточно свидетельствует, что мы были не совсем одиноки в нашей последней борьбе за честь, достоинство и самое существование нашей родины [1]).

Упадок духа и малодушие, овладевшие верхами революционных кругов; полное всеобщее почти непонимание всего рокового смысла развивающихся событий; отсутствие у одних сознания неразрывной связи судьбы самой Февральской революции с судьбой в ее недрах рожденной власти; тайные опасения у других, как бы слишком скорый провал большевиков не послужил к торжеству „реакции"; надежда у третьих руками большевиков покончить с ненавистной демократией; наконец, целый вихрь личных интриг и вожделений, — все эти процессы разложения на верхах революционной общественности свели на-нет все тогдашние попытки предотвратить крах, который, впрочем, был, быть может, неизбежен.

II

Итак, обосновавшись с утра 27-го в Гатчине, мы, подсчитав все наши наличные силы и возможные подкрепления, решили на рассвете на 28-е начать движение на Царское Село с расчетом захватить его к полудню этого же дня. Сам ген. Краснов был полон уверенности и бодрости, считал, что подкрепления ему понадобятся главным образом лишь после овладения Царским Селом для петербургской операции в тесном смысле этого слова. Настроение казаков в этот день, 27-го, было тоже еще вполне удовлетворительное. К рассвету 28-го казаки стали выступать из Гатчины, и скоро их полки в походном порядке вытянулись вдоль Царскосельского шоссе. В это же утро пришло пер-

[1]) Этим документально устанавливается, что „гражданская война вспыхнула и разгорелась" по инициативе самого Керенского и его соратников, — еще одно ценное признание, которым мы обязаны пристрастию Керенского к хвастовству и рисовке. *Ред.*

вое подкрепление: превосходный блиндированный поезд, обильно снабженный пулеметами и скорострельными легкими пушками. Но уже в это утро нас стала сильно беспокоить и волновать та медлительность, с которой продвигались к нам с фронтов эшелоны. Эта медлительность становилась прямо странной и загадочной. Позднее мы получили объяснение этой загадочности: с одной стороны, нас „саботировали" некоторые штабы, например, тот же Черемисов; с другой — большевики-железнодорожники и телеграфисты применяли к воинским поездам, шедшим в направлении на Гатчину, итальянскую забастовку. Часа через три после выступления отряда я выехал к нему вдогонку. Я нашел казаков совсем не там, где рассчитывал. К сожалению, отряд продвигался совсем не с той быстротой, с какой предполагалось, и скоро выяснилось окончательно, что казаки ни в каком случае к полудню в Царское Село не поспеют...

Следуя раз навсегда принятому правилу не вмешиваться в чисто военные операции, я остановился приблизительно на полдороге между Гатчиной и Царским Селом у здания метеорологической обсерватории, с вышки которой в бинокль все „поле военных действий" было, как на ладони. Здесь, а может быть, несколько раньше в пути, я узнал, что большевики, будто бы, успели организовать под Царским Селом кое-какое сопротивление и что ген. Краснов только после некоторого артиллерийского обстрела атакует город.

Действительно, спустя несколько времени по приезде нашем на обсерваторию мы услышали короткую канонаду. Затем все стихло. Время шло быстро. Тишина нигде не нарушалась. От генерала Краснова никаких известий не поступало. Наконец, мне надоело ждать и ничего не делать: я сам поехал к месту сосредоточения правительственных войск. Ген. Краснов доложил, что задержка объясняется лучшей, чем он думал, организацией обороны Царского Села, а также слишком ничтожной численностью нашего отряда. В продолжение этого разговора ген. Краснов как-то по-новому держал себя со мной. В конце разговора он как-то с запинкой вдруг попросил меня не оставаться на поле сражения, не особенно раздельно объясняя мне, что мое присутствие не то мешает операциям, не то волнует офицеров, — что-то в этом роде. Все это мне показалось очень странным, не совсем понятным, пока... пока я не заметил в его окружении несколько слишком хорошо известных мне фигур из Совета Союза казачьих войск. Оказалось, Совет прислал ген. Краснову особую делегацию. Тогда новый тон и новая манера генерала мне стали слишком понятны. Слишком свежо еще было в памяти поведение

казачьих полков в Петербурге в ночь на 25-е, их подозрительный нейтралитет — результат агитации этого самого Совета! Появление политиканов и интриганов из Союза казачьих войск в моем отряде почувствовалось и не предвещало ничего хорошего. Мое внимание еще больше насторожилось, когда в обсерватории, куда я вернулся после беседы с ген. Красновым, меня нагнал Савинков.

Савинков — в моем отряде, как делегат Совета Союза казачьих войск?! Это явление и тогда и потом, долгое время спустя, оставалось для меня совершенной загадкой, какими путями и средствами Савинков, — по его собственному домогательству назначенный мной начальником обороны Петербурга против войск Корнилова, — Савинков, первый в своем воззвании назвавший восставшего ген-рала изменником, — каким образом этот господин заручился доверием Совета казачьих войск — организации, до конца преданной Корнилову. Ведь все эти Дутовы, Анисимовы и пр. казаки-политиканы были злейшими врагами всего Вр. Правительства и, в особенности, моими.

В ту минуту появление в маленькой комнатке обсерватории, где я сидел, этого своеобразного „казака" сразу, с быстротой молнии осветило мне все новое положение в отряде. Сразу я не столько понял, сколько почувствовал, что появление этой „делегации" не пройдет даром для успеха моего предприятия. Я уже не помню теперь всех деталей этого короткого свидания с Савинковым. Помню только, что этот „казак" старался говорить с особо загадочным и трагическим видом; что он с особо предостерегающим тоном вопрошал меня, намерен ли я предоставить ему какое-либо официальное при себе положение. Я уклонился от всякого с ним посуществу разговора. Мы расстались [1])...

А время шло. Солнце уже склонялось к западу. Я успел еще раз по разным срочным делам съездить в Гатчину, но о решительном „натиске" на Царское Село так и не было ничего слышно. Тогда я снова поехал в отряд, на этот раз с твердым решением вмешаться в самые военные действия. Я уже более не сомневался, что внезапный паралич, охвативший все части 3-го конного корпуса, — происхождения не военно-технического, а чисто политического. Я нашел отряд Краснова уже в самом предместьи города, но не заметил ни малейшего намека на военные действия. Напротив, между „осаждавшими" и „осажденными" шли какие-то бес-

[1]) Краснов в своих воспоминаниях ни о каких „делегатах" Союза казачьих войск не упоминает, что же касается Савинкова, то, повидимому, он прибыл сюда по „собственному делу". По крайней мере, по словам Краснова, Савинков предлагал ему свои услуги вместо Керенского, предварительно „уволенного в отставку" и арестованного. См. выше. *Ред.*

конечные переговоры о добровольном подчинении, о сдаче оружия и т. д. Выяснив на месте положение, послал генералу Краснову одно или два (не помню) письменных требования немедля начать военные действия против Царского Села, открыв артиллерийский огонь. Генерал отвечал, что недостаточное количество войск, а также колебляющееся и крайне возбужденное настроение казаков заставляет его избегать всяких решительных мер. Было очевидно, что Краснов не торопился. До сих пор я остаюсь при глубочайшем убеждении, что при доброй воле командования, при отсутствии интриг, мы заняли бы Царское Село еще утром, на 12 часов раньше, чем это случилось. А это, в свою очередь, дало бы нам возможность начать следующую операцию на 24 часа раньше, т.-е. до разгрома восстания юнкеров. Как будет видно дальше, это сознательное промедление под Царским Селом было последним роковым ударом для всего нашего похода.

Уже совсем вечером ген. Краснов, так и не начиная бомбардировки, доложил мне, что намерен несколько оттянуть войска назад, отложить занятие Царского Села на завтра. Это было уже слишком. Я ни при каких условиях не мог дать на это свое согласие. Во-первых, я не видел никаких препятствий к немедленному овладению Царским Селом; во-вторых, я считал недопустимым чем-нибудь в наших действиях создать впечатление нашей слабости и неуверенности. Как раз в это время приехавший из Петербурга комиссар Северного фронта Станкевич сильно помог мне в моем разногласии с ген. Красновым. Станкевич, сообщая о положении в столице и, в частности, о состоянии там готовых нас поддержать боевых сил, всячески настаивал на ускорении нашего продвижения к Петербургу. В конце концов было решено немедленно занять Царское Село. Около полуночи, как и следовало ожидать, без всяких затруднений, что называется „без выстрела“ наш отряд вступил в город [1]). С таким же успехом это можно было сделать ровно на двенадцать часов раньше.

Поехал я на ночевку в Гатчину с самыми мрачными мыслями. Опыт этого дня не оставлял больше сомнений, что высшее командование отрядом уже во власти всяческих интриг, что мысль о благе государства померкла в умах многих [2])! Скорейшее окружение ядра казачьих войск армей-

---

[1]) Здесь Керенский опять расходится с Красновым, согласно которому город был занят с наступлением сумерок после короткого артиллерийского обстрела. *Ред.*

[2]) Керенскому, как правильно отметил его соратник Дан, везде и всюду мерещатся интриги, притом направленные лично против него, Керенского. Положительно какая-то мания величия, осложненная манией преследования.

ской пехотой, артиллерией и проч. — вот, казалось мне, единственный выход из тупика. Я надеялся твердо в Гатчине найти свежие войска, которые я мог бы сейчас же направить в Царское. В Гатчине я нашел только... телеграммы. Между тем за день нашего отсутствия настроение здесь в низах сильно ухудшилось; особенно под влиянием обнаружившегося на правом фланге (в направлении на Ораниенбаум и Красное Село) и развивающегося давления большевистских сил; действовали здесь главным образом матросские отряды [1]).

Неопределенность положения, отсутствие точных сведений, масса нелепых слухов создавали в городе, особенно к ночи, крайнюю нервозность, готовую в любую минуту превратиться в панику. Как раз в эту ночь на 29-е и в утро следующего дня в Петербурге разыгралось трагическое кровавое недоразумение. В то время в петербургском гарнизоне, — как в полках, так и в специальных войсках было еще достаточно организованных анти-большевистских элементов, готовых при первом удобном случае с оружием в руках выступить против большевиков. Если к этому добавить военные училища, которые почти все тогда готовились к восстанию, да три казачьих полка, то в Петербурге оказался бы весьма серьезный анти-большевистский „кулак", который в нужное время мог бы нанести решительный удар в тыл большевистским войскам, занимавшим у Пулкова позиции фронтом к моему отряду. Сверх того, в это время все партийные боевые организации, в особенности П. С.-Р., были тоже мобилизованы... Однако, по случайным, еще недостаточно выясненным обстоятельствам, а также и по злой воле предателей-провокаторов, все готовые к бою анти-большевистские силы были пущены в действие раньше, чем мы могли их поддержать, или, по крайней мере, воспользоваться восстанием в Петербурге для атаки на большевистские войска у Пулкова [2]).

Конечно, если бы мы были хоть во-время осведомлены о событиях в столице, мы немедленно бросились бы на помощь, как бы врасплох ни застало нас известие о восстании. Весь ужас положения заключался в том, что не только сирово-

---

Само собой разумеется, что обвинение Краснова в „сознательном промедлении" и т. п. — сущий вздор. См., напр., у Станкевича. *Ред.*

[1]) Повидимому, речь идет о правом большевистском фланге, ибо у Керенского здесь был левый фланг. *Ред.*

[2]) Еще один блестящий образчик „историографии" Керенского. Во-первых, „добавлять" юнкерские училища было не к чему, ибо других анти-большевистских частей в Питере уже не существовало. Во-вторых, никто юнкеров не провоцировал... кроме соратников Керенского. А в-третьих, помилуй бог, все „случай" да „злая воля", — надо же когда-нибудь сказаться собственному бессилию и банкротству Керенского. *Ред.*

цированное восстание вспыхнуло преждевременно, но о нем мы в Царском Селе весь день ничего не знали. Только около 4 час. дня, когда все было уже кончено, меня вызвали по телефону из Михайловского замка и сообщили о разгроме и о том, что оставшиеся в живых повстанцы умоляют о помощи... Но что я мог теперь сделать? Как мог Петербург восстать без всякой связи с нами?! Этот вопрос приводил меня в отчаяние и бешенство!

Поздно вечером в Гатчину приехали из Петербурга некоторые из моих политических друзей и привезли с собой страшный ответ на этот мучивший меня вопрос. Оказывается, по плану заговорщиков, восстание должно было вспыхнуть в нужный момент в полном соответствии с ходом военных действий моего отряда. В заседании военного совета, происходившем вечером 28 октября, никакой резолюции о немедленном восстании принято не было. Это произошло позже, когда заседание кончилось и большая часть участников его разошлась. В этот момент в помещение заседания Совета явилось несколько военных с крайне тревожным, но едва ли верным известием. Большевики, узнав о готовящихся событиях, решили с утра 29 приступить к разоружению всех военных училищ; больше поэтому медлить нельзя, завтра же нужно рисковать... И действительно, утром началась канонада, происхождение и смысл которой сначала оставались непонятными большинству гражданских и военных руководителей анти-большевистского движения в Петербурге. Провокация вполне достигла своей цели. Анти-большевистские боевые силы были во-время и на голову разбиты в столице. Я с отрядом не мог больше ни на что рассчитывать в Петербурге. Зато большевистские войска, стоявшие против нас, сильно ободрились.

Не могу не подчеркнуть поведение во время этого несчастного восстания 29-го тех казачьих полков, которые, дав лично мне торжественное обещание исполнить свой долг, так всю ночь на 26 октября и „седлали своих коней". Эти полки остались верны себе. Несмотря на предварительные переговоры, несмотря на все ужасы, творившиеся на улицах Петербурга, когда юнкера и штатские расстреливались и топились сотнями, несмотря на все это казаки остались „нейтральными". Старик Чайковский, кажется, с Авксентьевым ездили в казармы умолять казаков о помощи. Все было тщетно. По рассказам участников восстания, полк. Полковников и ему подобные тоже остались верны своей тактике: руками большевиков разбить Вр. Правительство и ненавистную демократию, а затем создать сильную национальную диктаторскую власть.

Но вернемся к Царскому Селу. Весь день 29-го прошел здесь в подготовке к бою, который должен был начаться на рассвете, 30-го, в понедельник. Фронт большевиков проходил по высотам Пулкова. На правом фланге у них было Красное Село; оттуда они могли предпринять обходное движение на Гатчину. По донесениям разведчиков, против нас было сосредоточено не менее 12—15 тысяч войск всякого рода оружия. Пулковские высоты были заняты кронштадтскими матросами, как оказалось, прекрасно вышколенными германскими инструкторами[1]). Мы располагали несколькими сотнями (600—700) казаков, превосходной, но малочисленной артиллерией, одним блиндированным поездом с полком пехоты, подоспевшим из Луги. Немного! Правда, мы имели еще целые груды телеграмм, извещавшие нас о приближении эшелонов. Около 50 воинских поездов, преодолевая всякие препятствия, пробивались к Гатчине с разных фронтов. Но ждать и медлить было уже невозможно. Большевистское командование лихорадочно накапливало силы и вот-вот могло перейти в наступление... Ранним утром 30 октября началось сражение под Пулковым. В общем, оно развивалось для нас благополучно. Большая часть большевистских войск (петербургского гарнизона) бросала свои позиции, как только начинался обстрел нашей артиллерии и при малейшем натиске казаков. Но правый фланг большевиков держался крепко. Здесь дрались кронштадтские матросы с их германскими инструкторами. В рапорте, поданном мне вечером этого дня генералом Красновым, прямо говорилось, что матросы сражались по всем правилам немецкой тактики и что среди них были взяты в плен люди, не говорившие ни слова по-русски или говорившие с немецким акцентом[2]). Бой под Пулковым закончился к вечеру для нас успешно, но этот успех нельзя было ни использовать (преследованием), ни закрепить благодаря ничтожности наших сил[3]). Генерал Краснов „в полном порядке" отошел к Гатчине. Около 8 часов вечера Краснов со штабом и в сопровождении своих утомленных и возбужденных полков въезжал уже в ворота Гатчинского дворца.

Вероятно, с точки зрения военной этот маневр был вполне объясним и резонен. Но в напряженной, колеблю-

---

[1]) Маленькое подражание большой клевете о „немецком шпионе" Ленине. По нелепости оно, однако, не уступает оригиналу. Откуда, в самом деле, могли внезапно взяться эти „германские инструкторы" и когда успели они „вышколить", да еще „прекрасно" кронштадтских матросов? *Ред.*

[2]) Краснов в своих воспоминаниях, отдавая должное стойкости матросов, ни словом не упоминает о чем-либо подобном. *Ред.*

[3]) Сущий вздор. Бой закончился отступлением красновского отряда под давлением перешедших в наступление матросов и красногвардейцев. См. выше у Краснова. *Ред.*

щейся политической обстановке того времени этот отход вызвал полное разложение в рядах правительственного отряда. Это было началом конца!

Прежде чем описывать эти последние 36 часов нашей агонии, вернусь к настроениям в отряде, пока он был в Царском Селе. Тогда понятнее будет психология последних гатчинских событий. К несчастью, все отрицательные стороны нашего гатчинского быта здесь, в Царском Селе, развернулись пышным цветом. С одной стороны, горсть наших казаков прямо растаяла в местной гарнизонной массе. Никаких мер охраны, изоляции, хотя бы внешнего порядка, принято не было. Всюду — в аллеях парка, на улицах, у ворот казарм — шли митинги, собирались кучки, шныряли агитаторы, „обрабатывавшие" наших „станичников". Как и раньше, „гвоздем" пропаганды было сравнение моего похода с Корниловым[1]). „Опять, товарищи, вас, как при царе и при Корнилове, хотят заставить избивать крестьян и рабочих, чтобы вернуть всю власть помещикам, буржуям и генералам". Строевые казаки долго не оставались равнодушными к этой демагогии и смотрели в сторону своего начальства все сумрачнее. А в это время само начальство — от самых верхов штаба до последнего хорунжего, все почти без исключения, — забыв о своих прямых обязанностях, все определеннее отдавалось политиканству. Приезжие и местные „непримиримые корниловцы" стали совсем открыто „работать" среди офицерства, сея смуту, разжигая ненависть к Вр. Правительству, требуя расправы со мной. Сам Краснов стал все решительнее сбрасывать маску своей „лойяльности". Так, когда в ответ на протянутую (по моему обычаю здороваться со всеми одинаково) руку молоденький „адъютант", сопровождавший Савинкова, ответил мне, что не может здороваться с „предателем Корнилова", то ген. Краснов покрыл „геройский поступок" этого юнца, дав ему возможность немедленно скрыться из-под ареста. Одним словом, в атмосфере интриги уже ясно чувствовались признаки измены... Мое присутствие в отряде почиталось в штабе вредным для „успеха боя" и т. д. Мешать успеху я отнюдь не желал; отказаться от борьбы с большевиками тоже не мог, не имел права. Бездействовать в Гатчине тоже было не особенно привлекательно, а главное — бесполезно. Так думал я, подводя итоги своему пребыванию в Царском Селе ночью на 30 октября, и решил: немедленно выехать навстречу

[1]) Мы уже видели, что такое сравнение было вполне основательно: шли те же корниловские части с тем же ген. Красновым во главе, против тех же большевистских Советов. Разница заключалась лишь в том, что последние были уже у власти, а Керенский шел не против корниловцев, а вместе с ними. *Ред.*

приближавшимся эшелонам. Я надеялся личным присутствием так же протолкнуть их к Царскому Селу, как я протолкнул мимо Пскова казачий корпус, и доставить Краснову пехоту еще не слишком поздно [1]). Насколько помню, рано утром 30 октября я послал записку о своем отъезде в Царское ген. Краснову. Велико было мое удивление, когда немного погодя ко мне явилась делегация Совета казачьих войск, в том числе и г. Савинков! Явившиеся заявили мне от имени всего отряда, что мой отъезд сейчас крайне нежелателен; что он может плохо отозваться на психологии линейных казаков и, следовательно, отразиться на исходе боя; что, наконец, казаки пришли сюда со мною и судьба наша теперь должна быть одинаковая. В ответ я объяснил г.г. делегатам цель моей поездки и особенно подчеркнул, что считал поездку возможной только потому, что вчерашнее поведение Краснова и его штаба создали во мне убеждение, что я здесь совсем лишний. Если же это не так, заявил я, если мой отъезд может отозваться на успехе борьбы, то я, конечно, остаюсь, но зато надеюсь, что и казаки, со своей стороны, до конца останутся вместе с Вр. Правительством. Свидание кончилось. Я остался в Гатчине, а вечером, как я уже писал, вернулся сюда весь отряд.

В самой Гатчине еще задолго до появления казаков сведения об „отступлении войск Керенского" распространились с быстротой молнии, вызвав панику у одних, удвоив энергию и дерзость других. Вечером, перед возвращением Краснова, ко мне из Петербурга явилась депутация от так называемого Викжеля (Всероссийский Исполнительный Комитет Союза Железнодорожных служащих) с наглым ультиматумом: вступить с большевиками в мирные переговоры под угрозой ж.-дор. забастовки. Был поставлен срок для ответа в несколько часов,—какой, точно не помню. Произошла бурная сцена. Особенно возмутительно было участие в этой компании умереннейшего и аккуратнейшего петербургского адвоката Виктора де-Плансона. Это предательство Викжеля делало наше положение прямо трагическим, ибо ж.-д. забастовка, ничем не отражаясь на состоянии вооруженных сил большевиков (уже сосредоточившихся в Петербурге с резервом на Балтику), отрезала бы нас от всех фронтов и от всех идущих подкреплений.

Как бы там ни было, но времени больше терять было нельзя. Надо было спешно организовывать охрану Гатчины на случай возможного теперь внезапного удара со стороны Красного Села и Ораниенбаума. Сделать это, однако, было

[1]) Опять маленькое преувеличение Керенским значения своего „личного присутствия". *Ред*

почти невозможно, несмотря на сосредоточие в городе огромного количества офицеров: все они предпочитали проводить время во дворце, в помещениях штаба, обсуждая положение, споря, а главное, все и всех критикуя. Местный комендант совсем растерялся, и каждый кругом делал, что и как хотел. Когда ген. Краснов пришел ко мне, я в разговоре сообщил ему об ультиматуме Викжеля; предупредил, что эта история еще будет иметь продолжение, и спросил его мнение. По словам генерала, выходило, что при настоящих условиях для выигрыша времени лучше, пожалуй, начать переговоры о перемирии; это несколько успокоит казаков, все с большей настороженностью посматривающих на свое начальство, и даст возможность дождаться подкреплений.

Эти подкрепления, эта пехота, сделались для казаков просто какой-то притчей во языцех. Напрасно им показывали груды телеграмм о продвижении эшелонов; напрасно доказывали, что это продвижение действительно происходит и что ждать остается уже недолго. Напрасно. Казаки все внимательнее прислушивались к речам агитаторов, все меньше доверяли нашим словам и бумагам, все более и более проявляли ожесточения и недоверия к офицерству.

В этот же вечер, 30 октября, воспользовавшись новым приездом ко мне моих друзей из Петербурга я „на всякий случай" передал им письмо на имя Н. Д. Авксентьева, который я вручал председателю Совета Республики права и обязанности министра-председателя и предлагал немедленно пополнить состав Вр. Правительства.

Я считал необходимым написать это письмо, чтобы сохранить бесспорной формальную преемственность верховной власти, полученной Вр. Правительством непосредственно из рук последнего законного представителя нашей династии [1]). Не успел я покончить с этим делом, как мне пришли сообщить, что собрание офицеров, находящихся в Гатчине, желает настоятельно, чтобы бывший управляющий военным министерством Савинков был назначен начальником обороны города; что они ему доверяют и сейчас же приступят к организации защиты. Савинков был мной назначен, что вызвало, конечно, „взрыв негодования" против меня слева и было в эту же ночь использовано большевиками, как новое доказательство моей „контр-революционности".

Только поздно ночью я, наконец, остался один в компании с моими двумя юными адъютантами, верными мне до конца. Теперь можно было подумать о своей собствен-

[1]) Эту „революционно-социалистическую" точку зрения на верховную власть кратко можно формулировать парафразом „священного писания": несть бо законная власть, аще не от династии Романовых. При такой постановке вопроса незаконность Советской власти становится самоочевидной. *Ред.*

ной судьбе, которая не представлялась нам особенно загадочной. Один из моих адъютантов недавно стал отцом семейства. После больших трудов мне удалось убедить его покинуть меня при первом удобном случае, который скоро и представился. Зато другой — девятнадцатилетний юнец, не расстававшийся со мной с первого дня революции,—не поддался никаким увещаниям; с ним мы заключили братский союз идти вместе навстречу всем случайностям. В это время мы уже чувствовали, что идем быстро к неизбежному...

Утром 31 октября я созвал военный совет. Присутствовали: ген. Краснов, его начальник штаба полк. Попов, помощник командующего войсками Петербургского Военн. Округа капитан Кузьмин, начальник обороны Гатчины Савицков, комиссар Северного фронта Станкевич и кто-то еще из корпусного штаба. Открыв заседание, я дал краткий политический обзор событий, насколько, конечно, они были мне известны; затем предложил начальнику штаба осветить военное положение и сообщить о передвижениях войск. После этого я поставил совету вопрос: следует ли принять предложение о переговорах о перемирии или категорически отвергнуть и продолжать борьбу? Мнения были поданы по старшинству, начиная с младшего. Только два мнения — Савинкова и мое — были поданы за безусловный отказ от переговоров. Все военные без исключения были единодушны: для выигрыша времени нужно сейчас же начать переговоры; иначе нельзя ручаться за спокойствие казаков. Итак, мнение большинства было ясно и очевидно! Как ни было мне это отвратительно и трудно, — другого выхода не было—нужно было выиграть время переговорами. Кроме того, невозможно было допустить, чтобы Краснов и его штаб могли сказать казакам: мы были за мир, но Керенский приказал драться. Я утвердил мнение большинства [1]), и военный совет приступил к обсуждению самой техники переговоров. Было решено, что Станкевич объездом поедет в Петербург, чтобы там передать „Комитету Спасения Родины и Революции" мои условия перемирия. К сожалению, я не могу вспомнить текста этого документа, копии которого у меня не могло сохраниться; во всяком случае, эти условия не были приемлемы для большевиков, которые после нашего отхода из Царского Села, вероятно, мало сомневались в своей победе... Два из моих условий я не забыл: во-первых, большевики должны были немедленно сложить оружие и подчиниться обновленному всенародному Вр. Правительству; во-вторых, состав и программа этого правительства должны были быть уста-

[1]) Вряд ли в этом „высочайшем утверждении" кто-нибудь нуждался. По крайней мере, Краснов о нем даже и не упоминает. *Ред.*

новлены по соглашению существующего Временного Правительства с представителями всех политических партий и „Комитетом Спасения Родины и Революции“.

Около четырех часов дня комиссар Станкевич выехал в Петербург. А ген. Краснов к этому же времени сорганизовал делегацию для командирования ее в Красное Село с целью заключения немедленного перемирия на фронте впредь до выяснения результатов миссии Станкевича. Парламентеры уехали в штаб-квартиру большевистских войск лишь вечером. Это были исключительно казаки, так как помощник командующего войсками Петербургского военного округа капитан Кузьмин, несмотря на настояния генерала Краснова, категорически отказался войти в состав мирной делегации.

Еще раньше, в середине дня, вскоре после окончания военного совета, ко мне явился Савинков с бумагой в руках. Я думал, его приход связан с каким-нибудь срочным вопросом по обороне Гатчины. Я ошибся. В бумаге значилось, что предъявитель сего Борис Савинков командируется министром-председателем и верховным главнокомандующим Керенским в его ставку для ускорения высылки подкреплений к Гатчине. „Подпишите эту бумагу, Александр Федорович, я хочу ехать“. — „Хотите ехать. Поезжайте“, — ответил я, отдавая подписанную мной бумагу, хотя поездка его в ставку была совершенно бессмысленна, хотя здесь он бросал огромной ответственности поручение, которое он только что принял и ничего еще не сделал. Смысл его отъезда был ясен нам обоим, и какие-либо объяснения по этому поводу излишни [1]). Мудрая предусмотрительность Савинкова лишь подчеркивала атмосферу, которой я был окружен! Только чудо, только героическое самоотвержение немногих защитников Гатчины могло теперь спасти положение. Но даже неминуемая грозная опасность не объединяла, не возбуждала энергии и инициативы; напротив, она как-то окончательно разлагала, отравляла все кругом. На первый план в сознании огромного большинства выступил вопрос о личном самосохранении. Казаки все с большим ожесточением посматривали на своих начальников, видя в них виновников своей гибели; офицеры, чувствуя себя все более неудобно под враждебными взглядами большевистской солдатни и своих собственных станичников, все чаще задумывались над вопросом, какой ценой они, в случае падения Гатчины, могли бы купить у большевиков свою жизнь! Казаки, так и не видя обещанной пехоты с фронта,

---

[1]) Попросту говоря, предусмотрительные крысы начали уже бежать с корабля. *Ред.*

искренно считали себя обманутыми. Офицеры не считали более нужным скрывать свою ненависть ко мне, чувствуя, что я уже не смогу защитить их от ярости толпы.

Так началась ночь на первое ноября. Никаких сведений от парламентеров „с фронта"! Никаких известий из Петербурга. В полутемных и мрачных бесконечных коридорах старого Павловского дворца толпятся настороженные, озлобленные люди. В отравленном страхом воздухе носятся самые невероятные, чудовищные слухи. Начинаются повсюду шопоты: если казаки выдадут добровольно Керенского, они свободно вернутся к себе домой, на тихий Дон... Соблазн слишком велик: мысль о предательстве овладевает умами и незаметно превращается в действительность... Долгая осенняя ночь никогда не кончится. Минуты кажутся часами. А крысы бегут с тонущего корабля. В моих комнатах, вчера еще переполненных, ни души. Тишина и покой смерти царствуют вокруг. Мы одни. Нас очень немного, неразлучных в эти месяцы, связанных общим жребием. Ничто не мешает нам теперь в тишине и покое подумать о грядущем... Уже было светло, когда, уничтожив все бумаги и письма, которые нельзя было оставить „в чужих руках", я прилег на постель и задремал с единственной мыслью: придут ли утром эшелоны?

Около 10-ти часов утра меня внезапно будят. Совершенно неожиданное известие: казаки-парламентеры вернулись с матросской делегацией во главе с Дыбенко! Основное условие матросов — безусловная выдача Керенского в распоряжение большевистских властей; казаки готовы принять это условие!

Сообщение было достаточно неожиданное! До последней минуты, несмотря на все подозрительные симптомы и мрачные предчувствия, мы не допускали такой низости! Но факт был на-лицо!

Оставалось одно: вывести на свежую воду самого Краснова и его штаб. Оставалось выяснить, замешаны ли они сами в предательстве. Посылаю тотчас же за генералом. Приходит — корректный, слишком спокойный. Я спрашиваю, известно ли ему, что происходит сейчас внизу? Прошу объяснить, как он мог допустить присутствие матросов в самом дворце? Как он мог даже не предупредить, не осведомить меня об этом? Краснов с чрезмерной длительностью стал разъяснять, что это совещание с матросами никакой особой важности не имеет, что он пристально следит через верных людей за всем там происходящим, что он считает даже эти переговоры событием чрезвычайно для нас благоприятным. — „Пусть их там говорят, — рассуждал он; — день пройдет в разговорах, спорах, и к вечеру положение разъ-

ясвится,—придет пехота и мы переменим тон". А что касается моей выдачи, то ничего подобного он никогда не примет. Я могу быть совершенно спокойным. Но ему кажется, что, может быть, было бы полезно, если бы я сам лично, конечно, с хорошим эскортом — он его даст — поехал бы в Петербург непосредственно договориться с партиями и даже со Смольным! Да, это предприятие очень рискованное, но не следует ли на него решиться во имя спасения государства?.. Так рассуждал в моем присутствии ген. Краснов. Это было мое последнее свидание с генералом. Нервность, сменившая наружное спокойствие первых минут, бегающие глаза, странная улыбка, — все это не оставляло никаких сомнений. Торг о цене моей головы, происходящий внизу, не был вовсе так безобиден, как мне старались его изобразить!

Генерал ушел. Я рассказал всю правду тем, кто еще оставался со мной. Как быть?! Все мои отношения с 3-м конным корпусом порваны самими казаками. Было бы просто безрассудно считать себя связанным с теми, кто уже изменил. Но выхода не было. Никаких мер личной охраны я не принимал. Никаких подготовительных действий на случай выезда из Гатчины не делалось. Для вооруженной борьбы нас было слишком мало — менее десятка! Уйти из дворца невозможно, — построенное Павлом I в виде замкнутого прямоугольника здание имело только один выход, уже занятый смешанным караулом из казаков и матросов. Пока мы рассуждали, как выйти из этого тупика, как выскочить из этой ловушки, явился один из высших служащих дворца с предложением помощи. По своим служебным обязанностям он знает тайный никому неизвестный подземный ход, который выходит в парк за стенами этого дворца крепости. Но, чтобы пройти к этому тайнику, нужно ждать сумерок. Что же?! Если до этого времени ничего не случится, мы уйдем из западни этим таинственным путем. Ну, а если... Я прошу моих спутников не терять времени и спасаться по-одиночке сейчас же, кто как может.

Что же касается меня лично и моего юного адъютанта, котоный и в этот час решительно отказался покинуть меня, то свою судьбу мы разрешили очень просто. Мы остаемся здесь в этих комнатах, но живыми предателям не сдадимся. Вот и все! Пока ворвавшаяся банда матросов с казаками будет искать нас в первых комнатах, мы успеем покончить свои счеты с жизнью, запершись в самые дальние. Тогда, утром 1 ноября 1917 г., это решение казалось таким простым, логичным и неизбежным... Время шло. Мы ждали. Внизу торговались. Вдруг в третьем часу дня вбегает тот самый солдат, который утром принес нам весть о Дыбенко. На

нем лица не было. Торг состоялся, объявил он. Казаки купили свою свободу и право с оружием в руках вернуться домой всего только за одну человеческую голову! Для исполнения принятого решения, т.-е. для моего ареста и выдачи большевикам, вчерашние враги по-дружески выбрали смешанную комиссию. Каждую секунду матросы и казаки могли ворвать·ся...

Какова была роль в этом деле самого Краснова? В архиве ставки верховного главнокомандующего должен храниться краткий и красноречивый ответ на этот вопрос. 1 ноября генерал Духонин получил от Краснова телеграмму: приказал арестовать главковерха; он успел скрыться. Те, кто видел тогда ген. Духонина, рассказывают, что он, получив эту телеграмму, был уверен в том, что приказ об аресте был вызван моим намерением сговориться с большевиками... Соглашение казаков с матросами, казалось, решало вопрос окончательно и делало мое положение безвыходным. Но... случилось поистине чудо!

Я не считаю еще себя вправе подробно рассказать мой уход из Гатчинского дворца. Большевики еще у власти — люди еще живы... Я ушел из дворца за 10 минут до того, как предатели ворвались в мои комнаты. Я ушел, не зная, еще за минуту, что пойду. Прошел нелепо переодетый под носом и у врагов и у предателей. Я еще шел по улицам Гатчины, когда началось преследование. Шел вместе с теми, кто меня спас, но кого я никогда раньше не знал и видел в первый раз в жизни. В эти минуты они проявили выдержку, смелость и самоотверженность незабываемую! Мои спутники, оставшиеся во дворце, все спаслись. Одни просто в суматохе, другие потайным ходом, — все ушли благополучно из слишком гостеприимного дворца... Когда на автомобиле я мчался по шоссе к Луге, оттуда к Гатчине подходили поезда с долгожданной нами п е х о т о й...

Так блестяще была выполнена первая часть хитро задуманного стратегического плана „буржуазной“ реакции. Руками большевиков Временное Правительство свергнуто, и ненавистный человек больше не у власти. Оставалось осуществить вторую главную часть — в три недели справиться с большевиками и установить в России здоровую, национальную, а главное, сильную власть... эти три недели тянутся что-то слишком долго!

Октябрьское восстание

1. Назначение в ставку

В начале октября я в Пскове получил телеграмму с предложением немедленно приехать к Керенскому в ставку. Я приблизительно догадывался, о чем могла итти речь: мои друзья из Петрограда уже предупреждали меня, что Исполнительный Комитет выдвинул мою кандидатуру в верховные комиссары, да и Керенский говорил об этом со мной. Но я всякий раз отклонял это, считая, что сам Керенский является не кем иным, как комиссаром. Более того, я находил, в особенности после поездки с Черемисовым в Ревель, что и на фронте можно обойтись без комиссара.

Так как в телеграмме был назначен срок моего приезда в ставку, а телеграмму я получил с опозданием, то мне пришлось ехать на автомобиле до ст. Невель и ловить ночной поезд из Петрограда. Однако я спешил напрасно, так как, приехав, узнал, что Керенский опасно болен, и к нему никого не допускают. Прождав день и переговорив с Духониным и Вырубовым, я решил оставить письмо и уехать. Но на следующий день Керенскому было лучше, и он принял меня, лежа в постели. Я повторил мой отказ. Он просил подождать его выздоровления. Оказалось, что большие трудности встретились в налаживании отношений с новым комитетом в ставке, состоявшим из представителей фронтовых и армейских комитетов. Комитет этот был образован отчасти по моей инициативе — надо было как-нибудь вернуть к ставке хотя бы деловое доверие армии; но отношения с комитетчиками как-то не налаживались, и меня хотели заставить расхлебывать кашу, которую я заварил. На следующий день, отчасти уступая уговорам Керенского и Духонина, отчасти же сам заинтересовавшись техническим аппаратом ставки, я согласился.

Керенский произвел на меня впечатление какой-то пустынностью всей обстановки и странным, никогда не бывалым спокойствием. Около него были только его неизменные „адъютантики". Но не было ни постоянно раньше окружав-

шей толпы, ни делегаций, ни прожектеров. И не только в Могилеве — во время болезни, — то же самое поразило меня и в Петрограде в Зимнем дворце. Появились какие-то странные посуги, и я имел редкую возможность беседовать с ним по целым часам, при чем он обнаруживал какую-то странную неторопливость. И он не раз повторял, что с нетерпением ожидает созыва Учредительного Собрания для того, чтобы, открыв его, сложить свои полномочия и немедленно, во что бы то ни стало, уйти.

Между доводами против моего назначения комиссаром в ставке, которые я выставлял Керенскому, был и тот, что я имел, как мне казалось, определенный план деятельности на фронте, но не знал, что делать в ставке. И мне казалось, что понадобится не менее двух месяцев, пока я осмотрюсь в обстановке.

— Все равно, всякому другому придется еще более, чем вам, присматриваться к обстановке. Вы, по крайней мере, не будете делать заговоров.

Однако первые выводы поспели значительно скорее. И в двадцатых числах октября я телеграфировал в Петроград о намерении приехать туда, так как необходимо переговорить о некоторых существенных вопросах. Я отчетливо помню эти вопросы, и так как они составляли не только мое личное мнение, но синтезировали настроения как штаба, так и комитета, который, кстати сказать, оказался чрезвычайно благомысляще настроенным, то мне хочется несколько подробнее остановиться на них.

1. Первым вопросом был чисто политический вопрос о войне и мире. Было бесспорно, что надо было поставить какой-то видимый предел войне и дать понять народу, что правительство серьезно озабочено приисканием способа закончить войну. Мне и очень многим казалось, что правительство не только ничего не делает в этом отношении, но даже не считает нужным скрывать свое недружелюбное отношение ко всяким разговорам о мире. И в то время как мы в ставке ежедневно получали целые груды телеграмм, рисующих отчаянное положение фронта и полный развал военной организации, Терещенко произнес в Совете Республики речь, где доказывал, что, хотя противник готов протянуть руку к миру, но мы-то еще повоюем. Я, правда, воспользовался приездом Терещенко в ставку для того, чтобы показать ему груды телеграмм, полученных в день приезда с фронта, где все говорилось о необходимости немедленного мира, но он отнесся к этому свысока —

да и разговор наш длился всего около пяти минут. Я послал еще длинную телеграмму в Петроград. Но мне казалось, что необходимо поговорить об этом лично. Тем более, что мы знали, что в правительстве был Верховский, понимавший необходимость решительных шагов к миру. Но как раз было получено известие об уходе Верховского, при чем комментарии связывали этот уход как раз с вопросом о мире.

О Верховском, как об одном из наиболее блестящих молодых офицеров, я слышал еще в юнкерском училище. Во время революции я встретил его на румынском фронте, где он вел агитацию за необходимость наступления. Я был несколько фрапирован его первыми выступлениями в качестве военного министра. Но потом понял органическую правильность его позиции. Он одинаково ярко и полно понимал неизбежность и неотвратимость революционных порядков, как и несовместимость их с техническими требованиями ведения войны. Отсюда вывод: так как революции отменить нельзя, то надо постараться отменить войну. Или, во всяком случае, коренным образом изменить ее. Но он не имел достаточного авторитета ни в общественных ни в военных кругах, чтобы быстро добиться не только согласия с его взглядами, но — что было наиболее необходимым — действия в этом направлении.

2. В связи с принятыми военными кругами планами Верховского о сокращении армии возник целый ряд стратегических трудностей. Командный состав решительно не знал, каким образом справиться с прежними задачами при меньшем количестве солдат. Помню, один из командующих армией, когда пришло известие о необходимости расформировывать третьи дивизии, впал в отчаяние. Он вынул план расположения его войск и стал показывать на плане те „дыры", которые образуются на фронте при намеченном расформировании, и доказывал, что нет никакой возможности заполнить эти дыры. Мне казалось, что положение не так страшно, так как было доподлинно известно, что на фронте противника было дивизий вдвое меньше. Кроме того, мне казалось, что на переходное время надо было принять исходной точкой зрения, что у нас не имеется боеспособной армии, не только в смысле активных операций, но даже для защиты. Поэтому надо было принять решение при натиске со стороны противника отступать, нанося арьергардными боями возможно бо́льшие потери, атакуя во фланги... Но приготовить заранее отступление верст, быть может, на 200. Этим можно было выиграть время, необходимое для перестройки всей армии. Сокращение армии следовало поставить на радикальных основаниях, сведя ее, быть может, до

15—20 корпусов избранного состава, наполовину состоящих из офицеров, прекрасно снабженных, вооруженных. Таким образом, дело шло не более не менее, как о новой стратегии и новой армии. Я делился своими мыслями с Духониным и Дидерихсом и, в общем, встретил одобрение. Но, ввиду сложности связанных с этими планами технических и политических вопросов, я считал необходимым переговорить с Керенским и его помощниками.

3. Независимо от предложений о постройке новой армии, мне казалось, что давление, оказываемое старой армией, слишком мало и не соответствует той динамической энергии, которая была заложена в ней. Как ни плох наш фронт, давление, оказываемое им на противника, значительно меньше, чем оно могло быть даже при существующих настроениях и дезорганизации. Разведка почти не производилась, и это было небрежностью не только со стороны солдат, но и со стороны командного состава. Поиски небольших партий тоже отошли в область преданий. На все мои расспросы еще на фронте я получал неизменный ответ:

— Нет желания, нет настроения.

Между тем, было ясно, что в войсках появились воинственные и грабительские инстинкты, появилась решительность и предприимчивость, правда, направленная на объекты в тылу, а не на фронте. Нельзя ли эту предприимчивость направить на противника? Но было ясно, что этого нельзя было сделать без материального поощрения. В войсках роптали, что рабочие загребают тысячи, в то время как солдат на фронте должен был довольствоваться своей несчастной пятеркой. Надо было предоставить солдатам подработать на фронте. И я предлагал назначить определенные награды за военные трофеи, и притом очень крупные награды, несравнимые с теми жалкими четвертными билетами, которые изредка наши штабы выбрасывали смелым разведчикам и удачливым охотникам. Я предлагал установить тысячу рублей за одного пленного, пятьсот рублей за винтовку противника, тысячу рублей за пулемет, так, чтобы это служило достаточным стимулом для целой партии охотников; не следует забывать, что в то время жалованье рядового офицера было что-то около 200 рублей, жалованье товарища министра—1250 р. Мне делали возражения, что такие награды разорительны для казны. Но я указывал, что даже если взять худший в финансовом отношении случай, — что армия, прельстившись такими наградами, берет в плен миллион солдат, то уплатить придется тогда миллиард... Но ведь война была бы кончена сразу при таком давлении на фронте. Указывалось на безнравственность такой меры... Но мне казалось правильнее направить

инстинкты народа на внешнего врага, чем допустить их несдержанный разгул на внутренних отношениях [1]).

4. В последнее время ставку занимал вопрос о поддержании безопасности в тылу и во всей стране. Постоянно приходили известия о страшных грабежах, разгромах имений, разгромах железнодорожных станций и пр. Никакие меры не давали надежного результата, так как сами охраняющие войска были так же ненадежны, как и войска, творящие безобразия, и часто сами присоединялись к бесчинствам. Мне казалось необходимым поставить на очередь создание специальных надежных отрядов из социально-высших классов [2]). Мне казалось, необходимо было создать возможно более военных училищ, так как под этим видом легче всего было осуществить меру. Я представлял себе, что в каждом значительном городе или около каждой значительной станции должна быть одна школа прапорщиков, которая должна была служить опорой порядка.

Керенский сам предлагал каждые две недели приезжать в ставку. Но что-то его задержало в Петрограде. Поэтому я решил ехать сам. Духонин тоже высказал желание приехать в Петроград для переговоров с Маниковским, и мы условились, что, приехав в Петроград, я повлияю на Керенского, чтобы тот немедленно вызвал из ставки Духонина.

2. Восстание в Петрограде

24 октября я приехал в Петроград с грудой всевозможных докладов и материалов. Керенский встретил меня в приподнятом настроении. Он только что вернулся из Совета Республики, где произнес резкую речь против большевиков и был встречен обычными и всеобщими овациями.

— Ну, как вам нравится Петроград?—встретил он меня.

Я выразил недоумение.

— Как, разве вы не знаете, что у нас вооруженное восстание?

Я рассмеялся, так как улицы были совершенно спокойны, и ни о каком восстании не было слышно. Он тоже относился несколько иронически к восстанию, хотя и озабоченно. Я сказал, что нужно будет положить конец этим вечным потрясениям в государстве и решительными мерами расправиться с большевизмом. Он ответил, что его мнение такое

---

[1]) Такой взгляд, конечно, не является исключительной привилегией Станкевича. Это общепринятый и весьма распространенный «стратегический» маневр эксплоататорских классов. *Ред.*

[2]) Короче это называется белой гвардией. *Ред.*

же, и что теперь уже никакие Черновы не помогут ни Каменевым, ни Зиновьевым... если только удастся справиться с восстанием. Но относительно последнего было так мало сомнений, что Керенский немедленно согласился, чтобы я вызвал Духонина в Петроград, и я тотчас послал соответствующую телеграмму.

Керенский просил меня отправиться в Совет Республики посмотреть, что там делается, и переговорить с лидерами относительно определенности и решительности резолюции.

Мариинский дворец был переполнен. Кроме членов Совета [1]), в кулуарах и ложах было много представителей „чиновного мира" и много военных. Было волнение. Партии совещались по фракциям, столковывались между собой... Но безрезультатно, так как эсеры провалили в своей фракции пятую по счету резолюцию и, повидимому, теряли надежду столковаться на чем-нибудь. Я, между прочим, заговорил о необходимости организовать гражданскую оборону из студенчества, но меньшевики отшатнулись от меня, как от зачумленного.

— И так правительство наделало много глупостей, вы хотите еще белую гвардию устраивать...

Но вот началось голосование резолюций, в темную, без предварительного сговора. Принятой оказалась резолюция, составленная Даном, о том, что Совет возлагает ответственность за восстание большевиков на правительство и на большевиков и предлагает передать дело обороны отечества и революции какому-то комитету спасения, составленному из представителей городской думы и партий. Я тут же сделал вывод, что такая резолюция составляет не что иное, как отказ от поддержки правительства, и высказал предположение, что последнее подаст в отставку. Сообщив по телефону Керенскому резолюцию, я тотчас сам поехал в Зимний дворец; Керенский был в изумлении и в волнении и заявил, что при таких условиях ни минуты не останется во главе правительства. Я горячо поддерживал его решение и вызвал по телефону Авксентьева и других лидеров партий. Те приехали. Решение Керенского их страшно изумило, так как они считали резолюцию чисто теоретической и случайной и не думали, что она может повлечь практические шаги. Особенно изумлялся Авксентьев, когда Керенский заявил, что передает власть ему, как председателю Совета. Начались уговаривания и убеждения, которые продолжались всю ночь.

К утру Керенский согласился остаться у власти. Но уже в течение ночи восстание, не встречая достаточно энергич-

[1]) Т.-е. „Совета республики" или „предпарламента". *Ред.*

ного сопротивления, получило значительное развитие. Я сам был крайне изумлен, когда мой автомобиль в нескольких шагах от Зимнего дворца, на Миллионной, был задержан каким-то странным патрулем, который отправил меня в казармы полка. Там меня повели в революционный комитет, но сейчас же отпустили. Это были восставшие, которые, однако, действовали крайне нерешительно. Я из дому протелефонировал об этом в Зимний, но получил оттуда успокоительные заверения, что это недоразумение.

На утро, однако, стало ясно, что события приняли такой оборот, что кризис власти не может разрешиться в обычном порядке: почти весь город был в руках восставших. Керенского я застал в штабе. Он не спал всю ночь и теперь собирался уехать. Мы проводили его. Он поехал на своем собственном автомобиле с адъютантами в полной форме. Правительство и все тающая небольшая кучка штабных военных остались в Зимнем дворце и в штабе. Я сел писать воззвание к армии. Правительство, под председательством Коновалова заседавшее в Зимнем дворце, одобрило текст. Я немедленно сам отправился на телеграф и отправил воззвание в ставку. Кроме того, я соединился с Духониным, который уже ночью получил известия из штаба о восстании. Духонин заверил меня, что приняты все меры к посылке войск в Петроград и что некоторые части должны были уже немедленно начать прибывать. Я вернулся в правительство и сообщил о моих переговорах. Правительство обсуждало вопрос о том, кого избрать генерал-губернатором Петрограда. После некоторых споров и колебаний избрали Кишкина. Тот сейчас же начал совещаться с Багратуни и Пальчинским.

Все это время по телефону приходили печальные и тревожные известия. Заняты вокзалы. Занят телеграф и телефон. Занят Мариинский дворец, и члены Совета, собравшиеся туда, так как предполагалось заседание для пересмотра вчерашней резолюции, изгнаны.

Вышел на площадь. Она охранялась юнкерами. Но прислушиваясь к разговорам, я убедился, что юнкера разъедены обывательскими разговорами и, по всяком случае, не проявляли энтузиазма в выпавшей на их долю задаче защищать Временное Правительство. Прошелся по улицам... Восставшие приближались, но медленно и нерешительно [1]). Мне показалось, что проявление энергии с нашей стороны могло бы изменить положение дел. Я никак не мог добиться в штабе толкового ответа, делается ли что-нибудь для

[1]) Станкевич принял за «нерешительность» восставших их осторожность, обусловленную стремлением избежать излишнего кровопролития. Такого рода „нерешительность" свидетельствовала лишь об их уверенности в победе. *Ред.*

борьбы или нет. Накануне Багратуни уверял меня, что правительство имеет сил более чем достаточно. Он сообщал, что в течение ночи будут приняты меры к тому, чтобы захватить штаб восставших, знаменитый военно-революционный комитет Совета. Теперь все время шли речи о необходимости принять меры к освобождению Мариинского дворца и телефона. Но часы проходили, и дело дальше разговоров не двигалось. Сознание бездеятельности и пассивности было так ощутительно и неприятно, что я предложил сам пойти освобождать Мариинский дворец и попросил дать мне для этого роту юнкеров.

Как раз к этому времени к Зимнему дворцу подошла знакомая мне школа инженерных прапорщиков, где я раньше преподавал. С согласия штаба я взял одну роту под командой пор. Синегуба и, в сопровождении нескольких офицеров из военного министерства, направился по Морской улице. Около Невского пр. меня встретил П. М. Толстой. Он знал о моем проекте итти на выручку к Мариинскому дворцу и произвел „разведку": оказалось, перед дворцом стоят броневики. Тогда я решил ограничиться более близким объектом — телефонной станцией, освобождение которой тоже было очень важным.

Подойдя к телефонной станции, я оставил половину роты, не доходя до входа во двор, а с другой половиной зашел дальше. Полуроты выстроились поперек улицы. Публика, которая, как обычно, сновала по тротуарам, и извозчики со всех ног стали спасаться в боковые улицы, видя, что дело подходит к стычке. Морская мертвенно опустела — никого, кроме моих юнкеров. Из телефонного двора выбежал прапорщик-большевик и, размахивая револьвером, стал расспрашивать, в чем дело. Я сказал, что пришел по приказу из штаба сменить караул. Он ответил, что добровольно не подчинится. — „Ну, так мы будем брать силой"...

Вероятно, с точки зрения достижения успеха, мне надо было застрелить на месте этого молодого прапорщика. Но я дал ему убежать во двор, и там он сейчас же крикнул: „В ружье!" Во дворе показались испуганные, встревоженные лица солдат. Я отделил десяток юнкеров и хотел направиться во двор. Но мне показалось, что задача может быть выполнена и без боя, что большевики, засевшие там, сами сдадутся, увидя, что вся улица в наших руках. Но вдруг со стороны Мариинской площади затрещали выстрелы. Вмиг от моей роты юнкеров осталось на улице только несколько человек, остальные все попрятались по подворотням, в подъездах домов. Положение было не опасное, так как я, стоя все время на улице и сравнительно спокойно наблюдая за всей картиной, не слышал, чтобы пули сви-

стели мимо нас. Но я не мог определить, откуда именно идет стрельба: с крыш, из окон? Кто стреляет? Какие меры нужно принять? Но стрельба затихла, и юнкера стали понемногу смущенно появляться опять. Я подумывал уже о решительных действиях, но показался броневик, и опять тревога в моих рядах. Однако, броневик тихо и спокойно прошелся несколько раз мимо нас по улице, а потом стал у ворот телефона, направив на нас пулеметы. Я решил снять осаду, так как чувствовал, что мои юнкера смущены всей обстановкой, да и я потерял уверенность в легкости выполнения задачи. Чтобы не подвергать опасности ту половину роты, которая стояла дальше, проводя ее в строю мимо броневика, который мог открыть огонь по отступавшим, я повел ее кружным путем — по Гороховой и улице Гоголя.

Той же полуроте, которая стояла ближе к Невскому, я через офицера дал приказ немедленно возвращаться на Дворцовую площадь. Моя полурота вернулась благополучно. Но та, которая была ближе, была окружена на Невском броневиками и значительным отрядом большевиков и разоружена.

Так окончилась единственная, насколько я знаю, попытка активного сопротивления большевикам.

Убедившись на опыте, что активная борьба вокруг дворца почти невозможна, тем более, что было очевидно, как таяли наши слабые силы, и как сужалось кольцо большевиков, которые уже стали выглядывать у штабных ворот, я сделал предложение, чтобы правительство немедленно оставило дворец. Я доказывал, что еще имеется полная возможность покинуть дворец, не рискуя быть арестованными, и перейти в другое помещение, откуда уже организовывать борьбу. Слишком пустынно было в Зимнем дворце и мертвенно. Конкретно, я предлагал перейти в городскую думу, где, по телефонным сведениям, собрались все представители общественности и где намечался действительный центр борьбы.

Но только Гвоздев соглашался со мной. Остальные члены правительства решительно отказались. И, быть может, они были правы... Лучше было погибнуть в пустынном Зимнем дворце и быть арестованными толпой ворвавшихся солдат, чем оказаться окруженными и поддерживаемыми теми, кто вчера еще винил правительство в том, что оно вызвало большевизм.

Вообще, в правительстве было желание проявить упорство и мужество. Кишкин и Коновалов памятны своим подъемом и непрерывным благородным жестом. Но более характерен для обстановки и исторического момента был

Малянтович. Он ничего не говорил, а только слушал. Его глаза скорбно сияли. И было чрезвычайно ясно, что он прекрасно понимает все причины событий, ясно видит последствия, но отчетливо сознает безнадежность борьбы и страдает от неспособности не только сделать, но и вообще делать что-нибудь для предотвращения опасности...

Чтобы устранить всякие сомнения, правительство устроило закрытое заседание и постановило оставаться во дворце и защищаться до последней степени.

Между тем, большевики подступали к Дворцовой площади. У ворот дворца юнкера устроили баррикады из бревен и очистили всю площадь, так как были случаи разоружения постов: к юнкерам приближалась кучка людей, словно прохожих, останавливалась, схватывала винтовки и, угрожая револьверами, отнимала их.

Темнело. В руках правительства оставался только Зимний дворец, пустынный, молчаливый; лишь на дворе оставшиеся кучки юнкеров что-то шумели, чего-то требовали, о чем-то совещались. Выбрали депутатов „для того, чтобы выяснить намерения правительства". К депутатам вышло правительство, кажется, в полном составе. Говорил Кишкин — с подъемом, но мужественно и спокойно, что правительство решило не покидать дворца и оставаться в нем до последней возможности. Юнкера слушали, не возражали, но и не соглашались. Один юнкер пытался было выразить готовность с радостью умереть за правительство, но явный холод остальных товарищей сдержал порыв.

Еще раз соединился со ставкой и переговорил с Духониным. Недоумение, почему войск нет еще в Петрограде... Передал результат переговоров правительству. Сообщил кому-то из министров, что собираюсь пробраться из дворца в город. Вышел на площадь, перелезая через неохраняемые баррикады у ворот. Около Александровского сада задержали... Показал свой старый офицерский документ — пропустили.

Отправился в городскую думу, где был оживленный бурлящий центр общественной антибольшевистской работы... Было крайне приятно почувствовать себя опять на людях, не среди обреченных. Все помещения полны народу. Много заседаний. Много предложений. Много бодрых, решительных слов и уверенных лиц.

Но вот с Невы стали доноситься пушечные выстрелы, внося струйки какого-то леденящего холода в оживленный говор в комнатах и коридорах. Стало понятно, что нельзя только говорить и спорить и строить концепции борьбы.

Нужно сразу немедленно что-то делать. И как-то сразу оформилось решение итти всей толпой ко дворцу. Вышли— много, быть может, несколько сот человек. Выстроились шеренгами и двинулись по Невскому проспекту. Вдруг голова шествия остановилась: дорогу преградил большевистский патруль. Начались долгие переговоры. Приехал грузовик, наполненный матросами, молодыми, разудалыми, но теперь какими-то странно задумчивыми парнями. Общественные деятели окружили грузовик и стали доказывать ему, что это неотъемлемое право каждого гражданина быть со своим правительством в такие минуты. Матросы не отвечают и даже смотрят куда-то в сторону или, вернее, вверх, прямо перед собой с платформы грузовика. Возможно, что не слышат, занятые своими собственными мыслями, во всяком случае — не понимают интеллигентских, красиво построенных фраз. Потом, не говоря ни слова, поехали дальше. Но патруль остался и не пропускал. Постояли, позябли и решили вернуться,— подчинились „насилию, как при старом режиме"...

3. В Царском Селе и Гатчине.

На другой день с вечера грянуло известие о том, что Керенский с войсками приближается к Петрограду. Он в Луге. Он в Гатчине. Он в Царском Селе. Он уже говорил по телефону с Петроградом. Известия эти подняли настроение политических кружков. Начались оживленные попытки организации борьбы с большевиками. Эти же слухи отразились крайним упадком настроения у большевиков, что видно было по их патрулям на улицах: были случаи, что дамы обезоруживали солдат[1]). Уверенность в скорой ликвидации большевиков росла ежечасно, тем более, что из казарм стали поступать сведения о недовольстве гарнизона новыми хозяевами, и стали буквально сыпаться предложения принять участие в вооруженном выступлении против большевиков. Были сведения о растерянности в среде самого военно-революционного комитета[2]). Городская дума и помещение крестьянского совета в училище правоведе-

[1]) Никакого упадка настроения, а тем более крайнего, у большевиков и действительности не было. Была лишь возрастающая наглость буржуазии, оборванной изнанкой снисходительности победителей. Буржуазии и обывательщине понятен только язык суровой диктатуры и террора. Все остальное воспринимается ими как „нерешительность" и „упадок настроения". *Ред.*

[2]) Обывательские сведения о „растерянности" В. Р. Комитета в опровержении, конечно, не нуждаются. Что касается „недовольства гарнизона" то оно сосредоточивалось в рядах командного состава, откуда, собственно, и исходили предложения о вооруженном выступлении. *Ред.*

ния были всецело в наших руках и составляли центр подготовки общественной и вооруженной акции против большевиков.

26 октября незнакомый мне инженер из группы „Единство" предложил попытаться проехать на автомобиле к Керенскому. Я сперва отнесся к этому проекту как к авантюре. Но, обдумав положение дел и взглянув на карту, я решил, что дело не безнадежно. С револьверами в карманах мы поехали через Колпино в Царское Село. Не обошлось без тревожных минут, когда патрули вооруженных рабочих останавливали наш автомобиль и пытливо допрашивали, куда мы едем. Но в конце концов мы благополучно достигли Царского Села. Керенского там еще не было. Но гарнизон уже отступал в ужасе перед казаками. Вся аллея к вокзалу была переполнена солдатами местного гарнизона, отступающими перед невидимым противником. Шли с винтовками, некоторые даже с несколькими винтовками, в походном снаряжении, неся на руках пулеметы и автоматические ружья. Видно было, однако, что боевого настроения не было. И у нас с инженером явилась, действительно, авантюристическая мысль пойти на вокзал и постараться склонить солдат на сторону правительства. Оставив автомобиль около дома Плеханова, мы пошли пешком. На вокзале — страшная суголока, все поезда, отходящие на Петроград, облепляются солдатами. Начав с разговоров в первой попавшейся кучке солдат, мы перешли к речам. Тотчас собралась толпа. Слушают внимательно, даже поддакивают. Я кончил призывом не слушать большевиков и поддержать правительство в его стремлении дать народу честный мир, Учредительное Собрание и землю. Но едва я замолчал, уверенный в успехе, как какой-то пожилой солдат плюнул и со злобой, неизвестно на кого, начал кричать, что теперь уж он ничего не понимает... Все говорят я все по-разному... Один хочет этого, другой хочет того... Всякий со своими программами, партиями...

— Все перепуталось, ничего не пойму, к чорту всяких ораторов, — кричит он в исступленном негодовании.

Впечатление речи сразу пропало — ведь все чувствовали тоже, что в голове перепуталось. И я, только что говоривший так убедительно, — только один из виновников этой путаницы: ведь другие до меня говорили не менее убедительно о той же земле и том же мире. И, пользуясь моментом, зашумели подлинные большевики:

— А главное, таких ораторов арестовывать бы сразу...

Но на это у толпы нехватило решимости, и мы имели возможность уйти, хотя и поспешно, но с соблюдением внешнего приличия.

Сели на автомобиль и поехали искать Керенского. Сейчас за Царским Селом наткнулись на кавалерийский отряд.

Вид и настроение казаков — молчаливо-нерешительный — произвел сразу невеселое настроение. Тем более, что офицеры сразу обратились с просьбой переговорить с казаками и сообщить им, что еще не все в Петрограде на стороне большевиков и что казаки не идут против всего народа...

После моей речи, выслушанной молча, меня проводили к Керенскому. Он вместе с Красновым находился в хижине, в комнате, где тут же на постели лежала больная женщина. Мои сведения о Петрограде — несомненно слишком оптимистические, но соответствующие всем имевшимся у нас данным — подействовали ободряюще на Керенского и Краснова. Краснов задавал вопрос, может ли он выждать хотя бы один день с дальнейшим наступлением, так как его казаки устали и ему необходимо подождать пехоты. Мое мнение было, что если сил недостаточно для немедленного наступления, то можно было выждать. Подробно расспрашивать о состоянии отряда я не считал вправе, так как разговор вел при слишком большом количестве лиц. Но сам тогда вынес впечатление, что в руках Краснова, во всяком случае, весь кавалерийский корпус.

Убедившись самолично в близости Керенского к Петрограду, я отправился обратно, при чем достиг Петрограда только поздно вечером. Тотчас я направился в Комитет спасения родины и революции и был очень обрадован, что за день организационная работа сделала громадные шаги. Военный комитет имел связи со всеми почти частями и считал себя распорядителем весьма солидной вооруженной силы. Ставился вопрос о выступлении в городе. Но было единодушно решено подождать еще хоть один день: каждый час увеличивал нашу силу и организованность, кроме того, мои сведения о том, что отряд Керенского, по всей видимости, начнет наступление на Петроград лишь через день, тоже склоняли в сторону выжидания для нанесения согласованного удара.

Я отправился домой, оставив военный комитет за разрешением организационных вопросов. На другой день я узнал, что после моего ухода в комитет пришли Полковников и еще кто-то и принесли известие о том, что большевики назначили на завтра разоружение юнкеров, т.-е. собирались нанести удар нашим главным силам. Естественно, надо было предупредить удар. Поэтому было решено начать выступление немедленно.

И действительно, с раннего утра повсюду шла стрельба, как ружейная так и орудийная, в особенности около юнкерских училищ — Павловского и Николаевского, — это было

исполнением плана большевиков. Антибольшевистские силы тоже развивали свой план: на время был занят телефон и телеграф, и некоторые силы сгруппировались около Михайловского инженерного училища, в Инженерном замке, где был центр антибольшевистского восстания. Но к полудню училища были разгромлены, а силы восстания, лишенного поддержки своих главных кадров, юнкеров, начинали заметно таять. К вечеру провал восстания стал несомненен; около четырех часов я уже никого на застал в Михайловском училище. Провал восстания, неожиданная слабость наших сил и неожиданная энергия, развитая большевиками, казались нам ошеломляющими. Но так или иначе,— надежды оставались только на отряд Керенского.

Провал восстания, быть может, отчасти мог быть объяснен и техническими моментами. Организация антибольшевистских сил была создана наспех. Не было ни достаточного количества телефонов, ни продуманного и планомерного распределения ролей. Много личных сил, недостатка в которых не чувствовалось, пропадало неиспользованными. Если бы эти силы были использованы или дали себя использовать в день восстания большевиков, когда в руках правительства был весь технический аппарат власти, штаба, — результат, несомненно, был бы иной. Но, странным образом, борясь с большевиками, все боялись быть смешанными с правительством. При формулировке политических целей антибольшевистской акции в Комитете спасения родины и революции я поднял вопрос о необходимости заявления, что борьба идет за восстановление правительства, низвергнутого большевиками. Но ни один голос не поддержал меня. Все указывали, что, при непопулярности правительства в стране, лучше о нем совершенно не упоминать. Так как формально Совет и Исполнительный Комитет были в руках большевиков, то борьба, в сущности, шла от каких-то безымянных или совершенно незнакомых организаций. И русская общественность, бездеятельно предоставив правительству пасть, не имея возможности воспользоваться находившимся в его руках техническим аппаратом власти, стала бороться с большевиками в тот момент, когда аппарат власти оказался уже в их руках.

На следующий день я решился опять ехать к Керенскому. Ко мне присоединился А. Р. Гоц. Тем же путем и с теми же приключениями мы добрались до Царского Села.

Заехали опять к Плеханову узнать, где находится Керенский. Плеханов был очень болен, и к нему нас не допустили, но жена Плеханова сказала, что кто-то нас хочет

видеть внизу. Оказалось — Савинков, который приехал туда от имени каких-то казачьих организаций. Он сразу обрушился нападками на Керенского за его прежнюю деятельность и стал доказывать, что нет никаких шансов, чтобы казаки пошли в наступление под его главенством. Он вспомнил запрещение казачьего крестного хода в Петрограде и другие обиды и указывал, что Керенский настолько непопулярен, что один из казачьих офицеров отказался подать ему руку. Нам казалось, что в словах Савинкова была отнюдь не только передача фактов, не только политический диагноз, но нападки, старательный подбор фактов.

Так как штаб Краснова стоял в Царском, то мы заехали предварительно к нему. Краснов не говорил ни слова о недостатках Керенского и упоминал только, что Керенский слишком торопит его, между тем как он не может начать дальнейшего продвижения за отсутствием сил. Пехоты нет как нет, а казаков так мало, что Краснов не может даже забрать оружие, которое царскосельский гарнизон оставил в казармах. Но главное, на что Краснов напирал, — отсутствие пехоты...

— Казаки не хотят итти, так как думают, что их ведут против народа, раз вся пехота только против них. Дайте нам пехоту, примите, какие угодно, меры — только дайте хоть один батальон, чтобы было кого показать.

От окружающих Краснова мы узнали, что Савинков ведет усиленную агитацию против Керенского среди отряда.

Керенский находился в Гатчине, в тихом и гостеприимном дворце. Он был страшно обрадован нашему приезду и настаивал, чтобы кто-нибудь из нас с ним остался.

— Ведь со мною нет никого, кроме моих адъютантиков. А решения часто приходится принимать очень ответственные.

Затем он рассказывал о только что уехавшей перед нами депутации от Викжеля. С особенным негодованием вспоминал он Плансона[1]), который нашел подходящим момент читать какие-то наставления Керенскому и перечислять его вины и грехи.

Я рассказал Керенскому о свидании с Савинковым и высказал свое мнение, что при создавшемся положении, быть может, действительно Керенскому лучше уехать из отряда. Надежд на успешное продвижение мало. Надо думать об организации борьбы в большом масштабе. Надо ехать в ставку, где имеется хороший технический аппарат, где можно связаться со всей страной, с Москвой, с армиями... Здесь же, в Гатчине, полная оторванность

[1]) Председатель Викжеля, народный социалист. *Ред.*

и отрезанность на милость Савинкова и Плансона. Гоц соглашался со мной. Керенский возражал, что неудобно уезжать из отряда, что необходимо еще попытать счастья, что вообще уже проехать невозможно. Но я, как мог, разбивал все аргументы и в конце концов при помощи Гоца убедил Керенского согласиться выехать на другой день в ставку. На основании имевшегося у меня опыта поездок из Петрограда к Керенскому я вынес убеждение в полнейшей возможности „проскочить" и в Могилев. Так как поездка все же представляла некоторый риск, то я тут же „на всякий случай" убедил Керенского назначить себе преемника, который мог бы явиться формальным носителем власти и ее преемственности. Керенский составил в трех экземплярах записку о том, что, в случае его исчезновения или невозможности действовать, он свои полномочия передает Авксентьеву. Один экземпляр записки взял Гоц, другой был передан мне, хотя я должен был ехать вместе с Керенским.

На другой день, уже после отъезда Гоца, когда мы уже заканчивали приготовления к отъезду, в Гатчину неожиданно приехал Савинков, который не то от Гоца, не то от Краснова узнал о намерении Керенского уехать. Он решительно стал возражать против этого. Керенский вызвал меня. Я с изумлением спросил Савинкова, как примирить его теперешнюю позицию со вчерашними нападками. Вчера он говорил, что присутствие Керенского понижает настроение солдат, так что его нельзя пускать на передовые позиции. Сегодня же оказывается, что присутствие Керенского необходимо, и его отъезд может повредить делу. Ответа его я не понял, знаю одно, что он продолжал настаивать на том, что до исхода сражения Керенский должен оставаться. Керенский согласился и отменил отъезд. Я потом отвел Савинкова в сторону и стал расспрашивать его наедине, в чем дело. Я предупредил Савинкова, что я отнюдь не хочу быть связанным с одной определенной личностью, что для меня важна только борьба и ее успех, что хотя я лично ближе связан с Керенским, но всегда понимал значение политики Савинкова в армии и скорбел о его разрыве с Керенским. Савинков весь оживился при упоминании о его политике в армии и опять стал нападать на Керенского за разные прегрешения.

Савинков уехал в Царское, оставив меня в полном недоумении. Мы остались, рассылая во все стороны телеграммы о подкреплении, уговаривая безрезультатно гатчинский гарнизон присоединиться к правительственным войскам... После полудня были получены сведения, что наступление Краснова приостановилось. К вечеру узнали, что весь отряд Краснова отступает на Гатчину.

Почему отступил отряд Краснова? Формально устанавливаются две причины: отсутствие пехоты и недостаток снарядов в его отряде. Но обе эти причины сводятся к одной — настроению масс. Пехоты было сколько угодно, даже слишком много и в Царском Селе и в Гатчине. Но эти гарнизоны, не вставая на сторону большевиков, решительно отказывались встать на сторону правительства. Сторонники большевиков поспешно, с оружием, уехали в Петроград. Остальные бросали оружие в казармах, выходили на улицы, не сопротивлялись, когда их забирали и разоружали. Они были настолько безопасны, что Краснов, вынужденный оставить в казармах оружие, так как у него не было сил собрать это оружие, не боялся иметь позади себя чуть ли не 15-тысячный гарнизон. Но отряда в сто человек не удалось собрать из них на помощь Краснову. Терпеливо выслушав увещания, убеждения и призывы, солдаты расходились, не споря, не соглашаясь и не действуя. То же настроение было, повидимому, и в других частях, так как, несмотря на то, что многие лица и во многих местах старались двинуть отряды к Гатчине, ни один не пришел, кроме какой-то полупьяной шайки полковника Орла. То же настроение, в сущности, было среди казаков: они формально шли в наступление, стреляли из пушек и винтовок... Но они не сражались, так как потери большевиков после дня пальбы оказались смехотворно малыми. Но и большевистские войска были такого же настроения: отряд Краснова отступил с потерями, насколько помню, не превышающими 20 человек раненых и убитых... Ясно, это был не бой. Масса была почти в равновесии. Но большевиков было больше, чем их противников, и они действовали единодушнее, и масса понемногу наклонялась в их сторону. Поэтому небольшой отряд Краснова должен был качнуться назад, просто для того, чтобы не раствориться в массе окружающей пассивной, колеблющейся солдатчины. Но разложение нагнало отряд — уже в Гатчине.

В Гатчинском дворце всю ночь было оживление. Приехал весь штаб Краснова. Приехал Савинков. Происходили заседания офицеров. С неудовольствием узнал Керенский, что в Гатчину приезжает Чернов, гастролировавший перед тем, и с большим успехом, на северном фронте. Керенский просил меня встретить Чернова и убедить его немедленно ехать дальше, если возможно, не заглядывая во дворец, во всяком случае не пытаясь играть какую-либо роль в Гатчине. Мне казалось это излишней подозрительностью и недоверчивостью. Я поместил Чернова в моей комнате и даже настоял, чтобы Керенский принял его. Беседа продолжалась недолго, но в весьма спокойных тонах.

Не успели мы с Черновым вернуться в мою комнату, как меня опять вызвал Керенский. С ним был Савинков. Оказывается, Савинков пришел с собрания офицеров гатчинского отряда с предложением утвердить его в качестве комиссара отряда. Керенский спросил меня, как я отношусь к этому. Я сказал, что, по моему мнению, такое назначение нежелательно, так как и теперь у нас большие трудности, и мы не можем добиться прихода пехоты... Имя же Савинкова настолько непопулярно в левых кругах и комитетах, что известие о его активной роли в отряде может нас окончательно лишить надежды на пехоту. Савинков не соглашался со мной и доказывал, что важнее всего привлечь на свою сторону офицерство, которое на стороне Савинкова, что доказывается его теперешним избранием. Керенский прервал наш несколько своеобразный спор, заявив, что он утверждает Савинкова.

В моей комнате я застал Войтинского, Семенова и какого-то подозрительного офицера с подвязанной щекой, который утверждал, что офицеры гатчинского дворца составили заговор против Керенского, что он якобы собственными ушами слышал, как они говорили, что при первой попытке Керенского уехать они пустят ему пулю в голову. Я, конечно, отнесся к этому, как к полнейшей ерунде, и даже не передавал Керенскому. Но это рисует атмосферу гатчинского дворца.

Утром я был разбужен делегацией лужских эсеров, в руках которых была лужская станция и лужский Совет. Они пришли к Чернову спрашивать его совета: правильна ли та позиция, которую они заняли и выразили в накануне принятой резолюции. Эта резолюция гласила, что лужский гарнизон решает оставаться нейтральным в борьбе правительства с большевиками и пропускать эшелоны как идущие на помощь правительству, так и идущие по зову большевиков. Чернов заявил, что с его стороны резолюция возражений не встречает. На мои негодующие реплики, что это удар в спину правительству, он спокойно заметил, что практически важно одно, чтобы пропускались эшелоны правительства, так как эшелоны к большевикам, повидимому, не идут.

Я не знаю, чем закончился прием депутации, так как Керенский вызвал меня и сообщил, что получены крайне тревожные сведения с фронта. В 5-й армии большевистский комитет решил послать целую дивизию в помощь большевикам, и отношения между штабом и комитетом достигли

такого напряжения, что каждую минуту может последовать взрыв. В двенадцатой армии уже начались вооруженные столкновения между расколовшимися частями комитета... В некоторых местах разобран железнодорожный путь, — единственная линия, питавшая армию. Надежд на быстрое разрешение вооруженного конфликта в Гатчине нет, так как среди гарнизона и казаков брожение. На приток новых сил надежд тоже нет, так как в пределах 24-х-часового пути нет ни одного правительственного эшелона. Броневой дивизион, уже было погруженный в Режице, не двинулся и разгружается. Кроме того, была получена телеграмма о том, что совещание партий в Петрограде решило прекратить гражданскую войну (телеграмма впоследствии оказалась подложной).

Керенский решил созвать совещание: Краснов, Савинков, начальник штаба отряда, председатель комитета казачьей дивизии и еще кто-то. Линия спора определилась сразу. Савинков настаивал на борьбе во что бы то ни стало, соглашаясь в крайнем случае на переговоры лишь как на военную хитрость, для того, чтобы выиграть время. Он носился в это время с идеей призвания на помощь поляков, корпуса Довбор-Мусницкого [1]). Я развивал противоположную точку зрения, доказывая, что дальнейшее продолжение борьбы повлечет за собой полный распад фронта; нужно найти органическое соглашение ценою максимальных возможных уступок. Краснов мало интересовался широкими политическими перспективами: ему нужно было перемирие во что бы то ни стало, ввиду положения его отряда. В том же духе решительно высказались остальные военные. Керенский подчинялся неизбежному и, повидимому, соглашался со мной [2]). Казачьи представители поддерживали Краснова. Так как вопрос о необходимости перемирия, — все равно, как военной хитрости или как начала для переговоров,— был бесспорен, то решено было немедленно сделать соответственное предложение большевикам. Начали формулировку соответствующих документов, которые от имени Краснова должны были быть отосланы в „штаб бунтовщиков", как Краснов упорно именовал большевиков в своих посланиях. Я отказался ехать к большевикам под белым флагом, так как вместе с Керенским считал, что немедленно вступить в переговоры может только военная власть. Что же касается самого Керенского, то он должен был заручиться со-

---

[1]) Идея интервенции, как видим, возникла в первые же дни гражданской войны. *Ред.*

[2]) Сам Керенский утверждает противоположное: по его словам, в этом вопросе он был вместе с Савинковым. *Ред.*

гласием политических групп. Поэтому было решено, что я немедленно тайно поеду в Петроград вести соответственные переговоры. Кузьмин же должен был выехать под белым флагом к большевикам.

Заседание, формулировка бумаг, приискание автомобиля — все это заняло время до вечера. Сперва я решил ехать кружным путем, но, убедившись, что дорога слишком плохая, повернул назад и поехал напрямик на Царское Село, уже занятое большевиками. Путешествие было, в сущности, даже не рискованное, а безнадежное, так как из Гатчины в Царское вела одна дорога, и наши последние патрули стояли у самого входа в Гатчину — дальше должны были находиться уже патрули или дозоры большевиков, которые не могли пропустить автомобиль из Гатчинского гаража... Однако, к нашему удивлению, Царское Село еще не охранялось. Первые патрули мы встретили только за Царским Селом, но там уже не стоило большого труда убедить большевиков пропустить нас как запоздалых путешественников. Потом к нам подсело несколько рабочих красногвардейцев, которые при всех остановках кричали: „наши, наши“,—и так мы въехали около полуночи в Петроград. Я тотчас отправился искать политические центры. Но в городской думе — никого, на Фонтанке в Правоведении — никого. От случайно встреченной секретарши Комитета спасения узнал, что меньшевики заседают у Крохмаля. Поехал к нему, но уже никого не застал. Между тем, на улицах стало мертвенно-пустынно. Изредка только раздавались выстрелы. В квартиру Крохмаля меня швейцар уже не хотел пустить, так как домовый комитет постановил никого не пускать после 12 часов ночи... Ясно было, что все усилия что-нибудь сделать в эту ночь были бесплодны.

Но и следующий день был не менее бесплоден. Я сделал доклад в Комитете спасения; там сказали, что важность затронутых вопросов заставляет передать вопрос на обсуждение отдельных партий. Сделал доклад в своей партии, в центральном комитете эсеров, который с трудом разъискал, в Викселе, наконец... Но везде был ответ: обсудим... К четырем часам получил известие, что усилия мои напрасны, так как Гатчина пала, упраздняя все поднятые мною вопросы.

Тогда, в минуту действия, все события казались сплошною цепью мелких, часто несчастных случайностей. Казалось, скажи тот или иной деятель иначе, напиши иную резолюцию, — и все пошло бы по-иному. Но теперь ясно, что вопрос был значительно сложнее. Члены одной и той же

партии не могли столковаться между собой, потому что такой разброд мнений был повсюду, быть может, в душе каждого человека. И не в энергии или вялости отдельных лиц причина неуспеха борьбы с большевиками. Почему Кишкин и Пальчинский в Петрограде, Керенский и Краснов в Гатчине, Войтинский и Савицкий в Пскове, Болдырев в Двинске, Парский и Кучин в 12-й армии, Духонин и Дидерихс в ставке — почему все вдруг оказались такими беспомощными, и незнергичными, и безрезультатными в усилиях? Неужели везде случайность или ошибки?

---

4. Падение ставки.

Посоветовавшись с друзьями, я решил пробираться к себе, в Могилев, тем более, что в Петрограде было решительно нечего делать, а Комитет спасения родины и революции решил послать значительную политическую делегацию в ставку.

Настроение ставки было вполне определенное: оставив мысль об активной борьбе с большевиками и посылке эшелонов в Петроград, пассивно бороться с ними, отстаивая от них распорядок в армии. Расчет был ясен: день Учредительного Собрания приближался, и необходимо было так или иначе дотянуть до этого дня, сохраняя в целости военную организацию. Это не был нейтралитет, это было просто умолчание о позиции. Так как в Петрограде техническое руководство военным министерством оставалось в руках ген. Маниковского, с которым Духонин постоянно сносился, то была полная надежда, что такая позиция ставки обеспечит ей неприкосновенность.

Я не находил возражений против такой позиции. Я не возражал, когда ген. Духонин, показав мне письмо Савинкова с просьбой посылать эшелоны к Луге в распоряжение чуть ли не самого Савинкова, отнесся к этому как к авантюре. Но при таком настроении положение комиссара Временного Правительства было совершенно неопределенным, если не сказать ложным. Поэтому я заявил Духонину, что передаю свои полномочия председателю общеармейского комитета Перекрестову, правому эсеру. Духонин слабо возражал, ген. Дидерихс скорее даже поддерживал такое решение, считая, что присутствие меня, как представителя прежнего правительства, делало ставку одиозной в глазах большевиков. Но обстоятельства помешали мне привести свое намерение в исполнение. Прежде всего, Комитет вынес постановление о необходимости, чтобы я оставался на своем месте. То же самое мнение высказали представители Коми-

тета спасения родины и революции, которые начали съезжаться в Могилев. Но решительным образом повлиял на это разрыв ставки с большевиками.

Разрыв произошел из-за требований большевиков, чтобы ставка взяла на себя техническую сторону мирных переговоров с противником, к которым большевики начеревались приступить немедленно. Духонин в уклончивом ответе, не отказываясь прямо, задал целый ряд вопросов об отношении к переговорам союзников, об условиях мира и т. п. Но Ленин, ведущий переговоры по прямому проводу, прервал их смещением Духонина и назначением верховным главнокомандующим Крыленко.

Стало ясным, что большевики идут на срыв всей военной организации и не остановятся ни перед чем для того, чтобы разрушить ставку, мешающую им начать переговоры и вообще принимать конкретные меры к приближению мира. При этих условиях мотивы моего ухода отпадали, и в день разрыва я заявил Духонину и Дидерихсу, что сохраняю свои полномочия за собой.

После разрыва с большевиками стало ясно, что даже до Учредительного Собрания ставке не дадут потянуть, если она не будет бороться за свое существование. Но как бороться? На кого опираться? В первую голову отпадали всякие попытки искать опоры вправо, в остатках офицерских организаций, уцелевших после дела Корнилова. Эти круги относились отрицательно к теперешней Ставке вообще и к Духонину в частности. Но и вообще в этом направлении нельзя было найти что-либо ощутимое и весомое, что можно было бы противопоставить большевизму.

Опоры приходилось искать в остатках прежних оборонических организаций в армии. Но и тут положение было затруднительным. Вокруг ставки, как чисто военно-технического аппарата, такие силы нельзя было сгруппировать. Они могли группироваться только вокруг политического центра. Таким образом, ставка невольно втягивалась в русло общей политической борьбы за власть и сама по себе являлась мотивом для того, чтобы эту борьбу начать немедленно, не ожидая Учредительного Собрания.

Вообще, с момента разрыва с большевиками ставка жила в напряженной атмосфере перекрещивающихся политических стремлений и идей. Более всего осязательными и ощутимыми были для меня те идеи, с которыми приехали политические представители — Чернов, Гоц (в военном платье), Авксентьев (без бороды), Скобелев, Богданов, Знаменский, Ракитников. Заседания происходили попеременно: пленарные — в общеармейском комитете, и в более узком составе — у меня. Вопрос все время шел о формах борьбы и

о политической платформе борьбы. В сумбуре прений и взаимно парализующих тенденций в конце концов выкристализовались следующие конкретные предложения.

1. Созвать съезд крестьянских представителей в Могилеве. На этом более всего настаивали социалисты-революционеры. И, действительно, от имени председателя Исполнительного комитета крестьянских депутатов Чернова были разосланы соответствующие приглашения во все губернские комитеты. Но эта затея окончилась неудачей, так как были получены сведения, что депутаты в большинстве едут все же в Петроград, и Чернов вынужден был дать распоряжение о том, чтобы и его сторонники направлялись туда.

2. Гораздо большие прения вызвал вопрос о попытке образовать в ставке правительство. Большинство общеармейского комитета, ряд членов делегации и я настаивали на принятии такого решения, так как оно создало бы действительный центр для борьбы за власть. Об этой идее говорилось не только абстрактно, но назывались конкретные имена. Комитет единодушно настаивал на кандидатуре Чернова в качестве главы правительства. Сопоставляя сведения о тех овациях, которыми Чернова встречали на северном фронте, с единодушным вотумом комитета, составленного из представителей всех армий, я тоже высказался за него, хотя в личном разговоре подчеркнул Чернову, что, в общем, я являюсь не столько его сторонником, сколько противником. Но теперь мне казалось его имя подходящим, так как оно, как я выражался, было „социально окрашено"... Так как сам Чернов, по форме уклончиво, но по существу недвусмысленно высказался в пользу этой идеи, то получилось большинство. Резко, даже озлобленно-негодующе возражал против этого ближайший товарищ Чернова, Гоц. Он считал, что попытка обречена на неудачу и только скомпрометирует партию, которая должна была сыграть решающую роль в Учредительном Собрании. На первых порах было решено позондировать почву, произвести подсчет голосов в армии, запросив армейские комитеты. Запрос исходил от общеармейского комитета. Ответы, в общем, дали большинство в пользу такого решения. Но обстановка изменилась вследствие неблагоприятного отношения из Петрограда. Мы были в постоянных сношениях с Петроградом благодаря неутомимости и мужеству П. М. Толстого, который ухитрился в большевистском Петрограде сохранить в неприкосновенности тайну одного аппарата Юза и каждую ночь (днем почему-то пользоваться аппаратом было невозможно) разговаривать с нами. Через него были получены сведения об отрицательном отношении к нашим предположениям в петроградских кругах. Кроме того, в меньшевистской газете появилась статья, име-

нующая все политические предположения в ставке авантюрой; после этой статьи наши друзья-меньшевики решительно высказались против всяких попыток организации власти из ставки и уехали. Эсеры произвели давление на своего лидера, который тоже, не ожидая даже поступления всех ответов из армии, собрался в Петроград. Были также известные течения и стремления среди чисто военных кругов ставки и, в особенности, среди союзных миссий. Но они не вылились не только в конкретное действие, но даже в конкретный план. При этом из союзнических миссий поступали самые противоречивые сведения и предложения. И даже в последний день ставки наиболее сильный и решающий психологический удар ей был нанесен именно из союзнических миссий.

Неясность и неудачливость конкретных планов борьбы с большевиками усиливали пассивные течения, стремящиеся вернуться к прежней политике только пассивного сопротивления или даже просто выжидания. Мне казалось, что даже некоторые из высших руководителей отдельных управлений ставки намеками и уклончивыми ответами давали понять, что надо оставить мысль об активной борьбе. Несомненно, тут играло роль стремление найти способ безболезненного перехода ставки в новые руки, чтобы военно-технический аппарат не оказался разрушенным. Были тут и „резиньяционные" настроения — против рожна не попрешь, а большевизм казался чрезвычайно серьезной мировой силой: как раз в это время происходило отступление итальянской армии, и официальная характеристика итальянской армии показала, что она очень и очень стала похожей на нашу. Кроме того, из союзнических миссий повторяли сообщения, что в некоторых французских дивизиях образовались комитеты, и вообще французские войска уже разделяются на категорию стреляющих и отказывающихся стрелять... Были тут и соображения личной карьеры. Не говоря о Бонч-Бруевиче, который не скрывал своей переписки с братом, мне казалось, что и другие высшие чины думают о том, чтобы найти линию поведения, обеспечивающую охранение их высокого положения.

Кругами, настроенными соглашательски, была выдвинута мысль о назначении, вместо Духонина, Бонч-Бруевича. После падения всех предположений относительно активной борьбы с большевиками эту идею воспринял и общеармейский комитет. Я возражал против замены, но соглашался, что известное значение могло бы иметь назначение Бонч-Бруевича исполняющим должность начальника штаба, так как Духонин был фактически верховным главнокомандующим. Духонин согласился на этот план. Я переговорил с Бонч-Бруевичем, но тот отказался, намекая, что, получая высшее

назначение, он должен иметь полную свободу действий. Но я тогда резко прервал переговоры.

Были характерными также изменения в настроении массы, которая окружала нас в виде технического персонала, чинов охраны, ординарцев, Георгиевского батальона. Настроения эти с каждым днем становились хуже. На георгиевских кавалеров уже давно нельзя было рассчитывать. Даже казаки и текинцы стали проявлять признаки брожения. Мы перестали быть уверены в своих вестовых, шоферах... Боялись разговаривать по телефону, так как сообщалось о большевистской агентуре среди телефонистов. Все яснее стало проявляться влияние приезжих агитаторов, от которых ставка не находила способа обезопасить себя... Вода всеобщего потопа начинала проступать сквозь почву у нас под ногами.

Из внешнего мира поступали все более тревожные сведения. Перевыборы комитетов давали повсюду успех большевикам. Я разослал телеграммы всем губернским комиссарам, но получил очень мало ответов,— очевидно, правительственная власть уже не находилась в их руках. Но наиболее потрясающее впечатление на нас произвели выборы в Учредительное Собрание в Петрограде: около 40% голосов оказались поданными за большевиков! Принимая во внимание, что левые эсеры и интернационалисты должны были быть причислены к партиям, поддерживающим большевиков, стало ясным, что путь демократизма, большинства голосов, формально выраженной воли нации лежит крайне близко около большевиков. Это — уже не десятая часть, как было в начале революции, а самая многочисленная и влиятельная в массах партия. Было явной нелепостью пытаться бороться с нею вооруженным путем. Тем более, что следующая по влиянию партия эсеров не проявляла большой склонности вооруженно бороться с большевиками [1]).

Параллельно нашей неуверенности в себе возрастала решительность сторонников большевиков внутри Могилева. Левая часть общеармейского комитета сперва вела себя очень тихо. Теперь же, по мере того как новые армейские комитеты отзывали своих представителей из ставки, левое крыло начинало все более резко проявлять свое мнение. Не выдвигая никакой определенной идеи, оно отчаянно противилось всякой мере, всякому решению большинства. Особенно упрям, нетерпим и неприятен был б. председатель комитета Полянский. Дыхание новых психологических сдви-

---

[1]) Это не совсем верно. „Склонность" у нее, несомненно, была, и довольно большая. Но сил почти никаких не было. Станкевич, как говорится, из нужды тут делает добродетель. *Ред.*

гов стало чувствоваться и в других демократических организациях,— в Крестьянском совете, в Совете солдатских и рабочих депутатов стали слышаться новые речи, резкие протесты. Однако до последнего дня большинство этих Советов, отчасти благодаря личному влиянию могилевского губернского комиссара Певзнера, было на стороне ставки и, как могло, старалось оградить ее от ярости большевизма.

Между тем, события развивались своим чередом. Крыленко отправился на фронт 5-й армии начать переговоры с военным командованием противника. Мы пытались оказать сопротивление Крыленко в его поездке. В Пскове комиссаром был Шубин, интернационалист, но стоявший в тот момент на нашей стороне. Он запросил у меня инструкций, что делать. Я сказал, что необходимо сделать все возможное, чтобы не пропустить Крыленко. Болдырев сам сообщал, что окажет сопротивление большевикам. Но вот получаются известия: бежавший из Пскова Черемисов арестован, Шубин арестован, Болдырев арестован. Мы были уверены, что противник откажется вести переговоры с узурпаторами власти. Однако после предварительных переговоров большевики получили приглашение выслать своих парламентеров в назначенный день, прекратив в этот день боевые действия на фронте. По этому поводу Крыленко увидал себя в необходимости снестись со ставкой. Духонин попросил меня переговорить с ним. Крыленко потребовал, чтобы я передал Духонину приказ прекратить в назначенный день всякую перестрелку и военные действия. Я отказался передавать, указав, что армия вообще еще не признала власти Крыленко. Я даже предлагал Духонину разослать противоположный приказ, чтобы в назначенный день начать возможно более оживленную ружейную и артиллерийскую перестрелку. Но Духонин отказался, так как считал, что такая мера может внести большое осложнение в жизнь армии.

Вообще надо сказать, что смелый жест большевиков, их способность перешагнуть через колючие заграждения, четыре года отделявшие нас от соседних народов, произвели сами по себе громадное впечатление. Мы все настаивали, что большевики не могут дать мира стране. И тут, когда они приступили к действию, прервать их — значило бы оставить весь народ в убеждении, что большевикам мешали выполнить их программу, — дать немедленно справедливый мир усталому народу. Не лучше ли дать им дойти до естественных выводов и последствий? Могли быть два исхода. Или немцы не захотят говорить с большевиками, — тогда это будет прекрасным конституционным уроком для народа,

который почувствует себя вынужденным итти по стезе мирного развития демократических учреждений. Или же немцы предложат такие условия мира, которые окажутся явно неприемлемыми, явно гибельными для России, — тогда народ увидит необходимость вооруженной борьбы. Конечно, было бы лучше, чтобы этот показательный урок проделали мы сами и использовали его в наших целях. Поэтому я, с согласия военных кругов ставки и даже союзнических миссий, сделал предложение о том, чтобы ставка созвала в Могилеве представителей всех партий, в том числе и большевиков, для всенародного, так сказать, разрешения вопроса о мире. Но из Петрограда было дано опять-таки отрицательное заключение, которое было мне передано цитатой из заключения Нератова, с которым согласились и остатки Временного Правительства и Комитет спасения родины и революции. Таким образом, не имея возможности ни бороться, ни проявлять активность в каком-нибудь ином направлении, мы вынуждены были пассивно выжидать событий.

Положение ставки в стратегическом смысле казалось вполне надежным. Лежащий в стороне от больших путей к фронту, спокойный Могилев представлял собой как бы островок среди взволнованного народного моря. Подобраться к нему казалось затруднительным. Около Витебска стоял 35-й корпус, один из самых надежных, с которым кое-кто связывал самые фантастические надежды. Но если и можно было сомневаться в способности корпуса к активным действиям против большевиков, то не было никаких сомнений не доверять намерениям корпуса не пропускать большевиков через Витебск в ставку. Между Оршей и Могилевом стояла наиболее надежная во всей армии первая финляндская дивизия. В самом Могилеве были казаки и текинцы. Потом присоединились еще две роты ударников. Казалось, что добраться было не легко. Кроме того, казалось, что большевики, после разъезда из ставки политических представителей и после избрания Двинска базой мирных переговоров, оставят ставку в стороне.

Но вот в управлении военных сообщений из Петрограда были получены сведения, что на Могилев выступил эшелон матросов. Медленно, с длинными остановками для обедов, ужинов и ночевок, с проявлением некоторой нерешительности, но все же постоянно эшелон продвигался вперед. Миновал Дно. Подходит к Витебску. Миновал Витебск, — спрашивается, что делал 35-й корпус?.. Подходит к Орше...

Возникла мысль отодвинуть всю ставку на юг, на Украину. Я вел соответствующие переговоры с Украинской Радой при посредстве Одинца и Зарубина. Но, несмотря на самые

отчаянные усилия посредников, Рада не согласилась приютить ставку в Киеве и предоставила ее найти себе пристанище где-нибудь на „Черниговщине“... Ставка все-таки пробовала грузиться. Но немедленно перед помещением ставки появились возбужденные толпы солдат, заявляющих, что они ставку не выпустят.

Вечером в тот же день — это было 17 ноября — распространилось, со ссылкой на итальянскую миссию, сообщение, что союзники официально решили не возражать против сепаратных переговоров России с немцами при соблюдении некоторых условий (непосылка военных материалов в Германию и пр.) и что даже назначили своего представителя, который для информационных и контрольных целей будет присутствовать при переговорах. Сообщение было передано с такими техническими подробностями, что сомневаться в нем не приходило никому в голову. Естественно, что это было серьезным психологическим ударом. На собрании всех чинов ставки, где настроение было за то, чтобы организовать борьбу, сообщение Духонина этого известия подействовало ошеломляюще. Если не только противники, но и союзники готовы признать законными шаги большевиков, то какова же будет роль ставки и ее защиты? И вместо боевых тонов в речах Духонина и представителей чинов ставки зазвучали ноты прощания при расставании.

Вопрос о сопротивлении как-то сам собою был снят. Вечером у Духонина собрались высшие чины ставки, которые пришли к нему с решением, что ему необходимо покинуть ставку, так как против него большевиками велась слишком усиленная личная кампания, и поэтому его присутствие может осложнить положение ставки в момент прихода большевиков. Такое же решение вынес и общеармейский комитет. Я придерживался того же мнения, хотя по несколько иным соображениям. Независимо от целости технического аппарата ставки, мне казалось чрезвычайно важным сохранить в неприкосновенности от большевиков идею высшего командования армией, олицетворением которой был Духонин. Поэтому мне казалось необходимым, чтобы он ехал на один из южных фронтов, еще не окончательно разложившихся. Духонин, однако, колебался. Считая, что вопрос может быть разрешен еще на другой день, я около двух часов ночи отправился к себе.

Около пяти часов утра меня разбудил телефонный звонок: Духонин просил меня прийти к нему немедленно, так как им были получены весьма важные известия. Я был так

утомлен, что пробовал было просить у Духонина разрешения прийти часов в 8 утра. Но Духонин настаивал, чтобы я пришел немедленно и захватил с собой председателя общеармейского комитета Перекрестова. Я тотчас оделся, нашел Перекрестова, и мы оба пришли к Духонину. Было еще совсем темно.

Духонин был измученный и бледный. На столе лежала кучка телеграмм. Из 35-го корпуса сообщалось, что в нем разруха, и о каком-либо сопротивлении большевикам не может быть и речи. Далее, было известие, что большевистский эшелон стоит в Орше и утром предполагает двинуться дальше на Могилев. Далее, была телеграмма от начальника 1-й финляндской дивизии о том, что дивизия „решила" быть нейтральной и не препятствовать большевикам на пути. Кроме того, Духонин сообщил, что ночью у него была депутация ударников, которые поставили условием их дальнейшего пребывания в Могилеве разоружение георгиевцев, роспуск или даже арест всех комитетов и еще что-то, явно ненужное и неисполнимое... Просто людям хотелось уйти... Духонин пробовал было их уговорить остаться для охраны, чтобы при входе большевиков не разыгрались эксцессы. Но ударники заявили, что для одного человека они не могут жертвовать головами сотен. Я, в свою очередь, мог сообщить Духонину, что у меня накануне был полковник, командир текинцев, и заявил, что так как текинцы имеют уже очень дурную контр-революционную славу, то они просят на них не рассчитывать при защите теперешней ставки. Я был слишком тогда озабочен, чтобы доискиваться смысла этого заявления, т.-е. было ли это отказом „справа" или „слева". Вывод, однако, был ясен: ни одного солдата для защиты ставки!

Оставался выбор: или сдаться матросам, которые через несколько часов явятся в Могилев, или уехать. Я, конечно, настаивал на втором. Но Духонин возразил, что уехать невозможно уже просто потому, что в его распоряжении нет никаких средств передвижения. Гараж со вчерашнего дня был под влиянием большевиков, тайного военно-революционного комитета в Могилеве, который отдал приказ, чтобы ни один автомобиль не выезжал за пределы Могилева. О поезде приходилось думать еще менее, так как если бы даже удалось выехать из Могилева, то поезд был бы несомненно задержан в Жлобине, где стояла дивизия большевиков.

Но я еще накануне, в предвидении такого положения дел, принял некоторые меры. При содействии комиссара Певзнера я обеспечил приют Духонину в самом Могилеве и, кроме того, выяснил, что в Могилеве, помимо штабного,

имелся еще гараж эвакуированного варшавского округа путей сообщения. Поэтому я предложил пойти вперед и уладить все эти вопросы; Духонин же должен был выйти через четверть часа вслед за мной и в моем управлении встретить провожатого, который доведет или до автомобиля или до надежного помещения. Духонин еще продолжал колебаться. Но времени нельзя было тратить, так как днем самый выход из ставки мог быть затруднителен,— Духонин говорил, что его собственный денщик следил за ним... Поэтому я оставил Дидерихса, Рателя и Перекрестова убеждать Духонина, сам же отправился в гостиницу, где ночевал мой приятель и сотрудник Гедройц. Я разбудил его и направил навстречу Духонину, с тем, чтобы тот привел его временно к себе. Сам же я пошел к начальнику варшавского округа путей сообщения доставать автомобиль. С трудом добудился. Но получил обещание, что к 9 часам автомобиль будет подан,— раньше было невозможно, так как более ранние сборы могли возбудить подозрение. Совершенно случайно в моем распоряжении была печать большевистского петроградского военно-революционного комитета. Поэтому я на всякий случай заготовил пропуск для автомобиля от имени этого комитета.

Около 8 часов я вернулся в гостиницу к Гедройцу и, к моему великому удовлетворению, застал там Духонина, Дидерихса и Рателя. Перекрестов уже раньше простился и отправился домой. Поездка была решена. И если бы автомобиль был готов, я не сомневаюсь, Духонин сел бы в него, и мы уехали бы. Но пришлось ждать. Духонин все время беспокоился, что на мосту большевики поставят стражу и будут караулить. Но я был совершенно спокоен и уверял, что мы имеем перед собой для выезда из Могилева не менее 12 часов, а может быть, и целые сутки. Но неожиданно изменил свое мнение Дидерихс. До сих пор он так же убежденно доказывал необходимость отъезда Духонина, как и я. Тут же, в этой полуконспиративной обстановке, он почувствовал что-то противоречащее военной этике. И он упорно и настойчиво стал разубеждать Духонина. Мои возражения, что речь идет о дальнейшей борьбе, о сохранении идеи верховного командования и пр., он парировал указаниями, что Духонин не политический деятель, и вне своей ставки он борьбы вести не может. Несмотря на серьезные колебания Духонина, Дидерихс убедил его немедленно вернуться в ставку.

Я поставил им вопрос, как они считают — следует ли и мне оставаться? Оба решительно возразили. Было решено, что Духонин немедленно после возращения в ставку про-

телеграфирует ген. Щербачеву, что передает ему верховное командование. Поэтому мне следовало ехать на румынский фронт.

Мы сердечно простились. Духонин натянул непромокаемую накидку, прикрывавшую его генеральские погоны, и вернулся в ставку.

Через несколько часов, с большим запозданием был дан автомобиль. В ту минуту, когда к Могилеву подходил большевистский эшелон, я переезжал через днепровский мост, на котором, как я и ожидал, не было не только большевистской, но вообще никакой стражи.

П. Н. МИЛЮКОВ

Низвержение Временного Правительства [1])

[Новые данные о борьбе под Петроградом автор сообщает на основании составленных по его просьбе неопубликованных показаний] г.-л. Шиллинга, командира XVII армейского корпуса, который предполагалось направить против большевиков, и комиссара восьмой армии, к которой принадлежал этот корпус, К. М. Вендзягольского, пытавшегося сорганизовать посылку XVII корпуса к Петрограду.

Приехав в ставку 26 октября и сделав доклад Духонину о положении 8-й армии, Вендзягольский узнал в управлении военного комиссара при верх. главнокомандующем, что ставка „предполагает организовать сводный отряд под командой ген. Врангеля для отправки его частью под Петроград, частью для защиты подступов к ставке". Вендзягольский прождал в Могилеве сутки, до полудня 27 октября, но отряд не формировался. Тогда, с разрешения начальства, он решил ехать дальше на север, где, в Витебской и Псковской губ., был расположен XVII корпус, только что переведенный сюда с румынского фронта и прибывший в район Невель-Городок 15—25 октября, в распоряжение главковерха. „Настроение в Невеле и в частях, расквартированных в нем (запасный арт. дивизион, тяжелый дивизион с рижского фронта и Сибирский запасный саперный батальон), было большевистское", — свидетельствует ген. Шиллинг. Он вызвал в город надежный „курень смерти", состоявший из 700 солдат украинцев, и 27 октября занял им почту, телеграф и вокзал. Из штаба V армии, где комитет был большевистский, начали уже просачиваться телеграммы с призывом подчиниться большевикам. Прервав телеграфное сообщение с V армией, ген. Шиллинг решил связаться непосредственно со ставкой. В 1 ч. ночи на 28-е к нему

---

[1]) Из «Истории второй русской революции», т. I, вып. 3-й. Мы приводим из этой книги рассказ о борьбе за власть под Петроградом и в Москве.

Описание борьбы под Петроградом основано у Милюкова, главным образом, на документах, печатаемых в настоящем же томе, а именно, на воспоминаниях Керенского и Краснова и на телеграфных переговорах ставки с разными лицами и учреждениями. Поэтому из соответствующей части рассказа Милюкова мы приводим лишь описание событий, вовсе незатронутых в названных документах или иначе в них освещенных. Для связи речи составителем сделаны кое-где вставки, которые заключены в прямые скобки [ ]. *Ред.*

приехал Вендзягольский, сообщивший ему о положении. На вопрос Шиллинга, почему ставка не делает никаких распоряжений и ничего не сообщает, он получил от Вендзягольского ответ, что „там не уверены, можно ли надеяться на части корпуса". Чтобы проверить это, ген. Шиллинг собрал в 11 ч. утра 28 октября представителей всех частей корпуса и изложил им свой взгляд на большевизм. Через два часа он получил ответ председателя корпусного комитета, поручика Зотикова, что все с ним согласны и пойдут за ним. Тогда он отправил начальника штаба корпуса, полк. Бронского, на автомобиле в ставку с почтограммой на имя Духонина, составленной Вендзягольским. Ген. Шиллинг ходатайствовал в ней о разрешении погрузить войска корпуса на железную дорогу и немедленно отправить эшелонами по двум направлениям: к Пскову и Луге и к Бологому и Чудову.

Раньше, чем дошла до ставки эта просьба, ген. Шиллинг получил из ставки секретный пакет с приказанием занять узловые станции Дно и Оршу, каждую батальоном с четырьмя пулеметами, чтобы „не допустить продвижения большевиков к ставке". Однако, сделанный Шиллингом наряд (от 140-го Зарайского полка) был задержан, так как „всеми нарядами поездов ведал штаб северного фронта, и, видимо, там приказания ставки не исполнялись".

Около 11 ч. ночи 29 октября ген. Шиллинг получил из ставки ответ и на свою просьбу. Ставка приказывала послать от корпуса к Петрограду бригаду пехоты, мортирный дивизион и дивизион полевой легкой артиллерии. Ген. Шиллинг приказал сосредоточить части, разбросанные на 25 верст в окружности, к станциям посадки: расчет был на аккуратную подачу поездов. Назначены к посадке были 11-й пехотный Псковский и 12-й Великолуцкий полки, 17-й мортирный дивизион и три батареи 35-й артилл. бригады. „К великому удивлению начальствующих лиц,— свидетельствует ген. Шиллинг,— полки и части прибывают для посадки, а поездов нет. Солдаты стоят под открытым небом, при отвратительной дождливой погоде. С грехом пополам добились, чтобы через 10 часов подали два состава для посадки 12-го Великол. полка и один состав для штаба 3-й пех. дивизии. Агитация против посадки и отправления в это время велась во всю". В результате этой агитации, вечером 29 октября Шиллингу пришлось отменить отправку распропагандированных полков 3-й дивизии и заменить их верной ему 35-й. Штабу 3-й дивизии и частям 12-го полка, уже погруженным, велено было выгрузиться. На их место — уже только 30 и 31 октября — началась посадка 137-го Нежинского и 140-го Зарайского полков. Повторилась и тут та же история.

„Составы подавались чрезвычайно медленно. Бывало так, что состав подадут, весь эшелон погрузится, но сутки не дают паровозов, и солдаты сидят в вагонах, не приспособленных для отопления и не оборудованных для людей". Однако, на этот раз, „настроение у солдат было бодрое и веселое... все шли охотно, несмотря на то, что кругом все кишело большевиками".

Движение погруженных эшелонов к Петрограду, наконец, началось, — но продолжало встречать на пути всевозможные препятствия. „По докладу командира 137-го Нежинского полка, корпусного комиссара, а также и начальника 35-й дивизии,—говорит ген. Шиллинг,—выяснилось, что везде на станциях эшелонам чинились задержки, не давали паровозов и что в деле захвата власти большевиками весьма подлую роль сыграл Викжель [1]). Только применением насильственных мер первому из эшелонов удалось пробиться через Псков и добраться до Луги, где „весь гарнизон — около 6 — 7 тысяч человек — немедленно сдался без боя, все караулы были заняты солдатами Нежинского полка, а находящиеся в Луге артиллеристы пришли к командиру батальона и сдали замки от орудий". Погрозив вернуться и расстрелять Псков, этот первый эшелон вытащил вслед за собой мортирную батарею 17-го дивизиона. Депутация большевиков с матросом Дыбенко, приехавшая в Лугу уговаривать пришедшие туда передовые части, не имела успеха. Корпусный комиссар Зотиков решился даже съездить в Петроград, в Смольный, и вернулся оттуда благополучно, погрозив большевикам лужскими войсками. Но, увы, все эти частичные удачи пришли слишком поздно. Цель непрерывных задержек войск железнодорожниками была достигнута. Мы знаем, что уже 30 октября Красновский отряд, лишенный подкреплений, проиграл решительный бой под Пулковым и принужден был отступать. А затем до Луги дошли слухи о переговорах Краснова с большевиками, и 2 ноября получен приказ Духонина — на этот раз действительный и окончательный — остановить движение эшелонов к Петрограду. Нежинский полк не поверил и послал выборных в ставку. Получив там подтверждение, части „стали возвращаться на свои места... конечно, уже не теми по настрое-

---

[1]) Эту „подлую роль" вряд ли следует ставить в „вину" самому Викжелю (Всероссийский Исполнительный Комитет железнодорожного Союза). Руководимый эсерами, „на одними социалистами" и меньшевиками, он был настроен определенно антибольшевистски. Однако проле арские „низы" железнодорожников и целый ряд ж.-д. исполкомов были на стороне большевиков. Этим обстоятельством, главным образом, объясняется и викжелевский „нейтралитет", и „подлая роль" железнодорожного союза по отношению к белогвардейцам. *Ред.*

нию, какими пошли, — замечает ген. Шиллинг: — яд большевизма начал проникать и в их среду".

Чем вызвано было решение Духонина? Мы увидим это, вернувшись в Гатчину к Красновскому отряду и к Керенскому. Туда направился через Псков и Вендзягольский после соглашения с ген. Шиллингом о наступлении.

Приехав в Гатчину за два дня до Пулковского „боя" и повидавшись с А. Ф. Керенским, Вендзягольский застал картину полной растерянности верховного главнокомандующего и внутренних распрей вокруг его личности. „К ужасу своему я заметил, — пишет он, — что ни верховный главнокомандующий, ни кто-либо из окружавших его (штаба Краснова там не было) не имели ни малейшего представления о дислокации войск северного фронта... Известие о возможности прибытия „целого корпуса" свалилось на всех большим неожиданным счастьем. Оставалось ждать прихода корпуса, не имея возможности, за отсутствием связи, следить за его движением. В штабе верх. главнокомандующего поражала всеобщая суетня, беготня, пулеметы в столовой, консервы на дворе, бесконечное шатанье всех повсюду и полное отсутствие службы связи, почти отрезанность от всей России. Приближенные к А. Ф. Керенскому комиссары Войтинский и Семенов[1]) „назначили" меня комиссаром броневого поезда, имеющего задачу 29 октября занять вокзал". Позднее Войтинский отменил это назначение, когда Вендзягольский сказал ему, что броневой поезд имеет шансы удержать Николаевский вокзал только путем опустошения и террора среди большевиков. „По мнению этого доброго человека, — замечает Вендзягольский, — броневой поезд должен был сыграть роль аргумента больше морального свойства... Через некоторое время мне предложили ехать комиссаром к какому-то отряду в Валк или куда-то в другое место, а еще спустя некоторое время назначили меня агитатором в какие-то слабые части с программой: если слишком правы, наступить им на хвост (выражение Войтинского)... „Назначения и поручения сыпались всю ночь и утро 29 октября от метавшихся вокруг А. Ф. Керенского Станкевича, Войтинского, Семенова, трех адъютантов, начальника гражданской канцелярии и многих других лиц разного звания, упомнить которых он не мог. Скоро все эти лица почувствовали в Вендзягольском врага, особенно когда появился в Царском и Гатчине Савинков. Савинков имел несколько неприятных разговоров с Керенским, в которых

[1]) Эсер, известный своими разоблачениями о „боевой работе партии с.-р." и участник эсеровского процесса 1922 г. В октябрьские дни был комиссаром знаменитого 3-го конного корпуса. *Ред.*

указывал, что казаки ему не верят, боятся повторения истории 3—5 июля, и что его речи к ним производят неблагоприятное впечатление. Настроение приближенных Керенского выразилось в разговоре Войтинского с Савинковым, в котором комиссар северного фронта „высказывал опасение, что „контр-революционеры" воспользуются большевистским выступлением для осуществления своих собственных целей". „Мне казалось, — прибавляет Савинков, — что он недоверчиво относится к казакам и ко мне". И действительно, вечером того же 29 октября Семенов снял с Вендзягольского форменный „допрос, по поводу слухов о предполагающемся будто бы перевороте, аресте Керенского и т. д. Дрожащие уста комиссара Семенова произнесли „страшное" слово: „Савинков". „Пугаясь своих защитников, приближенные Керенского и сам он уже задумывали (или, вернее, продолжали обсуждать, см. выше) новую политическую комбинацию". „В кабинете Керенского, — свидетельствует Вендзягольский, — происходила борьба: зарождалась идея соглашательства. Станкевич и остальные комиссары что-то говорили. Показались во дворце Чернов и еще кто то. Стали носиться слухи о формировании в ставке (в Могилеве) какого-то однородного правительства. Называли Авксентьева, Чернова. Савинков также узнал уже во время Пулковского боя от одного члена комитета спасения, что А. Ф. Керенский собирается уехать в ставку. Полагая, что отъезд этот „был бы учтен, как бегство во время боя", Савинков счел нужным снова поехать в Гатчину, чтобы отговорить Керенского. „Станкевич возражал мне, — вспоминает Савинков, — но А. Ф. Керенский, посоветовавшись с приехавшим со мной есаулом О., согласился с моими соображениями". Вечером того же дня, 30 октября, Савинков имел новый разговор с Керенским по поводу своего назначения комиссаром отряда Краснова. „Я заявил Керенскому, что не разделял и не разделяю его политики, что его пребывание у власти уже давно мне кажется губительным для России, что я боролся против него всеми законными средствами и что я готов бороться незаконными, ибо считаю его одним из виновников полного развала России и, в частности, одним из виновников выступления большевиков, против которых им не было своевременно принято никаких мер". После этого откровенного разговора, Керенский „ввиду исключительности положения" утвердил Савинкова в должности, которую просили его занять офицеры Краснова.

Среди руководителей шли распри; среди защитников шла упорная агитация. „Большевики открыто бунтовали солдат и казаков, — свидетельствует Вендзягольский. — По-

всюду шныряли агитаторы... Жители Царского Села роптали: какой же это порядок, какая война, если враг беспрепятственно просачивается в войска, на улицах митинги, по городу стрельба, а Керенский все речами, да речами воюет". „Большевистские агитаторы,—подтверждает Савинков,—доказывали казакам, что большевики и казаки — братья и служат одной и той же цели, ибо те и другие, прежде всего, желают, чтобы Керенский сложил с себя полномочия... С этой пропагандой было невозможно бороться: в Царском Селе было несколько тысяч гарнизона; в этой вооруженной толпе тонула горсть казаков ген. Краснова". Плоды агитации сказались и на поле битвы. В то время как большевики „смотрели на нас, как мы смотрели на германцев, дрались жестоко и упорно, увечили трупы,— говорит ген. Краснов,—казаки не могли отрешиться от навязанного им агитаторами взгляда, что это „свой", что это „братья", что это „братоубийственная" война, и, где только можно, шадили их. От этого часто вовлекались в обман, пропускали лазутчиков и шпионов, приходивших „переговорить" и „столковаться"...

[Переломным моментом в борьбе под Петроградом был бой под Пулковым 30 октября и последовавшее за ним отступление отряда Краснова вечером того же дня от Царского в Гатчину, описанные в воспоминаниях Краснова и Керенского. Безнадежность создавшегося положения быстро выяснилась и для самого Керенского.]

В одиннадцатом часу утра 31 октября А. Ф. Керенский пришел к ген. Краснову и пригласил его на совещание с представителями партий и комиссарами по поводу предложения „Викжеля". Телеграмма „Викжеля", разосланная „всем, всем, всем", выставляла „категорическое требование немедленно остановить гражданскую войну и собраться для образования однородного революционного социалистического правительства". В случае неподчинения этому требованию, железнодорожный союз объявлял „прекращение всякого движения по дорогам" с 12 ч. ночи с 29 на 30 октября. Это было, конечно, безразлично для наступающих из Петрограда большевистских войск, но вовсе не безразлично для движения эшелонов, предназначавшихся на помощь отряду ген. Краснова. Это был тот „строгий нейтралитет", который, по той же телеграмме, „Викжель", „признал для себя обязательным с самого начала междоусобицы". В обсуждении предложения участвовали, кроме Керенского и Краснова, представители союза казачьих войск, Савинков и Аникеев, комиссар Станкевич, капитан Козьмин, подполковник Попов и подъесаул Ажогин. Описа-

ние этого заседания мы приводим по первоначальной записке ген. Краснова [1]).

„Мы сели в дворцовой гостиной, за круглым столом. А. Ф. Керенский сел несколько поодаль. Он, видимо, был сильно взволнован. Он сообщил о предложении „Викжеля" и просил нас, представителей отряда, высказаться, насколько оно приемлемо в настоящее время.

Я указал Керенскому на создавшееся положение. Обещанная пехота не подходит. Казаки не верят в то, что она придет; среди них сильное брожение. Сегодня они уже вышли из повиновения. Если к нам не подойдут значительные силы пехоты, борьба бесполезна.

— Что же вы предполагаете делать?

— Если бы не было предложения „Викжеля", наше положение было бы отчаянным. Пришлось бы пробиваться на юг, — туда, где есть еще верные правительству войска, итти походом, испытывая все муки голода. Теперь, когда это предложение исходит не от нас, после вчерашнего боя, в котором советские войска испытали силу казачьего сопротивления, понесли значительные потери, мы можем выговорить очень приличные условия и прекратить эту гражданскую войну, которая всем одинаково тяжела и противна.

Подполковник Попов и подъесаул Ажогин меня поддержали. На вопрос Савинкова, сколько же казаков осталось таких, на которых вполне можно положиться, подъесаул Ажогин мужественно доложил, что разложение идет быстро, — его усиливает сознание своего одиночества, слабости, покинутости всеми. Борьба при этих условиях невозможна. Мы можем остаться с несколькими офицерами и двумя-тремя десятками казаков, — добавлял я.

— Что же, значит, приходится сдаваться на милость большевиков? — с горечью заметил Керенский.

— Нет, воспользоваться предложением „Викжеля" и войти в переговоры, — отвечал я.

Заговорил Савинков. Он говорил с глубокой горечью, с истинным и сильным патриотизмом. Ярко обрисовал он тяжелое, невыносимое положение, в которое попадет Россия, если в правительство попадут большевики. „Я мог бы пойти на соглашение, — говорил он, — только при том условии,

---

[1]) Эта записка была напечатана Красновым в Великих Луках в 1917 г. и единственный сохранившийся у автора экземпляр ее был им передан Милюкову в Ростове осенью 1918 г. Записка эта содержит в некоторых деталях существенные отступления от позднейших воспоминаний Краснова, перепечатанных в настоящем томе; будучи составлена непосредственно вслед за событиями, она, повидимому, является в описании этих деталей более достоверным документом. *Ред.*

что большевиков в нем не будет. Потому что стоит войти одному большевику в правительство, и он сумеет развалить все министерства. Мы должны бороться до конца и спасти Россию".

Его горячо поддерживал капитан Козьмин. Он все еще считал силы большевиков слабыми, и считал, что победить их можно даже и теперь.

— Сколько времени можете вы простоять здесь? — спросил он меня.

— Я считаю свое положение в Гатчине за рекой Ижорой очень выгодным. В это осеннее, холодное время я сильно сомневаюсь, чтобы советские войска стали форсировать реку в брод. Она и летом, вследствие болотистости берегов, трудно проходима. Но мне нужны войска, а их у меня нет. Вместо оборонительных застав—наблюдательные, я не ручаюсь даже за сегодняшнюю ночь, потому что хорошего напора мне не задержать.

Станкевич стал на нашу сторону. Он доказывал, что соглашение с большевиками неизбежно [1]). Нельзя же отрицать их сильное влияние, и с ними приходится считаться. Его мнение было таково, что надо выработать условия переговоров и кому-либо поехать в Смольный, послав одновременно парламентеров.

Итак, за переговоры были Станкевич и трое нас, представителей военного отряда; против — Савинков, Аникеев и Козьмин. „Я понимаю переговоры,— говорил Савинков,— только как военную хитрость, чтобы выиграть время. К нам подойдут войска, отрезвеет русское общество, и мы снова пойдем на Петроград: ведь нас там ждут как избавителей".

Я опять повторил, что если сегодня к вечеру ко мне подойдет хоть один батальон пехоты, то обстановка изменится, и я буду уже против переговоров.

А. Ф. Керенский, после долгого раздумья, полурешил вступить в переговоры, кап. Козьмин и отчасти Аникеев соглашались уже, что борьба невозможна. Один Савинков честно и горячо, и так молодо упорствовал, изыскивая средства помочь горячо любимой им родине.

Все встали. Ходили по комнате, обменивались отрывочными фразами.

---

[1]) По воспоминаниям Савинкова, Станкевич заявлял даже, что „на большевиков он не смотрит как на изменников, и что он даже полагал бы возможным назначить прапорщика Крыленко своим помощником". Государственные интересы требуют немедленного соглашения с большевиками и образования на основе этого соглашения нового министерства. Краснов в „Архиве" тоже передает, что „Станкевич полагал, что сговориться с большевиками все-таки можно".

— У нас есть польские войска, — сказал Савинков. — Поляки поймут, в какую бездну влекут большевики Польшу. Я сейчас поеду в Польский корпус и приведу его сюда...

Но нам казалось это несбыточным. Вряд ли поляки пожелают вмешиваться в наши внутренние дела. Да и когда придет этот корпус? Наконец, прибытие поляков не повлияет на казаков и не заставит их драться.

Шел уже третий час, что мы заседали. Время шло в разговорах. Нужно было действовать. Я напомнил об этом. Было приступлено к выработке текста послания, которое было решено отправить по телефону и с парламентерами как в Смольный, так и в штаб отряда советских войск в Красное Село".

О настроении Керенского после совещания свидетельствует Вендзягольский, которого Керенский вызвал, чтобы еще раз справиться о возможности прихода 17-го корпуса и польских войск, о которых Савинков говорил с его слов на совещании. Вендзягольский получил письменное приглашение „ехать в польский корпус". „Вдруг Керенский схватывается за голову и кричит: „да не пойдут поляки; я знаю, что не пойдут". „Думаю, — замечает Вендзягольский, — за вас наверное нет. За Польшу, которая связана с будущим России, — пожалуй". И затем прибавляет позднейшую справку: „На этот раз министр был прав. Поляки не пошли. Хороший генерал Довбор-Мусницкий оказался слепым политиком!" — После этого a parte, Вендзягольский продолжает описание. „Керенский ложится, закрывает лицо руками. Чувствуется внутренняя слабость человека. Становится жалко. По углам шепчутся адъютанты и свита. По временам с их стороны падает нерешительный совет: „А может то, а может это".

Савинков согласился с Вендзягольским, что при такой обстановке около Керенского делать нечего. Он предложил Керенскому съездить в Быхов и в Минск. Керенский согласился и подписал приказ о погружении польской дивизии, помеченный 8 часами вечера 31 октября. Правда, тотчас после того он отменил это распоряжение и приказал Савинкову выехать к 17-му корпусу в Невель, затем снова переменил решение и приказал обоим остаться в Гатчине. Савинков и Вендзягольский этому приказанию не подчинились и, „провожаемые насмешками: удирают-мол", в 9 часов вечера 31 октября уехали в Псков.

[Между тем, прибывшие в Гатчину матросы-парламентеры со стороны большевистских войск завязали переговоры непосредственно с казаками и их комитетами, минуя начальство. И раньше не питавшие к Керенскому никаких симпатий, казаки теперь стали требовать от Краснова его

выдачи, чтобы обеспечить, таким образом, возможность мира с большевиками.]

Полковой комитет 9-го Донского полка явился к Краснову около 5 часов [31 октября] пополудни с просьбой всего полка — арестовать Керенского, как „изменника и предателя, вовлекшего их в авантюру". Краснов ответил: „не нам дано судить его. Казаки, которым он доверился, не могут унизиться до самосуда и предать своего высшего начальника. Дон никогда не простил бы нам этого. Как глава государства, он если и сделал что неправильно, не уйдет от народного суда". Казаки отвечали, что Керенский может убежать, и Краснов принужден был разрешить им выбрать казака для наблюдения за Керенским. На дворцовом дворе, полном казаками, тотчас начались летучие митинги на эту тему. Керенский узнал об этом и вызвал Краснова, который подтвердил ему, что „положение грозно", но обещал не допустить „выдачи" и поставить надежный караул. Приехавшему из ставки французскому генералу Нисселю Краснов сказал в тот же вечер, что „считает положение безнадежным", хотя один батальон иностранных войск и мог бы его спасти. „Ниссель выслушал, ничего не сказал и поспешно уехал".

[1 ноября утром в Гатчину возвратились посланные туда из Красного Села казачьи парламентеры в сопровождении матросской делегации во главе с Дыбенко. Основным требованием большевиков была выдача Керенского, и казаки готовы были это условие принять. Керенский стал подозревать в измене и самого Краснова и вытребовал его для объяснений.]

Вот как сам ген. Краснов передает этот последний разговор с верховным главнокомандующим:

„Я застал Керенского нервно шагающим по диагонали средней комнаты своей квартиры и в сильном волнении. Когда я вошел к нему, он остановился против меня, почти вплотную ко мне, и сказал взволнованным голосом:

— Генерал, вы меня предали. Ваши казаки определенно говорят, что они меня арестуют и выдадут матросам.

— Да, — отвечал я, — разговоры об этом идут, и я знаю, что ни сочувствия, ни веры в вас нигде нет.

— Но и офицеры говорят то же.

— Да, офицеры особенно настроены против вас.

— Что же мне делать? Остается одно: покончить с собой.

— Если вы честный человек и любите Россию, вы поедете сейчас, днем, на автомобиле с белым флагом в Петроград и явитесь в революционный комитет, где переговорите, как глава правительства.

А. Ф. задумался; потом, пристально глядя мне в глаза, сказал:

— Да, я это сделаю, генерал.

— Я дам вам охрану и попрошу, чтобы с вами на автомобиле поехал матрос.

— Нет, — быстро возразил Керенский. — Только не матрос. Вы знаете, что здесь Дыбенко.

Я ответил, что не знаю, кто такой Дыбенко.

— Это мой политический враг, — сказал мне А. Ф. Керенский.

— Что же делать, — отвечал я. — У человека, занимающего столь высокое место, естественно есть друзья и враги. Вам приходится теперь дать ответ во многом; но если ваша совесть чиста, Россия, которая так любит вас, поддержит вас, и вы доведете ее до Учредительного Собрания.

— Хорошо, но я уеду ночью, — сказал, немного подумавши, А. Ф. Керенский.

— Я не советую вам делать так, — возразил я ему. — Это будет походить на бегство. Поезжайте спокойно и открыто, как глава правительства.

— Хорошо, но только дайте мне надежный конвой.

Я вышел из его квартиры, потребовал себе казака Руссова (который был выбран для наблюдения за Керенским) для того, чтобы вызвать надежных людей для сопровождения А. Ф. Керенского в Петроград [1])".

Собраны были дивизионные комитеты, и после шестичасовых переговоров, в два часа пополудни выработаны, были следующие условия перемирия:

1) полная амнистия и выпуск на свободу всех юнкеров, офицеров и других лиц, принимавших участие в борьбе, кроме имеющих за собой обоснованное обвинение в государственной измене;

2) выпуск на свободу и выдача надлежащих пропусков всем членам совета союза казачьих войск;

3) прекращение грабежей, насилий и неистовств над мирными жителями, если таковые происходили, и впредь предотвратить;

4) свободный и организованный пропуск всех семейств казаков, находящихся в Петрограде, с правом вывезти необходимое имущество;

5) установление надежной охраны в г. Гатчине и окрестностях после отъезда казаков;

---

[1]) Цитирую этот разговор по первоначальному изложению Краснова. (Как видим, оно значительно отличается в этом пункте от позднейшего текста его воспоминаний, напечатанного в настоящем томе. Ср. стр. 80—81. *Ред.*)

6) полная гарантия спокойствия и нормальной жизни в гатчинской школе прапорщиков и авиационной школе;

7) дать возможность приготовить все для погрузки казаков отряда, не спеша;

8) немедленно по окончании переговоров открыть движение всех железных дорог, чтобы дать возможность подвоза продовольствия и всего необходимого;

9) открыть все заставы и установить свободное сообщение со столицей. Товарищи Ленин и Троцкий, впредь до выяснения их невиновности в государственной измене, не должны входить как в министерство, так и в народные организации. „С другой стороны, было постановлено, по заслушании доклада представителей революционного комитета: передать Керенского в распоряжение революционного комитета для предания гласному народному суду под охраной трех представителей от казаков, трех от партий и трех от матросов, солдат и рабочих Петрограда. Обе стороны дают честное слово, что над ним и вообще ни над кем ни в коем случае не будут допущены никакие насилия и самосуды".

Керенский, как видим, был прав, что внизу происходил „торг о цене его головы". Понятны, в связи с содержанием этих решений, которые здесь переданы по данным первоначальной брошюры Краснова, и советы Краснова Керенскому — поехать в Петроград добровольно, с надежным эскортом. В некоторых пунктах соглашения видны следы предложений Краснова о перемирии, посланных накануне в Красное Село. Едва ли, конечно, Краснов мог поверить в добросовестность предложений „румяного и веселого красавца-мужчины" Дыбенко поменять Керенского на Ленина, „ухо на ухо" [1]).

Казаки, однако, этому верили. Вскоре по принятии приведенных решений, в три часа дня к Краснову, по его позднейшим воспоминаниям, „ворвался комитет 9-го Донского полка с войсковым старшиной Лаврухиным. Казаки истерично требовали немедленной выдачи Керенского, которого они под своей охраной отвезут в Смольный. „Ничего ему не будет,—говорили они: — мы волоса на его голове не позволим тронуть".

Дальше в показаниях Краснова и Керенского начинается важное разноречие. Конец разговора своего со станичниками Краснов передает здесь так, как передан выше раз-

---

[1]) „Едва ли можно поверить" и тому, что такие предложения делались самим Дыбенко. Ср., например, воспоминания Семенова в №№ 6—9 „Прожектора" за 1923 г. *Ред.*

говор его с той же делегацией 9-го Донского полка, происшедший (по первоначальной брошюре Краснова) в пять часов вечера накануне 31 октября. Надо думать, что в позднейших воспоминаниях произошло смешение, и тот же разговор отнесен к 3 часам 1 ноября. Если это так, то и в дальнейшем рассказе Краснова мы можем предполагать путаницу. Краснов рассказывает следующее.

„Когда они (казаки) вышли, я прошел к Керенскому. Я застал его смертельно бледным, в дальней комнате его квартиры. Я рассказал ему, что настало время, когда ему надо уйти. Двор был полон матросами и казаками, но дворец имел и другие выходы. Я указал на то, что часовые стоят только у парадного входа. „Как ни велика вина ваша перед Россией,— сказал я,— не считаю себя в праве судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь". Выйдя от Керенского, я устроил так, что надежный караул (обещанный депутацией 9-го полка) долго не могли собрать. Когда он явился и пошел осматривать помещение, Керенского не было. Он бежал".

Керенский в своих воспоминаниях утверждает, что „все это вздор и вымысел", и что никакого свидания с Красновым непосредственно перед побегом у него не было. Утверждение Керенского подтверждается не только подозрительно-театральным тоном обращения, которым отличаются и части предыдущей беседы, но и тем обстоятельством, что в своем первоначальном рассказе, составленном тогда, когда воспоминания были свежее, Краснов также ничего не говорил о втором разговоре с Керенским. Там он рассказывал о бегстве Керенского, как совершенно неожиданном для него самого. Он описывал, как, после приведенного выше разговора, происходившего около полудня, он едва успел получить сведения о ходе переговоров с казаками, отправить телеграмму в ставку и вызвать к аппарату казачьего комиссара в ставке, как наткнулся в комнате офицеров штаба на растерянных казаков и офицеров, сообщивших ему, что Керенский бежал. „Это известие показалось мне совершенно невероятным,— сообщает Краснов в своем первоначальном „Описании".— Был полный день: коридор дворца (квартира Керенского выходила на два коридора, охранялся же только один вход, другой был заперт), дворцовый двор и площадь перед дворцом кишели казаками и солдатами. Как можно было бежать через всю эту кипень людей такому приметному наружно человеку, каким был А. Ф. Керенский?" Из расспросов Краснов установил, что Керенский „ушел в матросской куртке и синих очках".

Повидимому, покрывая себя перед начальством, Краснов телеграфировал в ставку ген. Духонину: „приказал арестовать главноверха: он успел скрыться".

От приказа арестовать до пособничества в побеге — расстояние, конечно, очень большое, и единственным исходом из этого ряда внутренних противоречий ген. Краснова является признать более правильным изложение Керенского, совпадающее с первоначальным свидетельством самого Краснова [1]).

Адъютанты Керенского тогда же сообщили печати следующее официальное объяснение его исчезновения. „Около 3-х часов дня, когда стала известной вся безнадежность создавшейся обстановки для А. Ф. Керенского, — решение казаков выдать его большевикам, по его мнению, должно было повлечь за собой самосуд: тем более, что у него не было надежды на то, что его дело будет рассматриваться в условиях нормального политического процесса, — он решился временно скрыться, с тем, чтобы, когда улягутся страсти, и настроение общества будет более объективным, объяснить стране как обстановку, в которой он действовал в последние дни, так и те причины, которые заставили его решиться сделать этот шаг".

В самый момент обнаружения бегства Керенского комиссар северного фронта Войтинский сообщил ген. Краснову, что „соглашение между отрядом Краснова и представителями Петроградского гарнизона достигнуто на основании низложения Керенского". В Псков и в ставку Войтинский послал следующие телеграммы. В Псков: (после только что приведенной фразы) „предпишите немедленно остановить все двигающиеся к Петрограду эшелоны и прекратить всякие действия, связанные с формированием отряда Керенского". Наштаверху: (после того же сообщения) „все проявления гражданской войны должны быть немедленно ликвидированы. В частности, прекратите движение эшелонов и известите всех о прекращении военных действий между столкнувшимися сторонами". „Всем, всем, всем" была послана третья телеграмма: (после той же вступительной фразы) „вопрос управления Россией этим соглашением не предрешается, но устанавливается безусловное прекращение гражданской войны. Керенский покинул отряд".

[1]) Это утверждение по меньшей мере спорно. Так, например, Н. Авдеев на основании публикуемых им в № 9 „Красного Архива" документов считает, что „Краснов не только сочувствовал побегу Керенского, но и оказал ему некоторое содействие". Приводимая Милюковым первоначальная версия рассказа Краснова о бегстве Керенского является почти буквальным пересказом показания Краснова при аресте. Последнее же вряд ли заслуживает особого доверия, так как Краснов был заинтересован в том, чтобы „обелить" себя перед победителями-большевиками. *Ред.*

Отношение ставки ко всему совершившемуся определилось в самый день исчезновения Керенского, 1 ноября. Это явствует из следующей телеграммы ген. Духонина, разосланной после получения приведенных выше телеграмм Войтинского. „Сегодня, 1 ноября, войсками ген. Краснова, собранными под Гатчиной, было заключено с гарнизоном Петрограда перемирие, дабы остановить кровопролитие гражданской войны. По донесениям ген. Краснова, главковерх Керенский оставил отряд, и местопребывание его не установлено.

Вследствие сего, на основании положения о полевом управлении войск, я вступил во временное исправление должности верховного главнокомандующего и приказал остановить дальнейшую отправку войск на Петроград. В настоящее время между различными политическими партиями происходят переговоры для формирования временного правительства. В ожидании разрешения кризиса, призываю войска фронта спокойно исполнять свой долг перед родиной, дабы не дать противнику возможности воспользоваться смутой, разразившейся внутри страны, и еще более углубиться в пределы родной земли. Духонин".

„Переговоры между политическими партиями", о которых упоминается здесь, очевидно, происходили не в ставке, а в Петрограде. В ожидании их окончания, ген. Духонин встал на единственно возможную формальную точку зрения. Но практически эта позиция равнялась отказу от дальнейшей поддержки правительства Керенского. Все усилия Савинкова и Вендзягольского, выехавших из Гатчины с целью убедить армии фронта продолжать борьбу, были, таким образом, заранее осуждены на неудачу. В Пскове, куда они выехали 1 ноября, они окончательно выяснили, что именно распоряжениями ген. Черемисова, а вовсе не большевистскими настроениями пехотных частей, объяснялось, главным образом, то опоздание, которое стало причиной неудачи похода ген. Краснова [1]). Двусмысленная позиция главнокомандующего северным фронтом заставила и его подчиненных быть крайне уклончивыми. Начальник штаба ген. Лукирский сидел дома и не ходил в штаб. Он признал, что приказы Черемисова обнаруживают его нежелание допустить движение пехотных частей к Петрограду, но от дальнейшего обсуждения причин, побуждений и последствий этой тактики главнокомандующего отказался. Ген. Барановский, родственник Керенского, ответил приезжим: „в моем положении мне неудобно вмешиваться во все это". Ген. Ду-

[1]) Это неверно уже потому, что самые „распоряжения Черемисова" были обусловлены определенно большевистскими настроениями частей. *Ред.*

хонин, запрошенный Савинковым по аппарату 3 ноября, ответил только, что приглашает бывшего управляющего военным министерством лично прибыть в ставку. Уже 4 ноября Савинков ответил на это приглашение письмом из Луги, что не может приехать, потому что „его ищут", но что, при безостановочном движении эшелонов, в Луге еще может собраться отряд в 2—5 пехотных дивизий, который „при достаточной артиллерии и хотя бы небольших конных частях" мог бы „без особого труда" предпринять поход на Петроград, который „должен увенчаться успехом". Не дожидаясь ответа, Савинков снова едет в Псков и делает безнадежную попытку убедить дивизионный комитет и штаб, что Черемисова, который сошелся с большевиками, надо арестовать.

Дивизионный комитет пытался „всячески выпрямлять извилистые пути" эшелонов, разбрасываемых Черемисовым в разные стороны. Действительно, 3 ноября приходит первый эшелон 1-й дивизии. Но за ним не следуют другие. И „дисциплина берет верх". Решено обратиться еще раз к высшей власти, к ген. Духонину. Савинков и Вендзягольский шлют ему 5 ноября телеграмму, в которой просят срочно указать, „сосредоточиваться ли частям 35-й и 3-й финляндской дивизии в районе Луги или отбывать по другим направлениям". Черемисову они телеграфируют одновременно, что „при восстановлении законного Временного Правительства ими будет ему доложено о его противоречивых распоряжениях, кои могут дать повод усмотреть в них нежелание защищать законную власть в столь ответственную минуту". Части 35-й дивизии, получившие накануне приказ Черемисова грузиться обратно, из Луги на Псков, отказываются выполнить этот приказ.

Все это были последние судороги. 5 ноября пришло распоряжение Духонина, подтверждавшее приказ Черемисова. Еще накануне, 4 ноября, Духонин повторил свой приказ от 1 ноября, остановивший дальнейшую отправку войск на Петроград. С каким настроением он это делал, видно из его разговора по аппарату с новым начальством, прапорщиком Крыленко. В эти же дни Крыленко прямо спрашивал Духонина: „Как и чего мы можем ждать с вашей стороны по отношению к создавшемуся положению вещей?" Духонин, который в телеграмме от 27 октября Каледину заверял... „что мы все в тесном сотрудничестве с комиссарами и войсковыми комитетами... до последнего предела будем бороться для восстановления в данное время Временного Правительства и Совета Республики", не мог сразу решиться признать, что наступил „последний предел". Положив фактически сам этот предел своим распоряжением

об остановке движения эшелонов и, конечно, не разделяя упорной настойчивости Савинкова и его упрямого оптимизма, Духонин, однако, не мог решиться и на признание новой власти. Он отвечал Крыленко: „ставка не может... принять участие в решении вопроса о законности верховной власти... Я, как временно исполняющий должность в. г., готов войти в деловые сношения с генералом Маниковским". На повторные заявления Крыленко, что речь идет собственно не об этом, а о прекращении передвижения войск, возбуждающего „волнения гарнизона Петрограда", Духонин отвечал односложной справкой: „мой приказ 1 ноября выполняется". Печатая юзограмму этих переговоров, „Известия" прибавили от себя, что „так могут поступать только люди, которые еще пока не знают, чего держаться" и что ген. Духонин, конечно, не может остаться на своем посту, раз в такой критический момент он колеблется безоговорочно признать власть советов". Так готовилась агония ставки и личная трагедия Духонина.

Сопротивление армии перевороту большевиков было, таким образом, остановлено на первых робких попытках. Савинкову и Вендзягольскому оставалось спасаться самим, что они и сделали, вернувшись в Псков с погрузившимися воинскими частями. В момент их отъезда, 6 ноября утром, разведка сообщила, что на вокзале в Луге уже находятся Дыбенко и Рошаль во главе отряда матросов, и что солдаты с ними братаются... В Пскове было получено новое распоряжение ген. Духонина: направлять все части, двигающиеся на Лугу, обратно в Невель и в первоначальные места погрузки.

В Петрограде сопротивление большевикам после 25 октября сосредоточилось в руках „комитета спасения родины и революции", созданного городской думой. Одновременно борьбой руководила военная комиссия при центральном комитете партии с.-р. Связь между комитетом и комиссией поддерживалась тем, что некоторые члены, как Гоц, участвовали и там, и здесь.

Вероятно, в этой среде существовало убеждение, высказанное Керенским („Гатчина"), что „в СПБ. гарнизоне, как в полках, так и в специальных войсках, было еще достаточно организованных антибольшевистских элементов, готовых при первом удобном случае выступить против большевиков". Мы видели, что между Петроградом и Гатчиной не прерывались сношения, целью которых, очевидно, была координация борьбы. Известия, получавшиеся в Гатчине, были то оптимистические, то, наоборот, очень пессимистические (см. выше). Можно сказать, что Петроград возлагал надежды на Гатчину, а Гатчина — на Петроград.

Из показаний Ракитина - Брауна, Краковецкого и Фейта в Московском процессе эсеров в июне 1922 года видно, что военной комиссией эсеров был разработан план восстания, целью которого был захват Смольного и удар в тыл стоявшим против отряда Краснова в Гатчине частям Петроградского гарнизона. План этот был утвержден на особом совещании, в котором участвовали Авксентьев, Гоц, Богданов и полк. Полковников (подозрения против последнего, высказывавшиеся Керенским и некоторыми министрами, тем самым оказываются преувеличенными). Успех плана зависел от согласования его с движениями Красновского отряда, а также, разумеется, от численности войск, которые примут участие в выполнении. Но части Петроградского гарнизона, вопреки расчетам эсеров и комитета спасения, уклонились от участия. Единственным надежным элементом оказались юнкера. И как раз тут случилось обстоятельство, которое повело к провалу всего предприятия и к кровавой расправе с юнкерами. В Смольном узнали о плане эсеров.

Получив об этом сведения, рассказывает Ракитин, мы (по смыслу показания — инициаторы плана) решили форсировать события и, не дожидаясь прихода Керенского в Гатчину (очевидно, деталь неточная), поднять восстание.

„Я (Ракитин) составил приказ, в котором говорилось, что власть большевиков свергнута и что все члены военно-революционного комитета должны быть задержаны. Этот приказ должны были подписать Авксентьев, Гоц, я и Синани".

В данном случае инициаторы, очевидно, пошли дальше руководителей. По рассказу Керенского, „в заседании военного совета, происходившем вечером 28 октября, никакой резолюции о немедленном восстании принято не было". Это произошло позже, когда заседание кончилось и большая часть участников его разошлась [1]). В этот момент в помещение заседания совета явилось несколько военных с известием, „которое Керенский называет крайне тревожным, но едва ли верным". Военные заявили, что „большевики, узнав о готовящихся событиях, решили с утра 29-го приступить к разоружению всех военных училищ". Они выводили отсюда, что „больше медлить нельзя, завтра же нужно рисковать".

---

[1]) Это показание подтвердил и Авксентьев автору этих строк. Он не участвовал в военном совещании, о котором идет речь, но, находясь, в качестве председателя совета крестьянских депутатов, в том же здании, в котором происходили эти совещания, по окончании заседания, поздно ночью, вместе с Гоцем вышел из здания, и Гоц сказал ему, что на завтрашний день ничего не решено, и день пройдет спокойно.

Этот ход событий объясняет, почему, когда нужно было подписать приказ (составленный Ракитиным), „налицо не оказалось ни Авксентьева, ни Гоца". Гоц заявил на суде, тотчас после показания Ракитина, что он не видал приказа, а потому и не подписывал. Инициаторы восстания, однако, перед этим не остановились. „Мы,—говорит Ракитин,—решились опубликовать приказ, поставив на нем их фамилии" [1]).

Это едва ли была „провокация", как выражается Керенский. Но это, во всяком случае, была крайняя неосторожность и опрометчивость, повлекшая за собой роковые последствия.

Утром 29 октября началась канонада, „происхождение и смысл которой", по свидетельству Керенского, „оставались совершенно непонятными большинству гражданских и военных руководителей антибольшевистского движения в СПБ". Ракитин показывает, что начало восстания было удачно, и что в этот момент он распространил заготовленный им приказ от имени „комитета спасения". Но, очевидно, сразу же обнаружилось крайнее неравенство сил,—началась расправа.

Так положено было в столице формальное начало гражданской войны, начало той бесконечной цепи страданий неорганизованных масс от вооруженного господства организованных шаек, в которой погибла русская государственность.

Нам остается теперь рассказать о последней попытке спасти гибнущую государственную власть. Взятие Петрограда и центрального правительственного аппарата большевиками еще не решало вопроса, подчинится ли вся Россия захвату власти солдатами петроградского гарнизона. Слово было за Москвой.

Коммунистическая партия в Москве была, конечно, в курсе всего, что происходило в Петрограде. Как и в Петрограде, здесь боролись два течения: за и против восстания и немедленного захвата власти. Бухарин, Осинский, Смирнов стояли за восстание, ссылаясь на мнение Ленина. Ногин, Рыков, Скворцов, Норов возражали. За неделю до октябрьского восстания в редакции московского „Социал-Демократа" обсуждалось письмо Ленина, в котором московский комитет партии приглашался взять на себя инициативу восстания, если Ц. К. и Петроградский комитет не захотят взять на себя ответственности. В партийном совещании руководитель военной организации Ярославский доложил,

[1]) „Через три дня после подавления восстания", добавляет Ракитин, „в печати появилось письмо Авксентьева, Гоца и Синани с заявлением, что они указанного приказа не подписывали".

что „огромное большинство солдат на стороне пролетариата". Мешал только совет солдатских депутатов, где продолжали преобладать эсеры. Для окончательного решения собрана была в большой аудитории Политехнического музея общегородская конференция коммунистической партии, которая, после докладов Осинского, Семашко и Смирнова, единогласно вотировала восстание.

Накануне октябрьского восстания в Петрограде московские представители, Рыков и Ломов, участвовали в совещаниях в Смольном, на которые являлся Ленин, бритый и в парике. В день восстания Ломов был отряжен в Москву „брать там вместе с товарищами власть". Партийные организации коммунистов (Московский комитет, Окружный комитет и Областное Бюро) немедленно выделили из себя центр, который занялся объединением работы этих организаций в Москве и мобилизацией, „по условленному конспиративному призыву", всех партийных сил в губернии и в области на помощь Москве [1]).

Прежде чем перейти к результатам этой деятельности партийных учреждений, посмотрим, что предпринималось в антибольшевистском лагере при первых известиях о петроградских событиях 25 октября. Средоточием московских противников большевиков с самого начала явилась городская дума. Городской голова В. В. Руднев, с.-р., немедленно созвал экстренное заседание думы и предложил ей высказаться по поводу переворота. Лично он высказался отрицательно и даже в случае, если перемена правительства будет признана необходимой, считал возможным только правительство коалиционное, а не чисто социалистическое. В защиту переворота выступил большевик Скворцов, сообщивший собранию, что захват власти советами „хорошо организован и совершается почти безболезненно". Ему возражал Н. И. Астров, представитель партии народной свободы, находивший, что „безболезненность" переворота не исключает насилий и погромов, а хитрая обдуманность плана свидетельствует об участии германцев. Астров предлагал думе создать орган для руководства защитой столицы и охраной жизни и имущества населения. Ораторы-меньшевики разошлись между собой. Эсеры поддерживали Руднева и Временное Правительство. В заключение было принято воззвание к московскому населению — сплотиться

[1]) Деятельность коммунистов в московском восстании изложена по воспоминаниям участников, печатавшимся в московских коммунистических газетах 1917 и 1918 г. и переизданным в сборнике: „Москва в октябре 1917 г. Иллюстрированный сборник заметок и воспоминаний участников движения. Под редакцией и со вступительной статьей Н. Овсянникова". Москва 1919.

вокруг думы для защиты Временного Правительства, и решено было поручить управе создать при городском управлении комитет общественной безопасности с представительством демократических организаций. С утра 26 октября и было приступлено к организации этого комитета.

По идее эсеров, комитет должен был быть составлен не из представителей комитетов политических партий, а из представителей учреждений. Этим устранялись междупартийные споры, этим же, с другой стороны, определился и фактический перевес тех политических групп, которые преобладали в составе объединенных в комитете учреждений. В комитет безопасности вошли, таким образом: президиум городской управы в лице городского головы Руднева и трех его товарищей, представители уездного земства, президиум совета солдатских депутатов [1]), исп. комитет крестьянских депутатов, представители железно-дорожного и почтово-телеграфного союзов, представители штаба военного округа. Представители думских фракций, т.-е. политических групп, были допущены лишь для осведомления.

Комитет объявлял, что все обязательные распоряжения могут публиковаться только от его имени, и ставил своей задачей „защиту порядка и безопасности" и „уменьшение испытаний, которые грозят населению". Командующий войсками московского округа в своем приказе от 26 октября „призывал не поднимать никакой гражданской войны, охранять национальные ценности и казенные учреждения и не допускать никаких выступлений темных сил и погромов".

Ограничение комитета пассивной задачей охраны безопасности вытекало из тогдашнего настроения. Психологии немедленного призыва к борьбе не было налицо, и даже те, кто с самого начала видел необходимость борьбы, считали необходимым привести население постепенно к сознанию этой необходимости. Городская дума, взявшая на себя руководство защитой, принципиально не хотела призывать к гражданской войне. Она лишь брала на себя своеобразную роль политического прикрытия между армиями и мятежниками. Это была, по выражению одного эсера, видного участника событий, „педантически государственная концепция". Не признавая переворота, думский комитет взывал к стране и к фронту: решающий голос в борьбе должен был принадлежать, по этой концепции, всей демократии России и действующей армии [2]).

---

[1]) При этом большевики отказались послать своего представителя.

[2]) Здесь (как и всюду дальше) изложение Милюкова весьма тенденциозно. В действительности „комитет общественной безопасности" вовсе не ограничивался „пассивной охраной". Как несколько ниже проговаривается сам же

Получив от министра Никитина право пользоваться телеграфом, Комитет апеллировал на решение Петрограда к стране. На тысячи телеграмм он получил сотни ответов. Но они запоздали и пришли после развязки. Ошибочна была и надежда продержаться, пока не выскажется фронт: мы видели, что фронт сам выжидал, пока не явилась возможность перейти на сторону победителя. Вся надежда в Москве возложена была на командование округом; но представитель командования, полк. Рябцов, два первые дня отсутствовал в комитете. Он был в Кремле и... переговаривался с большевиками. Приказаний от Комитета он не получал и в силу упомянутой основной „концепции" Комитета.

Для большевиков, напротив, все было ясно. К своей цели они шли, ни на кого не полагаясь и не оглядываясь направо и налево. Одновременно с заседанием городской думы 25 октября состоялось заседание совета р. и с. д., на котором приняты были решения, желательные большевикам. Правда, этому заседанию предшествовал общий сговор фракций совета, и бюро фракций вынесло выработанную сообща платформу, сообразно которой предполагалось „для охраны порядка и борьбы с натиском контр-революционных сил образовать временный обще-демократический революционный орган в составе представителей от советов р., с. и крест. депутатов, представителей городского и земского самоуправления, штаба округа и всероссийских железно-дорожного и почтово-телеграфного союзов". Но создание такого органа, который по составу совпадал бы с Комитетом Безопасности, организованным думой, вовсе не нравилось большевикам. Они потребовали перерыва и внесли свою формулу: „московские советы р. и с. д. выбирают на сегодняшнем пленарном заседании революционный комитет из 7 лиц. Этому революционному комитету предоставляется право кооптации представителей других революционных демократических групп, с утверждения пленума с. д. Избранный революционный комитет начинает действовать немедленно, ставя себе задачей оказывать всемерную поддержку комитету петроградского с. р. и с. д." Эсеры решительно протестовали против „создания организаций, направленных к захвату власти". „Снимая с себя всякую ответственность за результаты большевистской попытки

Маяковк, комитет сейчас же принялся за мобилизацию всех контр-революционных сил „страны и фронта". И если в самой Москве не был „немедленного призыва к борьбе", то главным образом потому, что белым необходимо было выиграть время для мобилизации своих сил. Как только белая гвардия сорганизовалась, „призыв" этот немедленно был сделан. *Ред.*

государственного переворота", они от голосования отказались. Меньшевики голосовали против, но формула большевиков получила большинство 394 против 113, при 26 воздержавшихся, и московский „военно-революционный комитет", предназначенный действовать в „поддержку" петроградскому, был тут же выбран. Большинство в нем (4 из 7) принадлежало к большевикам. Эсеры отказались войти. Меньшевики вошли с оговоркой, что входят не для того, чтобы содействовать захвату власти советами, а для того, чтобы помочь пролетариату и армии возможно безболезненнее изжить все последствия этой попытки авантюризма большевистских вождей и чтобы бороться внутри комитета за замену его обще-демократическим революционным органом". Позиция — довольно своеобразная в органе, который должен был заставить говорить пушки. Нужно прибавить, что и меньшевики, и объединенцы скоро почувствовали невозможность своего пребывания в составе органа, который вовсе не желал с ними считаться. „Ввиду явного нарушения большевиками принципа коллективности и стремления подавить волю меньшинства и действовать за его спиной, они вынуждены были покинуть комитет" [1]).

Немедленно же большевистский штаб восстания начал действовать. В помещении совета р. и с. депутатов работа кипела. Одним из первых его действий было — объявить на следующий день всеобщую забастовку и запретить выход „буржуазных" газет. Товарищ Голенко организовал немедленно нападение на типографии этих газет, начатый набор был разобран, и утром 26-го вышли только „Известия" и „Правда" [2]). Чтобы закрепить за собой московские войска, не знавшие в первую минуту, кого слушаться, и запрашивавшие об этом „контр-революционный" совет солдатских депутатов, была созвана 26 октября конференция представителей всех частей московского гарнизона. Огромным большинством 116 голосов против 18 она постановила выразить доверие большевистскому Военно-Революционному Комитету. Прокламацией, напечатанной 27 октября в „Известиях", Военно-Революционный Комитет брал власть в свои руки. „Революционные рабочие и солдаты г. Петербурга во главе с Петербургским советом рабочих и солдатских депутатов",— говорилось в этой прокламации,— „начали решительную борьбу с изменившим революции Временным

[1]) Эта мотивировка приведена в „Вечернем Курьере" 7 ноября 1917 года, в статье „Летопись кровавой недели".

[2]) Путаница. Московский орган большевиков назывался тогда „Социалдемократом". Только после перехода Советского правительства и Ц. К. партии большевиков в Москву в мае 1918 г. было пересено туда и издание „Правды", заменявшей собою „Социалдемократа". *Ред.*

Правительством. Долг московских солдат и рабочих поддержать петербургских товарищей в этой борьбе. Для руководства ею московский совет р. и с. депутатов избрал В.-Р. комитет, который и вступил в исполнение своих обязанностей. В.-Р. Комитет объявляет: 1) весь московский гарнизон немедленно должен быть приведен в боевую готовность. Каждая воинская часть должна быть готова выступить по первому приказанию В.-Р. Комитета. 2) Никакие приказы и распоряжения, не исходящие от В.-Р. Комитета или не скрепленные его подписью, исполнению не подлежат".

Немедленно же сделано было употребление из этих полномочий, взятых на себя В.-Р. Комитетом. Занимавшие караулы в Кремле роты 56-го полка были на стороне большевиков, но решено было подкрепить их ротами 193-го полка, и приказ об этом, привезенный в ночь на 27 октября в Хамовнические казармы большевиком Ярославским, был немедленно выполнен. Начальник арсенала в Кремле Лазарев подчинился и требованию В.-Р. Комитета о выдаче оружия. К 10 ч. утра было выдано 1500 винтовок с патронами. Входы и выходы из Кремля были заперты. Прапорщик Берзин назначен начальником гарнизона Кремля.

С другой стороны, центром сопротивления В.-Р. Комитету, заседавшему в губернаторском доме на Скобеленской площади, становились военные училища, в особенности Александровское на Знаменке. Туда стекалось к юнкерам и офицерство, желавшее принять участие в борьбе с большевиками, и горячая студенческая молодежь. Первая стратегическая задача, которая была тут поставлена, — было занятие командующих позиций и важнейших пунктов: Кремля, почты, телеграфа, телефона. Второй задачей являлось окружение Скобелевской [1]) площади, где заседал Совет. В первые дни восстания выполнение этих задач представлялось не только возможным, но и легким, так как В.-Р. Комитет еще не успел стянуть своих войск. Но и Кремль, и почта были уже заняты ротами 56-го полка, сочувствовавшими восстанию. Начались переговоры между командующим округом полковником Рябцовым и Военно-Революционным Комитетом о предупреждении кровавого столкновения.

Полк. Рябцов очутился в трудном положении между юнкерами, Комитетом Общественной Безопасности и Военно-Революционным Комитетом [2]). Человек не сильный и колеблю-

[1]) Теперь Советская площадь. *Ред.*

[2]) В действительности Рябцов (правый эсер) был, разумеется, не „между" борющимися сторонами, а определенно в лагере белых, который он возглавлял вместе с другим правым эсером городским головой Рудневым. „Лавировать" ему приходилось лишь между открыто черносотенными эле-

щийся, он пытался лавировать среди противоположных требований, предъявлявшихся к нему, и очень скоро потерял всякий авторитет. В течение всего дня 27 октября он вел бесплодные переговоры с большевиками об очищении Кремля и занятии его юнкерами. При этом Рябцов оставался в Кремле среди восставших солдат, а Кремль был окружен юнкерами, не пропускавшими никого из ворот. Большевики требовали, чтобы юнкера очистили манеж, который они занимали, и дали провезти из Кремля оружие, взятое из арсенала для вооружения солдат и рабочих. Взамен этого они соглашались увести из Кремля роту 193-го полка, но настаивали на оставлении там рот 56-го полка. Рябцов настаивал, чтобы охрана Кремля и арсенала была поручена юнкерам, или чтобы, по крайней мере, они были впущены для охраны окружного суда. Солдаты 56-го полка, среди которых велись эти переговоры, волновались, требовали ареста Рябцова и грозили убить его. Рябцов, наконец, обещал отвести юнкеров от ворот Кремля и отдал соответственный приказ, которого, однако, юнкера не хотели исполнять. К вечеру 27-го Рябцову, наконец, удалось выбраться из Кремля и перейти в помещение думы, откуда он вел дальнейшие переговоры.

Попав в район влияния Комитета Общественной Безопасности, Рябцов стал смелее. В 7 часов вечера он протелефонировал в Военно-Рев. Комитет ультиматум: Кремль должен быть очищен, В.-Р. Комитет распущен. Ответ должен быть дан через десять минут, иначе начнутся военные действия. Решение это было мотивировано тем, что В.-Р. Комитет, „несмотря на все уверения, не вывел из Кремля отказавшуюся повиноваться воинскую часть, и было допущено самое широкое расхищение оружия, пулеметов и снарядов из разных мест и снабжение ими большевистских организаций“ [1]). „Мы испытывали большие колебания“,— свидетельствует по поводу ультиматума Рябцова член В.-Р. Комитета Аросев. — „Никогда мое сердце так не трепетало, как в тот раз, когда приходилось решительно голосовать: отвергнуть ультиматум или нет“... „Товарищ председатель сосчитал голоса: за то, чтобы отвергнуть ультиматум Рябцова, большинство. Трезвые, твердые цифры голосов за и против убили колебания“.

Действительно, в тот момент В.-Р. Комитет еще не знал, чем он может располагать. Через два часа после

ментами военщины и контр-революционерами, прикрывавшимися социалистическими и демократическими лозунгами. *Ред.*

[1]) К сожалению, оружие было не достаточно широко „расхищено“ Военно-Революционным Комитетом. Это сильно отразилось на результате первых дней уличных боев. *Ред.*

принятого решения пролилась первая солдатская кровь на Красной площади. Но это был только небольшой авангард революции: отряд „двинцев", большевистских солдат, арестованных в Двинске еще в августе и переведенных в сентябре в Бутырскую тюрьму, откуда, в количестве 860, они были выпущены 1 сентября „по постановлению московского совета рабочих депутатов". „Двинцы" оказались первыми убежденными сторонниками восстания и его защитниками. Отряд в 300 человек бросился „пролить кровь за идею социализма", и „45 лучших товарищей двинцев легло у стен Кремля, под выстрелами юнкеров". Остальные отбились и добрались до Скобелевской площади, где и составили основное ядро гвардии В.-Р. Комитета.

В течение этого вечера, следующей ночи и утра 28 октября В.-Р. Комитет пережил тревожные часы. Помещение совета опустело: в нем остались только лица, непосредственно связанные с текущей работой. С уходящими в районы прощались, точно навсегда. Настроение оставшихся приближалось с паническому [1]). „Начался поток тревожных вестей",— вспоминает большевичка Н. Виноградская.— „Доносили, что наших теснят, юнкера окружают совет. Связь с районами определенно порывается. Как бы в подтверждение этих ошеломляющих донесений, во всех переулках, прилегающих к совету со стороны Б. Никитской, начали показываться юнкера. Неприятельская артиллерия то и дело стала попадать в здание Совета. Нам отвечать было нечем: артиллерия к нам еще не пришла. Приток донесений из районов прекратился, и с часу на час можно было ждать, что мы очутимся в мешке, окруженные со всех сторон и отрезанные от внешнего мира... Этот момент надо считать самым тревожным, самым тяжелым на всем протяжении октябрьских дней".

Утром 28 октября в Кремле были получены сведения, что вся Москва в руках Рябцова, гарнизон сдался и обезоружен, заняты почта, телеграф и все вокзалы. По телефону Рябцов подтвердил эти сведения: „все войска разоружены мной, я требую немедленного, безусловного подчинения, требую немедленной сдачи Кремля". Подавленный этими сообщениями, большевистский комендант Кремля Берзин „решил подчиниться приказу и сдать Кремль, чтобы спасти солдат от расстрела". Солдаты не хотели сдаваться: „нам все равно погибать",— но уступили необходимости и разоружились. Офицеры и юнкера вошли в Кремль, арестовали

[1]) Сильно преувеличено, чтобы не сказать больше. Большинство показаний, как и приводимое Милюковым показание Виноградской, говорит лишь о тревоге, а не о панике. *Ред.*

Берзина и членов большевистского комитета. Последовали расстрелы солдат арсенала.

Юнкера наступали и в других местах Москвы. „Весь центр города, — вспоминает большевик М. Ольминский, — кроме части Тверской улицы, был в руках юнкеров, в их руках вокзалы, трамвайная электрическая станция, телефон (кроме Замоскворецкого), В.-Р. Комитет сразу оказался почти отрезанным от районов, и районы, плохо связанные между собой, вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы, не зная, что делается в центре. Отрезанность центра от районов (связь кое-как поддерживалась только через Страстную площадь) — подвергала его ежеминутной опасности разгрома. Юнкерские броневики появились на самой Советской площади. Бывали моменты, когда казалось, что центру только и остается, что бежать. Это сильно отражалось на настроении членов В.-Р. Комитета, делало их склонными к переговорам о перемирии и уступкам. Совсем иное настроение наблюдалось в районах“.

Однако, и в рядах победителей данной минуты настроение было далеко не радужное. Состав военной молодежи, собравшейся в Александровском училище, юнкеров, прапорщиков, студентов, мобилизованных интеллигентов был отборный и очень твердо настроенный. Но единства настроения и здесь не было. Вначале эта молодежь с ужасом смотрела на перспективу — участвовать в гражданской войне. Иначе настроена была группа правого офицерства, с самого начала примкнувшая к защитникам Москвы. Но этим правым демократически настроенная молодежь не доверяла и побаивалась их влияния на себя. С другой стороны, не удовлетворяла этой молодежи и „педантически-государственная“ позиция Комитета Безопасности, не желавшего непосредственно руководить борьбой и ссылавшегося на командующего округом. А командующий округом Рябцов страшно боялся сделать какой-либо шаг, за который его мог бы впоследствии привлечь к ответственности какой-нибудь орган „революционной демократии“. Он оказался крайним неврастеником, бесконечно говорившим, когда надо было действовать, абсолютно неспособным распоряжаться, не сумевшим запасти во-время ни продовольствия, ни снарядов. Молодежь еще менее доверяла Рябцову, чем Комитету Безопасности, обвиняя его в намеренной дезорганизации обороны и в сношениях с большевиками. На Комитет негодовали, что он не хочет сменить Рябцова надежным военным руководителем (в руководители, между прочим, предлагал себя Брусилов). Но Комитет, как мы видели, принципиально избегал распорядительных действий, опасался офицерства правого настроения и, нако-

жен, считал неудобным менять командование в разгар борьбы.

Была еще одна сила, которая при других условиях могла бы сыграть роль в борьбе: это представители низвергнутого в Петрограде правительства. В эти дни противники большевиков не могли не смотреть на них как на единственных представителей законной власти. С. Н. Прокопович был единственным из министров, не арестованным в Зимнем дворце. Он был арестован еще по пути туда, в 10 час. утра, а около пяти часов пополудни освобожден из Смольного. Днем 26 октября под его председательством состоялось совещание товарищей министров, бывших в Петербурге. По словам С. Н. Прокоповича, „на этом совещании он указал на необходимость после потери Петербурга организовать сопротивление в Москве и просил дать соответственные полномочия". Получив эти полномочия, он приехал 27 утром в Москву и прямо с вокзала приехал в городскую думу, где заседал общественный комитет, с ним были его товарищи Хижняков и Кондратьев. В думе они предложили „кооптировать" Комитет во Временное Правительство. Но авторитет Временного Правительства, как мы видели, был невысок, и принять его фирму в Москве — не значило облегчить борьбу. Сам С. Н. Прокопович вспоминает, что в Москве правые открыто тогда говорили: „лишь бы большевики свергли власть Временного Правительства, а там уже справиться с ними будет легко". „В стане правых и левых,—прибавляет С. Н. Прокопович,— я видел в эти дни чуть не открытое ликование по поводу молодцеватости большевиков".

При таких настроениях предложение Прокоповича „о кооптации" встретило в думе более чем сдержанный прием. Полномочия, данные товарищами министров в Петрограде, в Москве, очевидно, теряли свою силу. Идея Прокоповича и его товарищей — создать в Москве суррогат Временного Правительства — таким образом, не могла осуществиться.

Другой идеей министра и его товарищей было опубликовать воззвание к населению, приняв тем самым на себя руководство борьбой. Текст этого воззвания был спешно составлен при участии членов партии к.-д. На следующий же день воззвание должно было появиться в газетах и показать Москве, что, несмотря на захват правительства в Зимнем дворце, законная власть Временного Правительства не погибла и что в Москве имеются налицо ее представители, готовые возглавить собой сопротивление Москвы вооруженному покушению на власть, созданную революцией. Однако, и этому плану не суждено было осуществиться. Воззвание

не было опубликовано, и присутствие в Москве представителей законной власти совершенно не сказалось на ходе событий.

Отстранение представителей Временного Правительства от руководства борьбой произошло как-то автоматически, само собой, как неизбежный результат соотношения сил, вступивших в борьбу. Но вместе с этим терялась конкретная цель борьбы. С. Н. Прокопович рассказывает, что на третий или четвертый день борьбы к нему явились четыре общественных деятеля, которые заявили ему, что поддерживать Временное Правительство они не хотят, но готовы поддержать его, если он объявит себя диктатором. Это фантастическое предложение характеризует настроение правых кругов. В более влиятельных левых кругах зрела другая мысль—та же самая, которая высказывалась в дни Петроградского восстания среди представителей социалистических партий: образование нового, чисто-социалистического правительства. Но для большинства юнкеров и офицеров, наиболее активных участников борьбы, эта идея делала бесцельной самую борьбу.

Все эти внутренние противоречия в ближайшие дни вышли наружу. Но уже с самого начала они сказались в том, что вместо единства руководства и немедленного приступа к решительным действиям, защитникам государственности пришлось тратить дорогое время на ведение переговоров и на придумывание компромиссов между различными течениями, объединившимися для совместной борьбы [1]).

---

[1]) В некотором противоречии с этим выводом стоит заявление самого С. Н. Прокоповича в „письме в редакцию" берлинской газеты „Руль" 1 августа 1922 г. в ответ „Новому Времени". С. Н. Прокопович излагает следующим образом свою роль при взятии Кремля. „Выяснив положение (в общественном комитете, куда он приехал прямо с вокзала утром 27 октября),—пишет С. Н. Прокопович,—я вызвал в городскую думу командующего войсками полковника Рябцова и спросил его, как он мог допустить занятие Кремля. Рябцов ответил мне, что он, как военный, может лишь исполнять приказание гражданской власти. Ни Временное Правительство, ни общественный комитет в Москве прямых приказаний вступить в борьбу с большевиками ему не давали. Тогда я, опираясь на данные мне собранием товарищей министров полномочия, отдал ему приказ занять Кремль. Рябцов исполнил приказ, и Кремль был занят нами". Рассказ С. Н. Прокоповича о заявлении ему Рябцова отчасти совпадает с показанием о „недактически-государственной" позиции комитета, приведенным в тексте со слов влиятельных членов комитета. Он совпадает и с характеристикой личности Рябцова, страшно боявшегося ответственности за самостоятельные решения и готового перестраховаться у кого-угодно и переложить ответственность на кого-угодно, — большевиков, думский комитет, Временное Правительство. Но из моего предыдущего изложения видно, что, с одной стороны, борьба за Кремль была уже в ходу, когда приехал Прокопович, и факторы этой борьбы выяснялись постепенно, а с другой стороны, что взятие Кремля

Мы видели, что вечером 27-го и утром 28-го большевистский комитет находился в положении, близком к панике, и проявлял готовность пойти на компромисс и на оттяжку решения [1]). Правда, положение это несколько изменилось в течение 28 октября. После полудня 28-го вернулся, наконец, посланный на Ходынку за артиллерией член В.-Р. Комитета В. Смирнов и привел три орудия, немедленно расставленные и начавшие стрелять вниз и вверх по Тверской от Скобелевской площади и по Космодемьянскому переулку. „Теперь голыми руками они Совета не возьмут, теперь мы продержимся день-другой, пока не подтянутся районы", — так формулирует впечатление, произведенное на В.-Р. Комитет появлением этих орудий, большевик В. Соловьев. Затем появились делегации с фронта, чтобы осведомиться о положении. Оживилась деятельность в районах. Тем не менее, склонность к переговорам о перемирии у В.-Р. Комитета еще не прошла; а в посредниках между ним и Комитетом Безопасности не оказалось недостатка.

Первую попытку наладить переговоры между двумя вступившими в борьбу лагерями сделали меньшевики. Они заявили сторонам, что желают „мирной ликвидации гражданской войны" и хотят для этой цели „сплотить третью силу, которая заставила бы считаться с собой обе стороны". Меньшевики предложили для этого превратить самый Комитет Безопасности в „обще-демократический орган, независимый ни от думы, ни от советов". Превращение это должно было состояться путем включения в комитет представителей социалистических партий. Эсеры и кадеты, вошедшие в думский комитет, на это не согласились, опираясь на то основное правило, что Комитет Безопасности объединяет не политические партии, а учреждения и организации. После этого отказа меньшевики отозвали из Комитета Безопасности всех членов партии, входивших в него от учреждений. Они, таким образом, остались вне обеих борющихся организаций.

явилось нелегкой задачей, которая окончательно была поставлена только вечером 27 октября, когда Рябцову удалось вырваться из большевистского полуплена, а осуществлена она лишь в течение следующего дня, не столько силой, сколько воздействием на паническое настроение большевистского коменданта Кремля. Решение, принятое вечером 27-го, не столько вызвано утренним „приказом" Прозоровича, сколько требованием Комитета Безопасности, — чтобы Рябцов, наконец, сменил свою точку зрения на события.

[1]) Дело здесь, разумеется, не в „панике", которой в действительности не было, а в недостаточной твердости и решительности В.-Р. Комитета, желавшего избежать кровопролития или, по крайней мере, ответственности за него. Большое значение имеля здесь и „посредническая" работа меньшевиков и Викжеля, Почтово-Телеграфного Союза и др. *Ред.*

„Третьей силой", несравненно более могущественной и действительно заставившей стороны итти на переговоры, явился знакомый нам „Викжель". „Викжель" заявил, что он только под тем условием допустит подвоз к Москве войск, готовых поддержать Временное Правительство, если „Комитет Безопасности согласится на создание однородного (т.-е. чисто-социалистического) министерства". „Скрепя сердце и идя на тяжелый компромисс,— свидетельствует прокурор палаты А. Ф. Стааль,—Комитет Безопасности подчинился требованию „Викжеля".

„Что оставалось нам делать?—говорил впоследствии один из видных членов Комитета Безопасности автору этой книги.—Между нами не было ни одного сторонника однородного социалистического министерства. Но что было бы, если бы мы сказали, что не признаем этого лозунга? „Викжель" остановил под Москвой подходившие войска и обещал пропустить их лишь после исполнения его требований. Военные убеждали нас не упорствовать и соглашаться на что угодно. Члены комитета, вызванные в Александровское училище (см. ниже), были спрошены поименно и все поголовно согласились нести ответственность за состоявшееся решение".

С другой стороны, однако, „Викжель" предъявил ряд требований и большевикам. Так как большевики этих требований не удовлетворили, то „Викжель" заявил, что с этого момента ж.-д. союз активно выступает против большевиков и будет пропускать в Москву войска беспрепятственно. При этих условиях Военно-Революционный Комитет решился пойти на перемирие. Оно было заключено на срок с 12 часов 29-го по 12 часов 30 октября на следующих условиях: 1) полное разоружение белой и красной гвардии; 2) возвращение всего разобранного оружия; 3) роспуск обоих Комитетов—Военно-Революционного и Общественной Безопасности; 4) привлечение всех виновных к судебной ответственности; 5) установление нейтральной зоны; 6) перемирие на 24 часа для выработки технических условий сдачи оружия и развода по казармам военных частей; 7) весь гарнизон подчиняется командующему войсками московского военного округа. При штабе восстанавливается военный совет; 8) организация общего демократического органа.

Комитет Безопасности, идя на все уступки, какие требовались, руководился уже известным нам соображением, что он составляет только „политическое прикрытие военной борьбы". На уступках, притом немедленных, настаивали военные по стратегическим соображениям. Делегаты комитета являлись в Александровское училище, где и обсуждались эти вопросы перед большой аудиторией военных.

По указаниям военных защитников Москвы было заключено и упомянутое перемирие [1]).

В течение ночи с 29-го на 30 октября особая „согласительная комиссия“ разрабатывала военно-технические вопросы и устанавливала „нейтральную зону“, на линии которой уполномоченные „Вижжеля“ должны были предупреждать столкновения. Кольцо большевистских войск проходило через Крымскую площадь, Остоженку, переулки, идущие от нее (до Еропкинского) к Поварской, продолжение Ржевского пер. к северу от Поварской, Скатертный, Медвежий, Мерзляковский, проезд ц. Вознесения между Б. и М. Никитской, Спиридоновку, Спиридоньевский пер., Большую и Малую Бронную, Богословский пер., ю.-з. часть Градоначальства, выходы переулка на Большую Никитскую, ю.-з. часть Большого театра.

Перемирие осталось на бумаге. Большевики его не соблюдали, а местами о нем даже и не знали. Заключая перемирие, Военно-Революционный Комитет руководился лишь одной целью: выиграть время для подвоза подкреплений [2]). Полученные в промежутке сведения о неудачах отряда Краснова укрепили большевиков в решимости продолжать борьбу. На категорический вопрос — хотят ли они итти на соглашение, большевики отвечали уклончиво. В конце концов они поставили требования, заведомо неприемлемые. Они отказались даже от создания „однородного“ министерства и вернулись к своему чистому лозунгу „вся власть советам“. Далее они требовали своего большинства в совещательном органе, который должен был функционировать до Учредительного Собрания, настаивали на том, чтобы офицеры и юнкера были разоружены, а большевикам было оставлено оружие.

Таким образом, выяснилось, что все до сих пор сделанные уступки были напрасны. Если хитрили военные, то хитрили и большевики, протягивая время из „стратегических“ соображений. Но выиграли от затяжки только последние.

После ухода большевистских парламентеров, предъявивших приведенные условия, в помещении думы состоялось последнее заседание Комитета с участием представителей войсковых частей, президиума Совета солдатских депутатов, бежавшего из генерал-губернаторского дома и — на этот раз — „также всех вольных и невольных обитателей здания осажденной городской думы, включая к.-д. Юренева и думских служащих. Перед этим собранием городской голова Руднев констатировал „вероломство большевиков, использо-

[1]) Это и некоторые другие данные сообщены мне руководящими членами Комитета Безопасности.

[2]) Ту же цель преследовали и белые, ожидавшие присылки помощи с фронта и взятия Питера Керенским. *Ред.*

наших перемирие для передвижения и подкрепления своих частей", и возложил „всю вину за неизбежное продолжение борьбы исключительно на большевиков". В тоне самооправдания велись и дальнейшие прения, пока потухшее электричество не напомнило присутствующим, кто действительные господа положения.

На другой день, 31 октября, появилось воззвание Комитета Общественной Безопасности к „гражданам и товарищам", в котором констатировались пункты расхождения его с Военно-Революционным Комитетом. Комитет Безопасности считал „единственными условиями прекращения военных действий—ликвидацию большевистского Военно-Революционного Комитета, очищение отрядами В.-Р. Комитета занятых ими пунктов и возвращение Москвы к нормальному порядку". „Победе насилия" Комитет противопоставлял, на основании соглашения с „Викжелем", „организацию временной власти на основах ответственности нового правительства перед органами революционной демократии и социалистического его состава".

Так же, как и условия перемирия, эта формула была принята по соглашению с военными в Александровском училище, куда вызваны были представители Комитета Безопасности, вынужденные согласиться на формулу социалистического министерства и взять за нее на себя ответственность (Руднев, Филатьев, Бурышкин, Студенецкий, представители почтово-телеграфного союза и земской управы). Но, как сказано, большевиков даже и эта уступка уже не удовлетворяла.

Большевики ответили комитету в 4 часа утра категорическим „требованием безусловной сдачи, с угрозой артиллерийского обстрела думы". Комитету оставалось возобновить борьбу при изменившихся к худшему условиях. Приглашая население к проявлению наибольшей самостоятельности для собственной защиты, Комитет ободрял своих единомышленников известием, что „к Москве приближаются части, посланные фронтом для подавления мятежников тыла" и что „войска Керенского вступают в Петроград". Комитет мог лишь повторить тут то, что получил сам. Иорданский и Моисеенко, действительно, слали в Москву сообщения, что с фронта командируются на помощь защитникам Москвы определенные части.

В этой связи следует упомянуть о предложении штабс-капитана Соколова, приехавшего в Москву от Каледина и доложившего в каком-то совещании общественных деятелей под председательством Н. Н. Щепкина о готовности донского атамана послать помощь Москве. Об этом предло-

жении рассказал сам г. Соколов корреспонденту белградского „Нового Времени“ [1]), прибавив, что „товарищи министров от этой помощи отказались“. Но даже независимо от того, что предложение г. Соколова дальше совещания не пошло, оно не могло иметь никакого практического значения при быстром ходе событий. С. Н. Прокопович решительно отрицает свое участие в упомянутом заседании.

Ночь с 30-го на 31 октября была моментом перелома в настроении борющихся сторон. Измученная непрерывными усилиями, потерявшая надежду на успех первого быстрого удара и недостаточно снабженная для длительной борьбы, кучка защитников Москвы и России чем дальше, тем больше чувствовала себя изолированной и от остальной России, и от других общественных элементов. Слова „юнкер“, „офицер“, „студент“ сделались бранными словами, и геройский порыв людей, носивших эти звания, бледнел перед пассивным отношением или даже явной враждебностью к ним населения, на защиту которого они выступили и жертвовали жизнью. Поведение командующего войсками чем далее, тем более вызывало все более сильные подозрения. Бесполезная уступка, сделанная идее „однородного“ социалистического министерства, поставила перед многими из юнкеров и офицеров вопрос, за кого же, за какую политическую ориентацию они собственно борются, и какая в сущности разница между „передачей всей власти“ Советам и „ответственностью“ исключительно социалистического партийного правительства перед „органами революционной демократии“. В довершение всего, надежда на подход войск к Москве, ради которого была куплена этой уступкой помощь „Викжеля“, тоже оказалась призрачной. Никакие войска не подходили, а малочисленные отряды юнкеров терпели серьезные потери или, отрезанные, попадали в плен к большевикам.

В момент наибольшего развития силы этих отрядов, с трудом удерживавших за собой центр Москвы от Кремля до Никитских ворот и от Театральной площади до Зубовского бульвара, доходили тысяч до пяти [2]). С удивлением и с беспокойством эта армия замечала, что она изолиро-

[1]) „Новое Время“, 1922, № 387, письмо из Парижа г. П-ева.

[2]) Н. Муравлов следующим образом определяет численность сил обеих сторон: „у наших врагов были силы, по моим вычислениям, около 10.000 чел., не считая командного состава. Там были: юнкера Александровского и Алексеевского военных училищ, все школы прапорщиков, штаб округа, Комитет Общественной Безопасности, солдатская секция эсеров и меньшевиков, студенты и гимназисты. У нас: все пехотные московские полки, 1-я запасная артиллерийская бригада, самокатный батальон, команда гвардейцев, полковые части из Павловской Слободы, из Костромы, из Серпухова общей численностью до 15 тысяч вооруженных активных и больше 25 тысяч резерв-

вана не только топографически, но и социально; что, защищая порядок и законную власть, она в то же время, путем исключения и против своей воли, оказывается представительницей определенных классов. Имя „юнкер" начало с ненавистью произноситься демократическим населением Москвы и противополагаться „народу". В газетах тех дней можно найти следы смущения, испытанного людьми, пошедшими на идейный подвиг и очутившимися в роли, столь непривычной для русской интеллигенции. Представители шести школ прапорщиков, зовя в свои ряды солдат, печатно заявляли, что в их среде почти нет дворян, что в огромном большинстве они — выслужившиеся солдаты-фронтовики, „истинные представители солдатской массы", и среди них „много истинных и давнишних социалистов", борющихся лишь с „небольшой кучкой безумцев-мечтателей". А, с другой стороны, группа студентов-большевиков в официальных „Известиях" признавала „позорным" и „выражала презрение и протест против бесстыдного, антинародного выступления буржуазной кучки студентов", примкнувших, в числе 600, к защитникам Москвы и проявлявших чудеса геройского самоотвержения.

Пяти тысячам защитников противостояли десятки тысяч московского гарнизона, правда, далеко не относившегося сознательно к борьбе „пролетариата с капиталистами". Солдаты гарнизона начали даже, после нескольких дней борьбы, разбегаться из Москвы. Но на смену этим равнодушным и испуганным подходили из окрестностей другие тысячи — более сознательных; подвозились орудия, в том числе и тяжелые, и распределялись для бомбардировки центра и Кремля; мобилизовались броневики, которых у юнкеров было всего два, и те сломанные; рылись окопы, заготовлялись запасы снарядов.

После полуночи на 31 октября, с окончанием перемирия, борьба возобновилась с особым ожесточением со стороны большевиков, ободренных приливом новых сил и известиями о поражении защитников Керенского [1]).

В течение 31 октября и 1 ноября большевики разрушили дома у концов Никитского и Тверского бульваров, в которых

ных не активных, около 3,000 вооруженных рабочих, 6 батарей трехдюймовых и несколько тяжелых орудий, без прислуги или с неумелой прислугой. Две казачьих сотни, принявшие за несколько дней перед тем мои резолюции, держались нейтрально". Нейтрально держались в эти дни также милиция.

[1]) Большевики обвиняли в нарушении перемирия юнкеров. М. Ольминский говорит по этому поводу: „Контр-революционеры надеялись выиграть время в ожидании подкреплений. С юга к ним шли казачьи полки, а по Брянской дороге — ударники. Через несколько часов после начала перемирия прибыл на Брянский вокзал первый отряд ударников. Юнкера тотчас осмелели и произвели нападение у Никитских Ворот".

оставались юнкера, захватили после продолжительного обстрела сильно пострадавшую телефонную станцию в Милютинском переулке, где юнкера принуждены были сдаться, заняли „Национальную“ гостиницу и сильно поврежденную гостиницу „Метрополь“ [1]), а затем принялись обстреливать городскую думу, защитники которой, вместе с гласными и членами Комитета Безопасности, принуждены были к трем часам дня 1 ноября уйти в Исторический Музей и Кремль, оставив в Думе раненых и медицинский персонал. Другая часть комитета находилась в Александровском военном училище. Эти два центра сопротивления подверглись ожесточенной орудийной бомбардировке, которая продолжала усиливаться в течение 2 ноября, превратившись, по отзывам офицеров, „из солдатской в офицерскую или немецкую, очень точную“. Заняв Исторический Музей, большевики принялись с его вышек обстреливать Красную площадь, сделав выход из Кремля опасным для жизни и превратив, таким образом, Кремль в осажденную крепость. В эти дни самый Кремль с его историческими святынями подвергся усиленному артиллерийскому обстрелу.

Уже вечером 1 ноября представители Комитета Общественной Безопасности Руднев и Коварский были приглашены в Александровское училище. Исполнительный комитет совета офицерских депутатов вместе с советом представителей частей, входивших в состав правительственного отряда, поставили им девять вопросов. Их спрашивали о фактическом положении дел на фронте, об отношении к борьбе московского населения, о причинах неприхода обещанных подкреплений, о шансах успеха борьбы, какие имеются у комитета и т. д. Если по всем этим вопросам Комитет Безопасности не даст удовлетворительных ответов, то ему прямо ставили вопрос: какие меры надо принять для прекращения бесполезной борьбы? Комитет, выдерживая раз принятую линию „политического прикрытия“, подчиняющегося условиям стратегической целесообразности, отвечал, что готов принять на себя исполнение тех мер, которые будут решены военными защитниками Москвы.

Тогда Комитету дано было поручение — начать мирные переговоры. Днем 2 ноября делегация Комитета Безопасности отправилась в Военно-Революционный Комитет с предложением начать мирные переговоры. Делегация поставила себе задачей провести только два пункта, которые считала вопросом чести. Во-первых, устранен был вопрос о признании в прямой форме совершившегося переворота. Во-вторых,

---

[1]) Метрополь был занят большевиками лишь утром 2 ноября. *Ред.*

получена была гарантия свободного вывода войск,—правда, очень скоро нарушенная большевиками.

В 5 часов дня мирное соглашение на основе разоружения „белой гвардии" было достигнуто. Не желавшие итти на это юнкера приехали из Александровского училища в Кремль, и здесь было решено „не сдаваться, защищать принцип государственности до конца, пробиться сквозь кольцо, выйти за город и добраться до верных правительству войск". В 7 часов вечера с этим решением юнкера вышли из Кремля и направились в Александровское училище в „торжественном и напряженном настроении, хотя сознание того, что надо пройти сквозь ряд улиц, где из окон и с крыш будут стрелять, тяжело действовало на психику" (свидетельство Стааля). Решения своего юнкерам, конечно, не удалось осуществить, ибо никаких „верных правительству" войск вне Москвы не было налицо, и 3 ноября происходило печальное зрелище—разоружения „белой гвардии". „Небольшими отрядами", пишет очевидец, „человек по 10—20 подходили к зданию Александровского училища офицеры, юнкера и студенты. Начальники отрядов среди общей тишины собравшейся публики рапортовали председателю комиссии название отрядов и их количества. Юнкера с винтовками проходили в здание училища, офицеры и студенты складывали оружие тут же на тротуар. К 12 часам на улицах можно было видеть только вооруженных солдат и рабочих".

Победа большевиков была полная и окончательная. Их победой в Москве решился вопрос о их победе в России. В тот момент все еще верили, что победа будет кратковременной, и что захваченной власти большевики удержать не смогут. В тон этому настроению ходили фантастические слухи о приближении к Москве войск Каледина, и начиналась тяга на Дон разбитых в Москве защитников порядка и законного временного правительства.

Господство большевиков начиналось при уверенных предсказаниях партий, что большевистская власть не сможет осуществить ни одного из данных ею обещаний, — не даст обманутому ею народу ни мира, ни земли, ни хлеба, ни „социализации" промышленности, и что разочарованное население не потерпит над собой господства насильников. Партия народной свободы предсказывала при этом, что победа большевиков повлечет за собой проигрыш войны и разделение России на части. Но никто, включая и эту партию, не предвидел, что здесь возникает режим, который будет длиться долгие годы и который доведет Россию до крайней степени разрушения всех ее национальных целей — государственных, экономических и культурных, которые копились долгими веками.

Большевистский переворот [1])

1. Попытки сопротивления. Гатчина. Финал диктатуры Керенского. Отношение к событиям в ставке и Быхове

Власть падала из слабых рук Временного Правительства, и во всей стране не оказалось, кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить свои права на тяжкое наследие во всеоружии реальной силы. Этим фактом в октябре 1917 года был произнесен приговор стране, народу и революции.

Троцкий имел основание сказать в Совете за неделю до выступления: „Нам говорят, что мы готовимся захватить власть. В этом вопросе мы не делаем тайны... Власть должна быть взята не путем заговора, а путем дружной демонстрации сил".

Действительно, весь процесс захвата власти происходит явно и открыто.

Северный областной Съезд советов, Петроградский совет, вся большевистская печать, в которой работал под своим именем и скрывшийся Ленин, призывали к восстанию. 16 октября Троцкий организовал военно-революционный комитет, к которому должно было перейти фактическое и исключительное право распоряжения петроградским гарнизоном. В последующие дни, после ряда собраний полковых комитетов, почти все части гарнизона признали власть революционного комитета, и последний в ночь на 22-е объявил приказ о неподчинении войск военному командованию.

Исполнительный комитет возмущенно протестовал: „Только безумцы или непонимающие последствий выступления могут к нему призывать. Всякий вооруженный солдат, выходящий на улицу по чьему-либо призыву, помимо распоряжений штаба округа.., явится преступником против революции"... Это воззвание было актом лицемерия. Ибо те же люди, когда они, казалось, обладали властью, в конце апреля говорили петроградскому гарнизону: „Товарищи солдаты! Без зова Исполнительного комитета (Петроградского совета) в эти тревожные дни не выходите на улицу с оружием в руках. Только Исполнительному комитету принадлежит право располагать вами". Не все ли равно, чьими руками хоронилась

[1]) „Очерки русской смуты", т. II. Париж, изд. Поволоцкого. *Ред.*

правительственная и военная власть—апрельской „семерки“ [1]) или октябрьской „шестерки?“ [2])... С 17 октября, при полном непротивлении служащих, из казенных складов выдавалось оружие и патроны по ордерам революционнаго комитета рабочих Выборгской стороны, Охты, Путиловского завода и друг. 22-го в различных частях Петрограда состоялся ряд митингов, на которых виднейшие большевистские деятели призывали народ к вооруженному восстанию [3]). Власть и командование находились в состоянии анабиоза и делали бесплодные попытки „примирения“ с Советом, предлагая усилить его представительство при штабе округа. Только 24 октября в заседании „Совета Республики“ председатель правительства решился назвать то положение, в котором находилась столица, восстанием.

Заседание это, не имевшее никакого реального влияния на ход событий, представляет, однако, большой интерес для характеристики настроений правивших кругов и демократии. Из речи Керенского страна узнала о великом долготерпении правительства, почитавшего своей целью стремление, „чтобы новый режим был совершенно свободен от упрека в неоправдываемых крайней необходимостью репрессиях и жестокостях“. Что достоинства этого режима вполне признаны даже организаторами восстания, считающими, что „политические условия для свободной деятельности всех политических партий наиболее совершенны в настоящее время в России“. Что до сих пор большевикам „предоставлялся срок для того, чтобы они могли отказаться от своей ошибки“, но теперь все времена и сроки вышли, и необходимы решительные меры, на принятие которых власть испрашивает поддержку и одобрение Совета [4]).

Только в правой, „цензовой“, части правительство нашло нравственную поддержку. Демократия в ней отказала. Поставленная на голосование формула левого блока (с.-д. меньшевики и интернационалисты, левые эсеры и эсеры) вместо поддержки выразила осуждение деятельности правительства и потребовала немедленной передачи земли в ведение земельных комитетов и решительных шагов к начатию мирных переговоров; что касается ликвидации выступления, то она

---

[1]) По постановлению И. К. 24 апреля власть над петроградским гарнизоном вручена была: Чхеидзе, Скобелеву, Бинасику, Скалову, Гольдману, Филипповскому и Богданову.

[2]) В бюро военно-революционного комитета под руководством Бронштейна (Троцкого) вошли: Лазимир, Антонов, Садовский, Подвойский, Сахаров.

[3]) Это был „день Петроградского совета“, мирная демонстрация, вылившаяся, говоря словами т. Троцкого, „в смотр сил пролетарской армии“ *Ред.*

[4]) Речь идет, конечно, о „Совете Республики“, а не о Петроградском С. Р. и С. Д. *Ред.*

возлагалась на „комитет общественного спасения“, который должны были создать городское самоуправление и органы революционной демократии. Формула прошла 122 голосами против 102 (прав. блока), при 26 воздержавшихся; в числе последних были нар. социалисты (Чайковский), часть кооператоров (Беркенгейм) и земцев.

Мотивы такого решения революционная демократия привела с полной откровенностью устами Гурвича (Дана): предстоящее выступление большевиков несомненно ведет страну к катастрофе, но бороться с ним революционная демократия не станет, ибо „если большевистское восстание будет потоплено в крови, то, кто бы ни победил — Временное Правительство или большевики — это будет торжеством третьей силы, которая сметет и большевиков, и Временное Правительство, и всю демократию“. Что касается левых эсеров, то, по свидетельству Штейнберга, накануне открытия „Совета Республики“ между ними и большевиками состоялось полное соглашение, и последним обещана полная поддержка в случае революционных выступлений вне Совета.

Итак, пусть гибнет страна во имя революции!

Вопрос решился, конечно, не речами, а реальным соотношением сил. Когда 25-го в столице началось вооруженное столкновение, на стороне правительства не оказалось никакой вооруженной силы. Несколько военных и юнкерских училищ вступили в бой не во имя правительства, а побуждаемые к тому сознанием общей большевистской опасности; другие, считавшиеся лойяльными части, вызванные из окрестностей столицы, после моральной обработки их посланными Троцким агитаторами отказались выступить; казачьи полки сохраняли „доброжелательный“ к большевикам нейтралитет. Весь остальной гарнизон и рабочая красная гвардия были на стороне Совета; к ним присоединились прибывшие из Кронштадта матросы и несколько судов флота.

Снова, как восемь месяцев тому назад, на улицы столицы вышел вооруженный народ и солдаты, но теперь уж без всякого воодушевления, с еще меньшим, чем тогда, пониманием совершающегося, в полной неуверенности и в своих силах и в правоте своего дела, даже без чрезмерной злобы против свергаемого режима.

Описания жизни обеих столиц в эти дни свидетельствуют о невероятной путанице, нелепости, противоречиях и о той непроходимой, подавляющей пошлости, которая, вместе с грязно-кровавым налетом, облекла первые шаги большевизма. Вообще, самый переворот перейдет в историю без легенды, без всякой примеси героического элемента, заслоняя декорациями из „Вампуки“ и подлинные личные драмы,

и великую трагедию русского народа. Не многим лучше была обстановка и в противном лагере: наступление на Петроград войск Краснова, отъезд-бегство Керенского, диктатура в Петрограде в лице глубоко мирного человека доктора Н. М. Кишкина, паралич штаба петроградского округа и метание „комитета спасения", рожденного петроградской думой.

Только военная молодежь — офицеры, юнкера, отчасти женщины — в Петрограде и в особенности в Москве — опять устлали своими трупами столичные мостовые, без позы и фразы умирая... за правительство, за революцию? Нет. За спасение России.

* * *

Генерал Алексеев в эти дни принимал самое живое участие в работе „Совета Республики", предоставляя свой авторитет, свой богатый опыт и знание русской армии либеральному блоку и, в частности, находясь в постоянном общении с кадетским центром. Одновременно он проявил большое участие в судьбе бездомного нищего офицерства, выброшенного буквально на улицу в результате обстоятельств корниловского выступления и непрекращавшихся гонений солдатской среды. Ему удалось, в качестве почетного председателя одного благотворительного общества, путем изменения устава его, распространить благотворительную деятельность на пострадавших воинов. Общество с тех пор стало оказывать негласную помощь офицерам, юнкерам, кадетам и другим военным лицам, в целях спасения их от преследования большевиков, а впоследствии и направления их на Дон. Помощь оказывалась самая разнообразная: советом, деньгами, одеждой, фальшивыми пропусками на большевистских бланках, железнодорожными билетами и удостоверениями о принадлежности к одному из казачьих войск или самоопределяющихся окраин.

Еще 25-го видели характерную фигуру генерала Алексеева на улицах города, уже объятого восстанием. Видели, как он резко спорил с удивленным и несколько опешившим от неожиданности начальником караула, поставленного большевиками у Мариинского дворца с целью не допускать заседания „Совета Республики". Видели его, спокойно проходившего от Исаакия к Дворцовой площади сквозь цепи „войск революционного комитета" и с негодованием обрушившегося на какого-то руководителя дворцовой обороны за то, что воззвания приглашают офицерство к Зимнему дворцу „исполнить свой долг", а, между тем, для них не приготовлено ничего — ни оружия, ни патронов...

Приближенные генерала крайне беспокоились за его судьбу, при резком с его стороны противодействии принимали некоторые меры к его безопасности и настоятельно советовали ему выехать из Петрограда.

В ближайший день вечером в конспиративную квартиру, в которую перевезли генерала Алексеева с Галерной, прибыл Б. Савинков в сопровождении какого-то другого лица и с холодным деланным пафосом, скрестив руки на груди, обратился к генералу:

— Итак, генерал, я вас призываю исполнить свой долг перед родиной. Вы должны сейчас же со мной ехать к донским казакам, властно приказать им седлать коней, стать во главе их и итти на выручку Временному Правительству. Этого требует от вас родина.

Присутствовавший при разговоре ротмистр Шапрон стал горячо доказывать, что это — бессмысленная и непонятная авантюра. Сегодня еще он беседовал с казачьим советом, который заявил, что надежд на 1, 4, 14 донские полки, бывшие в составе петроградского гарнизона, нет никаких. Казаки сплошь охвачены большевизмом или желанием „нейтралитета", и появление генерала, не пользующегося к тому же особенным их расположением, приведет только к выдаче его большевикам. Шапрон указал, что если кому-нибудь можно повлиять на казаков, то, вероятно, скорее всего „выборному казаку" Савинкову.

— Где же ваши большие силы, организация и средства, о которых так много было всюду разговоров? — закончил он, обращаясь к Савинкову.

Генерал Алексеев отклонил предложение Савинкова, как совершенно безнадежное. Опять патетическая фраза Савинкова:

— Если русский генерал не исполняет своего долга, то я, штатский человек, исполню за него.

И в эту же ночь он уехал. Но не к полкам, а в Гатчину к Керенскому.

Эпизоды вооруженной борьбы под Петроградом описаны подробно и красочно многими участниками[1]). Я не могу внести в них ничего нового. Остановлюсь лишь на общей картине, чрезвычайно характерной, как эпилог первого восьмимесячного периода революции, в котором, как в фокусе, отразилась вся внутренняя ложь революционной традиции, приведшей к нелепейшим противоречиям в области политического мышления верхов, к окончательному затемнению сознания массы, к вырождению революции.

---

[1]) Ген. Краснов, комиссар Станкевич, Я. Миллер и т. д.

Гатчина — единственный центр активной борьбы: Петроград агонизирует, ставка бессильна, Псков (штаб Черемисова) стал явно на сторону большевиков: генерал Черемисов, предав и своего благодетеля Керенского, и Временное Правительство, еще 25-го приказал приостановить все перевозки войск к Петрограду, склоняя к этому и главнокомандующего западным фронтом.

В Гатчине собрались в с е.

Керенский — сохраняющий внешние признаки военной власти, но уже оставленный всеми, по существу — не то узник, не то заложник, отдавший себя на милость „царского генерала" Краснова, которого он „поздравляет" с назначением командующим армией... армией в 700 сабель и 12 орудий!..[1])

Савинков, который два месяца тому назад с таким пылом осуждал „мятеж" генерала Корнилова, теперь возбуждающий офицеров гатчинского гарнизона против Керенского и предлагающий Краснову свергнуть Керенского и самому стать во главе движения... В поисках „диктатора", создаваемого е г о руками, он отбрасывал уже всякие условные требования „демократических покровов" и от идеи власти, и от носителя ее.

Циммервальдовец Чернов, прибывший неизвестно с какой целью и одобряющий решение лужского гарнизона „сохранять нейтралитет"...

Верховный комиссар Станкевич, приемлющий и пораженчество и оборончество, но прежде всего мир — внутренний и внешний, — и ищущий „органического соглашения с большевиками ценою максимальных уступок".

Представители „Викжеля", который держал вначале „нейтралитет", т.-е. не пропускал правительственных войск, потом выставил ультимативное требование примирения сторон.

Господа Гоц, Войтинский, Кузьмин и т. д.

И среди этого цвета революционной демократии — монархическая фигура генерала Краснова, который всеми своими чувствами и побуждениями глубоко чужд и враждебен всему политическому комплоту, окружающему его и ожидающему от его военных действий спасения — своего положения, интересов своих партий, демократического принципа, „завоеваний революции" и т. д.

Поистине трагическое положение. Здесь — обломки Временного Правительства; в Петрограде — „комитет спасения",

[1]) Части корпуса распоряжением ген. Черемисова были разбросаны по всему северному фронту, а сосредоточению их препятствовали Черемисов, военно-революционные комитеты и Викжель.

не признающий власти правительства. Здесь на военном совете обсуждают даже возможность вхождения большевиков в состав правительства... Какие же политические цели преследует предстоящая борьба в практическом, прикладном их значении? Свержение Ленина и Троцкого и восстановление Керенского, Авксентьева [1]), Чернова [2])?

Особенно мучительно переживало это трагическое недоумение офицерство отряда; оно с ненавистью относилось к „керенщине" и если в сознательном или безотчетном понимании необходимости борьбы против большевиков стремилось все же на Петроград, то не умело передать солдатам порыва, воодушевления, ни даже просто вразумительной цели движения. За родину и спасение государственности? Это было слишком абстрактно, недоступно солдатскому пониманию. За Временное Правительство и Керенского? Это вызывало злобное чувство, крики „долой!" и требование выдать Керенского большевикам. Столь же мало, конечно, было желания итти и „за Ленина".

Впрочем, никаким влиянием офицерство не пользовалось уже давно; в казачьих частях к нему также относились с острым недоверием, тем более, что казаков сильно смущали их одиночество и мысль, что они идут „против народа".

Окончилось все 1 ноября бегством Керенского и заключением перемирия между генералом Красновым и матросом Дыбенко. Судьба жестоко мстила теперь творцам истории о „корниловском мятеже", повторяя в обратном, уродливом преломлении все важнейшие этапы его. Все те элементы, на которых опиралась правительственная власть в борьбе против Корнилова, теперь отвернулись от нее: вожди революционной демократии уже делили ее ризы; советы отрекались от правительства; армейские комитеты один за другим составляли постановления о нейтралитете; „Викжель" остановил перевозку правительственных войск. Совет народных комиссаров, возглавивший Российскую державу 26 октября, писал декреты об „изменниках народа и революции" и ввергал в тюрьмы членов Временного Правительства. Единственными элементами, к которым можно было обратиться за помощью для спасения государственности, по иронии судьбы, оказались все те же „корниловские мятежники" — офицеры, юнкера, ударники, текинцы, все тот же 3-й конный корпус. Только уже лишенные сердца, ясного стимула борьбы и вождя.

---

[1]) Был назначен Керенским его заместителем.

[2]) Военно-революционные организации прочили Чернова на пост председателя нового правительства.

1 ноября ген. Духонин, ввиду безвестного отсутствия Керенского, принял на себя верховное командование и приказал прекратить отправку войск на Петроград. Он призывал фронт сохранять спокойствие, в ожидании „происходящих между различными политическими партиями переговоров для сформирования Временного Правительства".

Подчинившись всецело политическому руководству комиссара Станкевича[1]) и Обще-армейского комитета, ставка отказалась от всякой активной борьбы. Такое положение в отношении „Правительства Народных Комиссаров" — без борьбы и без подчинения — не могло быть долговечным. 7 ноября Совет Народных Комиссаров „повелел" верховному главнокомандующему тотчас же „обратиться к военным властям неприятельской армии с предложением немедленного приостановления военных действий, в целях открытия мирных переговоров". Духонин 8-го ответил по аппарату комиссару по военным делам Крыленко, что он также считает „в интересах России — заключение скорейшего мира", но что это может сделать только „центральная правительственная власть, поддержанная армией и страной". В тот же день Совет Комиссаров „за неповиновение и поведение, несущее неслыханное бедствие трудящимся всех стран и в особенности армиям", сместил Духонина, предписав ему „продолжать ведение дела, пока не прибудет в ставку новый главнокомандующий" — Крыленко.

Духонин, опираясь на решение общеармейского комитета, не признал возможным оставить свой пост.

Положение ставки, между тем, становилось критическим. Техническое управление фронтом принимало все более фиктивный характер, так как отдельные части, дивизии, корпуса, целые армии мало-по-малу переходили на сторону большевиков. Крыленко на фронте 5-й армии вступал уже в переговоры с немецким командованием, и вскоре в ставке получены были сведения о движении матросского эшелона с новым „главковерхом" на Могилев сквозь сплошное расположение правительственных войск, объявивших себя „нейтральными". В Могилеве в это время общеармейский комитет, Чернов, Авксентьев, Скобелев и друг. представители революционной демократии вели нескончаемые разговоры о создании новой власти, потонув в партийных догмах и как будто не замечая, что они — одни, совершенно одни—

[1]) Это противоречит показаниям Станкевича, по словам которого к моменту его возвращения в ставку настроение после дней было вполне определенно: „оставив мысль об активной борьбе с большевиками, пассивно бороться с ними" и стремиться „дотянуть" до Учредительного Собрания. См. выше. *Ред.*

никому ненужные, никому не интересные — среди взбаламученного и их руками народного моря.

Быхов переживал чрезвычайно больно новое народное несчастие. Много раз мы обсуждали события. Ген. Корнилов входил в сношения со ставкой, с советом казачьих войск, Довбор-Мусницким [1]) и Калединым. 1 ноября он обратился к Духонину с письмом, которое я привожу в подробном извлечении и с пометками Духонина, рисующими взгляд Ставки на тогдашнее положение.

„Вас судьба поставила в такое положение, что от вас зависит изменить исход событий, принявших гибельное для страны и армии направление главным образом благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава. Для вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии.

По тем неполным, отрывочным сведениям, которые доходят до меня, положение тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если вы допустите, что ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть.

Имеющихся в вашем распоряжении Георгиевского батальона, наполовину распропагандированного, и слабого Текинского полка далеко недостаточно.

Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, что вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией.

Таковыми мерами я считаю:

1. Немедленный перевод в Могилев одного из чешских полков и польского уланского полка.

Пометка: „Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие с большевиками".

2. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерией за счет казачьих батарей фронта.

Пометка: „Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2-я Кубанская дивизия и бригада Астраханских казаков. Полков 1 польской дивизии из Быхова нежелательно (брать) для без-

[1]) Командующий польским корпусом, на который (см. выше) возлагали большие надежды Савинков и др. *Ред.*

опасности арестованных [1]*). Часть 1 дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, чтобы не вмешиваться во внутренние дела России"* [2]*).*

3. Сосредоточение на линии Орша — Могилев — Жлобин всех частей Чешско-Словацкого корпуса, Корниловского полка, под предлогом перевозки их на Петроград и Москву, и 1 — 2 казачьих дивизий из числа наиболее крепких.

Пометка: „Казаки заняли непримиримую позицию — не воевать с большевиками".

4. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин с заменой прислуги их исключительно офицерами.

5. Сосредоточение в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов, под надежной охраной, запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе.

Пометка: „Это может вызвать эксцессы".

6. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехо-словацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране [3]), для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России — вопрос их собственного существования.

Вот те соображения, которые я считал необходимым высказать вам, добавляя, что нужно решиться, не теряя времени" [4]).

Безотрадный взгляд ставки на общее положение обрисовался и в письме генерал-квартирмейстера Дитерихса

---

[1]) „Арест" Корнилова и его ближайших сподвижников в Быховской тюрьме, как известно, был лишь простой комедией, имевшей целью обмануть Советы и обезопасить Корнилова от возможных „эксцессов" солдат. *Ред.*

[2]) Ген. Довбор-Мусницкий отдал приказ, чтобы польские войска, отнюдь не вмешиваясь в русские дела, подавляли, однако, беспощадно силою оружия всякие посягательства на имущество и безопасность мирных жителей без различия национальности — в районе их расположения.

[3]) К сожалению — только общ-казачий совет и казачьи правительства. (Это примечание Деникина рекомендуем вниманию Керенского, Краснова, Станкевича и других белогвардейских летописцев, склонных резолюции казачьих и солдатских „верхов" того времени выдавать за мнение и волю самих масс. *Ред.*)

[4]) Эти „соображения" Корнилова и „пометки" Духонина показывают, что для белогвардейских „патриотов" использование иноземных войск для „усмирения" своего народа считается вещью само собой разумеющейся и никаких принципиальных возражений не вызывающей. *Ред.*

к генералу Лукомскому. По словам Дитерихса, главное усилие Духонину и ему приходилось направлять для того, чтобы удержать на месте армию — в сущности большевистскую — и дать собраться новому правительству, которое, „какое бы оно ни было, первым вопросом поставит мир". „К вам, представители всей русской демократии, — говорил Духонин в своем обращении к стране, — к вам, представители городов, земств и крестьянства, — обращаются взоры и мольбы армии: сплотитесь все вместе во имя спасения Родины, воспряньте духом и дайте исстрадавшейся земле Русской власть, — власть всенародную, свободную в своих началах для всех граждан России и чуждую насилия, крови и штыка".

Но надежд на это объединение было не много, так как, по словам Дитерихса, „борьба с большевизмом как бы отошла на задний план, а на главный выдвигается партийность и личности... Искренней же, бескорыстной поддержки нет ни от кого, в том числе и от казачества, ибо оно поставило девизом поддержку только коалиционного правительства"... Ставка как будто защищала идею могилевских организаций — однородное социалистическое министерство от народных социалистов до большевиков включительно, с Черновым во главе — против донского „либерализма". Это уже значительно суживало базу „всенародности", отзываясь опортунизмом, хотя и последовательным, но в данных условиях вовсе беспочвенным и бесполезным. Действительно, к середине ноября могилевское совещание революционной демократии распалось, не придя ни к какому соглашению. Общеармейский комитет объявил „нейтралитет" ставки, как военно-технического аппарата, обещая ей вооруженную защиту, явно неосуществимую за отсутствием войск.

Было ясно, что ставка, обезличенная долгими месяцами керенского режима, упустив время, когда еще были возможны организация и накопление сил, не может стать моральным организующим центром борьбы.

2. Судьба быховцев. Смерть генерала Духонина. Наш уход из Быхова на Дон.

В связи с падением Временного Правительства, юридическое положение быховцев становилось совершенно неопределенным. Обвинение в покушении на ниспровержение теперь ниспровергнутого строя принимало совершенно нелепый характер. Кто наши обвинители, наши судьи, какой трибунал может судить нас? Перед нами встал вопрос, не пора ли оставить гостеприимные стены быховской тюрьмы, тем более, что вся совокупность обстановки указывала на воз-

можность и необходимость большой работы. Генерал Корнилов, истомленный вынужденным бездействием, рвался на свободу. Его поддерживали некоторые молодые офицеры. Но генералы были против: ничего определенного о формировании нового правительства неизвестно; нам нельзя уклоняться от ответственности; сохранилась еще законная и нами признаваемая военная власть верховного главнокомандующего, генерала Духонина; а эта власть говорит, что наш побег вызовет падение фронта.

Вопрос остался открытым. Однако, вскоре мы узнали, что Корнилов приказал Текинскому полку готовиться к походу, назначив в один из ближайших дней выступление. Побеседовали совместно — Лукомский, Романовский, Марков и я — и решили, чтобы мне переговорить по этому поводу с Корниловым. Я пошел к верховному [1]).

— Лавр Георгиевич! Вы знаете наш взгляд, что без крайней необходимости нам уходить отсюда нельзя. Вы решили иначе. Ваше приказание мы исполним беспрекословно, но просим предупредить по крайней мере дня за два.

— Хорошо, Антон Иванович, повременим.

Некоторая подготовка, между тем, продолжалась. Составили маршрут на случай походного движения с текинцами. Приготовили поддельные распоряжения от имени следственной комиссии Шабловского об освобождении пяти генералов [2]) на случай, если бы текинцы остались, чтобы не подводить их и коменданта. Изучали железнодорожный маршрут на Дон. Дело в том, что, по инициативе казачьего совета, атаман просил ставку отпустить быховских узников на поруки Донского войска, предоставив для нашего пребывания станицу Каменскую. Ставка колебалась. Корнилову не нравилась такая постановка вопроса, и он решил, в случае осуществления этого проекта, покинуть в пути поезд, чтобы не связывать ни себя, ни войско.

Но к середине ноября обстановка круто изменилась. Получены были сведения, что к Могилеву двигаются эшелоны Крыленко, что в ставке большое смятение и что там создалось определенное решение капитулировать. Наши друзья приняли, повидимому, энергичные меры, так как, если не ошибаюсь, 18-го в Быхове получена была телеграмма безотлагательно начать посадку в специальный поезд эскадрона текинцев и полуроты георгиевцев—для сопровождения арестованных на Дон.

---

[1]) Как видно из дальнейшего, речь идет не о Духонине, а о Корнилове, которого Деникин именует „верховным" не то по старой памяти, не то в предвидении его грядущих похождений. *Ред.*

[2]) Оставшихся последними (это были упомянутые выше Корнилов, Деникин, Лукомский, Марков и Романовский. *Ред.*)

Мы все вздохнули с облегчением. Что готовит нам судьба в дальнем пути,— это был вопрос второстепенный. Важно было выбраться из этих стен на свет божий, к тому же вполне легально, и снова начать открытую борьбу. Быстро уложились и ждали. Прошли все положенные сроки — не везут. Ждем три, четыре часа... Наконец, получается лаконический приказ — телеграмма генерала Духонина коменданту — все распоряжения по перевозке отменить.

Глубокое разочарование, подавленное настроение. Обсуждаем положение. Ночь без сна. Между Могилевом и Быховым мечутся автомобили наших доброжелателей из офицерского комитета и казачьего союза. Глубокой ночью узнаем обстоятельства перемены ставкой решения. Представители казачьего союза долго уговаривали Духонина отпустить нас на Дон, указывая, что в любую минуту он — верховный главнокомандующий, — если сам не покинет город, может стать просто узником. Духонин согласился, наконец, вручить казачьему представителю именные распоряжения о нашем переезде на имя коменданта Быховской тюрьмы и главного начальника сообщений, но под условием, что эти документы будут использованы лишь в момент крайней необходимости. Казачьи представители нашли, что 18-го этот момент настал. Духонин, узнав о готовящейся посадке, отменил распоряжение, а явившимся к нему казачьим представителям сказал:

— Еще рано. Этим распоряжением я подписал себе смертный приговор.

Но утром 19-го в тюрьму явился полковник генерального штаба Кусонский и доложил генералу Корнилову:

— Через четыре часа Крыленко приедет в Могилев, который будет сдан ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам доложить, что всем заключенным необходимо тотчас же покинуть Быхов.

Генерал Корнилов пригласил коменданта, подполковника Текинского полка Эргардта и сказал ему:

— Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться к выступлению к 12 часам ночи. Я иду с полком.

. . . . . .

Духонин был и остался честным человеком. Он ясно отдавал себе отчет, в чем состоит долг воина перед лицом врага, стоящего за линией окопов, и был верен своему долгу. Но в пучине всех противоречий, брошенных в жизнь революцией, он безнадежно запутался. Любя свой народ, любя армию и отчаявшись в других способах спасти их, он продолжал итти, скрепя сердце, по пути с революционной демократией, тонувшей в потоках слов и боявшейся дела.

заблудившейся между родиной и революцией, переходившей постепенно от борьбы „в народном масштабе“ к соглашению с большевиками, от вооруженной обороны ставки, как „технического аппарата“, к сдаче Могилева без боя.

В той среде, с которой связал свою судьбу Духонин, ни стимула, ни настроения для настоящей борьбы он найти не мог.

Его оставили все: общеармейский комитет распустил себя 19-го и рассеялся; верховный комиссар Станкевич уехал в Киев; генерал-квартирмейстер Дитерихс укрылся в Могилеве, и, если верить Станкевичу, это он уговорил остаться генерала Духонина, сдавшегося было на убеждения ехать на юго-западный фронт. Бюрократическая ставка, верная своей традиции „аполитичности“, вернее, беспринципности, в тот день, когда чернь терзала верховного главнокомандующего, в лице своих старших представителей приветствовала нового главковерха!..

Еще 19-го командиры ударных батальонов, прибывших ранее в Могилев по собственной инициативе, просили разрешения Духонина защищать ставку. Обще-армейский комитет перед роспуском сказал „нет“. И Духонин приказал батальонам в тот же день покинуть город.

— Я не хочу братоубийственной войны, — говорил он командирам. — Тысячи ваших жизней будут нужны родине. Настоящего мира большевики России не дадут. Вы призваны защищать родину от врага и Учредительное Собрание от разгона...

Благословив других на борьбу, сам остался. Изверился, очевидно, во всех, с кем шел.

— Я имел и имею тысячи возможностей скрыться. Но я этого не сделаю. Я знаю, что меня арестует Крыленко, а может быть, меня даже расстреляют. Но это — смерть солдатская.

И он погиб.

На другой день толпа матросов, диких, озлобленных, на глазах у „главковерха“ Крыленко растерзала генерала Духонина и над трупом его жестоко надругалась.

* * *

В смысле безопасности передвижения трудно было определить, который способ лучше: тот ли, который избрал Корнилов, или наш. Во всяком случае, далекий зимний поход представлял огромные трудности. Но Корнилов был крепко привязан к текинцам, оставшимся ему верными до последнего дня, не хотел расставаться с ними и считал своим нравственным долгом итти с ними на Дон, опасаясь,

что их иначе постигнет злая участь: обстоятельство, которое чуть не стоило ему жизни.

Мы простились с Корниловым сердечно и трогательно, условившись встретиться в Новочеркасске. Вышли из ворот тюрьмы, провожаемые против ожидания добрым словом наших тюремщиков-георгиевцев, которых не удивило освобождение арестованных, ставшее последнее время частым.

— Дай вам бог, не поминайте лихом...

На квартире коменданта мы переоделись и резко изменили свой внешний облик. Лукомский стал великолепным „немецким колонистом", Марков — типичным солдатом, неподражаемо имитировавшим разнузданную манеру „сознательного товарища". Я обратился в „польского помещика". Только Романовский ограничился одной переменой генеральских погон на прапорщичьи.

Лукомский решил ехать прямо навстречу крыленковским эшелонам — через Могилев — Оршу — Смоленск — в предположении, что там искать не будут. Полковник Кусонский на экстренном паровозе сейчас же продолжал свой путь далее в Киев, исполняя особое поручение, и предложил взять с собою двух человек, — больше не было места. Я отказался в пользу Романовского и Маркова. Простились. Остался один. Не стоит придумывать сложных комбинаций: взять билет на Кавказ и ехать ближайшим поездом, который уходил по расписанию через пять часов. Решил переждать в штабе польской дивизии. Начальник дивизии весьма любезен. Он получил распоряжение от Довбор-Мусницкого „сохранять нейтралитет", но препятствовать всяким насилиям советских войск и оказать содействие быховцам, если они обратятся за ним. Штаб дивизии выдал мне удостоверение на имя „помощника начальника перевязочного отряда Александра Домбровского"; случайно нашелся и попутчик — подпоручик Любоконский, ехавший к родным, в отпуск. Этот молодой офицер оказал мне огромную услугу и своим милым обществом, облегчавшим мое самочувствие, и своими заботами обо мне во все время пути.

Поезд опоздал на шесть часов. После томительного ожидания, в $10^1/_2$ ч. мы, наконец, выехали.

Первый раз в жизни — в конспирации, в несвойственном виде и с фальшивым паспортом. Убеждаюсь, что положительно не годился бы для конспиративной работы. Самочувствие подавленное, мнительность, никакой игры воображения. Фамилия польская, разговариваю с Любоконским по-польски, а на вопрос товарища-солдата: — „Вы какой губернии будете?" — отвечаю машинально: „Саратовской." Приходится давать потом сбивчивые объяснения, как поляк попал в Саратовскую губернию. Со второго дня с большим вниманием

слушали с Любоконским потрясающие сведения о бегстве Корнилова и быховских генералов; вместе с толпой читали расклеенные по некоторым станциям аршинные афиши. Вот одна: „Всем, всем: Генерал Корнилов бежал из Быхова. Военно-революционный комитет призывает всех сплотиться вокруг комитета, чтобы решительно и беспощадно подавить всякую контр-революционную попытку". Идем дальше. Другая — председателя Викжеля, адвоката Малицкого: „Сегодня ночью из Быхова бежал Корнилов сухопутными путями с 400 текинцев. Направился к Жлобину. Предписываю всем железнодорожникам принять все меры к задержанию Корнилова. Об аресте меня уведомить". Какое жандармское рвение у представителя свободной профессии! Настроение в толпе довольно, впрочем, безразличное. Ни радости, ни огорчения. Любоконский пытается вступать с соседями в политические споры, я останавливаю его. Где-то, кажется на станции Конотоп, пришлось пережить неприятных полчаса, когда красноармейцы-милиционеры заняли все выходы из зала, а их начальник по странной случайности расположился возле нашего стола... Не доезжая Сум, поезд остановился среди чистого поля и простоял около часа. За стенкой купэ слышен разговор:

— Почему стоим?

— Обер говорил, что проверяют пассажиров, кого-то ищут.

Томительное ожидание. Рука в кармане сжимает крепче рукоятку револьвера, который, как оказалось впоследствии, не действовал. Нет, гораздо легче, спокойнее, честнее встречать открыто смертельную опасность в бою, под рев снарядов, под свист пуль, — страшную, но, вместе с тем, радостно волнующую, захватывающую своей реальной жутью и мистической тайной!

Вообще же путешествие шло благополучно, без особенных приключений. Только за Славянском произошел маленький инцидент: в нашем вагоне, набитом до отказа солдатами, мое долгое лежание на верхней полке показалось подозрительным, и внизу заговорили:

— Полдня лежит, морды не кажет. Может быть, сам Керенский?.. (Следует скверное ругательство.)

— Поверни-ка ему шею!

Кто-то дернул меня за рукав, я повернулся и свесил голову вниз. Повидимому, сходства не было никакого. Солдаты рассмеялись; за беспокойство угостили меня чаем.

И с ним встреча была возможна; по горькой иронии судьбы в одно время с „мятежниками" прибыл в Ростов бывший диктатор России, бывший верховный главнокомандующий ее армии и флота Керенский, переодетый и загримированный, прячась и спасаясь от той толпы, которая

не так давно еще носила его на руках и величала своим избранником.

Времена изменчивы...

Эти несколько дней путешествия и дальнейшие скитания мои по Кавказу в забитых до одури и головокружения человеческими телами вагонах, на площадках и тормозах, простаивание по много часов на узловых станциях — ввели меня в самую гущу революционного народа и солдатской толпы. Раньше со мной говорили как с главнокомандующим и потому по различным побуждениям не были искренни. Теперь я был просто „буржуй", которого толкали и ругали — иногда злобно, иногда так, походя,— но на которого, по счастью, не обращали никакого внимания. Теперь я увидел яснее подлинную жизнь и ужаснулся.

Прежде всего — разлитая повсюду безбрежная ненависть — и к людям, и к идеям. Ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка, даже к неодушевленным предметам — признакам некоторой культуры, чуждой или недоступной толпе. В этом чувстве слышалось непосредственное, веками накопившееся озлобление, ожесточение тремя годами войны и воспринятая через революционных вождей истерия. Ненависть с одинаковой последовательностью и безотчетным чувством рушила государственные устои, выбрасывала в окно вагона „буржуя", разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обивку вагонных скамеек. Психология толпы не обнаруживала никакого стремления подняться до более высоких форм жизни: царило одно желание — захватить или уничтожить. Не подняться, а принизить до себя все, что так или иначе выделялось. Сплошная апология невежества. Она одинаково проявлялась и в словах того грузчика угля, который проклинал свою тяжелую работу и корил машиниста „буржуем" за то, что тот, получая дважды больше жалованья, „только ручкой вертит", и в развязном споре молодого кубанского казака с каким-то станичным учителем, доказывавшим довольно простую истину: для того, чтобы быть офицером, нужно долго и многому учиться.

— Вы не понимаете и потому говорите. А я сам был в команде разведчиков и прочесть, чего на карте написано или там что, не хуже всякого офицера могу.

Говорили обо всем: о боге, о политике, о войне, о Корнилове и Керенском, о рабочем положении и, конечно, о земле и воле. Гораздо меньше — о большевиках и новом режиме. Трудно облечь в связные формы тот сумбур мыслей, чувств и речи, которые проходили в живом калейдоскопе менявшегося населения поездов и станций. Какая беспросветная тьма! Слово рассудка ударялось, как о каменную

стену. Когда начинал говорить какой-либо офицер, учитель или кто-нибудь из „буржуев", к их словам заранее относились с враждебным недоверием. А тут же какой-то по разговору полуинтеллигент в солдатской шинели развивал невероятнейшую систему социализации земли и фабрик. Из путаной, обильно снабженной мудреными словами его речи можно было понять, что „народное добро" будет возвращено „за справедливый выкуп", понимаемый в том смысле, что казна должна выплачивать крестьянам и рабочим чуть ли не за сто прошлых лет их протори и убытки за счет буржуйского состояния и банков. Товарищ Ленин к этому уже приступил. И каждому слову его верили, даже тому, что „на Аральском море водится птица, которая несет яйца в добрый арбуз, и оттого там никогда голода не бывает, потому что одного яйца довольно на большую крестьянскую семью". Повидимому, впрочем, этот солдат особенно расположил к себе слушателей кощунственным воспроизведением ектеньи „на революционный манер" и проповеди в сельской церкви:

— Братие! Оставим все наши споры и раздоры. Сольемся во-едино. Возьмем топоры да вилы и, осеня себя крестным знамением, пойдем вспарывать животы буржуям. Аминь.

Толпа гоготала. Оратор ухмылялся, — работа была тонкая, захватывавшая наиболее чувствительные места народной психики.

Помню, как на одном перегоне завязался спор между железнодорожником и каким-то молодым солдатом из-за места, перешедший вскоре на общую тему о бастующих дорогах и о бегущих с поля боя солдатах. Солдат оправдывался:

— Я, товарищ, сам под Бржезанами в июле был,—знаю. Разве мы побежали бы? Когда офицера нас продали — в тылу у нас мосты портили! Это, брат, все знают. Двоих в соседнем полку поймали — прикончили.

Меня передернуло. Любокопский вспыхнул:

— Послушайте, какую вы чушь несете! Зачем же офицеры стали бы портить мосты?

— Да уж мы не знаем, вам виднее...

Отзывается с верхней полки старообразный солдат „черноземного" типа:

— У вас, у шкурников всегда один ответ: как даст стрекача, так завсегда офицеры виноваты.

— Послушайте, вы не ругайтесь! Сами-то зачем едете?

— Я?.. На, читай. Грамотный?

Говоривший, порывшись за бортом шинели, сунул молодому солдату засаленный лист бумаги:

— Призыва 1895 года. Уволен в чистую, понял? С самого начала войны и по сей день, не сходя с позиции,

25-й артиллерийской бригаде служил... Да ты вверх ногами держишь!

Солдаты засмеялись, но не поддержали артиллериста.

— Должно быть „шкура"... [1]) — процедил кто-то сквозь зубы.

Долгие, томительные часы среди этих опостылевших разговоров, среди невыразимой духоты и пряной ругани одурманивают сознание. Бедная демократия! Не та, что блудит словом в советах и на митингах, а вот эта — сермяжная, серо-шинельная. Эта, — от чьего имени в течение полугода говорили пробирающийся теперь тайно в Новочеркасск Керенский, „восторженно приветствуемый" в Тифлисе Церетели и воцарившийся в Петрограде Ленин.

Приехали благополучно в Харьков. Пересадка. Сгрудились стеною для атаки вагона ростовского поезда. Вдруг впереди вижу дорогие силуэты: Романовский и Марков стоят в очереди. Стало легче на душе. Ни выйти из купэ, ни даже приоткрыть дверь в коридор, устланный грудой тел, было невозможно. Расстались с Любокинским. Поближе к Дону становится свободнее. Теперь в купэ нас всего десять человек: два торговца-черкеса, дама, офицер, пять солдат и я. Проверял документы и осматривал багаж только один раз, где-то за Изюмом, вежливый патруль полка пограничной стражи. У черкесов и у солдат оказалось много мануфактуры.

Все обитатели купэ спят. Только два солдата ведут разговор — шопотом, каким-то воровским жаргоном. Я притворяюсь спящим и слушаю. Один приглашает другого — повидимому, старого приятеля — „в дело". Обширное предприятие „мешечников", имеющее базы в Москве и Ростове. С севера возят мануфактуру, с юга — хлеб; какие-то московский и ростовский лазареты снабжают артель „санитарными билетами" и проездными бланками. Далее разговор более тихий и интимный: хорошо бы прихватить черкесскую мануфактуру... Можно обделать тихо — в случае чего припугнуть ножиком — народ жидкий; лучше — перед Иловайской; оттуда можно свернуть на Екатеринослав...

Неожиданное осложнение для нелегального пассажира. Через несколько минут дама нервно вскочила и вышла в коридор. Очевидно, и до ее слуха что-нибудь долетело. На ближайшей большой остановке мешечники вышли в окно за кипятком. Я предупредил черкеса и офицера о возможности покушения. Черкесы куда-то исчезли. Из коридора хлынуло в купэ, давя друг друга, новое население. Перебравшись с трудом через спящие тела, перехожу в отделе-

[1]) Так называли сверхсрочных в солдатской среде.

ние к друзьям. Радостная встреча. Поздоровался с Романовским. Марков сгорает от нетерпения, но выдерживает роль, не вмешивается.

Здесь гораздо уютнее. Марков—денщик Романовского—в дружбе с „товарищами", бегает за кипятком для „своего офицера" и ведет беседы самоуверенным тоном с митинговым пошибом и ежеминутно сбиваясь на культурную речь. Какой-то молодой поручик, возвращающийся из отпуска в Кавказскую армию, посылает его за папиросами и потом мнет нерешительно бумажку в руке: дать на чай, или обидится?.. Удивительно милый этот поручик, сохранивший еще незлобие и жизнерадостность, думающий о полке, о войне и как-то конфузливо скромно намекающий, что его, вероятно, уже ждут в полку два чина и „Владимир". Он привязался за время пути к Романовскому и ставил его в труднейшее положение своими расспросами. Иван Павлович на ухо шепнул мне: „изолгался я до противности". Поручик увидел меня.

— Ваше лицо мне очень знакомо. Ваша летучка не была ли во 2-й дивизии в 16-м году?

2-я дивизия, действительно, входила в состав моего корпуса на Румынском фронте. Я спешу отказаться и от дивизии, и от знакомства.

Но вот, наконец, цель наших стремлений — Донская область. Прошли благополучно Таганрог, где с часу на час ожидалось прибытие матросских эшелонов. Вот и Ростовский вокзал — громадный военный лагерь с каким-то тревожным и неясным настроением. Решили до выяснения обстановки соблюдать конспирацию. Марков остался до утра у родных в Ростове. Кавказский поручик предупредительно предлагает взять билеты на Тифлис и озаботиться местами.

— Нет, милый поручик. Едем мы вовсе не в Тифлис, а в Новочеркасск; а во 2-й дивизии мы с вами действительно, виделись и под Рымником вместе дрались. Прощайте, дай вам бог счастья...

— А-а! — он застыл от изумления.

В Новочеркасск прибыли под утро. В Европейской гостинице — „контр-революционный штаб" — не оказалось ни одного свободного номера. В списке жильцов нашли знакомую фамилию — „полковник Лебедев". Послали в номер заспанного швейцара.

— Как о вас доложить?

— Скажите, что спрашивают генералы Деникин и Романовский, — говорит мой спутник.

— Ах, Иван Павлович! Ну и конспираторы же мы с вами!..

В это чуть занимавшееся утро не спалось. После почти трех месяцев замкнутой тюремной жизни свобода ударила по нервам массой новых впечатлений. В них еще невозможно было разобраться. Но одно казалось несомненным и нагло кричало о себе на каждом шагу:

большевизм далеко еще не победил, но вся страна — во власти черни.

И не видно или почти не видно сильного протеста или действительного сопротивления. Стихия захлестывает, а в ней бессильно барахтаются человеческие особи, не слившиеся с нею. Вспомнил почему-то виденную мною раз сквозь приотворенную дверь купэ сцену. В проходе, набитом серыми шинелями, высокий, худой, в бедном потертом пальто человек, очевидно, много часов переносивший пытку стояния, нестерпимую духоту и, главное, всевозможные издевательства своих спутников, истерически кричал:

— Проклятые! Ведь я молился на солдата... А теперь вот, если бы мог, собственными руками задушил бы!..

Странно, — его оставили в покое.

* * *

Поздно вечером 19 ноября комендант быховской тюрьмы сообщил георгиевскому караулу о полученном распоряжении освободить генерала Корнилова, который уезжает на Дон. Солдаты приняли это известие без каких-либо сомнений. Офицеры караула капитан Попов и прапорщик Гришин беседовали по этому поводу с георгиевцами и встретили с их стороны сочувствие и доброе отношение к уезжающему.

В полночь караул был выстроен, вышел генерал, простился с солдатами, поблагодарил своих „гюремщиков" за исправное несение службы, выдал в награду 2 тысячи рублей. Они ответили пожеланием счастливого пути и провожали его криками „ура!"... Оба караульные офицеры присоединились к текинцам.

В час ночи сонный Быхов был разбужен топотом коней: Текинский полк во главе с генералом Корниловым шел к мосту и, перейдя Днепр, скрылся в ночной тьме.

Из Могилева двигался навстречу 4-й эскадрон с командиром полка. Командир не сочувствовал походу и не подготовил полк к дальнему пробегу, но теперь шел с ним, так как знал, что не в силах удержать ни офицеров, ни всадников. Не было взято ни карт, ни врача, ни фельдшера и ни одного перевязочного пакета; не запаслись и достаточным количеством денег. Небольшой колесный обоз, взятый с собой, обслуживался регулярными солдатами, которые после первого же перехода бежали.

Текинский полк шел всю ночь и весь день, чтобы сразу оторваться от могилевского района. Следуя в общем направлении на юго-восток и заметая следы, полк делал усиленные переходы, преимущественно по ночам, встречая на пути плохо еще замерзшие, с трудными переправами реки и имея впереди ряд железнодорожных линий, на которых ожидалось организованное сопротивление. В попутных деревнях жители разбегались или с ужасом встречали текинцев, напуганные грабежами и разбоями вооруженных шаек, бороздивших тогда вдоль и поперек Могилевскую губернию. И провожали с удивлением „диких", в первый раз увидев солдат, которые никого не трогают и за все щедро расплачиваются.

В техническом отношении полковник Кюгельген вел полк крайне неискусно и нерасчетливо. В первые семь суток пройдено было 300—350 верст, без дневок, по дорогам и без дорог, — лесом, подмерзшими болотами и занесенной снежными сугробами целиной, — по двое суток не расседывали лошадей; из семи ночей провели в походе четыре; шли обыкновенно без надлежащей разведки и охранения, сбивались и кружили; пропадали отсталые, квартирьеры и раненые...

Был сильный мороз, гололедица; всадники приходили в изнеможение от огромных переходов и бессонных ночей; невероятно страдали от холода и, как говорит один из участников, в конце концов, буквально „отупели"; лошади, не втянутые в работу, шли с трудом, отставали и калечились. Впереди — огромный путь и полная неизвестность. Среди офицеров сохранялось приподнятое настроение, поддерживаемое обаянием Корнилова, верностью слову и, может быть, романтизмом всего предприятия: из Быхова на Дон, больше тысячи верст, в зимнюю стужу, среди множества преград и опасностей, с любимым вождем — это было похоже на красивую сказку... Но у всадников с каждым днем настроение падало, и скоро... сказка оборвалась; началась тяжелая проза жизни.

На седьмой день похода, 26-го, полк выступил из села Красновичи и подходил к деревне Писаревке, имея целью пересечь железную дорогу восточнее станции Унечи. Явившийся добровольно крестьянин-проводник навел текинцев на большевистскую засаду: поравнявшись с опушкой леса, они были встречены почти в упор ружейным огнем. Полк отскочил, отошел в Красновичи и оттуда свернул на юго-запад, предполагая обойти Унечи с другой стороны. Около 2 ч. дня подошли к линии Московско-Брестской железной дороги около станции Песчаники. Неожиданно из-за поворота появился поезд и из приспособленных „площадок" ударил

по колонне огнем пулеметов и орудия. Головной эскадрон повернул круто в сторону и ускакал [1]); несколько всадников свалилось; под Корниловым убита лошадь [2]); полк рассыпался. Корнилов, возле которого остались командир полка и подполковник Эргардт, отъехал в сторону.

Долго собирали полк; подняли его к Корнилову. Измученные вконец текинцы, не понимавшие, что творится вокруг, находились в большом волнении. Они сделали все, что могли, они попрежнему преданы генералу, но...

— Ах, бояр! Что мы можем делать, когда вся Россия — большевик... — говорили они своим офицерам.

„Подъехав к сборному пункту полка, — рассказывает штаб-ротмистр С., — я застал такую картину: всадники стояли в беспорядке, плотной кучей; тут же лежало несколько раненых и обессиливших лошадей, и на земле сидели и лежали раненые всадники. Текинцы страшно пали духом и вели разговор о том, что все равно они окружены, и половины полка нет налицо и поэтому нужно сдаться большевикам. На возражение офицеров, что большевики в таком случае расстреляют генерала Корнилова, всадники ответили, что они этого не допустят, и в то же время упорно твердили, что необходимо сдаваться. Офицеры попросили генерала Корнилова поговорить с всадниками. Генерал говорил им, что не хочет верить, что текинцы предадут его большевикам. После его слов стихшая было толпа всадников вновь зашумела и из задних рядов раздались крики, что дальше итти нельзя и надо сдаваться. Тогда генерал Корнилов вторично подошел к всадникам и сказал:

— Я даю вам пять минут на размышление; после чего, если вы все-таки решите сдаваться, вы расстреляете сначала меня. Я предпочитаю быть расстрелянным вами, чем сдаться большевикам.

Толпа всадников напряженно затихла; и в тот же момент ротмистр Натансон, без папахи, встав на седло, с поднятой вверх рукой, закричал толпе:

— Текинцы! Неужели вы предадите своего генерала? Не будет этого, не будет!.. 2-й эскадрон, садись!"

Вывели вперед штандарт, за ним пошли все офицеры, начал садиться на коней 2-й эскадрон, за ним потянулись остальные. Это не был уже строевой полк — всадники шли вперемежку, толпой, продолжая ворчать, но все же шли покорно за своими начальниками. Кружили всю ночь и под

---

[1]) 1-ый эскадрон прошел западнее и более к полку не присоединился; за Клинцами в м. Паличи он был разоружен большевиками и отправлен в Минск, где некоторое время офицеров и всадников держали в тюрьме.

[2]) Вынесла его из огня и пал.

утро благополучно пересекли железную дорогу восточнее Унечи.

В этот день Корнилов решил расстаться с полком, считая, что без него полку будет легче продвигаться на юг. Полк с командиром полка и семью офицерами должен был двигаться в м. Погар, вблизи Стародуба, и далее на Трубчевск, а Корнилов с отрядом из всех остальных офицеров (одиннадцать) и 32 всадников на лучших лошадях пошел на юг на переправу через Десну, в направлении Новгород-Северска. Отряд этот натыкался на засады, был окружен, несколько раз был обстрелян и, наконец, 30-го отошел в Погар. Здоровье генерала Корнилова, который чувствовал себя очень плохо еще в день выступления, окончательно пошатнулось. Последний переход он уже едва шел, все время поддерживаемый под руки кем-либо из офицеров; страшный холод не давал возможности сидеть на лошади. Считая бесцельным подвергать в дальнейшем риску преданных ему офицеров, Корнилов наотрез отказался от их сопровождения и решил продолжать путь один.

В сопровождении офицера и двух всадников он, переодетый в штатское платье, отправился на станцию Холмечи и, простившись с ними, сел в поезд, отправлявшийся на юг. Командир полка послал телеграмму Крыленко приблизительно такого содержания: выполняя приказание покойного верховного главнокомандующего генерала Духонина, Текинский полк сопровождал на Дон генерала Корнилова; по 26-го полк был обстрелян, под генералом Корниловым убита лошадь, и сам он пропал без вести. За прекращением задачи, полк ожидает распоряжений.

Но распоряжений не последовало. Пробыв в Погарах почти две недели, отдохнув и устроившись, полк в составе 14 офицеров и не более, чем 125 всадников двинулся на юг, никем уже не тревожимый; принимал участие где-то возле Новгород-Северска в бою между большевиками и украинцами на стороне последних, потом после долгих мытарств попал в Киев. И в январе, ввиду отказа украинского правительства отправить Текинский полк на Дон и последовавшего затем занятия большевиками Киева, полк был распущен. Десяток офицеров и взвод всадников с января сражались в рядах добровольческой армии.

В ночь на 3 декабря в арестантском вагоне под сильным украинским караулом везли в Киев двух отставших и пойманных текинских офицеров. Один из них, ротмистр А., на станции Конотоп в сопровождении караульного офицера был отпущен в буфет за провизией. На перроне его окликнул хромой старик, в старой заношенной одежде и в стоптанных валенках:

— Здорово, товарищ! А Гришин с вами?

— Здравия... здравствуйте, да...

Старик кивнул головой и исчез в толпе.

— Послушайте, да ведь это — генерал Корнилов! — воскликнул караульный офицер.

Ледяной холод в сердце, неискренний смешок и сбивчивая речь в ответ:

— Что вы! ха — ха, как так Корнилов, просто знакомый один...

6 декабря „старик" — по паспорту Ларион Иванов, беженец из Румынии — прибыл в г. Новочеркасск, где его ждали с тревожным нетерпением семья и соратники.

С. АН — СКИЙ.

После переворота 25-го Октября 1917 г. [1]).

26-го утром мы узнали, что все министры, за исключением Керенского, посажены в Петропавловскую крепость. Ходили невероятные слухи об избиении или даже расстреле того или иного министра. Позже оказалось, что все они в живых, но что они были на волосок от смерти: во дворце в момент ареста и позже на мосту, при переводе в крепость.

Ходили различные слухи о защитниках Зимнего дворца: о юнкерах и женском батальоне. Говорили, что все они перерезаны или утоплены, что некоторые женщины батальона изнасилованы.

Городская дума заседала весь день. Не столько обсуждали создавшееся положение, сколько передавали и комментировали всяческие слухи. Выработали пламенный протест против большевиков.

Около полудня в Думу явились три-четыре большевистских гласных, между ними нынешний дипломат Иоффе и женщина-гласная, кажется, Коллонтай. Они были встречены вспышкой страшного гнева и криками:

— Убийцы!! Насильники! Изнасиловали женщин! Вон! В тюрьму! На виселицу!

Большевики спокойно сидели на своих местах. Некоторые из них улыбались. Они скоро ушли с тем, чтобы больше не возвращаться.

Несмотря на все ужасные слухи, настроение думы было оптимистично. С минуты на минуту ожидали известия, что Керенский с армией идет на Петроград.

Настроение поддерживалось целой армией разносчиков новостей, утверждавших, что все идет прекрасно: рабочие якобы сильно возбуждены против большевиков и решили не поддерживать их. Солдаты очень недовольны переворотом. Они утверждают, что они обмануты большевиками, и готовятся выступить против них. Среди самих большевиков произошли жестокие распри, большинство их против переворота. Короче, говорили об отчаянном положении большевиков, уверяя, что они продержатся самое большее два дня.

---

[1]) „Архив Русск. Революции", т. VIII. Берлин, 1923 г.

Большая часть членов эсэровской фракции разошлась по фабрикам и казармам для ведения анти-большевистской пропаганды. Секретарь эсэровской фракции, разбитной юноша Флекель, еврей, которого большевики впоследствии расстреляли, горячо взывал, обходя залу:

— К рабочим! К солдатам! Необходимо раскрыть им глаза, разъяснить положение! Это теперь главное! От этого зависит все!

Положение оставалось неопределенным вплоть до 29 октября.

Фактически большевики оказались победителями. В их руках находился весь Петроград со всеми его учреждениями. Правительство заключено было в Петропавловскую крепость, вся военная сила была на стороне большевиков. Тем не менее, никто не верил в окончательную победу тех, кто совершил переворот, и меньше всех в победу верили сами большевики [1]). Всем было ясно, что один Петроград еще ничего не значит. Знали, что под Петроградом готовятся, если уже не происходят, бои между армией Керенского и большевиками, знали, что там решится судьба восстания. Кроме того, большие надежды возлагались на Москву, где происходили ожесточенные уличные сражения между большевиками, с одной, и юнкерами и частью армии, с другой стороны.

Известия, получавшиеся в городской думе из лагеря Керенского и из Москвы, были очень оптимистического характера. Передавали, что в распоряжении Керенского крупные военные силы, что они разбили большевиков и уже подошли к Петрограду.

Из Москвы также поступали сообщения о поражениях большевиков. Кадеты настаивали на том, чтобы к большевикам отнеслись беспощадно, чтобы их вешали и расстреливали, эсэры же требовали мягкого обращения с побежденными революционерами [2]).

В переходные дни петроградская городская дума играла очень важную роль. Так как правительство было арестовано, все антибольшевистские силы, как гражданские, так и военные, стали группироваться вокруг думы, которая, в качестве демократического представительного органа столицы, сыграла роль политического центра. Она находилась в привилегированном положении. Большевики не осмеливались тронуть ее, так как в ее руках был сосредоточен весь продо-

[1]) Это одна из тех „новостей", над которыми автор справедливо иронизирует на предыдущей странице. *Ред.*

[2]) Это было в то время чуть ли единственным различием между „демократией социалистической" и „демократией несоциалистической". Впоследствии и оно сгладилось. *Ред.*

вольственный аппарат столицы, и еще долгое время спустя дума вела открытую войну против большевиков, пока последние, наконец, не решились распустить ее.

27 и 28 октября в думе происходили беспрерывные заседания, продолжавшиеся с утра до 12 час. ночи. На заседаниях опубликованы были все известия, полученные из Петрограда, Москвы и провинции. (В первые дни переворота газеты не выходили.) Произнесены были пламенные речи и приняты резолюции протеста против насильственных действий большевиков. Были составлены и напечатаны воззвания к армии, рабочим и народу.

Дума немедленно избрала комиссию для расследования насилий и защиты арестованных юнкеров. Была также избрана комиссия во главе с графиней Паниной для расследования сообщения об изнасиловании женщин из женского батальона большевиками при взятии ими Зимнего дворца.

Я помню, какое волнение поднялось в думе, как пришло известие, что большевики требуют ключей Государственного банка от его директора. Кричали, что они разворуют и разграбят все достояние государства, что им ключей ни под каким видом давать нельзя. Директор действительно ключей не выдавал, пока ему не пригрозили расстрелом.

Насколько большевики, однако, не были уверены в собственной силе и насколько они в тот момент признавали права городской думы, видно из того, что, уже имея в своих руках ключи, они все-таки не осмеливались итти туда одни и требовали, чтобы дума прислала своих представителей, которые присутствовали бы при открытии кассы. Из кассы они намерены были взять три миллиона для покрытия государственных расходов [1]).

После бурных дебатов дума послала своих делегатов, полагая, что в случае, если делегаты думы не будут присутствовать, большевики возьмут еще больше.

Главный вопрос был: что происходит на фронте? Фронт тянулся между Царским Селом и Пулковым. Оттуда получались противоречивые известия. Одновременно пришло известие, что Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников заявил о своем отказе перевозить войска обоих лагерей: как Керенского, так и большевиков. Викжель требует, чтобы оба лагеря безусловно пришли к соглашению. В антибольшевистском лагере были уверены, что Викжель стоит на стороне большевиков, что под маской нейтральности он собирается нанести удар лагерю Керенского, так как большевики вообще не нуждаются в пе-

[1]) Разумеется, дело здесь было не в „неуверенности" большевиков и не в преклонении их перед „правыми" думы. Просто имелось в виду лишить „демократию" почвы для новой клеветы. *Ред.*

ревозке своих войск: их войска находятся в Петрограде. Представитель Викжеля обратился ко всем социалистическим партиям и к думе с предложением устроить совещание между обоими лагерями с целью соглашения и прекращения гражданской войны.

Социалистические партии, то-есть социалисты-революционеры, меньшевики и интернационалисты [1]), согласились с предложением Викжеля, умеренные партии народных социалистов и плехановцев либо не были приглашены, либо отклонили предложение. По этому вопросу в думе произошли бурные дебаты. Кадеты, не получившие приглашения, не принимали участия в дебатах, относясь к предложению с презрительной иронией. Умеренные левые кричали, что преступно ходить к насильникам и убийцам на совещание,— к элементам, которым место в тюрьме и на каторге. В конце концов, дума решила послать на совещание двух делегатов. В качестве представителей были выбраны я и гласный Чихачев (с.-р.).

Дума дала нам следующие инструкции: 1. Необходимо созвать новый Предпарламент из представителей всех социалистических направлений и органов городского самоуправления. Представители последнего должны составлять по крайней мере одну треть всего Предпарламента. 2. Из состава Предпарламента следует избрать кабинет министров. В состав кабинета не должны войти большевики, во всяком случае ни Ленин ни Троцкий. 3. Прежде нежели приступить к каким бы то ни было переговорам, большевики обязаны освободить всех арестованных, а главным образом — министров.

Первое заседание совещания должно было состояться в 8 час. вечера 28 октября. Прежде чем отправиться на собрание, я запросил центральные комитеты эсэровской и социал-демократической партии меньшевиков, избраны и посланы ли уже делегаты на совещание? Мне ответили, что в обоих центральных комитетах еще дебатируют по вопросу о программе совещания. Меня с товарищем просили обождать, чтобы пойти на совещание вместе с делегатами комитетов.

Ждать нам пришлось довольно долго. Лишь около четырех часов утра комитеты окончили дебаты и выбрали своих представителей.

---

[1]) Автор, повидимому, имеет в виду группу Л. Мартова, во время войны обособившуюся от меньшевиков-оборонцев и принимавшую участие в „циммервальдских" конференциях. После революции эти „интернационалисты", „меньшевики" опять сблизились, а затем с ними окончательно. Кроме мартовцев под именем интернационалистов выступила также разношерстная публика, группировавшаяся вокруг Горьковско-Сухановской „Новой Жизни". *Ред.*

Совещание происходило в помещении Железнодорожного Союза. Когда мы с товарищем туда пришли, там было уже около сорока человек. Я узнал, что собрание между тем предложило делегатам крупнейших организаций предварительно сговориться для того, чтобы переговоры не отнимали слишком много времени.

В состав малой совещательной комиссии вошли делегаты эс-эров, меньшевиков, железнодорожного союза и думы.

Когда мы с товарищем вошли в комнату, где происходило предварительное совещание, мы встретили там следующих делегатов: от большевиков — Каменева и Рязанова, от интернационалистов — Мартова, от меньшевиков — Либера, от эсэров — Ракитникова, от Железнодорожного Союза — его председателя (имя его я забыл) [1]) и некоего Крушинского

Совещание было открыто председателем железнодорожного союза, немолодым человеком с подозрительными манерами. Было ясно, что он политиканствует, преследуя какие-то посторонние цели.

Позже я узнал, что он был членом партии народных социалистов, из которой его со скандалом исключили за подозрительное поведение.

Он открыл собрание речью, в которой старался подчеркнуть свою объективность.

Он не хочет стать ни на ту, ни на эту сторону. Для него люди обоих лагерей — хорошие революционеры. Но от имени Союза он должен с ужасом констатировать, что гражданская война началась. Необходимо принять все меры для немедленного прекращения преступной братоубийственной войны. Задача совещания — прийти к соглашению. До тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, железнодорожный союз не пропустит ни для какой из враждующих партий ни солдат, ни амуниции. Далее он рассказал, что вчера с согласия обеих партий он был на фронте, говорил со штабом большевиков и с Керенским, что на фронте все признают необходимость соглашения и прекращения братоубийственной войны.

Рассказывая о своих поездках по фронту, он как бы мимоходом, улыбаясь, заметил:

— Натурально, я не имею права рассказывать о том, что я видел на фронте. Но я должен заметить, что солдаты Керенского произвели на меня впечатление совершенно деморализованных, готовых разбежаться...

Я его резко остановил:

---

[1]) Плансон. *Ред.*

— Зачем же вы рассказываете вещи, о которых вы рассказывать не имеете права?

— Да-да! — вы правы, — спохватился председатель Викжеля.

После него говорил Каменев.

Каменев — человек лет сорока, среднего роста, сухощавый, но крепко скроенный, с медленными движениями, холодный, сдержанный, взвешивающий свои слова, с резкими чертами бритого лица, с холодными, умными серыми глазами.

Он считался одним из самых выдающихся деятелей с.-д. партии, долгое время жил за границей, в Швейцарии, где выполнял строго конспиративную работу. На собраниях он никогда не выступал, держался в стороне, и в эмигрантской студенческой колонии его мало знали.

Каменев говорил недолго. Он в коротких и резких словах подчеркнул, что необходимо прежде всего считаться с победой большевиков, что власть находится в их руках, что на их стороне находится войско и пролетариат. Большевики при желании могли бы, вместо разговоров, просто продиктовать противникам переворота свою волю, но так как они стремятся по возможности быстро покончить с гражданской войной и перейти к положительной работе, они готовы сделать некоторые уступки, чтобы сговориться с остальными социалистическими партиями. Большевики, однако, не намерены отказываться от своих принципов.

Далее выступил Мартов-Цедербаум. Смуглый, близорукий, говорит быстро и нервно — он представляет собою тип еврея-талмудиста. Он долго и горячо доказывал, что большевики ведут страну и революцию в бездну, что они никогда не шли на уступки другим социалистическим партиям. Ныне наступила последняя минута, когда еще можно найти общую почву, чтобы вывести страну из страшного кризиса.

Затем говорили Дан Гурвич и, кажется, Либер. Делегат социалистов-революционеров Ракитников, теоретик, человек замкнутый, строгий и надутый, молчал. Он лишь представил резолюцию центрального комитета эсэров, требовавшую, чтобы впредь до созыва Учредительного Собрания был учрежден совещательный орган из представителей всех социалистических партий, и чтобы в состав нового правительства вошли не профессиональные политики, а люди деловые, специалисты.

Здесь выскочил с горячей истерической речью Рязанов-Гольдендах. Подобно Мартову, он также представляет собою тип еврея-талмудиста. Небольшого роста, ширококостный, с большим лбом, с широкой, длинной седеющей бородой. Я знал его двадцать лет тому назад в Париже. Он

считался энциклопедически-образованным человеком. Он был теоретиком и очень редко выступал с рефератами.

Я знал Рязанова человеком спокойным и сдержанным. Здесь, на совещании, он оказался истериком, человеком, совершенно не умеющим владеть собой. Он горячился, кричал, стучал кулаком по столу, обозвал нас всех контр-революционерами, утверждал, что мы стараемся обмануть большевиков для того, чтобы позднее их арестовать. Так истерически он держался все время заседания.

Я спросил Каменева:

— Что случилось с Рязановым? Ведь с ним разговаривать невозможно!

— Он очень изнервничался от пережитых событий, — ответил мне Каменев. — К тому же, его и мое положение на этом совещании очень трудное. Мы оба — самые умеренные, наши товарищи гораздо левее нас. Они отвергают всякие компромиссы. Нам приходится бороться на два фронта. — Если б вы знали, как Рязанов выступает на наших собраниях! Там он еще резче.

Наконец, выступил я, изложив мнение Петроградской думы и выяснив, на каких основаниях она могла бы войти в соглашение с большевиками.

На мою речь опять отозвался Рязанов, ответив пламенным возражением:

— Как? исключить из состава правительства Ленина и Троцкого? этих победителей контр-революции! Как? допустить в новый Предпарламент целую треть городской думы, в которой сидят кадеты и черносотенцы?

Заседание затянулось до 8 часов утра. Второе заседание было назначено на 5 часов вечера.

В городской думе результаты совещания ожидались с большим нетерпением. Мой доклад о совещании, сообщенные мною подробности первого заседания, содержание переданных мною речей и предложений вызвали в думе сильнейшую бурю. Умеренные партии, даже умеренные социалисты-революционеры, были чрезвычайно возмущены наглостью большевиков. Они кричали, что было позорно и преступно ходить к большевикам на совещание.

Больше всех волновался гласный Шингарев, несколько месяцев спустя столь свирепо убитый вместе со своим товарищем Кокошкиным в тюремном лазарете ворвавшимися туда большевистскими солдатами [1]).

Шингарев поставил мне целый ряд вопросов и требовал ответа, на каком основании я вообще остался на сове-

---

[1]) Как известно, эти „большевистские солдаты“ тотчас же были преданы суду Советским правительством. *Ред.*

шании после того, как большевики отклонили первое требование думы об освобождении арестованных министров?

Я отвечал, что имел во всяком случае право оставаться в целях информации.

Второе заседание междупартийного совещания началось с большим опозданием. Вместо шести часов вечера оно открылось в двенадцать часов ночи.

После долгих дебатов пришли, наконец, к соглашению о необходимости создания нового Предпарламента и нового Совета министров. Прения разгорелись вокруг вопроса о составе Предпарламента. Они приняли еще более страстный характер, нежели на первом заседании.

В этот день уже появились газеты, между ними — „Воля Народа" — орган крайне правых эс-эров. Эта газета выступила с очень резкими нападками против большевиков. Рязанов во время заседания размахивал этой газетой и истерически кричал:

— В своих газетах они пишут про нас величайшие гнусности! Призывают народ к выступлению против нас! Кричат, что мы бандиты и предатели, а в то же время приходят к нам на совещание, ища якобы возможности соглашения!

Я указал Рязанову, что большевики в таком же тоне разговаривают с эсэрами и меньшевиками [1]).

В три часа ночи, когда мы уже собирались закрыть заседание, разыгрался чрезвычайно характерный инцидент.

К нам вошел швейцар и доложил, что явившаяся делегация рабочих Путиловского завода настойчиво требует, чтобы ее впустили, так как ей безусловно необходимо говорить с нами лично. Совещание было настроено против допущения делегации. Оно попыталось отклонить визит, указав на чрезвычайную спешность своих занятий.

Но делегация обнаружила неимоверную настойчивость, требуя аудиенции. В противном случае она угрожала ворваться силой. Делать было нечего: делегация была принята.

В комнату вошло человек пятнадцать рабочих, стариков и молодых. Лица их были серьезные, напряженные. Один из них, молодой рабочий с энергичным лицом, умными, холодными глазами, выступил вперед и заговорил возбужденным голосом, в котором звучала угроза:

— Вот уже неделя, как продолжается кровопролитие между обоими революционными лагерями. Преступная гражданская война! Мы требуем, чтобы ей немедленно был по-

---

[1]) В действительности, большевистский „тон" был далеко не „таким же", как эсэро-меньшевистский. Не говоря уже о весьма существенной разнице в политическом содержании, в большевистских „нападках" не было ничего подобного тому остервенелому вою, которым особенно отличались эсэро-меньшевистские газеты. *Ред.*

ложен конец! Довольно! Вы уже два дня заседаете, обсуждая вопрос о соглашении, но похоже на то, что вы вовсе не торопитесь. Мы не можем допустить дальнейшего продолжения гражданской войны. К чорту Ленина и Чернова! Повесить их обоих!.. Мы говорим вам: положите конец разрухе. Иначе мы с вами рассчитаемся сами!

Речь и угрожающий голос молодого рабочего произвели сильное впечатление на всех членов совещания, главным образом на Рязанова.

Рязанов вскочил возбужденный и закричал истерическим голосом:

— Вы совершенно правы!!! Мы, большевики, с первой же минуты готовы к соглашению. Мы делаем всевозможные уступки, но эсэры, меньшевики, а главным образом — представители городской думы всячески тормозят работу, не давая прийти к соглашению. Вам следовало явиться не к нам, а в центральные комитеты эсэров и меньшевиков и в думу. Идите туда! Требуйте от них прекращения гражданской войны!

— Прекрасно! Мы сейчас идем и притащим их сюда! — закричали рабочие.

Речь Рязанова, которую иначе нельзя было назвать, как провокацией, всех нас сильно взволновала и озадачила.

Я разъяснил рабочим всю неосновательность заявления Рязанова и рассказал о всех пунктах наших разногласий. Рабочие выслушали меня, и один из них в сердцах крикнул:

— Чорт вас разберет, кто из вас прав! Все вы не стоите того, чтобы вас земля носила! Повесить бы вас всех на одном дереве — в стране само наступило бы спокойствие... Идем, ребята! Нам тут делать нечего.

И они ушли.

Появление делегации все-таки повлияло на ход занятий совещания. На заседании следующего дня, 30 октября, обнаружилось стремление прийти как-нибудь к соглашению. Речи произносились краткие. Меньшевики выдвинули вопрос о перемирии. Эс-эровские делегаты поддержали предложение меньшевиков, заявили, что центральный комитет эсэров получил от Керенского телеграмму, уполномочивающую Ц. К. заключить с большевиками мир или перемирие на условиях, которые Ц. К. найдет подходящими. Он, Керенский, выполнит все обязательства, которые будут на него возложены центральным комитетом. В качестве представителя городской думы я также поддержал предложение о перемирии.

Но большевистский делегат Каменев в кратких словах заявил, что заключение перемирия почти немыслимо. Исполнительный Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов

отклонит всякие разговоры о перемирии до тех пор, пока антибольшевистская сторона не даст весьма определенных гарантий. „Заключить теперь перемирие,—сказал Каменев,—значит дать Керенскому возможность сорганизовать новую армию... Кроме того,—продолжал он,—все дело зависит от штаба, находящегося на фронте, и он, Каменев, вместе с Рязановым не имеет полномочий заключать перемирие здесь, на совещании".

Из дальнейших дебатов выяснилось, что оба большевистских делегата вообще не уполномочены принимать какие либо решения. Обнаружилось, что они явились как будто исключительно в интересах информации, но не хотели в том сознаться. Нет! Они пришли с определенными, хотя и ограниченными полномочиями.

Словом, сколько мы с ними ни бились, мы не могли добиться ясного ответа на вопрос: в чем собственно заключаются их полномочия? Нам, представителям антибольшевистских партий, все яснее становилось, что большевики явились на совещание для того, чтобы пойти навстречу требованию железнодорожного союза, а главным образом для того, чтобы выиграть время, выждав между тем результата сражений под Петроградом и в Москве.

Итак, вопрос о перемирии был снят с очереди, и в порядок дня был опять поставлен пункт об учреждении временного народного совета. После долгих, горячих дебатов, продолжавшихся в течение 30 и 31 октября, достигнуто было наконец, соглашение, в силу которого временный народный совет должен состоят из 100 членов Совета рабочих депутатов, 75 членов крестьянского Совета, 100 делегатов Петроградской и Московской дум и 50 делегатов всероссийских профессиональных союзов.

Соглашение достигнуто было против воли большевиков. Рязанов никак не мог примириться с мыслью, что в совет войдут почти в половинном составе представители таких организаций, как городские думы и профессиональные союзы, в которых сидят члены буржуазных партий.

Что касается нового правительства, то вопрос о составе его был решен быстро. Все были того мнения, что состав его должен быть однородно-социалистический. Затруднения встретились лишь при изыскании таких условий, которые в правительстве не дали бы перевеса ни большевистской, ни антибольшевистской партии, а также в вопросе о личностях будущих министров. С одной стороны, эсэры, меньшевики и делегаты городского самоуправления требовали недопущения в кабинет министров ни Троцкого ни Ленина. С другой стороны, большевики вычеркнули из списка Керенского и, кажется, Авксентьева. Соглашение было

достигнуто путем принятия эластичной резолюции о том, что в состав нового правительства должны войти специалисты, независимо от их партийной принадлежности. Имена Ленина, Троцкого и Керенского в резолюции не были упомянуты. Тем самым обе договаривающиеся стороны выражали молчаливое согласие с кандидатским списком своего противника.

Мы, антибольшевики, хорошо понимали, что большевики никогда не согласятся исключить из состава правительства Ленина и Троцкого. Так как нам было ясно, что положение Керенского на фронте не блестяще (об этом свидетельствовала хотя бы его телеграмма к эсэрам), мы вынуждены были пойти на все уступки, лишь бы достигнуть соглашения и остановить гражданскую войну. Но большевики одержали окончательную победу.

Соглашение было достигнуто поздней ночью, 31 октября, после долгого мучительного пятичасового заседания. Сейчас же на очередь был опять поставлен вопрос о перемирии. Большевистские делегаты возразили, что соглашение должно быть предварительно подтверждено центральным исполнительным комитетом Совета рабочих депутатов. Мы, антибольшевики, энергично потребовали прекращения кровопролития, и Каменев согласился с нашим требованием. Он выразил уверенность, что советы рабочих депутатов согласятся с условиями, выработанными нашим совещанием. Поэтому он считает возможным принять меры для приостановки военных действий на Петроградском фронте.

Составлен был протокол соглашения и решено было в ту же ночь доставить этот протокол вместе с препроводительным письмом Совещания на оба фронта в главные штабы обеих армий. В письме указывалось на необходимость заключения перемирия.

Для поездки на фронт необходимо было разрешение Петроградского военного штаба, сидевшего в „Смольном институте".

Совещание делегировало на фронт меня и второго представителя „Викжеля". Большевистские делегаты Совещания дали нам письмо к штабу в Смольный, чтобы нам там дали разрешение на поездку на фронт.

Было уже после двух часов ночи. Мы со вторым делегатом на автомобиле „Викжеля" отправились в Смольный, надеясь на том же автомобиле оттуда поехать дальше к фронту, чтобы принести весть о соглашении.

В Смольном было оживленно, несмотря на поздний час. Все три этажа были освещены. В дверях я встретился с моим старым знакомым Бонч-Бруевичем, бывшим толстовцем, недавно перешедшим к большевикам. Зная, что я про-

тивник большевиков, он последнее время избегал встреч со мною. Он очень удивился, увидя меня в такой поздний час в Смольном, но удивление его выразилось лишь во взгляде. Когда солдат, стоявший на посту, остановил нас, требуя „пропуск", Бонч-Бруевич быстро подошел к нему и приказал строго:

— Пропусти их! Пропусти их!

И он повел нас мимо всех расставленных постов. Он спросил нас, куда мы хотим? Мы сообщили ему цель нашего визита, и он повел нас к штабу, заметив:

— Мне кажется, что там теперь нет никого, кто мог бы вам выдать разрешение.

Бонч-Бруевич привел нас в третий этаж, указав, куда войти.

Мы вошли в огромную, ярко освещенную залу, где несколько барышень работало на пишущих машинах. Кроме них никого не было. Пол весь был покрыт окурками, клочками бумаги и разорванными газетами. Очевидно было, что здесь недавно происходило многолюдное собрание. Из этой комнаты дверь вела в другую, куда мы и вошли. За длинным столом здесь сидело трое молодых людей в военной форме. На столе стоял жестяной чайник, несколько стаканов, наполненных окурками папирос, валялись ломти черного хлеба. К стене был приделан полевой телефон.

— Нам нужно видеть начальника штаба,— сказал я. Один из молодых людей смерил меня самоуверенным взглядом с головы до ног:

— Зачем он вам нужен?

Я рассказал ему, в чем дело. Он слушал полуравнодушно, полуиронически.

— Главноначальствующий отсутствует. Я замещаю его. После паузы он прибавил:

— Я не могу разрешить вам ехать на фронт.

Я стал ему разъяснять всю важность немедленного прекращения кровопролития. Юноша развалился в кресле, смотрел на меня с глубоким презрением и проговорил спокойно и самоуверенно:

— Вам уже незачем ехать на фронт... И уже поздно входить в какие-либо соглашения с контр-революционерами...

— Почему?

— Потому, что банда Керенского разбита на голову. Казаки сдались, а сам Керенский окружен. В настоящий момент он наверное взят в плен и через несколько часов его привезут сюда. Вы, как видите, несколько опоздали с вашим соглашением.

Мы с товарищем попытались убедить молодого человека в том, что мы должны выполнить возложенную на нас задачу, независимо от положения дел на фронте, что это положение не может отменять решений, официально принятых на совещании всех партий. Но он нас даже и слушать не хотел, и мы вышли из Смольного института в очень тяжелом настроении духа.

Утром подтвердилось известие о поражении армии Керенского. Керенский располагал всего-навсего 600 казаками, дравшимися без особого воодушевления, в конце концов, не только капитулировавшими, но также и решившими выдать Керенского. В последнюю минуту Керенскому, однако, удалось спастись из рук своих казаков.

Дума не верила в окончательное поражение Керенского. На бурном думском заседании городской голова Г. Шрейдер кричал об измене со стороны „Викжеля", военной хитрости большевиков, спрятавшихся за спиною междупартийного совещания с единственной целью выиграть время.

Несколько дней спустя стали известны подробности поведения казацкого генерала Краснова.

Делегация матросов с Дыбенко во главе вошла в переговоры с казаками, решившими с согласия своего начальника генерала Краснова предать Керенского большевикам. Это было 1 ноября.

„В час дня,— рассказывал — по газетным сообщениям — генерал Краснов, — мы вызвали к себе главнокомандующего (Керенского). Он был очень возбужден и нервен.

— Генерал, — сказал Керенский, — вы предали меня! Ваши казаки открыто заявляют, что они арестуют и выдадут меня матросам!

— Да, — отвечал я, — об этом говорят, и я знаю, что вы повсюду потеряли сочувствие.

— А офицеры того же мнения?

— Да, офицеры также недовольны вами.

— Что же мне делать? Мне остается покончить самоубийством!

— Если вы человек честный, то вы немедленно поедете в Петроград с белым флагом. Вы явитесь перед революционном комитетом и будете с ним вести переговоры, как представитель правительства.

— Да, я это сделаю, генерал!

— Я дам вам конвой и попрошу матроса сопровождать нас.

— Нет, только не матроса. Известно ли вам, что здесь находится Дыбенко?

— О Дыбенко не имею понятия.

— Это — мой враг!

— Что ж делать? Кто ведет крупную игру, должен уметь рисковать!

— Хорошо. Но я поеду ночью.

— Зачем? Еще скажут, что вы удираете. Поезжайте спокойно и открыто. Пусть все видят, что вы не убегаете!

— Хорошо. Дайте мне надежный конвой!

Я вызвал казака десятого Донского полка Русанова, приказав ему выбрать охрану для главнокомандующего. Через полчаса пришла ко мне охрана и заявила, что Керенского нет. Он бежал. Я приказал искать его. Искали в Гатчине и окрестностях, но нигде не нашли [1]).

Как и куда бежал Керенский, я не знаю. Он немедленно возобновил сношения с эсеровским Ц. К. и с организацией „Спасения Родины и Революции". Два месяца спустя, во время открытия Учредительного Собрания, он находился в Петрограде. Он страстно хотел присутствовать при открытии, но товарищи не допустили его.

Когда я на следующий день после визита в „Смольном" представлял думе отчет о результате моих переговоров и об ответе большевистского главного штаба, никто уже более не сомневался в том, что из междупартийного совещания с большевиками ничего не выйдет. Дума, однако, решила переговоров не прерывать. Заседание должно было произойти вечером. Я лично не верил в успешный результат совещания. К тому же я был чрезвычайно утомлен от бессонных ночей и сложил думские полномочия. Дума послала вместо меня гласного Пирского, эсэра.

В тот же день в „Смольном" состоялось заседание исполнительного комитета Совета раб. и солд. деп.

Делегат „Викжеля" Крушинский выступил с заявлением о необходимости немедленного соглашения всех социалистических партий с целью образования однородно-социалистического кабинета. Однако, главный интерес заседания заключался не в заявлении „Викжеля", а в прениях по поводу учреждения Временного Народного Совета.

Рязанов дал отчет о работах совещания. Он сообщил, что согласно решению совещания следует учредить временный народный совет в составе 100 членов центрального комитета, 75 делегатов совета крестьян, 100 представителей Петроградского и Московского городского самоуправления и нескольких делегатов всероссийских профессиональных союзов.

---

[1]) По содержанию это газетное сообщение совпадает с официальным показанием Краснова на допросе во время ареста. Несколько изменена лишь редакция. В частности, казак Русанов именуется в показании Русковым. Кроме того, согласно показанию Краснова, не он вызвал к себе Керенского, а, наоборот, Керенский его. *Ред.*

Несмотря на то, что Рязанов сам был делегатом совещания и вместе с Каменевым принял резолюцию, содержание которой было передано выше, он здесь, в Смольном, выступил с резкой критикой этой резолюции. Он находил, что Совет раб. и солд. деп. очень слабо представлен во Временном Народном Совете, и выражал уверенность, что центральный исполнительный комитет резолюцию не примет.

Камков, делегат левых эсэров, также утверждал, что совет рабочих и солдатских депутатов должен быть представлен 150 делегатами, что крестьянские советы должны получить гораздо большее количество мандатов, а органам городского самоуправления достаточно предоставить лишь 50 мест. Камков одновременно очень энергично защищал во имя спасения революции идею однородно-социалистического кабинета министров, выразив уверенность, что революция может быть спасена только сотрудничеством всех социалистических партий.

Затем выступил Володарский. Он заявил, что на этом заседании нет противников соглашения. Он должен однако признаться, что большевики ни при каких условиях не могут войти в соглашение и что они не намерены без борьбы отказаться от своей победы.

Большевики выдвинули лозунг: „Вся власть Советам!" и не пойдут ни на какие компромиссы. От имени большевиков Володарский далее высказался категорически против признания какого-либо другого высшего контрольного органа, кроме центрального исполнительного комитета.

От имени своей партии он выставил требования:

Декрет о земле не может быть отменен. Новое правительство должно немедленно подтвердить декрет о мире и о контроле над производством. Городские самоуправления устраняются из состава контрольного учреждения.

Короче, Володарский открыто и недвусмысленно заявил, что его партия отказывается от уступок, отвергает соглашение и принятые резолюции и согласна лишь на такое однородно-социалистическое правительство, которое признает авторитет Совета рабочих депутатов, как единственную власть в государстве.

Затем Володарский поставил свои требования в виде резолюции на голосование.

Центральный исполнительный комитет принял резолюцию Володарского большинством голосов.

После этого, разумеется, не могло быть и речи о соглашении, достигнутом на совещании, на которое возлагалось столько надежд. Соглашение распалось.

Когда слух об окончательном поражении и бегстве Керенского через два дня точно подтвердился, настроение

думы все-таки не очень изменилось. Почти все остались при своем старом оптимизме: большевистская власть, мол, не сумеет долго удержаться. Победила она в Петрограде, но еще остается Москва, ведущая героическую борьбу. Она вот-вот победит. Кроме того, и вся Россия против большевиков.

Еще во время переговоров с большевиками, городской голова Шрейдер телеграфно пригласил представителей демократических городских самоуправлений Петроградской и Московской губерний на съезд в Петроград. На съезд возлагались большие надежды. Однако, вследствие плохого действия телеграфа и еще худшего состояния железных дорог на съезд явилось всего 10 человек из окружных городков. Из Москвы приехал один делегат. Около двух дней просидели в думе, держали речи и разъехались, разумеется, без всякого результата.

Дума попрежнему осталась средоточием антибольшевистских элементов. Около двух недель большевики терпели ее, так как еще не могли обойтись без нее. Они пока что укрепляли свои позиции, очень хорошо понимая, что думу легко будет разогнать в любое время. Одновременно они начали понемногу притеснять ее, отобрали у городского головы автомобиль, официально потребовали невмешательства думы в государственные дела и издали затем приказ об аресте Шрейдера. Но привести приказ в исполнение большевикам не удалось. Шрейдер бежал.

Приблизительно через три недели после переворота появился официальный декрет о роспуске думы. Здание думы занято было матросами и солдатами, никого туда не впускавшими.

Городской голова и гласные, однако, не сдавались. В различных местах устраивались тайные заседания, происходившие в обычном порядке. Обсуждались всевозможные городские нужды, принимались резолюции, которые, конечно, не приводились в исполнение. Вся надежда оставалась на обструкцию и саботаж городских служащих и интеллигенции вообще. А настроение думы, даже при этих условиях, оставалось все-таки оптимистическим настолько, что целые заседания посвящались обсуждению вопроса об учреждении нового правительства: все были убеждены, что через несколько дней большевики падут.

Наконец, когда несколько раз под ряд гласные едва не были арестованы, заседания прекратились.

Единственной надеждой оставался созыв Учредительного Собрания.

А. ДЕМЬЯНОВ.

Записки о подпольном Временном Правительстве [1]).

История существования подпольного Временного Правительства обнимает собою время приблизительно около месяца. История этих дней по-своему характерна: в этот короткий промежуток времени не случилось никаких особых событий, которые явились бы результатом действий или существования подпольного правительства; но происходили события, вне правительства стоявшие. К этим событиям Временное Правительство проявляло свое отношение, которое и является показательным.

Для меня было ясно, что все лица из состава подпольного Временного Правительства были люди честные, одушевленные самыми лучшими намерениями, хорошо настроенные и, по-своему, умные, то-есть такие, которые все свои действия, все свои стремления основывали на том или ином понимании общего блага. Эгоистических стремлений никто между ними не преследовал. Но все же эти „призванные" ничего не сделали, и не потому, что им это не удалось, а потому, что в этом отношении они оказались неспособными. Почему?! Только потому, что это были все люди, удел которых был критиковать и писать свои критики, а не действовать. Действенных между ними не оказалось. Они, если можно так выразиться, не обладали надлежащим духом сопротивляемости, были людьми не волевыми, и как последствие всего этого, были очень скоро побеждены, ибо борьба была неравная.

Все министры, заседавшие в Зимнем дворце, были арестованы, за исключением А. Ф. Керенского, которому судьба помогла избежать ареста, и С. Н. Прокоповича. Торжество большевиков было, однако, не полным. Никто их торжеству всерьез не верил, да и сами большевики не были уверены, что властью они завладели по-настоящему [2]). Это сказывалось между прочим в том, что на ту отрасль правления, которая выражалась в государственной деятельности министерств, они в первое время почти совсем не обращали внимания. Прошло достаточно времени, пока, например, в министерство юстиции не явился большевист-

[1]) „Архив Русской Революции," т. VII. Берлин, 1922.

[2]) Это по меньшей мере „и суеличено". Конечно, овладение аппаратом власти еще не было закончено. Но в прочности сделанных завоеваний большевики были в достаточной степени уверены. *Ред*

ский комиссар, а заявившись, вновь не стушевался. То же было и в других министерствах.

В дни перехода власти к большевикам жизнь в министерствах шла своим чередом, хотя и замерла. Министерства, как учреждения, продолжали существовать, а вместе с ними продолжали существовать и чиновники. Естественно, перед последними немедленно и остро встал вопрос об отношении их к новой большевистской власти. В каждом министерстве самостоятельно возник такой вопрос. Чиновники стали собираться в кружки, обсуждать создавшееся положение. Они выделили из себя особые комитеты для выработки общих директив, как вести себя с большевистским начальством. Комитеты отдельных министерств снеслись между собою, и в конце концов создался единый центральный орган, руководивший деятельностью чиновников в этом отношении. Этот центральный комитет объединил в себе почти все ведомства, он действовал почти открыто. В секрете не могли держаться его заседания, и большевики отлично знали о его существовании. Но до поры, до времени смотрели на это сквозь пальцы. Все прежнее главное министерское начальство, которое перестало посещать министерства, имело с комитетом ближайшие и постоянные сношения. Чиновники решили применить на службе саботаж; и это было проведено ими умно, то-есть так, чтобы не вредить насущным интересам родины. Чиновники решили, например, что министерство продовольствия, на котором лежала обязанность снабжать армию продовольствием, должно продолжать свою работу; то же было решено и в отношение отдельных частей министерства военного, путей сообщения и проч. Этот саботаж чиновников на первое время много крови испортил большевистским комиссарам. Но, конечно, долго чиновники продержаться не могли. И это само собою понятно — жили они на жалование, а не на скопленные капиталы [1]).

В последний период существования Временного Правительства я состоял председателем малого совета министров. Естественно, что когда члены Временного Правительства — министры были большевиками арестованы, малый совет министров сделался единственным представителем законной российской власти, хотя и низвергнутой. В качестве председателя малого совета я пригласил к себе на частную квартиру всех товарищей министров всех министерств для обсуждения политического положения. Это было в ближай-

[1]) На самом деле, однако, не единым жалованьем был жив чиновник-саботажник, но и щедротами иностранных посольств, русской буржуазии и, как увидим дальше, фальшивохопетными операциями подпольного „правительства". *Ред.*

шие дни после ареста министров. С этого дня заседания совета министров, сначала в составе одних товарищей министров, а затем тех же товарищей министров и министров, выпущенных большевиками из Петропавловской крепости на волю, происходили у меня на квартире ежедневно с 1 часа дня до 4-х часов, квартире — по Бассейной улице, по которой шло все движение из центральных частей города к Смольному монастырю, где находилась штаб-квартира большевиков. Но большевики, как я сказал, не проявляли особой заботливости к тому, что делала старая власть. Большевики не интересовались тогда овладением всем аппаратом власти. Их задача в то время была одна — окончательно развалить власть. Такова была их прямая цель [1]). Собирались члены совета, не соблюдая строгой тайны, но, конечно, и не болтая об этом. Продолжались эти заседания у меня на квартире довольно долго, пока из предосторожности не решили переменить место заседаний совета, чтобы кто-либо из посторонних не приметил ежедневного сборища определенных лиц и все в одной и той же квартире. Стали заседать в доме гр. Паниной по Сергиевской улице. И никто в продолжении месяца не потревожил этих заседаний.

Но, боже мой, что это были за заседания, в особенности вначале! Они были сравнительно многолюдны, хотя не все товарищи министров их посещали. Приходило все же, как мне помнится, в первое время не менее 15 человек. Я и теперь не могу вспоминать хладнокровно эти сборища: они показали, как неудачно были приглашаемы некоторые лица на высшие правительственные, административные должности. Многих товарищей министров я знал по малому совету министров, встречал их и в совете министров, когда их брали с собой на заседания совета их министры. В совете они вели себя очень скромно и рта там зря не открывали. А тут некоторых из них, как будто, прорвало. Стали говорить бесконечные речи и буквально митингового характера. Помню такой случай: я заявил собравшимся товарищам министров, что просил зайти в совет и принять участие в обсуждении вопроса, имевшего широкое общественное значение, при условии, конечно, что совет найдет это нужным, Авксентьева, Гоца и какое-то еще третье лицо и тоже, к несчастию, эсера. При приглашении их я преследовал следующую цель. В то время в Петербурге образовался Комитет спасения родины и революции. Эта общественная организация сама по себе не имела никакой

[1]) Автор немного путает. Разрушение старого государственного аппарата нисколько не исключает возможности и необходимости овладения властью. Большевики одновременно делали и то и другое. *Ред.*

силы, ибо ей не было на кого опереться, не было другой силы, которая могла бы ее поддержать. Она действовала открыто против большевиков и, следовательно, имела моральный вес и в этом отношении весьма значительный. Председателем этого Комитета был Гоц. Авксентьев был председателем разогнанного большевиками предпарламента или „Совета Республики". Следовательно, тоже был политической фигурой. Мне казалось нужным объединить все три организации, как выразительниц русской общественности, т.-е. совет министров, комитет спасения родины и революции и Совет Республики, и я считал, что это об'единение должно произойти около Временного Правительства. Вот почему я пригласил на заседание совета министров указанных лиц. Кроме того, был мною приглашен туда и бывший министр Н. В. Некрасов. Был на заседании один раз и В. Д. Набоков. Авксентьев обещал притти, однако не пришел. Гоц, как я узнал потом, даже и не обещал притти; вероятно, счел это излишним. Я нисколько не удивлюсь, если и Авксентьев, и Гоц нашли предложение поддержать Временное Правительство в эту критическую минуту ничего нестоящей затеей.

Когда я сообщил в совете о сделанном мною шаге, товарищ министра труда Колокольников прочитал длиннейшую речь на тему, что я не имел права, без прямого поручения совета, самостоятельно кого-либо приглашать на заседание совета, что я поступил тем более неправильно, что в ущерб партии социал-демократов (слава богу — „меньшевиков") пригласил на заседание только одних эсеров. Не понял тогда человек, что железо куют, пока оно горячо, что никто не обязывал совет министров выслушивать того, кого он слушать не хотел, и что глупо говорить о партийных интересах там, где вопросы партийные вовсе не были затронуты. Колокольников в своем выступлении успеха не имел. Другой случай был такой. Заговорили о Б. В. Савинкове (кажется в том же заседании) и о том, что было бы полезным его участие в работах совета. О Савинкове речь зашла вот почему. Он был причислен к донской казачьей части, кажется, ради почета [1]). В Петербурге в дни борьбы Временного Правительства с большевиками верными правительству были только юнкера. Казаки были в колеблющемся состоянии. Они колебались даже тогда, когда к Петербургу подступали Керенский и ген. Краснов. Какой-то их штаб заседал на Знаменской ул. в д. Павловского института. Я однажды туда отправился для переговоров с казаками, мне сказали, что пройти к казакам можно,

[1]) Он был членом „Совета Союза Казачьих войск". *Ред*

и говорить с ними безопасно. Но в воротах меня остановили, и, стоявший на страже казак объяснил мне, что положение казаков не твердо и что итти к ним опасно.

Савинкова в то время, насколько я помню, не было в Петербурге. Упоминание о Савинкове опять возбудило прения. Опять длиннейшее возражение такого же митингового характера со стороны товарища министра труда, молодого Дюбуа, кажется, он был до службы в министерстве даже не присяжным поверенным, а помощником присяжного поверенного. Дюбуа закончил свою речь призывом — „имя Савинкова в заседании совета никогда не произносить как одиозное". А одиозное оно было для одного только Дюбуа, который считал, что Савинков не выдерживает строго в своем политическом поведении социалистической линии. Г. Дюбуа и Колокольников вскоре перестали посещать заседания совета. Нужно заметить, что кратко никто не любил говорить в совете, а говорили, между прочим, все. Это было тем более удивительно, что, казалось, особых тем для прений вовсе не было. Любил говорить появившийся впоследствии в совете К. А. Гвоздев и злоупотреблял своим правом. Чистое несчастье, если человек неглупый обладает некоторым умением говорить и сознает, что прямой глупости никогда не скажет. В первые дни заседаний совета допекал словом заседавших в совете товарищ министра торговли и промышленности, милейший Масальский. Он поставил себе целью убедить совет,— а доказывал он это под ряд в продолжение нескольких заседаний,— что „так как мы — малый совет, то и не вправе решать спорных и принципиального характера вопросов, что это — прерогатива совета министров, и что никто не может иметь больше прав, чем по статуту ему полагается". Я поставил, чтобы прекратить окончательно такого рода выступления Масальского, на баллотировку вопрос, ясный и без того, признает ли себя совещание товарищей министров — малым советом министров, или советом, в котором заседают товарищи министров, в качестве управляющих министерствами за отсутствием министров. Так и решили; иначе, впрочем, не имело решительно никакого смысла собираться на заседания совета.

Вообще, бесполезных разговоров в совете было множество и тогда, когда в совете стали участвовать сами министры.

Само собою разумеется, что занятия в совете не были систематичны, и они на первое время не требовали по существу своему, чтобы о них составлялись какие-либо журналы. Но были и такого рода постановления, как, например, постановление о выпуске новых денежных знаков, которые требовали зафиксирования их в письменную

форму. Посему стала необходима в иных случаях и канцелярская работа. В этом совету помогали бывшие служащие старого совета министров. Однажды я встретил на улице нескольких чиновников совета. Поздоровались очень дружелюбно. Я им рассказал, что у меня инкогнито собирается совет министров. Они тотчас же предложили свои услуги в работах совета и сказали за себя и за отсутствующих, что с величайшей охотой станут посещать эти собрания. Услугами их я воспользовался.

Одним из первых вопросов в совете был вопрос об отношении чинов министерств к новому большевистскому начальству. В заседание совета явились депутаты от комитета чиновников, которые доложили свою программу действий. Она была одобрена (о ней сказано выше). Первый месяц чиновникам сравнительно легко было проводить свой саботаж, так как появление большевиков совпало с моментом, когда чиновники только-что получили свое жалование. Острый момент в продолжение начатого ими саботажа наступал впоследствии, во втором месяце. Как я уже упомянул, главные чины министерств решили не посещать министерств, чтобы не входить в сношения с большевиками, хотя, конечно, в иных случаях проведение этого принципа во всей строгости было крайне затруднительно. Было решено большевикам не давать ключей ни от дел, ни от денежных ящиков. Кажется, кое-где из-за этого шкапы и столы были большевиками взломаны; в некоторых же случаях, как это было в министерстве иностранных дел, ключи были выданы, когда за ними пришли в квартиру товарища министра А. А. Нератова. Министерства продовольствия, путей сообщения должны были продолжать свои занятия, хотя и не во всех своих департаментах. Военное министерство во всех этих вопросах стояло совершенно особняком. От военного министерства в качестве представителя на одно из первых заседаний совета пришел какой-то генерал (фамилии его не помню), вероятно, alter ego [1]) Маниковского, который все заседание сурово промолчал. В военном министерстве, вероятно, было решено затем на заседания совета больше никому не являться. Сношения с советом продолжались вне заседаний совета. Следует заметить, что к описываемому мною моменту в Петербурге, как мне помнится, главные военные посты занимали лица старорежимные и, следовательно, несколько враждебные новым влияниям, то-есть далекие Временному Правительству. А ставленники последних, большею частью не заслуживавшие доверия, куда-то

[1]) Двойник, заместитель. *Ред.*

скрылись или не находились на месте. В совете было все же известно по сообщению военного ведомства, что министерство не прекращает своей работы, так как армия без нее обойтись не может, даже такая армия, которая покидает фронт, так как прекращение забот о солдате грозит неисчислимыми бедствиями не только самим солдатам, но и мирному населению тех местностей, где проходит этот уже недисциплинированный солдат.

Военное министерство нуждалось тогда в средствах. Для нужд армии необходим был новый выпуск бумажных денег. К удивлению, случилось так, что старая власть в лице подпольного совета министров имела еще возможность распорядиться эмиссией денежных знаков, чем она тогда и воспользовалась. Эмиссия была проведена, и проведена без ведома большевиков. Министерством финансов в то время заведывал товарищ министра финансов Фридман, очень толковый, но и очень осторожный человек. Последняя его черта мешала иногда там, где нужна была смелость или даже дерзость. Но дерзких в смысле храбрости между нами никого не было. Ведь только подумать, каким еще мощным средством для борьбы с большевиками обладало Временное Правительство, владея деньгами! И этим средством оно не только не воспользовалось, но даже, казалось, и не хотело сделать этого.

Первые заседания совета министров происходили в то время, когда Москва была в состоянии войны с большевиками [1]). Нечего и говорить, как мы следили за исходом этой борьбы в Петербурге. С. Н. Прокопович, единственный тогда министр на свободе, находился в Москве. Решено было снестись с ним и устроить в Москве при нем нечто вроде филиального отделения правительства, а при удаче борьбы с большевиками перевести в Москву и все правительство. На первое время было решено, чтобы от каждого министерства в Москве находился один из товарищей министров. Кто тогда поехал из товарищей министров в Москву, я не помню. Но от министерства юстиции этим лицом был Г. Д. Скарятин. Г. Д. Скарятину пришлось жить в Москве в доме, расположенном почти на линии, разделявшей кремлевцев от большевиков, в сфере влияния большевиков. Группы последних неоднократно врывались в квартиру Скарятина и проверяли, конечно, угрожая при этом, не давалась ли какая сигнализация оттуда кремлевцам.

С. Н. Прокопович приехал в Петербург вместе с товарищами министров, которые ездили в Москву. С появлением

---

[1]) Воевала, разумеется, не «Москва», а всего-навсего лишь московская буржуазия в лице своих детей: юнкеров и офицеров. *Ред.*

его в совете, к нему перешло и председательствование в нем. Я продолжал иметь голос в совете, так как Малянтович еще сидел в Петропавловской крепости. Вскоре в совете появился и последний. Прокопович сразу взял „твердый курс". Он заявил, что так как он — единственный министр из всего совета министров, оставшийся на воле, то и возьмет все бразды правления в свои руки; „будет и здавать,— как он выразился,— приказы". Такое заявление не имело в существе своем юридического обоснования, ибо ровно ничего не обозначало — взять на себя одного все управление или издавать какие-то приказы, не установив ни порядка издания их, ни определяя заранее их силы. Ни один в этом отношении старый закон не отменялся. Но на это никто тогда не хотел обращать внимания, и поступили правильно. Самый факт такого заявления носил характер, который всем пришелся по душе. Показалось — явился наконец человек, по праву занявший первое место в совете и стремившийся к твердому проявлению власти. Минута была действительно такая, где решительность имела первостепенное значение, и это всеми чувствовалось.

К несчастью, слова Прокоповича оказались только звуками, потрясшими воздух.

Вскоре появились в совете выпущенные большевиками из Петропавловской крепости министры-социалисты — Никитин, Гвоздев, Маслов, Ливеровский. Во время их прихода председательствовал в совете, не помню по какой причине, я. Министры познакомили собрание с тем, как происходило их освобождение из крепости. Рассказ был невеселый. Обер-прокурору Синода Карташеву, Бернадскому и москвичу Смирнову тоже обещали освобождение, но при условии, чтобы они о том подали прошение. Подать прошение они отказались, и их оставили в тюрьме. Просидели они затем довольно долго и были выпущены уже после разгона большевиками Учредительного Собрания. Конечно, выпущенных из крепости министров-социалистов угнетала мысль о том, что они получили свободу по какому то привилегированному своему партийному положению. Особенно сильно сказывалось это на министре внутренних дел Никитине. Я не знаю, потребовали ли большевики от министров, когда давали им свободу, обещания политикой больше не заниматься, или нет. Какая-то игра с их стороны в этом отношении была. В памяти у меня сохранилось такое впечатление (может быть, ошибочное), что от министра путей сообщения Ливеровского такое обещание было взято. Помню, что после

первых посещений заседаний совета, Ливеровский затем прекратил свое хождение в совет. До выхода своего из крепости министр Гвоздев посетил там, с разрешения большевиков, М. И. Терещенко. Повидимому, освобождаемым надо было знать, как отнесутся их товарищи к выходу их из заключения. Министры-кадеты, естественно, сказали, что их заключение в тюрьме не должно служить препятствием к выходу из тюрьмы остальных. Все это было вполне естественно, но от этого настроение вышедших не делалось легче. Результатом всего этого было то, что Никитин заявил в совете, что факт задержания министров-кадет в крепости нетерпим, что нужно принять все меры воздействия на большевиков, чтобы последних освободили. Никитин предложил тогда же, чтобы освобожденные от заключения министры отправились в Смольный монастырь и заявили требование большевикам, чтобы все арестованные были освобождены или чтобы вновь засадили в тюрьму освобожденных. Предложение это по существу было вредным, да и запоздалым. Если была необходима антибольшевистская демонстрация,— а она могла бы быть очень полезной для создания общественного настроения,— то надо было поступить так, как поступил Карташев и другие, или уж примириться с совершившимся фактом и нести все его последствия, то-есть некоторый стыд совершенного. А вредно такое предложение было тем, что без практической надобности разрушало совет министров, а кроме того самый факт хождения к большевикам явился бы признанием их силы. Удалось, хотя и не без труда, уговорить Никитина не делать бесполезного шага.

Министр юстиции П. Н. Малянтович был выпущен из тюрьмы через несколько дней после выпуска первых. О том, что он на свободе, я узнал от прис. пов. С. Е. Кальмановича, у которого Малянтович остановился. Малянтович просил меня посетить его. Повидимому, Малянтович не знал еще о том, что мы собираемся.

Я не узнал Малянтовича, когда увидел его. Он был всегда очень деятельным, живым, а тут я встретил человека, как-то особенно настороженного. Он потерял себя не внешне, а внутренне. Он уверял: бесполезно бороться с большевиками, с ними не справиться. Это было его основной точкой зрения. И это было, пожалуй,— даже не его настроением, а новым, вынесенным из заточения, его мировоззрением. И это-то свое мировоззрение Малянтович стал внедрять в других. Это было — не апатия, а нечто деятельное с его стороны и весьма вредное в общественном смысле. Когда Малянтович стал являться в совет, я, как товарищ министра, стал на второй план, то-есть пе-

рестал голосовать при принятии решений, предоставив это право Малянтовичу. Кажется, не было вопроса, в котором наши мнения сходились бы. Все сколько-нибудь решительное, все сколько-нибудь действенное находило в нем себе противника. Я был всем происходившим в совете не только угнетен, но ощущал в себе иногда чувство гнева.

К этому периоду относятся мои сношения с первоприсутствующим сенатором первого департамента правительствующего сената Врасским по вопросу о формальном непризнании сенатом большевистской власти, как таковой. С сенатом дело прошло гладко. Единственно чего сенаторы боялись — это выхода при обсуждении вопроса и рамок законности и перехода в политическую демонстрацию. Обошлись без демонстрации, а большевикам показали свое место. Эти мои переговоры происходили при ближайшем участии обер-прокурора первого департамента Старицкого, который всецело стоял за поддержание Временного Правительства.

С. Н. Прокопович был признан председателем совета министров. Кажется, не было даже избрания его. Формально председателем числился А. Ф. Керенский, находившийся где-то по близости от Петербурга. С ним удалось снестись. Кажется, сделал это Никитин. Популярность и авторитет Керенского после неудачи его наступления на Петербург катастрофически падали. Керенский сам, повидимому, это сознавал и, не желая мешать деятельности подпольного правительства, послал ему свой отказ от звания председателя совета. Это известие было принято советом с чувством заметного удовлетворения. Однако, в то время среди членов совета еще не замечалось того отрицательного отношения к имени Керенского, которое стало считаться впоследствии ярлыком или показателем здравого понимания политики России. Тем не менее, отказ Керенского породил через некоторое время недоразумения в совете. Совет понял, что Керенский окончательно вышел из состава правительства; в таком направлении было истолковано всеми членами совета его письменное извещение об отказе от звания председателя совета, а Керенский, как это выяснилось потом, продолжал себя считать членом правительства, хотя и не председателем совета. Не помню по какому случаю, но такое свое отношение к правительству Керенский выразил в том, что post factum [1]) подтвердил от себя какой-то правительственный акт, принятый подпольным правитель-

[1]) Задним числом. *Ред.*

ством. Но этим все дело и ограничилось. Фактически никакого своего участия в отправлении власти Керенский проявить не мог.

Много времени занял в совете вопрос о том, проявить ли себя правительству в Петербурге, или же продолжать действовать подпольно. Всем было ясно, что сама по себе подпольная власть не есть уже власть, что это какая-то логическая бессмыслица. Поэтому многие члены Совета говорили: „надо заявить о себе". Так как в то время сенат, как учреждение, не был ликвидирован большевиками, то кто-то предложил перенести заседания совета туда и сделать их, следовательно, открытыми. Это было, конечно, очень наивно. Однако, предложение было встречено некоторыми с одобрением. Лично я не понимал, чего можно было достичь переходом совета в сенат. Для меня переход совета в сенат казался простым извещением Смольного, что Временное Правительство все еще существует. Власть не сделается властью, если она только перейдет из частной квартиры в казенную, или из подполья выйдет на белый свет. Задача совета была — быть до поры до времени носителем государственной власти; он должен заявить о себе, но в месте, где он может действовать именно как власть. Для этого он должен был создать соответствующую для себя обстановку и прежде всего создать около себя физическую силу и защиту. А заявить о себе в той форме, как это предложили, было лишь поводом для большевиков еще раз разогнать совет министров, да еще насмеяться над ними, арестовать министров уже как явных мятежников, и больше ничего. Предложение провалилось. Но, конечно, вопрос этот заглохнуть не мог и вскоре он был вновь поднят.

Однажды в совет пришел один из видных служащих в военном ведомстве, из действовавших на фронте, и объяснил, что Временное Правительство имеет полную возможность сноситься с тогдашним верховным главнокомандующим ген. Духониным телеграфно по прямому проводу. Было известно, что ген. Духонин сочувственно относился к идее признания Временного Правительства, как власти несмещенной. Надо было дать знать Духонину, что эта власть существует и что она от борьбы с большевиками не отказывается, что в его помощи нуждаются, и далее, что он должен, насколько возможно, держаться против большевиков. Мне было поручено с видным чиновником военного ведомства составить текст телеграммы и снестись уже помимо совета с ген. Духониным. Эта телеграмма за моею

подписью и была отправлена по назначению. Подлинная телеграмма теперь у меня не сохранилась. Помню, что телеграмма была очень длинной. Осталось у меня еще следующее впечатление от тех времен. Сношению моему с генералом Духониным большинство совета не придавало значения. Было такое отношение — „отчего же и не попробовать снестись". Это начало сношений с Духониным прекратилось смертью Духонина, убитого большевиками [1]), когда он говорил речь солдатам с площадки вагона.

Почему именно мне тогда было поручено снестись с ген. Духониным, а не кому другому? К этому времени еще до появления в совете чиновника военного министерства относится мое предложение, чтобы совет „объявил себя", переехав в ставку к Духонину, под защиту его и его войска, в котором большевики фактически еще не доминировали. Вопрос не был решен сразу; пришлось посвятить ему не одно заседание. С этим вопросом как-то, по русскому выражению, „мямлили". За мое предложение вполне определенно высказался только один член совета. В ближайшем же заседании совета, когда меня в совете не было (я исполнял какое-то поручение совета), мое предложение было отвергнуто, притом с мотивировкой. Совет подыскал мотивы для оправдания своей боязни „действовать". Было признано, что положение совета в ставке будет крайне трудным, так как при армии в то время уже были организованы различные военные революционные организации, комитеты и проч., которые могут, якобы, своим влиянием давить на волю и совесть членов совета. Из сказанного усматривается, что у совета все же не было боязни, что войска или революционные военные организации пойдут против правительства. Боялись одного — „будут давить". А, в самом деле, как можно давить на свободную волю членов совета, если они ее будут иметь! Необходима была в данном случае только самая обыкновенная воля, понимание и... совесть! Не вышло бы дело на фронте, пришлось бы уехать или стушеваться. Может быть, пришлось бы претерпеть! Но к чести членов совета надо сказать, что вопрос о риске ни у кого не возникал, и не потому, что они его замалчивали. Члены совета и раньше рисковали, собираясь на совещания, рисковали тем, что, так или иначе, боролись с большевиками; рисковали, наконец, когда думали заседать открыто в сенате. Конечно, есть риск и риск. Один носит идею

[1]) В действительности Духонин был убит не большевиками, а возмущенной его поведением толпой солдат, несмотря на все усилия большевика Крыленко не допустить самосуда. *Ред.*

самопожертвования, нечто вроде самосожжения, а другой — то, что я неоднократно называл, — идею действенности. Последнее не было уделом членов совета. У членов совета была чисто русская психика интеллигенции, психика кабинетных людей. Они останавливались каждый раз, как только нужно было идею претворять в действие. Указанное мотивированное заключение сопровождалось, однако, предложением мне и Никитину ехать в ставку к Духонину в качестве представителей от правительства. Я категорически отклонил это предложение, тоже с мотивировкой: ставка отрезана от совета, что я в таком случае могу там делать? Однако, я оговорился, что если бы совет дал мне право действовать его именем во всех случаях, когда я это найду нужным, то тогда я готов ехать. „Но ведь я такого представительства от вас не получу?". На этом вопрос и кончился; я даже не помню, получил ли я какой-либо ответ на мое заявление или нет. Вслед за этим, хотя, может быть, и не в том же заседании, я сделал другое предложение. Я сказал: „Ставка Духонина отвергнута. Что же остается делать? К кому ехать? Имеется еще одно лицо, имя которого у всех на устах, но которого назвать никто не хочет, боясь обвинения в контр-революционности, однако, это — единственное лицо, у которого правительство может искать защиты и опоры. Я говорю о генерале Каледине". Мои слова не вызвали ни замечания ни реплики. Все промолчали. Только С. Н. Прокопович, как-то в сторону, мельком, пустил фразу, что имеется у правительства еще преданный ему генерал Дутов. А мои слова по существу своему были вызывающими, даже дерзкими. Но и дерзость моя оказалась напрасной. У меня тогда же создалось убеждение, что подвинуть этих неподвижных, книжных людей на дело ничем нельзя, что единственный способ достичь какого либо успеха — посадить их на готовое уже место. Я решил тогда, про себя, лично отправиться на Дон и там выяснить вопрос о согласии Дона и всего казачества признать и поддержать Временное Правительство, как всероссийскую власть.

Население Петербурга в лице его интеллигенции не мирилось с торжеством большевиков. Около городской думы, как я упомянул, организовался комитет спасения родины и революции, в состав которого вошли много городских гласных, некоторые литераторы, общественные и политические деятели и представители тех политических партий, которые не признавали большевиков. Иначе говоря, в комитете отсутствовали из политических партий только

представители левых эсеров. Большое участие в делах этого комитета принимал, повидимому, городской голова Шрейдер. По крайней мере в его кабинете в здании городской думы постоянно заседали представители этого комитета или самый кабинет (не помню его организации). В числе гласных, вошедших в комитет, были некоторые товарищи министров, посещавших совет, в числе их графиня Панина [1]), В. Я. Гуревич; кажется, были еще и другие. Комитет этот, как выразитель общественного мнения г. Петербурга, играл в нем значительную роль. К его голосу прислушивались; на него надеялись, что он что-то сделает. Этот комитет, несмотря на то, что в составе его имелись члены совета министров, однако, ничего не знал о существовании правительства, хотя и подпольного. Этому незнанию можно было только удивляться. Это показывало, что те члены совета, которые вошли в комитет, очевидно, не придавали значения тому, что делалось в самом совете министров. Иначе трудно было объяснить себе такое явление. Для меня было непостижимо, как товарищи министров, заседавшие в совете и комитете, не сумели (ведь нельзя же предположить, что они этого не хотели) дойти до мысли, что работа обоих учреждений, хотя бы и параллельная, должна быть координирована. Для меня ясно было, что комитет по своему изолированному положению в России сделать сам ничего не сможет, ибо какое мог иметь значение „Петербургский" комитет для Москвы или для других городов России и, наконец, для всей России? А между тем, как общественная организация, как моральная сила, ставшая на сторону Временного Правительства, комитет в деле борьбы с большевиками мог оказать правительству помощь весьма даже существенную. Между прочим, одним из влиятельных членов комитета был бывший член первой Государственной Думы и игравший очень заметную роль в трудовой народно-социалистической партии прис. повер. Брамсон. Брамсон — человек, который в основу политической деятельности всегда ставит честное отношение к делу. Он — не любитель компромиссов, слово „мораль" для него не пустой звук. Я стал видеться с Брамсоном чуть не ежедневно, по утрам, беседовал с ним и обсуждал вопрос о взаимных отношениях означенных двух учреждений. Мысль моя была та же, которую я уже и раньше высказывал относительно Совета рабочих депутатов. Комитет не может действовать на всю Россию, он только для Петер-

[1]) Весьма известная „общественная деятельница". Один из лидеров кадетской партии.

бурга; нужна же власть всероссийская; таковая имелась в лице Временного Правительства, которое вовсе не умерло и которое действует. Я скрыл от Брамсона, что в распоряжении совета министров находится еще государственный фонд. „Надо признать Временное Правительство". Брамсон вполне разделил мою точку зрения. К той же точке зрения на значение Временного Правительства пришли и другие члены комитета. Когда признание Временного Правительства состоялось (об этом там даже и не спорили), я доложил об этом в совете. Решено было пригласить делегатов комитета в заседание совета и обменяться мнениями по поводу политического момента. Заседание это и знакомство членов совета и комитета друг с другом состоялось в квартире гр. Паниной; но все подробности беседы их между собою у меня улетучились из памяти. Знаю наверное только то, что денежного вопроса в заседании совета не подымалось. У меня лишь сохранилось впечатление от этой беседы не в пользу совета. Мне очень не нравилось то, что члены совета говорили с представителями комитета как-то свысока, то-есть как люди больше понимающие в политике, чем их собеседники. А было как раз наоборот. Всякие разногласия, какие возникали между советом и комитетом, члены комитета старались по возможности сгладить. Они шли на все уступки, добиваясь — итти вместе. Для дальнейших сношений с комитетом совет избрал меня и Никитина.

Совместные заседания в городской думе мои с Никитиным и членами комитета были иной раз в достаточной мере интересны. В них участвовал в качестве представителя от социал-демократов-меньшевиков Дан (Гурвич) — соглашатель. Его роль и в Совете Республики была такой же и столь же противной. Дан стоял за возможность общих действий с большевиками, каковую политику он проводил в предпарламенте. Тут он настойчиво продолжал отстаивать свою точку зрения.

Для меня его фигура была отвратительной. Я его считал нечестным политическим деятелем. Для меня не было разницы между Даном меньшевиком и Даном большевиком. Повидимому, и Брамсон относился к Дану крайне отрицательно. У них произошла какая-то стычка в заседании. Брамсон выразился о взглядах Дана, как о безнравственных, хотя этого слова и не произносил. Это, конечно, Дану не могло понравиться.

Посетил как-то заседание совета министров и бывший министр внутренних дел, пользовавшийся моей большой

симпатией и уважением, — Г. Церетели. Был ли он тогда в совете один или с другими лицами, я не помню. Если бы мне сказали, что он был вместе с членами комитета спасения родины и революции, я бы не стал спорить. С. Н. Прокопович очень любезно его принял. Очевидно, он высоко ценил Церетели как политика и, конечно, как видного социал-демократа. Он спрашивал о его политическом прогнозе. Церетели весьма, как мне помнится, мрачно высказался по поводу ближайшего будущего России.

У комитета спасения родины революции не было абсолютно никаких средств на ведение какой бы то ни было борьбы с большевиками. Слабость комитета была очевидной, и это вполне явствовало из того, что большевики весьма мало обращали на него внимания. Такое же отношение их было и к министрам свергнутого ими правительства. В сущности, большевики не могли не предполагать, что делают же что-нибудь находящиеся на свободе министры и их товарищи. Они остро чувствовали на себе саботаж чиновников в министерствах. Дела в министерствах у них не ладились. Наконец, открыто действовал комитет спасения родины и революции. Но, повторяю, они на это не обращали пока внимания; они просто его не боялись. Но и самим им еще не пришло время развернуться. Сами они держались только тем, что их поддерживал распропагандированный ими солдат. Главари большевиков сидели в Смольном, как в бесте, или как в защищенной цитадели. Особенно сильно большевикам беспокоиться, впрочем, не приходилось. На их стороне была воинская сила, а обыватель на рожон не лез. Он только не признавал большевиков. Лишь в этом была его оппозиция.

Комитет задумал издать ряд анти-большевистских брошюр, прокламаций и т. п. для раздачи их среди войска. Эта задача тогда могла иметь некоторый успех. В войсках все же царила какая-то двойственность настроения и некоторая отсюда нерешительность. Но для изданий комитету нужны были деньги, а их у него не было. Он решился обратиться за средствами к совету министров. По его исчислению ему нужно было не меньше 300 — 400.000 рублей. Это было приблизительно около 10 — 13 ноября. Тогда же чиновники заявили о желании своем досрочно получить свое жалование, выдаваемое, как известно, 20 числа каждого месяца. Они объяснили, что саботаж с их стороны возможен лишь при условии, если у них будет на что существовать с семьями, что они боялись, что если им теперь не выдадут вперед жалования, то совет к 20

числу легко может оказаться бессильным в его выдаче, а большевики при выдаче жалования могут поставить им такие условия дальнейшего их служения, что о саботаже нечего будет и думать. Соображения чиновников были вполне резонны. Таким образом, перед советом было поставлено два вопроса денежного свойства. На первую очередь нужно было решить вопрос о жаловании чиновникам. Это, как мне казалось, был один из самых простых, несложных вопросов, на разрешении которого не стоило даже долго останавливаться. Деньги нужно было выдать, и выдать без всяких замедлений. Не тут-то было! Вышло совершенно иначе. Поднялись бесконечные споры, принципиального якобы свойства, — можно ли допускать нарушение закона о порядке выдачи жалования. Спорили бесконечно. С. Н. Прокопович самым решительным образом высказался против досрочной выдачи чиновникам жалования — „не имеем, дескать, права". А право это было в руках совета, обладавшего и законодательной, и исполнительной властью. После нескончаемых прений вопрос все же был решен в пользу немедленной выдачи жалования. Но вслед за этим произошел уже решительный скандал. С. Н. Прокопович, чуть не скандируя каждое слово, заявил, что, так как совет допустил столь явное нарушение закона (это выдача жалования раньше срока всего на одну неделю), нарушил якобы какой-то принцип, то он снимает с себя звание председателя совета и, помнится мне, что даже вовсе покидает совет. На очередь стал — кабинетный вопрос! Было от чего впасть в тоску. Мне казалось тогда, что произошло что-то решительно недопустимое. Мне казалось невозможным, чтобы в среде совета произошел такой раскол, который грозил распадом власти. Теперь я бы иначе отнесся к событию и сказал бы: „если Прокопович хочет уйти, то выберем на его место другого председателя". Все стали убеждать С. Н. Прокоповича, и я в том числе, взять свой отказ обратно. Уговоры были бесконечные, но Прокопович твердо стоял на своем. Помню, говорил я; говорил о том, что ради того, чтобы он остался и кабинете, я готов, хотя считаю это „моральным давлением", изменить свое отношение по вопросу о досрочной выдаче чиновникам жалования. Прокопович обиделся на выражение „моральное давление", и вновь возникли нескончаемые разговоры и уговоры около этого выражения. Между прочим С. Н. Прокопович, когда он начал постепенно сдавать, выразился о себе так: „Это на меня иногда такое находит". С. Н. Прокопович помирился на следующем компромиссе: он готов согласиться на то, чтобы из казначейства деньги на жалование чиновникам были выпи-

саны немедленно и переданы в министерство, но чтобы самая выдача жалования была произведена в установленный законом срок.

Как на самом деле прошла выдача жалования, я так и не знаю, так как через несколько дней после рассказанного события уехал из Петербурга.

После таких тяжелых дебатов о жаловании чиновникам никто уже не смел настаивать на выдаче комитету спасения родины и революции — 300 или 400 тысяч рублей на пропаганду против большевиков. Однако, вопрос на обсуждение был поставлен. Что вопрос будет провален, было заранее всем ясно. Помню, что гр. Панина, которая баллотировала за досрочную выдачу чиновникам жалования, заявила, что будет голосовать против выдачи денег комитету. Я не ошибаюсь, если скажу, что в основу такого ее решения легло стремление не доводить С. Н. Прокоповича до нового заявления с его стороны о выходе из состава правительства или же до новой его истерики. Настроение гр. Паниной разделяли многие из тех, что голосовали вместе с ней, С. Н. Прокопович и тут нашелся. Он утверждал, что „мы не имеем права тратить народные деньги на партийную борьбу". Нужны ли здесь комментарии?! Враги народа, притом внутренние враги народа, на юридическом языке называемые преступниками, квалифицируются партийными противниками; с ними бороться, выходит, нельзя; нет средств! Мне кажется — дальше итти некуда. Вопрос, как мне помнится, даже не голосовался. Провалили без голосования. Мне неизвестно, как встретил этот отказ в помощи ему комитет и как с своей стороны квалифицировал его.

История по поводу выдачи чиновникам досрочного жалования и отказ совета в выдаче комитету денег на антибольшевистскую пропаганду среди войск, а ранее—отношение к ставке Духонина „переполнили чашу моего терпения". Я видел, что подпольное Временное Правительство из тусклого своего прозябания на свет божий не выйдет и ничего не совершит. Я решил тогда, что настало время ехать на юг России, повидаться с генералом Калединым, выяснить настроение казачества и, если удастся, уговорить генерала Каледина принять на себя „под высокую руку" Временное Правительство. А если он на последнее согласится, то оповестить о сем совет министров и поставить его перед совершившимся фактом — приглашения прибыть в Новочеркасск. Мне казалось, что тогда правительству трудно уже будет не пойти на переезд, что уже

явится исторической необходимостью это сделать, что члены правительства испугаются нравственной ответственности, если не примут приглашения генерала Каледина, ибо что они ответят на вопрос, почему они не сохранили власть, когда это было возможно?

Я заявил в совете, что устал и что решил уехать на отдых на юг России. Меня стали уговаривать остаться, говорили даже, что уезжать в такое время по политическим соображениям недопустимо и т. п., но я категорически отстранил всякие уговоры остаться. В то время выезд из Петербурга был уже сопряжен с некоторыми стеснениями. Я решил разрешения на выезд у большевиков не брать и лично ехать по удостоверению, выданному мне из министерства, в котором значилось, что я—товарищ министра юстиции и имею право ездить по железным дорогам даром. Все прошло благополучно: мы сели в вагон прямого сообщения до Ростова на Дону. Дальше прямое сообщение прерывалось. За билет я денег не платил, потому что билета не брал. Я ехал по своему удостоверению, которое не только не возбуждало никаких и ни в ком сомнений, а напротив очень помогало мне. Все железнодорожное поездное начальство, то-есть кондуктора и обер-кондуктора, все наперерыв были со мною „предупредительны". Это „начальство" не верило в долговечность большевистской власти и, по всем видимостям, не симпатизировало ей. Власть большевиков тогда не была еще повсеместной. Путь до Ростова был совершенно свободен за Москвой. Большевики находились еще тогда в процессе сжимания себя в кулак, и где сил у них не было, там они стушевывались и вперед не лезли. В Ростове в то время царил уже внешний беспорядок. Поездов на дальнейшее следование уже нехватало, то-есть нехватало паровозов; вагоны брались с бою, публика влезала в них через окна; в купэ на шесть человек набивалось до 12—15 пассажиров. Словом, было очень нехорошо. От Ростова я один поехал в Новочеркасск.

Каледин ясно сознавал, как важно было сохранить для России единую и бесспорную власть. Он сказал, что не желает ничего лучшего, как переезда Временного Правительства в Новочеркасск, что он будет защищать правительство, как самого себя, но,—прибавил он,—временно я сам не могу стать в подчиненное к нему положение, так как казачество фактически ведет свою отдельную от России политику, и я в настоящее время, как представитель независимого донского казачества, веду переговоры с казаками

Кубани и Терека о взаимных отношениях казаков. Вопрос о подчинении казачества Временному Правительству может возникнуть только по окончании этих переговоров. Необходимо для этого установить еще, что Временное Правительство не пало, а существует реально. Словом, вопрос о власти был поставлен в достаточной мере просто и ясно. Я написал подробное письмо в Петербург С. Н. Прокоповичу с отчетом о моей беседе с генералом Калединым. Чтобы не было никаких сомнений, как толковать слова Каледина, я всю беседу с Калединым изложил по абзацам и занумеровал таковые. В письме своем, кроме того, я извещал Прокоповича, что для Временного Правительства и части сената отводится помещение в Новочеркасске. Дошло ли мое письмо к Прокоповичу, или не дошло, успеха оно уже не могло иметь. Вскоре после моего отъезда, как мне сообщили впоследствии, совет решил заявить о себе. Он обратился к народу с воззванием, призывая его сплотиться около Учредительного Собрания [1]).

---

[1]) Вслед за этим, как известно, „подпольное Временное Правительство" было ликвидировано мерами, предпринятыми Советской властью. *Ред.*

Защита Всероссийского Учредительного Собрания [1]).

Фронт и Учредительное Собрание.

Изо всех политических партий, с идеей Учредительного Собрания узами особенно тесными, я бы сказал, кровными, была связана партия социалистов-революционеров. Учредительное Собрание, воплощающее в себе главные требования революционного народа, концентрирующее вокруг себя основные положения демократизма, притом демократизма, являющегося не средством, как это исповедует либерализм, а самоцелью,—таковы те тезисы, которые заставляли социалистов-революционеров, да заставляют и теперь, отстаивать идею Всероссийского Учредительного Собрания.

Им казалось, да и не им одним впрочем, что все дело состоит только в том, чтобы „довести страну до Учредительного Собрания".

Теоретически быть может, даже наверное, в этом была величайшая истина, но практически этот своеобразный идеализм был чреват последствиями, неудобствами величайшими и осложнениями досаднейшими.

Тем более, что народ далеко не был так проникнут этой верой в спасительность Учредительного Собрания. Быть может, это печальный факт, быть может, горькая правда, — но я предпочитаю сказать об этом, чем умолчать.

Вначале, в первые месяцы после революции, Учредительное Собрание было для фронтовых солдатских масс чем-то абсолютно неизвестным, неясным, безусловной terra incognita [2]).

Их симпатии тяготели вполне определенно и нескрываемо к Советам. Эти последние были для них институциями, близкими им и родными, напоминающими им их деревенские сходы. Заседания прифронтовых советов привлекали с первых же дней большое количество посторонних слушателей, которые вмешивались в дела советские, влияя нередко на их решения. Как армейский комитет,

---

[1]) „Архив русской революции", т. XIII. Берлин, 1924 г.
[2]) Неизвестная, неведомая земля. *Ред.*

который солдаты называли „нашим советом", так и столичные Советы казались им близкими, а деятельность их им понятной.

Не раз в первые месяцы мне приходилось слышать от солдат, и притом наиболее интеллигентных, возражения против Учредительного Собрания. Для большинства из них это последнее ассоциировалось с Государственной Думой, учреждением, им далеким.

„К чему какое-то Учредительное Собрание, когда есть наши Советы, где заседают наши депутаты, которые могут все разрешить, во всем разобраться".

И в той борьбе, которая велась сначала между думским комитетом и Советами, а впоследствии — между правительственными кругами и советской левой оппозицией, солдатская масса всей своей душой была на стороне этой последней — интуитивно, плохо разбираясь, только потому, что „Советы-де наши". Постепенно, путем продолжительной пропаганды и частых разъяснений, при чем немалую роль сыграли в этом речи общественных деятелей и литература, посвященная этому вопросу, постепенно в сознание солдатских масс начала проникать мысль о правде, заключенной в идее Всероссийского Учредительного Собрания. Уже в июне-июле пропаганда идеи Учредительного Собрания принесла свои плоды, и нередко первым пунктом резолюций, выносимых воинскими частями, бывало требование о немедленном созыве этого последнего. И та надежда, та вера, которою была проникнута русская интеллигенция в спасительность Учредительного Собрания, передалась и солдатским массам. И чем дальше, тем все больше и больше росла уверенность, что именно Учредительное Собрание должно принести им мир, ликвидировав войну и распустив их по домам.

Резолюции этого периода пестрят постановлениями, что „мы, мол, согласны стоять на позициях, но не позже ноября месяца, когда соберутся депутаты". Когда же ставился вопрос: — а что если Учредительное Собрание решит воевать? — то это вызывало некоторое смущение, и чувствовалось, что вера в Учредительное Собрание имеет свои границы, довольно резко очерченные и связанные в сущности с вопросом весьма животрепещущим, с вопросом о войне. Идея же народоправства все же казалась им более родной и понятной в приложении к Советам.

Как же отнесся русский народ к выборам в Учредительное Собрание? Противники последнего, — а кто не принадлежит в настоящее время к числу их? — весьма склонны утверждать, что выборы эти были сплошным недоразумением, что народ не знал, за кого и почему голосует.

Это утверждение в значительной мере неверно. Именно простой народ, особенно крестьянство отнеслось к этим выборам с большей честностью и серьезностью, чем многие другие слои населения государства Российского.

Разве не секрет полишинеля, что круги, монархически и реакционно настроенные, не только голосовали за большевистские списки, но и под сурдинку агитировали за них [1]). А тактика так называемых левых социалистов-революционеров? Или поведение особенно усердствовавших украинских националистов? Или, наконец, агитационные приемы большевиков? Разве это не делалось все для всяческого посрамления, дискредитирования Учредительного Собрания?

Именно фронтовые выборы показали, сколь серьезно было отношение солдатско-крестьянской массы к тому самому Учредительному Собранию, идеи которого оно восприняло с некоторым трудом и, пожалуй, раздумьем.

Выборы происходили в ноябре месяце, когда центральная власть была в руках большевиков. Следовательно, все благоприятствовало тому, чтобы выборная кампания прошла в пользу коммунистической партии [2]). Мало того, ведь именно фронт больше, чем кто-либо другой, хотел мира, ибо этот вопрос касался его непосредственно, касался его шкурно. Вместе с тем, как это общеизвестно, большевистские предвыборные лозунги били именно в эту точку солдатской психологии. Их плакаты, предназначенные для фронта, говорили прежде всего об этом, больше всего.

„Мы вам дадим немедленный мир".

„Мир всему миру".

„Братство народов" и т. д., без конца, все в том же духе.

Наряду с этим конкурировавшие с ними на фронте политические партии занимали позиции оборонческие, более того, резко оборонческие.

Итак, теоретически казалось, что успех заранее обеспечен за большевиками; ведь они овладели властью в стране.

---

[1]) За кого голосовали монархисты, реакционеры, корниловцы, — разумеется, не секрет полишинеля, ибо всем известно, что их чаяния выражала кадетская партия, а не большевики. Автор чересчур уж „увлекается", обуреваемый жаждой инсинуаций. *Ред.*

[2]) К сожалению, далеко не все благоприятствовало большевикам. Крайне неблагоприятным было главным образом то обстоятельство, что выборы производились по спискам, составленным до октября. Левые эсеры, еще не выделившиеся к моменту составления кандидатских списков в отдельную партию, шли по общему списку с правыми эсерами, куда они были включены в незначительном проценте. Это обстоятельство сильно способствовало успеху правых эсеров на выборах. Они проходили в значительной мере за счет того доверия, которым пользовались у крестьянства „левые" эсеры. *Ред.*

они обещают немедленный мир усталым солдатским массам. И однако, народ, — солдатская масса — высказалась далеко не за них. Почему? Происшедшее кажется мне величайшим признаком того, что солдатская масса в большей своей массе отнеслась сознательно к выборам [1]).

Армия, в боевой своей части, голосовала не только против большевиков, но за определенно оборонческие списки [2]). Иначе говоря, она голосовала не за тех, кто отвечал ее инстинктивным, шкурным вожделениям, но за тех, кто по ее разуму мог наилучшим образом представлять народные интересы в Учредительном Собрании. И разве правы те, кто упрекает фронтовые армии в неразумном отношении к выборам в Учредительное Собрание! Но,—предложат, и вполне правильно, некоторые вопрос:—почему же солдатская масса, та часть массы, которая сумела воздержаться от заманчивых лозунгов большевизма, почему она голосовала за список № 1, т.-е. за социалистов-революционеров?

Я не принадлежу к числу тех, которые утверждают, что народ хорошо разбирался, да и разбирается и теперь, в программах наших политических партий, и что голосование за список социалистов-революционеров было актом продуманной и осознанной народной мудрости. Наоборот, я убеждался неоднократно, что не только народ, но и интеллигенция весьма поверхностно знакома с платформами политических партий, и что голосование при выборах в Учредительное Собрание было в значительной мере неразумным и непродуманным. И были, однако, серьезные причины, почему победа осталась именно за эсерами. Победа не только на фронте, но и почти по всей стране. Две причины...

Первая — это то, что крестьянско-солдатская масса—я говорю о выборах в армии—считала партию социалистов-революционеров своей, крестьянской. Ее убеждало в этом то обстоятельство, что список № 1 был общим от Совета крестьянских депутатов и от армейских социалистов-революционеров. А то, что эсеры больше всего и любовнее всего беседовали о земельном вопросе и о крестьянских делах, говорило солдатам о правильности их мнения.

---

[1]) Немного дальше автор сам себя опровергает, признаваясь, что „голосование при выборах было в значительной мере неразумным и непродуманным". *Ред.*

[2]) Автор чересчур преувеличивает успех эсеров в армии. Они собрали немногим больше голосов, чем большевики—1.885.400 против 1.671.300 большевистских. Главным образом голосовали за них армии Каменского и Румынского фронтов, т.-е. наиболее оторванные от жизни страны. На всех остальных фронтах большинство голосовало за большевиков. *Ред.*

Голосуя за партию социалистов-революционеров, солдаты-крестьяне считали, что голосуют за свою партию [1]).

Вторая причина стояла в непосредственной связи с предыдущей. Благоприятная почва позволила весьма широко и полно развить партийную работу в армии. Уже с апреля месяца мы начали готовиться к выборам, поставив себе неотложной задачей организацию непременно во всех, даже в самых малых, воинских частях партийных ячеек. Эта организационная работа дала чрезвычайно продуктивные результаты во время выборной кампании.

Юго-Западный фронтовой съезд.

Юго-Западный фронтовой съезд происходил в обстановке особенно тревожной и бурной.

Это было время, когда Временное Правительство пало, в. Петрограде властью завладели большевики, а к Могилеву, не признавшему этих последних, подходили красные войска во главе с Крыленко. В Петрограде должно было в ближайшие дни собраться Учредительное Собрание. И учитывая, что большинство депутатов этого последнего будет принадлежать к эсеровской партии, большевики круто изменили недавно выброшенному ими лозунгу „немедленный созыв Учредительного Собрания“ и снова на все лады начали пропагандировать положение, что „вся власть Советам“.

Большинство съезда принадлежало к эсеровской партии, составляя приблизительно две трети его делегатов. Остальная треть примыкала к большевикам и в небольшом количестве к украинцам. Но часть эсеров, присланных главным образом тыловыми частями фронта, стояла на двусмысленной позиции, которую они называли почему-то Черновской, и которая сводилась к тому положению, что так как Временное Правительство больше не существует и так как Учредительное Собрание еще не успело открыться, то вся власть в стране должна принадлежать Советам.

Прения, которые развернулись по этому вопросу как во фракциях Съезда, так и в пленуме, показали, сколь сбивчиво настроение даже у делегатов.

Обсуждался вопрос о законности Временного Правительства, которое упрекали в контр-революционности, корниловщине и безволии.

[1]) В этом и заключается суть дела. Солдаты-крестьяне „непродуманно“ голосовали за эсерскую партию, „неразумно“ считая ее своей и не разбираясь в различиях между правыми и левыми эсерами. А в тех случаях, когда разбирались, ничего не могли поделать, так как и правые и левые эсеры шли по одному списку. Скрепя сердце, приходилось им вместе с левыми эсерами проводить в У. С. и правых. *Ред.*

Обсуждали преимущества советской системы над парламентаризмом и подчеркивали факт, казавшийся многим неоспоримым, что Советы лучше Временного Правительства, так как „Советы, мол, наши".

Мне врезалась в память речь одного беспартийного солдата-делегата, речь, наивная по своему содержанию и примитивная по своему построению, имевшая, тем не менее, может быть, именно поэтому, необыкновенный успех в общем заседании съезда. Речь сводилась к тому, что в стране есть только две стороны, две партии — народная и барская. К народной партии принадлежат Советы, большевики, Керенский, Чернов, Брешковская. Вся эта партия хочет немедленного мира, хочет отдать всю землю крестьянам, а фабрики рабочим, но им мешает вторая партия, барская, буржуазная, в которой главную роль играют кадеты, Временное Правительство, генералы и евреи... Здесь все спутано, все понятно по-своему. И однако это был делегат, т.-е. более других интеллигентный солдат.

На второй день съезда прибыл в Бердичев Авксентьев. Скрывшись из Петрограда, принужденный сбрить бороду, чтобы не быть узнанным, Авксентьев приехал на съезд создавать обстановку, благоприятную для свергнутого Временного Правительства.

И здесь уже во фракции он натолкнулся на указанное мною умонастроение, противополагающее Советы и правительство, Советы и Учредительное Собрание. Он, который совмещал в одном лице председательство крестьянского Центрального Совета с должностью министра Временного Правительства, мог убедиться воочию, сколь сложна и запутана обстановка в России и психология рядового гражданина.

Авксентьев говорил о необходимости защищать Временное Правительство.

Меньшинство во фракции и большинство на съезде в ответ упрекало его и правительство в контр-революционности, в продажности, в затягивании войны.

Он убеждал защищать единый лозунг: „Вся власть Учредительному Собранию", говорил об историческом значении идеи народоправства, о недопустимости узурпаторских тенденций большевиков, о том, что без Учредительного Собрания нельзя разрешить ни одного основного вопроса российской жизни.

Ему отвечали: А кто выбрал Временное Правительство? Разве не те же Советы выбрали в свое время Временное Правительство, разве не Советы свергли это же правительство, и разве не Советам должна принадлежать вся власть в стране? Так отвечали ему большевики и больше-

висствующие при сочувствии и одобрении беспартийной массы.

И все его резоны, все его стремления выяснить суть большевистского переворота и показать, что этот переворот направлен прежде всего против принципа народоправства и Всероссийского Учредительного Собрания, разбивались о каменную стену взаимного непонимания большей части фронтового съезда.

Но если было в порядке вещей враждебное отношение к Авксентьеву со стороны большевистски настроенной половины съезда, то более досадным и неприятным был факт непонимания его тезисов эсеровской фракцией. Сколько энергии пришлось потратить Авксентьеву, чтобы убедить своих единомышленников по фракции, что нельзя совмещать и сливать воедино два лозунга: „Вся власть Советам" и „Вся власть Учредительному Собранию".

И когда, наконец, большинство фракции согласилось с положением, защищаемым Авксентьевым, то меньшинство откололось, образовав несуществовавшую до тех пор на съезде фракцию левых эсеров.

Наши фронтовые левые эсеры не только были лишены партийных лидеров, но и были чужды интернационалистических тенденций левых эсеров, внутри страны находящихся. Они хотели одного, чтобы вся власть принадлежала Советам до созыва пресловутого Учредительного Собрания.

И фронтовой съезд большинством, правда, незначительным, высказался за формулировку, предложенную большевиками. Высказался за власть Советов, — за власть, по существу, большевистскую.

Голосовала против только эсеровская фракция. Из делегатов особой армии—только 20 из общего их числа больше чем в 200 человек, голосовавших за эту формулировку.

Настроение обывателей и интеллигенции.

Я думаю, что не может быть никаких сомнений в том, что петроградский обыватель был настроен резко противобольшевистски.

И тем не менее, этот его антибольшевизм представлял собою сырой материал, который мог бы быть использован политическими партиями. Я полагаю, что нет необходимости останавливаться подробнее на обывательских настроениях — они известны всякому петроградцу. Некоторое недовольство свергнутым уже Временным Правительством, недовольство из-за левизны и слабохарактерности последнего, враждебное отношение к Советам за те преимущества, которые предоставлялись пролетариату за счет обы-

нателя, страх перед большевизмом, и над всем этим—пассивность, чуть ли не возведенная в принцип.

„Нам, мол, надоела политика, пусть другие борются с большевиками".

„Посмотрим, мол, как они справятся с большевиками!"

„Мы, мол, что... Наша хата с краю!"

Но, несмотря на эту очевидную и всюду проникающую пассивность российского обывателя, потенциально он представлял собой несомненную, значительную антибольшевистскую силу. Только эту силу надо было растолкать, растормошить, объединить вокруг тех лозунгов, которые ему были ценны и дороги.

Обывателю надо было бы сделать известные уступки,—его консерватизму, его буржуазности, его косности. Отвлеченные и порой радикальные лозунги социалистических партий ничего или мало что говорили его сердцу.

Были ли эти уступки сделаны? Были ли даже попытки их сделать? Я думаю, что нет. Мы хотели, чтобы тому, чему поклонялись мы, поклонился бы и обыватель, чтобы в нашу веру уверовал и он. Но, право, я не знаю, чему надо более удивляться: пассивности и безразличию обывателя к судьбам Всероссийского Учредительного Собрания, или тому, что, несмотря ни на что, все же вышли 5 января на улицу десятки тысяч петроградских обывателей.

Как в дни, предшествовавшие октябрьскому перевороту, так и в дни разгона Учредительного Собрания среди петроградской интеллигенции, в частности, среди представителей ее левого крыла, среди так называемой демократической интеллигенции, царил всеподавляющий фатализм. Развертывающиеся события, октябрьский переворот, власть большевиков,—все это казалось точно заранее предначертанным, неизбежным и неумолимым.

Верилось в то, что кто-то должен защитить Учредительное Собрание, что иначе быть не может, что народ, великий русский народ, не допустит такой профанации величайшей идеи, порожденной революциями. Верилось в то, что посягательство со стороны большевиков на существование Учредительного Собрания, это—не больше, чем жалкая шутка, не более, чем кривая усмешка судьбы.

Этот фатализм держал в своих цепких руках центральные органы политических партий, он доминировал при всех решениях и постановлениях, он парализовал всякую активность, всякую организационность, направленную против большевиков работу.

Это была совершенно особая психология, зачастую неосознанная и непризнаваемая нами. Но последствия этой

психологии были очевидны. Это была пассивность, которая в дополнение к основной российской инертности и привела большевизм, большевиков к несомненному и полному торжеству. Но победа большевиков меньше всего проистекала от их силы, меньше всего от того, что за ними пошло большинство страны. Их сила, сама по себе ничтожная и заключающаяся в их необыкновенной активности, вышла победительницей из этой борьбы единственно благодаря пассивности русской интеллигенции, в частности, демократической интеллигенции, благодаря тому, что активному Ничтожеству было противопоставлено пассивное Величие.

На Болотной улице.

С середины ноября начался съезд лиц, выбранных в члены Учредительного Собрания. Кроме большевиков, которые направлялись в Смольный и которые по приезде своем в Петроград получали всевозможные удобства от советского правительства, положение депутатов остальных фракций было не из приятных. Большая часть из них была провинциалами, мало знакомыми с Петроградом. Прибывали они зачастую без денег, в полной уверенности, что там, в столице, их ожидают, что им там все будет устроено.

С большим трудом для этих провинциалов было организовано общежитие на Болотной улице.

Большой неуютный дом, бывший лазарет Земско-Городского Союза. Всюду больничные койки, не успевший еще испариться запах лекарств. Общую унылую картину депутатского общежития дополняла некоторая растерянность, царившая среди членов бюро эсеровской фракции. Справочный отдел функционировал плохо. Денег не было или почти не было. Наконец, питание приезжающих также встречало некоторые затруднения.

С первых же дней существования общежития начались бесконечные заседания. Происходили они большей частью в маленьких комнатах верхнего этажа. Всегда было страшно тесно, невыносимо душно, сидели присутствовавшие на кроватях, подоконниках и т. д. И только впоследствии,—это было в конце декабря, когда число съехавшихся депутатов достигло внушительных размеров,—бюро удалось достать для заседаний большую залу.

Надо учесть и хорошо понять психологию обитателей общежития на Болотной улице. В стане врагов, в сущности, в полной власти большевиков, в большей части своей жители глухих провинций, — они приехали на всероссий-

ское торжество, которое волею судеб превратилось во всероссийский позор.

Ощущение беззащитности, ощущение, что „мы находимся в руках своих врагов", господствовало с первого до последнего дня на Болотной улице. Для многих казалось, что самая идея организации общежития при существовавших условиях неудачна и неуместна.

„Ведь нас всех смогут забрать голыми руками".

Но не только то обстоятельство, что большевики легко могут арестовать большую часть оппозиционных депутатов, делало психологически неудобным существование общежития, но главным образом то, что благодаря последнему вся деятельность противобольшевистских фракций была совершенно на виду у большевистского правительства. Последнее было в курсе всех фракционных дел, оно знало, что и о чем постановила фракция, каковы настроения депутатов, одним словом, было осведомлено обо всем в совершенстве. Об этой осведомленности большевиков не раз нам сообщали наши доброжелатели, случайно попавшие в Смольный.

Нелишне, впрочем, отметить, что этому весьма способствовало отсутствие контроля для лиц, посещавших общежитие. Приходили самые разнообразные лица, бог весть зачем, бродили по всему зданию, заходили в комнаты депутатов, иногда даже на комиссионные заседания, и никто их не останавливал, никто не опрашивал. Не раз можно было заметить блуждающие по лестнице весьма подозрительные личности. О том, что телефон фракции был взят под наблюдение, стало известным лишь значительно позже. А сколько разговоров, важных и отнюдь не предназначенных для большевистских ушей, говорилось в эти дни по телефону!

Впрочем, очень трудно поставить в вину бюро фракции или ее руководителям это отсутствие конспиративности. Ибо вся обстановка этому способствовала. В продолжение всего 1917 года все антибольшевистские партии и в особенности эсеры вели столь легальную и открытую деятельность, все их представители и руководители были так на виду и так далеки от конспирации, что после большевистского переворота им было трудно, почти невозможно уйти обратно в подполье.

Вся эта обстановка способствовала усилению ощущения беззащитности. И, понимая это, понимая невозможность законспирироваться от большевиков, от этих врагов, с которыми предстояла борьба не на жизнь, а на смерть, обитатели общежития на Болотной улице говорили:

„Мы не скрываемся, мы не хотим скрываться..."

„Мы, народные избранники, приехали отстаивать свои права, и борьбу с узурпаторами будем вести открыто, с высоко поднятым забралом“.

Конечно, это было сказано красиво, но в самой этой красоте таилась беспомощность, слабость людей, не учитывающих всех сил своего противника.

И большевики смеялись и говорили — это было еще в декабре:

„Достаточно десяти красных матросов, чтобы ликвидировать всю эсеровскую фракцию. Мы ее можем взять голыми руками... Мы этого не делаем, потому что не хотим. Не к чему“.

И действительно, в январе месяце, когда большевики захотели, они пришли на Болотную и арестовали добрых две трети всей эсеровской партии.

И прошел этот арест гладко, ровно, без всяких инцидентов.

После этого ареста общежитие существовало еще несколько дней и потом закрылось, не вписав в историю ни ярких страниц, ни красивых воспоминаний, оставив у нас впечатление серости, скуки и неопределенности.

Парламентаризм или авантюризм.

„Как же мы будем защищать Учредительное Собрание? Как будем самозащищаться?“

С таким вопросом я обратился чуть ли не в первый день к ответственному руководителю фракции Х. Он сделал недоумевающее лицо.

„Защищать? Самозащищаться? Что за нелепость? Понимаете ли вы, что вы говорите?.. Ведь мы — народные избранники... Мы должны дать народу новую жизнь, новые законы, а защищать Учредительное Собрание, это — дело народа, нас избравшего“.

И это мнение, мною услышанное и весьма меня поразившее, отвечало настроению большинства фракции.

Между эсерами до 1917 года и эсерами конца 1917 года—целая пропасть. Так мне казалось, так кажется мне и теперь. Снова повторяю, что это касается лишь известной части партии, главным образом ее верхушки, главным образом группы, которая в 1917 году была у власти и которую в повседневности называют правыми эсерами.

Именно эта группа и имела преобладающее значение в Учредительном Собрании. Но даже и те эсеры, которые причисляли себя к левому крылу, так называемые черновцы, психологически также претерпели в продолжение 1917 года весьма крупную метаморфозу, утеряли свою ре-

волюционную психологию, приобщились к „государственности“ и к „власти“. Результатом этой эволюции, далеко не осознанной и не признаваемой нами, эсерами, явилось и совершенно особое отношение к Учредительному Собранию.

Как бюро фракции, так и большинство съезжавшихся депутатов стояли на позиции „чистого парламентаризма“. Они полагали, что спор между большевиками и остальными партиями должен быть разрешен чисто парламентским путем, в стенах Учредительного Собрания, что именно здесь, где соберутся представители всей России, должен быть решен в ту или иную сторону вопрос.

С Учредительным Собранием связывались надежды, которые ни в какой мере не оправдались. Имела место идеализация этого учреждения, идеализация безмерная и недопустимая для политиков.

В эти дни, в эти недели я неоднократно имел случай разговаривать с приехавшими депутатами и выяснять их точку зрения на тактику, которой должны мы придерживаться. Как общее правило, позиция большинства депутатов сводилась к следующему.

„Мы должны всеми мерами избегать авантюризма. Если большевики допустили преступление против русского народа, свергнув Временное Правительство и самовольно захватив власть в свои руки, если они прибегают к приемам некорректным и некрасивым, это еще не значит, что и мы должны следовать их примеру. Отнюдь нет. Мы должны итти путем исключительной законности, мы должны защищать право, путем, единственно допустимым для народных избранников, путем парламентарским. Довольно крови, довольно авантюр. Спор должен быть перенесен на разрешение Всероссийского Учредительного Собрания, и здесь, перед лицом всего народа, всей страны, он получит свое справедливое разрешение“.

Этой позиции, этой тактики, которую я затрудняюсь назвать иначе как „сугубо парламентарской“, придерживались отнюдь не только правые эсеры и центровики, но и черновцы. И черновцы, быть может, даже более остальных.

Ибо именно В. Чернов был одним из самых ярых противников гражданской войны и одним из тех, кто надеялся на мирную ликвидацию конфликта с большевиками, веря в то, что „большевики спасуют перед Всероссийским Учредительным Собранием“.

Именно он, — об этом будет речь впереди,—возражал против вооруженной демонстрации по мотивам:

„Нельзя проливать народную кровь. Народ сам рассудит. С оружием в руках не докажешь правды... Тем более, что большевики, это — тот же народ. Это надо помнить“.

„Сугубый парламентаризм" отстаивало огромное большинство фракции эсеров Учредительного Собрания. Лиц, которые не соглашались с этой тактикой и которые призывали к активным действиям, было ничтожное меньшинство. Удельный вес этого меньшинства во фракции был весьма невелик. На них смотрели, как на людей, зараженных авантюризмом, недостаточно проникнутых государственностью, недостаточно зрелых политически.

Эту группу оппозиционеров составляли главным образом депутаты фронта или лица, так или иначе причастные к великой войне. Среди них можно назвать Д. Сургучева (впоследствии расстрелянного большевиками), Фортунатова, лейтенанта Х., Сергея Маслова, члена Ц. К. П., ныне расстрелянного, Онипко. К этой группе примыкал и я.

Говоря об эволюции эсеровской психологии, весьма необходимо отметить, что эта эволюция коснулась главным образом верхних слоев партии. Низы партии, так называемые рядовые работники ее, в значительной мере сохранили свою активность и стремление к революционным действиям. Это замечалось и в конце 1917 года, замечалось и позднее в годы борьбы с большевиками. Более того, эсеровская масса до известной степени сохранила прежние навыки и традиции и в дни, в годы большевизма довольно охотно уходила в подполье. Мне думается, именно разностью психологии можно объяснить то обстоятельство, что за последние годы не малое число рядовых членов партии отошло от последней.

Весь быт и уклад жизни эсеровской фракции в декабрьские дни семнадцатого года прекрасно иллюстрируют сказанное. Интенсивно по различным многочисленным комиссиям шла подготовительная законодательная работа. Готовились всевозможные проекты законов. Обсуждались вопросы, имевшие огромное государственное значение.

Комиссия земельная, народного образования, иностранных дел, комиссия первого дня открытия Учредительного Собрания... каких только там комиссий не было!

Марк Вишняк, молодой, но весьма ярый парламентарий, особенно позаботился о том, чтобы ни одна сторона государственного строительства не была позабыта.

Все эти комиссии весьма энергично работали, заседания их были многолюдны и по-своему интересны. Вызывались эксперты, которые читали доклады, предназначавшиеся, как базис, как канва для новых законопроектов. Случайно мне пришлось посетить заседание военно-иностранной комиссии, посвященной докладу Верховского. Доклад трактовал, если мне не изменяет память, о возможности сепаратного мира с точки зрения военного специалиста.

Прения в этих комиссиях нередко были весьма оживленные и продолжительные.

Иногда казалось, что все идет прекрасно, что нет никакого большевистского правительства, что нелепы слухи о возможном разгоне Учредительного Собрания и что тихая парламентарская жизнь потечет после 5 января. Ведь столько заготовлено законопроектов... Все их надо провести через пленум. В мою память особенно врезалась деятельность комиссии, посвященной первому дню, так называемой комиссии открытия. Здесь было все учтено. Кто должен открыть собрание, какие ораторы должны выступать и как, кто должен руководить фракцией; было учтено все, кроме матросов, заполнивших галлереи Таврического дворца, и непарламентарского цинизма большевиков.

Иногда мы, оппозиционеры, спрашивали наших коллег по фракции:

„К чему вы строите эти иллюзии? К чему эти законопроекты, которые вы так старательно обсуждаете, когда неизвестно даже, состоится ли У. С. Мы не понимаем, как можно в таких кошмарных условиях заниматься мирной законодательной работой".

Ответ бывал неизменен и по-своему логичен:

„Мы не знаем точных намерений большевиков, но мы убеждены, что они не осмелятся посягнуть на прерогативы высокого учреждения, выбранного всем народом. А если так, если есть шансы, что сессия Учредительного Собрания состоится, то мы должны притти в нее во всеоружии нашего политического опыта, с полным сознанием важности задачи, возложенной на наши плечи русским народом. Мы должны дать в законном порядке народу землю и все основные права".

В то время как на Болотной улице посвящали все дни и часто ночи выработке законопроектов, в это время большевистские депутаты, съехавшиеся также к этому времени в Петроград, были распределены властной рукой своего центрального комитета по заводам и казармам Петрограда. Они вели энергичную агитацию против того учреждения, в члены которого они были избраны. Они, вероятно, очень мало думали о парламентаризме, еще менее — о государственности и о законности. Перед ними была поставлена конкретная и ясная задача: добиться того, чтобы власть в стране осталась в руках их партии. И они этого добивались всеми позволенными и непозволенными средствами. Добивались и добились.

Принятие парламентарской тактики влекло за собою вполне определенные логические последствия. Борьба с большевиками представлялась не иначе, как в стенах Тавриче-

ского дворца, а сама защита Учредительного Собрания — руками тех, кто послал своих избранников устанавливать новые формы жизни. И по существу было вполне логично, когда депутаты возражали против вовлечения их в ту или иную форму активной борьбы с советским правительством.

„Если народ за нас, он должен нас защитить, ибо он нас сюда послал".

Между тем, жизнь предъявляла свои права, и вопрос о защите Учредительного Собрания, вопрос о самозащите неоднократно поднимался во фракции. Поднимали его оппозиционеры, в том числе раза два и я. Поднимали его и те многочисленные депутации, которые посещали в эти дни фракцию. Но неизменно, как бюро фракции, так и пленум его оставались при том убеждении, что фракция в ее целом должна стоять вне той борьбы, которая ведется и будет вестись во имя существования Учредительного Собрания, что фракция должна ограничить арену своей борьбы стенами Таврического Дворца.

И с этой позиции невозможно было сдвинуть фракцию.

Один из энергичнейших и наиболее реалистически настроенных — В. В. Руднев, обычно председательствовавший в пленуме, вполне разделял точку зрения большинства. Ему также казалась авантюрой, вредной по своим последствиям, внепарламентская борьба фракции с большевиками.

И вполне понятно, что такая позиция влекла за собой пассивность. Когда — это было в последних числах декабря — во фракции Биркенгейм и Н. В. Чайковский, пришедшие в качестве делегации всероссийского союза служащих, заявили, что они уполномочены десятками тысяч интеллигентных тружеников предоставить все силы последних на защиту Учредительного Собрания и что они думают, что всеобщая забастовка вполне реализуема, — ответ фракции, после прений, бурных и продолжительных, был весьма уклончив:

„Мы, мол, не возражаем против всеобщей забастовки, но руководить ею мы не будем и даже непосредственное отношение к ней считаем нежелательным".

Аналогичные ответы давались и другим депутациям, разочарованно покидавшим скромные стены общежития на Болотной улице. И в той борьбе, незримой, но весьма энергичной, которая велась большевиками во всех углах Петрограда, лишь небольшое число депутатов принимало персональное участие. Неоднократно раздавались жалобы из районных партийных комитетов, что нельзя заполучить никого с Болотной улицы. Депутаты выступали неохотно и редко. Чаще других отзывались на эти призывы Брушвит, Гуревич, Утгоф. И разве не характерно, не показательно,

что на митингах, организованных 6 января большевиками во имя санкции разгона Учредительного Собрания, только два эсеровских депутата сочли нужным выступить!..

Такова общая картина жизни эсеровской фракции. Между тем, ввиду немногочисленности кадетской и эсдековской партий, в У. С. роль эсеровской фракции была преобладающей. И фактически антибольшевистская коалиция ею не не только возглавлялась, но почти что ею олицетворялась.

Как бы то ни было, но факт был непреложным. Фракция или, вернее, антибольшевистские фракции не принимали участия во внепарламентской борьбе за Учредительное Собрание. Эта борьба шла без них, даже иногда вне их непосредственного влияния. И только благодаря персональному вмешательству отдельных депутатов, принимавших активное участие в этой защите, поддерживалась живая связь и с Болотной улицей, и с фракцией.

Комитет защиты У. С. Его роль.

Таким образом, защиту Учредительного Собрания взял на себя ряд партийных и межпартийных организаций. Среди последних видное место занимал так называемый Комитет Защиты. Детали и подробности о деятельности последнего я дать не в состоянии, так как не входил в означенный комитет. Но общий характер его деятельности, приблизительный состав его участников, достаточно был мне известен.

Несомненно, этот комитет был преобладающе интеллигентский. Объединял он вокруг себя большую часть демократической интеллигенции и некоторые круги из либеральной буржуазии. Персонально входили в него эсеры (крайне правого толка), меньшевики-оборонцы, большую роль в нем играли народные социалисты во главе с Н. В. Чайковским, имели касательство кооператоры, союзы служащих и кое-кто из кадетов. Нужно отдать справедливость, что деятельность этого комитета была весьма энергичной. Помимо множества листовок и обращений, помимо пропаганды, порою недурно поставленной, со стороны его были попытки проникнуть в рабочую и солдатскую массу.

Я думаю, немало петроградцев помнят об организованных комитетом рабочих конференциях, имевших место в одном из домов на Забалканском проспекте. Если не ошибаюсь, всего было три конференции, из которых последняя, происходившая уже в январе месяце, была заарестована большевиками. Я присутствовал на одной из этих конференций в качестве представителя от военной комиссии и, признаюсь, был поражен ее многолюдством и темпераментом ее участников. Несмотря на всю свою энергию, коми-

тету все же удалось очень мало проникнуть внутрь рабочих масс, и пропаганда его в этом направлении была ничтожна и, боюсь сказать, почти бесследна.

Еще менее удалась работа в Петроградском гарнизоне. Может быть потому, что было приступлено к этой работе чуть ли не перед самым разгоном Учредительного Собрания. Во всяком случае, хотя в отчетах комитетских и фигурировала „военная работа", но, как мне пришлось в этом впоследствии убедиться, трудно было относиться к этой работе всерьез.

Среда, в которой семена, посеянные комитетом, дали богатую жатву, была обывательская. Потому ли, что это была наиболее благодарная почва для противобольшевистской агитации, потому ли, что эта среда была наиболее близка и родственна комитету [1]), во всяком случае, работа сделанная последним в этом направлении, была весьма значительна и реальна. И мне кажется, в факте, что десятки тысяч обывателей вышли 5 января на улицы Петрограда, известную и немалую роль сыграла и деятельность комитета. И я не сомневаюсь, что если бы Комитет имел возможность и право немного более конкретизировать антибольшевистские лозунги, если бы он мог говорить более смело, чувствуя за собой менее идеалистически настроенное Учредительное Собрание, возможно,—кто знает,—что его пропаганда вылилась бы во что-нибудь более крупное и серьезное.

Надо ли говорить, что и большая часть деятельности комитета протекала на виду у большевиков? Двери комитета, заседавшего на Литейном проспекте, были настежь открыты. В приемной постоянно толпилось несколько подозрительных субъектов, и наблюдение, как тайное, так и явное, со стороны большевиков было несомненным. У входных дверей торчали более или менее постоянно филеры. Телефонные разговоры внимательно подслушивались, как об этом сообщали нам антибольшевистски настроенные телефонистки. Но думать о конспирации, о нелегальной работе было невозможно. Все попытки в этом направлении не удавались. Даже с трудом удавалось наиболее скомпрометированным членам комитета жить полулегально. И при аресте, имевшем место вскоре после разгрома Учредительного Собрания, большая часть членов Комитета была захвачена большевиками.

Среди попыток, заслуживающих быть отмеченными по своей курьезности и неудачливой анекдотичности и сделанных комитетом ради успешной защиты У. С., было пред-

---

[1]) Было и то и другое, конечно. *Ред.*

принято им „собрание военных дружин национальных меньшинств". Инициатором этого любопытного предприятия был член комитета Петр Шаскольский, ныне погибший в Совдепии. По его почину было созвано совещание, на котором я присутствовал представителем от эсеров и на которое были приглашены ответственные лидеры национальных партий. Кто только там не присутствовал! Грузины, армяне, эстонцы, литовцы; были представители различных еврейских партий... Лишь отказались притти поляки и финны. „Мы, мол, уже самоопределились и к российским делам никакого отношения не хотим иметь".

Шаскольский поставил вопрос весьма конкретно, ребром:

„Сколько вооруженных солдат может выставить каждая отдельная национальность для защиты Всероссийского Учредительного Собрания?"

Но такой простой подход к данному вопросу встретил решительную оппозицию со стороны большинства присутствующих. Потребовали, чтобы сначала были разрешены так называемые программные вопросы.

„Как отнесется Учредительное Собрание к самоопределению народностей?"

„Стоит ли оно за федерацию или за полную независимость окраин?" — и так без конца, целый ряд вопросов, которые требовали немедленного ответа, немедленного разрешения, и без коих ни один солдат, как гордо выразился литовский представитель Булат, „не поднимет штыка на защиту этого Учредительного Собрания".

После долгих и бесплодных споров это совещание было закрыто. Было назначено новое, на которое представители национальностей приглашались притти с конкретными данными о том, сколько солдат они могут вывести 5 января на защиту Учредительного Собрания.

Второе совещание было гораздо менее многолюдно и менее оживленно, чем первое. Отсутствовали самые ярые сепаратисты. Не было ни литовцев, ни латышей, кажется, не пришли и украинцы.

Подсчеты дали весьма печальные результаты. У грузин было несколько вооруженных людей, у эстонцев была довольно многолюдная дружина, которую эстонские лидеры отказывались впутывать в российские дела, и, наконец, весьма охотно предоставляли в распоряжение Учредительного Собрания свои формирования армяне и евреи. Армяне были хорошо вооружены и, как с гордостью заявил их представитель, имели даже два пулемета. Что же касается евреев, то вновь сформированная их дружина насчитывала до двухсот человек, но... у них был только наряд на ружья, а самые ружья не были им выданы „из-за медли-

тельности Временного Правительства". К тому же большинство дружинников были штатские люди, не причастные к военному делу.

После заседания мы возвращались вместе с П. Шаскольским. Он был грустен и молчалив.

„Все надежды мною возлагались на инородцев. Теперь эти надежды рухнули".

Военная комиссия.

Война породила революцию, и та же война была одним из главнейших факторов октябрьской революции, падения Временного Правительства и прихода большевиков к власти.

Детищем войны была армия, и эта же армия была тем орудием, при помощи которого совершилась революция. Можно придерживаться того мнения, что в основе своей российская революция была крестьянской, можно говорить о том, что монархия и бюрократия российские насквозь прогнили и что именно они привели страну к революции и к анархии.

Это все первопричины. Их было множество. Но единая, видимая и вполне конкретная второпричина была все же война. И следствия логические, которые вытекают из этой предпосылки, повидимому, неоспоримые, весьма существенны.

Все ли они были учтены нами, российскими интеллигентами, в частности Временным Правительством? Думается мне, что нет.

Было ли что-либо сделано, чтобы завоевать эту силу — петроградский гарнизон? А если нельзя было завоевать, если пути и вкусы интеллигенции и петроградских солдат слишком расходились друг с другом, то было ли что-либо предпринято, чтобы уничтожить, раздавить эту силу, чтобы противопоставить ей нечто более реальное, чем женский ударный батальон?

Увы, в этом надо честно признаться, что ничего не было в этом направлении сделано. Не было сделано ни Временным Правительством, ни теми демократическими и социалистическими партиями, которые были у власти. И в то время как большевики, крича о пролетариате, о своих симпатиях к рабочему классу, беспрестанно и неутомимо, чуть ли не с первых дней появления своего на петроградском горизонте, работали среди полков Петрограда и Москвы, в это время мы более интересовались мирной организационной работой, весьма рьяно уйдя в административный аппарат. И деятельность военной комиссии при эсеровском центральном комитете являет собой наи-

лучшее доказательство величайшего безразличия со стороны революционной демократии к весьма реальной силе, каковой являлся в то время петроградский гарнизон.

До самого ноября 1917 года эсеровская военная комиссия была в стадии анабиоза. Была она пасынком партии: денег ей не давали, внимания на нее не обращали, и нередко бывала она предметом иронических шуток и замечаний. Представлял эту комиссию Утгоф, который издавал по преимуществу военные сборники полубеллетристического характера, рассчитанные на ограниченный круг военной интеллигенции. Связи с фронтами почти не было, так, напр., наша армия и не подозревала о существовании этой комиссии. Петроградским гарнизоном интересовались весьма мало, и, кроме нескольких листовок, и то впрочем, кажется, изданных Петроградским Комитетом, ничего сделано не было. Избирательная комиссия немного встряхнула их от этой спячки. Но даже в самые ответственные дни октября-ноября 1917 года деятельность военной комиссии была весьма скромна по своим размерам и еще более незначительна по своим результатам.

В сущности говоря, Центральная военная комиссия до конца ноября почти не существовала.

В конце ноября, с приездом в Петроград членов Учредительного Собрания и когда выяснилась сугубо парламентарская позиция эсеровской фракции, именно в эти дни, по настоянию главным образом фронтовых депутатов, была реорганизована означенная выше военная комиссия. Расширенная в своем объеме, она получила известную автономию от Ц. К. В нее вошли представители военных депутатов фракции Учредительного Собрания, между ними я, два члена Ц. К., а также ряд энергичных военных эсеров. В президиум ее вошли Сургучев, член Ц. К., и я (на правах председателя). Деньги на ее деятельность были даны фронтовыми организациями. Работа комиссии, как это совершенно правильно указал в своей брошюрке Семенов, велась по отдельным секциям, друг от друга независимым и до известной степени законспирированным.

Конечно, ни в какой мере нельзя назвать работу вновь организованной комиссии сколь-нибудь совершенной или мало-мальски удовлетворительной, в ее распоряжении было слишком мало времени, и деятельность ее протекала в обстановке очень тяжелой. Тем не менее кое-что было достигнуто.

Собственно, говорить можно только о двух сторонах деятельности этой комиссии: ее работе в петроградском гарнизоне и ее боевых начинаниях и предприятиях.

Семеновский и Преображенский полки. Газета „Серая Шинель".

Состояние петроградского гарнизона к дням, предшествовавшим и последовавшим за октябрьским переворотом, представляется в следующем виде. Огромное большинство полков и воинских частей было совершенно деморализовано, и воинская дисциплина в них отсутствовала. Офицерство, после Корниловского дела взятое под особое подозрение солдатскими массами, было настроено пассивно-оппозиционно и к свергнутому Временному Правительству, и к демократии, и к Учредительному Собранию. В полках все партийные организации, кроме большевистских, распались, и условия отнюдь не благоприятствовали организации новых. Настроение солдат было достаточно определенно большевиствующее, но большевизм их был пассивный, и они были лишены каких-либо тенденций к активным вооруженным выступлениям. Вообще, как это подтверждали многие военные специалисты — реальная боевая величина петроградского гарнизона была ничтожна, и одного-двух полков, вполне преданных и боеспособных, было бы достаточно, чтобы держать в своем повиновении весь гарнизон. И тем не менее, на фоне общей пассивности, растерянности и распыленности все же солдатская масса Петрограда представляла определенную силу. Это была сила, проистекающая из бессилия противника, — сила толпы вооруженной, разнузданной и уверенной в своей безнаказанности.

Задачей военной комиссии было выделить из петроградского гарнизона те части, которые были наиболее боеспособны и в то же время наиболее антибольшевистски настроены. В первые же дни нашего пребывания в Петрограде, мои товарищи и я посетили большую часть воинских частей, расположенных в Петрограде. Кое-где мы устроили небольшие собрания с целью выяснить настроения солдат, но в большинстве случаев ограничивались беседами с комитетами и с группами солдат. Положение совершенно безнадежное было в Егерском полку, так же как и в Павловском, и в других. Более благоприятная ситуация намечалась в Измайловском полку, а также в ряде технических и артиллерийских частей. И лишь в трех частях мы нашли то, что искали, — сохранившуюся боеспособность, наличие известной дисциплины и не поддающийся сомнению антибольшевизм.

Это были полки Семеновский и Преображенский и броневой дивизион, расположенный в ротах Измайловского полка. Как полковой, так и ротные комитеты первых двух

полков в большинстве своем состояли из лиц беспартийных, но настроенных резко и сознательно против большевиков. В полках было немалое число георгиевских кавалеров, раненых в германскую войну, а также недовольных большевистской разрухой. Отношение между командным составом, полковыми комитетами и солдатской массой было вполне дружелюбным.

Мы решили именно эти три части избрать как центр боевого антибольшевизма. Через наши как эсеровские, так и родственные фронтовые организации мы вызвали в экстренном порядке наиболее энергичный и боевой элемент. В продолжение декабря прибыло с фронта свыше 600 офицеров и солдат, которые были распределены между отдельными ротами Преображенского и Семеновского полков, причем большинство прибывших было направлено в Семеновский полк, а меньшинство, приблизительно $^1/_3$,—в Преображенский. Некоторых из вызванных нам удалось провести в члены как ротных, так и полковых комитетов. Несколько человек специалистов, по преимуществу бывших студентов, мы пристроили в броневой дивизион.

Таким образом, в конце декабря мы в значительной мере увеличили как боеспособность, так и антибольшевизм вышеупомянутых частей.

Чтобы поднять настроение „наших“ частей, а также и для того, чтобы создать в петроградском гарнизоне недоброжелательное к большевикам настроение, было решено издавать ежедневную солдатскую газету. История ее весьма любопытна и мало кому известна, кроме небольшого ряда заинтересованных лиц.

Газета была названа „Серая Шинель“.

Издателем был коллектив солдат Преображенского и Семеновского полков. Точнее сказать, эти полки в их полном составе отвечали за издание этой газеты. Большую часть денег дали солдаты семеновцы. В редакционный коллектив вошли: вольноопределяющийся семеновец Б. Петров (расстрелянный большевиками при наступлении Юденича), вольноопределяющийся того же полка К. (по слухам) тоже расстрелянный большевиками), преображенец Г-ский и, наконец, я.

Первый номер газеты был составлен в тонах боевых, резко противо-большевистских, были помещены карикатуры на Ленина и красногвардейцев. Напечатанный в количестве 10.000 экземпляров, этот номер был распродан в два — три часа. Это были последние дни декабря, время, когда вся оппозиционная печать была задушена большевиками [1]). По-

[1]) Это утверждение совершенно не соответствует истине. В то время регулярно выходили не только эсеровские и меньшевистские, но даже мно-

явление газеты „Серая Шинель“ вызвало переполох в Смольном и весьма резкую статью в „Петроградской Правде“, в которой говорилось о подставных семеновцах, о том, что деньги даны буржуазией, и т. д. Второй номер, вышедший на другой день, имел не меньший успех в петроградском гарнизоне. Издать третьего номера не удалось. В два часа ночи, когда газета была только что сверстана, явился отряд красногвардейцев — дело происходило в типографии на Чернышевой площади — с ордером, подписанным Лениным, о приостановке „Серой Шинели“ и об аресте за контр-революцию Б. Петрова и Б. Соколова.

Мы не сдались.

Собрали полковые комитеты обоих полков и решили защищать газету вооруженной силой.

2 января мы выпустили „Простреленную Серую Шинель“. Газета была составлена в прежних резких тонах. В типографии с 10 час. вечера и до выхода газеты в свет дежурил вооруженный отряд преображенцев и семеновцев с двумя пулеметами.

В ту ночь большевики не явились. Видимо, Смольный боялся обострения конфликта с оппозиционно к нему настроенными полками. Но 2 января вечером преображенский и семеновский полки посетил Крыленко. Он потребовал созыва общего собрания.

В продолжение часа он убеждал семеновцев отказаться от их симпатий к „буржуазии“ и от издания столь вредной для дела „социальной революции“ газеты „Серая Шинель“.

Солдаты встретили и проводили весьма сухо Главковерха. Полковой комитет дипломатически ему обещал выполнить распоряжение Смольного. Несмотря на это обещание, и 3 и 4 января „Простреленная Серая Шинель“ выходила беспрепятственно при все увеличивающемся тираже. Успеху газеты способствовал юмористический тон и насмешки, допущенные над лидерами большевизма и над красногвардейцами. 4 января ночью помещение типографии вновь было окружено небольшим отрядом красногвардейцев, но последние, узнав, что выход газеты защищают семеновцы, не решились приступить к решительным мерам и, потолкавшись у входных дверей, ушли, не выполнив поручения Смольного об аресте редакции.

Последний номер нашей газеты вышел 5 января. Он был посвящен всецело Учредительному Собранию и выяснял замыслы большевистского правительства. Это был по-

---

гие буржуазные газеты. И эта „оппозиционная печать“ почти безвозбранно занималась ожесточенной травлей большевиков и советского правительства

Ред.

следний номер, ибо 6 января произошло два события. Усиленный отряд матросов занял пред рассветом типографию, в которой печаталась газета, а накануне вечером полковые комитеты Семеновского и Преображенского полков отказались от дальнейшей поддержки газеты. О мотивах этого решения мне придется сказать немного дальше.

Подводя итоги нашей деятельности в петроградском гарнизоне, я должен отметить, что нам удалось, правда, в незначительной степени, провести работу по защите Учредительного Собрания. Вместе с тем, ко дню открытия Учредительного Собрания, т.-е. к 5 января, в распоряжении народных избранников было два полка, относительно боеспособных и безусловно готовых, решившихся с оружием в руках выступить на защиту. Почему же этого вооруженного выступления не произошло 5 января? Почему? Этот вопрос более чем своевременно теперь поставить и не менее своевременно на него ответить. Тем более, что он всецело принадлежит истории.

Организация боевых дружин. Лужский гарнизон. Попытка ареста Ленина.

Большевики не только вели энергичную пропаганду среди петроградского гарнизона, но, пользуясь имевшимися в их распоряжении богатыми боевыми запасами, формировали всевозможные боевые, так называемые красногвардейские части. Примеру их пробовали последовать и мы. Увы! Наши начинания в этом направлении были далеко не блестящи. В то время как весь Петроград был в полном смысле слова переполнен всякого рода оружием, в нашем распоряжении последнее было в весьма ограниченном количестве. И потому получалось, что наши дружинники были безоружны или снабжены столь примитивным оружием, что оно не могло итти в счет. Да, впрочем, рабочие,— ибо именно среди них велась вербовка наших дружинников,— относились без особого энтузиазма к поступлению в боевые дружины. Как раз мне пришлось работать в этом направлении в Нарвском и Коломенском районах.

Собрание рабочих Франко-Русского завода и Нового Адмиралтейства... Конечно, собрание рабочих, сочувствующих нам, вписанных в партии противобольшевистские.

Объясняю положение и общую необходимость, с моей точки зрения, защищать вооруженной рукой Учредительное Собрание.

В ответ ряд вопросов, сомнений.

„Не довольно ли было пролито братской крови?“

„Четыре года была война, все кровь и кровь...“

„Большевики действительно подлецы, да только вряд ли они посягнут на У. С.“

„А по-моему, — заявил один из молодых рабочих, — надо, товарищи, подумать не о том, чтобы ссориться с большевиками, а как с ними сговориться. Все же, вишь, они защищают интересы пролетариата. Кто сейчас в комиссариате Коломны? Все наши франко-руссцы, большевики. Вот Смирнов, Шмахов и др.“

В результате в дружинники записалось около пятнадцати человек. У большевиков на том же заводе было дружинников раза в три больше.

Итоги нашей деятельности в этом направлении свелись к тому, что на бумаге у нас числилось до двух тысяч рабочих дружинников.

Но именно только на бумаге. Ибо большинство из них не было вооружено, весьма многие из них не являлись на явки и вообще были проникнуты духом безразличия и уныния. И при учете сил, которые бы могли защищать У. С. с оружием в руках, эти боевые дружины мы не принимали в счет.

Помимо вербовки дружинников среди петроградских рабочих, были попытки с нашей стороны к организации дружин из фронтовиков, из фронтовых солдат и офицеров.

Как было мною отмечено в первых главах настоящей статьи, некоторые из наших фронтовых организаций были достаточно сильны и деятельны. Особенно можно было это сказать про комитеты Юго-Западного и Румынского фронтов. Еще в ноябре месяце военная комиссия прибегла к помощи этих комитетов, и те начали направлять в Петроград фронтовиков, наиболее надежных, хорошо вооруженных, посланных как бы в командировку по служебным делам.

Часть из этих фронтовиков, как это было сказано, была направлена в „укрепление“ Семеновского и Преображенского полков. Но часть из прибывающих солдат мы хотели оставить в непосредственном нашем распоряжении, сформировав из них боевые летучие отряды. С этой целью нами были предприняты шаги, чтобы по возможности конспиративно разместить их в самом Петрограде, не вызвав до поры до времени подозрений большевиков. После некоторых колебаний мы остановились на мысли открыть солдатский народный университет. В середине декабря таковой и был открыт в стенах одного из высших учебных заведений. Самое открытие состоялось с ведома и санкции большевистских властей, ибо программа, в нем указанная, была и вполне невинная, общекультурно-просветительная, и среди руководителей и лекторов университета были указаны лица,

заведомо лойяльные по отношению к большевистскому правительству.

В наших интересах было держать этих курсантов-боевиков вместе, дабы в случае неожиданного ареста они могли бы оказать противодействие, и дабы легче их было использовать в случае выступления против большевиков. После долгих поисков мне удалось, благодаря содействию известного общественного деятеля К., устроить таковое общежитие, рассчитанное на двести человек, в помещении Красного Креста на Фонтанке.

Прибывающие фронтовики являлись на курсы и отсюда шли в общежитие. Как правило, приезжали они с ружьями, снабженные несколькими ручными гранатами. К концу декабря таких курсантов набралось уже несколько десятков человек. И так как были это все люди боевые и решительные, то они представляли собой несомненную силу.

Это дело не было развернуто в полном масштабе, так как Центральный Комитет эсеров усмотрел в нем слишком рискованную авантюру. Нам было предложено приостановить это начинание. Мы это и сделали.

Вскоре после разгона Учредительного Собрания большой отряд красноармейцев явился как в здание Университета, так и в общежитие. Большинство курсантов было арестовано, обезоружено и посажено в тюрьму.

В одном из заседаний военной комиссии деятельнейший член последней Д. Сургучев сообщил нам некоторые важные данные о лужском гарнизоне. По его словам, большинство этого гарнизона, особенно артиллерийские части, были настроены весьма противо-большевистски. Целые группы солдат этого гарнизона обратились в местный партийный комитет с просьбой привлечь их к участию в защите Учредительного Собрания. Эти солдатские группы выражали желание прибыть в том или ином виде в Петроград к 5 января. Посланные наши представители выяснили правильность в значительной мере сообщенных Сургучевым сведений. С состоянием лужского гарнизона ознакомился лично член нашего Ц. К. Г-ч.

Военная комиссия после всестороннего и детального обсуждения склонилась к тому, чтобы использовать настроение лужан. Но на пути этого постановления встало два препятствия. Во-первых, мы никак не могли сговориться с Викжелем, иначе Центральным Органом Железнодорожников. Это учреждение было хуже, чем большевистское. Ибо, будь оно большевистское, было бы оно для нас определенным врагом, с которым можно и должно бороться. Викжелисты же на словах выражали симпатии демократии и интеллигенции, а на деле оказывали всякое противодей-

ствие малейшим попыткам использовать железнодорожный аппарат для борьбы с Советской властью. При этом их лойяльность ограничивалась лишь одной стороной. Большевики превосходно и беспрепятственно имели возможность использовать для своих нужд тот же железнодорожный аппарат [1]).

Второе препятствие было более значительным и непреодолимым, ибо с первым мы могли надеяться так или иначе справиться. Второе препятствие это было отношение членов Ц. К. к нашему предприятию, или, как они называли, к нашей „очередной авантюре". Мне неизвестны точно мотивы постановления Ц. К. и те прения, которые развернулись вокруг него, но во всяком случае Г-ч сообщил нам, что нам придется отказаться от желания использовать лужский гарнизон. Поскольку мне известно, это решение было проиктовано боязнью кровопролития, нежеланием вмешивать в политическую борьбу армию и, что самое главное, неуверенностью в успехе предложенной Д. Сургучевым экспедиции.

Как бы то ни было, но мы оставили лужский гарнизон в покое.

Помимо чисто „военной работы", т.-е. работы в воинских частях, наша военная комиссия не была чужда и боевой деятельности. Только последняя была тщательно законспирирована от большинства членов комиссии и протекала до известной степени автономно от нас, под руководством весьма энергичного и смелого Онипко.

В одном из заседаний,—это было в середине декабря,—Онипко сделал следующий доклад, чрезвычайно интересный и требовавший санкции военной комиссии.

Еще в конце ноября Онипко подобрал небольшую группу лиц, в большинстве своем военных. Это все были, по его словам, бесстрашные и честные люди, принципиальные противники большевиков и стоявшие на той точке зрения, что в отношении большевиков все позволено. По своим убеждениям они примыкали к эсерам, но были беспартийными. После некоторого обсуждения форм возможной боевой работы Онипко и они пришли к тому заключению, что наиболее целесообразным представляется срезать „большевистскую головку". Они мало дебатировали вопрос, каким способом надо ее срезать. Им представлялось ясным, что наиболее зловредными и важными большевиками являются Ленин и Троцкий. Надо начать именно с них. Весьма быстро они выработали план практичный и вполне

---

[1]) Упреки не совсем справедливы. Викжельцы не меньше препятствий чинили и большевикам. *Ред.*

реальный. В те дни в Смольном происходила немалая сумятица, и они этим воспользовались. Двое из них поступили на службу в Смольный, двое попали в шоферы.

Скоро ими было выяснено, что почти ежедневно Ленин ездит к своей сестре, которая проживала на Васильевском острове. Здесь он остается некоторое время, иногда ужинает и возвращается обратно в Смольный или к себе на квартиру. Одному из боевиков удалось поступить дворником в тот дом, где проживала сестра Ленина. Наконец, другому боевику посчастливилось: за свою примерную службу и распорядительность его назначили шофером на автомобиль, в котором ездил Ленин.

Одновременно другой ячейкой была сплетена не менее прочная паутина вокруг Троцкого.

Онипко предполагал не убивать Ленина и Троцкого, но изъять их „из употребления" в качестве заложников. Но, как он нам признавался, „мы не задумаемся и перед более решительным изъятием этих вредных лиц".

Боевики хорошо понимали, что изъятие двух лиц вряд ли принесет большие результаты. Но они смотрели на этот акт, как на проявление активности, для того, чтобы поднять настроение населения, запуганного большевиками;— чтобы показать, „что есть еще люди, способные дать отпор зазнавшимся большевикам".

Они смотрели на это изъятие, как на первое звено, первый шаг своей деятельности. Ими был подготовлен и практически детально разработан план изъятия „действительно всей большевистской головки". Для этого в разные отделения Смольного ими были поставлены сотрудники, сумевшие проникнуть в самые затаенные уголки большевистского центра. Дело оставалось за небольшим.

Нужна была санкция этого, по существу террористического акта, военной комиссией и Центральным Комитетом с-ров.

Предполагалось изъять Ленина в первый день Рождества.

Если не ошибаюсь, на другой же день наше постановление было доложено Ц. К. Там оно вызвало резкую оппозицию. Кроме двух-трех членов, склонявшихся в нашу сторону, большинство в форме категорической и непререкаемой высказалось против боевой деятельности, против плана, предложенного Онипко.

Это был голос благоразумия.

„Такое выступление с нашей стороны вызовет, не может не вызвать обратную волну террора со стороны большевиков".

Но не только это. „Важно и то обстоятельство. . что арест или убийство Ленина вызовет такое возмущение

среди рабочих и солдат, что это может окончиться всеобщим погромом интеллигенции. Ведь для многих и многих Ленин и Троцкий популярные вожди. Ведь за ними идут народные массы".

„Разве это не показали последние выборы по Петрограду, когда за Ленина голосовали тысячи человек!!!"

„Террористические акты, — заявил виднейший лидер партии эсеров, с мнением которого особенно считался Центральный Комитет, — террористические акты при нынешней обстановке абсурдны и нелепы. Их допустить могут только безумцы. Ведь сейчас в России нет самодержавия и самодержавного полицейского гнета. Если мы допустим террор в отношении большевиков, то это будет преступление, которое нам не простят наши потомки... Это безумие".

Почти единогласно, как это было нам передано в военной комиссии, было решено Центральным Комитетом не допускать реализации плана, одобренного нами. Было решено предложить Онипко ликвидировать свою организацию. Правда, последнее решение осложнялось тем обстоятельством, что организация Онипко была в сущности беспартийной, но сам Онипко был эсер, входил во фракцию Учредительного Собрания и тем самым был подчинен партийной дисциплине.

Конечно, после этого изъятие большевистских лидеров стало невозможным. Но, поскольку мне известно, отголоском этого дела, этого плана было неудачное покушение на Ленина, имевшее место в последних числах декабря. Несколько револьверных пуль, пронизавших автомобильный кузов. Впрочем, точное и детальное описание всего этого эпизода принадлежит будущему. Сейчас это было бы несвоевременным. Участники этого покушения живы и притом в России.

Решительные дни. Экспедиция заготовления государственных бумаг. По фабрикам и казармам.

Эти дни я вспоминаю с удовольствием.

Это были последние дни перед темными годами беспросветного и безнадежного существования,—дни, когда верилось, что может быть удастся преодолеть большевизм и остановить его разрушающую силу.

В эти дни, когда все готовилось к борьбе с большевиками, для меня, по крайней мере, не было вопроса о том, кто победит, безнадежна ли предпринятая нами борьба, разумно или нет проливать большевистскую кровь?

В эти дни я был вполне уверен, что мы должны победить, что мы не можем не победить. Ибо самый холодный и спокойный анализ наших и противника сил говорил мне об этом. Да и плох тот борец, что вступает в борьбу неуверенный в своей победе. Было только одно сомнение, одно место, которое мне казалось слабым в нашей позиции, это—те внутренние противоречия, которые существовали в демократии, в частности, в нашей фракции. Противоречия меньше всего политические или программные, противоречия психологические. Ибо столь велика была разность психологии между отдельными членами последней: одни преисполненные государственности, прошедшие через год работы у государственного аппарата, другие,—сохраняющие почему-либо свою прежнюю психологию, к тому же испытавшие войну.

Разве психологически могло быть что-либо общее между Марком Вишняком, который в эти дни с таким упоением мог целые часы посвящать докладам о конституции Российской Республики, той конституции, которую должно будет утвердить Учредительное Собрание, и Онипко, который тщательно избегал Болотной улицы, скрывался по конспиративным квартирам, преисполненный одной только мыслью об активной борьбе с большевиками.

Последние дни перед 5 января проходили как к военной комиссии, так и в комитете защиты в лихорадочной работе. Масса народа постоянно толпилась в приемной комитета на Литейном проспекте. Одни приходили за листовками и т. д., другие—за справками, наконец, немало лиц являлось с весьма конспиративным видом и о чем-то шепталось с ответственными руководителями комитета.

Аналогичная картина наблюдалась и в помещении военной комиссии на Галерной улице. Жизнь начиналась здесь очень рано, и чуть ли не в 7—8 ч. утра приходили к нам из разных полков и частей солдаты за газетой, за воззваниями, наконец, со всякого рода конспиративными поручениями. Несколько комнат, занимаемых нами, были постоянно заняты конспираторами, с видом величайших заговорщиков шопотом друг с другом разговаривавшими.

Между военной комиссией и комитетом защиты было установлено единство действия и разработан общий план выступления 5 января. Этот план, детализированный до мельчайших подробностей, сводился к следующему:

Рабочие экспедиции заготовления гос. бумаг, настроенные особенно противо-большевистски [1]), должны были собраться

---

[1]) Рабочие экспедиции всегда отличались своей отсталостью и консервативностью, ибо царское правительство особенно тщательно подбирало туда

к определенному часу, если не ошибаюсь, к 8 часам утра, на Фонтанке, против здания своей фабрики. Сюда же должны были быть направлены мобилизованные комитетом защиты в Нарвском и Коломенском районах силы. Всю эту группу лиц, которая по самому скромному расчету должна была достигнуть 8—10 тысяч, предполагалось двинуть к помещению, занимаемому броневым дивизионом в одной из рот Измайловского полка. Броневой дивизион был вполне в наших руках, среди офицеров и солдат был произведен тщательный отбор, негодный элемент заранее был отпущен местным комитетом в отпуск. Состав комитета был пополнен некоторыми верными фронтовиками. Число броневых машин, годных к употреблению и способных принять участие в вооруженном выступлении, было восемь или девять.

Демонстрация рабочих экспедиции, пополненная столь внушительной силой, как девять броневых машин, должна была двинуться по Первой Роте к Технологическому Институту. Против последнего был назначен другой сборный пункт, куда должны были собраться окрестные обыватели, студенты технологи и рабочие Московской части.

Центральным пунктом, особенно важным для всего выступления 5 января, был Семеновский полк. Здесь в его казармах, рядом с Царскосельским вокзалом, должна была разыграться одна из главнейших историй этого дня. Предполагалось, что вся демонстрация подойдет к 10 часам утра к Семеновским казармам. Здесь к этому времени должны были быть я, Б. Петров и ряд других членов комиссии. С помощью полкового комитета полк должен был быть построен на площади. Он должен был присоединиться к демонстрации и ее возглавить. В те дни число солдат Семеновского запасного батальона считалось, если не изменяет мне память, до 4 тысяч человек. По мнению полкового комитета, в вооруженной демонстрации приняло бы участие не менее 3 тысяч человек, вооруженных и снабженных пулеметами. Все руководство этой части выступления возлагалось на военную комиссию.

С другой стороны, василеостровские группы демонстрантов, соединившись с выборгскими рабочими, которые частично предполагали принять участие в демонстрации, должны были подойти к казармам Преображенского полка. Если почему-либо им был бы прегражден доступ на Литейном проспекте и они не могли бы выйти к преображен-

---

„благонадежных" людей. В свое время экспедиция была оплотом зубатовских и гапоновских желтых организаций. Теперь она стала оплотом эсеровского „демократизма". *Ред.*

цам, то считалось рациональным направить их по Владимирскому проспекту навстречу первой демонстрации.

Таким образом, даже при самых неблагоприятных условиях выступление должно было быть внушительным по своей силе и многолюдности. Весьма сомнительно, чтобы большевики решились бы преградить путь вооруженным демонстрантам. По частным сведениям, полученным В. К., в случае устрашающих размеров демонстрации большевики склонялись к тому, чтобы 5 января прошло „прилично и мирно". И только впоследствии они предполагали вернуть утраченную позицию.

Конечно, трудно сказать с полной уверенностью, чем бы окончилось это вооруженное выступление, если бы оно состоялось.

Среди нас было немало сомневающихся, как это и вообще характерно для русских, в частности для русских интеллигентов: сомневаться во всем, а прежде всего в своих силах. Но несомненно, что эти сомневающиеся имели известные основания для своего колебания, ибо они еще были всецело под своеобразным гипнозом октябрьских дней, когда с такой легкостью, точно карточный домик, рассыпалось Временное Правительство. Эти сомневающиеся говорили:

„Вот увидите, что ни семеновцы, ни преображенцы, да и вообще никто не выступит на защиту Учредительного Собрания. Почему в октябре, кроме женского батальона, юнкеров, да гласных городской думы, никто даже не пошевельнулся? Что с тех пор переменилось? И чем У. С. лучше Временного Правительства? Лучше и не стоит затевать это вооруженное выступление, раз нельзя быть вполне уверенным в успехе".

А другие добавляли:

„Сейчас большевизм, точно зараза, захватил народные массы. С этим надо считаться, это надо учесть. Все эти ваши семеновцы и преображенцы — чепуха, авантюра, из которой кроме беды ничего выйти не может. Надо подождать..."

Чего подождать — об этом умалчивалось или говорилось общими фразами.

Конечно, спокойное беспристрастие заставляет нас признать, что за сомневающимися была известная доля правды. Это были дни, когда люди, говорившие утром „да", вечером говорили „нет". Самые, казалось, твердые люди находились в состоянии депрессии и бесконечных сомнений. И, разумеется, безусловной уверенности не могло быть ни в успешности вооруженного выступления, ни в том, что действительно семеновцы и преображенцы выступят

5 января, что они не изменят своему решению в последнюю минуту.

Это я считаю необходимым отметить, дабы избежать упреков, вполне справедливых, в излишнем оптимизме.

Мои посещения в эти дни заводов и казарм дают немало данных для характеристики этого времени, непосредственно предшествовавшего пятому января.

Экспедиция заготовления государственных бумаг. В большом театральном зале полным-полно. Настолько полно, что многие принуждены стоять в коридоре. По приблизительному подсчету, на собрании свыше 4.000 человек. Это очень много, это есть показатель, что рабочие Экспедиции интересуются этим собранием. Вопросом основным, который дискуссируется рабочими, является вопрос о большевизме, об Учредительном Собрании и о защите последнего.

Настроение единодушно антибольшевистское. Большевистским ораторам не дают говорить, их прерывают, угрожают расправиться.

Раздаются возгласы:

„Вам мало того, что свергли Временное Правительство. Теперь хотите расправиться с Учредительным Собранием. Сколько лет его ждали, наконец-то дождались. Дорвались, небось, до власти — понравилось. Да здравствует Учредительное Собрание!"

И тут же рядом в воздухе: „Да здравствуют Советы!"

Но советы не большевистские, а „свои", „собственные".

И это единодушное настроение кажется искренним. И не только кажется, оно и было в действительности таковым, так как издавна Экспедиция славится у большевиков, как гнездо мелкой буржуазии и контр-революции.

И в той же Экспедиции происходит митинг 6 января. Уже в верхнем зале, столь же многолюдный, еще более бурный. Но прежнего настроения уже нет. Большевистские ораторы выслушиваются внимательно, хотя угрюмо и молча. Ведь большевики победители, а демократия побежденная. Притом, побежденная в условиях, которые кажутся рабочим непонятными и дикими. Сдача позиций почти без боя.

И в психологии рядового рабочего невольно возникает мысль: если так легко досталась победа большевикам, то не значит ли это, что за ними есть известная доля правды?

И теперь среди рабочих Экспедиции я уже не мог заметить ни возмущения большевиками, столь резко и ярко выраженного до 5 января, ни того поклонения перед демократией и идеей Учредительного Собрания, которое было характерно для этого фабричного центра.

Франко-Русский завод был еще до войны местом, в котором гнездились большевики. После октябрьской революции немало франко-руссцев заняло ответственные, хотя и второстепенные посты. И общее настроение рабочих франко-руссцев было далеко не благоприятным для Временного Правительства. Несмотря на это, даже они были перед пятым января в некоторой нерешительности.

Митинг незадолго перед пятым января. Почти все рабочие присутствуют. Председательствует большевик Смирнов. Весьма ярый, энергичный и смелый.

„Товарищи, мы стоим перед необходимостью, перед возможностью разогнать это Учредительное Собрание, ибо — это уже видно — оно насквозь пропитано буржуазными предрассудками и тяготеет к контр-революции".

„Нет, товарищи-большевики. Вы это сделать не сможете. Это неправильно. Ибо вы нарушаете прерогативы всего народа, который избрал это Всероссийское Собрание. Если вы так поступите, то помните, вам этого насилия никогда не простит русский народ, русский пролетариат", отвечает Смирнову небезызвестный максималист, рабочий Шмаков.

И видно, что большинство, несомненное и подавляющее, на стороне этого последнего. Не сочувствуя Временному Правительству, не тяготея особенно к демократии, франко-руссцы, тем не менее, против незаконных поступков большевиков.

И на том же Франко-Русском заводе митинг шестого января.

Говорит Зиновьев. Говорит о том, почему „пролетарская власть" была принуждена разогнать „мелко-буржуазную Учредиловку".

И сам Зиновьев встречается рабочими, как победитель. А его речи, демогогически-грубые, принимаются с энтузиазмом. И рабочие, самые умеренные, между собой толкуют:

„Ведь никто собственно не разогнал Учредиловку, она разошлась сама собой. Не много понадобилось большевикам, чтобы с нею справиться".

Измайловский полк принадлежал к числу тех воинских частей, которые долго не могли решить, за кем они пойдут: за большевиками или против них. И агитаторы большевики постоянно и в большом количестве посещали этот полк, в котором они принимались то сочувственно, то безразлично. За несколько дней до пятого января имел место в кинематографе полка грандиозный полковой митинг. Со стороны большевиков выступали Крыленко, Пятаков, с нашей стороны — Фортунатов, кажется, Вольский и я. Большевистских ораторов солдаты встречали весьма сочувственно и одобряли их выкрики, направленные по адресу „им-

периалистической войны", „Антанты", „Клемансо", „буржуазного Временного Правительства" и т. д. Но лишь оратор касался вопроса об Учредительном Собрании (нужно отметить, что по директивам сверху в эти дни большевистскими агитаторами повсюду и весьма энергично подготовлялась почва для разгона У. С.), сейчас же толпа его прерывала бурными и всегда единодушными возгласами.

„Не смей, не тронь, пущай будут и Советы и Учредительное Собрание. Зря что ли избирали депутатов?..."

Видимо, идея о необходимости Учредительного Собрания запала до известной степени в душу солдатскую, солдатам казалось, — так логически вытекало, — что только Учредительное Собрание может им дать и настоящий мир, и настоящую землю. И само Учредительное Собрание представлялось им своего рода сфинксом, значение и силу которого они преувеличивали. И когда пятого января этот сфинкс так легко и грубо, а главное безнаказанно, был разрушен большевиками, то солдатскую душу постигло жестокое разочарование. И можно ли их — солдат — обвинять за то, что шестого января на повсеместных митингах, устроенных большевиками, они аплодировали победителям, которые так легко вышли из борьбы с этим сфинксом. Ведь все происходившее преломлялось в солдатской душе посвоему, весьма примитивно и наивно... Да и помимо прочего, более всего им было близко положение: „победителя не судят".

И шестого января на митинге в Измайловском полку я был очевидцем торжества большевиков. Их встречали с энтузиазмом, провожали долгими и продолжительными аплодисментами каждого из ораторов. Со стороны оппозиции никто не выступал. Да, впрочем, если бы и захотел выступить, ему не дали бы говорить.

Того же шестого января мне удалось быть на митинге в Преображенском полку. О симпатиях и настроениях преображенцев я уже говорил. Среди солдат этого полка у меня было много друзей, много учеников. В этот вечер они смущенно меня окружили и с недоумением меня спрашивали:

„Как же быть? Что теперь делать? Кто даст теперь народу мир? Кто ему даст землю? Почему никто не защищал У. С.?"

И те же самые преображенцы, которые 2 января не дали произнести ни одного слова большевику Пятакову, теперь с растерянной молчаливостью выслушивали длинные и дипломатические рассуждения большевиков.

Преображенцы были выбиты из колеи. Они ничего не понимали, не могли понять. За кем им теперь итти, кому

поклоняться? Более других были смущены члены полкового комитета. Они растерянно меня все спрашивали: „Посоветуйте, что теперь говорить солдатам? Как им объяснить столь легкую победу большевиков?"

Третьего января приехал в Семеновский полк сам Крыленко. Приехал он, чтобы подготовить почву для предстоящего разгона Учредительного Собрания, чтобы рассеять ту, как он выражался, „тяжелую атмосферу контр-революции, которая заполняет эти казармы". Но вместо триумфа, к которому он так привык, его ожидало поражение.

И в том же полку после 5 января.

Смущенные, раздосадованные, злые на всю интеллигенцию, а больше всего на нас, которые им столько говорили о необходимости для России и для русского народа Учредительного Собрания и которые дальше слов не пошли. В глазах семеновцев мы „струсили", „пошли на попятный". И когда мне пришлось раза два после 5 января посетить казармы Семеновского полка, столь мне знакомые, то встречали меня молча, еле роняя слова, словно я был предателем или изменником.

То, что казалось там, „на верху партии", величайшей целесообразностью и необходимостью, то на самых низах народных простыми и серыми солдатами было учтено как величайшая слабость, как неумение и нежелание бороться. И мне думается, что в разладе между интеллигенцией и народными массами день 5 января сыграл еще худшую роль, чем Октябрьская революция.

Наконец, еще одно воспоминание, по-своему яркое и интересное.

Нам было сообщено, что большевики хотят обязательно вывести на улицу для демонстрирования против Учредительного Собрания моряков I и II Балтийских Экипажей. Среди матросов II Экипажа была у нас небольшая организация, и даже председатель Экипажного комитета Сафронов, интеллигентный матрос, стоял горою за нас.

Мы решили устроить 3 января экипажное собрание. Было оно многолюдным. После речей весьма проникновенных Слонима, Сафронова и других, какой-то матрос энтузиаст вскочил на эстраду и закричал:

„Братцы, товарищи, поклянемтесь, что не пойдем против народного собрания..."

„Клянемся..."

„На колени, товарищи, на колени!"

И вся эта многотысячная толпа матросов становится на колени и кричит:

„Клянемся не итти против Учредительного Собрания".

Именно — „не итти против". О том, чтобы итти за Учредительное Собрание, они даже не думали. Их энтузиазма, их волеизъявления хватило только на то, чтобы быть пассивными.

Мы, впрочем, были довольны и этим, ибо балтийцы не только сдержали свою клятву и не вышли 5 января на улицу, но и склонили I Балтийский Экипаж последовать их примеру.

Матросы не избежали общей участи. Разгон Учредительного Собрания на них подействовал тягостно. И вместо того, чтобы негодовать на тех, кто посягнул на народных избранников, вместо возмущения поведением большевиков, матросы, как и прочие солдаты, аплодировали победителям и осуждали побежденных.

Жизнь фракции. Законным путем. Разочарования и сомнения. Левые эсеры.

В то время как в военной комиссии и в комитете защиты шла интенсивная работа, участие в которой принимало не более 8—10 членов У. С., в это время жизнь фракции текла своим довольно мирным чередом.

Ежедневно, как это уже было мною сказано, происходили заседания комиссии или пленума, совещания с другими оппозиционными фракциями, приемы делегаций и депутаций. Все шло так же, как и в первые дни декабря, лишь больше было съехавшихся депутатов, продолжительней и бурнее шли заседания, и сложнее и темнее казалась общая политическая обстановка.

Фракция по-прежнему стояла за неучастие свое во внепарламентской борьбе за Учредительное Собрание. В конце декабря пленуму был доложен план военной комиссии и комитета защиты — выступить вооруженно против большевиков. К этому проекту большинство фракции, особенно ее руководящие персонажи, отнеслось недоверчиво и отрицательно.

В итоге и к первым числам января позиция фракции осталась прежней: если хотят нас защищать — пусть защищают, это не только право, но и долг наших избирателей Долг народный. И в отношении проекта вооруженного выступления установилась идентичная точка зрения: мы не возражаем против такого выступления, но непосредственного участия в нем принимать не будем. Не будем и не можем.

Мною было уже указано, что большинство фракции было преисполнено сугубым парламентаризмом. Но помимо того, отношение этого большинства к большевикам, к Со-

ветской власти, наконец, к У. С. базировалось на своеобразной идеологии. Глубоко веря в правильность исповедуемых ими демократических принципов и видя в Учредительном Собрании необходимейшее и обязательнейшее учреждение, при посредстве которого эти принципы могут быть реализованы наиполнейшим образом, они невольно придавали идеалистический оттенок всему тому, что было связано с У. С. и с идеей его. Подобно тому как монархисты считали особу государя священной, так и демократы, в частности депутаты, видели в Учредительном Собрании нечто священное, посягательство на которое они не могли иначе расценивать, как преступление недопустимое, чуть ли не кошмарное. И вполне логически отсюда вытекало, что их психология не хотела, не могла допустить, не могла даже предположить о возможности такого преступления, о том, что мог кто-нибудь наложить свою дерзновенную руку на дорогое им Всероссийское Народное Собрание.

Сколько раз и из уст самых различных по темпераменту товарищей своих по фракции, как впрочем и от представителей других фракций, мне приходилось слышать:

„Вы говорите, что большевики хотят разогнать Учредительное Собрание... С трудом в это верится. Ведь это логическая несообразность. Разве не сами же большевики все эти последние месяцы кричали о том, что необходимо созвать как можно скорее У. С...“

„С трудом верится, — говорил как-то Церетели, — чтобы большевики осмелились разогнать У. С. Им ни народ, ни история этого не простили бы. Десятилетия вся передовая российская интеллигенция стремилась к осуществлению своей идеи. Это было лозунгом не только наших либералов, но прежде всего революционеров. Я убежден, что большевики только пугают, чтобы сделать оппозицию более уступчивой...“

И это говорил один из наиболее реалистически настроенных депутатов.

Правда, что чем ближе к пятому января, тем более зловещими казались сведения, получаемые во фракции из большевистских сфер. Это были уже не слухи. Более чем слухи, — это были факты. Во фракции стало известно, что большевики решили не стесняться с Учредительным Собранием, если только последнее не подчинится окончательно и безоговорочно большевистскому правительству, большевистской программе. Несмотря на всю достоверность этих сведений, оппозиционные фракции, в частности эсеровская, не сочли нужным, не сочли возможным сойти с занятой ими позиции, которую я охарактеризовал, как сугубо-парламентарскую.

Быть может, было уже и поздно.

Несколько штрихов, которые врезались в мою память и которые лучше всего иллюстрируют настроения, царившие в эти дни во фракции:

С первых же дней существования фракции обрисовалось совершенно ясное отношение к большевистской власти, обрисовалось как безусловно отрицательное. Был выдвинут лозунг:

„Ни в какие переговоры, ни в какие сношения не вступать с большевиками. Ибо они узурпаторы. Ибо они предатели".

Но вскоре—это было в середине декабря—жизнь поставила фракцию лицом перед печальной действительностью: ведь как ни как, реальная власть была в руках у большевиков, а последние в лице Урицкого заявили в официальном порядке: лишь те депутаты будут признаны таковыми и будут допущены в Таврический дворец, которые зарегистрируются у него, у Урицкого, и получат соответственный (если не ошибаюсь — красный) билет, билет за подписью самого Урицкого, со штемпелем большевистской комендатуры. Это объявление вызвало длинные дискуссии во фракции. Вопрос был поставлен на принципиальную точку зрения. „Допустимо ли, чтобы мы, народные избранники, подчинились этой по существу самовольной регистрации? И не будет ли это полупризнанием с нашей стороны того, что большевики все-таки какая ни на есть власть?"

Как бы то ни было, все мы получили билеты за подписью комиссара Урицкого...

Встреча нового года.

Душные комнаты в гимназии Гуревича. Скверно освещенные и пропитанные табачным дымом. Говорятся речи, соответствующие моменту... Говорят Чернов, Пумпянский и многие другие, имена которых стерлись в моей памяти. И хотя речи красивые, проникнутые верой в светлое будущее, в победу идеалов, хотя все они не лишены оптимизма, но в них нет одного — того, что особенно было необходимо в эти дни: дерзости, подлинного революционного активизма, бодрости, которой ничего не страшно.

Я не знаю, с каким чувством уходили из гимназии Гуревича мои товарищи. Вероятно — во всяком случае большинство из них — чувствовало так же, как и я.

Мне же было очень тяжело, тяжелее, чем в каком-либо другом из собраний этого времени.

Я говорил уже, что одной из важнейших комиссий во фракции была комиссия первого дня. По существу эта комиссия должна была все предусмотреть, обо всем поду-

мать. Что делать, если большевики не пойдут на смешанный президиум? Как поступить, если большевики не будут давать говорить оппозиционным ораторам? Что, наконец делать, если они будут разгонять непослушных депутатов? Эти и им подобные вопросы становились перед Комиссией, и она должна была их разрешить. По-своему это она и попыталась сделать.

В том, как обсуждался порядок дня Первого Всероссийского Учредительного Собрания, в его схеме, начертанной комиссией, в проектах речей, было одно общее, что больше всего бросалось в глаза,—это желание удержать Учредительное Собрание на сдико возможной высоте. Не дать его уронить в глазах народных. Не позволить втоптать великую идею — великое учреждение в грязь.

Что же предполагалось для этого сделать? Что хотели противопоставить большевистским посягательствам на священность У. С.?

Большинство мер, предложенных и принятых комиссией, по-своему рациональны, но... если бы дело шло о парламентском заседании в какой-нибудь культурной стране и если бы противником был кто-нибудь другой, а не большевистское, ничего не стесняющееся, правительство.

Были выбраны особые старосты-руководители, по знаку которых должно было итти голосование. Предусматривалась шумная оппозиция, и знаки согласно этому были особые, немые.

Прошли слухи, не вполне достоверные, что большевики хотят в самом начале заседания перерезать проводы и потушить свет в зале заседания. И на этот случай предусмотрительно Комиссия распорядилась, чтобы мы запаслись свечами.

Было предусмотрено долгое ночное заседание, возможность оставления большевиками нас без еды. И на этот случай было поручено Слетовой приготовить несколько сотен (быть может, тысяч) бутербродов.

„А если большевистские наймиты по приказу своих лидеров решатся на насилие? Что если будут нас избивать или быть может убивать?"—предлагался вопрос многими из нас нашим лидерам, нашим старостам-руководителям.

И на этот вопрос был нами получен ответ определенный и ясный, лучше всего характеризовавший фракционную идеологию:

„Мы должны помнить, что мы—народные избранники. Мы должны высоко держать знамя У. С. И если большевики решатся на насилие. мы должны быть готовы на то, чтобы пожертвовать нашей жизнью".

„Товарищи, только держитесь в этом случае все вместе. Все-таки будет легче".

Почему-то,— признаюсь откровенно, мне это не вполне понятно,— считалось чрезвычайно важным провести непременно до разгона У. Собрания, в случае, если последнее будет иметь место, через пленум все те основные законы, которые были выработаны во всех многочисленных комиссиях фракции. Закон о конституции, закон о земле, и т. д. Мы, иначе говоря, фракция, были под гипнозом,— я не могу этого определить другим словом,— того, что проведение основных законов через У. С. разрешает запутанное общее положение и что это для блага российского народа более, чем существенно. И благодаря этому гипнозу, внушенному нам нашими законниками, мы совершенно забывали действительность.

Забывали, что власть принадлежит большевикам. Забывали о том, кто такие большевики. Забывали о том, что в этом спешном проведении основных законов есть источник для оспаривания законности этих последних. Как бы то ни было, но разработанный комиссией план был и импозантным, и не лишенным красоты. Ибо кристаллизация его должна была происходить вокруг великой идеи народоправства и подчеркнуть „священность Учредительного Собрания".

Увы, большевики противопоставили плану комиссии и стройной защите Учредительного Собрания злую гримасу над последним, беззастенчиво проведенную ими.

В предыдущих главах мною была обрисована деятельность тех организаций, которые приняли на себя защиту У. С. Мною было отмечено, что эти организации пришли к необходимости вооруженной демонстрации в день созыва Учредительного Собрания и проявлению наибольшей активности в этом направлении. Я указывал также и на то, что к первым числам января эти приготовления были до известной степени закончены, что план выступления был детально разработан и что дело стояло лишь за немногим: за санкцией этого выступления Центральным Комитетом.

Мы,— я говорю о военной комиссии,— нисколько не сомневались в положительном отношении к нашему плану действия со стороны Ц. К. И тем больше было разочарование... Третьего января на заседании Воен. К. нам было сообщено о состоявшемся постановлении нашего Центрального Комитета. Этим постановлением категорически запрещалось вооруженное выступление, как несвоевременное и ненадежное деяние. Рекомендовалась мирная демонстрация, причем предлагалось, чтобы солдаты и прочие воинские чины при-

яяли участие в демонстрации невооруженными, „во избежание ненужного кровопролития".

Мотивы этого постановления видимо были довольно разнообразны. Нам, непосвященным, сообщили о них в значительно сокращенном виде. Во всяком случае, это постановление было продиктовано самым лучшим намерением.

Во-первых, боязнь гражданской войны или, точнее, братоубийства. Именно Чернову принадлежит знаменитое изречение, „что мы не должны пролить ни одной капли народной крови".

„А большевики?"—его спросили—можно ли проливать кровь большевиков?".

„Большевики—тот же народ".

Вооруженная борьба с большевиками в это время рассматривалась как действительное братоубийство, как борьба нежелательная [1]).

Во-вторых, на памяти у многих были неудачи московского и петроградского вооруженных выступлений на защиту Временного Правительства. Эти выступления показали бессилие и неорганизованность демократии. Отсюда проистекала своего рода боязнь перед новыми вооруженными выступлениями, неуверенность в своих силах, более того, убежденность в заведомом неуспехе такого рода выступления.

В-третьих, безусловно господствовало то настроение, о котором я говорил в начале этой статьи. Пропитанное фатализмом убеждение о всесильности большевизма, о том, что большевизм это есть явление народное, которое захватывает все более и более широкие круги народных масс.

„Надо дать изжить большевизм".

„Дайте большевизму изжить самого себя".

Вот лозунг, выдвинутый именно в это время, и, думается мне, он сыграл довольно печальную роль в истории противобольшевистской борьбы. Ибо лозунг этот знаменует собой пассивную политику.

Наконец, в четвертых, был все тот же идеализм, основанный на вере в торжество демократических принципов, на вере в волю народа.

Итак, мы стояли перед запрещением вооруженного выступления. Это запрещение застало нас врасплох. Со-

---

[1]) Вооруженное выступление все же готовилось. Это показывает, что даже в то время, после неудачи московского и питерского восстаний, далеко не всеми всерами борьба с большевиками рассматривалась как нежелательная, как „братоубийство". Впоследствии всеры окончательно избавились от этого „предрассудка" и бесповоротно стали в ряды белых. *Ред.*

общенное же в пленуме военной комиссии, оно породило немало недоразумений и недовольства. Кажется, удалось в самую последнюю минуту предупредить о нашем перерешении комитет защиты. Им в свою очередь были приняты спешные шаги и изменены сборные пункты. Больше всего волнения пришлось испытать семеновцам.

Борис Петров и я посетили полк, чтобы доложить его руководителям о том, что вооруженная демонстрация отменяется, и что их просят: „Притти на манифестацию безоружными, дабы не пролилась кровь".

Вторая половина предложения вызвала у них бурю негодования.

„Что вы, смеетесь что ли над нами, товарищи? Вы приглашаете нас на демонстрацию, но велите не брать с собой оружия. А большевики? Разве они малые дети? Ведь будут, небось, непременно стрелять в безоружных людей.. Что же мы, разинув рты, должны будем им подставлять наши головы или же прикажете нам улепетывать тогда, как зайцам?"

Мы их успокаивали.

„Товарищи... Боязнь пролить народную кровь... Мы не имеем права вас втягивать в гражданскую войну... Наши вожди говорят..."

Но их было не легко успокоить.

„Да что вы, товарищи, в самом деле, смеетесь что ли над нами? Или шутки шутите?.. Мы не малые дети и, если бы пошли сражаться с большевиками, то делали бы это вполне сознательно... А кровь... Крови, может быть, и не пролилось бы, если бы мы вышли целым полком вооруженные"

Долго мы говорили с семеновцами, и чем больше мы говорили, тем становилось яснее, что отказ наш от вооруженного выступления воздвиг между ними и нами глухую стену взаимного непонимания.

„Интеллигенты... Мудрят, сами не зная что. Сейчас видно, что между ними нет людей военных".

И несмотря на продолжительные увещевания, в этот вечер семеновцы отказались отстаивать издававшуюся нами газету „Серая Шинель".

„Не к чему. Все равно ее прикроют. Одна только канитель".

В заключение этой главы мне хочется сказать несколько слов о той весьма некрасивой роли, которую играла так называемая партия левых эсеров в защите У. С.

Их позиция была, как известно, противобольшевистствующая, а по существу они в этот период довольно энергично поддерживали большевиков, пользуясь зато от по-

следних всякого рода привилегиями и почетом. Но в то же время они поддерживали отношения и с оппозиционными партиями, в частности, с правыми эсерами. Делали они это под благовидным предлогом своих антипатий к воинствующему коммунизму. В действительности же оказывались они передатчиками и соглядатаями большевистской партии.

Так, напр., несколько раз мне пришлось встретить на Болотной улице одного молодого и весьма шустрого левого эсера, небезызвестного своими неудачными философствованиями, который довольно внимательно прислушивался ко всему тому, что говорилось во фракции.

Не менее незавидной их роль была в рабочих районах Петрограда. Здесь они, с одной стороны, разлагали противобольшевистские элементы, внушая рабочим необходимость покончить с буржуазными социалистами, а с другой, они не порывали связи с последними, посещали кое-где их районные комитеты и добросовестным образом обо всем передавали большевикам.

Да, своеобразна, весьма своеобразна была роль левых эсеров в защите Учредительного Собрания.

Пятое января.

С утра на улицах Петрограда собирались группы народа.

Были эти группы неопределенны по своему составу: чиновники, рабочие, студенты и просто обыватели и интеллигенты [1]).

Собирались вяло. Немного робко. Без энтузиазма, сколь-нибудь заметного. Не чувствовалось, во всяком случае, гнева народного. Недовольство было пассивное и злое.

На Рижском проспекте я встретил демонстрацию рабочих Экспедиции. Много мужчин. Немало женщин. Даже несколько детей. Растянулись они тонкой цепью и с пением нескладных революционных песен шли по направлению к Технологическому Институту. Впереди несли несколько флагов. Флаги были красные, с надписями известными:

„Да здравствует Всероссийское Учредительное Собрание!“

„Да здравствует народоправство!“

„Земля и воля“.

Я присоединился к манифестации, вмешавшись в их среду.

---

[1]) Большинство было именно этих последних. См. ниже. стр. 379 *Ред.*

Разговоры манифестантов были невеселые, ибо знали они, что вооруженная демонстрация отменена.

„Идем, точно бараны. Все равно разгонят эти подлецы большевики".

По пути к манифестации присоединялись небольшие группы рабочих и обывателей. Некоторые из них были со значками: организованные манифестанты. Другие — просто обыватели, нерешительно жались по бокам манифестации, словно оставляя себе пути отступления открытыми.

Кое-где нам встречались одиночные красные солдаты, с ног до головы вооруженные. Манифестанты провожали их гневными возгласами, криками: „Предатели".

На Первой Роте против казарм Петроградского полка стояла большая группа солдат. Видимо ждали, предупрежденные о проходе здесь „контр-революционной" демонстрации. Ругань самая площадная, российская, обрушилась на наши головы.

„Буржуи проклятые, куда собрались итти?"

„Вот задаст вам Ленин, будете знать".

„Контр-революционеры. Прислужники Антанты..."

И многое другое из лексикона, столь известного в то время.

Кое-кто из солдат угрожал ружьями, но своими же сотоварищами был останавливаем.

Встреча с большевиками-солдатами была единственной в этом районе, которая на некоторое время нарушила мирное шествие манифестантов.

Далее, до самого Невского проспекта, мы шли беспрепятственно. Два-три красногвардейских патруля прошли мимо нас, не обратив на нас внимания.

Когда манифестация поравнялась с казармами Семеновского полка, оттуда высыпало несколько сот солдат, большинство неодетых и без шапок и шинелей. Они провожали нас сочувственными напутствиями и ироническими добродушными пожеланиями:

„Подай вам бог удачи. Разбейте большевиков".

„Берите в плен самого Ленина".

„Смотрите, защищайте хорошо Учредительное Собрание".

Рабочие-манифестанты зовут итти за собой семеновцев. Те отмахиваются, пожимают плечами, смеются.

„Не велено! Запрещено!"

Впрочем, несколько десятков солдат присоединилось к демонстрации, затерявшись в ней.

В это время на Невском проспекте было уже полно. Десятки тысяч демонстрантов и просто любопытных [1])

---

[1]) Последние и здесь преобладали. *Ред.*

непроходимой массой заполнили часть Невского и начало Литейного проспекта.

Но все попытки толпы пройти по Литейному проспекту были неудачны. Они разбивались о вооруженное сопротивление красных патрулей.

Громче и сильней раздавался рокот толпы.

Постепенно, медленно, минута за минутой, рождался гнев народный. Тот самый гнев, который разрушает троны, свергает правительства, создает новые формы [1]).

Сильнее и громче раздавались возгласы.

„Долой большевиков".

„Долой советское правительство".

„Да здравствует Учредительное Собрание!"

Все сильнее и сильней напирают задние ряды. Все смущеннее чувствуют себя красные матросы, постепенно отодвигаясь под натиском толпы вглубь по Литейному проспекту.

На Пантелеймоновской улице, прорвав тонкую цепь красноармейцев, демонстранты,—в числе их было немало выборжцев-рабочих,—густою лавиной заполнили проспект.

Раздались выстрелы. Недружные и немногочисленные. Испуганная, взволнованная толпа побежала обратно, оставив на панели и на мостовой несколько раненых и убитых.

Снова качнулась толпа. Закричала. Застонала возмущенная. И люди точками различными кинулись вперед, точно покатились, перегоняя друг друга, выкрикивая слова незнакомые, близкие:

„Дол...ой... Боль...шевиков... Бей... Да здра..."

Где-то затрещал пулемет. Быть может, и не пулемет... Снова схлынула толпа.

Бегут люди. Останавливаются. Спорят друг с другом. Слова бессильного гнева.

„Их много. Пулеметы. Ружья. Мы... нет даже револьвера. Где бы достать? Где бы достать?"

Смешно, нелепо. Хотят невозможного.

Я пробираюсь с трудом сквозь толпу. Подхожу к красному патрулю. Разношерстные: солдаты, обвитые пулеметными лентами, в серых, небрежно одетых шинелях, штатские с красными повязками и изящные, точно разодетые кронштадтские матросы. Все это сбилось в один клубок. Ощетинившийся, как разъяренный еж.

У крыльца на тротуаре лежит студент. Лица не видно. Сбоку, точно всеми забытое, брошено знамя, нескладно

---

[1]) Это звучит довольно „горзо". Но, увы, народ был „маргариновый"—интеллигентски-обывательский. Никакого правительства, конечно, он свергнуть не мог. *Ред.*

свернутое и изорванное. Остались отдельные буквы, все те же, знакомые:

„Да... з...ву... Уч... е...“

Старушка, старенькая-престаренькая, шамкая и забывая слова, грозится красногвардейцам:

„Креста на вас нет, проклятые. Душегубы.“

Я подхожу к большевистскому патрулю. Прошу меня пропустить в сторону Таврического дворца.

„С какой стати, гражданин?“

„Я—член Учредительного Собрания.“

Спросили билет. Пропустили беспрепятственно.

Чем ближе к Таврическому дворцу, тем меньше народа. Попадаются группы красногвардейцев, многолюдные, вооруженные с ног до головы.

У ворот Таврического дворца — толпа обывателей и зевак. Большой отряд красногвардейцев, который контролирует лиц, проходящих внутрь дворца.

Снова показал билет, подписанный Урицким. Тяжелые двери отворились, и я, народный избранник, наконец здесь, где будут решаться судьбы русского народа, судьбы, уже предрешенные и предначертанные злой историей.

Общее впечатление, которое у меня осталось от этого утра, проведенного в среде демонстрантов, создало во мне уверенность, что, будь выступление вооруженным, демонстрантам, несомненно, удалось бы проникнуть до самого Таврического дворца. В этом меня убеждает не только растерянность, царившая среди красных отрядов, но и те сведения, которые мне впоследствии, в кулуарах Таврического дворца, удалось почерпнуть из большевистских источников. Безусловно большевики боялись серьезного вооруженного столкновения, связанного с именем У. С. В это время они не чувствовали себя достаточно сильными, учитывая ту пассивность сочувствовавших им рабочих и солдатских масс, о которой я говорил выше.

Качество и количество вооруженной массы, стоявшей на их стороне, было лишь достаточным, чтобы сдержать и разогнать мирную демонстрацию. Но не более. Таково было и мнение большевика Пятакова, стоявшего довольно близко к Смольному. Таково было впечатление и некоторых моих коллег по фракции.

Из кого состояла манифестация? Достаточно ли был в ней велик подъем и как согласовать последний с той пассивностью и индифферентизмом, которые проявлялись интеллигенцией и обывателем в отношении Учредительного Собрания. Несомненно, что подъем и настроение, оппозиционное манифестации, были довольно значительны, особенно после расстрелов, произведенных красногвардейцами. Рядо-

вой обыватель, который утром колебался еще — примкнуть ему или нет к демонстрантам, теперь составил наиболее активное ядро последних.

Конечно, трудно предполагать, что большинство демонстрантов было на стороне У. С. Более чем вероятно, что только незначительная часть демонстрировавших была подлинными сторонниками последнего. Но другое чувство, кроме любви к демократическому У. С., владело толпой: это была ненависть к большевикам. Ненависть, вскормленная за двухмесячное их управление страной. Обыватель петроградец, в широком смысле этого слова, готов был всколыхнуться от своей пассивности и пойти даже за У. С., если последнее найдет в себе достаточно сил, чтобы свергнуть большевистское правительство. В эти дни петроградец возлагал еще надежды на демократию, готов был пойти за ней — „постольку-поскольку" — и строил некоторые иллюзии насчет силы и мощи правого сектора У. С. [1]).

Мы не сумели использовать настроение петроградцев. Мы не сумели возглавить это противо-большевистское движение.

Пятое января, принеся нам поражение в стенах Таврического дворца, вместе с тем вызвало в рядах петроградцев новое разочарование в российской демократии.

Побежденные редко внушают симпатии. Тем более, когда пораженные оказываются в смешном положении.

Неуютно и мрачно в кулуарах дворца.

Бродит несколько иностранных корреспондентов. Бродим мы, депутаты большинства, бродят многочисленные красногвардейцы и матросы, зевающие и скучающие.

Открытие Учредительного Собрания все откладывается и откладывается.

Большевики заседают. Говорят, ждут результатов демонстрации. Победят манифестанты — придется говорить одним языком. Победят красные — тогда будет язык другой. Язык твердый, решительный, тогда не придется стесняться с „контр-революционными" социалистами.

Заседают и левые эсеры. Их депутаты беспрестанно информируются в большевистской фракции.

Заседаем и мы. Но что же мы можем сделать? Мы, которые составляем большинство народных избранников и которые не имеем даже достаточно силы, чтобы про-

---

[1]) Автор, повидимому, не сознает всей убийственности этого невольного признания. Если только незначительная часть демонстрантов была на стороне У. С., то это значит, что в подавляющем большинстве своем демонстрация была чисто контр-революционной и черносотенной. Еще более убийственно для эсеровского учредиловского „демократизма" звучит „сожаление", что эсерам не удалось возглавить эту черносотенную обывательщину *Ред.*

никнуть в большой зал заседаний без разрешения большевиков. Ведь у дверей белого зала стоят вооруженные матросы.

Мы обсуждаем положение.

„Мы должны открыть заседание без большевистской фракции... Но больше ждать невозможно. Мы их должны предупредить".

Бесполезные попытки. Не слушаются, смеются. „Начнем заседание тогда, — говорят, — когда Ленин прикажет. Пока сидите смирно".

„Безобразие. Позор. Надо предпринять решительные меры".

Но что мы можем сделать?

Вся галлерея полна „приглашенных". Гости это особенные, пришедшие по пригласительным билетам большевистского коменданта.

Все большевистское дно здесь налицо. Рабочие, вооруженные кронштадтцы, вооруженные солдаты различных полков, с красными звездами и также вооруженные красногвардейцы. Вся эта пестрая толпа шумит, грохочет, слоняясь из буфета в буфет.

Только к вечеру большевики окончили свое фракционное заседание. Сведения к этому времени, ими полученные из города, были для них более, чем утешительные. Демонстрация разогнана. Полки не выступили. Обыватель мирно разошелся по домам. Несколько десятков раненых и убитых это — пустяки, о которых не стоит говорить.

Положение ясное и определенное: можно и должно разговаривать с эсерами языком суровым и крепким. Должно и можно распустить У. С.

Мы кончаем тоже заседание. Нами получены сведения, что большевиками решен разгон Учредительного Собрания. Мы должны защищать ЕГО! [1]). Но как, каким образом? Что можем мы сделать?

„Товарищи, в зал заседаний, другая фракция уже там".

„Товарищи, — говорят наши старосты, — только держитесь вместе. Будут избивать-убивать, все же будет легче".

И мы с чувством обреченных, мы — народные избранники, идеализировавшие ЕГО, входим в зал.

Нас встречает хохотом, диким свистом и руганью полупьяная галерка.

Так состоялось открытие Всероссийского Учредительного Собрания.

Справа в одной из лож сидит Ленин. Он положил свою голову на руки, и издали кажется, что он спит. Видна только большая, круглая и блестящая лысая голова.

---

[1]) Большие буквы принадлежат, разумеется, автору. *Ред.*

Говорит Церетели... Шум, гам, наведенные винтовки.

Говорит Чернов... Говорят многие другие. И речи всех ораторов текут в безудержном шуме, в хаосе диких звуков, которые рождает галерка. И от этого все речи, даже самые красивые, самые честные и благородные, кажутся ненужными, беспомощно-жалкими.

Хохот, пьяный хохот господствует над всем [1]). И только тогда, когда всходят на кафедру большевистские депутаты, бурными апплодисментами приветствует их галерка.

А мы... молчим. Что же еще можем мы сделать?

Далеко за полночь.

На кафедре В. М. Чернов, председатель собрания. Читает декларацию. Читает он ее быстро, спеша, неразборчиво. Поминутно его прерывает возгласами галерка, уже уставшая и полусонная. Большевистская фракция уже давно покинула зал заседания, и за ней последовало и большинство левых эсеров.

Зато многие из гостей, большей частью матросы, спустились из верхних лож вниз в зал заседаний. И бесцеремонно, точно это в порядке вещей, заняли депутатские места. Громко между собою переговариваются, шутят и нещадно курят. И тут же мы — беспомощные свидетели поругания великой идеи — в порядке спешности проводим один законопроект за другим. Голосуем молча. Без возражений.

Только бы успеть.

Ползут зловещие слухи, которые мы передаем друг другу шопотом.

Говорят, сейчас будет потушено электричество, и начнут избивать. Пусть... Мы пострадаем ради народа! Ради наших идей...

Я поднимаюсь наверх. Большинство гостей спит или дремлет, не выпуская из рук своих винтовок.

Кое-кто из них, зевая, ворчит.

„Скоро ли? Пора кончать. Надо разогнать этих буржуев".

„Терпение, товарищи. Ждите распоряжений".

Внизу волнение.

Матрос Железняк подходит к В. Чернову и что-то ему говорит в полголоса [2]).

Нам не слышно. Но видим мы волнение нашего председателя. Встаем с мест. Зал заседания наполняется матросами и солдатами. Шум. Гам.

---

[1]) Здесь и в других местах автор усиленно смакует специально к этому случаю придуманную басню о „пьяных" матросах „пьяной" галерки, „наведенных винтовках" и т. д. Все эти инсинуации мы оставляем, конечно, на его ответственности. *Ред.*

[2]) Предлагает очистить зал. *Ред.*

Наконец, все кончено... Законопроекты все приняты. И под иронические возгласы матросов, мы — народные избранники — слитной единой массой покидаем Белый Зал.

Позади осталось пятое января. Неудовлетворенная вера в силу нашей правды. Впереди — долгие годы борьбы, неуспешной, во имя той же правды.

На другой день повсеместно в районах, на заводах и в казармах были митинги. Организовало их большевистское правительство, большевистская партия. Митинги были многолюдны и единодушны. Выступали лишь большевики-ораторы. Нигде не было видно оппозиции, не было видно депутатов большинства. С трудом мне удалось говорить на Галерном острове, возражая Зиновьеву.

Меня слушали небрежно. С досадой. Ведь мы были побежденные.

Победителей не судят.

В примитивном уме народа-толпы логика сказала:

„Никто не защищал Учредительного Собрания. Почти никто. Значит, правда не на их стороне".

Двери Таврического дворца наглухо закрыты. И красногвардейцы железным кольцом охраняют все подступы к нему.

Мы спорим. Обсуждаем, каким путем продолжить заседания, так дерзко прерванные вооруженной рукой большевистского правительства.

Разные проекты... Неисполнимые, нереализуемые. Собраться в Финляндии. Собраться на Украине. В Сибири...

Но все теснее и теснее сжималось кольцо сыска и охраны вокруг дома на Болотной улице. Бесцеремонно приходили агенты, стояли группами на углах, на перекрестках соседних улиц.

Что же мы могли сделать?

За нами стояла Невооруженная Правда, которой большевики противопоставили Вооруженную Ложь.

Да, на нашей стороне была законность, великие идеалы и вера в торжество демократии.

На их стороне была активность, пулеметы, ружья.

За ними стояла толпа [1]).

Через несколько дней подхожу под вечер к дому на Болотной. Вся улица полна любопытными. Высыпали из-под ворот, толпятся кучками у подъездов. Смеются. Перекликаются.

---

[1]) Вот именно, с большевиками был народ, не интеллигентский, не обывательский, не шамкающие о большевистском „безбожестве" („Вооруженная Ложь") старушки, а тот самый подлинный народ, который реакционерами всех стран и времен всегда именуется презрительно „толпой", „улицей", „чернью". Да, народ был с большевиками, и в этом суть дела. *Ред.*

„В чем дело?“ — „Да, вишь, пришли большевики арестовывать депутатов“.

И тонкой цепью, окруженные плотным кольцом красных солдат, идут мимо меня мои товарищи по фракции, те, кто собрались со всей России решать ее судьбы. Было снежно и серо и по-будничному скучно.

Ставка 25—26 Октября 1917 г. [1]).

Печатаемые материалы являются частью документов, захваченных Добровольческой армией при занятии ею Киева осенью 1919 г. Относительно того, как они попали в Киев, можно высказаться только предположительно; вероятно, они относятся к тем документам, которые Духонин за несколько дней до захвата ставки большевиками отправил в более над жное место.

Документы представляют из себя две шнурованные вместе, напечатанные на пишущей машинке тетради белой, а частью серой писчей бумаги большого формата.

Настоящие тетради содержат копии телеграфных лент. Повидимому, по приказанию Духонина в ставке была заготовлена сводка из наиболее важных телеграмм, которыми в дни большевистского переворота обменивалась ставка с фронтами и с Петроградом. Сводка эта явно была составлена крайне спешно и неаккуратно. Этим объясняется как отсутствие номеров и дат в отдельных телеграммах, так и то, что приводимый в сводке материал находится в беспорядке и имеет много пропусков. Восполнить пропуски, к сожалению, не было возможности, но весь материал приведен, по возможности, в хронологический порядок, на основании преимущественно внутренних указаний, которые можно было извлечь из каждой телеграммы.

Много ценных сведений любезно сообщены бывшим комиссаром ставки верховного главнокомандующего Владимиром Бенедиктовичем Станкевичем.

Телеграммы печатаются ниже за номерами.

Воспроизведен текст точно по тетрадям.

Во всех случаях, когда возникало самое малейшее сомнение, исправления приведены в квадратных скобках, при чем для экономии места квадратные скобки были вставлены непосредственно за той буквой или рядом букв, которые надо исправить. В таких же квадратных скобках приводятся и предполагаемые пропуски.

Слова, которые, вероятно, являются ошибками или вставками переписчика и которые затрудняют понимание, вставлены в остроугольные (< >) скобки. Круглые скобки (( )) — скобки оригинала.

Прим. редакции „Арх. Русск. Рев.“,

Телеграмма главного начальника Петроградского округа,

отправленная в 12 ч. 15 м. в ночь с 24 на 25 октября.

Главковерх, копия Главкосев.

— Доношу, что положение Петрограде угрожающее. Уличных выступлений беспорядков нет, но идет планомерный захват учреждений, вокзалов, аресты. Никакие приказы не выполняются. Юнкера сдают караулы без сопротивления,

---

[1]) Архив Русской Революции. т. VII, Берлин 1922 г.

казаки несмотря на ряд приказаний до сих пор из своих казарм не выступали. Сознавая всю ответственность перед страною, доношу, что Временное Правительство подвергается опасности потерять власть, при чем нет никаких гарантий, что не будет попытки к захвату Временного Правительства. Гла[в]новокр петроградский полковник Полковников.

Разговор по прямому проводу ген. Левицкого [1]) с начальником штаба верховного главнокомандующего

в 2 ч. 20 м. в ночь с 24-го на 25 октября.

Здравствуйте Николай Николаевич. Очень прошу телеграмму, которую передам, немедленно передать Главкосеву, вызвав к аппарату генерала Барановского, с указанием, что Главковерх категорически требует, чтобы указанное в этой телеграмме было немедленно выполнено. Передаю телеграмму.

— Главкосев. Копия Комкор 42 [2]), копия Начдив 5 Кавказской [3]). — Приказываю с получением сего все полки пятой Кавказской казачьей дивизии со своей артиллерией, 23 Донскому казачьему полку и всем остальным казачьим частям, находящимся в Финляндии под общей командой Начальника пятой Кавказской казачьей дивизии направить по железной дороге Петроград Николаевский вокзал распоряжение главного начальника Петроградского округа полковника Полковникова. О времени выступления частей донести мне шифрованной телеграммой. Случае невозможности перевозки по железной дороге части направить пошелонно походным порядком, нр. 11687. Главковерх А. Керенский. Комиссар при Главковерхе Союзвойск [4]) сотник Поночевный.

— Только Главкосев, <копия Комкор>. — Приказываю с получением сего все полки первой Донской казачьей дивизии со своей артиллерией, находящиеся на севфронте под общей командой начальника первой Донской казачьей дивизии направить по железной дороге Петроград Николаевский вокзал распоряжение главного начальника Петроградского округа полковника Полковникова [;] о времени выступления частей донести мне шифрованной телеграммой. Случае невозможности перевозки по железной дороги[е]

[1]) Генерал для поручений при Керенском.
[2]) Командир 42 корпуса.
[3]) Начальник 5-й Кавказской дивизии.
[4]) Союз казачьих войск.

части направить поэшелонно походом[ным] порядком. Вместе с тем приказываю ускорить посылку частей войск, уже потребованных Штаокр. Петроградского нр. 11688 Главковерх Керенский. Соказвойск войсковой старшина А. Греков.

Разговор начальника штаба верховного главнокомандующего с начальником штаба сев. фронта [1]).

— Начальник штаба просит к аппарату Наштасева.

— У аппарата генерал Духонин.

— Главковерх приказал немедленно передать вам лично следующие две телеграммы, которые доложить Главкосеву для немедленных распоряжений, я их передаю. (Дальше следуют телеграммы, приведенные в предыдущем разговоре.) Все ли вы получили и все ли ясно.

— Все ясно, но вместе с тем докладываю, что два полка первой Донской дивизии только что прибыли в Ревель, а другие два полка вчера — 24 октября — утром отправились по железной дороге, распоряжение командирам [командарма] 1 для расформирования пехотной дивизии, отказавшейся исполнять боевые приказы.

— Тогда главкосев может быть по оценке обстановки пошлет другие казачьи части, это всецело предоставляется ему, если нет возможности точно [исполнить] телеграмму в отношении первой Донской. Обстановка так складывается, что необходима быстрота распоряжений. Сейчас мне передали от генерала Левицкого телеграмму с просьбой доложить главкосеву: фактически данную минуту гарнизон Петрограда за исключением небольшого числа частей на стороне большевиков или нейтрален. Зимний Дворец, повидимому окружен, дело принимает серьезный оборот, поставьте об этом в известность Черемисова. Вероятно, скоро не смогу говорить. Левицкий. Все будьте добры немедленно доложить. Духонин.

— Распоряжение уже делается, перевозка по железной дороге налаживается. Полагаю, что первыми прибудут в Петроград роты самокатного баталиона, которые находятся уже наготове на ст. Батецкая.

— Хорошо, надо поскорее [,] пока до свидания. Копии ответов шифрованных телеграмм пришлите мне.

— Слушаю, сейчас все будет исполнено. Лукирский.

---

[1]) Сергей Георгиевич Лукирский.

Разговор ген. Левицкого с ген. Духониным

утром 25 октября.

— У аппарата генерал Левицкий.

— У аппарата Духонин. Доброе утро, очень рад, что могу с вами разговаривать. С главкосевом наладилось за ночь передаю телеграмму [:]

Главкосев приказал во исполнение приказания главковерха немедленно одну из бригад 44-й пех. дивизии под начальством начдив 44-й дивизии с двумя батареями направить в Петроград в распоряжение Гла[в]новокр Петроградского об исполнении Главкосев приказал срочно ему донести 25 октября 5841/Б, Лукирский. Главкосев приказал 5-ю Кавказскую казачью дивизию с ее артиллерией и 43-й Донской казачий полк, согласно полученного указания Главковерха, немедленно направить под общей командой Начдив 5-й Кавказской Петроград распоряжение Главковерха [Главновокр] Петроградского об исполнении Главкосев приказал срочно ему донести 25 октября 584[?]/Б. Лукирский.

Главкосев, согласно указаний Главковерх приказал 13 и 15 Донские полки с их артиллерией немедленно отправить по железной дороге в Петроград в распоряжение Главновокр Петроградского об исполнении Главкосев приказал срочно донести 24 [25] октября 3834/Б.

68068. Главкосев приказал в изменение распоряжения о направлении первой Донской дивизии с ее артиллерией в первую армию немедленно отправить в Петроград в распоряжение Главновокр Петроградского об исполнении Главковерх приказал срочно ему донести 25 октября 5838/Б. Лукирский.

Все телеграммы за подписью Наштасева Лукирского. Кроме того 3 и 6 самокатные двинуты по железной дороге. Признаю необходимым навстречу этим частям послать доверенных лиц с копиями этих телеграмм для соответствующего разъяснения людям [;] кроме того предложил северному фронту послать с частями своих выборных представителей комитетов. Общеармейский комитет при ставке оповещенный ночью о выступлении большевиков против правительства в экстренном заседании выразил резкое осуждение этому выступлению. Постановление рассылается по телеграфу на все фронты армий и округа. В ставке совершенно спокойно, все части верны Временному Правительству [1]). Что у вас делается теперь.

---

[1]) Как оказалось впоследствии, это утверждение было по меньшей мере слишком „поспешным". Солдаты были „верны" только потому, что еще ничего не знали о событиях в Петрограде. *Ред.*

— В Петрограде сейчас благодаря подавляющему количеству Петроградского гарнизона не осталось ни одной части в полном смысле этого слова на которую могло бы опереться Правительство. В эту исключительно роковую минуту наша армия подвергается неслыханному издевательству в то время когда на фронте оборванные и голодные русские люди грудью отражают врага, здесь кучка сытых людей, повлиявшая на трусливый гарнизон захватывает власть в руки и продает Россию. Через пятнадцать минут я передам вам воззвание Верховного если вообще смогу передать. Вот все, что я сейчас могу сказать.

— Хорошо сейчас это сделаем, все время мысленно переносит[м]ся к вам и переживаем душою все происходящее. Спросите пожалуйста Александра Федоровича нужно ли подробно обо всем ориентировать Главкофронтов кроме телеграммы ера[его] или вы сами уже говорили по этому поводу, что касается сведения <Борисе> Карташеве и Гальнер[н]е, правда ли это.

— Это правда, считаю необходимым, чтобы Главкофронты были сейчас же ориентированы и могли ориентировать комитеты фронтов, сейчас идет офицер к Александру Федоровичу за указанием по ориентировке войск.

— Все хорошо. А что военные училища и школы прапорщиков.

— Николай [Никакой] активности не проявят и пассивности то же самое.

— Буду ждать от вас воззвание и желательную ориентировку.

Разговор ген. Левицкого с ген. Духониным

утром 25 октября.

— Не можете ли вы как очевидец происходящего дать краткую ориентировку для Главкофронта[ов].

— Даю. Третьего дня ночью Петроградский Совет давно уже имеющий преобладание большевиков и всеми силами и средствами стремящийся сорвать планомерную работу Правительства выпустил приказ гарнизону не исполнять приказаний штаба Петроградского округа, как органа Временного Правительства. Это было следствием отказа полковником [Полковниковым] признавать права контроля над его действием[ями] со стороны совета. Этот акт призыва к неповиновению органам Временного Правительства заставил министра председателя ясно и определенно вчера 24

октября в совете республики разъяснить создавшееся положение и указать линию поведения Временного Правительства. Он называл большевизм своим именем и заявил о неуклонной твердости Временного Правительства и решимости начать борьбу с этим злом. Вслед за этим части Петроградского гарнизона под влиянием бешеной агитации с одной стороны в глубине души всеми силами стремящимися[иеся] не итти на позицию перешли на сторону большевиков [;] из Кронштадта прибыли матросы и легкий крейсер. Разведенные мосты вновь наведены ими [;] весь город покрыт постами гарнизона, но выступлений никаких нет. Телефонная станция в руках гарнизона, части находящиеся в Зимнем Дворце, только формально охраняют его так как активно решили не выступать. В общем впечатление как будто бы Временное Правительство находится в столице враждебно[ого] государства, закончившего мобилизацию, но не начавшего активных действий. Эта малая решимость большевиков давно уже имеющих фактическую возможность разделаться со всеми нами и дает мне право считать, что они не посмеют пойти в разрез с им[ми]нением фронтовой армии и дальше указанного не пойдут, но это оптимистическое мое мнение может оказаться и неосновательным если армия еще более резко не подчеркнет своего мнения, выраженного комитетом ставки.

Разговор ген. Левицкого с ген. Духониным

около 12 час. дня 25 октября.

— Пожалуйста попросите генерала Духонина.

— У аппарата генерал Духонин.

— У аппарата генерал Левицкий. Дорогой Николай Николаевич, обстановка ухудшилась, Александр Федорович выехал навстречу самокатным баталионам, я остался здесь один и буду оставаться пока меня отсюда не выведут, чтобы до последней крайности ориентировать мозг армий ставки[у].

Телеграмма начальника штаба северного фронта в ставку.

— Главковерх, копия Наштаверх, Гла[в]новокр Петроградского.

— Доношу примерный расчет сроков прибытия Петроград войсковых частей, направленных туда согласно Вашего приказания: 2-й самокатный баталион 25 октября после полудня. 5-й Кавказски[о]й казачи[е]й дивизион[и] и 43 Донского казачьего полка — 2 полка 26 октября и прочие

утру 28 октября. 13 и 15 Донских казачьих полков с артиллерией 27 октября вечером 9 и 10 Донских казачьих полков с артиллерией 25 октября утром. Бригады 44-й пехотной дивизии с двумя батареями 30 октября днем. 23-го Донского казачьего полка 26 октября вечером. Вместо бригады 45-й пехотной дивизии наряжена бригада 44-й пехот. дивизии, потому что два полка 45-й дивизии расположены на побережье Моонзундского пролива, а другие два перевозятся из 12-й армии к Ревелю и в настоящий момент сильно растянуты по узкоколейным путям, передача с которых на другие дороги крайне кропотлива и длительна. 25 октября. 5845/В. Наштасев Лукирский.

Разговор нач. штаба верховного главнокомандующего с комиссаром ставки

днем 25 октября.

— У аппарата Комиссарверх. Положение с каждой минутой сложнее. Мариинский Дворец занят большевиками, на Неве стоят два крейсера из Кронштадта, попытка занятия нашим караулом телефонной станции при содействии юнкеров окончилась неудачей, так как юнкера были встречены броневиками[;] в руках Правительства лишь центральная часть города, включая Штабы и Зимний Дворец. Силы Правительства две с половиной школы юнкеров и батарея Михайловского училища и два броневика. Этих сил достаточно [чтобы] продержаться 48 часов, но не больше и нет возможности без помощи извне предпринять какие-либо активные меры. На улицах внешнее спокойствие, уличное движение продолжается, но очень грозно обстоит вопрос с продовольствием Временное Правительство Предпарламент заседает. Генерал-Губернатором Петрограда назначен Кишкин. Не известно ли вам в каком положении посылка отряда с севфронта.

— Здравствуйте, Владимир Венедиктович. Сведения, которые я получил я сообщил генералу Левицкому, из них вы увидите, что войск назначено достаточно. По справке, которую я взял сейчас у Нав[ив]осоверха[1]) самокатные батальоны в ночь на сегодняшнее число со ст. Передольское и Батецкая отправлены по железной дороге в Петроград. По моим расчетам они должны были уже давно ро[при]тти по назначению. Неужели нет сведений об их

---

[1]) Начальник военных сообщений при ставке верховного главнокомандующего.

приходе. Мне передавали, что поехали их встречать, более подробных сведений о других частях нет, ибо севфронт их собирает, но я думаю, что войска продвигаются по железной дороге из Ревеля и через Псков и Финляндию. Как только Начвосоверх получит данные о месте нахождения эшелонов, я вам тотчас же сообщу, я думаю, что к завтрашнему утру безусловно должно подойти несколько эшелонов. Мне непонятно почему столь ничтожная силы[а] Правительства. Сегодня от комиссара казачьих войск я получил уверение полной лойяльности 1-го Донского казачьего полка, отчасти 14-го и лишь 4-й Донской не внушал доверия. Что делает Константиновское училище, Николаевское Кавалерийское, вероятно найдутся еще. Так что я думаю, что силы достаточно можно найти, необходимо лишь надлежащим образом организовать это дело, а там начнут подходить войска с фронта. У нас спокойно. Комитет Общеармейский высказался против выступлений большевиков и вошел в связь со всеми комитетами фронтов.

— Я думаю, что начальникам приходящих эшелонов необходимо давать указания, что если им, по приходе в Петроград, штаб округа не будет в состоянии дать какие либо указания, то им следует оставить охрану на вокзале и немедленно итти к штабу округа и к Зимнему Дворцу, хотя бы на улицах им пришлось встретиться с препятствием. Больше ничего не имею, буду сейчас говорить с Комиссарсевом, если у вас нет ничего, то желаю всего доброго. Станкевич.

— Я считаю необходимейшим условием высылку навстречу подходящим войскам за 2—3 станции особо доверенных лиц из Петрограда, об этом я сегодня ночью говорил генералу Левицкому, кроме того просил Штасев высылать с эшелонами представителей армейских или фронтового комитета. Очень был бы вам обязан, если бы около полуночи обрисовали положение. Сейчас мне докладывают, что по другим проводам, как то Довмин и Огенквар[1]) нам почему то не отвечают.

— Слушаюсь в 24 часа постараюсь быть у аппарата. Ваши указания не только передам, но может быть и сам постараюсь выехать навстречу. Больше ничего. Всего хорошего.

— Видите ли вы А. Ф.

— Нет, он уехал навстречу.

— Меня это беспокоит, все ли благополучно. Возможно ли было благополучно добраться.

— Были приняты все меры и я надеюсь, что ничего не случилось, а оставаться ему здесь было невозможно.

---

[1]) Довмин — дом военного министра; Огенквар — окружной генерал-квартирмейстер.

— Я с этим вполне согласен и самое решение безусловно правильно и наиболее рационально в сложившейся [обстановке] и если проезд через город был обеспечен, тогда значит все хорошо. Пока до свидания. Очень вам признателен, что поделились со мной. Значит еще поговорим позже.

— Так точно, до свидания. Станкевич.

Сводка данных о настроении войсковых организаций

в 6 ч. в. 25 октября.

— Исп. комит. Румчерода [1]), осведомившись о событиях в Петрограде, признал, что никакие выступления в настоящий момент недопустимы и что они наносят тяжелый удар революции и увеличивают силы контр-революции. В обращении к войскам исп. ком. просит сохранить полное спокойствие и заявляет, что располагает достаточными силами для ликвидации посягательств, как справа, так и слева. Общеармейский комитет при ставке обратился к Румчероду оказал[ть] ему поддержку в обращении к армии.

— Председатель искозюм[мюз]а [2]) решительно разделил точку зрения общеармейского комитета при Ставке в отношении недопустимости вооруженного захвата власти со стороны большевиков. В этом смысле ожидается резолюция происходящего в настоящий момент заседания Искомюза.

— Искомзап. Члены Искомзапа [3]) в разговоре с членами общеармейского комитета при Ставке выразили уверенность, что Искомзап также разделит точку зрения общеармейского комитета. Резолюция к 18 час. еще не была вынесена. Во 2 армии настроение не определилось.

— Искомсев [4]). Члены Искомсева сообщают, что вполне определилось настроение 12 армии в смысле осуждения выступления большевиков. Настроение 5 армии неопределенно. Есть основание предполагать, что выступление большевиков найдет там поддержку. Таково же настроение и в тыловых организациях северного фронта. Областной совет северной области колебался в своем решении и определенного ответа не дал.

— Петроград. Розенблат, председатель совета при Военмине сообщает членам общеармейского комитета, что выступление большевиков не нашло себе поддержки ни

---

[1]) Исполнительный Комитет Румынского Фронта, Черноморского Флота и Одесского Военного Округа.

[2]) Исполнительный Комитет Юго-Зап. Фронта.

[3]) Исполнительный Комитет Западного Фронта.

[4]) Исполнительный комитет Северного Фронта.

в совете Военмина, ни в ЦИК среди старых членов СР и СД.

— По получении резолюций со всех фронтов, общеармейские[й] комитеты [ъ] выпустит обращение к армии. Предполагается передать его на фронты до 24 час.

Разговор ставки с Зимним дворцом

около 7 ч. в. 25 октября.

— Оже[дежу]рный офицер.

Пригласите к аппарату для переговоров[....]. У аппарата Начсвязверх [1]) полковник Сергеевский.

— Попробуем сейчас пригласить, но кого надо.

— Если есть то поручика Данилевича [2]).

— Нет его.

— Кого-нибудь еще. Все равно кого.

— Хорошо, сейчас попробуем найти, если это будет возможно. Сейчас начался опять пулеметный обстрел не может[м] выйти. Вот поручик Данилевич на счастье. Кто у аппарата.

— У аппарата генкварверх. Какие у вас события.

— Разрешите передать телеграмму, адресованную наштаверху, которая вкратце осветит вам положение, а затем я дополню от себя.

Наштаверху.

Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов объявил Правительство низложенным потребовал передачу власти угрозой бомбардировки Зимнего Дворца пушками Петропавловской крепости и крейсера Авроры [3]). Правительство может передать власть лишь Учредительному Собранию. Решило не сдаваться и передать себя защите народа и армии. Ускорьте посылку войск. 25 октября нр. 11690. Министр-Заместитель Коновалов.

Разговор Генкваверха с Данилевич[ем].

— Теперь добавлю от себя. В общем в Петрограде день прошел спокойно. Была лишь днем незначительная перестрелка на углу Невского и Дворцового[й] площади. Восставшие захватили Государственный Банк, Центральную Телефонную Станцию, Мариинский Дворец. Предпарламент был удален. Вечером настроение прогрессирует. Около часу

---

[1]) Начальник связи при верховном главнокомандующем.

[2]) Офицер для поручений при Керенском.

[3]) Неточность. Все это исходило не от Петроградского совета, а от Военно-Революционного Комитета. *Ред.*

назад захвачен кучкою людей в 50 человек Петроградский Штаб. На стороне Правительства лишь юнкера и казачий полк, да два орудия Михайловского артиллерийского училища. Министр председатель уехал к самокатчикам еще утром до сих пор не возвратился. Полагаю, что он будет возвращаться не один, а с войсками, которые окажутся преданными. Ныне и несколько ранее шла и идет стрельба сравнительно редкая и думая[ю] [нервная], так как нападение пока не произошло, и большевики держат себя сравнительно пассивно. Во время моего разговора с Вами было 3 — 4 орудийных выстрела, которые, судя по звуку, идут из нашего стана. Временное Правительство в полном составе сейчас в Зимнем Дворце и не думает отсюда уходить до ликвидации конфликта. Вот кажется все из более главного. Главноначальствующим над Петроградом назначен Кишкин с двумя помощниками Пальчинским и Рутенбергом. Понемногу налаживается организация и руководство теми немногими частями, которые у нас есть. Лично<,> думаю, что если действительно будет использовано хотя то что есть, то положение Правительства не безнадежно. Скажите действительно ли подойдут по вашим сведениям к Петрограду направленные войска. Присутствие их полагаю успокоило бы восставших и они расползлись бы по своим местам не принимая боя, все. Данилевич.

— По нашим сведениям самокатные баталионы должны были сегодня быть в Петрограде, но по сведению железнодорожного телеграфа они задержаны кем-то в 70-ти верстах от Петрограда. Девятый и десятый Донские полки с артиллерией должны притти Петроград 26-го утром, 43 [23] Донской полк 26-го вечером, два полка 5-й Кавказской дивизии тоже 26-го остальные утром 28-го, бригада 44-й дивизии с двумя батареями 30-го днем. По нашим сведениям Огенквар занят большевиками и наша связь с ним прекратилась. На фронте спокойно, значительное большинство комитетов высказалось против большевистского восстания, комиссары свидетельствуют, что можно рассчитывать на спокойствие в армиях. В Минск приехал Чернов. Дитерихс.

— Очень вам благодарен за сведения. Достаточно ли для вас ориентировка. Данилевич.

— Да, благодарю вас, вполне ясно, мы спокойны и уверены, что тяжелое положение пройдет почти само собой если вам удастся сорганизовать даже те немногие части, которыми вы располагаете. Сделаем все возможное, чтобы сохранить армию от раз[д]военности и удержать ее от гибельных шагов, поддержав в ней верность Временному Правительству и твердость остаться на позициях. Дитерихс.

Разговор ген. Духонина с штабом северного фронта

между 10 ч. в. и 1 ч. н. в ночь с 25 на 26 октября.

— У аппарата Наштасев генерал Лукирский.

— У аппарата Наштаверх. — Здравствуйте Сергей Димитриевич. Хотел у вас узнать, какие у вас имеются сведения относительно положения настоящее время войск фронта, посланных в Петроград согласно вашей телеграмме 5845 и насколько сроки прибытия, указанные в ней, будут соблюдены[,] насколько на это можно рассчитывать.

— Здравия желаю Николай Николаевич. Главкосев [1]) узнав, что я буду говорить с вами приказал мне передать вам, что он окончив разговор с Главкозапом [2]), подойдет к аппарату для переговоров с вами. Все распоряжения, посланные сегодня о направлении названных Главковерхом войсковых частей Петроград и в копии представленных[е] мною вам, Главкосев сегодня в 10 ч. вечера отменил и эти последние распоряжения я вновь представил вам в копиях. О причине отмены я не знаю. Главкосев указал мне по телефону, что он выяснит мне такое распоряжение несколько позже. Ныне войсковые части и эти задержаны на местах посадки или возвращаются с пути. [Ко]мкор 3 конного [3]) прислал запрос на мое имя, сообщая, что он имеет личное приказание ввести первую Донскую в Петроград от Главковерха и поэтому недоумевает получив последнее приказание об отдач[мен]е такового движения. Мы сговорились с ним, что для выяснения такого вопроса он приедет сегодня час ночи в Псков и лично явится к Главкосеву. Лукирский.

— Я не понимаю чем вызывается такая отмена, буду ждать объяснения Главкосева. А где сейчас находятся самокатные баталионы?

— По имеющимся у меня сведениям самокатные баталионы должны были сегодня в 3 часа дня прибыть в Петроград.

— Подожду Главкосева, если вы мне не можете объяснить отмены распоряжения.

— Иду доложить об этом Главкосеву.

— Здравствуйте Николай Николаевич. Вы что-то начали сейчас говорить.

— Генерал Лукирский мне сообщил, что вами отдано распоряжение отменяющее отправку войск в Петроград по приказанию Главковерха, чем это вызывается.

---

[1]) Ген. Черемисов. *Ред.*

[2]) Главкозап — главкомандующий западным фронтом.

[3]) Ген. Краснов. *Ред.*

— Это сделано с согласия Главковерха, полученного мною от него лично [1]). Известна ли вам обстановка в Петрограде.

— Будьте добры мне подробно сообщить обстановку и где сейчас находится главковерх.

— Временное Правительство прежнего состава уже не существует; власть перешла в руки революционного комитета; казачьи полки остались пассивны в своих петроградских казармах, броневики перешли на сторону революционного комитета. Сегодня вечером кто-то повидимому правые элементы, назначили генерал-губернатором Петрограда Кишкина, принадлежность которого к кадетским партиям известна на фронте. Это назначение вызвало резкий перелом в войсковых организациях фронта не в пользу Временного Правительства в Петрограде привело к тому что революционные войска заняли Штаб округа и повидимому прекратили деятельность генерал-губернатора. Керенский от власти устранился и выразил желание передать должность Главковерха мне, вопрос этот вероятно будет решен сегодня же. Благоволите приказать от себя, чтобы перевозки войск в Петроград, если они производятся на других фронтах, были прекращены. Главковерх у меня. Не имеете ли вы что передать ему.

— Можно ли просить его к аппарату.

— Невозможно в его интересах. Будете ли вы что-нибудь говорить.

— Да. Мною получены следующие сведения из Зимнего Дворца. (Следует передача сообщения Данилевича, см. стр. 393.)

От всех фронтовых комитетов и армейских [и] общеармейских[ого] комитетов[а] Ставки получил следующее: комитеты все безусловно на стороне Временного Правительства, резолюция их в общем аналогична резолюции совета Республики, то-есть требования активной политики Правительства в смысле скорейшего заключения мира и передачи земли в руки земельных комитетов.

— Я вас вызову часа через полтора, чтобы сообщить решение некоторых вопросов, сейчас меня зовут, можете ли вы тогда подойти к аппарату.

— Сейчас я получил телеграмму Главкозапа и согласен с ним что разъединение фронта в настоящее время в общем однообразного в смысле поддержки Правительства явилось бы чрезвычайно опасным и сделало бы положение наших

---

[1]) Заявление совершенно ложное. Такого согласия ни „лично", ни иным путем Керенский, конечно, не давал. Дальнейшие сообщения Черемисова о причинах „перелома" в петроградских войсках, о самоустранении Керенского от власти, о кандидатуре Черемисова в Главковерхи и т. п. тоже совершенно не соответствуют действительности. *Ред.*

армий безумно тяжелым, при котором легко мог бы быть поколеблен фронт. Сейчас на фронте спокойно, большевики притихли, фронтовой комитет западного фронта и съезд крестьянских депутатов вынесли резолюцию, что всякое выступление большевиков и беспорядки будут подавляться силою оружия. Почтово-телеграфный союз высказался за поддержку Правительства. Телеграммы призывающих к вос-в[ст]анию против Временного Правительства не принимались и не передавались. Прибытие Петроград войск верных Правительству могло бы дать результат [при] пассивности войск, восставших против Правительства, признаки этого— крайняя вялость и нерешимость большевиков. Если кандидатура Кишкина неприемлема, то в таком случае можно просить Временное Правительство заменить его другим лицом военным. Если Главковерх Керенский предполагает передать должность вам, то я во имя горячей любви к Родине умоляю вас разрешить мне передать об этом Временному Правительству, с которым есть у меня связь, вас же не останавливать отданных распоряжений о движении войск, назначенных в Петроград. Я убежден, что при надлежащей организации все обойдется без особых кровопролитий, зато будет сохранен неприкосновенности фронт и вам как будущему Главковерху не придется считаться с весьма тяжелыми...

— Извиняюсь Николай Николаевич, меня давно уже зовут, можно ли будет вас вызвать часа через два.

— Я считал только своим долгом осветить вас[м] всю обстановку и возможные последствия, минута слишком серьезная и ответственная перед Родиной.

— Сейчас меня снова зовут, часа через два я вас должен буду вызвать, пока все, что говорилось держите про себя, но имейте в виду, что Временного Правительства в Петрограде уже нет. Пока до свидания. Через два часа мне будет крайне необходимо вас вызвать.

— Слушаю, через два часа я буду у аппарата, но содержание ленты известно комитету, который находится тут же в одной комнате со мной.

— От комитета это не секрет, я говорю в смысле сношений ваших с оставшимися в Петрограде членами Временного Правительства.

Разговор главнокомандующего западным фронтом ген. Балуева со ставкой

25 октября между 10 ч. в. и 1 ч. н.

Разговор Начвосоверха с Главкозапом.

— У аппарата по поручению Наштаверха Начвосоверх просит к аппарату Главкозапа.

— У аппарата Главкозап. Здравствуйте Николай Иосифович. Сейчас меня вызвал к аппарату Черемисов сообщил, что в Петрограде вся власть [перешла] в руки революционного комитета, генерал губернатор[ом] Петрограда назначен Кишкин и так как он кадет, то посылка войск в Петроград является бесцельной и даже вредной, так как очевидно войска на сторону Кишкина не станут и просил меня объединить действия [и] взгляды на ближайшее будущее хотя бы двух фронтов северного и западного, на это я ему ответил очень жаль, что ваши войска участвуют в политике мы присягали Временному Правительству и не наше дело рассуждать [со]стоит ли петроградским губернатором Кишкин или другой кто, а должны принять все меры к тому, чтобы сохранить свой фронт, чтобы не прибавить к разрухе в России прорыва его немцами и я не понимаю о каком объединении фронтов он говорит, так [как] объединение это должно быть сосредоточено в Ставке, где по закону в случае отсутствия Главковерха должен делать Наштаверх, что у меня на фронте пока все спокойно большевики притихли, а фронтовой комитет и съезд крестьянских депутатов вынесли резолюцию, что всякое выступление большевиков и беспорядки будут подавляться силою оружия, вот что хотел я доложить Николай Николаевичу и в то же время просить ориентировать меня и дать указания, если вы это можете сделать то буду очень вам благодарен.

У аппарата Главкозап.

— А... очень прошу извинить за задержку. Вашу депешу докладывал Наштаверху, который непрерывно продолжает говорить с Главкосевом. Для Наштаверха переданное Вами явилось полной неожиданностью. По окончании разговора с генералом Черемисовым Наштаверх передаст соответствующие указания. Связь с Временным Правительством в Петрограде все время была.

— Больше я ничего не имею сказать я только опасаюсь, чтобы северный фронт не испортил мне всего дела и не колыхнул бы моего фронта, необходимы быстрые и решительные действия Николая Николаевича, чтоб удержать Главкосева в должных границах, и чтобы северный фронт [не] отделился в своих воззрениях и действиях от нас. Я копию разговора приблизительно (обязательно? *Ред.*) пришлю завтра с нарочным. Ожидаю указаний, а пока имею честь кланяться.

Копия разговора ген. Балуева с ген. Черемисовым,

сообщенная в Ставку.

— У аппарата Главкозап. — Здравия желаю.

У аппарата Главкосев. Благоволите сообщить известны ли вам Петроградские события и как на них реагируют армии западного фронта.

— Здравствуйте, известны. У меня на фронте пока все спокойно. Фронтовой комитет, армейские комитеты и съезд крестьянских депутатов вынесли резолюцию о верности Временному Правительству, поддержке его и о прекращении всяких выступлений крайних левых и беспорядков силою оружия. Каких-либо беспорядков на этой почве я не ожидаю, хотя фронт главным образом большевистский и с моей стороны приняты меры к тому, чтобы предупредить эти беспорядки. Точности, что творится Петрограде, мне неизвестно, знаю только, что там очень скверно, что туда от вас посланы войска. Связь со ставкой держу, если что вам известно подробнее, то буду благодарен если сообщите.

— Временное Правительство прежнего состава фактически не существует, власть находится в руках революционного комитета, войска Петроградского гарнизона за ничтожным исключением оказались не на стороне Временного Правительства, некоторые члены которого арестованы, гарнизоном заняты правительственные учреждения [;] связь с Петроградом прервана. На северном фронте в данную минуту объединившиеся организации фронта и тыла вырабатывают резолюцию, которую я вам сейчас же пришлю. На фронте у нас пока спокойно, постановление организации фронта ожидается не в пользу Временного Правительства прежнего состава, но и захват власти советами также у большинства не встречает сочувствия. По последним сведениям генерал-губернатором Петрограда назначен, без участия Керенского, кадет Кишкин, в силу этого обстоятельства посылка войск в Петроград является бесцельной и даже вредной, так как очевидно войска на сторону Кишкина не станут. Было бы желательно во избежание анархии объединить действия и взгляды на ближайшее будущее, хотя бы двух фронтов—северного и западного, вот это я хотел вам все доложить, дабы вы были ориентированы в обстановке.

— Очень жаль, что ваши войска участвуют в политике, мы присягали Временному Правительству и не наше дело рассуждать, состоит ли петроградским губернатором Кишкин или кто другой, а должны принять все меры во-первых к тому, чтобы сохранить свой фронт, чтобы не прибавить разрухи в России и прорыва его немцами, а во-вторых я счи-

таю большим несчастием для России, если власть будет захвачена такими безответственными партиями как большевики, так как тогда будет анархия и гибель России неизбежна, что же касается до объединения фронтов, то это объединение должно быть сосредоточено в ставке, где по закону в случае отсутствия главковерха, все распоряжения должен делать наштаверх, так что я не понимаю о каком объединении вы говорите наших фронтов. То что вы сообщили о Петрограде мне известно.

— Все, что я вам сообщил не слухи, а достоверные факты. Временного Правительства не существует. Министр-председатель Керенский от власти устранился, власть и Петроград находятся всецело в руках революционного совета, назначение Кишкина генерал-губернатором вызвало немедленное занятие штаба округа войсками. Донские полки не исполнили отданного им приказания выступить на защиту Временного Правительства и остались в Петрограде в своих казармах, броневики перешли на сторону войск революционного комитета. По некоторым имеющимся у меня данным, указаний соответствующих обстановке не[и] я, не[и] вы не можем получить из ставки, так как судя по ее последним телеграммам она не ориентирована в положении дел; сейчас я буду говорить с Духониным и ориентирую его в положении дел. Фронт конечно должен быть удержан против неприятеля, потому я и говорю о необходимости объединить действия хотя бы двух фронтов.

— Я употребляю все силы к тому, чтобы армии несмотря ни на какую разруху в России знали бы только одно: это удержать немцев в случае их наступления, несмотря на то есть ли и какое Временное Правительство, затем то, что Петроград в руках большевиков и Временное Правительство арестовано еще не значит, что все потеряно, так как кроме Петрограда имеется обширная Россия и еще вопрос, как она посмотрит на все это; во всяком случае я как солдат настоящее время признаю для нас только одну политику — спасение России от немцев, и в этом буду с вами солидарен.

— К сожалению вопрос не ограничивается оперативной стороной, как бы мы сами этого ни желали, и вы вскоре убедитесь в этом, так как комиссар северного фронта несомненно будет говорить с вашим комиссаром, а наши комитеты—с вашими комитетами. Я считаю при настоящем положении дел, которое мне достоверно известно, мы не имеем права уклоняться от политики и не считаться с политическим настроением массы, мы обязаны с этим настроением считаться, дабы фронт не оказался открытым для противника... сообщу вам дополнительные данные или попрошу

Духонина сделать это. Извиняюсь за беспокойство, пока имею честь кланяться.

— Напротив я очень рад, что вы меня вызвали к аппарату, но все-таки скажу на это, что я буду ждать указаний от ставки. Мне решительно все равно кто будет стоять во Временном Правительстве, лишь бы оно было и лишь бы оно уничтожило разруху царствующую в России. Я сам хотел говорить с Духониным, но сейчас получил от него по аппарату, что он говорит с Петроградом и просит обождать. Имею честь кланяться. Балуев.

— До свидания. Черемисов.

Разговор Вырубова с политическим управлением военного министерства

поздно вечером 25 октября.

— Пригласите гр. Толстого [1]), просит понаштаверх.

— Сижу у аппарата прапорщик Толстой и подпоручик Шер [2]).

— На сев. фронте происходит что-то непонятное, несколько тревожное. Главкосев, который сейчас говорил по аппарату с Наштаверхом, сказал, что он отменяет посылку войск на Петроград, ссылаясь на то, что генерал-губернатором Петрограда назначен Кишкин кадет и что вследствие этого последнего обстоятельства Кишкину доверия нет. Главкосев говорил с Главкозапом желая установить общую точку зрения от[ъ] чего Главкозап решительно отказался указать[в], что общая точка зрения устанавливается Ставкой. Главкосев сказал, что Керенский от власти и командования устранился и что командование будет передано ему, Черемисову. Мы этому не верим и совместно с армейским комитетом сейчас выясняем обстановку у Комиссарсева [и] Искомсева. Только что я говорил с Иорданским там все спокойно, все действуют согласно и готовы поддержать Временное Правительство. Главкозап также указывает, что большевики притихли.

— Я говорил между 9 и 10-ю часами вечера с Войтинским очень подробно и между прочим о Кишкине и о посылке войск в связи с тем, что я ему передал об осаде Зимнего Дворца и отношении циксорсода [3]). Войтинский уверил меня, что Главкосев наверное изменит свое решение относительно приостановки отправки войск, что я передал циксорсоду, который сейчас собрал заседание в Город.

---

[1]) Пом. начальника политического управления военного министерства.

[2]) Начальник полит. управления военного министерства.

[3]) Центральный исполнительный комитет совета рабочих и солдатских депутатов.

Думе, куда [поехал] Шер. Был ли разговор Наштаверха с Главкосевом [до то]го или после того[?] Войтинский во всяком случае при сочувственном отношении циксорсон[д]а обещал всяческое содействие прибытие[ю] войск с фронта, первые их эшелоны сегодня остановились в 70-ти верстах перед Петроградом. Принимаем меры, чтобы встретить и информировать. Совершенно не понимаем, откуда могли быть у Главкосева сведения об отказе Керенского от командования и тем более о передаче власти ему. Об этом не было и речи. Настроение у правительства и Кишкина, с которым я долго говорил, около 19-ти часов, самое твердое в том смысле, чтобы не капитулировать на предъявляемые ультиматумы, пока есть средства бороться. Сам Ал. /Гр и Ф/ Дрч. [Александр Федорович] уехали[л] около 12-ти часов дня из Зимнего Дворца, по имеющимся сведениям, навстречу войскам. Не вошел ли он в связь с Вами. Нельзя ли поговорить по проводу также с Полянским. Последние сведения Городская Дума в полном составе, кроме большевиков, отправилась в Зимний Дворец с намерением разделить судьбы и ответственность с Правительством, Орудийная стрельба сейчас приостановилась.

Разговор ставки с Полит. Управлением Военного Министерства

около 1 часа н. в ночь с 25-го на 26-е октября.

— У аппарата подпоручик Шер.

— Не можете ли вы сказать обстановку данного момента в Петрограде.

— Обстановка такова: Невский до Мойки свободен для движения[,] от Мойки и до Зимнего Дворца и кругом замыкая и вправо и влево на Неву Зимний Дворец был оцеплен, никого не пропускали патрули матросов и солдат Петроградских полков, остальные улицы свободны для движения в частности трамвайного, вокзалы заняты восставшими войсками, которые патрулируют по улицам задерживая неимеющих документов. Около Смольного Института, где помещался штаб восставших войск дежурят два броневика и несколько пулеметов на автомобилях, в общем же на улицах спокойно, столкновений в течение дня почти не было и толпа в трамваях на улицах вы[по]ражает своим безразличие[ием к]происходящее[му]; в Думе сейчас заседает комитет спасения революции, составленный из представителей думы и той части центрального комитета, которая удалилась из Смольного института порвав с большевиками, восставшие поддерживают порядок и дисциплину, случаев разгромов или погромов не было совсем[,] наоборот патрули восставших за-

держивали шатающихся солдат торгующих папиросами и на Александровском рынке, фактическое соотношение сил таково, что до позднего вечера, когда началась осада Зимнего Дворца, воззвание [восстание] проходило бескровно; подходя к тому или иному зданию, охраняемому правительственным патрулем, восставшие снимали его без всякого сопротивления, план возв[ст]ания был несомненно заранее разработан и проводился неуклонно и стройно. Комитет спасения революции в данное время никакими силами не обладает, но может рассчитывать на части, идущие с фронта. Сутки тому назад штаб округа должен был констатировать, что он опирается лишь на женский баталион, две-три роты юнкеров, роту ударников и группу офицеров, пришедших из госпиталей; броневые машины заявили, что не желают активно бороться за Временное Правительство и к утру ушли; три казачьих полка, находящихся в Петрограде в течение всей ночи вели переговоры относительно своего прихода к Зимнему Дворцу и к утру прислали две-три сотни, рассеявшиеся к сегодняшнему вечеру. Крейсер Аврора, подошедший к Николаевскому мосту обстреливал Зимний Дворец; в общем вначале восставщие не проявили большой решимости и лишь только почувствовали отсутствие сопротивления [.....] большевики растерянно ищут поддержку в других слоях говоря о совместной работе. Ленин выступая сегодня в Петроградском совете заявил, что немедленного мира ждать невозможно и решительная политика мира не означает немедленного прекращения войны; как сложится власть сказать трудно, но можно предвидеть что социалисты революционеры, меньшевики, кооператоры и все, что вправо от них принимать участия в власти не буде[у]т[,] этим объясняется уход из Смольного института меньшевиков и эсеров, порвавших с повстанцами. Шер.

— Где сейчас члены Временного Правительства.

— Они были в Зимнем Дворце и были арестованы час тому назад[;] где находятся не знаю. Министр Прокопович был арестован днем, но затем освобожден[;] все [ли] члены Временного Правительства [арестованы] сказать не могу точно, ибо в Зимнем Дворце находилось большинство, но не все.

— Кто у нас сейчас Главковерх?

— Александр Федорович Керенский.

— Где он?

— Мне только что сообщил Вырубов, что он в Пскове. Нам было известно, что он выехал навстречу войскам, идущим с фронта.

— Известно ли вам, что генерал Черемисов остановил посылку в Петроград поезд[а], коему было приказано произвести распоряжение Главковерха Керенского.

— Да, известно, но комиссарсев передавал, что его [это] распоряжение Главкосева было фактически отменено, ибо поезда продолжали итти, проверить это не могли.

— Как реагирует военное министерство на смещение Временного Правительства упразднения[е] совета Республики и захват власти большевиками?

— Военное Министерство случайно не занято еще восставшими войсками и провод является должно быть единственным в Петрограде не захваченным[;] здесь сейчас находятся лишь офицеры политического управления, решившие отказаться от всякой работы в случае захвата власти здесь в управлении. Гугши [1]) и Главный штаб заняты восставшими еще днем. Управляющий Военным Министерством генерал Маниковский был на заседании Временного Правительства и очевидно арестован.

— Благодарю вас, вполне ориентирован.

— Честь имею кланяться. Шер.

Разговор главнокомандующего западным фронтом со ставкой

в ночь с 25-го на 26-е октября.

— Сейчас из Петрограда получил несколько телеграмм от военно-революционного комитета, который сообщает, что Зимний дворец взят, министры арестованы и революционный комитет вместе с советом рабочих и солдатских депутатов и петроградским гарнизоном признал власть военно-революционного комитета, который требует оповестить об этом всех солдат армий фронта и тыла и кто будет против этого, тех немедленно арестовать. Программа новой власти: немедленное предложение демократического мира, немедленная передача земель крестьянам, передача всей власти советам и созыв Учредительного Собрания, народно-революционная армия должна не допустить отправки частей с фронта в Петроград и требует этот свой приказ объявить всем войскам немедленно. Что Временное Правительство арестовано видно из телеграммы центрального почтового комитета; из Москвы же имеется телеграмма, что она порвала связь Петроградом[а] с провинциями. Я прошу дать указания ставки и немедленно, так как телеграммы военно-революционного комитета скрыть от войск не могу.

[1]) Главное Управление Генерального Штаба.

— Временное Правительство действительно арестовано за исключением главковерха Керенского, который по словам генерала Черемисова приехал в Псков и приказал остановить движение войск на Петроград, имея в виду, что в Петрограде среди Временного Правительства поднялось влияние кадет. Я должна [доложу] сейчас вашу телеграмму Наштаверху. Должен сказать, что ставка еще не получала никаких указаний от власти, которая ныне сменила Временное Правительство. Так как в течение сегодняшнего дня из одиннадцатой[и] армий девять высказалось за поддержку Временного Правительства, то ставка не может взять на себя ответственность решать вопросы не согласовав их с желаниями армий. Пока больше ничего ответить не могу.

— Да, но мне этого мало. Я считаю, что мы должны [быть] объединены ставкой. Нельзя, чтобы каждый фронт действовал самостоятельно, поэтому я прошу вас доложить Николаю Николаевичу, что я буду ждать от него указаний сейчас. Балуев.

— Позвольте вас еще спросить, имеете ли вы в вашем распоряжении войсковые части, которые безусловно поддержали бы Временное Правительство?

— Ни за одну часть [поручиться] не могу, большинство же частей безусловно не поддержит, даже за <те> части, которые находятся около меня и те годны разве только для того, чтобы остановить погромы и беспорядки, но для поддержки Временного Правительства навряд ли они пригодны.

— Слушаю, я сейчас пойду докладывать.

— Будем ждать.

— Здесь штаб-офицер для поручений при главкозапе, капитан Корниевский.

— [Из] Ставки В. Г. 7936, Прбо 26/X главкозапу:

Ставка до сих пор не имеет никаких данных судить о том, какая именно правительственная власть установилась в Петрограде. До получ.[ения] официаль.[ных] данных считаем, что мы не вправе скрывать от войск происходящих[ее] в Петрограде, давая им разъяснение при посредстве комитетов и сохраняя при этом должное спокойствие и целость фронта и избегая междоусобной брани. 7936. Духонин. 26 октября 1917 года.

— Передано лично в руки Главкозапу офицером для поручений капитаном Корниевским.

Разговор ставки со штабом румынского фронта

в ночь с 25-го на 26-е октября.

— Разговор генерала Незманова [Незнамова] с генералом Дитерихсом.

— У аппарата генерал-майор Незманов [Незнамов].

— У аппарата генерал Дитерихс. Поздно вечером 25-го члены Временного Правительства были арестованы в Зимнем дворце восставшими Петрограде войсками. Повидимому настоящее время Петрограде формируется новое правительство в лице военно-революционного совета лозунгами которого будут немедленный мир и земля. Пока ставка никаких официальных уведомлений от нового правительства не получала. В [Из] членах[ов] прежнего правительства главковерх Керенский по сообщению генерала Черемисова приехал 25-го Псков и остановил движение в Петроград войск которые были посланы с северного фронта, причиной этой отмены по словам генерала Черемисова послужило то обстоятельство, что среди членов Временного Правительства, остававшегося Петрограде значительное влияние перешло к кадетам. При наличии этой обстановки ставка желает получить от вас вполне определенный ответ имеются ли на вашем фронте войсковые части, которые настоящий момент безусловно пошли бы на выручку Временного Правительства.

— Телеграмм с постановлениями армейских комитетов пока не поступало, все армии запрошены; по телеграмме комиссарум[а] Тизенгаузена комиссарам всем и армком сообщается, что при штабе фронта сформирован революционный комитет, по[у]становлено наблюдение за телеграфом приняты меры против случайного захвата его. Комитет предлагает армейским организациям принять меры для сохранения спокойствия на фронте и обеспечения сообщения. На вечернем собрании решено организовать [на] фронте дивизию из отборнейших товарищей, рекомендованных комитетами [с] лозунгом Учредительное Собрание[;] во что бы то ни стало не допустить попытки с чьей-либо стороны срыва выборов. Выборы должны начаться и закончиться в указанные сроки. — Сейчас вызван сюда комиссара[ъ]. В Одессе городе пока спокойно, воспрещена[ы] сборщина [сборища] на улицах, назначены конные дозоры и с [из] округов тревожных донесений нет.

— Я вас спрашиваю не о том, Учредительное Собрание будет обещано и новым правительством. Я же хочу получить ответ вполне определенный если [есть ли] у вас на фронте войсковые части, которые при настоящей обстановке будучи двинуты на Петроград пошли бы безусловно на выручку прежнего Временного Правительства.

— Как я доложил определенных донесений пока не поступило[,] личных[о] думаю, что конница, которой до сих пор не было никаких эксцессов исполнит приказание если таковое будет. Комиссар, который сейчас приедет и кото-

рый имел разговор с комиссарами даст сведения о других частях.

— У аппарата комиссар Румфронта Тизенгаузен. Генерал-квартирмейстер мне передал содержание вашего вопроса[;] мое глубокое убеждение, что двинуть с фронта войска для защиты лиц самого правительства едва ли возможно, хотя безусловно нашлась может быть часть, которая пошла бы беспрекословно при таких условиях. В защиту Учредительного Собрания и для противодействия попыткам срыва безусловно станет весь фронт и если бы последнее[му] грозила бы серьезной[ая] опасность за фронт можно было бы быть совершенно спокойным. В этой плоскости вчера обсуждался вопрос местной фронтовой организацией, где и высказывались подобные соображения. Сведений из армий пока еще не имею, вчера все комиссары мною информированы, посвящены в наш план созданий[я] особой воинской части для посылки в Петроград и они должны были в самом экстренном порядке созвать совещание армейских комитетов для выяснения определенных резолюций; с их слов можно заключить, что защита Учредительного Собрания весьма популярна. Состав прежнего правительства не особенно популярен в войсках и как таковой мало интересует солдат. Вот пока все, что могу сказать.

Разговор ставки с штабом юго-западного фронта.

Ген. Дитерихс передает ген.-квартирмейстеру юго-западного фронта сообщение, совершенно аналогичное только что приведенному сообщению румынскому фронту. Затем следует разговор наштаюза с ген. Дитерихсом.

— Просит наштаюз.

— У аппарата генерал Дитерихс.

— Здравствуйте Михаил Константинович. Главкоюзу неясно в вашем разговоре с генкварюзом следующее: вы говорите, что Главковерх в Пскове между тем по сведениям нашего искомитюза, полученным от исполнительного комитета ставки все члены Временного Правительства арестованы другими словами арестован министр главковерх Керенский. Кроме того по тем же сведениям Черемисов отказывается исполнить приказание наштаверха; наконец вы говорили, что среди членов Временного Правительства, оставшегося Петрограде значительное влияние перешло кадетам. Раз войска северного фронта, направлявшиеся Петроград были остановлены главковерхом непонятен ваш запрос относительно возможности посылки войск нашего фронта, которые могли бы в настоящий момент безусловно пойти на выручку Временного Правительства. Все.

— Неужели вы два часа меня держали у аппарата для того, чтобы проверять мои сообщения и в конце концов не дать прямого со[от]вета на вопрос я вам не говорил о посылке войск куда-нибудь и какие причины моего запроса вами[вам] очевидно не понятны. Нам надо было знать если [есть ли] у вас части в которых при наличии указанной мною обстановки можно было бы быть уверенным безусловно, что они пойдут.

— Передал главкоюзу ваши слова он просит вас обождать еще; что же доложить главкоюзу, что вы обождете.

— Ваш ответ меня вполне удовлетворил и потому я не вижу причины почему еще мне нужно ждать.

— Передал вам исключительно просьбу главкоюза. Сейчас генкварюз пошел к главкоюзу спросить причину просьбы обождать. Сейчас дам ответ. Главкоюз просил вас подождать не в том смысле, чтобы вы стояли у аппарата, а хотел получив от вас ответ более определенно освещающе[ий] обстановку поговорить с военным комиссаром, которого он ждет с минуты на минуту. У главкоюза сейчас член искомитюза ждет только военного комиссара и сейчас приглашаем члена правления казаков.

— Могу ориентировку и сейчас вам сказать если хотите.

— Прошу передать.

— В течение 25 октября восставшие части петроградского гарнизона при почти полной пассивности как общества, так и войска, верных правительству, занимали одно правительственное учреждение за другим. В одиннадцать часов утра главковерх выехал на автомобиле из города как нам передано из Зимнего дворца для встречи шедших в Петроград войск северного фронта оставив в Зимнем дворце всех остальных членов Временного Правительства некоторых членов военного министерства чинов штаба округа и нашего комиссарверха с которым мы имели связь до десяти вечера. Под вечер генерал Черемисов сообщил наштаверху, что главковерх приехал в Псков отказался от своих полномочий и предлагал назначить главковерхом генерала Черемисова. Вероятно около одиннадцати часов вечера осажденные в Зимнем дворце члены Временного Правительства после незначительной перестрелки были арестованы. Совет солдатских и рабочих депутатов повидимому разделился меньшевики эсеры и те, кто правее примкнули к членам городской думы и образовали совет спасения революции а крайние левые вместе с военно-революционным комитетом объявили Временное Правительство низложенным и власть перешел[а] в руки этого совета. Мы знаем об этом не от новой власти установившейся в Петрограде, от которой до сих пор указаний не получали. От

Главкозапа знаем, что им получена из Петрограда от военно-революционного комитета телеграмма с приказанием немедленно объявить войскам о происшедшем перевороте и потребовать от войск подчинения. Наштаверх при таких условиях дал указания: не имея лично уведомления от новой власти из Петрограда он предлагает ничего не скрывать от войск из того, что делается в Петрограде, давая им соответственные разъяснения при посредстве комитетов и комиссаров, сохранять спокойствие, дабы не вызвать войсках междоусобицы и сохранить на фронте положение. Вот все, что я могу сказать.

— Вчера вечером у Главкоюза было освещение [совещание] подробности которого мне неизвестны. Но знаю, что правление наших казаков получило от правления из Киева указания принять меры по охране штаюз и для установления дежурства на телеграфе, дабы не допускать никого посторонних. Сейчас ваш разговор доложу Наштаюзу и дам исчерпывающий ответ. Генерал Махров.

— Я буду ждать ответа у аппарата.

— Хорошо.

Телеграмма комиссара северного фронта в ставку.

Говорит Комиссарсев Войтинский. Передаю копию приказа главковерх главкосеву. Эта копия должна быть передана наштаверху.

— Приказываю с получением сего продолжить перевозку 3 конного корпуса к Петрограду 315. Верховный главнокомандующий Керенский. 26 окт. 5 ч. 30 м.

Разговор начальника штаба верх. главноком. с начальником штаба северного фронта

утром 26 октября.

— Наштасев Лукирский у аппарата.

— Генерал Духонин у аппарата. Здравствуйте, Сергей Георгиевич, прошу вас ориентировать меня в обстановке. У вас ли главковерх Керенский.

— Здравия желаю Николай Николаевич, доложу сейчас, что знаю, так как полные сведения собираюсь сейчас испросить у главкосева как мне указано было вчера. Вчера после отдачи распоряжения по отмене движения войсковых частей к Петрограду приехал Александр Федорович, который не разделяет мнения главкосева по [о] необходимости отмены движения назначенных войсковых частей к Петрограду. Однако передать распоряжение с подтверждением приказа о движении на Петроград не удалось, так как у аппаратов

революционным комитетом, сформировавшимся в Пскове были поставлены особые дежурные члены этого комитета. В 5 с половиною часов 26-го Александр Федорович выехал Остров вместе с Комкором 3-го конного[1]), который приезжал в Псков в 3 часа 26-го. Лично я главковерха не видел, а доложил мне об его здесь пребывании генерал Барановский, объяснив, что Александром Федоровичем принято решение вместе с 3-м конным корпусом в полном его составе следовать первоначально к Луге. У нас получены следующие телеграфные сообщения: 1) постановление фронтового казачьего съезда, решительно осуждающего выступление большевиков и призывающего все казачество и всех у кого осталась еще совесть и любовь к родине к защите родины, 2) воззвание объединенных организаций партии ес-ер, ес-д, центрофлота, армейских организаций в Петрограде и центрального исполнительного комитета совдепов, призывающего[ее] к тому же. У нас положение следующее: 12-я армия решительно и определенно высказалась против большевиков и заявила, что она употребит все свои силы, чтобы покарать бунтующую кучку большевиков. 1-я и 5-я армии заявили, что они за правительство не пойдут, а пойдут за Петроградским советом. Это я вам сообщаю решение армейских комитетов. В Петрограде по нашим сведениям произошло следующее: Зимний дворец, где сгруппировалось Временное Правительство после штурма дошедшего до рукопашной был взят большевиками и члены Временного Правительства отправлены в Петропавловку. Большевики тем не менее должны праздновать пиррову победу, так как за ними нет никого, вся организованная демократия стала против них, объединившись в комитет народной обороны, в который вошли и все члены фронтовых организаций находящихся в Петрограде, а равно и весь состав Думы. Этот комитет народной обороны выслал на все окраины и въезды в Петроград своих представителей для встречи подходящих войск, которые к сожалению не подходят. 3-й конный корпус из района Острова 1-й армии и Витебска если не продолжает, то будет продолжать движение[;] распоряжение об этом Главковерхом отдано категорическое и мы его исполняем. Лукирский.

— Очень вам признателен. Не можете ли вы точно установить где сейчас находится Главковерх и могу ли войти с ним в связь через вас. Необходимо немедленно установление этой связи прошу по исполнении этого мне телеграфировать, тако[ж]е прошу указать, [...]

---

[1]) С ген. Красновым. *Ред.*

— ж[Ж]дем главковерха сегодня же в Пскове, куда главковерхом приказано переместиться штабу 3-го конного корпуса. Надежд[н]ой связи телеграфной между Псковом и Островом у нас нет, но штасев может принять вашу депешу и немедленно отправить ее с офицером на автомобиле навстречу главковерху. Все.

— Хорошо передаю телеграмму. Главковерху Керенскому. — Прошу вас немедленно по прибытии штасев переговорить со мной по аппарату. Желая вам доложить вчера лично я просил об этом Главкосева, но он не признал возможным. Полагаю необходимым выдвижение Петрограду не только 3-го корпуса, но и других назначенных частей[;] конечно придется выехать походным порядком, так как состоялось постановление железнодорожного союза не перевозить войск Петрограду. Очень прошу вас, Сергей Георгиевич, последнюю фразу со слов „полагаю необходимым" уничтожить и после слова точка поставить мою фамилию.

— Простите, что я вас затруднил, не откажите уничтожить зачеркнутый кусочек ленты. Если что-нибудь узнаете, то очень прошу меня ориентировать. Какое решение принял Главкосев, я всю ночь поджидал его вызова.

— Главкосев в данный момент отдал распоряжение продолжать передвижение по железной дороге частей 3-го конного корпуса. Посты революционного комитета Главкосев приказал снять. Дополнительно к сведениям, доложенным мною о положении в армиях севфронта докладываю еще следующее: комфлот просит штасев не посылать ему шифрованных телеграмм, ибо такие телеграммы ему с телеграфа не передаются. Повидимому это обусловлено наличием в морских телеграфных конторах дежурных революционного комитета. Лукирский.

Разговор ставки с помощником начальника политического управления военн. министерства

26 октября после 1½ ч. д.

— А что у вас сейчас делается.

— На улицах тихо, все патрули чужие. Правительство арестовано[,] в рабочих районах совершенно спокойно[;] из разговоров выяснилось, что за исключением красной гвардии широкие рабочие массы активного участия в движении на Зимний дворец не принимали. Новой власти нет и едва ли она образуется[;] у победителей настроение как после пирровой победы и уже определяются течения кто за большевистскую власть, кто за более широкую, складывается новый центр общесоциалистической и демократической и признание будет за ним[;] по-моему сегодняшняя пресса

очень единодушна [в оценке] преступной авантюры, но у центра пока только признание, а нет здесь силы, одно без другого мало. Продолжаю все-таки быть бодрым, я сейчас ухожу, рассчитываю на тебя насчет Москвы. Толстой.

Разговор Вырубова с Войтинским

днем 26 октября.

— Кабинет комиссарсева, комиссарсев у аппарата.

— У аппарата понаштаверх Вырубов, очень прошу вас ориентировать меня о положении Пскове. В тринадцать с половиной часов говорил с прапорщиком Толстым, от которого по аппарату получил приказ главковерха, отданный 25-го в Пскове. Приказ этот из Пскова не получен, сообщите где главковерх, ожидается ли он когда в Пскове.

— Сообщаю вполне секретно главковерх был в Пскове сегодня ночью[;] из Пскова он выехал вместе с генералом Красновым в Остров, где стал во главе кавалерийской дивизии, с которою в настоящее время и двигается по направлению Петрограда. 1-й эшелон, при котором находится главковерх и Краснов уже миновал Псков и с особыми предосторожностями двигается дальше. Сообщаю о положении[:] 12-й армии готовится отряд для отправки в Петроград, куда выехал Мазуренко и Фомин из Центрископ[м]а, вероятно им будет поручено и руководство отрядом; в 1-й армии плохо, там армейским[ий комитет] провозгласил себя военно-революционным комитетом и проявил свою энергию тем, что изгнал врид комиссара Смалдовского. Распространить 1-й армии приказ Керенского и воззвание пяти организаций пока не удается. 5-й армии приблизительно то же самое, точные сведения получатся оттуда позднее; в казачьих частях настроение повышенное, быть может даже слишком повышенное. Пскове идет пока бескровная война между мной и военно-революционным комитетом, который установил контроль над аппаратами, кроме моего[;] пытаются останавливать эшелоны и собираются арестовать меня, все-таки удалось отпечатать в нескольких тысячах экземпляров приказ и воззвание. Связь с Петроградом и всеми частями фронта тоже удается поддерживать, а в ближайшем будущем думается удастся избавиться и от слежки на аппаратах, установлена связь с Лужским гарнизоном, который сам предложил помощь, воззвание и приказ удалось отдать открытой радиотелеграммой. Вот кажется все пока.

Разговор ген. Духонина с ген. Балуевым

днем 26 октября.

— Доложите главкозапу, что наштаверх просит его подойти к аппарату для переговоров.

— Здравия желаю ваше высокопревосходительство. Разрешите ориентировать вас в обстановке. Наштасев доносит, что вчера после отдачи распоряжений по отмене движений войсковых частей к Петрограду в штасев прибыл главковерх и заявил, что он не разделяет мнения главкосева и приказал подтвердить приказ о движении на Петроград, однако этого сделать не удалось тотчас же, так как у аппаратов революционных комитетов были поставлены постовые дежурные члены. В 5 с половиною часов 26-го Главковерх выехал в Остров, вместе с комкором 3-го конного[;] по словам генерала Барановского главковерх принял решение, вместе с 3-м конным корпусом следовать на Петроград. Сегодня главковерх пред[по]лагает быть в Пскове и я буду с ним говорить по аппарату. Обстановка, как она рисуется в Петрограде сводится к тому, что Временное Правительство кроме минпродовольствия Прокоповича и главковерха арестовано и отправлено в Петропавловскую крепость, в аресте участвовала в 200/3000 [200/300] человек группа[;] большевики тем не менее должны праздновать пиррову победу, так как за ними не пошла вся организованная демократия объединившись в комитет народной обороны, в который вошли члены фронтовых организаций находящихся в Петрограде, а равно и весь состав думы. Этот комитет выслал на все окраины и въезды в Петроград своих представителей для встречи подходящих войск. Главкосев в данный момент отдал распоряжение продолжать передвижение по железной дороге и приказал снять посты революционного комитета. — (связь прерывается).

— У аппарата понаштаверх Вырубов. До прихода наштаверха по его приказанию передаю пока приказ главковерха. Приказ верховного главнокомандующего от 25 октября 1917. 314, подписанный Керенским в Пскове: „Приказ. Наступившая смута, вызванная безумием большевиков, ставит государство наше на край гибели и требует напряжения всей воли мужества и исполнения долга каждым[;] для выхода из переживаемого Родиной нашей от смертельного испытания в настоящее время впредь до объявления нового состава Временного Правительства, если таковое последует каждый должен оставаться на своем посту и исполнять свой долг перед истерзанной Родиной, нужно помнить, что малейшее нарушение существующей организации армии может

повлечь непоправимые бедствия открыв фронт для нового удара противника, поэтому необходимо сохранить во что бы то ни стало боеспособность армии поддерживать полный порядок[,] охраняя армию от новых потрясений и не колебать взаимное полное доверие между начальниками и подчиненными[;] приказываю всем начальникам и комиссарам во имя спасения Родины сохранить свои посты как и я сохраняю свой пост верховного главнокомандующего впредь до изъяснения воли Временного Правительства Республики. Приказ прочесть во всех ротах, командах, сотнях, эскадронах и батареях на судах и всех строевых командах А. Керенский.

— У аппарата Духонин. Продолжаю, на чем пропали [прервали]. 12-я армия решительно и определенно высказалась против большевиков и заявила, что она употребит все свои силы, чтобы покарать бунтующую кучку большевиков. 1-я и 5-я армии заявили, что они за правительство не пойдут, а пойдут за петроградским Советом[,] фронтовое казачество северного фронта решительно осуждает выступление большевиков [и призывает] все казачество и всех у кого осталась еще совесть и любовь к Родине к защите Родины. Затруднение доставки войск к Петрограду заключается в постановлении центрального железнодорожного комитета не вес[з]ти войск, кроме оперативных перевозок, но может быть уладится и это, будьте добры сообщить обстановку на вашем фронте. Так как начинают проникать телеграммы с разными распоряжениями большевиков, то мы установили в ставке Могилеве и на станции дежурство членов комитета для задержки телеграмм, явно преступных и агитирующих.

— Здравствуйте Николай Николаевич. Сегодня ночью от революционного комитета из Петрограда пришла телеграмма, что власть захвачена революционным комитетом и он призывает все войска подчиниться ему, телеграмму эту задержать нельзя было и я ее послал во все комитеты, чтобы комитетам обсудить и резолюции прислали мне[;] в Минске [власть] в свои руки взял совет солдатских и рабочих депутатов, но ему еще противодействует фронтовый комитет[;] не знаю удастся ли фронтовому комитету побороть совет, но на гарнизон Минске надеяться не могу[;] пока с [из] армией[и] сообщений об них [их] постановлений не имеем. Сейчас явился караул от 37-го полка и объявил меня арестованным и весь штаб и требует производить работу под контролем ихнего революционного штаба. Положение вообще скверное и я не знаю, как из него выйду, комиссары тоже ничего не могут сделать[;] вот все что могу сообщить вам.

— Я сейчас поговорю комиссарверхом[;] необходимо дать знать фронтовому комитету, чтобы он принял с своей стороны меры разъяснения этого невозможного положения. А известно ли это комиссару и прочим частям гарнизона, на чем основан этот арест. Вероятно чинам 37-го полка не была объяснена вся обстановка и последующие разъяснения ее вот все.

— 37-й полк весь в распоряжении совета солдатских и рабочих депутатов[;] о происшествиях никто не знал [знает] и даже<ть>знать я не могу потому что все занято караулом и никто [никого] не выпускают из штаба. Вот все что я могу сказать. Когда выяснится обстановка то сообщу вам, а пока до свидания. Балуев.

— Со всей стороны приму меры для разъяснения [и] вашего освобождения. Я думаю, что оно не замедлит как только будет всем известно распоряжение позднейшее. Всего хорошего. Духонин.

ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ [1]).

25 октября 1917 г.—7 января 1918 г.

Октябрь.

25. 2 ч. ночи. Войсками Военно-Революционного Комитета заняты вокзалы, мосты.
— 4 ч. утра. Керенский посылает приказ казакам и юнкерам: „выступить на помощь ЦИК и революционной демократии".
— 7 ч. утра. Войсками Военно-Революционного Комитета занята телефонная станция.
— 8 ч. утра. Керенский бежит в Гатчину.
— Воззвание В.-Р. Комитета „К гражданам России". „Временное Правительство низложемо. Власть перешла в руки органа Петроградского Совета—В.-Р. Комитета".
— Заседание Вр. Правительства под председательством заместителя Керенского—Коновалова. Министру Кишкину даны „исключительные полномочия по водворению порядка в столице и защите Петрограда от всяких анархистских выступлений". Написаны два воззвания к населению и фронту.
— Открытие заседаний 2-го Всерос. Съезда Советов. Присутствовало 562 делегата. Председательствовал т. Каменев. Меньшевики покидают съезд в виде протеста против пролетарской революции. Так же поступают правые с.-р. и „бундовцы", а затем и группа Мартова. Левые эсеры говорят о необходимости единого революционного фронта. Съезд принимает текст обращения к населению и постановляет: „вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок".
— 2 ч. 35 м. дня. Открытие заседания Петр. Совета. Появление В. И. Ленина и тов. Зиновьева.
— 3 ч. дня. Вр. Правительство перебралось в Зимний дворец. Дворец и все залы дворца заняты отрядом юнкеров в 1.000 человек и „женским батальоном" Бочкаревой.
— 5 ч. дня. Площадь Зимнего дворца окружается войсками В.-Р. Комитета.
— 8 ч. вечера. Ультиматум Петр. Совета Вр. Правительству с требованием сдачи.
— 9 ч. вечера. Первые выстрелы по Зимнему дворцу („холостые") — с верков Петропавловской крепости и с крейсера „Аврора".— Ответный ружейный огонь юнкеров и женского батальона.
— 11 ч. вечера. Занята половина дворца. Вр. Правительство переходит в другую, все время поддерживая сообщение по прямому проводу с фронтом.

---

[1]) Заимствовано из книги Г. Зиновьева. „Год революции". Госиздат, Л., 1925, с некоторыми дополнениями и сокращениями. *Составитель.*

25. 1 ч. ночи. Временное Правительство арестовано.
— В Москве создан Военно-Революционный Комитет и контр-революционный „Комитет Общественной Безопасности". Кремль занят юнкерами. Большинство правительственных учреждений и стратегические пункты заняты большевиками. В состав „Ком. Общ. Без." входили представители эсеров, „городского самоуправления", штаба военного округа и некоторых других буржуазных организаций.
26. ЦК большевиков предложил левым эсерам принять участие в правительстве.
— Второе заседание Съезда Советов. Съездом приняты два доклада В. И. Ленина: а) „Обращение к народам и правительствам всех стран" о мире; б) „Декрет о земле".
— Избрание Съездом Временного Рабоче-Крестьянского Правительства. Предложение левых эсеров, объединенных интернационалистов и оставшейся на съезде части меньшевиков-интернационалистов избрать временный комитет для создания правительства „по соглашению с теми группами демократии, которые действуют на съезде". Съезд отвергает такую постановку вопроса и создает Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным.
— Начало движения казачьего отряда Керенского-Краснова на Петроград для подавления пролетарской революции.
— Декрет о закрытии периодической печати, активно выступающей против Советской власти.
27. Занятие Гатчины (под Петроградом) Керенским.
— Начало переговоров, по инициативе „Викжеля", между большевиками и социалистическими партиями об образовании обще-социалистического правительства.
28. В Москве бой между юнкерами и войсками В.-Р. Комитета.
— Занятие Царского Села Керенским.
29. В Петрограде восстание юнкеров, быстро подавленное.
— В Москве продолжается борьба. Юнкера засели в Кремле.
— Декрет о 8-часовом рабочем дне.
30. Бой под Пулковым между советскими войсками и отрядом Керенского. Отступление Керенского из Царского Села в Гатчину.
— „Викжель" ведет переговоры с „социалистическими" партиями. Меньшевики требуют передачи распоряжения гарнизоном Петрограда городской думе и разоружения рабочих. Прочие „социалисты" не признают возможным итти так далеко.
31. Продолжение переговоров. Вопрос об ответственности правительства. Большевики считают, что оно может быть ответственным лишь перед ЦИК Съезда Советов; меньшевики предлагают созвать особый „Народный Совет", в котором ЦИК являлся бы лишь одной шестой частью всего состава „Совета".
— Переговоры о перемирии между отрядом Керенского-Краснова и советскими войсками.

Ноябрь.

1. Отправка Петроградск. Советом красногвардейских отрядов в Москву. Ожесточенные бои за Кремль в Москве.
— Заключение перемирия между советскими войсками и отрядом Краснова. Разложение этого отряда. Бегство Керенского из Гатчины.— Верховным главнокомандующим на фронте Совнарком назначает Духонина.
2. Декларация прав народов России.
— Власть в Москве перешла к Военно-Революционному Комитету.
— ЦК (б) отвергает соглашение с социалистами на выдвигаемых последними условиях.

2. Фракция левых эсеров ЦИК предъявляет ультиматум о необходимости соглашения с социалистами, угрожая в противном случае отказаться от сотрудничества с большевиками.
4. Заявление Каменева, Рыкова, Ногина, Милютина и Зиновьева о выходе из ЦК (б).
— Наркомы Ногин, Рыков, Милютин и Теодорович подали заявление в ЦК (б) о сложении ими с себя обязанностей. К ним присоединились Рязанов, Дербышев, Арбузов, Юренев, Федоров, Ларин и Шляпников. Мотивы: необходимо создать социалистическое правительство из всех советских партий.
— Фракция левых эсеров ЦИК заявляет о том, что эсеры отзовут своих партийцев из всех советских учреждений.
— Меньшевики-интернационалисты требуют восстановления свободы печати, даже буржуазной. Правые эсеры категорически высказались против всяких соглашений с большевиками.
6. Левые эсеры снимают своих представителей с советских постов.
— Последняя попытка ЦИК притти к соглашению с социалистами. Крайние требования последних признаны неподлежащими удовлетворению.
8. В „Правде" „Письмо к товарищам" тов. Зиновьева, устанавливающее, что „попытка соглашения... не увенчалась успехом не по нашей вине. Теперь доказано, что меньшевики и эсеры соглашения не хотели и лишь искали повода, чтобы сорвать его"... Поэтому тов. Зиновьев соглашается с предложением товарищей и берет назад свое заявление о выходе из ЦК.
— Совнарком предписывает генералу Духонину вступить в мирные переговоры с Германией. Отказ Духонина. Смещение Духонина и назначение вместо него Крыленко (9 ноября).
— Соглашение с левыми эсерами о вхождении их в состав правительства.
14. Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.
— Крыленко посылает парламентеров к немцам с предложением перемирия. Согласие немцев на ведение переговоров.
15. Слияние Советов Крестьянских Депутатов с ЦИК Советов Р. и С.Д.
16. Согласие Германии и Австрии вступить в мирные переговоры.
19. Бегство Корнилова и генералов-корниловцев из Быховской тюрьмы. Занятие ставки отрядом Крыленко.
— Первая встреча русской делегации с делегатами германской коалиции в Бресте.
22. В Брест-Литовске подписано перемирие с Германией.
— Декрет о суде.
23. Центральная Рада на Украине разоружает революционные войска.
25. Первое столкновение с калединскими войсками на Дону.
25—28. Восстание Дутова в Оренбурге.

Декабрь.

2. Приказ об уничтожении в армии чинов, титулов и орденов; выборность командного состава.
— Занятие Ростова Калединым.
4. Ультиматум Советского правительства Центральной Раде.
— Организован ЦК большевиков на Украине.
— Положение о земельных комитетах и о государственном контроле.
5. Декрет о Высшем Совете Народного Хозяйства.
9. Начало гражданской войны с Радой.
13. I Всеукраинский Съезд Советов в Харькове.
14. Декрет о национализации банков.
17. Декрет о гражданском браке.
— Отделение Финляндии от России.
20. Образование Всероссийской коллегии по организации Красной армии.

Январь 1918 г.

1. Покушение на В. И. Ленина.
2. Декрет о революционных трибуналах.
— Декларация прав трудящегося и эксплоатируемого народа.
5. Открытие Учредительного Собрания.
— Декрет о новом правописании.
6. Доклад В. И. Ленина о необходимости роспуска Учред. Собрания (в заседании ВЦИК).
7. Декрет о роспуске Учред. Собрания.
— В. И. Лениным написаны тезисы о мире.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИМЕН [1]).

Авксентьев, Н. Д.— род. в 1878 г. Один из старейших членов партии эсеров и ее практический руководитель. В 1905 г. входил от имени партии в Петербургский Совет Р. Д. и вместе с другими членами его Исполнительного Комитета по приговору Петербургской судебной палаты был сослан в Сибирь, откуда в 1907 г. бежал за границу. Во время реакции и распада партии примкнул к образовавшемуся в 1912 г. правому крылу с.-р. партии, защищавшему легальность и отказ от террора. С начала мировой войны, проживая в Париже, занял крайнюю правую позицию среди эсеров, защищая оборончество и активно содействуя „волонтерству" русской эмиграции. После Февральской революции — член одного из коалиционных правительств Керенского и председатель „Совета Республики". После октябрьской революции — активный противник советов, на „Уфимском совещании" отстаивал коалицию с буржуазией и вошел в состав Уфимской директории (Вологодский, генерал Болдырев, Зензинов, к.-д. Виноградов и Авксентьев), разогнанной вскоре Колчаком. С разрешения Колчака выехал за границу, где вместе с Милюковым входил в т. наз. „Комитет членов Учр. Собр." (Л. XIV, 196).

Алексеев, Михаил Васильевич — царский генерал, участник мировой войны. С осени 1915 года., когда Николай II удалил с поста верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича и сам занял этот пост, Алексеев стал начальником штаба главковерха (фактически же—руководителем всех военных операций) и сохранял эту должность почти бессменно и после Февральской революции, вплоть до корниловского мятежа, после которого оставил этот пост. К Февральской революции относился отрицательно, всячески старался уберечь солдат от „агитаторов" и восстановить старую власть офицерства. После Октябрьского переворота бежал на Дон и явился инициатором и одним из руководителей добровольческой армии для борьбы с Советской республикой. Умер в 1918 г., через несколько месяцев после смерти Корнилова.

Антонов (Овсеенко) — старый революционер; до 1917 года формально не был членом большевистской организации, хотя в эпоху войны был главным организатором и основным сотрудником интернационалистских газет „Голос", „Наше Слово" и „Начало" в Париже. Приехав из эмиграции после начала революции, вступил в петроградскую организацию б-ков и стал одним из активнейших членов партии, как оратор, журналист и организатор. В Октябрьские дни был одним из главных руководителей Военно-Революционного Комитета. Под командованием Антонова (бывшего офицера) взят был Зимний дворец; им же арестовано Временное Правительство. В эпоху гражданской войны Антонов неоднократно занимал ответственные

---

[1]) Текст, заимствованный целиком или частью из примечаний к Собр. соч. Ленина и Троцкого, отмечен в конце заметки буквой „Л" или словом „Троцкий" и ссылкой на том, часть и номер примечания. Остальной текст принадлежит составителю, равно как и исправления и дополнения в заимствованных примечаниях. *Составитель.*

командные посты в армии, был наркомвоен Украины, а в 1923 г. был начальником Пура. В 1924 г. т. Антонов-Овсеенко назначен представителем СССР в Чехо-Словакию (Троцкий. III, 1, 190).

Беркенгейм — социалист-революционер правого крыла, кооператор. гласный Московской гор. думы, сторонник коалиции с буржуазией (Л. XIV, 267).

Бонч-Бруевич, Михаил Дмитриевич (брат коммуниста Влад. Дм-ча)— во время мировой войны начальник штаба Северного фронта, после Октября работал с Советской властью.

Верховский, А. И. — полковник царской армии, после Февраля был назначен командующим Московским военным округом и выступил в этой должности с воззванием против Корниловского мятежа. После подавления Корнилова был назначен военным министром Врем. Правительства, но уволен после того, как высказался в пользу заключения мира.

Войтинский, Владимир Савельевич — в 1905 г. большевик, принимавший участие в революционном движении, во время мировой войны — меньшевик, оборонец, после Февраля — член ЦИК и пом. комиссара Северного фронта, боровшийся против большевизма, один из организаторов вооруженного сопротивления Октябрьской революции; ныне — эмигрант.

Володарский, В.— бывший меньшевик, сохранил верность Интернационалу во время войны, работал в Петербургской междурайонной организации, вошел вместе с нею в РКП в июле 1917 г. Его выступления на митингах в Петербурге и деятельность в Совете создали огромную популярность и любовь в рабочих массах. Убит в 1918 г. социалистом-революционером (Л. XIV, 227).

Гвоздев — меньшевик-ликвидатор, в годы войны — председатель рабочей группы Всероссийского военно-промышленного комитета, созданного российскими промышленниками для распределения военных заказов казны. Товарищ министра труда в одном из коалиционных кабинетов Керенского. Занимал крайнюю оборонческую позицию с самого начала войны (Л. XIV, 6).

Гоц, Абрам Рафаилович — правый социалист-революционер черновского толка. В 1906 году состоял участником „Боевой организации ПСР", возглавляемой Азефом и Савинковым, принимал участие в подготовке к (не состоявшемуся) покушению на Дурново и в других террористических предприятиях. Февральская революция возвратила его из Сибири, где он находился на поселении. Член ЦИК оборонческого состава, после I Съезда Советов в июне 1917 г. Член совета Российской республики (октябрь 1917 г.) и лидер эсер. фракции. Социал-патриот-оборонец. Член ЦК ПСР после октябрьского переворота и организатор вооруженной борьбы и террористических актов против Сов. власти. По процессу эсеров в 1922 г. приговорен (после помилования) к десяти годам заключения (Л. XV, 107).

Дан (Гурвич), Федор Ильич — один из крупнейших вождей меньшевиков, соратник Мартова, литератор, редактор ряда меньшевистских изданий. Родился в 1871 г. В первой половине девяностых годов работал в петербургском „Союзе борьбы за освобождение рабочего класса". Был сослан на три года в Вятскую губернию. По окончании ссылки принимал участие в русской и заграничной с.-д. работе. В 1902 году участвовал в конференции в Белостоке, имевшей целью подготовку II съезда РСДРП, на которой был арестован и сослан в восточную Сибирь, откуда эмигрировал за границу. Революция 1905 г. дала ему возможность вернуться в Россию. Участник партийных съездов 1906 и 1907 г.г. и ряда конференций.

Политическая позиция Дана в отношении Февральской и Октябрьской революций отчетливо проявилась в статье его, помещенной в настоящем томе, и отмечена в предисловии. В настоящее время Дан—за границей, деятельный сотрудник и редактор меньшевистского „Социалистического Вестника", но менее оголтелый враг Советской власти, чем, напр., Каутский (частью Л. XIV, 159).

Деникин, Антон Иванович — один из виднейших генералов царской армии, поддерживал корниловское выступление в августе 1917 г. против

Керенского. После поражения Корнилова был вместе с ним и другими высшими чинами ставки арестован и содержался в заключении в Быхове, откуда все корниловцы, во главе со своим вождем, 19 ноября 1917 г., при занятии ставки советским отрядом, бежали на Дон, где заняли командные должности в организованной Алексеевым и Корниловым „Добровольческой армии". После того, как глава этой армии Корнилов был убит при штурме Екатеринодара 31 марта 1918 г., в командование армией вступил Деникин, которому удалось нанести ряд тяжких поражений советским войскам и постепенно занять Кубань, Дон, всю Украину, Курск и Орел. В октябре 1919 г. войска Деникина потерпели поражение за Орлом, на путях к Туле, после чего стали быстро и неудержимо откатываться назад к югу. В марте 1920 года Деникин переправил на судах остатки своей разбитой и разложившейся армии из Новороссийска в Крым и здесь, ввиду выраженного ему офицерством недовольства, передал главное командование Врангелю, а сам уехал за границу, где выпустил четыре тома своих мемуаров о революции и гражданской войне — „Очерки русской смуты".

Духонин, Николай Николаевич — генерал, участник империалистической войны. Когда после корниловского выступления Керенский занял пост верховного главнокомандующего, Духонин был назначен начальником его штаба. После октябрьского переворота пытался посылать войска на поддержку Керенского, но потерпел неудачу вследствие нежелания солдат воевать с большевиками. После бегства Керенского, став фактически верховным главнокомандующим, не решился организовать вооруженную борьбу с вновь народившимся советским правительством, но и не признал его; вследствие этого, после победы Октябрьской революции в Петрограде и Москве, ставка верховного главнокомандующего (помешавшаяся в Могилеве) стала средоточием надежд поведших борьбу с Советской властью эсеров и меньшевиков, пытавшихся здесь даже организовать „общесоциалистическое" правительство во главе с Черновым, взамен большевистского. На требование Совнаркома немедленно вступить в мирные переговоры с немцами Духонин ответил отказом, за что был смещен с должности и заменен Крыленко. 19 ноября 1917 г., при занятии ставки советским отрядом, Духонин был убит.

Дыбенко, П. Е. — матрос, в эпоху керенщины пользовавшийся большой популярностью в Балтийском флоте, возглавляя центральный орган выборных матросских организаций. После Октября одно время был народным комиссаром по морским делам. В эпоху гражданской войны занимал ряд ответственных военных постов. (Троцкий III, 1, 188).

Каледин, Алексей Максимович — генерал царской армии, отличившийся во время мировой войны. После Февраля не мог примириться с демократизацией армии и, будучи избран в июне 1917 г. атаманом Донского казачьего войска, уехал на Дон, где, опираясь на кулацкие слои казачества, повел борьбу с Временным Правительством. Донская область при нем стала почти независимым от центральной власти государством, где находили себе приют и защиту все враги революции. После Октября именно там началось формирование добровольческой армии для борьбы с Советами. Однако „большевистская зараза" — лозунги Октябрьской революции — постепенно стала проникать и в царство Каледина, где захватывала все более и более широкие массы сначала „иногородних" (т.-е. крестьянства, не принадлежавшего к казачьему сословию), а потом и коренного казачества. Среди последнего все чаще стали вспыхивать бунты, все резче сказывалось нежелание воевать с большевиками. Под влияниям неудач в борьбе против Советов Каледин застрелился 28 января 1918 г.

Камков (*Кац*) — эсер-интернационалист, после Февральской революции, по возвращении из эмиграции, встал в оппозицию к официальной эсеровской партии, а после Октябрьской революции вступил во вновь образовавшуюся партию „левых" эсеров, поддерживавшую большевиков и давшую представителей в Совнарком. Из-за Брестского мира левые эсеры разорвали союз с большевиками и вышли из правительства. В июле 1918 г. пытались

вызвать войну с Германией, бросив бомбу в германского посла в Москве графа Мирбаха, и подняли восстание в Москве, быстро подавленное, а в 1919 г. организовали взрыв Московского комитета РКП в Леонтьевском пер. (по Л. XIV, 139).

Карташов — министр исповеданий в последнем Врем. Правительстве Керенского.

Керенский, Александр Федорович — родился в 1881 г. Впервые выступил на политическое поприще, подписав в 1905 г. коллективный протест против ареста представителей радикальной интеллигенции, пытавшихся путем переговоров с гр. Витте и кн. Святополк-Мирским предотвратить расстрел 9 января. Будучи присяжным поверенным, приобрел известность в качестве защитника в политических процессах. К. был избран от гор. Вольска, Саратовской губ., в IV Государственную Думу. Будучи социалистом-революционером, в Думе примкнул к фракции трудовиков. Социал-патриот с начала войны. После революции, будучи товарищем председателя Петербургского Совета, вопреки решению Совета не давать министров в буржуазное правительство, вошел в состав последнего в качестве министра юстиции. После отставки Гучкова взял его портфель военного и морского министерств. По требованию союзных империалистических правительств толкнул русскую уставшую и не хотевшую войны армию к наступлению 18 июня, которое кончилось полнейшей неудачей. После июльского движения петербургского пролетариата и гарнизона, подавленного военной силой, становится министром-председателем Временного Правительства. После подавления мятежа генерала Корнилова становится главковерхом. В качестве члена и затем председателя Врем. Правительства все время ведет политику союза с буржуазией, защиты буржуазного характера революции от покушений большевиков, продолжения в союзе с Антантой империалистической войны. Его неудачная попытка организовать после Октябрьского переворота подавление пролетарской революции описана в настоящей книге. После Октября эмигрировал за границу, где неизменно оставался врагом Советской республики. Издает газету „Дни“ (частью см. Л. XIV, 134).

Кишкин — по профессии врач, один из руководителей к.-д. партии. Летом 1917 г.— комиссар г. Москвы, позднее член последнего состава Врем. Правительства. Накануне Октябрьской революции был назначен полновластным диктатором Петербурга для борьбы с большевиками (Л. XIV, 265).

Коновалов — заместитель министра - председателя (Керенского) и министр торговли и промышленности во Врем. Правительстве последнего состава. Крупнейший текстильный фабрикант Московского района. Член IV Государственной Думы, влиятельнейший член прогрессивного блока. В годы столыпинщины прославились встречи в его особняке московских фабрикантов и профессоров, положившие начало пресловутому „союзу капитала и науки“. В момент Октябьрского переворота был арестован в Зимнем дворце, но вскоре освобожден. В настоящее время проживает в Париже, работает по объединению бывших фабрикантов и промышленников, надеясь на торжество контр-революции (Л. XIV, 86).

Корнилов, Лавр Георгиевич — один из крупнейших и известнейших врагов Советской власти. Генерал царской армии; во время мировой войны попал в плен к австрийцам, откуда успешно бежал незадолго до Февральской революции. После Февраля назначен командующим войсками петроградского военного округа, но не мог примириться с советами и ушел в действующую армию, где занимал различные командные должности и, наконец, был назначен верховным главнокомандующим; на этом посту усиленно добивался восстановления дисциплины в армии посредством возвращения старой власти офицерству и органичения либо сведения на-нет роли солдатских выборных комитетов; требовал от Врем. Правительства „оздоровления“ тыла посредством усиления власти и борьбы с Советами. Благодаря этому его имя сделалось постепенно знаменем кадетов и всех контр-революционных сил.

26 августа (1917 г.) Корнилов по соглашению с близкими к Врем. Правительству лицами и при явном попустительстве, если не прямом соучастии, Керенского двинул на Петроград казачий корпус и „дикую дивизию", набранную среди кавказских горцев, с целью разгрома Советов и провозглашения диктатуры. Под давлением меньшевистско-эсеровского ЦИК Советов, который на этот раз энергично поддерживали большевики, Керенский был вынужден вступить в борьбу с Корниловым и объявить его мятежником. Посланные Советами агитаторы разъяснили корниловским войскам смысл выступления, после чего казаки отказались в нем участвовать, и Корнилов вынужден был сдаться в ставке вместе с поддерживавшими его генералами властям Врем. Правительства.

Чтобы успокоить негодование широких масс рабочих и солдат, возбужденное корниловским мятежом, Врем. Правительство вынуждено было засадить самого Корнилова и корниловцев-генералов в тюрьму, из которой всем им легко удалось бежать после Октябрьского переворота и перебраться на Дон, под защиту контр-революционного казачьего правительства. Здесь Корнилов вместе с другим царским генералом Алексеевым (см. это слово) организовал для вооруженной борьбы с Советской властью так наз. „добровольческую армию", которую Советской республике удалось окончательно раздавить лишь после трехлетней упорной и напряженной борьбы. Сам Корнилов погиб в начале этой борьбы, будучи убит снарядом 31 марта 1918 г., при осаде красного Екатеринодара.

Краснов, П. Н. — генерал, участник мировой войны, активный участник корниловского мятежа, после Октября — командующий казачьим отрядом, который Керенский повел на Петроград для свержения Советской власти. После крушения этого предприятия, будучи освобожден большевиками, Краснов перебирается на Дон, где весной 1918 г. избирается атаманом и организует с помощью подошедших к Донской области через Украину немцев вооруженную борьбу с большевиками. От последних Краснову удается постепенно „очистить" всю область, в которой он восстанавливает полностью старорежимные порядки. Зимой 1918—1919 г., когда, после ноябрьской революции в Германии, помощь немцев прекратилась, Краснов терпит тяжелые поражения на противобольшевистском фронте и оказывается вынужденным передать власть командованию добровольческой армии, во главе которой стоит Деникин. В настоящее время Краснов — в эмиграции, где и пописывает свои мемуары.

Крыленко, Н. В. — лидер студенческого политического движения 1905—1908 г.г., одновременно работал в петербургской организации большевиков. Февральская революция застала его на фронте в чине прапорщика. Участник I съезда Советов в мае и июне 1917 г., был арестован на фронте за большевистскую агитацию. В ноябре 1917 г., после отказа главковерха Духонина подчиниться приказу о начале переговоров о перемирии, был назначен Совнаркомом главковерхом. Провел ликвидацию белогвардейщины на фронте и выборы командного состава. Уступил свое место Троцкому после Брестского мира (в марте 1918 г.). В настоящее время—деятель народного комиссариата юстиции и верховного трибунала (Л. XV, 21).

Либер (Бер) — М. И. Гольдман, видный деятель Бунда и член его ЦК. Был несколько раз в ссылке, последний раз, в 1910 г., бежал из Вологодской губернии. Представитель бундовского ЦК на общерусских совещаниях и член общепартийного ЦК по Лондонскому съезду 1907 г. Меньшевик-ликвидатор. Оборонец в годы войны, сторонник коалиции с буржуазией во время революции. Один из виднейших членов ЦИК первого созыва (Л. XIV, 205).

Львов, В. Н. — член Гос. Думы, националист, после Февраля — обер-прокурор синода во Врем. Правительстве кн. Львова. В августе 1917 г., уже не будучи министром, завел интригу с Корниловым и был одним из инициаторов его выступления. После Октября — в белогвардейском стане, потом — эмигрант; в 1921 г. — сменовеховец.

Мартов, Юлий Осипович (Цедербаум) — лидер меньшевиков, основатель, вместе с Лениным и др., одной из первых социал-демократических организаций в России — Петербурского „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“ (в 1895 г.), один из основателей „Искры“ (в 1900 г.), со времени раскола партии на II съезде в 1903 г. — неизменный лидер меньшевиков и член редакции меньшевистских центральных органов. Во время Февральской революции — интернационалист, занимавший крайнюю левую позицию в меньшевистской партии, после Октября вел идейную борьбу с большевизмом, но отрицал вооруженные выступления против Советской власти. Умер за границей в 1923 г.

Милюков, Павел Николаевич — наиболее яркий и влиятельный из организаторов и вождей кадетской партии, ученый историк, автор ряда исследований и популярных работ по русской истории, талантливый журналист и публицист. В половине 90-х годов — политический эмигрант, перед революцией 1905 г. — один из оргинизаторов и деятельных участников „подпольной“ радикально-буржуазной организации „Союз Освобождения“. В революцию 1905 г. — один из виднейших вдохновителей либеральной оппозиции правительству; в борьбе между революцией и самодержавием всегда выступает решительным сторонником „реальной“ политики, выказывая полуироническое отношение к бредням слишком увлекающихся левых кадетов об учредительном собрании и всячески добиваясь соглашения с правительством с целью совместной ликвидации революции на почве конституции, т.-е. дележа власти между царем (иначе говоря, крепостническим дворянином-помещиком) и либеральной буржуазией. В этих попытках неизменно терпит неудачу, так как самодержавие и эту цену считает слишком высокой и предпочитает раздавить заодно и революцию и либералов. Поэтому Милюкову приходится выступать вождем буржуазной оппозиции черносотенному правительству, которую, однако, он сам совершенно правильно характеризует, как „оппозицию его величества“ (т.-е. „верноподданническую“). В области внешней политики — неизменный сторонник империализма, и если критикует царское правительство, то не за империалистичность его политики, а за глупость ее. В империалистическую войну — упорный сторонник „борьбы до победного конца“, т.-е. до захвата Константинополя, проливов и Галиции. В первые дни Февральской революции всячески старается спасти монархию в форме передачи престола наследнику Алексею при регентстве Михаила, и только решительный напор революционных рабочих и солдатских масс превращает на время его, а за ним и кадетскую партию в республиканцев. В первом после революции Временном Правительстве Милюков занимает пост министра иностранных дел и, раболепствуя перед буржуазией Антанты, старается заверить ее в готовности России вести войну „до победы“. Составленная им в этом смысле нота, отправленная правительствам Антанты 18 апреля 1917 г., вызывает первую враждебную Временному Правительству демонстрацию рабочих и солдат, явно большевистского характера; демонстрация эта вызвала первый кризис Временного Правительства, после которого Милюков (вместе с Гучковым) вынужден был выйти из его состава. С этих пор Милюков — в лагере контр революции, интригует и ведет борьбу против правительства Керенского, ищет сближения с октябристами и монархистами, поддерживает Корнилова и Каледина. После Октября уезжает на юг и вдохновляет белогвардейское противо-советское движение, добиваясь интервенции то со стороны монархической Германии, то со стороны „держав-победительниц“. После победы Советской республики эмигрирует за границу, и там неустанно проповедует интервенцию. В настоящее время — вождь левого крыла заграничных кадетов, так наз. „республиканско-демократического объединения“, редактор их выходящего в Париже органа „Последние Новости“, стоит за сближение с правыми эсерами. Выпускает под заглавием „История второй русской революции“ многотомный исторический памфлет, имеющий целью изничтожить с помощью науки заодно как большевизм, так и социал-демократию.

Муравьев, Михаил Артемьевич — офицер царской армии, в период Февральской революции сближается с левыми эсерами, после Октября сразу переходит на сторону Советской власти, участвует в защите Петрограда от наступающего отряда Керенского-Краснова, потом — в борьбе с украинской Центральной Радой и Доном,—назначается главнокомандующим войсками, действующими против украинской рады, а затем — против чехословаков; в этой последней должности, изменив Советской власти, в июле 1918 г. пытался поддержать левых эсеров, поднявших мятеж в Москве, и двинуть на поддержку их войска с фронта, но был арестован и убит в Симбирске.

Никитин, А. М.— с.-д. меньшевик-оборонец, деятель профессиональных союзов в эпоху реакции, а также легальных рабочих обществ образования и клубов. Министр последнего Врем. Правительства (Л. XIV, 272).

Пальчинский — инженер, тесно связанный с банковыми кругами; принимал участие в Февральской революции в качестве члена „военной комиссии" Комитета Государственной Думы. Товарищ министра торговли и промышленности у Керенского. Помощник к.-д. Кишкина, губернатор Петербурга и начальник обороны Зимнего дворца 25 октября (Л. XIV, 161).

Полковников, П.— полковник, правый, командовавший Петроградским военным округом в дни Октября.

Прокопович, С. Н.— один из ранних социал-демократов, „экономист", сторонник экономической борьбы рабочего класса в ущерб политической (специфически-русская форма бернштейнианства). Очень скоро ушел от с.-д., эволюционировав вправо. Участник „Союза Освобождения", либерального объединения земских деятелей в 1904—1905 г.г., издававшего за границей собственный орган „Освобождение" под редакцией П. Б. Струве. В 1905 году возобновил связи с меньшевиками и принимал участие в работах с.-д. фракции II Государственной Думы в качестве сведущего лица. В 1906 г. издавал радикальный журнальчик „Без заглавия" (отсюда кличка „беззаглавцы"). Деятель кооперации и участник „общественного движения". Министр продовольствия в последнем правительстве Керенского (Л. XIV, 261).

Ракитников, Николай Иванович (род. в 1864 г.) — до эмиграции работал в народнических кружках в Саратове, член ПСР с самого ее основания и член ее ЦК, литератор и редактор с.-р. газет в России и за границей, оборонец и сторонник коалиции (Л. XIV, 289).

Рошаль, Семен Григорьевич — большевик, в период Февральской революции работал в кронштадтской организации и пользовался огромной популярностью среди матросов. В 1918 г. расстрелян Щербачевым на Румынском фронте.

Рязанов, Давид Борисович — один из старейших русских социал-демократов, организовал в первой половине 90-х годов рабочие кружки в Одессе, после 5-летнего заключения в „Крестах" эмигрировал за границу, где примыкал к революционному крылу социал-демократии, стоя обычно несколько особняком от основных русских с.-д. группировок. Участник заграничной с.-д. группы „Борьба" в начале 900-х годов. Во время первой революции одно время работал в Одессе, затем явился организатором и руководителем профессиональных союзов в Петербурге. Вынужден был вторично эмигрировать за границу, где уделял большую часть своего времени заграничному с.-д. движению и работе по изданию сочиненений Маркса и Энгельса, а также по истории Интернационала по поручению германской с.-д. партии. Участник многих русских и немецких партийных изданий. Антиоборонец и интернационалист с самого начала войны. После Февральской революции возвращается в Россию и принимает энергичное участие, как организатор и агитатор, в подготовке Октябрьской революции. Член ВЦИК. Историк и экономист. Организатор коммунистической Академии и Института К. Маркса в Москве (Л. XIV, 290).

Савинков, Б. В.— родился в 1879 г. Один из руководителей студенческого движения 1899 г. В 1901 г. Савинков принимал участие в с.-д. группе пропагандистов „Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего

класса" и после ареста был выслан в Вологду. Во время пребывания в ссылке из марксиста превратился в народника и примкнул к социалистам-революционерам, вошел в состав организованной в 1903 г. Азефом „Боевой организации" ПСР и с тех пор отдался всецело делу политического террора. Почти все главнейшие террористические акты ПСР были организованы Савинковым. В годы реакции фактически отошел от партии. Летом 1917 года военный министр Керенский назначил его своим заместителем. На этом посту С. вел переговоры с Корниловым о подготовке контр-революционного переворота и за это был смещен Керенским с поста управляющего военным и морским министерством. После Октябрьской революции— активный враг Советской власти, организатор белогвардейских заговоров и восстаний, участник Ярославского офицерского мятежа летом 1918 г., ярый сторонник Врангеля. Во время польской войны 1920 г. организовал под начальством генерала Булак-Балаховича русскую белогвардейскую армию, сражавшуюся на стороне поляков. При содействии польского и французского генеральных штабов продолжал организовывать набеги на западные губернии советской России. Проживал в Варшаве, в 1921 г. организовал шпионаж и контр-революционный заговор в России, агенты которого действовали на французские деньги. В 1924 г. арестован на советской территории, после чего объявил себя сторонником Советской власти. Будучи приговорен к 10-летнему заключению, покончил с собой в тюрьме весной 1925 г (частью Л. XIV, 197).

Скобелев, М. И. — социал-демократ-меньшевик, член IV Госуд. Думы, после Февральской революции — член Исп. Комитета Петросовета, затем — министр труда Врем. Правительства. После Октября работает с Советской властью и в 1923 г. был торгпредом во Франции.

Станкевич, В. Б.— умеренный социалист, в период Февральской революции — комиссар Северного фронта, боровшийся с большевизмом в армии и после Октября безуспешно пытавшийся организовать вооруженное низвержение Советской власти. Потом — эмигрант.

Терещенко, М. И.— крупный богач, сахарозаводчик, перед Февральской революцией участвовал вместе с Гучковым и Крымовым в заговоре, подготовлявшем дворцовый переворот с целью устранения Николая II, при сохранении монархии. После революции, в первом Врем. Правительстве — министр финансов, в последующих — министр иностранных дел, угождавший империалистической политике Антанты, упорно поддерживавший войну и сопротивлявшийся политике мира.

Чернов, В. М.— один из крупнейших вождей эсеров. Родился в 1876 году, начал политическую деятельность в 1893 году в рядах „Социал-революционной партии Народного права" (промежуточное образование между партией „Народной Воли" и ПСР.). Эмигрировал за границу в 1899 г., где стал во главе сначала союза, а затем и партии социалистов-революционеров, в качестве ее идеолога и вождя (бессменный член ЦК и редактор ее центрального органа „Революционная Россия"). В годы войны занимал колеблющуюся позицию между интернационализмом и оборончеством, участвовал на Циммервальдской конференции. По возвращении в Россию после Февральской революции был министром земледелия в одном из коалиционных правительств Керенского, и подвергался ярым нападкам со стороны правых и кадет за свое мнимое „пораженчество". Вышел в отставку после июльских дней.

5 января 1918 года Ч. был избран председателем Учредительного Собрания, насчитывавшего $^2/_3$ право-эсеровских голосов и распушенного ВЦИК. Принимал деятельное участие в чехо-эсеровской авантюре на Волге в 1918 г., возглавляя съезд членов Учредительного Собрания; в Уфе был арестован Колчаком, но вскоре освобожден и уехал за границу, где ведет ожесточенную кампанию в своей „Революционной России" против Советской власти (Л. XIV, 105).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авдеев, Н. 247.
Авксентьев, министр Врем. Правительства, председатель Совета Республики 120, 128, 170, 193, 197, 208, 218, 238, 251, 252, 277, 278, 305, 314, 315, 334, 338.
Агрызков, полковник 9, 15, 16.
Ажогин, подъесаул, председатель Донского комитета в корпусе Краснова 61, 64, 70, 78, 84, 239, 240.
Алексеев, М. В., начальник штаба Главковерха 33, 34, 38, 87, 94, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 274, 275.
Алпатов, вестовой 14.
Апаньев, комендант обороны Зимнего дворца 144.
Апаньев, член совета союза казачьих войск 78.
Ане Клод, французский литератор 89.
Аникиев, член союза казачьих войск 239, 241.
Анисимов, член союза казачьих войск 190.
Антонов-Овсеенко, член В.-Р. Комитета в Петрограде 159, 272 прим.
Аросев, член В.-Р. Комитета в Москве 258.
Артифексов, капитан 63, 71.
Астров, Н. И., кадет 253.

Багратуни, нач. штаба Петроградского округа во время Октябрьского восстания 166, 210.
Багратион, князь, командир туземного корпуса, наступавшего на Петроград 19, 21, 22, 104.
Бакланов, офицер, участвовавший в защите Зимнего дворца 150, 161.
Балуев, главнокоманд. Западного фронта 3, 4, 182, 397, 399, 401, 405, 413, 415.
Барановский, начальник кабинета Керенского 35, 52, 53, 109, 181, 183, 185, 234, 248, 385, 410, 413.
Бардиж, представитель Кубанского войска 102.
Берзин, прапорщик, б-к, начальник гарнизона Кремля 257, 259, 260.
Беркенгейм, кооператор 117, 273, 346.
Бернадский, тов. министра во Врем. Правит. 319.
Бинасик 272.
Богаевский, товарищ атамана Донск. войска 99.
Богданов 94, 95, 224, 251, 272.
Болдырев 223, 228.
Бонч-Бруевич, генерал, командующий Северным фронтом 27, 28, 29, 30, 34, 226.
Бонч-Бруевич, В. Д. 306, 307.
Борис Владимиров. всл. князь 8.
Брамсон, трудовик, член I-й Госуд. Думы 325, 326.
Брешко-Брешковская, Е. К., эсерка, «бабушка революции» 120, 337.
Бронский, начальник штаба XVII корпуса 235.
Бронштейн (Троцкий, Л. Д.) 77, 272.
Брусилов, генерал 260.
Брушвит, эсер 346.
Булат, трудовик, литовский представитель в Комитете Защиты Учредит. Собрания 349.
Бурышкин, член комитета общественной безопасности 266.
Бухарин, Н. И., член ЦК РКП 252.

Вахрушев, генерал 34.
Вендзягольский, К. М., комиссар 8-й армии 234, 235, 237, 238, 242, 248, 249, 250.
Вердеревский, морской министр Врем. Правит. 105, 112.
Верховский, военный министр Врем. Прав. 2, 62, 87, 96, 97, 98, 101, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 118, 122, 163, 205, 344.
Вигдорчик, юнкер, б-к 136.
Виноберг, Г., автор 87, 88.
Виноградская, П., автор 259.
Вишняк, Марк, эсер 344.
Власов, полковник 18.
Войтинский, с.-д., комиссар Северного фронта 32, 33, 35, 36, 43, 51, 69, 70, 78, 79, 220, 223, 237, 238, 247, 276, 402, 409, 412.
Волкобой, генерал 15, 16.
Вольский 365.
Володарский, В., большевик 310.
Воронков, казак 3.
Врангель, барон, начальник 7-й кавалер. дивизии 38, 39, 42, 234.
Врасский, сенатор 321.
Вырубов, пом. нач. штаба верх. главнокоманд. 401, 403, 412, 413.

Гагарин, князь, командир 3-й бригады кавказской туземной дивизии 22.
Гаккель, юнкер 141.
Гальперн, А. Я., управляющий делами Врем. Правит. 175, 388.
Гашевский, капитан 133, 134, 142, 144, 146, 147, 149, 152, 160.
Гвоздев, К. А., министр труда Врем. Прав. 123, 211, 316, 319, 320.
Гедройц 232.
Гейман, корниловец 87.
Генералов, сотник 20, 24, 30.
Гилленшмидт, Я. Ф., генерал 7.
Гиршфельдт, генерал 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Голенко 256.
Гольдман, член апрельской «семерки» в Петрограде 272.
Гольдман, Исаак, юнкер 132.
Гоц, А. Ф., эсер 72, 122, 127, 128, 129, 130, 216, 217, 218, 224, 225, 251, 252, 276, 314, 315.
Греков, А., нач. 1-й Донской казачьей дивизии 27, 235, 386.
Греков, полковник 18, 47, 48.
Гришин, офицер караула Быховской тюрьмы 291.
Губин, начальник Усбур. конной дивизии 27.
Гуревич, В. Я., чл. ком. спас. родины и революции 325, 346, 370.
Гурко, главнокоманд. Зап. фронта 3.
Гучков, А. И., октябрист 21, 95, 97.

Дан, Ф. И. (Гурвич), меньшевик 72, 122, 126, 129, 130, 172, 173, 174, 208, 273, 301, 326.
Данилевич, офицер для поручений при Керенском 393, 394, 396.
Деникин, А. И., генерал 39, 91, 96, 102, 106, 280, 282, 290.
Дитерихс, генерал-квартирмейстер 206, 223, 224, 232, 208 281, 284, 394, 405, 407.

Довбор-Мусницкий, командир польского корпуса 78, 221, 225, 242, 279, 280, 285.
Долгоруков, Павел, князь, кадет 1, 2.
Дутов, казачий атаман 87, 190, 324.
Духонин, начальник штаба верх. главнокоманд. 54, 62, 111, 182, 209, 206, 207, 208, 209, 212, 223, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 247, 248, 249, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 294, 322, 323, 324, 329, 384, 385, 386, 388, 389, 395, 400, 401, 409, 413, 414, 415.
Душечкин, педагог 117.
Дыбенко, матрос 80, 83, 84, 85, 182, 200, 201, 203, 236, 243, 244, 245, 277, 308.

Евдокимов, Сидор 152.
Егоров, сотрудник «Нового Времени» 95.

Железняк, матрос 381.
Жуков, И. 121.

Зарубаев, полковник 30.
Зарубин 229.
Зиновьев, Г., коммунист 121, 208, 365, 382.
Знаменский 224.
Зотиков, поручик, председатель корпусн. комитета 235, 236.

Иоффе 296.

Каледин, атаман Донск. каз. войска 96, 97, 98, 99, 100, 101, 249, 266, 270, 279, 324, 329, 330, 331.
Кальманович, С. Е., присяжн. повер. 320.
Каменев, Л. Б., б-к 118, 121, 208, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 310.
Камков, лев. с.-р. 310.
Каппора 98.
Карамышев, пом. нач. военных сообщений 34, 49.
Карташов, министр Врем. Прав. 172, 175, 244, 319, 320.
Карташов, сотник 58.
Керенский, А. Ф., глава Врем. Правительства 3, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 143, 144, 145, 163, 165, 166, 167, 171, 172, 177, 191, 192 прим., 196, 200, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 213, 214, 115, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 265, 266, 268, 272, 274, 275, 276, 277, 280, 286, 287, 289, 296, 297, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 315, 321, 322, 337, 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 412, 413, 414.
Кисляков, тов. мин. пут. сообщ. Врем. Правит. 102.
Кишкин, Н. М., министр Вр. Прав. 179, 209, 211, 223, 274, 390, 394, 396, 397, 398, 399, 401, 402.
Клембовский, генерал 18, 23, 27, 28.
Коварский, чл. ком. общ. безопасности 269.
Козьмин, капитан 239, 241.
Кокошкин, кадет 302.
Колесников, генерал 16.
Коллонтай, А. М., коммунистка 296.
Колокольников, м-к, тов. мин. труда Врем. Правит. 315, 316.
Колчак, адмирал 104.
Кондратьев, начальник военных сообщений 57.
Кондратьев, член Врем. Прав. 261.
Коновалов, А. И., замест. председателя Врем. Прав., мин. торг. и пром. 142, 150, 151, 156, 158, 174, 176, 178, 179, 209, 393.
Корниевский, офицер для поручений при главкозапе 405.
Корнилов, Л. Г., главковерх 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 49, 63, 69, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 123, 169, 183, 190, 195, 224, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295.
Коротков, подполковник 107, 108, 110.
Коротков, сотник 84.
Коршунов, есаул, командир енисейской сотни 57, 58, 59, 63, 65.
Краковецкий 251.
Краснов, генерал 6, 7, 20, 27, 31, 32, 39, 49, 61, 89, 90, 91, 143, 145, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 215, 217, 218, 219, 221, 223, 234 прим., 236, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 265, 274, 275, 276, 277, 280, 308, 315, 412.
Крохмаль, В. Н., меньшевик 222.
Крупенский, П. Н., член Гос. Думы 88.
Крушинский, член Викжеля 300, 309.
Крыленко, прапорщик, большевик, главнокомандующий 182, 224, 228, 241, 249, 250, 278, 282, 284, 294, 323, 336, 365, 367.
Крымов, генерал 8, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 183.
Кузьмин, пом. командующего Петроградского военного округа 34, 58, 60, 78, 79, 179, 198, 199, 222, 276.
Кульгавов, подъесаул 9-го Донского казачьего полка 26, 34, 75, 86.
Кусонский, полковник генеральн. штаба 283, 285.
Кучеров 133.
Кучин 223.
Кюгельген, полковник текинск. полка 292.

Лаврухин, войсковой старшина 57, 63, 77, 81, 83, 245.
Лазарев, начальник арсенала в Кремле 257.
Лазимир, член В.-Р. Комитета в Петрограде 272.
Левицкий, генерал для поручений при Керенском 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391.
Левицкий, председатель комитета драгун 35.
Ленин, В. И. 121, 125, 132, 134, 135, 137, 141, 142, 149, 170, 224, 245, 252, 271, 277, 288, 289, 299, 302, 304, 305, 306, 353, 355, 358, 359, 360, 376, 380, 403.
Либер, меньшевик 300, 301.
Ливеровский, мин. путей сообщ. Врем. Прав. 319, 320.
Линде, Ф. Ф., комиссар Юго-Западного фронта 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 33, 35.
Ломов 253.
Лукирский, генерал-квартирмейстер, начальник штаба Северного фронта 34, 46, 49, 50, 248, 386, 387, 390, 395, 409, 410, 411.
Лукомский, генерал 102, 105, 108, 109, 281, 282, 285.
Любоконский, подпоручик 285, 286, 288, 289.
Львов, В. Н. 87, 88, 109.

Мазуренко 412.
Максимов, адмирал 104.
Малицкий, адвокат, член Викжеля 283.
Малянтович, министр юстиции Вр. Пр. 212, 320, 321.
Маниковский, управляющий военным министерством Вр. Правительства 207, 223, 280, 317.
Мария Павловна, великая княгиня 40, 68, 75.
Марков, генерал, корниловец 77, 102, 282, 285, 289, 270.
Мартов, Ю. О. (Цедербаум), меньшевик-интернационалист 127, 171, 299, 300.
Масальский, тов. мин. торговли и промышленности 316.
Маслов, С., эсер, министр Врем. Прав. 143, 319, 344.
Матушевский, поручик, член ЦИК 44.
Мациевский, юнкер 143.
Махров, генерал 409.
Мерчуле, полковник 21.
Миллер, Я., автор 275.

Милюков, П. Н., кадет, министр Вр. Прав. 10, 94, 170, 171, 234, 240, 247, 254, 255, 259.
Мистулов, генерал-майор 9, 10, 14.
Михаил Александрович, вел. князь 2.
Михеев, А., председатель союза казачьих войск 71.
Моисеенко 266.
Муженков, полковник генерального штаба 14, 15.
Муравьев, полковник, лев. эсер 84, 85, 165.
Муралов, Н., большевик, команд. войсками в Москве 267 прим.

Набоков, В. Д., кадет 315.
Натансон, офицер 292.
Незнамов, генерал 405, 406.
Некрасов, Н. В., министр Врем. Правит. 89, 91, 109, 315.
Немировский, фельдфебель 147.
Нератов, А. А., тов. министра иностр. дел Врем. Правит. 229, 317.
Никитин, А. М., меньшевик, министр внутрен. дел Вр. Правит. 119, 255, 319, 320, 321, 326.
Николай II 93.
Ниссель, французский генерал 79, 243.
Ногин, большевик 252.

Овсянников, Н., автор 253.
Одинец 229.
Одинцов, прапорщик 139, 140, 142.
Ольминский, М. 260, 268.
Онипко, эсер, член Учредит. Собрания 344, 358, 360, 361.
Орел, полковник 219.
Осипский 252, 253.

Пальчинский, военный губернатор Петрограда при Вр. Правит. 96, 142 145, 151, 153, 154, 157, 158, 209, 223, 394.
Панина, графиня, тов. министр. Врем. Правит. 298, 325, 326, 329.
Парский 223.
Пепзиер, могилевский губернский комиссар 228, 231.
Перекрестов, председатель общеармейского комитета 223, 231, 232, 245.
Петров, Б., вольноопределяющийся, член редакции газеты «Серая Шинель» 353, 354, 362, 374.
Пилипенко, поручик 31.
Планесон, председатель Викжеля 196, 217, 218, 300.
Плеханов, Г. В. 214, 216.
Плющик-Плющевский 108.
Полковников, начальник Петроградского военного округа 38, 41, 42, 43, 44, 62, 163, 166, 170, 175, 176, 193, 251, 385, 388.
Половцев, генерал, командующ. войсками 174.
Полянский, председатель армейского комитета 227.
Попов, капитан 291.
Попов, С. П., полковник в отряде Краснова 45, 48, 49 51, 52, 57, 74, 78, 85, 198, 235, 240.
Прокопович, С. Н., министр продовольствия Вр. Правит. 260, 261, 262, 263 прим., 267, 312, 318, 319, 321, 324, 327, 328, 329, 331, 413.
Пронин 108.
Пумпянский 370.
Пушков, полковник 41.
Пятаков 365, 366, 378.

Ракитин-Браун 251, 252.
Ракитников, Н. И., эсер 224, 300, 301.
Ратель 232.
Роговский, эсер 175.
Родзянко 135.
Розенблат, председатель Совета при военмине 393.
Романовский, генерал 108, 282, 285, 289, 290.
Рошаль, большевик 83, 250.
Руднев, В. В., эсер, московский городской голова 117, 253, 254, 265, 266, 269, 346.
Русанов, казак (он же Руссов) 244, 309.
Рутенберг, помощ. главнокомандующего над Петроградом 394.
Рябцов, команд. войсками Московского округа 255, 257, 258, 259, 260, 262, 263 прим.
Рязанов, Д. Б. (Гольдендах) 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310.
Рыков, А. И. 252, 253.
Рыков, ротмистр 65, 75, 86.

Савенко, член Госуд. Думы, националист 96.
Савинков, Б. В., с.-р. 66, 68, 69, 70, 72, 78, 79, 95, 105, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 248, 249, 250, 275, 276, 315, 316.
Савицкий 29, 30, 32, 33, 35, 223.
Садовский, член В.-Р. Комитета 272.
Сазонов, генерал-майор 8, 18, 19, 21.
Самарин, генерал 92.
Сафронов 367.
Сахарков, член В.-Р. Комитета в Петрограде 272.
Сахаров 108.
Свистунов, адъютант Керенского 60.
Семашко, Н. А. 253.
Семенов 220, 237, 238, 245, 351.
Сергеевский, полковник, начальник связи в ставке 293.
Сидорин 87.
Сидоров, старший унтер-офицер 135.
Дю Симетьер 87.
Синани, эсер 251, 252.
Синегуб, поручик, адъютант школы прапорщиков инженерных войск 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 210.
Скалов 272.
Скарятин, Г. Д., тов. министра юстиции Вр. Правит. 318.
Скворцов-Степанов, И. И., б-к 252, 253.
Скобелев, М. И., министр Врем. Прав. 99, 100, 117, 272, 278.
Скородинский, поручик 143 144, 150, 153.
Слетова 371.
Слоним 367.
Смагин 18, 19, 21, 89.
Смальдовский 412.
Смирнов, член В.-Р. Комитета 252, 253, 263.
Смирнов, рабочий 356, 365.
Смирнов, тов. министра Вр. Прав. 319.
Соколов, штабс-капитан 266, 267.
Соколов, Б., эсер 354.
Соколов, секретарь совета союза казачьих войск 71.
Соловьев, В. 263.
Сталь, А. Ф., прокурор палаты, член комитета безопасности 264, 270.
Станкевич, В. Б., комиссар при верховном командовании 32, 33, 35, 36, 43, 69, 70, 78, 137, 191, 192, 198, 199, 233, 237, 238, 239, 241, 275 (прим.), 276, 278, 280 прим., 281, 284, 391, 392.
Студенецкий, член комитета обществ. безопасности 266.
Сумароков, корнет 94.
Сургучов, Д., эсер, член военной комиссии 344, 351, 357, 358.

Тарасов-Родионов 85.
Телюкин, старший писарь 132, 133.
Теплов, генерал, главнокомандующий Петроградским военным округом 37.
Терещенко, М. И., мин. иностр. дел Врем. Прав. 93, 94, 122, 143, 150, 151, 157, 174, 201, 320.
Тизенгаузен, комиссар Румфронта 406, 407.
Толстой, граф, помощ. начальника полит. управления военного министер. 401, 412.
Толстой, П. М. 210, 225.
Троцкий, Л. Д. 44, 48, 121, 245, 271, 277, 299, 302, 305, 306, 358, 359, 360.
Туманов, князь, тов. военного министра Вр. Пр. 163.

Урицкий 370, 378.
Утгоф, с.-р., член с.-р. военной комиссии 246, 251.
Ушаков, есаул, командир эшелона 59.

Федоров, председатель военной лиги 95.
Фейт, эсер 251.
Филатьев, член комитета общественной безопасности 266.
Филипповский 272.
Филоненков 20, 95.
Флеккель, эсер 297.
Фомин 412.
Фортунатов 344, 365.
Фридман, тов. мин. финансов Вр. Пр. 318.

Хижняков, тов. мин. Врем. Прав. 261.

Хоперсков, войсковой старшина 16.
Хрещатицкий, генер.-майор 48,62.

Церетели, меньшевик, министр внутр. дел Врем. Пр. 289, 327, 369, 381.

Чайковский, нар. соц. 193, 273, 346, 347.
Чеботарев 86.
Черемисов, главноком. Северным фронтом 43, 45, 46, 50. 51, 54, 57, 62, 111, 181, 182, 189, 203, 228, 248, 249, 276, 396, 398, 399, 404, 406, 408.
Чернов, В. М., эсер 208, 219, 220, 224, 225, 238, 276, 277, 278, 281, 304, 337, 343, 370, 373, 381, 394.
Черячукин, генерал 1.
Чихачев, член Госуд. Думы 96, 299.
Чхеидзе, меньшевик 116, 272.

Шабловский, председатель следственной комиссии по делу Корнилова 93, 110, 282.
Шапиро, юнкер 155.
Шапрон, ротмистр 275.
Шаскольский, Петр, член комитета защиты Учредит. Собрания 349, 350.
Шер, подпоручик, нач. полит. управления военного министерства 401, 402, 403, 404.
Шиллинг, командир XVII армейского корпуса 234, 235, 236.
Шингарев, кадет 302.
Шипунов, полковник 23.
Ширский, эсер 309.
Шмахов, рабочий, максималист 356, 365.
Шпатов, доктор 150.
Шрейдер, Г., петроградский городской голова 308, 311, 325.
Штейнберг, лев. эсер 273.
Шубин, интернационалист 228.
Шумаков, поручик 133, 134.
Шульгин, В. В., член Госуд. Думы 96.

Щегловитов, царский министр юстиции 103.
Щепкин, Н. Н., кадет 266.
Щербачев, генерал, главнокомандующий Рум. фронта 233.

Эргардт, подполковник 283, 293.

Юзефович, командующ. XII армией 43.
Юренев, кадет 265.

Якубович, тов. военного министра Врем. Правит. 92.
Ярославский, большевик, руководитель военной организации в Москве 252, 257.
Ярцев, фельдшер 78, 84.

БИБЛИОТЕКА
КРАСНОЙ АРМИИ
ИНВ №

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

1. Предисловие I
2. *П. Н. Краснов.* На внутреннем фронте 1
3. *П. Н. Милюков.* Ликвидация выступления Корнилова 87
4. *Ф. Дан.* К истории последних дней Временного Правительства . . 114
5. *По Синегубу.* Защита Зимнего дворца в день 25 октября 1917 г. . 132
6. *С. А. Коренев.* День 25 октября 162
7. *А. Ф. Керенский.* Гатчина 169
8. *В. Б. Станкевич.* Октябрьское восстание 203
9. *П. Н. Милюков.* Низвержение Временного Правительства 234
10. *А. И. Деникин.* Большевистский переворот 271
11. *С. Ан—ский.* После переворота 25 октября 1917 г. 296
12. *А. Демьянов.* Записки о подпольном Временном Правительстве . . 312
13. *Б. Соколов.* Защита Всероссийского Учредительного Собрания . . 332
14. **Приложение.** Ставка 25—26 октября 1917 г. 384
15. Летопись событий 416
16. Краткий словарь имен 420
17. Именной указатель 428